А.В. Амфитеатров

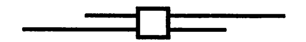
А.В. Амфитеатров

2

А.В. АМФИТЕАТРОВ

А.В. АМФИТЕАТРОВ

**Собрание сочинений
в 10 томах**



В СТРАНЕ ЛЮБВИ

МАРЬЯ ЛУСЬЕВА

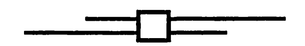
МАРЬЯ ЛУСЬЕВА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Москва
НПК «Интелвак»
2000

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах

Том второй



ПОВЕСТЬ
РОМАНЫ

Москва
НПК «Интелвак»
2000

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Вступительная статья, составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-021-9 (т. 2)

В СТРАНЕ ЛЮБВИ

Милому человеку и прекрасному артисту
СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ ГОРЕЛОВУ,
художественно воплотившему образ «Альберто»,
посвящаю эту повесть и вышедшую из нее пьесу.

Александр Амфитеатров

Cavi di Lavagna
1910 7/VI

L'amour est comme ces arbres à l'ombre desquels meurt toute végétation. L'homme qui aime une femme, non seulement n'aime rien autre chose, mais finit par ne rien haïr non plus. C'est en vain qu'il cherche dans les replis de son coeur toutes les prèfèrences, toutes les sympathies, toutes les rèpugnances, tout cela est mort mort d'indffierence

Alphonse Kars *

I

— А теперь, синьор форестьер, если вам угодно меня выслушать, я желал бы сказать вам несколько слов.

Говоря это, Альберто опустил весла. Лодка, шибко разогнанная им против невысокой волны, с размаху через нее перескочила и мерно закачалась на зыби моря, белого, как молоко, под белым облачным небом. Иностранец, к кому Альберто обратился с речью, поднял глаза, удивленный резким тоном лодочника. Взгляд, встреченный им под нахмуренными бровями Альберто, оказался таким же недружелюбным, как и голос.

Берег был далеко. Городок и пристань, откуда полчаса тому назад лодка унесла двух пловцов в открытое море, утонули за горизонтом, над которым чуть виднелись синие тени окутанных туманом гор.

---

* Любовь — будто тени деревьев, убивающие все живое. Человек, который любит женщину, не только не любит ничего другого, но и кончает не чем иным, как власяницей. Напрасно ищет он в тайниках своего сердца все особые предпочтения, все влечения, все отвращения — все это умерло смертью безразличия.

Альфонс Карс

Альберто и иностранец были одни в просторе морской тиши. Небо над ними, — бездна под ними.

— Конечно, говорите, Альберто! В чем дело? Вы как будто расстроены... Надеюсь, не случилось никакой беды?

Смуглые щеки Альберто стали бронзовыми от румянца, бросившегося ему в лицо.

— Видите ли, синьор, — смущенно заговорил он, — я много доволен вами. Вы щедрый господин и даете хорошо заработать бедному человеку. Я никогда не слыхал от вас грубого слова. Я! А что такое — я? Простой marinajo *; лодки да купальни — вот мое дело...

— Без предисловий, Альберто! Зачем рассказывать мне то, что я и сам, без вас, прекрасно знаю?

— Затем, синьор, что я, по своей должности, привык к обращению с иностранными господами; я много их знаю, меня многие знают, и все меня любят. И больше вас никто мне по душе не приходился. Вы много платите мне за наши поездки, но, честное слово, я к вам не за это привязался: хорошо платят и другие, а просто — славный вы человек, вот что. И тем печальнее мне говорить вам не слишком-то приятные вещи...

— Час от часу не легче... Не тяните, рассказывайте напрямик: что, как и почему...

На бронзовую кожу Альберто легли тени еще темнее — точно все впадины лица стали еще глубже, а выступы — еще резче; через лоб, наискось, вздулась, как бечевка, синеватая жила.

Он машинально схватил весла и двумя-тремя ударами двинул лодку на несколько сажень вперед; потом со стуком положил весла на борт и скрестил на груди мускулистые голые руки.

— Дело простое, синьор! — сказал он отрывисто и грубо, с враждою глядя прямо в лицо иностранца. — Зачем вы сбиваете с пути Джулию?

* Матрос *(ит.)*.

Иностранец широко раскрыл глаза.

— Я сбиваю с пути Джулию?! Альберто! Во-первых: как вы смеете задавать мне такие вопросы? Во-вторых: откуда вы эту глупость взяли? Какая сорока принесла вам ее на хвосте?

— Простите, синьор! — по-прежнему хмуро возразил Альберто. — Конечно, я помню расстояние между нами... Но когда вопрос касается моей невесты...

— Невесты?! — перебил иностранец. — Джулия ваша невеста? Давно ли?

— Я посватался к ней в день Троицы.

— И она приняла ваше предложение?

— Нет, не хочу лгать. Она мне не сказала ни «да», ни «нет». Сказала: «Ты подожди, а я подумаю...» Она ведь так еще молода, синьор. Но она скажет «да», синьор. Клянусь вам, что скажет... Если только... если...

Он замолчал и исподлобья, косо поглядел на иностранца.

— По вашей выразительной физиономии легко догадаться, что значит это «если», — усмехнулся иностранец. — Не косите так страшно глаза, Альберто... Вылитый Таманьо в «Отелло». Успокойтесь. Мне столько же дела до вашей Джулии, сколько — вон до той волны, что бежит на нас... Посмотрите, какой чудесный, белый гребешок на ней, как он змеится и зыблется... Вот бы зарисовать!.. Да! Так о Джулии-то... Она красивая девушка... Даже очень красивая, чрезвычайно; если хотите, редко такую можно встретить. Я художник, родился я на севере... Ух, Альберто, на каком севере! Вы бы в моем Петербурге умерли от хандры... Я его и сам терпеть не могу. Всегда и отовсюду меня на юг тянет: и жизнь здешнюю люблю, и работать здесь хорошо. И темы моих картин — все ваши, южные: голубое небо да горячее солнце... Вот теперь затеял писать «Миньону». Вы ведь, кажется, были у меня в мастерской, видели наброски...

Альберто утвердительно кивнул головою. Художник продолжал:

— Более подходящей модели, чем ваша Джулия, я и представить себе не могу. Я натурщиц десять переменил, пока не набежал на нее. С нею моя работа идет успешно, и я очень благодарен ей за это. Затем, у нас с Джулией точно такие же отношения, как с вами. Вы возите меня в лодке по морю, — это доставляет мне удовольствие, — я вам плачу. Джулия позирует для меня час-другой, — это доставляет мне пользу, — я ей плачу. Вот и все. Мы друзья с нею, как друзья с вами. Вы знаете, что я люблю ваш народ и, если не ошибаюсь, то и меня здесь любят. Вообще, я очень люблю, чтобы меня любили... Я с Джулией ласков, болтаю, шучу, пою ей иной раз русские песни, а она мне — Sarta и Chiave*, в карты раза два играли, как и с вами, Альберто. Что же сказать вам еще? Я сделал десять набросков с ее прелестной головки; сделаю еще пять, — моя «Миньона» окончательно выяснится у меня в мыслях, и я уеду в Рим, вместе с пятнадцатью Джулиями в карандаше и красках, а вы останетесь с настоящею. И чем скорее это будет, тем лучше, потому что мне ваше Виареджио уже надоело.

Лицо Альберто несколько прояснилось; он медленно взялся за весла и, задумчиво глядя вдаль, пенил воду, заставляя лодку вращаться на одном и том же месте.

— Все это так, синьор, — нерешительно сказал он, — я и сам полагал, что такой прекрасный господин, как вы, не захочет ставить ловушку бедной девушке. Но ведь вот оказия! Беда приключается не потому, что ее ищут, а сама приходит, незваная. Вы, — я вам верю, — вы ничего не хотели дурного, синьор, а девка-то в вас влюбилась. Честное слово, влюбилась...

— Полно вам, Альберто! У вас — бедных южных чертей — воображение вечно отравлено любовью и ревностью...

— Нет, уж вы мне, синьор, поверьте. Ведь я ее люблю. А у нас, влюбленных, на этот счет особое чутье. Мы чуем

---

* Сарта и Шива (*ит.*).

соперника, как собака лисицу. Да... наконец, она и сама довольно ясно намекнула мне на это...

— Вот как! Интересно...

— Она, синьор, думает, что вы и в Виареджио-то живете ради нее...

— В этом, как вы слышали, она и не ошибается.

— Нет, — для нее, для нее самой, а не для картины... Мечтает, будто вы возьмете ее в Рим, а потом и в Россию. А картина — это так, один предлог, любовная маска. На днях я спросил ее: «Джулия, как же ты надумалась относительно меня?»

А она мне в ответ: «Никак, Альберто; погоди, куда ты спешишь, чего боишься?» — «Как, — говорю, — мне не бояться за тебя, Джулия? Девчонка ты молодая, красивая, — вон с тебя картину даже пишут; служишь ты на народе, при купальнях, все форестьеры вьются около тебя, ухаживают, врут глупости, а ты слушаешь, развесив уши. Думаешь, — мне это сладко? Как же! Я бы им, приезжим дьяволам, — простите, синьор, это не про вас, — головы попроломал веслом, кабы меня хозяин не прогнал за это с места. Сделай милость: женимся скорей да и бросим все эти пустяки». Она, синьор, смутилась этак, замялась... «Выйти за тебя, Альберто, можно бы, да ведь это значит так навеки и похоронить себя в трущобе этой, в Виареджио». — «А куда же нам еще? Тут у меня и домишко, и земелька, тут и дед, и отец мой жили, всякий меня знает и почитает, даже господа форестьеры, как приедут на сезон, сейчас же спрашивают: «А где Альберто?» Она поморщилась, вздохнула... «А мне бы, — говорит, — хотелось уехать отсюда — куда глаза глядят, далеко-далеко... Скажи-ка, Альберто, — ты моряк, бывал в разных краях: что это за страна такая — Россия? Какое в ней солнце, и как люди живут?..» Слышите, синьор?

— Слышу. Дальше.

— Я, дурак, принялся ей рассказывать, как мы стояли в Одессе с грузом, но вдруг у меня в голове, знаете, просвет-

лело... «Вот что! — думаю, — вот ты какая!..» Весь я тут, синьор, закипел и стал ее ругать!..

— Джулия?

— Известно, в долгу не осталась — тоже меня ругала...

— А затем?

— Я обещал ее прибить, если она не поумнеет, и решился поговорить с вами. Дня два не осмеливался, а вот... Оставьте вы Джулию, синьор! Ну ее к бесу, эту вашу картину!..

— Как «ну ее», Альберто? Бог с вами! Да ни за что. Я не ремесленник, не поденщик — мне мое искусство дорого.

— Вам жаль малеваного полотна, — укоризненно качая головой, перебил Альберто, — а живых людей вы не жалеете. Ведь вы нехотя можете погубить девку, а с нею — и меня. Да уж что скрывать? Прежде, чем меня-то, — и себя. Потому что, если Джулия меня бросит, — мне жить не для чего, но обиды этой я ни вам, ни ей не прощу... А у нас в Тоскане, — вы знаете...

— Вы меня не пугайте, Альберто, — серьезно остановил художник, — я этого терпеть не могу. Говорят же вам, черт возьми, толком, что до вашей Джулии мне нет никакого дела!

— Ах, синьор! Да ведь Джулия молода, красива, любит вас. Что же вы — деревянный, что ли? Сегодня нет дела, завтра нет дела, а послезавтра, глядь, и закипела кровь... А бедному Альберто что останется? Ножевая расправа — вот что! Вы думаете, очень мне хочется этого? Думаете, большая сласть — губить чужую и свою душу? Бросьте вы эту картину, синьор! Право, бросьте! Ну, пожалуйста! Умоляю вас! Для меня бросьте!..

— Чудак вы, Альберто!

— А то найдите себе другую, — как вы ее там зовете? — Миньону, что ли?.. Не одною Джулией свет сошелся. Посмотрите на рынке фруктовщицу Анунциату: чем не красавица?

— Видел. Хороша, да не подходит. Когда буду писать какую-нибудь Лукрецию или Виргинию, ее возьму, а теперь —

спасибо. При том у Анунциаты, наверное, тоже есть какой-нибудь свой Альберто или Изидоро, которому мои сеансы станут поперек горла. Нет, Альберто, — и картины я не брошу, и Джулию ревновать вам нет резона... Тем более, что скоро конец...

— Ничего из этого конца не выйдет доброго, синьор. Оставьте Джулию.

— Да слушайте же вы, упрямая голова! — уже вспыхнув, возвысил голос художник. — Неужели вы не понимаете, что вы, собственно, даже и права-то не имеете приставать ко мне с этим? Какой вы жених Джулии? Она вас не любит; пойдет за вас или нет — неизвестно, вы сами сознаетесь. Я бы мог оборвать вас по первому вашему слову. Но я несколько научен понимать людей и чувствую, как вам скверно. Слушаю вас, хочу вас успокоить, а вы, зажмурив глаза, лезете, как баран лбом на стену, на меня — человека, который не сделал вам ничего, кроме хорошего. Ладно. Вы ревнуете Джулию ко мне. Зачем же вы не ревнуете ее ко всей этой золотой молодежи, что окружает ее у купален, нашептывает ей нежности, берет за подбородок, щиплет, обнимает? Ведь у меня в мастерской никогда не бывает ничего подобного, да и быть не может.

— Я знаю, синьор.

— А сколько раз я видал, Альберто, что вы смотрели на такие проделки с самым философским равнодушием... Да и сами вы — какой святой! Джулия еще ни разу не царапала вам глаза за то, как вы учите форестьерок плавать?

— За что же, синьор? Это ремесло. Она — купальщица, я — marinajo. Во всяком деле есть своя манера, с этим надо мириться.

— Вот как! Отлично. И у меня есть своя манера: брать хорошую натуру там, где я ее нахожу. Вы женщин купаете, а я — рисую, значит, и останемся каждый при своем. Вы не уступаете мне свою Джулию, — кстати, мне ее и не надо, — а я не уступлю вам своего права ее написать...

— Это ваше последнее слово, синьор?

— Последнее, решительное, окончательное, — и баста толковать об этом!

Альберто побледнел так, что у него глаза сразу окружились темными венчиками и нос как будто заострился...

— Так вот же вам, синьор, и мое последнее слово, — сказал он тихо, раздельно и внятно. — Я... я вам не верю. И если Джулия еще раз будет у вас в мастерской, мы — враги. И... чем скорее уедете вы из Виареджио, тем лучше для вас.

— Кажется, вы опять грозите мне, Альберто? Что же, вы убьете меня, что ли?

— Я ничего такого не сказал, синьор. Но я — тосканец и сумею постоять за себя.

— Очень хорошо. Стойте! — ваше дело. А теперь не угодно ли вам будет повернуть лодку к берегу, потому что вы страшно надоели мне, Альберто, и отравили всю мою прогулку...

— Синьор...

— Так, что признаюсь, меня сейчас разбирает большая охота взять вас за горло и швырнуть в воду. Ведь я втрое сильнее вас. Но так как это гимнастическое упражнение представит некоторые неудобства для нас обоих, то лучше — к берегу, Альберто, к берегу.

II

«Вот не было печали, — черти накачали! — думал художник, идя медленным шагом от моря в свой отель. — Терпеть не могу всяких историй, а уж особенно романических. Да еще здесь. Народ-то они добрый, эти тосканцы, но только в каждом из них сидит черт; сидит и спит; а чуть разбудишь его, — сейчас и пошла поножовщина. Но и отступать я тоже не имею охоты. Это значило бы струсить, — раз. Два: что же я буду

делать без этой девчонки? Мне моя Миньона денег стоит. Так вытанцовывается, что, пожалуй, на будущей передвижной окажется лучшим полотном... С Третьякова хорошие капиталы взять можно. А без Джулии ни беса лысого не выйдет, не то что Миньоны. Эта девчонка открыла мне настоящую линию, и я чувствую, что если уйдет она, то, пожалуй, и линия уйдет. И выйдет у меня вместо Миньоны либо какая-нибудь девка-чернавка, либо тусклятина с правильным рисуночком: руки в боки, оки в потолоки! Как всегда, наш брат пишет, когда имеет мысль, но теряет вдохновение: весьма много «идеалу» и еще больше бесцветности...»

— Ларцев! Андрей Николаевич! Андреа дель Сарто! — окрикнул художника ленивый мужской голос.

Художник поднял глаза и на балконе, повисшем над двумя совсем пунцовыми от цветов олеандрами и олеандрами же густо заставленном, увидал своего заграничного знакомого, Дмитрия Владимировича Лештукова. Он сидел в тени, перевесив одну руку через перила балкона, а из другой сделал щиток над глазами и, жмурясь от белых отсветов залитого ярким солнечным блеском дома насупротив, ласково улыбался художнику.

— Вы с моря? А я не ходил. Ну их, надоели...

— Кто надоели?

— Волны надоели.

— Да помилуйте, море сегодня, — как есть, — барашек! Волна — одно только звание, что волна. Кроме приятного массажа, ни на что не годится; так, — чешет тебя слегка и, как говорил Иван Федорович Горбунов, шерсть со шкуры сводит...

— Ну и благо желающим! А я их — волн ваших — видеть сейчас не могу. Что это море разделывало на заре, — вы и представить себе не можете! Ведь вы, конечно, по обыкновению, проспали часов четырнадцать сном праведника?

— А вы, конечно, по обыкновению, изволили блуждать всю ночь бессонною тенью?

— Нет, я спал; выпил вчера на ночь фиаску chianti * и завалился около полуночи в постель. И тотчас же начало мне сниться, будто я солдат, будто я бежал из полка и будто меня за побег гонят сквозь строй. И барабаны — большие турецкие барабаны, штук десять — дробь выколачивают. Просыпаюсь, а это, изволите ли видеть, ласковое пение голубой средиземной волны. Два часа, тьма египетская, сна — ни в одном глазу. Понятное дело, — встал, сел читать...

— Небось своего Ломброзо?

— Ломброзо. Море рычит-рычит да ахнет, рычит-рычит да ахнет, и что хуже: этот ли его постоянный рык или это промежуточное аханье, — не могу сказать вам. Знаю только, что если бы я мог старика Нептуна, вместе с его конями, отдать на живодерню, ни минутки не задумался бы — и пропадай вы все вместе: поэты, художники, музыканты и прочая публика, кормящаяся морскими вдохновениями. Однако, что же вы там стоите? Зашли бы. У меня здесь chianti с места, di prima qualita **, сифон, лед, коньяк, — все, что требуется по нашему туристскому положению.

— Это с утра-то? — протестовал художник.

Однако зашел.

— Могу сказать: хорошо вы выглядите сегодня! — заговорил он, усаживаясь в кресло против Лештукова.

— А что? Некрасив?

— Нет, нельзя сказать, довольно даже интересен; ежели показать барышне с чувствами, — будет тронута: Гамлета, принца Датского, — хоть отбавляй. Только знаете что? Полечились бы вы от бессонниц. Эта гамлетистость сильно на лихорадку смахивает. Розовые тона, милый человек, лучше всего.

— От чего лечиться, когда я совершенно здоров? Я вон вчера в лагерь к берсальерам *** попал; шутки ради, малость

* Кьянти *(ит.)* — тосканское вино.

** Первосортное, высшего качества *(ит.)*.

*** Стрелки *(ит.)*.

пофехтовали, — троих затомил, а сам был вот такой же, как теперь меня видите. А хотите гонку устроим? На веслах в Специю или в Ливорно? Вы, я да Альберто; с Альберто пойду вровнях, а вам, пожалуй, час вперед дам. А что не сплю я, — тому имеются причины. Оставим меня. Как поживает Миньона?

— Двигается, быстро двигается. Да что, батюшка! Я, признаться, в большом смущении.

Андрей Николаевич передал Лештукову свое объяснение с Альберто. Лештуков слушал его, прищурив глаза, как бы в полудремотном состоянии.

— В достаточной степени глупо, — вяло сказал он, когда художник умолк, — и, признавайтесь уж по чистой правде! — у вас, в самом деле, нет ничего с этой Джулией?

— Уверяю вас — нет.

— То есть, как есть ничего, — ни-ни?

— Вот именно ни-ни.

— Да я не говорю вам про что-нибудь серьезное: роман, связь, — а так, может быть, маленький флирт?

— И флирта никакого не было.

— Напрасно!

— Вот тебе раз! Почему же это?

— Вы как-то раз проходили вместе с нею мимо моих окон. Я и пригляделся. Этакая вы славная парочка крайностей. Она — воплощенный юг, молодой, сильный, огненный... вот с этим солнцем, что выращивает эти пламенные цветы, с этим солнцем, под которым, кроме любви, и думать-то ни о чем невозможно... У меня когда-то родилось довольно нелепое четверостишие, — уж не помню, право, почему и для кого я его написал:

Темны и тихи были очи,
Как полночь южная сама,
Но всеми звездами полночи
Горела ярко эта тьма!

Ничто не исчезает из мира. Всякая нелепость на что-нибудь пригодится. Даже и стихи. У вашей Джулии такие глаза. Ведь правда?

— Да, оно точно, глаза забористые.

— А вы, Ларцев, — север. Если доживете до карнавала в Риме, нарядитесь-ка рыжебородым Тором. А? Что вы на это скажете? Плечища у вас — косая сажень, волос больше, чем полагается даже для художника, бороду вы украли у Рубенса, а за сим, примет особых нет, лицо чистое, нос и рот обыкновенные, как пишут в паспортах. Вы когда-нибудь бываете не в духе? Злитесь?

— Нет, злиться подолгу не случалось. Вспылить могу. В ярость раза два в жизни приходил.

— У вас, должно быть, глаза тогда совсем белые становятся, этакие большие, жестокие и со стальным отливом. Ведь правда?

— Не знаю, может быть. В зеркало не смотрелся. Да что вы меня разбираете по статьям, точно лошадь? В роман, что ли, всунуть хотите ?

— Не знаю, может быть, и в роман. Чем же вы не герой романа? У вас, кстати, и сюжетец наклевывается. Но насчет глаз — это я не потому. Был у меня, видите ли, приятель, такой же, как вы: белокурый, краснощекий господин, с вечно голубым светом в глазах. Но в один прескверный день увидал я своего краснощекого друга вместо розового бледно-серым и с глазами, как две большие оловянные ложки. Тупой, пристальный взгляд, веки не мигают, выражения никакого: смотришь в эти глаза и не оторвешься, точно загипнотизирован. Вижу: ни сознания, ни памяти, ничего живого не осталось в человеке. Стоит предо мною — не рассуждающая, заведенная на ярость машина великого гнева и мести. А потом он, не говоря мне дурного слова, вынул из кармана револьвер и принялся в меня палить.

— В вас?

— Да, в меня. Я у него жену увез. Два месяца мы с этой дамою путались по Европе, а он нас повсюду по Европе искал. Нашел в глухой нормандской деревушке, где мы ужасно скучали, — я ей надоел, она мне надоела, — оба думали об одном: как бы нам попристойнее и поэффектнее устроить решительную любовную ссору и благородный разрыв. И вдруг, накануне, так сказать, самого благоприятного конца романа, является этот бешеный с своим револьвером. Три раза в упор стрелял, сюртук мне испортил, и если бы не серебряный портсигар в кармане, я бы, конечно, не имел удовольствия с вами сейчас разговаривать.

— Так-с. А дальше?

— Я не помню, каким образом вырвал у него револьвер, и опять-таки не постигаю, когда мой Отелло успел впасть в истерику. Бьется человек на полу, как Геркулес в отравленной тунике, хватается за мебель, — ножки у кресел трещат. Я на него целый умывальник воды вылил да в нутро ему графина два влил. Очнулся, сидит, дрожит, молчит. И я сижу, молчу. Потом вдруг молит меня — тихим таким, смирным голосом: «Где Ольга, Дмитрий Владимирович? Верни ты мне ее! На что она тебе? И прости мне все, что было!» Конечно, я ему простил... Отчего же не простить? Сюртук не Бог знает каких денег стоит. А вот он-то простит ли меня? Его горе — не дыра на сюртуке. Я тогда сейчас же вышел из дому, даже вещей не собрал, рукопись начатую на столе бросил, сел в поезд и уехал в Париж. И больше мы ни с этим господином, ни с супругой его никогда не встречались.

— У вас таких историй много, Дмитрий Владимирович?

— Был молод — был глуп. Теперь все это — дела давно минувших лет. Шампанское выпито — остались кислые подонки. Итак, Джулия — юг, вы — север. Вы — рыжебородый Тор, она — Миньона. Вы — трансальпийский варвар, явившийся покорять прекрасную Италию, она — прекрасная Италия, желающая быть покоренною.

— Вы ошибаетесь! Я вовсе не собираюсь покорять. По правде сказать, она мне вовсе не нравится. Она для картины хороша, под мысль мою подошла. А как женщина, она не в моем вкусе...

— Джулия? Не в вашем вкусе?! И вы смеете в этом признаваться? Вы? Художник? Она красавица, по всем правилам искусства красавица! Если она вам не нравится, вы изменяете девизу вашего цеха. Поклонение красоте — вот ваше художницкое дело. По-настоящему, вы, художники, должны чувствовать себя в жизни так, как мы, грешные, чувствуем себя только в музеях. Нам, чтобы замечать красоту, нужно ее собирать, выставлять, группировать. Вы, призванные эту красоту воспроизводить из мрамора и красок, обязаны ловить ее повсюду, хватать живьем, вечно стоять на ее страже и наготове преклоняться пред нею! Да что с вами говорить! Я не художник, я не имею дела, как вы, с этою поэзиею живых форм, с поэзиею тела, с этой осязательною, наглядною красотою, такою понятною, простою и такою великолепною. Мы, мученики стального пера, — бедняки в сравнении с вами, счастливцы — вы! Нас отвлеченности давят, нам теории поперек горла становятся, то скорбь гражданская, то скорбь мировая, от нас не красоты — тенденции да «серенькой действительности» требуют; а вы, блаженные, идете тропинкою, обложенною справа и слева розовыми кустами. Вы имеете дело не с серенькою, а с самою непреложною действительностью, какая только есть на свете — с красотою. Ох, как я понимаю этих каналий-греков, Андрей Николаевич, со всеми их Аполлонами и Венерами! Вы верите в переселение душ? Знаете, я иногда думаю, что некогда, в той толпе, которая преклонилась пред входящею в море Фриною, я был не последним крикуном... Вы что-то хотели сказать?

— Нет, ничего... Посторонняя мысль... — отозвался художник, с легким оттенком смущения в голосе и чуть-чуть краснея.

Лештуков внимательно взглянул ему в лицо, и брови его дрогнули.

— Вы еще очень молоды, — отрывисто сказал он. — У вас на лице можно читать, как в развернутой книге, а это нехорошо. Века, когда глазам полагалось быть зеркалом души, давно прошли. Хотите, я назову вам вашу «постороннюю мысль»? Ведь она обо мне была?

— Уж если вы такой проницательный, — принужденно засмеялся художник, совсем пунцовея, — то — да. Мне хотелось сказать: «Как же вы-то сами, вы — такой поклонник истинной красоты — равнодушны к ее прелестям и...»

Художник запнулся.

— Договаривайте, — медленно сказал Лештуков, задумчиво глядя в сторону, — «И вместо того, чтобы богомольно благоговеть перед святыней красоты, валяетесь бессильным рабом у ног — много-много что хорошенькой — интернациональной барыньки».

— Оставьте, пожалуйста! Я слишком уважаю Маргариту Николаевну, чтобы...

— Чтобы сразу назвать ее, в ответ на мое не весьма почтительное определение, по имени и отчеству, — с горькою улыбкою перебил Лештуков. — Полно! Вам не идет хитрить. Что ж? Вы правы. Логика моей жизни стала в последнее время вверх ногами. А только вот что я вам скажу, милый мой юноша: не судите да не судимы будете.

Лештуков встал; на скулах у него выступили розовые пятна.

— Есть в жизни закон возмездия, и кто легко прожил жизнь, попадает под этот закон там, где не ожидает. В молодости было много бито, граблено, напоследок надо, видно, самому быть ограбленным и убитым. Привычка быть любимым мстит за себя. Много серьезных мыслей, серьезных чувств обращал я в свое время в игрушки для легкого и приятного препровождения времени. И вот игрушки отомстили за себя,

и, неисповедимою волею судеб, я сам теперь игрушка... Но довольно об этом и... давайте лучше пить лимонад с коньяком!..

III

Альберто — после того как молча расстался с художником у пристани — долго смотрел вслед Ларцеву, точно сравнивал мысленно свою силу с силою иностранца или искал на его богатырской спине места, куда ему удобнее будет пихнуть ножом.

— Альберто! Альберто! — окликали его из пестрой купающейся толпы мужские и женские голоса...

Было заметно, что этот бравый, смуглый молодец, с простоватым, но красивым лицом, с большою лапою «Умирающего гладиатора» и мускулами Геркулеса Фарнезе, — любимец всей купальни.

— Ступайте в воду, Альберто! Что вы болтаетесь без дела? — строго заметил ему хозяин — рыжеусый, вовсе не похожий на итальянца, отставной солдат.

Marinajo покрутил головой, проворчал сквозь зубы какую-то ругань и влез в море — мутное, зеленое, с проседью у берегов. Хлопая рука об руку и боком, по-сорочьи, перескакивая через набегавшие валы, он приблизился к limite — веревке, за которую воспрещается выходить не умеющим плавать. На limite повисла бодрая дюжина дам, — целая радуга пестрых купальных костюмов. Дебелая немка, воспользовавшаяся модным покроем купального костюма, чтобы дать публике самое подробное понятие о всем мясе, каким, взамен красоты, наградила ее природа, тотчас же завладела Альберто. Он вяло влачил ее за руки, между тем как сама она, перехваченная поперек тела пробковым поясом, тяжело бултыхала по воде ногами.

— Вы точно пароход, — небрежно заметил Альберто и оставил купальщицу: она не принадлежала к его постоянной публике, — к публике, которая с ним острила, болтала, фамильярничала, принимала от него комплименты, а подчас и дерзости, обучала его коверкать слова и фразы всех европейских языков и за все это время от времени награждала его двадцатифранковиками.

Альберто обвел глазами ряд голов над перилами купальной веранды и нахмурился: он заметил Джулию, полускрытую огромным ворохом купального белья, в оживленной беседе с маленьким графчиком, приехавшим несколько дней тому назад из Вены прополаскивать в море свою наследственную золотуху.

— Нет, нет, нет! — звенел голос Джулии. — Нет, ваше сиятельство. Никогда! Ни за что?

— Один поцелуй, — шепелявил графчик, ковыляя за нею на слабых ножках.

— Поцелуй? Мадонна santissima! * Да вы разбойник, граф! Вы бес! Вы дон Джованни!

— Всегда жестока!

— Художник прав, — проворчал себе под нос Альберто. — Сколько народу увивается за этою девчонкой — уму непостижимо!

А Джулия звенела:

— Оставьте, граф, в самом деле. Альберто увидит. Нехорошо. Ведь я почти невеста.

— О, Альберто! Я не боюсь Альберто.

— А не Альберто, так ваша же выползет... Крашеная. Как там ее? Фу, шик дама! Волосы как огонь! Каблуки у ботинок — вот! Шляпа — вот! цветы на шляпе — вот! Прелесть, что за женщина! А вы хотите ей изменить?

Она захохотала, точно жемчуг рассыпала.

— Джулия, вы ангел! — завздыхал граф.

---

* **Пресвятая! (*ит.*)**

Но она с испугом толкнула его локтем — тем фамильярным жестом, который только итальянцы умеют делать и дружеским, и изящным:

— Осторожнее, вы! Ведь и в самом деле идет.

Действительно, на веранде показалась необыкновенно величественная дама, в совершенно нарочном туалете из Парижа и «сделавшая себе лицо», точно она собиралась не купаться, а ехала на премьеру в Grand Opéra или на Grand prix de Longchamps *. Тощий негритенок уныло нес за нею корзинку с купальным бельем и мантилью.

— О Иезус! — простонал граф: он в это самое время едва не поцеловал Джулию, — и поспешил юркнуть в кабинку налево.

Дама с негритенком столь же величественно протекла вслед ему, но, проходя мимо Джулии, не выдержала характера — окинула ее молниеносным взглядом. Джулия, закусив губы, рьяно развешивала белье по перилам. Но когда дама уже протекла мимо, девушка залилась новым смехом, пряча лицо в простыню.

Лештуков, когда расхваливал художнику красоту Джулии, ни мало не преувеличивал. Это была, действительно, одна из прекраснейших девушек, какие когда-либо рождались даже и под южным солнцем. Не большая и не маленькая, стройная, еще не совсем развитая фигура ее производила впечатление поразительной гибкости, юной, девической упругости. Она точно на пружинах была сделана. В ней было что-то ди́кое и вместе благородное. Черты ее лица были правильны, но полны жизни, — а это редко бывает с правильными лицами; кожа смуглая, но не грубая, янтарно-прозрачная, с румянцем, как на вызревающем персике; огромные глаза, — карие, а не черные, как казалось с первого взгляда благодаря длинным ресницам, — и ослепительной

* Главный приз на скачках Длинного поля (*фр.*).

белизны зубы придавали этому вечно улыбающемуся ласковому лицу столько света и веселья, что стоило взглянуть на Джулию, и самому становилось — вместе с нею и за нее — весело. Вот, мол, счастливица, — как она любит жизнь, и как жизнь ее любит! Живет и радуется, не смущаемая завтрашним днем; сколько перед нею хорошего и светлого, и как беззаботно спешит она ко всему своему будущему навстречу!

Альберто сделал Джулии знак. По ее лицу мелькнула тень неудовольствия. Она с легким поклоном отошла от гостей, которым уже в это время служила, и нагнулась над перилами в то время, как Альберто поднялся до половины лестницы, спускавшейся с веранды в море.

— Ты долго ездил, — сказала Джулия низким голосом, с теми мягкими придыханиями, какими итальянский язык только в Тоскане и украшен. — Много заплатил тебе синьор Андреа?

— По обыкновению, — две лиры... Откуда у тебя эта роза?

Альберто кивнул на темно-красный цветок, — точно кровавое пятно, — в волосах Джулии.

— Да он же дал, — синьор Андреа. Она была у него в петлице, когда он пришел сегодня, а потом он отдал цветок мне. Он очень любезный и добрый господин, и вежливый, совсем не похож на тех художников, что приезжают к нам из Рима... Те ребята добрые, только уж очень грубы, а иные и совсем нахалы.

— Дай-ка мне эту розу, — перебил Альберто.

— Изволь.

Альберто взял розу, понюхал, повертел в руках и далеко швырнул в море. Джулия изумленно открыла на него глаза во всю их огромную, сияющую ширину.

— Ты, я вижу, опять взбесился? — сказала она, сердито сдвигая тонкие брови, — скажи, пожалуйста, когда ты будешь умен?

— Таким умом, как ты хочешь — никогда! — проворчал marinajo, — а уж по части твоего художника — никогда в особенности. Эй, Джулия, берегись! У меня глаза есть!

— А у меня есть руки, чтобы их выцарапать, если ты позволишь себе еще раз так со мною разговаривать! — возразила девушка, гневно засверкав глазами, — как горсть алмазов из них бросила.

— Право, — хоть бы знать: откуда ты набрался дерзости? Откуда ты взял власть надо мною? Ведь я тебе сказала раз навсегда: дальше, что будет, посмотрим, а покуда ты мне ни муж, ни жених, ни любовник, и я делаю, что хочу...

— Хороших ты дел хочешь! — пробормотал Альберто, глядя между ступенек лестницы на всплески волн, качавшие чью-то купальную широкополую шляпу, — ты думаешь, я не вижу, к чему ты ведешь?.. Молодая ты девчонка, а уже завертеться хочешь! Ну да ладно, — этому не бывать! Признавай ты мое право или не признавай, — это твое дело, а мое право — следить за тобою и тебя беречь. Мы с твоим художником сейчас поговорили начистую. Ты к нему больше позировать не пойдешь!

Джулия гордо откинула назад головку и презрительно улыбнулась.

— Вот как! Это, значит, ты мне запретишь?

— Не тебе, — возразил Альберто, — я знаю, что ты упряма, как сто коз, и, если тебе что-нибудь запретить, ты нарочно будешь это делать, — а ему.

— Ты, Альберто, — возразила Джулия, — кажется, воображаешь, будто ты один мужчина на свете, а остальные — все бабы и тряпки. Прикрикнешь ты на них, и они спрячутся по углам и все сделают по-твоему, тебе в угоду... Запрещать такому человеку, как синьор Андреа, легко на словах...

— Ты увидишь! ты увидишь! — стиснув зубы, говорил Альберто.

— И ты думаешь, что он тебя послушает?

— Послушает, если...

— Ну? — вызывающе кинула ему Джулия.

— Если жив быть хочет.

— Э?! угрозы?.. Вот что!.. — Джулия выпрямилась. — Так знай же ты, мой любезный, что — послушает тебя синьор Андреа или не послушает, — мне дела нет! Я — слышишь ты это? — я, а не он, — хочу, чтобы все было по-прежнему, и я буду ходить к нему, и он будет рисовать меня. Я хочу быть на его картине. Хочу, чтобы меня видели в Риме, и в России, и на всем белом свете, чтобы все знали, что была такая девушка, как я... такая красивая!.. И ты в это дело не мешайся! говорю тебе! Будешь много сторожить меня, — не устережешь, а, наоборот, я на зло тебе так сделаю, что ты меня вовсе потеряешь... Слышал?..

— Слышал! — угрюмо процедил сквозь зубы Альберто... — Мое дело — предупредить, а послушаться или нет — ваше...

— Buon giorno, signor russo! *

Он почтительно раскланялся с Лештуковым, который быстрым твердым шагом всходил по мосткам на веранду.

— Buon giorno, signor!.. — любезно улыбнулась ему и Джулия.

Лештуков бросил на девушку рассеянный взгляд и, дотронувшись рукой до серой шляпы, пошел дальше...

— La Signora non è pronta ancora! ** — крикнула ему вслед Джулия, — она недавно только вышла из воды и одевается в кабинете...

— Ну и прекрасно... — пробормотал Лештуков, садясь верхом на перила. — Здравствуйте, Джулия! Как поживаете? Впрочем, что же и спрашивать? Хорошеете, здоровеете и цветете.

---

* **Добрый день, синьор русский!** ***(ит.)***

** **Синьора еще не готова!** ***(ит.)***

Девушка засмеялась.

— Даже вы заметили? Вот чудо-то, signor!..

— А вы, ragazza mia *, разве считаете меня слепым?

— Нет, у вас глаза и зоркие, и... красивые, — только они не для нас, бедных! У вас глаза, как магнитная стрелка: всегда их тянет в одну точку к... к Полярной звезде! — по сторонам не заглядываются... Зачем синьор так запоздал? Пришли бы раньше, — увидали бы, как синьора Маргарита плавала... Она делает успехи... Сегодня уплыла далеко-далеко в море... Мы даже испугались: хозяин хотел плыть за нею...

Лештуков с хмурым любопытством взглянул в лукавые глаза девушки, хотел что-то сказать, но, спохватившись, равнодушно протянул долгое «гм» и затем заговорил — вместо того, что хотел сказать, — совсем другое.

— Когда ваша свадьба, Джулия?

— Свадьба, signor?! Я и не мечтаю о свадьбе.

— Вот как! А я, признаться, думал, что вы невеста Альберто.

— Альберто — добрый малый, синьор, но... чтоб идти за него замуж... нет, синьор, я подумаю и еще много раз подумаю.

— Смотрите: не продумайте своего счастья.

— О, я имею право ждать... Вы, может быть, думаете, что я бесприданница, синьор?

— Миллионов Ротшильда у вас, во всяком случае, нет.

— Но, право же, очень кругленькая сумма в городском банке, синьор. Конечно, — по нашим здешним понятиям: что скопила, услуживая дамам при купальнях. Я отношу на текущий счет все мои сбережения, синьор, каждую субботу. И всегда золотом.

— Так что вы сделаете своего будущего мужа маленьким капиталистом?

---

* Моя девочка *(ит.)*.

— Ну уж нет! Только мужем. Довольно с него и этого удовольствия. Конечно, если я выйду замуж здесь, в Виареджио.

— А вы непрочь бы увидать свет и дальше?

— Как знать судьбу, синьор? Кто может предчувствовать, куда тебя бросит будущее и с кем. Я ведь мечтательница. Верите ли? Когда моя служба кончается, купальни закрыты, ночь над землею и пусто на берегу, я часто прихожу сюда на веранду и сижу одна, одна... Море и небо кругом, небо и море... И звезды... Огромные, зеленые звезды. Вот Большая Медведица. Вот Вега, вот Полярная звезда. Она водит по свету путешественников и мореплавателей. Это и ваша звезда, синьор, потому что вы тоже путешественник. Она моя любимая, синьор. Найду ее на небе да так уж больше с нею и не расстаюсь. Тянет она меня к себе, манит. Только позови, только прикажи.

Глаза Джулии опять алмазами рассыпались... Лештуков покачал головой.

— Знаете ли, что я вам посоветую, Джулия? Поискали бы вы, вместо звезды Полярной, какую-нибудь звездочку попроще да поближе к себе. Здесь они у вас приветливее и светлее сияют.

Яркие краски прелестного лица Джулии сразу потускли.

— О, синьор, — возразила она, и в голосе звучала горькая обида. — Я сама знаю, что это мечты, только мечты. Что со мною будет, угадать легко... Выйду замуж за булочника или бакалейщика, откроем торговлю или таверну. Ха-ха-ха! только мужу в руки дела не дам. Что мое, что твое, — все оговорю в свадебном контракте. Нарочно в Пизу поеду, оттуда адвоката привезу.

— Это неглупо, Джулия, — одобрил Лештуков, делая вид, что не замечает ее недовольства. — А добираться до полярных звезд и далеко, и мучительно: это — труднодостижимые, холодные звезды; они светят, да не греют, Джулия... Верьте слову опытного друга!

— А если б, синьор опытный друг, я сказала вам то же самое?.. вы послушались бы меня?

— Ха-ха! Вы лукавая девочка, Джулия!..

— Какою мать родила, синьор!..

— Ma... ecco la signora! *

IV

Решетчатая дверь кабины отворилась, и на пороге появилась женщина. На лице Лештукова растаяли все облака, наслоившиеся на нем после бессонной ночи. Точно его солнцем пригрело, точно в жилы ему прибавили фунт свежей, молодой крови.

— Я здесь, как видите, — сказал он, кланяясь, — я не мог вас проводить, зато не вытерпел, пришел за вами...

— Я знала, — отвечала женщина звонким, высоким голосом, улыбаясь Лештукову всем лицом — круглым, розовым, неправильным.

На щеках у нее дрожали ямочки, а большие, внимательные глаза были полны того довольства, какое бывает у людей лишь в то время, когда им везет счастье в чем-нибудь давно желанном или задуманном. Это была стройная, гибкая женщина с движениями, полными нервной силы, — по первому взгляду можно было сказать, что пред вами существо, которое нервами живет и вознёю с ними занимает три четверти своей жизни. Вся в их власти, она — то полумертвая, вялая, безынтересная, даже не красивая; то выпадет такой счастливый денек, что она может смело соперничать с самой эффектной красавицей. Подобных женщин создают туалет и настроение. Сегодня туалет был выбран как нельзя удачнее, нервы отдыхали, — и Маргарита Николаевна Рехтберг показалась Лештукову интереснее, чем когда-либо.

---

* Однако... синьора! *(ит.)*

— У вас прекрасный вид, — сказал он. — И я теперь особенно рад этому. Вы здоровы, — и, значит, вы спокойны. А, признаюсь вам, — пора. Черт знает, какую неделю мы прожили! Море гудело, вы кисли и... passez le mot! * тоже гудели... Но вот — хвала небесам — выглянуло солнышко.

— А вам так скучно было его ждать? — бросила быстрый вопрос Маргарита Николаевна, — так вы бы не дожидались, ушли.

Лештуков покачал головой и засмеялся, растроганно и тепло глядя ей в смеющиеся глаза.

— Зачем? Я ведь знаю, что после ненастья солнышко светлее светит, теплее греет и краше выглядит. А ненастье — вещь скоро преходящая.

— Однако знаете: неделя ненастья — неделя пропащей жизни... Разве у вас их так много в запасе?

Лештуков молча снял шляпу и склонил пред Маргаритой Николаевной свою черную, мохнатую голову: там и сям поблескивали нити седины.

— Вот видите, — сказала Маргарита Николаевна, — уже снежок заметен. Ох, милый друг, «не теряйте дни златые — их немного в жизни сей».

Лештуков вместо ответа принял театральную позу и, указав на ряд парусов, острыми треугольниками серевших на горизонте, произнес трагически:

Под ним струя — светлей лазури,
Над ним — луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!..

— Ах, пожалуйста, не пугайте меня стихами. Я их боюсь. Поэты, по-моему, все равно, что пророки: они изрекают афоризмы и сентенции, которых мы, простые смертные, не

* Извините за выражение! (*фр.*)

понимаем, которые нам, простым смертным, решительно ни на что не нужны, а все-таки мы насильно обязаны считаться с ними, потому что они «божественный глагол». И какие там бури?.. Бури... гм... Могу сказать!.. Просто серенький, кислый, дробный северный дождик, неизвестно зачем заплывший под это чудесное небо. Я хандрю, а вы мне аккомпанируете. Это делает честь вашей любезности и терпению, но не делает чести вашему благоразумию и вкусу. Если бы я еще, в самом деле, была способна на какую-нибудь бурю, — куда ни шло!.. Но семидневный дождик — брр... Как вы думаете: если бы король Лир, вместо того чтобы попасть на одну ночь под ливень, гром, молнию и прочие бутафорские прелести, обязан был скитаться семь дней под осенним дождичком? Этак, знаете, — кап... кап... словно сквозь мелкое сито... И над головою серая туча, скучная, пухлая, надутая, точно провинциальная чиновница с флюсом? Я уверена, — Лир или возвратился бы к своим преступным дочерям, или, по крайней мере, попросил бы зонтика.

— Зонтиком-то обзавестись и я бы не прочь, — улыбнулся Лештуков...

— Да и обзаводитесь, — быстро отразила Маргарита Николаевна, — жаль только, что скверным... Поди, коньячная порция уже принята?

— В самых скромных размерах.

— Работали бы лучше.

— Дело не медведь: в лес не уйдет. Нельзя служить сразу двум богам.

— То есть?

— Вам и литературе.

— Как это лестно для меня! Но позвольте: два месяца тому назад, при первых наших встречах, вы меня уверяли, что я проливаю свет на ваш образ мыслей, открываю вам новые горизонты, что я ваше вдохновение, в некотором роде суррогат Музы. И вдруг... о, небо! Верьте после этого мужчинам!

— Вы вот стихов не любите, — отшучивался Лештуков. — А ведь за мной в этом случае какой адвокат-то стоит: сам Пушкин.

— Пушкин? «Пушкин — это старо», — говорила одна моя подруга. Но у меня слабость к умным старикам. Что же говорит Пушкин?

— «Любя, я был и глуп, и нем...»

— Конечно, если уж сам Пушкин... Отчего же в компании с ним не почувствовать себя глупым? Но вы знаете выражение Виктора Гюго: «Я предпочел бы умный ад глупому раю». А я предпочла бы умного... даже Лештукова — глупому... даже Пушкину.

Лештуков опять задекламировал:

Погасший пепел уж не вспыхнет;
Я все грущу, но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять!

Маргарита Николаевна засмеялась, — ямочки на ее щеках заиграли.

— Вы сегодня строите шута. Но это лучше, чем пить... А все-таки исправьтесь.

— Совсем прикажете исправиться? Так, чтобы — начать «поэму песен в двадцать пять»?

Маргарита Николаевна окинула его с ног до головы взглядом смеющимся и счастливо туманным. У нее странно шевельнулись плечи и капризно задрожала насмешливая нижняя губка.

— Нет, — полушепотом бросила она из-под веера Лештукову, — совсем не надо... Это, кажется, мне будет самой дороже... а слегка, немножко... ну, хоть на столько, чтобы не смотреть на меня такими выразительными глазами... Ведь это не глаза, а вывеска, на которой всякий прохожий может

прочитать: «Лештуков и Рехтберг. Патентованная фабрика всеобъемлющей любви по гроб...»

— Без отпуска ни оптом, ни в розницу! — с кривою усмешкою возразил Лештуков.

Она сделала вид, будто не слышит, и трещала скороговоркою:

— А затем давайте вашу руку и ведите меня в отель завтракать: я — как ваш Ларцев выражается — «проплавалась и в аппетите».

— Hübsches Paar! * — сказал солидный, добродушного вида немец другому, такому же солидному и добродушному, когда Лештуков под руку с Маргаритой Николаевной спускались с веранды к сыпучим береговым пескам.

Джулия пожелала им здоровья и обдала их при этом целым фейерверком искр из своих горячих глаз.

— Вот, господин искатель сильных ощущений, в кого вам следовало бы влюбиться! — сказала Лештукову его дама. — Вы эстетик, а она — красавица. Вы ищете в бурях покоя, а у этих южных девчонок, у каждой сидит по черту в душе и по три — в теле, так что по части бурь вы будете совершенно обеспечены... Что вы смеетесь?

— Мне сегодня удивительно везет на разговоры об этой Джулии.

— Зачем же скромничать? и с самой Джулией, — прибавьте. Я видела, как вы красовались пред нею на перилах. Для человека, который уверяет, будто бы не в состоянии «начать поэмы песен в двадцать пять», очень эффектно, клянусь вам.

— Я ее учил уму-разуму. У них тут завязалась чепуха...

И он коротко передал Маргарите Николаевне похождения художника. Маргарита Николаевна слушала без особенного интереса. Когда она бывала в духе, события и разговоры скользили по ней, почти не зацепляя ее внимания... Она

* **Прекрасная пара!** ***(нем.)***

принадлежала к числу тех женщин, чья эгоистически нервная суетня и вечное ношение с собственною своею особою так наполняют их узенькое «я», что редко их интересует что-либо постороннее. Поэтому она мысленно примерила Ларцева как героя романа к требованиям своего воображения и резюмировала свое впечатление коротким:

— Удивляюсь Джулии... он блондин...

А затем, снизу и искоса глядя в лицо Лештукова, тихо спросила:

— Вы что же это? и впрямь вам так туго приходится от «Полярной звезды», что вы жалуетесь на нее даже Джулии?

Лештуков насильственно улыбнулся.

— Хоть мучь, да люби! — возразил он голосом слишком уж спокойным, чтобы быть естественным.

Круглое личико Маргариты Николаевны вдруг все задрожало и побледнело, глаза затуманились и заискрились в одно и то же время, губы сложились в странную гримасу, и бесконечно ласковую, и — вместе с тем — почти хищную. Она тяжело налегла на руку Лештукова и, на мгновение прижавшись к нему горячим, трепещущим плечом, быстро шепнула:

— Милый вы... милый мой...

Но не успела еще кровь стукнуть Лештукову в виски, как уже Маргарита Николаевна отшатнулась от него и — спокойная, насмешливая и кокетливая — говорила:

— Пожалуйста, пожалуйста... Не делайте диких глаз и воздержитесь от декламации. Мы на улице, и я ничуть не желаю, чтобы нас приняли за только что обвенчанных новобрачных.

V

Отель, где квартировали Лештуков и Рехтберг, был импровизирован маленьким русским обществом, сдружившимся в скитании по итальянским городам. Начало колонии по-

ложили две богатые и веселые петербургские немки Берта Рехтзаммер и Амалия Фишгоф, — по профессии, оперные певицы «на усовершенствовании». Они весьма аккуратно рассчитали, что вместо того, чтобы самим проживаться в дорогих отелях, во время купального сезона, гораздо будет выгоднее нанять целый дом и напустить в него жильцов, а в жильцах недостатка в эту бойкую пору года не будет. Затем разослали по итальянским курортам письма к знакомым, с описанием прелестей Виареджио: «У нас очень веселое общество, а жизнь вам обойдется дешево, потому что поселиться вы можете у нас. Мы занимаем огромный дом, комфорт полный» и т.д. Приглашение было заманчиво — и пташки стали понемногу слетаться. Приехал русский художник Кистяков, который начал с того, что повесил в своей комнате портрет Бакунина. Приехал другой русский художник Леман, который начал с того, что занял у хозяек денег, а затем обругал их немками и стал повсюду и всех уверять, что они шельмы и на обухе рожь молотят.

— Немки! сам-то кто? — кипятилась Берта, а Амалия куксилась:

— Уж какие мы немки. На Васильевском острове родились, по-немецки двух слов связать не умеем.

— А главное, — язвила Берта, — только с таким нахлебником молотить рожь на обухе, как вы, Леман. Вы, душечка, которую неделю — «не при суммах-с»?

Леман наполнял белые бесстыжие глаза шутовскою угрозою и шипел:

— Ш-ш-ша, киндер! * Счеты меркантильные не должны тревожить уши благородные.

Приехал из Нижнего красавец-мужчина, купеческий сын Федор Федорович Арбузов, он же, по-театральному, Франческо Д'Арбуццо, широкогрудый, широкоплечий богатырь

* Дети! *(нем.)*

в русых кудрях Чурилы Пленковича и в русой бородке. Природа отняла его у родительского лабаза, одарив воистину стопушечным басом и почти детскою, до того благоговейною, страстью к оперному искусству. Едва он появился в Виареджио, Леман так на него и насел и совершенно забрал в руки, как его самого, так и его богатейший гардероб да, в значительной степени, и кошелек. Собираясь сделать итальянскую карьеру, влюбленный в Италию, Арбузов до того итальянизировался, что даже православное имя-отчество возненавидел, а новым знакомым так и представлялся:

— Имею честь: Франческо д'Арбуццо, бассо профундо ассолюто * и потомственный почетный гражданин.

Леман тем и пользовался. Нарочно, за обедом или чаем, при полном колониальном сборище, начнет привязываться:

— Ваше благоутробие! почтеннейший Федор Федорович!

Арбузов свирепеет и поправляет пятерней русы кудри.

— Лемка! ты опять?

— Врешь, брат. При публике не боюсь. Помилуйте, господа: утром прошу у этого Гарпагона взаймы двадцать франков, — не дал. И после этого звать тебя Франческо? Врешь, хорош будешь и Федькой. И то через фиту, а не через ферт.

Франческо багровел.

— То есть до чего ты в невежестве своем нисколько не образован, — это один я в состоянии понимать!

— Дай двадцать франков, — стану образованный.

Вступалась жалостливая Амалия. Она Лемана терпеть не могла, но еще больше надрывалась сердцем, когда он коверкался веселым нищим и клянчил.

— Франческочка, дайте ему: неужто вам жалко?

— Да не жалко, а зачем он... Вот бери... только помни, черт: за тобою теперь сто сорок...

— О, Франческо! Приди в мои родительские объятия.

* Абсолютно низкий бас *(ит.)*.

— И брюки мои, которые заносил, еще в пятнадцати франках считать буду.

— Фу, Франческо, при дамах!

Одевался Франческо итальянцем паче всех итальянцев: рубашка фантэзи, широчайший пояс, по которому ползет цепочка с тяжеловесными брелоками; белые туфли-скороходы, пестрейший галстук с огромным солитером в булавке, персты также блистали камнями. Но говорить по-итальянски знал только слова комнатные и «адженцийные», то есть кое-что из жаргона артистического и закулисного, наслушавшись его в бюро разных театральных агентов. По-русски же говорил — точно все время, без антрактов, горбуновские анекдоты рассказывал.

— Эка голосище-то у вас, Франческо! — хвалил его Кистяков, — просто: падите, стены Иерихонские!

Франческо самодовольно стучал кулаком по грудище своей.

— Да-с, насчет чего другого, а что касающее силы в грудях, вне конкуренции-с.

И повествовал, строго и величественно посматривая по сторонам:

— Намедни маэстро дал нам с Амалией Карловной дует один...

— Ангел мой, — ввязывался Леман, — говорят «дуэт», а не дует. Дует из окна, а дуэт из оперы.

— Ну, дуэт, — не все тебе, вихрастому бесу, равно? Из «Гугенотов»... есть такая опера. Голосочки наши вам, господа компания, известны. Выучили мы уроки, приходим к маэстре... «Кантато?» — «Чрезвычайно как много кантато, маэстро». — «Ведремо...» И зовет к пьянину-с. У Амальхен сейчас бледный колер по лику и трясение в поджилках. Потому они, по дамской слабости, маэстру ужас как обожают, а боятся, так даже до трепета-с. А мне так довольно даже все равно.

— Неправда, неправда, — обличала Амалия, — и вы тоже боитесь.

Франческо изображал на лице своем величайшее, почти негодующее изумление.

— Я?

И повторял для вразумительности по-итальянски:

— Io? *

И с решительностью делал пред носом своим итальянский жест отрицания одним указательным пальцем:

— Mai! **

— Еще как боитесь-то. Всякий раз, как идти на урок, коньяк пьете.

— Коньяку я всегда согласен выпить, потому что коньяк бас чистит. Но чтобы бояться... посудите сами, справедливые господа: ну с какой стати мне бояться итальянской маэстры? Это им, дамскому полу, он точно грозен, потому что, при малодушии ихнем, форс на себя напущает, в том расчете, чтобы больше денег брать-с. Либо вот Джованьке, потому что даром учится и голос у него теноре ди грация. Стало быть, без страха к себе, жидкий. А мы, слава Тебе Господи-с! Бывало, в Нижнем, на ярмарке-с, зыкну с откоса: «Посматривай!!!» В Семеновском уезде слышно-с! Могу ли я после этого при такой аподжио ***, какого-нибудь маэстры бояться? Кто кому чинквелиру **** за урок платит? Я ему, али он мне? Странное дело! Я плати, да я же еще нанятого человека опасайся? Удивительная вы после этого публика, братцы мои!

— Да ты не отвлекайся, — дразнил Леман, — про дуэт-то расскажи.

Дамы требовали, аплодируя, топая ножками:

— Дуэт, дуэт, дуэт!

— Хе-хе-хе! что же дуэт? Очень просто. Маэстра сел. Мы стали... Говорю: «Амалька, держись!»

* Я? *(ит.)*

** Нет, никогда! *(ит.)*

*** Муз.: неаккордовый звук *(ит.)*.

**** Монету в пять лир *(ит.)*.

— Никогда вы меня Амалькой не называли! — вспыхнула немка. — Что за гадости?

Но Франческо был уже в азарте, что называется — до забвения чувств.

«Амалька, — говорю, — не выдавай! Покажем силу!..» - Запели-с. А он, окаянный, маэстра-то, оказывается в капризе своих чувств. «Воче, — кричит, — воче фуори *». Это по-итальянскому выходит, стало быть, голос ему подавай, звука мало. А?.. Воче тебе? Воче? Звука дьяволу? На ж тебе!.. получай! «Амалька, вали!»

И он орал, что есть силы:

— Нель оррор ди квеста но-о-о-отте! **

— Как я ревану, как Амалия Карловна ревanут, — Господи! стекла дрожат, пьянин трепещет, на улице публики полный квартал! А маестра пьянин бросил, за голову лысую руками схватился. «Черти, — кричит, — дьяволы! Голоса! горла! пушки! Что же вы со мною, изверги, делаете? Нешто так можно? Я тебя не слышу, ее не слышу, пианино не слышу, ничего не слышу, рев один слышу». — «Что же, маэстра? — отвечаю ему, — вы хотели, чтобы звук дать. А ежели вам угодно, чтобы пианиссимо, — очень просто...» Да как ему змарцировал...

И, закрыв глаза, повернувшись на одной ножке, он, с блаженною улыбкою, посылал в пространство воздушный поцелуй, а Леман корчился от восторга:

— Ах, дьявол! ах, стоерос! Знай наших нижегородских! Ай да Арбузов! Ай да Федор Федорович!

— Я тебе, черту, такого Федора Федоровича пропишу...

Рехтберг объявилась в отеле с месяц тому назад, а за нею, в самом коротком промежутке, прилетел Лештуков из Швейцарии, где если не Бог, то черт свел эту пару и связал

* Голос... голос наружу *(ит.)*

** Ужасаясь этой ночи! *(ит.)*

ее веревочкою. Они попали уже в прочно и дружески сложившуюся товарищескую коммуну. Успех гостеприимного отеля на семейную ногу был настолько велик, что прибывшему вслед за Лештуковым Ларцеву уже не хватило комнаты, — и он должен был устроиться на стороне. Та же судьба постигла и еще нескольких приезжих русских; практичным немкам оставалось только досадовать: зачем они не наняли два дома вместо одного?

Когда Лештуков сошел в столовую, — общество дружеского табльдота было в полном сборе. Это была веселая молодая компания; в ее среде пахло жизнью, надеждами, свежестью; все народ — только что расцветший или начинающий расцветать. Два художника, три певицы, к счастью, на разные амплуа, — и потому, с грехом пополам, способные ссориться не больше раза в день, — несколько учениц известного итальянского maestro di canto * и три-четыре гостя итальянца. Рехтберг сидела во главе стола и, видимо, первенствовала в обществе. Эта женщина — даже в мелочах — всегда устраивалась так, что без всяких стараний, наоборот, даже с несколько утрированным стремлением прятаться, становиться в тени, она все-таки попадала на первые места, ей доставались лучшие куски, ее слова выслушивались всего внимательнее. Лештуков сел рядом с нею. Это место было ему предоставлено молчаливым согласием табльдота. Их все Виареджио считало любовниками — только очень ловкими и скрытными: а не пойман — не вор!

Разговор за столом, для удобства гостей, шел по-итальянски.

— Итальянцы слишком смешно говорят по-французски, — заметила как-то раз Рехтберг. — С ними по-французски разговаривать, — во-первых, того гляди, расхохочешься, а во-вторых, лучше мы будем извлекать из них пользу, чем они из

* Учитель пения (*ит.*).

нас. Они к нам ходят для французской практики, а мы их перехитрим, — ни одного слова по-французски! И какую мы тогда итальянскую практику получим!

— Но, Маргарита Николаевна, — возражали хозяйки отеля, — они, вероятно, такого же мнения о нашем итальянском языке, как мы — об их французском. Вон — должно быть, у Лемана с Кистяковым что-нибудь совсем нехорошее вышло, — очень уж странно переглянулись Джованни и Аличе.

— А пускай! Мы в их стране, и им как хозяевам остается радоваться, что у них такие вежливые гости, — не носят в итальянский монастырь ни чужого устава, ни чужого языка.

Так итальянский язык и сделался официальным языком «отеля».

— Ah, signor Demetrio! come sta? * — закричал Лештукову через стол молодой тенор, только что перескочивший со школьной скамьи в успешную карьеру и потому веселый, бойкий, счастливый, точно щенок на другой день после того, как у него продрались глаза. — Avete inteso le bellissime novelle da vostra Russia? **

— Buon giorno... *** Нет, ничего не слыхал. О холере что-нибудь?

— Да. Вся Россия в холере. Тысячи умерли, десятки тысяч умирают. Nichni-Novgorodo... diavolo! che brutto nome per una citta! Un nome da rompere la lingua!.. ****

— О вкусах не спорят, — возразил Лештуков. — Если бы русскому мужику назвать вашу Чивитта-Веккия, так он, пожалуй, и не поверит, чтобы мог так называться город. Не то кот чихнул, не то воробей чирикнул...

---

* А, синьор Дмитрий! Как поживаете? *(ит.)*

** Уже знаете новости из России? *(ит.)*

*** Добрый день... *(ит.)*

**** Нижний Новгород... дьявол! Ужасное имя для города! Можно язык сломать!.. *(ит.)*

— Я не хотел сказать ничего неприятного вам, синьор... — растерялся итальянец.

— Я знаю это, carino mio...* и тоже не хотел сказать вам ничего неприятного.

— Наш Дмитрий Владимирович сегодня в патриотическом настроении, — не без насмешки заметила Рехтберг, обгладывая косточку от цыпленка. — Это что-то странно... новенькое!

— Почему же? — обратился Лештуков к Маргарите Николаевне.

— Так, не ждала я от вас такой удали, — вот и все. Мне всегда казалось, что для вас Россия — звук пустой. А вы вот какой!.. Даже за благозвучие Нижнего Новгорода горой подымаетесь.

— Разве это дурно?

— Напротив, очень хорошо, если вы искренни. Но я вам не верю.

— Что я люблю свою родину? Интересно бы знать причины.

— Хотите знать первую? Если бы я любила свою родину, если бы ее постигла беда и если бы я сознавала, что хоть сколько-нибудь могу помочь ей в беде, наконец, даже хотя бы разделить с ней беду, — я не сидела бы у Средиземного моря — как это сказал ваш поэт? — «...наблюдая, как солнце пурпурное опускается в море лазурное...» Но бодливой корове Бог рог не дает. Я рождена быть патриоткой, — и у меня нет отечества.

— Зачем я сижу у Средиземного моря, — вам известно, — отозвался Лештуков сквозь зубы, с краскою досады на лице.

— Об этом-то я и говорю... Так что же делается в Nichni-Novgorodo, Giovanni?

* Милый мой... *(ит.)*

Итальянец начал излагать по «Secolo» * историю холерных беспорядков в Поволжье — раздутую, преувеличенную, раскрашенную в самые ужасные цвета жизнелюбивым страхом, у которого глаза велики. Табльдот слушал и ужасался. Немки утирали слезы. Лештуков, мрачно нахмурясь, глядел в тарелку.

— Если даже приврано втрое, — ведь брешут шарманщицкие газеты, как псы в полнолуние! — так и то ужасно... — перешел на русскую речь художник Костяков. — Видно, не дождаться осени и Рима. Придется ворочаться!

— Это зачем?

— Бог с вами! — недовольно зашумели дамы.

— А так: на людях и смерть красна. У меня в Саратове брат женатый... племянники... славные ребята! Одному уже шестой год пошел. Я, с тех пор как прошел слух о холере, трясусь за них денно и нощно, а теперь вот пошли еще бунты эти.

— Дмитрий Владимирович! Вы что же приуныли? — обратилась Рехтберг к своему соседу. — Или обиделись на меня?

— Нет, обижаться не за что. Вы правы.

— В таком случае расправьте ваши морщины...

— Не расправляются... А впрочем... позвольте мне вон ту фиаску... Благодарю вас! Ваше здоровье!..

— Grazie... ** но... Дмитрий Владимирович! Что это? Стакан за стаканом? Опять?

— O dio! — радовались итальянцы, — quanto beve questo signore!.. ***

Завтрак кончился. Общество перешло из столовой в салон; Лештуков остался один у стола со своим кофе. Из салона

---

* Итальянская газета «Век».

** Спасибо... *(ит.)*

*** О Боже! Любимое занятие этого синьора!.. *(ит.)*

доносились шутки, смех, звуки пианино. Джованни запел неаполитанскую песню — знаменитую «La Bandiera»* Ротоли. Лештуков любил итальянские песни, любил и истинно народную манеру, как пел их Джованни — всего четыре года тому назад подмастерье у сапожника в Сиракузах. И голос у него был богатый — большой, теплый, свободный; хорошо от него делалось на душе. Но сегодня и пение не расшевеливало Лештукова. Громкий в комнатах, голос Джованни больно бил его по нервам, а от грустной мелодии плакать хотелось.

В столовую вошел Ларцев. На его лице — слегка побледневшем и усталом, но веселом — лежал еще отпечаток задумчивости, сосредоточенного «прозрения внутрь себя»: видно было, что человек только что оторвался от работы, а работал горячо, с увлечением и вниманием.

— Э! А я вас наверху искал было... — сказал Ларцев, присаживаясь к столу. — А потом слышу — Джованни поет. Думаю: значит, Дмитрий Владимирович состоит при пианино. А вы, оказывается, тут уединились... Передвиньте-ка фиасочку!

— Con piacere... * А вы что рассеялись?

— Победу, батюшка, одержал: штришок нашел. Две недели вокруг да около него, подлеца, ходил, — и все он в руки мне не давался. И вдруг — сегодня этакое озарение осенило: с разбегу, — ну, ей-Богу, только что и впрямь не с разбегу! — налетел на полотно, сам не знаю, как мазнул... Гляжу: оно! оно! «то есть, воно — то самое», что надо было. Стояла у меня до сих пор в мастерской красивая виареджинская девка Джулия, но под псевдонимом Миньоны. А теперь стоит настоящая Миньона!

— С чем и имею честь поздравить. Это называется — точку найти.

* «Знамя» *(ит.)*

** С удовольствием *(ит.)*

— Да-с, я-то нашел точку, а вы, кажется, ее с утра потеряли... «Метель и буря свирепствуют на пасмурном челе...»

— Вести из России скверные.

— О? Из родных кто-нибудь болен? Или по газете какая-нибудь неприятность?

— Н-нет... У меня лично все хорошо. А вообще... Читали, конечно? Холера... Бунты эти... Ужасно!

— Ужасно? Да... надо полагать... Ах, Дмитрий Владимирович! Вы заверните завтра ко мне — непременно заверните! Вы «Миньоны» моей не узнаете. Совсем другая стала. И кто бы поверил, что от одного мазка? Ну право же от одного... Вот этакого маленького-маленького, малюсенького...

Лештуков с завистью смотрел на него.

— Ишь, счастливец! — сказал он. — Как прочно встал на свою стезю! Совсем человек не от мира сего... Вы слышали, что я вам сказал?

— Это о холере-то?

— Да. Я вам — о холере, а вы мне — о Миньоне. Дистанция огромного размера.

— А Бог с ней, с холерой... Что холера? Далеко холера!

— Меня вот именно сейчас за то и попрекнули, что я от холеры далеко.

— Зачем же вам близко быть? Доктор вы, что ли?

— Разве там одни доктора нужны?

— А кто же? Доктора и чернорабочая сила, им покорная. Все эти фельдшера, фельдшерицы, санитары, сестры и братья милосердия...

— А мы в стороне?

— Мы в стороне. Что нам там делать? Ваша музыка — романы писать, моя — картины. Мы не доктора, а в чернорабочую массу идти мы даже права не имеем. Во-первых: с непривычки только другим мешать будем. А там Баранов сидит: строгий, Бог с ним! — еще вышлет или высечет;

пожалуй... не любит он этого, чтобы около него народ зря толокся! А затем — мы своему делу нужны, и нечего нам собою рисковать там, где могут отлично обойтись и без нас.

— Ого!..

— Да, ей-Богу. Вы попробуйте — поезжайте-ка к этому самому делу. Рекламу себе большую сделаете, — это что говорить! А больше — ничего. Только рискуете заразиться холерою и сойти в преждевременную могилу, огорчив всю российскую публику — кроме господ гробовщиков и некрологистов ex officio *.

— Значит, не боги горшки обжигают? — насмешливо возразил Лештуков.

— А, конечно, не боги! — наивно согласился художник.

— Bravo! Вы даже не подозреваете, как мило это у вас вышло.

— Вы труните, кажется? Да на здоровье! я, батюшка, только откровенен: говорю вслух, что другие думают. Вы вот самоотверженные чувства изволите излагать, а схвати вас холера — наверное, подумаете, умирая: на то ли родился я, высокоталантливый Дмитрий Владимирович Лештуков, чтобы сдохнуть чрез заразу от какого-то безвестного, никому не нужного босяка?

— Да у вас презлая философия, Андрей Николаевич!

А Ларцев продолжал:

— Ежели мучит вас долг гражданственности, — пожертвование пошлите. А то еще лучше — статьицу напишите, да с нервами, со слезой, чтобы всех — вот как пробрало! Чтобы узнали там, черт их побери, господа публика, что «нерв человечества — писатель потрясен...»

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,

---

* Официальных (*ит.*).

Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия... —

задумчиво прочитал Лештуков. — Вот возмущенья-то, потребности взмыть вместе с разбушевавшейся стихией до облаков и не чувствую я, Ларцев... Все равно что делается... «Из равнодушных уст слышу смерти весть и равнодушно ей внимаю...» Нет, должно быть, Маргарита Николаевна права: я не патриот.

Ларцев глядел на него пристально и думал про себя: «Ага! Так вот он откуда пошел — этот холерный рамолисмент! * Так бы и говорил прямо. А я-то слова трачу и соловьем разливаюсь — уговариваю тебя не предаваться гражданской тоске. А эта тоска на мотивах г-жи Рехтберг построилась... Погрызлись, стало быть, для разнообразия, на почве общественных вопросов. То-то они и сидят врозь».

— Да ведь Бог его знает, это слово, что собственно оно обозначает иной раз, — сказал он вслух. — Мы: художники, артисты, поэты, беллетристы — народ чудаковатый: другим отпущено по одному отечеству, а нам — по два. Одно — наша страна, а другое — наше дело. И какое из двух дороже, — познается только минутами тяжелых испытаний. Вот вы сейчас говорите про волжскую холеру, а я, хоть убейте, не могу потрястись ею до глубины сердечной, даже не могу хорошенько представить ее себе. Все мне «Миньона» загородила, и покуда эта Миньона будет торчать на моем горизонте, я для родных моих Тетюшей человек мертвый... Вот подите же! А ведь я счастлив, что родился русским. Горжусь именем русского. Обругал при мне в Милане какой-то шарманный граф русских, так я ему бутылкой в голову пустил. Когда я в Риме почетный отзыв получил за свою «Мессалину», вы

* Расслабленность (от *фр.* ramollissement)

думаете — я за себя обрадовался? Ей-Богу, нет. Первою мыслью было: вот каковы мы, русские медведи! В самом сердце вашего искусства, господа итальянцы, выхватываем у вас из-под носа награды. Ведь знаю, что скрепя сердце наградили, подлецы, иностранца, да еще русского: нельзя было не наградить. Тем и счастлив был: пускай, думаю, в Петербурге почитают да порадуются... Маргарите Николаевне мое почтение!

Он привстал навстречу входящей Рехтберг.

— Здравствуйте, Андрей Николаевич. Вы сегодня, я слышу, даже разговариваете. Это редкость! О чем?

— Против вас бушую. Зачем вы у нас, у русских, отнимаете нашего gran maestro?.. * это уж с вашей стороны польская интрига.

— О-о-о!

Маргарита Николаевна засмеялась.

— Какая я полька! — отшучивалась она. — Живу за границей, по целым дням в обществе вас, «пшеклентых москалей»...

— Ага! Вот тут-то самая интрига и есть. Жаль, я не умею справляться с мифическими сюжетами. А то нарисовал бы я вас польскою Омфалою, смиряющей российских Геркулесов. А Геркулес — Дмитрий Владимирович.

— Хорош Геркулес, — отозвался Лештуков. — Это скорее по вашей части; ишь у вас мускулищи...

— Ладно! А кто по дюжине итальянских берсальеров на эспадронах загоняет?

— Уж и по дюжине! Сбавьте!

— Омфала — это обидно для меня, — серьезно сказала Рехтберг. — Дмитрий Владимирович! Что же вы молчите? Неужели вы согласны с тем, что говорит Ларцев?

Лештуков встал.

* Большого знатока?.. *(ит.)*

— Охота вам говорить об этом... — с досадою сказал он.

— Как же не говорить-то? Мне досадно: вы лентяйничаете, а меня считают ответственною за вашу лень.

Дмитрий Владимирович презрительно пожал плечами.

— Экая, подумаешь, важность, работает господин Лештуков или нет. Ни политическое равновесие от этого не нарушится, ни землетрясения не произойдет. Захочет работать, возвратится настроение, — запишу... А теперь от разговоров о безработице только скука и досада. К морю, по обыкновению, пойдем?

— Да, конечно... Но, Дмитрий Владимирович...

— Тогда мне надо переменить костюм. Я иду к себе...

Он вышел.

— Дитя рассердилось — надо идти и успокаивать, — с улыбкой сказала Маргарита Николаевна и побежала следом за Лештуковым.

Ларцев кивнул головой.

«Ничего! Милые бранятся — только тешатся!» — подумал он и, закурив сигару, начал с блаженной улыбкой пускать перед собою клубы синего дыма; пред его радостно сосредоточенным в одну точку взором вставала и плавала в дымных облаках Миньона, с ее новым, счастливым мазком.

VI

Мастерская Ларцева помещалась в громадном и пустынном, как сарай, зале старинного палаццо, выходившего окнами на морскую набережную. Отсветы далеких волн бегали по белым стенам и высокому куполу зала. Если долго смотреть на это мелькание, казалось, будто воздух струится, будто рябь и зыбь в нем ходят. Художники — французы и итальянцы, — избалованные удобствами римских и парижских мастерских, презирали этот громадный купол, полный странных

световых переливов, но Ларцев был в него влюблен. После питерских сумерек, его мастерская представлялась ему почти идеально освещенною, полною солнца и голубого неба. Борьба с рефлексами доставляла ему большое удовольствие; он боролся с ними непостижимым чутьем и торжествовал, когда побеждал. Смелость колорита, дерзость красок у него была удивительная. Еще шаг — и он перескочил бы в область французского импрессионизма, но его вовремя сдерживали славянская мягкость чувства и славянское чутье правды в изящном. Ларцев сидел перед своей Миньоной и вглядывался в нее с хмурым восторгом, так свойственным людям, когда они уверены, что хорошо делают любимое дело. Он был весь внимание. Когда Ларцев, откинув голову назад, с опущенной кистью в руках наблюдал свое полотно, соображая, комбинируя цвета и краски, анализируя, подготовляя и выясняя для самого себя новые детали, еще смутно бродящие в творческом мозгу, — художника скорее можно было принять за злейшего врага, чем за отца картины. Чувствовалось, что никогда ни один критик, ни один знаток не привяжется к произведению Ларцева так злобно, так страстно, так мелочно пытливо, как привязывается он сам, — не полезет в глубь ее смелее и назойливее, чем он сам сейчас лезет.

Лештуков лежал в стороне на качалке, с глубоким интересом наблюдая серьезное и в эту минуту до возвышенной суровости вдохновенное лицо художника, — его крепко сдвинутые брови, его потемневшие, суженные долгим напряжением глаза.

«Ишь, как вкусно работает», — думал Лештуков.

Процесс ларцевской работы заражал его самого, хорошо поднимал его нервы; ему хотелось откликнуться на чужое творчество своим собственным творчеством, мыслью отозваться на мысль, ответить краскам словом. Лештуков любил и понимал искусство. Он видел, что у Ларцева выходит из картины далеко не безделица... Джулия смотрела на него

с полотна как живая, и все-таки это была не Джулия, а точно чужой и высокопоэтический образ нездешнего мира воспользовался наружностью Джулии для того, чтобы воплотиться в близкую и понятную людям форму и сказать им правду святой тайны, которую они смутно чувствовали, но не умели до сих пор ни узнать, ни назвать.

Легкий стук в дверь заставил художника с досадою положить кисть. Лештуков тоже поморщился. Внешний мир ломился в святая святых искусства: покой творчества был нарушен.

— Avanti! *

Вошла Джулия.

— Ага, моя радость! — вскричал художник с прояснившимся лицом!.. — Где вы пропадали? Как хорошо, что хоть сегодня надумали зайти ко мне. Я ждал вас и вашего милого суда. Смотрите, Джулия, вы почти готовы.

На личико Джулии, уже и без того озабоченное, легла хмурая тень. Она взглянула на картину и отрицательно покачала головой.

— Вы слишком добрый, синьор Андреа, — сухо сказала она, опускаясь на стул. — Это очень красиво... очаровательно... Только это не я... Добрый день, синьор!

Джулия кивнула головой Лештукову; она только теперь его заметила.

— Добрый день, Джулия... Что вы так строго относитесь к нашему другу-художнику? Если это не вы, я уж и не знаю, какого сходства еще надо.

— Чудно! Изумительно!.. В самой Флоренции, может быть, нет лучшей картины, а все-таки это не я. Это — святая. Она так смотрит, будто перед собою лестницу на небо видит. А я... Ах, да не до картины мне! — внезапно вскрикнула она.

---

* **Войдите!** *(ит.)*

От гнева у нее все лицо дрожало; мускулы так и играли, так и прыгали под смуглой кожей.

— Синьор, — обратилась она к художнику резко и порывисто. — Скажите: я вам нужна еще для вашей картины? Не правда ли, — необходимо нужна?

— Да, Джулия... Если бы вы мне подарили еще два-три сеанса...

— Подождите. Синьор Деметрио ваш друг — не так ли? Я могу при нем говорить откровенно, как будто с вами самим?

— Если надо, я могу уйти...

Лештуков приподнялся с качалки.

— О нет... Напротив, я хотела бы, чтобы все, что я скажу, слышали и знали все хорошие люди, какие есть на свете... Синьор Андреа, я должна вас предупредить, что эти сеансы могут принести вам большую неприятность.

— Знаю, Джулия, — тихо возразил художник, — Альберто говорил со мной третьего дня... только глупо это с его стороны.

— Глупо... Скажите: подло, гадко, возмутительно. Но надеюсь, вы не боитесь, синьор? Вы не уступите ему? Я не вещь, чтобы мною распоряжался какой-нибудь marinajo; я хочу этой картины и буду служить вам, пока вы желаете.

— Если вы, Джулия, не боитесь угроз этого сумасшедшего, то я и подавно. Пусть его делает, что хочет, — у всех у нас есть свое дело, за которое мы должны стоять.

— Он — черт, — с убеждением сказала Джулия, — от него всего дождешься. Вы будьте осторожны... А я — как уберечь себя, хорошо знаю... И заплатит он мне за свою выходку! Заплатит!.. До сих пор я еще колебалась. Но теперь — не видать ему меня как своих ушей. Пусть ищет себе жену на рынке — такую же грубую мужичку, как он сам...

Ларцев встал и потянулся. Усталое лицо его было серьезно, между бровей дрожала легкая морщинка.

— Это очень грустно, Джулия, — возразил он, глядя на девушку добрыми, но серьезными глазами. — Жаль будет, если из-за моей работы вы разобьете счастье доброго малого, — ведь Альберто вас искренно любит. Да как знать? Может быть, и своего счастья лишитесь. Картина — вещь хорошая, но жизнь лучше... Я не верю в серьезность вашей ссоры с Альберто и не хочу потакать его глупой ревности, — поэтому я и принимаю ваши милые услуги. Но если вы ставите вопрос ребром, — лучше бросим это дело: ставить это полотно между вами и вашей свадьбою я не смею и не хочу.

Джулия побледнела.

— Свадьбою... Вы же за него заступаетесь... Не будет никогда никакой свадьбы! Слышите? Не могу я! Не будет! Не из-за картины вашей не будет, а потому, что такая моя воля! Потому что...

Бледность Джулии сменилась ярким румянцем, — как будто заревом обдало ее лицо и шею. Джулия несколько раз повторила свое «потому что», обращаясь к растерявшемуся под быстрым наплывом ее речи художнику, — и не то не могла, не то не решалась пойти далее этих слов; она нервно комкала свой передник и водила по комнате полными слез глазами. Наконец Джулия остановила взор на Лештукове, который молча любовался ее красотой и волнением.

— Я... я не могу... — пробормотала она. — Синьор Деметрио! Помогите мне! Вы помните, что мы с вами говорили... о звездах... Скажите же от меня все это вашему другу!

И она бросилась бежать из мастерской.

— Позвольте, Джулия, — остановил было ее Лештуков, но она была уже за дверями.

— Я верю вам — все скажите!.. — прозвенел ее трепетный голос, и вслед затем быстро затопотали по мрамору убегающие ножки.

Лештуков расхохотался, глядя на сконфуженного Ларцева, а тот развел руками — с видом человека, сбитого с толка и окончательно теряющего под собою почву.

— Ну-с, милый Андрей Николаевич, — сказал Лештуков, покачиваясь, — позвольте поздравить вас с формальным объяснением в любви. Вот уж никогда не ожидал попасть в посредники нежной страсти. Но так как моего согласия не спрашивали, а навязали мне эту должность силою, — то делать нечего. Джулия поручила мне передать вам не больше и не меньше, как — что вы ее Полярная звезда, и, ergo *, что она вас любит. Ну-с, что вы на это скажете, о рыжебородый Тор?

— Я знаю одно, — воскликнул взбешенный художник, швыряя на пол кисть, муштабель и палитру, — что я второй день живу в Бедламе и что глупыми сценами мне без ножа режут мою картину!

Лештуков посмотрел на него с уважением и завистью.

— Молодцом! — тихо одобрил он. — Стойте! крепко стойте на своем якоре! Большой и хороший мастер должен из вас выйти...

— Нет, в самом деле, — сконфуженно отозвался Ларцев, мигая смущенными глазами, — какая там любовь? Баловаться с нею я не хочу: она хорошая девушка, стыдно; на это и трастеверинок в Риме достаточно найдется, а шесть часов расстояния не Бог весть какая даль. А всерьез... всерьез мне все женщины безразличны, право. Моя душа — вот! — он кивнул на полотно. — Может быть, налечу еще на такую, что и меня свертит, но пока Бог миловал...

— Нет, вы не налетите, — убеждено сказал Лештуков. — Вы Богом меченный; на вас печать. И эта штука, — он подошел к «Миньоне», — всегда станет между вами и тем раб-

* Поэтому (*лат.*).

ством у женщины, что мы сдуру зовем любовью... Но все это прекрасно. Однако как же вам быть с Джулией и в особенности с Альберто? Кстати, — прибавил он, набрасывая pince-nez, чтобы мельком взглянуть в окно на набережную, — позвольте порадовать вас известием: Альберто сидит насупротив ваших окон, и между бровями у него Этна и Везувий...

— Черт его возьми! — пробормотал художник, скользнув взглядом по набережной и опять обращаясь к картине.

— Итак, любить Джулию вы не желаете. Получить из-за нее тычок ножом — того менее. Картину дописывать надо... А, пожалуй, Джулия больше не придет уже к вам на натуру.

— Что же делать? допишу и без нее.

— Но... картина от этого потеряет?

Художник молчал, злобным критическим взглядом впиваясь в свое полотно.

— Нет! — сказал он, не отрываясь от картины, — нет. Еще третьего дня утром, когда я спорил с Альберто, Джулия была мне необходима: была моим откровением, моим вдохновением. Но после этого вчерашнего мазка — помните, я вам говорил? — Миньона вся у меня тут! — он дотронулся рукою до лба. — Все земное, что могла дать картине Джулия, она дала. Больше от нее ждать нечего. Вы видели: картина ей сейчас не понравилась. А третьего дня она прыгала от восторга. И она права: Джулия третьего дня на этом полотне и эта — два полюса... Плоть картине дана, а одухотворить ее — мое дело, и если я сам не смогу, то ни Джулия, никто в мире мне не поможет.

— В таком случае, Ларцев, мой дружеский совет вам — уезжайте отсюда. Не все ли вам равно, где кончить работу? В Риме у вас чудесная мастерская.

— Да, это — что говорить!

— Уезжайте и оставьте вы этих людей с их страстями и бурями. Жаль будет, если вы пропадете, а пропадете здесь непременно. Вы — какая-то ходячая отвлеченность, призрак, вырвавшийся ненароком из мира идеалов. Они же — бесхитростные дети земли; день их — век их. Кругозор их коротенький, зато уж они хотят насладиться всем, что глаз зацепит. Поэтому в страсти им удержа нет, она их право, их логика. И, по-своему, они будут правее нас, если даже вас зарежут. А вы рисковать собою не имеете ни права, ни резона: у кого есть талант, тот должен помнить, что настоящее — настоящим, но, кроме того, он — гражданин грядущих поколений. Пусть их мирятся, ссорятся, как хотят. Вы им ничем помочь не можете. Уезжайте, и да будет над вами мое благословение, мой милый монах в искусстве... До свиданья. Приходите обедать!..

Лештуков дружески пожал руку Ларцева и вышел. На набережной к нему подошел Альберто.

— Signor russo, — с угрюмою вежливостью выговорил он, снимая шляпу, — вы от синьора Андреа?

— Да, — сухо отвечал Лештуков, не останавливаясь.

Альберто следовал за ним.

— Джулия была у него сегодня, синьор? — продолжал он, стараясь задать вопрос как можно более беззаботным тоном.

— Вы сами видели, как она вошла и вышла. Что же спрашивать, Альберто?!

Глаза Альберто стали красными, как рубины.

— Синьор! — прошептал он, наклонившись к плечу Лештукова, — я говорил с вашим другом, я просил его, молил, я его предупреждал, я грозил, наконец. Ему все равно... Он сердца не имеет: не жаль ему бедного малого... Хорошо же! Теперь пусть он бережется!

И он, без поклона, исчез за дощатым балаганом какой-то бродячей панорамы...

Лештуков со скукою махнул рукою ему вслед.

VII

Море было не в духе и ворчало, как ребенок. Ворчало, но еще не плакало. Невысокие волны колыхались быстрою и сильною зыбью, а между тем ветра почти не было. Это добежали к Виареджио отголоски далекой — может быть, где-нибудь за Корсикой или Майоркою — морской бури. И в небе, и в море плыла луна — круглая и желтая, как гигантский померанец в стихотворении Гейне... Золотой столб ее отражения бежал и от берега далеко в море и, постепенно расширяясь, под самым горизонтом менялся в озеро яркого белого света: точно там с неба пролился дождь расплавленного серебра. По золотому столбу вспенивались седые барашки, и резвые скачки их дико оживляли фантастическую синеву морской ночи. Мол в Виареджио — любимое, а по вечерам и единственное место прогулок купального общества. В Виареджио нет «окрестностей». Горы, окружающие городок, прелестны, но они только кажутся близкими, а на самом деле изморишься, пока доберешься до них по равнине, изрезанной каналами и сплошь заращенной виноградниками.

Две «пинеты» — сосновые рощи под самым городом — не интересны для иностранца, хотя итальянцы приходят от них в восторг: чтобы наблюдать такую природу, не стоит забираться к Средиземному морю, — достаточно и московских Сокольников... Если нет охоты толкаться в пестрой толпе, по молу или набережной, можно нескучно убить вечер на улицах городка, скитаясь вдоль каменных садовых оград, вокруг дворцов и церквей, занимающих своими высокими громадами целые кварталы, вокруг узкой, тюрьмообразной башни с окнами-бойницами.

Когда месяц заливает Виареджио светом, городок становится белым: точно его заборы, дворцы, башни, храмы и статуи на храмах — меловые. Мхи, которыми проросла тюрьмообразная башня, кажутся засохшими пятнами крови, веками

на эти стены проливавшейся. Остроголовые тополи и кипарисы черными спицами поднимаются из-за садовых оград, и когда ветер заставляет дрожать их ветви, они как будто зыблются и гнутся под тяжестью положенного на их вершины неба — этого непостижимо-глубокого неба, таинственно примиряющего в своих безднах самые густые тона синевы с мягким потоком лунного блеска... Паукообразные шапки пальм, повиснув в небесном просторе лапами-листами, шевелятся и вздрагивают, как водоросли, утонувшие в воздушном океане. Из садов несет благоуханиями, от узких переулков и площадей — отбросами рынка. Внутри города звенят мандолины, а с набережной, из десятков купален, вокзалов, театриков и балаганов, летит, вместе с дыханием моря, нестройный гул оркестров, шарманок, колоколов и барабанов. И, как постоянный бас в хаосе разнообразных мелодий, тяжело и мягко бухает в берег разгулявшийся прибой.

Лештуков долго бродил по Виареджио, прежде чем попал на мол, где условился встретиться с компанией своих сожителей по отелю. Разряженная толпа тесно жалась по узкой полоске земли, сдавленной гульливыми волнами. Барки в канале кивали парусами, словно огромные белокрылые чайки. Лодочники сидели без дела: желающих кататься, охотников до сильных ощущений и морской болезни, не находилось. Волна убирала море серебром все богаче и богаче; прибой уже начинал пошвыривать в народ брызгами и пеной.

Лештуков нашел свое общество в самом конце мола, где волна хватала всего выше и была особенно щедра на снежки из соленой пены. На моле было вообще шумно, но в группе «отеля» — даже уж и чересчур. Каждый набег волны давал немкам сигнал к хохоту, визгу, охам, ахам; они прыгали и аплодировали морю, как актеру.

— Берта Ивановна! Амалия Карловна! — лениво усовещивал дам Кистяков, подхватывая их, когда они отпрыгивали от брызг, то под руку, то за талию, — полно вам! Ничего нет

страшного, а вы пищите — аж вас в Ливорно слышно, и вот уж третий раз наступаете мне на любимый мозоль.

Джованни, — вежливый, как всегда бывают итальянцы в обществе, знакомом им не то чтобы мало, но и не слишком близко, — стоял тут же, с улыбкой несколько обязательной. Фамильярность русских доставляла молодому человеку много смущения и — ни малейшего удовольствия. Итальянцы и, в особенности, испанцы весьма часто теряются в заграничных русских компаниях. Они видят, что люди ведут себя гораздо свободнее, чем принято в безусловно порядочном европейском обществе, и не знают, на какую ногу себя поставить. Выдерживать серьезный джентльменский тон, значит важничать, — скучно; а, в свою очередь, распускаться и тоже фамильярничать они не решаются: нет привычки.

Лештукову эта сценка тоже не понравилась, и он с удовольствием заметил, что Маргариты Николаевны нет в развеселой группе. Она стояла в стороне над отвесом мола. Луна красиво выделяла из седых теней ночи ее белое платье.

Лештуков подошел к ней.

— Что вы уединились?

Рехтберг нервно пожала плечами.

— Скучно с ними... — шепнула она. — Ночь так хороша, лимоном и лавром пахнет; и вдруг сквозь эти ароматы — струя с Офицерской... Я до этого не охотница! А здесь — чудно! Вам не кажется, что там на горизонте бродит кто-то, огромный-огромный и весь седой, и кланяется сюда — к нам, к земле...

Лештуков посмотрел не в даль, а на самое Рехтберг: вдохновляться красотами природы было не в ее духе... В голосе Маргариты Николаевны ему послышалась аффектация, а ее красивая поза и сосредоточенное выражение лица с глазами, как будто застывшими в созерцании хаоса прыгающих волн, показались Лештукову деланными.

«Для кого это она играет? — подумал он, — не для меня же?»

Он быстро взглянул через плечо и заметил невдалеке два белых колпака: то были офицеры-гренадеры — самый рослый и красивый народ итальянской армии. Что интересная поза предназначалась для этих незнакомцев, не было сомнения. Несмотря на досадное открытие, Лештуков с удовольствием подумал, как он хорошо изучил Маргариту Николаевну.

— Нет, седого я ничего не замечаю, а вот офицеры позади нас — народ действительно любопытный, — заметил он с дружеской насмешкой.

Маргарита Николаевна закусила было губы, но вдруг сама расхохоталась.

— Нет, это невозможно! — смеялась она, спрыгнув с парапета и уже безо всякой рисовки, — нам с вами надо раззнакомиться. Нельзя, чтобы два человека вечно угадывали и ловили друг друга в тайных грешках.

— Позвольте: где же «друг друга»? Пока, мне кажется, только я вас ловлю.

— Это еще хуже! вы безупречны, мой шевалье де Грие, — и читаете крошечные тайны своей Манон, как книгу. Это и опасно, и скучно, и несправедливо. Мне вас совестно, а вам меня — нет: неравные ставки. Верите ли, я иногда почти жалею, что мы с вами стали такими близкими друзьями.

— Покорнейше благодарю! утешили!

— Нет, вообще-то это прекрасно, я очень рада... Но мы с вами скоро утратим всякую занимательность друг для друга! Станем как учебники, вызубренные наизусть. Вот вы подошли — и тотчас же отыскали моих гренадеров. А я тем временем стою и думаю: сейчас Дмитрий Владимирович производит сыск, зачем я изображаю из себя живую картину? А ну, — угадает или нет?

— Как видите, угадал!

— Всего грустнее, — лукаво продолжала Рехтберг, — что при таких отношениях уж с вами-то самим не приходится больше играть. То есть играть можно, но — только в очень крупную, всерьез... брр!.. и хочется, и колется, и страшно...

Лештуков перебил ее.

— А вы не находите, — полусерьезно заметил он, глядя в сторону, — что маленькой игры я претерпел уже более чем достаточно? По крайней мере, я, с своей стороны, сыт ею по горло!

Маргарита Николаевна окинула его обычным ей, быстрым и смешливым взглядом.

— Видите, какой вы нелюбезный... Вам бы все va banque *, а я трусиха, меня на решительные ставки не хватает. А между тем мне сегодня, как нарочно, именно играть хочется, необходимо возбуждение игры!.. Какие-то искорки под кожей бегают... Ну, Дмитрий Владимирович! Bataille! ** Притворитесь, будто вы мне чужой, будто я для вас новость, ухаживайте за мной, интересуйтесь загадочной натурой... Проделывайте все, что мы с вами проделывали два месяца тому назад в Швейцарии, где нам обоим было столько же весело вдвоем, как теперь скучно... Зачем мы утратили это настроение? Зачем вы ударились в трагедию? Трагедии заставляют хандрить. Ах какое славное было время! Попробуем, вернем его, милый, хороший Дмитрий Владимирович!

— Рад бы, но...

Лештуков развел руками.

Маргарита Николаевна резко отвернулась от него.

— Да, вы уже не годитесь для хороших отношений, — задумчиво протянула она. — Я вас уже испортила... Вот все-

---

* Ва-банк — идти на риск (*фр.*), в азартной карточной игре ставка, равная банку.

** Бой, баталия! (*фр.*)

гда я так-то людей порчу, — вырвалось у нее искренним звуком, — а потом бывает и тяжело, и скучно!

Возражать было нечего. Лештуков молчал. Маргарита Николаевна стояла спиной к нему, и плечи ее вздрагивали, будто от подавленного плача.

«Игра что ли началась? — с досадою и смущением думал Лештуков. — Или в самом деле нервничает? Черт! а ведь, кажется, я и эту даму хорошо знаю, и вообще немало их пропустил через свои руки. Отчего это всегда так случается, что стоит нашему брату, тертому калачу, искренне влюбиться, — и сразу теряешь всякую опытность, всякое понимание, делаешься туп, глуп, робок, несообразителен, как мальчишка? Теряешь нюх, как гончая, которой залило дождем чутье».

Рехтберг обратилась к нему медленным и вялым движением.

— Надоело здесь! — скучливо сказала она. — Дайте руку, я хочу уйти...

— Прикажете позвать наших?

Маргарита Николаевна досадливо качнула головой.

— Оставьте их, — пусть наслаждаются... Проводите меня домой! Или, быть может, вам это не нравится?

Она прижалась к плечу Лештукова.

— Ну вот, опять играете, — сдержанно заметил Дмитрий Владимирович, между тем как в горле у него заходили так хорошо знакомые ему спазмы.

— Играю, милый, играю, — не совсем естественно рассмеялась Маргарита Николаевна, — сказала вам: не могу я сегодня не играть!..

Когда общество отеля вернулось с прогулки и собралось для ужина, Маргарита Николаевна вышла к столу, кутаясь, точно озябшая, в огромный голубой платок. Лицо ее было бледно: глаза, сделавшись на белом лице еще шире обыкновенного, смотрели задумчиво и серьезно, но с добрым и хорошим выражением.

— А Дмитрия Владимировича куда вы потеряли? — лукаво спросил ее Кистяков, подмигивая хозяйкам.

— Не знаю, — с невозмутимой ленью протянула Рехтберг, еще плотнее кутаясь в свой платок. — Кажется, убежал на взморье... По обыкновению, не в духе...

— Значит, вы опять поссорились?.. Ах, Маргарита Николаевна, Маргарита Николаевна! Нехорошо... Грешно вам!..

Маргарита Николаевна не отвечала, рассеянно сосредоточась усталым взглядом на столовой лампе.

VIII

Со шляпой на затылке, расстегнув свой белый жилет, Лештуков шел или, вернее сказать, увязал в песках между морем и пинетою. Луна уже спряталась. Звезды сделались ярче и больше, — проглянули и такие, которых слабые искры до сих пор съедал лунный свет. Лештуков, споткнувшись о крупную раковину, упал на песок и остался лежать: ему лень было приподняться. Прибой добегал почти до его подошв. Ему было хорошо. Кровь в его жилах текла так же буйно, как эти волны, которых он, лежа на спине, не видел, а только слышал... Еще недавно волны были ему ненавистны, а теперь он любил их; ему было приятно думать, что около него бьется и шумит что-то, словно родное его настроению — такое же могучее, громадное и неудержимое, как восторг, переполняющий его сердце.

Ах, сердце тоже море:
И бьется, и шумит,
И также дорогие
Жемчужины хранит... —

беззвучно пела его память. Широко открытыми глазами он измерял небесный шатер, и казалось ему, будто гул близкой,

но невидимой стихии, что охватывает его ветром и солеными брызгами, — лишь отголосок далекого гула движущихся там, наверху, миров.

«Бывают скверные минуты, когда все это таинство красоты представляется озленному тоской жизни человеку — так — чем-то вроде голубого стеклянного колпака с насаженными под него светляками. Но сейчас я почти готов верить в влюбленного великана, как описал его Гейне: я вижу его пламенный сосновый факел... скользит по синеве и пишет мириадами искр предвечное и не умирающее «люблю тебя». Надо быть счастливым, чтобы понимать великое. Надо одуреть немножко от восторга, чтобы в полной мере сознать себя частью этой машины машин — матери-природы. Не знаю, небо ли спустилось ко мне, или я полетел к нему, но я над землею... Сейчас я уже думаю, разбираюсь сам с собою, а — как я сюда попал? Нечистая сила или собственные ноги меня принесли?.. А пять минут тому назад... такого хорошего тумана в голове никогда еще не испытывал... Без вина пьян — и нет у меня ни одного врага на свете!.. Всех люблю! Рад обнять кого угодно! И все это... Ах, черт возьми!»

Он весело вскочил на ноги и улыбался в темноте.

«Куда теперь деваться? Я петь хочу, смеяться, пить и глупить; хочу видеть людей таких же счастливых, как я сам... Домой — нельзя: у меня, должно быть, откровенное до глупости, счастливое до пошлости лицо. Пойду к Ларцеву; авось он дома и еще не спит».

Все с тою же застывшею на лице улыбкой он поднял с земли свою мокрую шляпу, снял брошенную на нее морем водоросль и медленно пошел к городу. Море гудело вслед ему мощным, ласковым голосом...

Жизнь в Виареджио замирает поздно... Набережная еще горела огоньками обычной иллюминации: в купальном сезоне здесь каждый день праздник. В «Nettune»* грохотал воен-

* «Нептун» (*ит.*).

ный оркестр. Лештукова обогнали знакомые офицеры-берсальеры: они отправлялись в вокзал на танцы и звали с собой Лештукова, но в модный приют англичан и офицерства его не тянуло; мокрая шляпа и измятый костюм послужили ему извинением. Бодрый, с бойкой уличной песенкой на устах, взбегал он по ларцевской лестнице — широкой и темной...

Нога Лештукова уже коснулась верхней ступени, когда ему померещилось что-то живое у двери мастерской Ларцева. Лештуков отшатнулся инстинктивным движением и прижался спиною к стене. И вовремя: вслед затем сильный и увертливый невидимка сцепился с Лештуковым, грудь с грудью; рыча и проклиная, он силился высвободить свою, крепко схваченную Дмитрием Владимировичем руку. Ошеломленный Лештуков боролся, не успев даже сообразить, какого это врага послала ему судьба. В нем закипело слепое бешенство, дикая отвага, какие являются только при нечаянной опасности. Невидимка вскрикнул от боли... Что-то звякнуло по ступеням... Лештуков бросился вниз по лестнице, таща за собою своего неприятеля за вывернутую руку. Неизвестному, должно быть, пришлось очень больно: он почти не упирался.

— Альберто!.. Так я и знал! — вскричал Лештуков при первом луче уличного света. — Мой милый! вы, кажется, дали своему патрону обет попасть на всю жизнь в тюрьму Монтелупо?

Альберто, с пристыженным лицом, угрюмо потирал красную и распухшую правую руку левою.

— Вы мне руку вывихнули, синьор, — сердито буркнул он сквозь зубы.

— А вы меня зарезать хотели, синьор! — насмешливо отозвался Лештуков, пожимая плечами.

— Я не знал, что это вы!.. Тьма, как в аду...

— А я не знал, что это вы!.. Вы, конечно, Ларцева дожидались?

Моряк кивнул головой.

— Я предупреждал... — проворчал он, глядя в землю.

Фигура измученного, изломанного неудачною любовью богатыря показалась Лештукову жалкою. Злое возбуждение борьбы стихло, недавнее блаженное настроение опять вступало в права и манило счастливого на участие и сострадание к несчастному.

— Ах, Альберто, Альберто! Что вы только, безумный человек, над собою делаете?!

Альберто поник головою еще ниже.

— Вы, синьор, должно быть, очень счастливо любите, — сурово говорил он, дуя на свои измятые пальцы, — иначе вы поняли бы меня! Вы большой барин, я — мужик, простой матрос. Но сделаны мы из одного теста. И посмотрел бы я, что стали бы вы делать, если бы... Можно все говорить, синьор?

— Говорите, Альберто! После такой хорошей потасовки люди имеют право быть откровенными друг с другом. Кулаки иногда дружат и равняют людей.

— Если бы ходила позировать к вашему другу и оставалась с ним с глазу на глаз каждый день по три часа не Джулия, а синьора Маргарита?..

— Что за вздор, Альберто?! Причем тут синьора Маргарита?

— Простите: вы дали мне право говорить, что я хочу. Я так и сказал, как думал. Потому что я хочу, чтобы вы меня, как следует, сердцем поняли. Не смущайтесь, синьор: разговор этот — между нами! Вы с ней всегда вместе. Что вы не муж и жена, — нам известно. Что вы ее любите, — этого тоже разве только слепой не увидит. А как вы ею мучаетесь и ее ревнуете, — это я лучше всех знаю!

— Черт знает, что несете вы, Альберто! — уже почти с гневом и краснея, возразил Лештуков.

— Синьор! — холодно остановил его Альберто, — у нас на веранде висит зеркало. Взгляните в него, когда вы сидите

за столом и пьете свой коньяк, а синьора Маргарита входит в воду.

Лештуков поморщился. Marinajo попал ему не в бровь, а прямо в глаз. Каждый день он переживал по несколько мучительных минут — именно тех, как уязвил его сейчас Альберто. Маргарита Николаевна имела большой успех в купальном мирке. Когда она, сияя улыбкой, стройная и грациозная, появлялась в воде, все мужчины на веранде вооружались пенсне и моноклями и седлали перила барьера. Каждый делал вид, будто даже не смотрит на море, но Лештуков — чутьем человека влюбленного и развратного — хорошо понимал, что все внимание косых и как бы случайных, притворно-рассеянных взглядов мужской толпы вертится около розового лица, розовых плеч и рук, красивым пятном выделяющихся на зелени и белой пене моря...

«Словно лошадь осматривают!» — со злобою думал Лештуков, напрасно стараясь сохранить хладнокровие.

Око за око и зуб за зуб; Лештуков с жестоким раскаянием припомнил, скольких мужей, влюбленных, любовников бесил он сам, шатаясь по «бадортам», тем же, чем теперь бесят его другие. Сколько раз смеялся он над дикой ревностью — «не смотри на мое...» И вот... Чему посмеешься, тому и поработаешь.

Он отлично знал: если все эти итальянцы, немцы, французы не таращатся на Маргариту Николаевну прямо, как на полунагую фигурантку бульварной феерии, то лишь потому, что он сидит на веранде. Его принимают за мужа и опасаются зацепить его самолюбие слишком откровенным цинизмом, — кому же охота нарваться на скандал с человеком, у которого такие широкие плечи и такой суровый взгляд? Эта лицемерная вежливость бесила Лештукова, он десять раз давал себе слово не ходить на веранду. Но когда Рехтберг отправлялась вместе с немками купаться, ему живо представлялось, как она вошла в воду, как с веранды смотрят на нее уже не искоса и испод-

тишка, а прямо в упор — наводят бинокли, критикуют ее руки и ноги, острят и делают скверные предположения... Он бледнел и, схватив шляпу и трость, все-таки являлся на веранде, с обычным ленивым видом и искусственной улыбкой на губах. Сама Маргарита Николаевна злила его столько же, как и ее созерцатели. Она так часто жаловалась на непрошеное внимание мужчин, что разве очень неопытный мальчик не понял бы, насколько, в действительности, внимание это ей льстило. В море, среди волн и пены, Рехтберг была очаровательна и, конечно, сознавала свою силу. Нет таких женщин, которые бы не знали, когда они хороши собою. Лештуков, когда Маргарита Николаевна осторожным шагом выходила из-под столбов купальни к limite и, держась за канат, бросалась спиною на волны, любил ее до ненависти. Каждое ее движение, каждый взгляд, каждая улыбка представлялись ему умышленными. Ее движения были полны манящей чувственности, и он уже сам не знал, как будет для него хуже думать о Маргарите Николаевне: нарочно это выходит у нее или нечаянно? Если кокетка сознательно дразнит своим телом животные страсти, — скверно. Но любить женщину, в которую гадкий талант пробуждать желания в каждом мужчине посажен самою природой и вырывается наружу инстинктивно, сам по себе, даже не завися от произвола женщины, — едва ли не еще ужаснее.

Лештуков воображал, будто скрывает свои волнения довольно искусно. И что же? Простой моряк видит его мельком на пять минут в день, без всяких разговоров, кроме здравствуй и прощай, — и, однако, выкладывает, как на ладони, всю его любовную психологию и еще хвастается, будто они из одного теста слеплены.

«Прозорливость влюбленного!» — размышлял Лештуков. Вместе с этой мыслью ему стало жаль Альберто, и сам моряк стал близким, родственно понятным ему и милым человеком. Ему захотелось доставить бедняку хоть несколько таких же отрадных мгновений, как сейчас была полна и ра-

достна его собственная жизнь. Он вспомнил, как вчера он уговорил Ларцева покончить свои счеты с Виареджио и уехать, и решил обрадовать моряка этим известием.

— Идем, Альберто!

— В полицию, что ли, синьор?

— Э! какая там полиция между друзьями?.. В какое-нибудь альберго: у меня глотка высохла от возни с вами... Кстати, нам надо еще поговорить.

В харчевне Лештуков едва не вскрикнул, когда лампы осветили лицо Альберто: ходячим трупом показался ему матрос.

— Ой, как вы скверно выглядите!

— Что думает делать художник, синьор? — не отвечая и глядя в землю, спросил Альберто. — Не всегда будет везти ему, как сегодня.

— Он уезжает.

— Это вы его заставили, не правда ли?

— Заставить я не мог бы, но советовал очень... Да будет вам об этом. Вы совсем больны...

— Я с утра ничего не ел и не могу есть. Все противно. Зато жаждою глотку сожгло.

— Так — стакан вина поскорее. Чокнемся, Альберто!

Альберто выпил и вздохнул всеми легкими, с громадным облегчением, словно впервые за целый день обменил воздух в груди своей.

— Так это верно? Уезжает и не вернется?

— Ни в каком случае.

— Стало быть, есть еще честные люди на свете. Тем лучше для него.

Он поднял стакан над головою и бросил его об пол.

— Синьор, так да разлетятся все злые мысли.

Часом позже Альберто, стоя на перекрестке Viale Ugo Foscolo *, дружески тряс руку русского:

* Улица Уго Фосколо (*ит.*).

— Синьор! — в голосе его вздрагивали плачущие нотки, — вы меня из мертвых подняли! Вы уедете далеко, вы — большой барин, а все-таки помните, что у вас есть друг, и ему для вас, если понадобится, жизни не жалко. Такие вещи, даже живучи на другом конце света, хорошо знать, синьор. Я рад, что мне не надо обижать художника... Он мне нравится, я хотел быть ему другом. Но что делать? Жизнь приказывала его убить.

Лештуков говорил:

— Мой совет: не слишком преследуйте Джулию. Пусть опомнится, придет в себя. Дайте влюбленности остыть, самолюбию успокоиться...

— Все равно, синьор. От судьбы не уйдешь. Мне вот уже который день кажется, что я пропащий человек. Кто-то темный гонится за мною по пятам, и добром нам с Джулией не разойтись...

— Э, полно, Альберто! Вы сами сказали давеча: да погибнут злые мысли!

Но Альберто не слушал в волнении.

— Что ж? тюрьма так тюрьма. Только я и на каторге не позабуду вашей фиаски вина и вашей доброй ласки.

— Зачем на каторге? Мы еще отлично увидимся и в Виареджио.

Он был тронут даже глубже, чем хотел, трепетным волнением бедного малого, а тот топтался около него, как большой, ласковый, преданный хозяину ручной зверь и говорил голосом, в котором пел рыдающий восторг:

— Помните, синьор: нет услуги, которой не сделал бы для вас я, Альберто-marinajo. Ваши друзья — мои друзья. Ваши враги — мои враги. Это говорю вам я, Альберто-marinajo. Так вот помните... Приятных сновидений, синьор.

— И вам.

Альберто бросился бежать вдоль по улице и на углу ближайшего переулка остановился.

— Ваши друзья — мои друзья. Ваши враги — мои враги. А я — Альберто-marinajo! — еще раз услышал издали Лештуков.

Матрос скрылся. Лештуков побрел к своему отелю.

— Вот везет мне сегодня! — усмехался он. — Говорят, что спасти свою жизнь, значит второй раз родиться. Ах как ужасно было бы потерять ее именно теперь, когда она так весела и полна! Древние полагали высшее блаженство в том, чтобы умереть в самый счастливый момент жизни. Да! как бы не так! Тут-то и жить хочется, тут-то язык и не повернется сказать мгновенью: остановись!.. Итак, я спас свою жизнь. Затем помирил двух хороших людей и сам приобрел хорошего друга, кажется, самого искреннего из всех моих друзей...

Он был уже в виду своего дома. Счастье хлынуло в него новой волной: в уголке балкона, в креслах, неясно виднелась женская фигура, заслоненная огромным олеандром...

IX

Лештуков нарочно не рассказал Ларцеву о своей схватке с Альберто. Он знал, что художник обладает страстью к выяснению всяких недоразумений, и был твердо уверен, что разговор между Ларцевым и Альберто не замедлит перейти в спор, спор — в ссору, а ссора, пожалуй, в поножовщину. Альберто был слишком свежо обижен, чтобы хладнокровно принимать резкости, а резкостями Ларцев не преминул бы и имел полное право его осыпать. При всем своем добродушии, при всей рассудительности и закономерности своих мыслей и поступков, Андрей Николаевич был одержим избытком физической мужской гордости; прав или не прав бывал — он инстинктивно возмущался против всяких попреков и укоров и лез на стену от грубого слова.

— Если бы я когда-нибудь, сохрани Бог, увидал поднятую на меня руку, — не раз говорил Ларцев и даже слегка бледнел при этом, — я не знаю, что сделал бы! Так полагаю, что либо меня, либо другого мертвым бы взяли с места! Не могу я видеть, как замахиваются или бьют. Верите ли, даже в детстве ни отцу, ни дядям не давался пороться. Если других при мне бьют, тоже не выношу. Это какая-то идиосинкразия. За дело бьют или не за дело, прав битый или не прав, — мне все равно, я не разбираю: при мне языком болтай, а рукам воли не давай. В самом горячем споре я совершенно хладнокровно могу успокаивать, убеждать, уговаривать, даже разнимать противников; они могут позволять себе какие угодно слова, — мне на это наплевать. Но взмах руки в воздухе, — и у меня уже не остается никакого благоразумия, я ничего не помню, в глазах скачут кровавые мальчики, все в красном тумане, и я способен натворить Бог знает чего.

Гордость Ларцева была уже задета отчасти и тем, что ему приходится уезжать. Он сознавал, что Лештуков присоветовал ему исход дела честный, великодушный и благоразумный, но в то же время сомневался: не покажется ли его отъезд из Виареджио трусостью и Джулии, и Альберто, и всем, кроме Лештукова, знакомым с его неожиданным и невольным романом.

Личные волнения испортили ему рабочую полосу; исчезло созерцательное настроение вдумчивой самокритики, в каком особенно нуждался он именно теперь, когда «Миньона» была сделана в общем. Оставалось лишь строго и внимательно отделать картину; на очереди стояли детали: что исключить, что прибавить — вопросы внешней техники, а не самого содержания картины. Себе художник уже угодил «Миньоною». Надо было сделать несколько шагов, чтобы угодить ею наверняка и публике: шагов опасных, — как бы не впасть в шаблон, в потворство вкусам массы. А этого Андрей Николаевич боялся пуще всего.

— Одно дело, — говорил он, — беседовать с толпой своим языком, но так чтобы она тебя понимала и слушалась; а другое — подделываться под ее язык и лебезить перед нею. Первое дело — обязанность всякого художника, но кто пошел по второй дорожке, — ставь на нем крест: кончит олеографическими пошлостями!.. Разыскать истинную границу между понятностью и угодничеством и называется чувством меры; этот дар свободно и здорово действует лишь в уравновешенных художественных натурах.

Вот равновесие-то именно и выбило из Андрея Николаевича события последних дней. С отвращением и ленью повозившись над картиною два утра, он решил, что лучше и впрямь не трогать «Миньоны» до Рима.

— Работать, потеряв тон, не резон: глядишь на картину не теми глазами, как следует. Творческое наитие помутилось потоком внешних обстоятельств, отношений, чувств и мыслей. Смотреть на картину сквозь этот поток и трудно, и опасно, и несправедливо. Нечего ремесленничать! Один ремесленный, вымученный мазок может погубить роскошнейший плод свободного вдохновения.

Ларцев призвал столяра, заказал ему ящики на «Миньону» и еще кое-какие полотна своей мастерской, а сам уехал в горы.

С альбомом и с карандашом лазил он под горячим солнцем по зеленым куполам холмов Камаиоре, карабкался по мраморным уступам Массарозы, братался со сторожами виноградников и погонщиками ослов, питался сыром, от которого болели челюсти, запивая его таким кислым вином, что глаза лезли на лоб... Ночевать приходилось ему у людей, лишенных иного крова, кроме природного навеса скалы, кое-как обгороженного гнилыми, дырявыми досками. В один жаркий вечер Ларцев поднялся к такому дому, прилепленному футами пятьюстами выше Камаиоре.

— Добрый вечер! — отвесил он общий поклон полдюжине желтых высохших людей, неподвижно сидевших на булыжниках порога. Я умираю от жажды. Нет ли у вас вина?

— Вина?.. Нет у нас вина, синьор! — с вежливою, но втайне враждебною печалью отозвалась женщина, с лица сухая и сморщенная, наподобие выжатого лимона, но с огромным животом, раздутым, как тыква.

— Жаль! Молоко, может быть, есть?

— И молока нет, синьор!

— Черт возьми, что же у вас есть, наконец?!

— Одна нищета, синьор!

Ларцев посмотрел на эту людскую ветошь, истрепанную голодом и лихорадками до того, что, казалось, сквозь тощие тела виднелись исстрадавшиеся души... Ему стало больно и горько... А вечер, как нарочно, был обольстительно хорош: индиговое небо окаймилось золотым закатом, румяные тени дрожали на лысинах гор, на скатах холмов богатейшие виноградники весело впитывали последние отблески лучей ушедшего за гору солнца; внизу, как в муравейнике, кипела жизнь маленького, бойкого городка, очнувшегося, в предчувствии вечерней прохлады, от сытой послеобеденной спячки под гнетом дневного зноя. Ларцев сел на порог горного гнезда, — домом, даже хижиной, он не решался назвать эту стройку троглодитов XIX века.

— Как бы то ни было, я прошу позволения заночевать у вас. И вот десять франков: не добежит ли кто-либо до города купить хлеба и вина?

Ночуя в лачуге, Ларцев мог убедиться, что под ее кровом, кроме нищеты, живет еще и честность. Он был один в далеком горном пустыре, между голодных, одичалых от нужды людей, он показал им туго набитое портмоне, — и, несмотря на то, спал среди накормленной им семьи так же крепко и безопасно, как спал бы среди собственной. Между тем урочище, где висело гнездо отощавших полудикарей, слыло в окру-

ге разбойничьим, и окрестные власти зорко следили за ним, как за язвою здешних мест.

— Подите же! — рассуждал Ларцев, шагая поутру узкою горною тропинкой сквозь цепкий орешник, — в легальной и благоустроенной Флоренции меня три раза обкрадывали кельнера лучших отелей, причем, я полагаю, каждый из этих каналий, — если пошевелить деньжонки, положенные им в банк на предъявителя, — вдвое богаче меня самого. А из вертепа нищих ухожу, не потеряв ни одной копейки и, наоборот, приобретя очень много... блох.

В Виареджио он явился поздно к вечеру — совсем оборвышем, с бронзовым загаром на лице, облупленном горными ветрами. Слуга, преданный малый из натурщиков, уже второй год скитавшийся за художником в его кочевье по Италии, сообщил Ларцеву, что Джулия трижды приходила без него, каждый раз все более и более в волнении.

— Ей, синьор, очень хотелось знать, правда ли, будто вы уезжаете. Я сказал: «Что я знаю?! Господин велит мне уложить чемоданы, — вот мое дело! Пока он еще не приказывал. Сейчас он в горах. Когда приедет, расспросите его сами. Если, — говорю, — за сеансы вам остался должен, — вы не беспокойтесь, за ним не пропадет; не такой синьор; нас все знают».

— Я ей ничего не должен, — поморщился Ларцев. — Ах как это вы глупо сказали, Маттиа! Что же она вам ответила?

— Да, признаться, то же, что вы, синьор.

— То есть?

— Завязала мне дурака, синьор. А сама — белая как полотно, и глаза... Право, я не видал таких глаз, синьор: как будто на всем лице одни глаза только и есть; так искрами и сыпят!.. Мне она показалась странною, синьор, и я даже ходил к синьору Деметрио посоветоваться с ним, как быть, если она еще раз явится.

— Что же вам сказал Лештуков?

Маттиа лукаво улыбнулся.

— Он сперва, синьор, сказал мне: «А? Что?..» Тут его позвала синьора Маргарита. Он разговаривал с нею добрых пять минут, потом вспомнил обо мне, извинился, что заставил ждать, и сказал: «Да, да, да, так вот какие дела?..» Синьора Рехтберг опять его позвала... «Ну, это как-нибудь все устроится», — поспешно сказал синьор Деметрио, сунул мне в руку золотой, чего, сказать вам правду, синьор, за ним прежде не водилось, — и поспешил к синьоре... Я понял, что мне дожидаться нечего...

Ларцев переменил костюм и отправился к Лештукову в некотором недоумении: что за перемена приключилась с человеком, всегда так горячо принимавшим к сердцу его интересы. На балконе никого не было. Нижний этаж был пуст: богема отеля, в полном своем составе, уже убежала на мол. В столовой возилась с посудою служанка. Андрей Николаевич спросил о Лештукове. Служанка с сердитым видом, молча, ткнула пальцем на потолок. Андрей Николаевич поднялся на лестницу поневоле бесшумно, благодаря своим плетеным туфлям, — и на поворотной площадке, не доходя несколько ступенек до верха, замер на месте, в нерешимости: идти ему дальше или лучше спуститься обратно вниз? Сквозь перила и полуотворенные двери в кабинет Лештукова ясно рисовался силуэт Маргариты Николаевны Рехтберг. Она сидела в глубоких креслах, уронив белые руки на склоненную к коленам ее голову Лештукова. Луна бросала в комнату яркое пятно света, и Ларцев, из темноты, мог разглядеть полузакрытые глаза Маргариты Николаевны и ее странную, задумчивую улыбку. Лица Лештукова он не видал, но поворот его головы, его полулежачая поза, были полны ленивой неги и силы.

«Вот как! — насмешливо подумал Ларцев. — Нежная сцена и поза счастливого собственника! Медовый месяц. С чем и имею честь поздравить. Теперь я извиняю ему небрежность

к моим делам и невнимание к Маттиа. Раз дело дошло до живых картин, человеку уже не до друзей. Однако...»

Андрей Николаевич засвистал итальянскую песенку и стал как можно медленнее подыматься по остальным пяти ступенькам лестницы. Лештуков и Рехтберг встретили его восклицаниями, — слишком радостными, чтобы быть искренними. Ларцев понял и, посидев с влюбленной парочкой минут десять в лунных сумерках, откланялся, обещая прийти к ужину с мола, куда отправился искать остальную компанию отеля.

Он шел и ворчал про себя.

— Конечно, я очень рад за милейшего Дмитрия Владимировича, если эта любовная удача встряхнет его немножко. Только он здесь, кажется, слишком всерьез забрал, а предмет-то для серьеза выбрал куда не подходящий! Знаю я этих флертисток новейшего пошиба! Самый яд для нашего брата — артиста. Всю нервную силу, которая на дело нужна, в конце концов ухлопываем на них... Нет, дудки! Нас этак не запрягут: самому дороже... Какая, однако, романтическая полоса пошла у нас в колонии... Даже в воздухе что-то такое есть... Но мне все-таки немножко грустно и досадно. Когда в воздухе носятся бациллы любви, микробы дружбы вымирают. Пока не уймутся счастливые волнения страсти, мой милейший Дмитрий Владимирович для меня потерян. Даже умнейшие люди делаются на это время дураками, и им не до друзей... О страна любви, страна любви, на твоей душе останется этот грех!..

X

Лештуков, послав с балкона уходящему Ларцеву дружеский знак рукою, отвернулся от улицы совсем уже не с дружеским лицом.

— Уф! Слава Богу, опять одни! — сказал он, вздыхая, будто сбросил с плеч огромную тяжесть. — Я так боялся,

что он останется и испортит нам вечер. Вот какая подлость любовь: друг, а мешает. Жмешь руку, хлопаешь по плечу, а сам думаешь: «Ах черт бы тебя побрал!.. убирался бы ты поскорей!»

Маргарита Николаевна молчала. Лештуков опять опустился к ее ногам, взял ее руку и положил ладонью на свое лицо.

Через луну перебежали два легких облачка, и отражения их мимолетною рябью мелькнули по влюбленной чете.

— Знаешь... — начала Рехтберг.

Лештуков насторожил уши: в тоне Маргариты Николаевны ему послышалось неудовольствие.

— Знаешь, это глупо вышло, что он так застал нас и потом ушел... Бог знает, что может он о нас подумать!

— А пускай!

Дмитрий Владимирович, в полудремотном состоянии, откинул голову на колени Рехтберг и ждал, когда она наклонится к нему, чтобы губами встретить ее губы. Но она отодвинулась с заметною досадою.

— Как я не люблю тебя таким! — вырвалось у нее.

— Каким «таким»? — лениво переспросил Лештуков, приподнимаясь на локте.

— Когда тебе все на свете «пускай», когда тебе решительно все равно, что обо мне будут говорить, думать.

Лештуков сел на скамеечку у ее ног.

— Прости меня, — серьезно заговорил он, — но я не понимаю, за что ты делаешь мне подобные замечания, — обрати внимание: за три дня, по крайней мере, уже в десятый раз... Выясним, сделай милость: как же, собственно, вести мне себя?

— Так, чтобы наши отношения не резали людям глаза, чтобы они не думали больше, чем следует!

— Поверь мне, Ларцев больше, чем следует, и не подумал.

— То есть, он ушел в уверенности, что мы с вами в связи... Очень приятно!

— Если и так, что за беда?

Маргарита Николаевна даже отшатнулась.

— Да вы, кажется, с ума сошли, Дмитрий Владимирович!

— Ничуть! Людские рты надо замазывать, когда они клевещут, людские глаза надо обманывать, когда они без спроса лезут в чужую тайну. Но если тайны никакой нет, если люди видят и говорят правду, какое нам дело?

— Как? Вам ничего, если мое имя будет трепаться по всем улицам праздными языками?!

— Виноват! Что вы понимаете под этим «трепаться»?

— Если будут говорить, что я, Маргарита Рехтберг, ваша любовница... вам все равно?

Лештуков встал на ноги и прислонился к дверной притолоке.

— Нет, не все равно! — медленно сказал он. — В первый раз, как я услышу такое слово, я подойду к тому, кто его произнес, и поправлю, скажу: «Вы ошибаетесь, Маргарита, бывшая Рехтберг — не любовница моя, а моя жена...»

Маргарита Николаевна резко и искусственно засмеялась.

— Да, только этого и недоставало.

Она тоже встала с кресла и тоже прислонилась к притолоке лицом к лицу с Лештуковым.

— Вы какой-то безумный, вас лечить надо! — отрывисто бросала она фразу за фразой, в недоумении пожимая плечами. — «Пускай говорят, что любовница... поправлю, что жена...» И, главное, вы ведь, действительно, способны на такую выходку, от вас станется... Думаете ли вы о том, что говорите? Вы словно с облаков свалились и в земной монастырь лунные уставы принесли!.. Неужели вам не приходит в голову, что у меня есть репутация, что я ношу чужое имя и обязана сохранять его чистым?!

— Теперь не приходит. Приходило раньше, — когда и вам об этом надо было думать, — спокойно возразил Лештуков.

Маргарита Николаевна вспыхнула как порох.

— Что вы этим хотите сказать? — воскликнула она. — Что, уступив вашей любви, — ведь вы искали меня, добивались меня! вы, вы, а не я! — я пала, погибла, и ко мне можно прибивать какие угодно вывески?!

— Пожалуйста, перестаньте нервничать. Вы отлично знаете, что ничего подобного я сказать не хотел. Каждый, кто попробует вас оскорбить или не уважать, будет иметь во мне врага. Зачем же эти выходки?

— Я не могла предвидеть, что вы поставите меня так, чтобы я потеряла в глазах общества всякое уважение!.. Вы думаете, я не вижу, как на меня здесь смотрят?!

— Вы воображаете гораздо больше, чем есть на самом деле. Сами создаете себе рой Бог знает каких призраков и потом их пугаетесь. Никто на вас дурно не смотрит, и ничьего уважения вы не теряли. Это раз. А два: если бы что-нибудь подобное и было, я повторяю: мы должны были этого ждать, мы на то шли. Послушайте, Маргарита! Мы с вами уже сотни раз объяснялись, как будто бы и серьезно, но, по-видимому, вы до сих пор все-таки считали мои слова лишь за эффектную гимнастику любовного красноречия. Я говорил вам, что люблю вас сильно, что вы единственная женщина, с которою я хотел бы связать свою жизнь. Вы видите, я — человек на переломе четвертого десятка — бросил все: свою семью, своих друзей, свою родину, свое любимое дело — и мечусь с вами по Европе, как Вечный Жид. Не идиот же я, наконец, и не сатир козлоногий, чтоб проделывать все эти безумства ради того лишь, чтобы... ну, словом, ради интрижки с пикантной женщиной. Женщин для интрижек всегда и везде больше, чем надо, — гораздо более...

— Я, кажется, в их число не напрашиваюсь... Вы хвастаетесь своей серьезною любовью... Если б я была женщиной, способной на интрижку, я — думаю — не заставила бы вас проделывать все эти «безумства», как вы выражаетесь — не особенно любезно, заметьте! Вы серьезно чувствовали, я серьезно на ваши чувства смотрела.

— И в результате все-таки предлагаете мне интрижку.

Маргарита Николаевна нервно передернула плечами.

— Это несносно, наконец!

— Как же иначе-то? Посудите сами: к чему сводятся наши отношения? К тайне, то есть к преступлению. Я предлагаю вам открытую, свободную и честную любовь, я готов защищать честь своего чувства перед целым светом, защищать на жизнь и смерть — чем и как хотите: своим словом, своею мыслью, своим кулаком, наконец. Готов потому, что вижу в нем высшее благо своей жизни. Я горжусь тем, что люблю вас. А вы мою гордость считаете своим позором! Говорите: «Нет, все, что угодно, кроме света... спрячемся, как можно глубже, в потемки, и — чтобы никто, никто не смел и подумать, будто я снизошла до любви к вам!» Именно это наш брат, охотник срывать в чужих садах запретные цветы удовольствия, и называет интрижкой на благородных основаниях. Есть скверненькая приятность добиваться подобных отношений от женщины, когда ее презираешь, но разве они мыслимы, если женщину боготворишь? В потемках женщина — самка, жена она — только при свете. Самок я мог бы найти и лучше вас, и красивее... А в вас я искал жену...

Маргарита Николаевна опять резко засмеялась.

— В замужней-то женщине?! Ха-ха-ха!!! Да это сцена из «Ревизора» — на трагический манер!..

Лештуков выпрямился. Его бледное под лунным светом лицо было строго.

— Да, — гордо сказал он. — В замужней женщине, которая всем своим поведением, каждым словом, каждым поступком, давала мне понять, что ее брак — огромное недоразумение и несчастье ее в жизни! В замужней женщине, которая заставила меня думать, что она еще не знала истинной любви и что я первый зажег в ней искру чего-то похожего на страсть! В замужней женщине, которая так искренно и хорошо говорила о своем семейном долге, о своем

уважении к мужу, о любви к своему ребенку, — что, именно, о легкой-то, для милого провождения времени, интрижке не смел подумать даже я — скептик, ославленный развратником... Спросите свою память, спросите свою совесть: звал ли я вас когда-нибудь на обман, на фальшивую игру с семьею и обществом? Нет, я вас слишком уважал, чтобы считать способною на грязненькую лавировку между мужем и любовником. Преследовал ли я вас когда-нибудь своими притязаниями — прежде, чем вы не сказали мне: «Я твоя»? А ведь мы с вами проводили целые дни и долгие вечера вдвоем; оба мы молодые люди; я вас любил, я вам нравился. Я не святой, вы не святая; техника флирта, импровизация любовной песни, нам обоим даже чересчур хорошо знакома...

— Ах, оставьте вы эту беллетристику, ваши психологические тонкости! — истерически вскрикнула Маргарита Николаевна. — Попросту, вы хотите сказать, что ждали, пока я сама брошусь вам на шею. Что ж? Можете торжествовать: дождались. Только — вы хвалитесь своим рыцарством, а это уж более чем не по-рыцарски — напоминать женщине ее прошлую глупость.

Лештуков чувствовал, как в душе его задрожали гневные струны, до сих пор неведомые ему самому.

— Я только хотел сказать, — глухо возразил он, — что никогда не возникло бы между нами отношений, допускающих подобные сцены, если бы я не ошибся — не поверил вам, что вы именно так же хорошо меня любите, как я вас.

В сумерках лунной ночи Маргарита Николаевна видела суровый блеск его глаз. Ей стало и жутко, и приятно, что ее так любят.

— Ты иногда какой-то страшный бываешь... Тебя бояться можно!.. — сказала она капризно-жалобным тоном, кутаясь в платок.

Лештуков молчал.

— Ты, пожалуй, убить способен!..

— Тебя?..

Лештуков задумался; перед глазами его почему-то промелькнуло лицо Альберто в ту минуту, когда лодочник говорил ему, будто они из одного теста слеплены.

— Пойми же ты! — продолжала все так же капризно Маргарита Николаевна. — Я ведь не спорю: ты во всем прав; следовало бы поступить, как ты хочешь, это было бы честно... Но — если я не могу? Я не знаю, что такое: воспитание ли это мое, просто ли — натура у меня жидковатая, заячья, но я всяких «или-или» вообще боюсь, а уж когда они являются в семейных вопросах, — не говори! Я дрожу, я теряюсь, я дурой делаюсь!

— Я вовсе не касался бы этих вопросов: о них столковаться — без спора не удастся, я знаю, я предвидел; а сейчас — не время споров, но время счастья... Наша любовь слишком молода, чтобы омрачать ее. Но ты сама напала на меня по поводу Ларцева...

— Что ж делать? Я не выношу фальшивых положений!

— Я тоже до них не охотник. Раз попали в фальшивое положение, надо из него выйти.

— Опять начинается сказка про белого бычка! Оставь свои теории, гляди на дело практически, как оно есть. Чего ты хочешь? Гражданского брака? Чтобы я сошлась с тобою, как говорится, maritalement? * Я прямо тебе говорю, что это невозможно; мне вечно будет казаться, будто на меня весь свет показывает пальцами. Может быть, и не станут показывать, а казаться мне все-таки будет. Я мнительная и выросла в таких понятиях, что это для женщины самый большой позор... И, так как ты будешь причиной этого позора, я тебя, вероятно, возненавижу через два-три дня после того, как мы сойдемся. Я ведь терпеть не могу страдать и ненавижу все, что меня страдать заставляет... Не ищи этого, не добивайся!

---

* Гражданский брак? *(ит.)*

— Есть возможность развода.

— Развода мне муж никогда не даст, он самолюбивый и... Не злись на меня за эти слова! Я никогда не решусь ему сказать, чтобы он дал мне свободу любить другого человека. Я его боюсь...

Она задумчиво посмотрела в хмурое лицо Лештукова.

— Боюсь, — повторила она, — больше, чем даже тебя... Если ты меня убьешь, то убьешь по страсти. Это будет преступление. Ты останешься преступником, а я умру — жертвою. Но за мужем — право... Он может уничтожить меня, как собственность, как вещь, которая была хороша, но испортилась и только срамит собою дом. Он убьет и будет прав, а я и мертвою останусь виноватой. Убьет, — и все скажут: «Молодец, что убил! так ей, дрянной, и надо было!» Не спорь! Это так, я верю в это, а веру никакими возражениями с места не сдвинешь. Если бы ты видел мужа, то знал бы, что он решительно на все способен. Он вежливый, сдержанный, но весь из правил — точно всю жизнь разбил на клеточки, как в лото... Выбросит ему судьба номер на такую клеточку, что, по правилу, надо убить: он и убьет. Я его не люблю, — он знает и любви не требует: он горд, милостыни не возьмет. Мы уже не первый год живем как чужие. Но я ношу его имя, и мою честь он считает своею честью. На имени же и чести своей он не то что пятна — даже тени не стерпит. А человек он старых понятий, признает в таких случаях одно лекарство: кровь. Эта откровенность отношений — тебе желанная — должна привести лишь к трагическому скандалу: либо дуэль на смерть, либо убийство, либо самоубийство... Что из трех зол ни выбрать, — от всего надо с ума сойти!

Прошла минута тяжелого молчания. Лештуков злобно барабанил пальцем по двери; ненавидел он этого никогда невиданного им таинственного мужа страшно... С суеверным страхом пред ним Маргариты Николаевны он сталки-

вался не в первый раз. Эта смелая, бойкая женщина, без семьи и национальности, полжизни рыскающая по разным модным курортам, среди самых разнообразных приключений, в кокетливой погоне за флиртом, вздрагивала, как от удара хлыстом, когда ей приходила в голову мысль о муже, оставленном в Петербурге мирно влачить служебные дни на довольно высоком посту. Точно незримое, но всевидящее око проплывало в тумане ее мыслей насмешливою и жестокою угрозою.

Лештуков вздохнул глубоко и вздохом прогнал судорогу, схватившую было его горло.

— Тогда... надо разорвать, — с усилием сказал он и, откачнувшись от притолоки, скрылся из лунного пятна в черную глубь комнаты.

Маргарита Николаевна откинула голову на спинку кресла; белый свет красиво дрожал на ее лице.

— Может быть, — сказала она, потянулась и закинула руки за голову жестом, полным чувственной неги. — Только не сейчас...

Лештуков угрюмо ходил по кабинету. Она поймала его за руку и привлекла к себе.

— Только не сейчас! — с улыбкой повторила она, заставляя его опуститься на колени, и облокотилась на его плечи. — Сейчас я слишком тебя люблю и хочу, чтобы ты меня тоже любил... без ума, без памяти... как только такие сумасшедшие могут любить...

XI

Джулия переживала дни отвратительного настроения; она даже подурнела и похудела за это время. Она соображала: если Ларцев после всего, что между ними произошло, не прибежал еще упасть к ее ногам с восторгом раба, счастливого

вниманием своей царицы, — значит, этого вовсе не будет, значит, он ее не любит. Джулия не знала, точно ли она и в самом деле так сильно любит Ларцева, как ей казалось. С тех пор как эта девочка начала подрастать, она только и слышала вокруг себя что комплименты да возгласы восторга. На четырнадцатом году ее чуть не украли по поручению какого-то сластолюбивого кардинала, побывавшего проездом в Виареджио. Джулия выросла в тщеславном убеждении, что она красавица из красавиц и что обладание ею будет счастьем для всякого, кого она удостоит своею любовью. Ее дело — выбрать себе мужа или любовника, а не дожидаться мужского выбора. Международная толпа купаний посылала Джулии ухаживателей самых разнообразных по сословиям, состоянию, общественному положению, национальности и даже — по цвету кожи. Ее любви добивались все — начиная с Альберто и кончая заезжими испанскими грандами с Сидом Кампеадором в корне родословного дерева. О страстности темперамента и романической живости воображения итальянок гораздо больше говорят и думают, чем есть на самом деле. У девушки из славянского, германского, даже французского простонародья, попади она в такие опасные условия, как поставлена была Джулия, давно уже закружилась бы голова. Но от Джулии все соблазны отскакивали, как от стены горох. Вековое заблуждение относительно мнимой легкости нравов итальянских женщин посеяно еще Боккачио, Бьонделло, Аретином. Но если бы такая легкость и существовала, — то во всяком случае обманутый муж гораздо более частый зверь в Италии, чем жених, которому подсунули невесту сомнительной невинности. В шестнадцать, в семнадцать лет итальянка (по крайней мере, в низших и средних слоях общества) думает не столько о любовном романе, сколько о замужестве. Прежде всего ей надо выйти замуж. А как сложится жизнь с мужем, — потом видно будет, от мужа зависит. Выйти замуж за какого-нибудь дуку-ди-Караффа или

маркиза Кавальканти Джулия, конечно, никогда не метила, в каких бы пламенных клятвах не рассыпались перед нею благородные отпрыски древних фамилий. Она понимала, что времена, когда крестьянки делались герцогинями, уплыли в область сказок, что теперь браки герцогов и маркизов — дело чуть не государственной важности. Будущность свою Джулия рисовала по весьма прозаической и простой схеме. Обожание купальщиков дает ей лишние лиры. Лиры эти она разменивает на золото и, в канун каждого воскресенья, относит в сберегательную кассу; это — ее приданое. Когда придет время выйти замуж, она будет завидной невестой с кругленькой суммой в банке, вполне достаточной для того, чтобы после свадьбы открыть или торговлю, или таверну, где у нее будет своя, отдельная от мужа доля, обусловленная в свадебном контракте. За Альберто Джулия выйти не собиралась, а не отказала ему решительно — по трем причинам. Во-первых, Альберто был так же избалован вниманием иностранок, как она — вниманием иностранцев. Девушке льстило пренебрежение, с каким он, по одному взгляду Джулии, готов был отправить ко всем чертям немецких баронесс и русских коммерсанток, даривших ему драгоценности за одну прогулку по морю, за десятиминутный урок плаванья. Джулия построила в своем уме такую лестницу местных нравов: господа раболепствуют перед своими барынями, барыни унижаются перед Альберто, а Альберто — моя собака. Во-вторых, ее практическая головка отлично сообразила, что брак с Альберто нимало не помешает ее карьере горничной при купальнях. Напротив, соединяясь вместе, они — две местные купальные знаменитости — получат и более верные ангажементы, и более солидное обеспечение, чем порознь. Джулия рассуждала совершенно таким же образом, как рассуждает модная оперная примадонна, выходя замуж за такого же, как она, модного тенора. Наконец, Джулия, несмотря на свою выдержку в отношении всяких Караффа и Каваль-

канти, все-таки находила, что ей не лишнее иметь над собою страх. Выдержка хотя и много значит, а все-таки гораздо меньше, чем горячая кровь девушки на выросте, да еще в стране любви с ее воздухом, отравленным песнями, звуками мандолины и любовными речами.

С Ларцевым у Джулии вышло огромное недоразумение. Художнических восторгов синьора Андреа Джулия не в состоянии была понять, а заключила из них, что Ларцев просто влюблен в нее, как все другие. Прошло две, три недели; Ларцев продолжал восторгаться Джулией, вступил с нею в большую дружбу, но ни на какие объяснения в любви не посягал. Избалованная поклонением, девушка сперва изумлялась, потом стала сердиться, самолюбие ее было затронуто. Ларцев ей очень нравился, особенно с тех пор, как однажды он рассказал ей свою биографию. Она узнала, что богатый и блестящий художник по происхождению ничуть не выше ее, и, следовательно, они — до известной степени — пара. Сдержанность Ларцева Джулия принимала за робость высказаться.

«Он человек честный, — думала она, — сбивать меня с толку, как иные стараются, не хочет, а на серьезное не решается, ждет. Что он меня любит, это верно; иначе зачем бы он именно меня, а не другую выбрал для картины? Зеленщица Анунциата, булочница Киара — не хуже меня... Их тоже художники рисовали, да еще какие и по скольку раз!..»

Джулия, в простоте своей, смотрела на картину, как на что-то вроде портрета, с твердой уверенностью, что ни в чем другом, а именно в ней-то, в Киаре или Анунциате, и была суть полотен, для которых они послужили моделями; ее логика говорила: рисуют нас, — значит, мы того стоим; пускай все видят, какие мы красивые!

Бес разбудил бестолковую ревность в сердце Альберто. Он сделал грубые сцены и Джулии, и Ларцеву. Джулия росла сиротой и в большой бедности, но — девушка гордая и са-

мостоятельная — она, на коротком веку своем, не имела еще случая чувствовать над собой власть: посягательство влюбленного моряка на ее совесть взбесило ее. Она сразу исполнилась ненавистью к бестактному жениху и, в той же мере, как возненавидела Альберто, полюбила художника. Головка у ней кружилась, самолюбие играло. Так как художник ничего ей не говорил, она решилась высказаться сама. Она знала: бесчестным способом Ларцев ее откровенностью никогда не воспользуется, а думает ли он о ней серьезно — пора была выяснить...

Когда Ларцев ушел в горы, а Лештуков при следующей встрече с Джулией как-то странно мямлил, рассеянно смотрел на горизонт и старался говорить решительно обо всем — только не о художнике, — девушка догадалась, что излишняя самонадеянность поставила ее в глупейшее положение. Буря оскорбленной гордости забушевала в ее душе. Три дня она ходила сама не своя, с суровым лицом и опущенными глазами, стараясь не выдать себя при молчаливых встречах с Альберто: они уже несколько дней как не разговаривали, потому что через два слова у них уже закипала ссора. И Альберто оставалось лишь следить за Джулией повсюду, с утра до вечера, а Джулии — неизменно чувствовать на себе его пытливый взор... Что Ларцев, по возвращении из гор, должен скоро совсем уехать из Виареджио, сказал девушке столяр, который делал художнику ящик для Миньоны. Джулия растерялась: ей только теперь стало понятно, какую огромную любовь вырастило самолюбие в ее сердце за несколько суток помех и бурных сцен; ей ясно представилось, как с отъездом Ларцева от ее сердца оторвется что-то такое огромное и хорошее, без чего и жизнь станет не в жизнь. Она испугалась за себя. Гордость ее ужасно страдала, когда она, как нищая, должна была стучаться к Маттиа и выслушивать его уклончивые ответы, сопровождаемые дерзкими улыбками зазнавшегося лакея. Лештуков тоже слишком ушел в свой

«медовый месяц», ему было не до Ларцева и не до Джулии, — да к тому же, что он мог сказать девушке? Ударить ее по сердцу советом оставить Ларцева в покое он никогда не решился бы. Он не был рожден для резких операций. Поэтому он держался с нею политики неведения и — на косвенные вопросы Джулии, что будет делать Ларцев, когда вернется, останется ли в Виареджио или уедет и, если уедет, то как, куда и когда, — только разводил руками: «Chi lo sa?» *

Назавтра, по возвращении Ларцева из гор, Джулия пришла на рынок за покупками.

— Что твоя картина, Джулия? — ласково спросила ее Киара: что Ларцев пишет Джулию, знало все Виареджио.

— Очень хорошо идет, — пробормотала девушка, розовея, — скоро конец... Вот как синьор художник вернется... его сейчас нет в городе...

— Как нет в городе?! — вскричала Киара. — Но он только что сейчас проехал мимо в фиакре!

— Что ты говоришь?!

— Да... туда... — Киара махнула рукою к железнодорожной станции. — И с ним сидел этот другой русский — его приятель.

Зелень и хлеб рассыпались из передника Джулии на мостовую. Джулия не вернулась поднять их, сколько изумленная ее неожиданным бегством Киара ни кричала ей вслед.

Девушка сломя голову бежала на станцию. Она вспомнила, что в половине первого есть поезд на Рим, — следовательно, Ларцев уезжает из Виареджио. Допустить его уехать не простившись, казалось ей столько ужасным, что она даже представить себе не могла, как переживет она, если упустит его, опоздает к поезду.

Ларцева провожали Лештуков, Кистяков, Франческо и Леман. Римский поезд еще не прилетел из Специи. Шампан-

* Кто знает? *(ит.)*

ское пенилось в бокалах... Лештуков был в ударе и говорил прощальный юмористический спич, когда Джулия появилась в дверях станционного ресторана. Лештуков, заметив ее, поперхнулся, а Ларцев густо покраснел и поспешно встал навстречу девушке.

— Вот как хорошо вы сделали, что пришли! — смущенно заговорил он, чувствуя под укоризненным взглядом Джулии, что сердце его сжимается от боли и какого-то таинственного стыда пред этою не любимой им девушкой.

В чем его вина перед Джулией, он сам не понимал: ведь он так благородно уезжает от опасности нарушить ее счастье, ввести ее в беду и грех. Но — что вина есть, и вина громадная, диктовал ему именно этот странный непроизвольный стыд.

«Точно я у этой девочки украл что!» — ползала в уме его смущенная мысль.

А Леман шептал Кистякову:

— Ага! Кот сливки слизнул, да уж и думал, что не высекут!

— Вы уезжаете, не простившись со мною, синьор! — сказала Джулия, глядя художнику прямо в глаза.

Ларцев опустил голову.

— Так надо, Джулия! — тихо сказал он.

Она с тою же укоризною качала головою, молча смотря на Ларцева взглядом насмерть раненной серны.

— Так надо, так лучше будет! — убедительно повторил Ларцев. — Вы сами это знаете!

Джулия не отвечала и продолжала качать головою.

— А она его не пырнет? — смутился вдруг Франческо.

— Что за глупости?

— Смотрите! Глазищи-то!.. А то, может, карабинеру мигнуть? Пусть бы тут постоял...

Недостача слов, незнание, чем утешить Джулию, давили Ларцева, как тяжелою плитою.

— Когда-нибудь мы с вами встретимся при лучших условиях и веселее, чем теперь! — начал художник, чтобы что-нибудь сказать.

Неловкость положения с минуты на минуту становилась для него все больнее и больнее; тем более, что он видел и слышал, как провожающие русские с любопытством перешептываются, наблюдая его объяснение, и только Лештуков беспечно делает вид, будто изучает ярлыки на верхних полках буфета.

— Может быть!.. — скорбно пролепетала Джулия, и глаза ее наполнились слезами.

Она кусала губы, чтобы не разрыдаться при посторонних. Андрей Николаевич, замечая эти усилия, чувствовал у самого себя «глаза на мокром месте».

— Джулия, я просил Лештукова передать вам...

— О, синьор! — перебила девушка, гордо выпрямляясь, — мы с вами в полном расчете.

— Но я полагаю, — мягко извинился художник, — что вы не откажетесь принять от хорошего друга маленькую сумму в подарок? Скажу вам откровенно: никакими деньгами не окупить услуг, оказанных вами моей картине!..

— Деньги, когда их дарят друзья, говорят, приносят несчастье, синьор!

Ларцев задумался.

— Пускай же то, что передаст вам Лештуков, войдет в плату за сеансы. А на память обо мне — примите вот это!

Он снял с себя часы — великолепный старинный хронометр — и подал его Джулии вместе с цепочкой и всеми навешенными на ней брелоками и жетонами.

Леман кивал Кистякову:

— Кажется, пошли в ход вещественные знаки невещественных отношений. Что, чертова перечница? Будешь в другой раз знать, как обольщать иностранных девиц?

— Я не возьму, синьор... Это слишком дорогая вещь... С этими привесками, конечно, для вас, связаны воспоминания.

— Тем приятнее мне будет оставить эту вещь у такого хорошего человека, как вы, Джулия!

Эта прощальная ласка любимого человека ободрила бедную девушку.

— Благодарю вас... Они у меня как святые будут!

Поезд налетел, быстро выбросил пять или шесть элегантных пассажиров, быстро принял в вагон Андрея Николаевича, — художник едва успел пожать руки друзьям, — и полетел дальше, гремя и заливая дымом маисовые поля.

— Ларцев исчез, и все, что было в нем приятного, исчезло вместе с ним! — сострил Кистяков, — айда домой, господа!

Леман говорил:

— Удивительное дело, братцы мои, откуда бы наш брат, русский художник, ни уезжал, непременно по нем натурщица плачет.

Лештуков взглянул на Джулию: она стояла вдали от их группы, с перекошенным ртом и такая же белая, как столб, к которому она прислонилась.

— Вы ступайте вперед, господа! — сказал он, — а я вас сейчас догоню: у меня есть поручение к этой девице...

Он слегка окликнул Джулию, но она не отозвалась. Лештукову пришлось подойти к ней и дотронуться до ее плеча.

Она обратила на него долгий взгляд.

— А, это вы... — сказала она с какою-то бессмысленною рассеянностью. — Вы заметили: он на меня последнюю взглянул, когда входил в вагон, и еще кивнул мне головой, когда поезд был — вон там!

— Джулия... — начал Лештуков.

Девушка прервала его.

— Он, кажется, деньги вам для меня оставил? Они с вами? Дайте их мне!

«Довольно прозаический финал для столь возвышенной драмы», — насмешливо подумал удивленный Лештуков.

— Получите.

Он передал Джулии завернутый в бумагу и перевязанный ниткой столбик золота. Джулия крепко зажала деньги в руке.

— Он сейчас, в самом деле, в Рим поехал?

— Да, кажется, — нерешительно отвечал Лештуков.

Джулия прямо взглянула на него.

— Вы знаете, что я сделаю с его золотом? Я на эти деньги за ним поеду, синьор!

При такой неожиданности Лештуков мог только пожать плечами.

— Напрасно, Джулия!

— Да, синьор, не качайте головой: поеду и найду его, где бы он ни был — в Риме, в Неаполе, в Милане...

— Эх, Джулия, ничего из этого не выйдет. Не пара вы.

— Синьор, он сын крестьянина, как и я... Разве ваши крестьяне благороднее наших?

— Да не то, Джулия. Не о происхождении речь... А не годитесь вы друг для друга.

— Синьор!.. синьор!.. не людям, мне судить об этом! Мое сердце выбрало его.

— Ну, а его сердце не хочет и не умеет знать ничего, кроме своего таланта, который у него действительно огромный... Вот вам никогда и не понять друг друга.

— Талант... дар Божий... — горько возразила Джулия. — А моя красота разве не великий дар Божий? Если Бог одарил его, то и меня Он не обидел. Мы оба равны перед Ним, синьор.

Лештуков согласно опустил голову, не только тронутый, почти пристыженный глубоким убеждением, прозвучавшим в наивном признании девушки.

— Да, вы прекрасны, Джулия. И вы хорошая девушка. Вы стоите большой любви.

— Он не любит меня, синьор, но должен будет меня полюбить, потому что... потому что иначе... от любви, какая сейчас живет в моем сердце, умереть надо, синьор!

Она поклонилась Лештукову и быстро побежала к выходу. Дмитрий Владимирович следовал за нею в отдалении.

«Любовь сильна как смерть... — звучал в его памяти старый стих царя Соломона. — В конце концов, дерево этот Ларцев!»

Кистяков и Леман тем временем шли уже по Piazza Garibaldi *. На углу площади с улицей того же имени стоял фиакр, нагруженный вещами. Когда художники поравнялись с фиакром, сидевший в нем господин — весьма изящный джентльмен, средних лет, в щегольской, с иголочки, серой паре, — встал и подошел к ним, держа шляпу на отлете над лысоватой головой.

— Виноват, господа, — заговорил он, — что я позволяю себе вас беспокоить, но я имел удовольствие сейчас на вокзале слышать, как вы говорили по-русски. Я только что приехал в город, и потому не откажите соотечественнику в маленьком указании.

«Черт знает как вежливо и солидно изъясняется этот компатриот!» — подумал Кистяков.

— Не известна ли вам в среде местной русской колонии г-жа Рехтберг?

Художники переглянулись.

— Маргарита Николаевна Рехтберг, — с тою же учтивостью выжидательно повторил незнакомец.

— Как же не знать! Мы живем даже в одном с нею отеле!

— Смею просить вас — указать мне точный адрес?

— Зачем? Пойдемте с нами, мы домой идем... А вы, fiacrajo **, везите за нами вещи господина!

— Вы знакомый или родственник Маргариты Николаевны? — спрашивал Кистяков уже на ходу.

Незнакомец любезно улыбнулся:

---

* Площадь Гарибальди (*ит.*)

** Извозчик (*ит.*)

— Я ее муж.

Кистяков и Леман оба остановились и даже рты слегка разинули.

— Вот оно как! Что же вы, батюшка, нам себя сразу не объявили? Позвольте представиться — художник Кистяков, а это вот Леман, тоже художник... Вашей супруги поклонники и даже, смеем сказать, приятели.

Господин Рехтберг пожал руки друзьям и обоим в отдельности назвал себя, с самой обязательной улыбкой:

— Вильгельм Александрович Рехтберг.

— Жаль, что вы нас на вокзале не опознали. Сразу бы перезнакомились со всем нашим монастырем. Мы провожали Ларцева в Рим.

— Это — какого? Известного Ларцева? — переспросил г. Рехтберг, с вежливым ударением на слове «известного».

— Да, художника. Знаете автора «Мессалины»? На Римском конкурсе медаль получил.

Господин Рехтберг, с миною уважения, склонил голову слегка набок; очевидно, он был не чужд искусствам.

— К глубочайшему сожалению, мне еще не случалось видеть его картин, но, по газетной молве, я пылкий поклонник г. Ларцева уже как патриот, обязанный бесконечною признательностью гениальному художнику, столь прославляющему нашу общую мать-Россию прекрасными своими произведениями, что имя его занесли даже в маленький энциклопедический словарь германца Мейера. Мои служебные занятия не позволяют удовлетворять эстетическим потребностям в той мере, как я мечтал бы. Но одна из моих слабостей — следить за успехами русского...

Кистяков подсказал ему, замявшемуся:

— Творчества.

Но Рехтберг не принял слова и сказал:

— Искусства. Моя маленькая картинная галерея, конечно, весьма небогата, но я пополняю ее недостатки, собирая

иллюстрированные каталоги всех значительных выставок в Европе.

— Что ж? Похвально! — одобрил несколько озадаченный Кистяков, между тем как Лемана скрутило задавленным смехом.

А господин Рехтберг самодовольно пояснил:

— Без искусства, знаете, душа сохнет. И с тех пор как я имею честь состоять на государственной службе, я поставил себе за правило ежедневно посвящать полчаса обозрению какого-либо из этих иллюстрированных каталогов.

— Что ты, Леман, оглядываешься? — продолжал Кистяков. — Шагай, брат! Теперь все равно Лештуков уже не догонит.

— Вы произнесли фамилию «Лештуков»?..

— Да, видели на вокзале — с нами стоял господин, брюнет, такая курчавая голова?

— Я их за итальянца почел. Это — какой же Лештуков? Известный Дмитрий Владимирович Лештуков? — продолжал спрашивать Рехтберг, все с тем же уважительным выражением на лице и с тем же ударением на «известный».

— Ну да, писатель.

Лицо господина Рехтберга, как термометр, показало меру уважения еще несколькими градусами выше. Очевидно, он и в литературе был сведущ.

— Вот вы сейчас за завтраком познакомитесь.

— Буду очень счастлив сделать такое приятное и лестное знакомство, — с расстановкой протянул господин Рехтберг.

Леман, шедший несколько сзади, не утерпел, чтобы опять не фыркнуть при этих словах.

Кистяков бросил на него искоса яростный взгляд, но улыбка, против воли, скользнула и по его лицу: обоим друзьям пришла в голову забавная мысль, — какую-то физиономию скорчит, неожиданно делая это приятное и лестное знакомство, жертва его — Дмитрий Владимирович Лештуков.

Слышал ли господин Рехтберг фырканье Лемана, видел ли улыбку Кистякова и, если слышал и видел, обратил ли на них внимание, — оставалось догадываться. На челе его широком не отразилось ничего; он невозмутимо продолжал выступать по тротуару, все с тою же солидной грацией и отменною учтивостью манер.

XII

Вильгельм Александрович жил в отеле уже больше недели, заняв одну из трех комнат, принадлежавших его жене. Его внезапное появление в Виареджио было для Маргариты Николаевны и Лештукова ударом грома из ясного неба. В день отъезда Ларцева и приезда господина Рехтберга Лештуков с вокзала, вместо того чтобы догонять Кистякова и Лемана, зашел от жары в кафе съесть какое-нибудь gelato или granita *; под руку ему попались французские газеты, и он, просидев за мороженым добрый час, опоздал к завтраку. Когда он пришел в отель, господин Рехтберг спал, отдыхая с дороги, а Маргарита Николаевна — с желтым лицом и с выражением почти животного страха в глазах, — сидела на ступеньках лестницы, сторожа возвращение Лештукова.

Лештуков ахнул, глядя на нее.

— Что с вами? Вы больны?

— Тсс, тише! Нет, я здорова... но... вы знаете, какая новость? Просто уж и не знаю, как вам сказать... представьте: мой муж приехал!

Лештуков ничего не понял.

— Что такое? Как муж? Какой муж? Откуда?

— Я сама едва верю... получил отпуск на двадцать восемь дней, вздумал сделать заграничное турне и свалился

* Мороженое... мороженое в стаканчике *(ит.)*.

как снег на голову... Правду говорит, или дошли до него какие-нибудь сплетни, — не разберу. Очень ласков, колье привез мне в подарок... да это у него ничего не значит! Он и мышьяком с любезнейшей улыбкой окормит: такое уж воспитание. Слава Богу, меня хватило на то, чтобы прилично встретить его, сыграть счастливую супругу, приятно изумленную сюрпризом. Ради Бога, вы-то подберитесь! Не выдайте себя и меня!

— Но позвольте!..

В полном недоумения голосе Лештукова задрожала гневная нота.

— Вот! вот! — заторопилась Маргарита Николаевна, и щеки ее еще больше выцвели, — вы уже начинаете шуметь и протестовать. Я вас прошу, я вас умоляю, я приказываю вам, наконец, — чтобы не было даже намека на трагедии, которые вы так любите!.. Он у меня не дурак и во всяких тонах и оттенках разбирается не хуже нас с вами... И помните: я вас сейчас страшно люблю, больше чем когда-нибудь, потому что... должно быть... вас у меня отнимают... Но если вы будете вести себя как мой любовник и вызовете скандал, я вас возненавижу!

Она взглянула в лицо Лештукова, и так как он ничего не отвечал ей, а лишь усиленно вытирал платком пот, крупными каплями выступавший у него на лбу, подозрительно оглянулась и схватила Дмитрия Владимировича за руку.

— Ну, милый мой, хороший мой, обещай мне, что ты будешь умницей!.. Пересаливать, впрочем, тоже не следует. Вы будете держаться со мною, как всегда при всех держались — хорошим другом, в рыцарском уважении которого я так уверена, что позволяю вам даже некоторую фамильярность... Это ничего... у меня в жизни всегда был какой-нибудь друг на такой ноге: он к этому привык...

Лештукова передернуло, — он хотел засмеяться, но горло его издало лишь какой-то скрип...

Маргарита Николаевна смотрела на него скорее с враждебным испугом, чем с сочувствием: в боязни за себя ей не

хватало сожаления для других; она пытливо вглядывалась в Лештукова, словно измеряя — достанет ли его на нравственную пытку, какую она ему предлагала.

— Он так привык? — с дикою насмешкою прохрипел Дмитрий Владимирович, — привык к состоящим при вас друзьям?.. Ну, что ж? Так и будем делать, как привык ваш супруг!..

Легкомысленная женщина только теперь поняла, какую страшную пощечину дала она своему любовнику неосторожною фразою о друзьях. Слово вылетело, и вернуть его было нельзя. Она хотела поправиться, объясниться... Но наверху раздался легкий сухой кашель; при звуках его все остальное вылетело из памяти Маргариты Николаевны.

— Это он проснулся, мне надо идти, — скороговоркой зашептала она, — а вы ступайте или к себе, или погуляйте где-нибудь... потом встретитесь... Помните, о чем я вас просила!..

Она убежала наверх, а Лештуков сел в столовой, не отдавая себе ясного отчета, — что он: в своем уме или нет? Мысли в голове крутились знойным вихрем, — даже больно было... Леман тоже вышел в столовую из своей комнаты. Он заговорил с Лештуковым, — и, отвечая ему, Дмитрий Владимирович сам удивлялся, что голос его звучит естественно и спокойно, как будто ничего особенного не произошло... Леман пригласил его купаться. Море, на счастье Лештукова, было холоднее обыкновенного; бодрящая свежесть соленой влаги, колючие волны и острые обжоги тела, pulci di mare *, помогли Дмитрию Владимировичу несколько уравновесить свои мысли. На возвратном пути приятели зашли в альберго, и Лештуков выпил вдвоем с Леманом фиаску старого chianti. От этого у него покраснели глаза и раздулись виски, но зато он чувствовал себя в состоянии выдержать какой угодно разговор и сыграть какую угодно роль.

При встрече с Вильгельмом Александровичем Лештуков превзошел ожидания Маргариты Николаевны. Он подошел

---

* Букв.: блохи моря *(ит.);* темно-коричневые.

к Рехтбергу с таким открытым лицом и ясным взглядом, так радушно протянул ему руку, заговорил таким симпатичным и дружеским голосом, с участием расспрашивая приезжего о подробностях его путешествия, что господин Рехтберг даже счел возможным выйти из обычной своей накрахмаленности и, в первый раз по своем приезде, — не исключая даже встречи с женою, — говорил тоном более или менее естественным.

Рехтберга повели на прогулку — показывать ему прелести Виареджио.

Лештуков отказался сопровождать компанию, под предлогом, будто на него нашел рабочий стих.

Все общество было уже на улице, но Маргарита Николаевна нарочно медлила, чтобы иметь возможность сказать несколько слов Лештукову, — она была в восторге от него, чувствуя к нему благодарное уважение, точно учительница, превзойденная учеником по первому же дебюту.

Лештуков лежал на качалке с закрытыми глазами и неподвижным, точно каменным, лицом.

Она подошла к нему и быстро заговорила, все время глядя искоса назад через плечо, готовая, при первом шорохе в дверях, очутиться в другом конце комнаты.

— Вы умница, вы чудный человек, и вот видите: вести себя прилично вовсе не так трудно...

Она осеклась на половине фразы, потому что Лештуков открыл глаза — и перед Маргаритой Николаевной явилось новое, совсем незнакомое ей лицо — живая маска Медузы, с свинцовыми бликами на щеках, с дрожью бешеной ненависти в каждом мускуле под бурою кожей.

— Если только я не задушу его среди разговора...

Маргарита Николаевна хотела говорить, но Лештуков — в первый раз за все время их отношений — повелительно махнул рукой, чтобы его оставили в покое, и, закрыв глаза, опять повалился на спинку качалки. Маргарита Николаевна вышла; дело, видимо, обстояло не так просто, как она, по

легкомысленной страсти воображать все как можно более к лучшему для себя, успела было поверить; ей было не стыдно сознаться наедине с самой собою, что она струсила...

Господин Рехтберг в богеме отеля пришелся очень не ко двору, хотя старания попасть в общий тон было у него много. Это был прекрасно воспитанный господин — именно господин: просто человеком его как-то никто и никогда не называл; он понимал, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят и, живя с волками, надо по-волчьи выть. Но вот по-волчьи выть-то ему и не удавалось, при всем его добром желании. Никак он не мог приспособиться. Он говорил отменно ловко, и умно, и весьма красноречиво, но всегда случалось, что стоило ему раскрыть рот, и все лица вытягивались, откровенно подернутые печатью почтительно-вежливой скуки.

— Загудела волынка! — бормотал сквозь зубы Кистяков, — а ты учись, — подталкивал он в бок Лемана, — это, брат, он неспроста, а прямо-таки по «прикладу, како пишутся куплименты»!..

Жители отеля вряд ли тоже нравились господину Рехтбергу; он был слишком выдержан в привычках просвещенного филистерства, чтобы ему были по душе их размашистая речь, дерзость мнений, фамильярность манер, бесцеремонная болтовня с дружескими грубостями и ласкательными именами, какими без стеснения обменивались мужчины и женщины крепко сдружившейся компании. Лештукову, впрочем, Вильгельм Александрович оказывал особое внимание и разговаривал с ним не только почтительно, но как бы с оттенком некоторого благоговения: Лештуков был известностью, а любопытство Вильгельма Александровича к известностям скоро прославилось в богеме до смешного: едва в столовой раздавалось роковое слово «известный», все общество принималось смотреть на потолок, на стены, в тарелку, заботясь об одном — как бы не встретиться друг с другом взглядами и не расхохотаться. Очень уж курьезно выходило у господина Рехтберга это «известный».

— Это ваша картина? — спрашивал он Кистякова о старинной Венере, висевшей в комнате художника.

Леман фыркал. Кистяков, серьезный малый, чуть с искоркой смеха в глазах, спокойно отвечал:

— Эта? Нет, это Джулио Романо. Копия.

— Известного Джулио Романо?

— Самого известного!

Леман фыркал, а Вильгельм Александрович расплывался от удовольствия.

— О нем я имею полстолбца в моем маленьком Мейере.

Он не расставался с маленьким Энциклопедическим словарем Мейера. Это был его оракул. Удостоиться заживо попасть в «маленького Мейера» казалось ему высшею честью, какой человек может удостоиться на земле, и, встречая такого избранника, он взирал на счастливца увлаженными от умиления глазами. Две строчки о Лештукове в «маленьком Мейере», которые сам Лештуков ненавидел и почитал для себя оскорбительными, ибо гласили они о нем буквально только: «Leschtukow Dimitri Wladimirowitch, russischer Dichter, geb. 1854 in Orel» * — делали его, в глазах Вильгельма Александровича, почти богоравным.

— Мои служебные занятия, глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович, — журчал Рехтберг, обаяя литератора, — не позволяют мне удовлетворять эстетическим потребностям духа в той мере, как я желал бы. Но следить за успехами русской мысли, русского творчества — моя слабость... Одна из немногих слабостей.

— О, не сомневаюсь, что из немногих! — восклицал Лештуков.

— С тех пор как я имею честь состоять на государственной службе, я поставил себе за правило прекрасную русскую

---

* «Лештуков Дмитрий Владимирович, русский писатель, род. 1854 в Орле» *(нем.)*.

пословицу: делу время, потехе час. И потому ежедневно, после обеда, отдыхая в своем кабинете, я посвящаю полчаса чтению изящных произведений родной литературы.

— Целые полчаса? — радовался Лештуков, между тем как Леман визжал от восторга.

— От восьми с половиною до девяти.

— Ни минуты больше?

— Аккуратность — мой принцип. Ровно в восемь с половиною я раскрываю книгу, ровно в девять закрываю. По бою часов.

— И часы, конечно, выверены по пушке? — подбрасывал дровец в огонь Кистяков, а Амалия недоумевала:

— Ну, а если часы бьют, а вы не дочитали интересного места?

Рехтберг отвечал с непреклонною твердостью:

— Хотя бы на переносе слова со страницы на страницу.

— Здорово! — вопил упоенный Леман, а Кистяков невозмутимо резюмировал:

— Так что вы читаете, скажем, во вторник: «Я вас люб», а «лю» дочитываете уже в среду?

Рехтберг только чуть пожимал плечами:

— Что ж делать? Принцип прежде всего.

— Позвольте пожать вашу принципиальную руку!

Немки, слегка кокетничая, допрашивали:

— Вы и здесь будете такой же аккуратный?

Оказалось: нет. Генерал явил себя даже игривым.

— О, mesdames, сейчас надо мною не тяготеет бремя служебных обязанностей. Я резвлюсь, как мальчик, хе-хе-хе! — я резвлюсь. Мое намерение воспользоваться своим отпуском как можно веселее.

К человечеству, не отличенному ореолом известности, Вильгельм Александрович относился чрезвычайно свысока и, беседуя с Леманом или Кистяковым, умел держать себя так, что в недостатке вежливости и даже любезности упрекнуть его ни-

как нельзя было, а в то же время в каждом слове, жесте, тоне чувствовалось, что это — Юпитер удостаивает, с вершины Олимпа, забавляться разговором с обыкновенными смертными и чрезвычайно удивлен, находя в них кое-какие признаки разумных тварей. Франческо злополучного господин Рехтберг совершенно не признавал и, кажется, искренно считал этого чудаковатого парня, на счет которого почти что существовала вся колония, — кроме Маргариты Николаевны и Лештукова, конечно, — чем-то вроде шарманщика или фокусника, проживающего при русских, забавы ради для них и кормов ради для себя. Но однажды Франческо явился к завтраку особенно величественный и великолепный. Обвел всех торжественным взором, ткнул себя перстом в галстух и пророкотал отдаленному грому подобно:

— Скриттурато *.

— Что-о-о? — взвыл Леман, даже из-за стола выскочив.

Девицы завизжали:

— Франческочка, неужели?

— Франческочка, быть не может.

— Франческочка, миленький, куда, куда, куда?

А Франческо басил:

— В Лодию скриттурато. Вот и телеграмма.

— Такого и города нет, — заявил скептический Леман.

Франческо только покосился на него с презрением.

— Скажите? Как же это нет, ежели адженция содрала с меня тысячу франков за скриттуру, да еще агент выпросил перстень на память?

— Дорогой? — спросил Кистяков.

— С кошачьим глазом.

По телеграмме оказывалось, что Франческо, в самом деле, получил ангажемент на карнавал в город Лоди изображать в «Лукреции Борджиа» дуку ди Феррара.

---

* Ангажемент *(ит.)*.

— Ай да Франческо! Ай да потомственный почетный гражданин! — вопил Леман. — Слитки с тебя. Шампанского ставь, дука ди Феррара!

А лукавый Кистяков говорил, подмигивая:

— Вот Вильгельм Александрович интересовался намедни, известный ты или неизвестный. Теперь, пожалуй, и впрямь в известности выскочишь.

Франческо самодовольно ухмылялся и как труба трубил:

— Вьени ля миа вендеетта *, — начальную фразу будущей своей дебютной арии.

Рехтберг сразу переменил свое о нем мнение и свое к нему отношение. До того, что поднялся с места и, обдавая певца любезнейшею из улыбок, произнес к нему даже нечто вроде спича:

— Позвольте, уважаемый Федор Федорович...

Но Франческо Федора Федоровича и генералу не спустил:

— Франческо-с! — внушительно поправил он, перстом потрясая. — Ежели желаете доставить мне удовольствие, Франческо д'Арбуццо. Федор Федоровичем, батюшка, всякая скотина может быть, а Франческо д'Арбуццо — один я.

— Позвольте, уважаемый, принести вам мое искреннейшее поздравление с первым успехом вашей карьеры, которою, мы надеемся и не смеем сомневаться, вы, подобно другим присутствующим здесь блестящим представителям русского таланта, прославите и поддержите репутацию русского гения под вечно ясным небом, расстилающимся над родиною искусств.

Молодежь покрыла спич господина Рехтберга рукоплесканиями.

Франческо выслушал снисходительно и заявил:

— Это наплевать.

— Виноват? я не расслышал... — несколько попятился Вильгельм Александрович.

* Ты идешь, месть моя *(ит.)*.

А тот успокоительно похлопал его по плечу.

— Наплевать, говорю. Это все можно. Потому что силу в грудях имею... Вьени ла миа вендеетта, иммедитата про-о-о-онта... *

Лештуков в общем разговоре больше молчал, отделываясь односложными ответами... Лицо у него застыло в фальшивом выражении безразличия и равнодушия, и эта неприятная личина не покидала его даже при встречах с Маргаритой Николаевной с глазу на глаз — очень редких встречах, потому что господин Рехтберг имел супружеский талант быть всегда не слишком далеко и не слишком близко от своей жены. С Рехтбергом Лештуков был предупредительно вежлив. Маргариту Николаевну почему-то эта так желанная ей вежливость била теперь, как хлыстом. Наблюдая приятельские собеседования мужа и любовника, она всегда сидела как на иголках.

«Право, кажется, в такие минуты я их обоих ненавижу!» — почти с дрожью думала злополучная дама. Ее противоречивая натура в минуты неприятностей исполнялась негодованием против всех и каждого, к этим неприятностям прикосновенных, кроме самой себя. Особенно не выносила она, когда муж принимался разливать потоки покровительственно-дилетантского красноречия на темы литературы или искусства, — он считал себя знатоком по этой части. Разгорался спор между ним и Кистяковым — малым, искусству энтузиастически преданным и хорошо свое дело знающим. Лештуков умел фатально наводить Вильгельма Александровича на такие споры; сам же в разговор не мешался, а, потягивая вино, только слушал с видом глубокого внимания, которое льстило господину Рехтбергу и выводило из терпения его жену. Она слышала, что ее далеко не глупый муж говорит глупости, и догадывалась, что Лештуков нарочно втравливает его в споры с Кистяковым, чтобы потешить себя зрелищем, как Вильгельм Александ-

* Ты идешь, месть моя, необдуманная и скорая.. *(ит.)*

рович — по выражению Кистякова — будет танцевать медведя — на глазах своей жены, — нарочно, чтобы сорвать хоть на пустяках свою скрытую ненависть к нему.

«Какое мальчишество!» — думала она, но встречаться в такие минуты со взглядом Лештукова опасалась.

Когда случай впервые позволил остаться им вдвоем, она бросилась Лештукову на шею с подчеркнутой аффектацией, стараясь вознаградить его за утраченные ласки.

— Бедный мой! Тебе тяжело?.. — бормотала она, гладя его по голове.

Лештуков не отклонялся от ее нежностей, но сам не целовал и не обнял ее.

— Я бы желал знать, скоро ли и как это кончится? — сказал он в ответ ровным и холодным тоном.

Маргарита Николаевна была оскорблена. Она с трудом урвала минутку, чтобы за спиною мужа подарить хоть луч счастья обездоленному любовнику, — и вдруг ее геройское самопожертвование встречает такой холодный прием!

— Я ничего не знаю, — обиженно сказала она.

— Тем хуже, — возразил Лештуков.

При следующем свидании дулась уже Маргарита Николаевна.

— Вы желали знать, скоро ли и как кончится наше общее тяжелое положение... Вильгельм Александрович намекнул мне вчера, что у него не удалась какая-то афера на бирже, и нам придется сократить расходы.

— Что же из этого следует?

— Я, вероятно, должна буду вместе с ним уехать в Петербург.

— Вот как... — протянул Лештуков и ничего больше не прибавил.

Маргарита Николаевна предпочла бы этому отупелому равнодушию какую угодно сцену. Сцены очищают воздух и просветляют горизонт, после них становится яснее, как быть и что де-

лать, теперь же Маргарита Николаевна чувствовала себя точно под грозовою тучей, тяжелой, молчаливой, удушливой и опасной.

В исходе второй недели по своем приезде в Виареджио Вильгельм Александрович за одним завтраком объявил, что через два дня он и Маргарита Николаевна «будут иметь несчастье расстаться с прелестным обществом, так обязательно посланным ему снисходительною судьбою в очаровательном уголке благословенной Авзонии». Раздались ахи, сожаления, просьбы остаться.

— Вильгельм Александрович! Это жестоко! Вы одним ударом разрушили всю нашу колонию.

— Прямо можно сказать: вынимаете главную сваю! — визжал Леман.

— Теперь все так и рассыплемся! — поддакивал Кистяков.

— Это просто бегство! Вы просто бежите от нас, Вильгельм Александрович!

Рехтберг с любезною улыбкою склонялся по очереди в сторону всех воплей.

— Господа, обстоятельства сильнее нас. Господа, вы в заблуждении... Напротив, мне чрезвычайно лестно...

— Ну что там лестного! — брякнул Кистяков. — Оно — конечно: как вам не заскучать? Какая мы вам компания? Вы человек солидный, а мы народ вольный. Серьезную марку выдерживать — не могем.

— Сознайтесь, Вильгельм Александрович, — вступилась Берта Рехтзаммер. — Я думаю, вам цыганщина наша страсть осточертела?

— Как вы изволили? — озадачился Рехтберг.

— Осточертела. Это от ста чертей.

— Для статистики, знаете, — пояснил Леман. — Когда человеку так скучно, что он чертей до ста считает.

Но Рехтберг сознаться не согласился.

— Вы все, все в заблуждении, — с отменной грацией защищался он. — Совсем нет. Цыганщина, богема... можно ли

быть так черству духом, чтобы не любить богемы? Это прелестно, это поэтично. Я обожаю богему.

— Да! — возражал Кистяков. — Это вы из деликатности говорите, а человеку аккуратному с нами, в самом деле, — смерть. По многим немцам знаю.

Маргарита Николаевна засмеялась язвительно и почти злобно:

— Вильгельм, кланяйся и благодари: ты уже в немцы попал.

Рехтберг поморщился и с некоторым неудовольствием заметил художнику, даже чуть-чуть покраснев:

— Monsieur Кистяков! я должен исправить вашу ошибку. Я не немец, хотя иные по фамилии и принимают меня за немца.

— Извините, пожалуйста, — смутился художник. — А впрочем, что же? Обидного тут ничего нет.

— Впрочем, — благосклонно успокоился Вильгельм Александрович, — германская рыцарская кровь действительно текла в предках моих, баронах фон Рехтберг, герб и имя которых я имею честь представлять.

— А что у вас в гербе? — полюбопытствовал Леман.

Рехтберг с важною готовностью немедленно и подробно удовлетворил его любопытство:

— Два козла поддерживают щит, на коем в нижнем голубом поле плавает серебряная семга, а с верхнего красного простерта к ней благодеющая рука.

— Занятная штука! — восхитился Леман. — Хотите, я вам это в альбом нарисую?

— Чрезвычайно буду вам обязан. Признаюсь: маленькая гордость своим происхождением — одна из моих немногих слабостей.

— Ну, оно с богемой плохо вяжется!

Лештуков молчал, но сидел белый, как скатерть, которую он, вне всех своих привычек, машинально пилил ножом. Завтрак кончился... стали собираться к морю; Лештуков исчез. Маргарита

Николаевна еще кончала туалет перед зеркалом в своей уборной, по обыкновению заставляя ждать себя остальное общество, когда стекло отразило крупную фигуру Дмитрия Владимировича. Она обернулась к нему со взглядом беспокойной укоризны.

— Ты сумасшедший, Дмитрий! Разве ловко входить ко мне, когда я одеваюсь?

— Вы едете? — перебил он.

— Ну да... ты слышал... я тебя предупреждала.

— Ах, что твои предупреждения?..

Он молчал, смачивая языком пересыхающие губы.

— Ты, конечно, понимаешь, что нам необходимо много переговорить с тобою?

Маргарита Николаевна пожала плечами.

— Где же и когда? Ты видишь: мы двадцать четыре часа в сутки на чужих глазах.

— Сегодня ночью после ужина ты будешь у меня.

Она взглянула на него, как на безумного.

— Право, Дмитрий... — с расстановкой начала было она.

— Ты будешь! — уже возвысил голос Лештуков.

— Ты, кажется, кричать на меня собираешься? — вспыхнула молодая женщина, — как это красиво!

— Ты будешь! — в третий раз сказал Лештуков.

— Ах, оставь! Глупо... Знаешь сам, что требуешь невозможного!

Лештуков близко придвинулся к ней.

— Я повторяю тебе, что должен говорить с тобою!.. Это свидание мне необходимо... Надо сделать невозможное, — сделай... я прошу, умоляю, требую!.. Что же? Ты хочешь заставить меня грозить?.. Я сделал для тебя все, чего ты желала... Если бы ты знала, каково мне, ты поняла бы... Но всякую струну можно натягивать только до известных пределов... И если ты бросаешь меня одного в этих сумерках любви, — если ты не поможешь мне разобраться, что я и что ты, — я... одно тебе скажу: вот уже третий день, как не я сам владею собой, своей разумной и здоро-

вой волей, но лишь какая-то внешняя сила сдерживает меня, помогает мне улыбаться, лукавить и говорить вежливые речи, тогда как мне хочется проклинать и убивать... я не ручаюсь за себя!..

Глаза у него были, как у помешанного. Говоря свои быстрые слова, он сам не замечал, как взял Маргариту Николаевну за плечо.

— Дмитрий! Оставь! Мне больно! — вскрикнула она, страшно перепуганная...

Больно не было, но...

«Вдруг у меня на плече будет синяк, и... как я его объясню Вильгельму?» — успело мелькнуть в ее сообразительной головке.

Лештуков опустил руку...

— Ну... устроюсь как-нибудь, приду! — не скрывая досады, сказала Маргарита Николаевна...

Пережитая минута страха не помешала ей, однако, когда она догнала ушедшее далеко вперед общество, казаться в самом хорошем настроении духа. Она одаряла всех обычными ласковыми взглядами и улыбалась и людям, и природе всеми ямочками своего розового лица.

XIII

К вечеру море разгулялось, и так как дул юго-западный ветер, так называемый либано, надо было ожидать, что волнение продержится долго. Хозяин купальни, рыжеусый Черри, закрывая торговлю, посмотрел из-под руки на сизые облака, которые при закате солнца ползли курчавым стадом из-за горизонта, где свинцовое море сливалось с свинцовым небом, выругался и приказал Альберто вытащить все лодки на берег, как можно дальше за обычные пределы прибоя.

— А завтра, должно быть, с утра придется поднять красное знамя.

Когда купальни поднимают красный флаг, вход в море воспрещается. Альберто возился с лодками до поздней ночи. С тех пор как Джулия дней семь или восемь тому назад совсем неожиданно нарушила контракт с Черри и тайно уехала невесть куда — он находил огромное удовольствие измождать себя работою: усталость отбивала от него мрачные мысли. К ночи он шатался от утомления как пьяный; зато мог спать, и кошмар не душил его, не дразнил и не пугал то соблазнительными, то страшными призраками. А с того времени как у него заварилась каша с Ларцевым, они каждую ночь неотступно летали над головою бедного малого!..

Город спал. В кабинете у Лештукова робко мерцала одинокая свеча. Теплая, удушливая ночь, полная знойного ветра и морского грохота, лезла с балкона на этот робкий огонек. Лештуков чувствовал себя не лучше, чем рыба на песке, тщетно стараясь выпросить у порывов либано хоть несколько глотков свежего воздуха: море, отравленное дыханием песков далекой африканской пустыни, обдавало Виареджио неприятною, горячею влажностью банного полка.

Маргарита Николаевна пришла к Лештукову уже за полночь; в своем ночном пеньюаре она походила на привидение; на бледном лице ее застыло выражение злой скуки...

— Ты видишь, я исполнила твое желание, хотя мне было трудно. Только предупреждаю тебя: я долго оставаться не могу, — я очень рискую... Ты заставил меня сделать большую подлость: ты знаешь, что я принимаю сульфональ... Вильгельм всегда пьет на ночь сельтерскую воду, и я ему дала тройную дозу этой мерзости — сульфоналя: он ведь безвкусный. Конечно, это вещь безвредная, но... когда я делала это, мне казалось, что я делала шаг к преступлению... Сейчас Вильгельм спит, как... очень крепко спит.

— Ты хотела сказать, «как убитый»? — криво усмехнулся Лештуков, — но не решилась.

— Да, неприятное сравнение... Особенно при таких условиях...

Пештуков медленно прошелся по комнате и остановился за креслом Маргариты Николаевны.

— Я уже два раза хотел убить его, — сказал он.

Маргарита Николаевна закрыла глаза рукою.

— Какой ужас!

— Да... хотел.

— Я верю тебе, потому что... чувствовала я, что ты все эти дни именно о... чем-то таком думаешь...

— Но я не могу. Нет! — говорил Лештуков, продолжая ходить. — Не знаю, хорошо это или дурно, но у меня рука не поднимается на преступление — ни на тайное, ни на явное... Я много думал, от мыслей у меня голова стала — вот какая!

Он широко развел руки от своих висков.

— Не могу!.. Между тем разве я не ограблен этим человеком? По его милости моя душа должна пойти нищею по свету! И, главное, — ограбил он меня, как собака на сене. Взял, что ему самому не принадлежит. За это стоит убить!.. А я не могу.

Маргарита Николаевна встала и, близко подойдя к Лештукову, положила руки на его плечи.

— Я счастлива, что ты так говоришь, — серьезно сказала она. — Но мне больно даже и то, что ты мог думать о таком деле... Ты и убийство — разве это совместимо?

— Отчего нет? Отчего нет? — спешною скороговоркою повторил Лештуков, бросаясь в кресло. — У меня берут мое счастье, я должен защищаться...

— Милый мой, да ведь счастье-то наше было краденое!

— Неправда! — гневно вскрикнул Лештуков, — тебе известно; зачем ты притворяешься, что нет? Тебе отлично известно: краденого счастья я не хотел. Сходясь с тобою, я звал тебя остаться со мною навсегда; я хотел быть твоим мужем, отвечать за тебя перед светом, как за жену. Да. Ты знала, как я смотрю на это дело! Если ты сознавала, что не можешь пойти по прямой дороге, что ты не можешь дать мне иного счастья,

кроме краденого, кроме чувственной игры в любовь — заугольной потемочной игры, постыдной для взрослого человека, продиктованной трусливою похотью к чужому и запретному плоду... Если ты знала все это, — как решилась ты остаться на моей дороге?.. Как могла ты, как смела ты пойти на риск — принять мою любовь?

— Кажется, ты уже не Вильгельма Александровича, а меня хочешь убить, — с холодною насмешкою возразила Рехтберг.

— Это было бы не особенно глупо и несправедливо, — проворчал Лештуков. — Убить тебя — бесполезно для меня, но, может быть, спасло бы кого-нибудь другого в будущем...

— Не смей говорить мне о смерти! — вскрикнула Маргарита Николаевна. — Я ее боюсь... Я не хочу думать, что я когда-нибудь умру... Я ненавижу тех, кто говорит мне об этом.

— Ты боишься смерти и вечно с нею играешь. Потому что, клянусь тебе: я в самом деле колеблюсь, что лучше сделать — отдать тебя твоему... собственнику, — с грозной ненавистью в голосе выговорил Лештуков это слово, — или же убить тебя вот на этом месте и самому умереть вместе с тобою!..

— Те, кого на словах убивают, два века живут, — насильственно улыбнулась Маргарита Николаевна.

— Молчи! — яростно крикнул Дмитрий Владимирович, сжимая кулаки и чувствуя, что волосы на его голове шевелятся. — Не смей шутить! Не время. Не дразни дьявола, в борьбе с которым я изнемогаю! Лучше помоги мне справиться с ним, чтобы не каяться потом ни тебе, ни мне.

Маргарита Николаевна беспокойно шевельнулась в кресле.

— Ты невозможен, — с робкою досадой отозвалась она. — Кричишь так, что весь дом разбудишь... Чего ты хочешь от меня? Разве я тебя не люблю? Ты не смеешь этого сказать... Да! Не смеешь! До сих пор никто не мог похвалиться мною, как можешь похвалиться ты. Пусть будет по-твоему: я труслива, я мелка, я не могу отвечать на твое чувство в той мере и в том виде, как ты мне его предлагаешь. Но, как я могу

и умею, я тебя люблю и — верь или не верь, это твое дело — буду тебя любить очень долго. Что я говорю правду, доказательство даже вот этот наш разговор, далеко за полночь, у тебя в кабинете, в то время как за две комнаты спит мой муж, мой судья и — стоит ему проснуться — мой палач. Я не скрываю, — я его смертельно боюсь и... И, кроме того, — сердись на меня или не сердись, — не хотела бы оскорбить его скандалом такой откровенной неверности.

— Следовало бы тебе приискать доказательство получше, — презрительно заметил Лештуков. — Чтобы получить это свидание, мне тоже пришлось грозить чуть не скандалом.

— Что ж? Я опять не скрываюсь: я не героиня. Я боюсь публичности... Ты человек гордый, независимый. Ты привык жить, как тебе хочется, ты — сам свой суд. Уважают ли тебя в обществе, нет ли, смеются ли над тобою, бранят ли тебя, — тебе безразлично. Ты в этом отношении — юродивый, право. Ты удовлетворяешь своим желаниям, и затем тебе дела нет ни до кого и ни до чего...

— Кого же мне бояться, чего же мне стесняться? Если я дошел до возможности делать мерзкие поступки вроде того, как, по недоразумению, заставили меня сделать эти отношения с тобою, — стало быть, я уже не стыжусь и не боюсь самого себя. Или — сознательно же иду во имя страсти на стыд и страх пред собою. Да, у меня есть искра в сердце; которой я боюсь больше, чем всякого суда на свете. Когда эта искра недовольна мною, пускай хоть все общество аплодирует мне: я все-таки буду мучиться, как освистанный актер. И наоборот, если я сознаю себя правым, швыряй в меня камнями кто хочет, — это не дойдет по моему адресу!

— Вот видишь! А я сама себя нисколько не боюсь; людей же — ужасно. Я тебе говорила, что, если бы открыто сошлась с тобою, то своим фальшивым положением измучила бы самое себя и тебя. Жаль, — нельзя испробовать! Это было бы лучшим средством от твоей болезни мною...

— Болезни?

— Да. Ты любишь меня неестественно, ты слишком полон чувством ко мне, — я не могу верить в нормальность такой страсти. Ты сошел по мне с ума, как другие бывают помешаны на том, что он Римский Папа, на свадьбе с китайской императрицей... Я твоя мания, твоя болезнь... И это очень утешительно. От болезней вылечиваются; от любви — никогда.

— Это недурно сказано, — с насмешливым удивлением возразил Лештуков. — Ты очень умна.

— Дурой меня еще никто не считал, хотя я веду себя порою, как дура. Посуди сам: если бы не маленькое сумасшествие, не болезнь — мог ли ты полюбить меня? Я не подхожу ни под одно твое требование от женщины, как характер. Взгляды на общество у нас разные. Требования от жизни — тоже. Почти во всем, что ты считаешь серьезным, я вижу лишь занимательную и красивую шутку. Ты говоришь: если я оставлю мужа, если буду жить с тобою как жена, — это будет поступок честный. Ты прав, — я отдаю тебе должное. Однако уже одна возможность огласки представляется мне таким огромным позором, таким гадким и низким страхом, что, право, мне и не пережить его. Я зачахну, захирею под ним...

— А тебе не страшно, что я могу дойти до презрения к тебе?.. Мнение нескольких ханжей и десятка кумушек тебе дороже моего?

— Представь: дороже. Мой здравый смысл велит мне считать правыми их, а не тебя. Они — общество, ты — единица. Ты свой, они чужие. Их традиции рождены веками; их слова были, есть и будут; а ты со своим словом как пришел ко мне, так и уйдешь. Может быть, на их стороне заблуждение, а на твоей — правда. Но у меня недостаточно веры в тебя, — такой веры, чтобы родились воля и сила оторваться от них и пойти за тобою. Не гляди на меня удивленными глазами: да! да! Пора бы тебе догадаться — в душе я гораздо больше с ними, чем с тобою. Я дитя толпы, плоть от плоти и кость

от кости ее. Героизм, резкая оригинальность, смелость положения, обособленность меня пугают. Я готова любоваться ими вчуже и издали, готова играть в них, как роль в спектакле, но стать в них серьезно, но примерять их на себе... нет, благодарю покорно! Я будничная и только умею делать вид, будто я — для праздников... Моя эксцентричность, вольность мысли и речи, мой флирт, мое кокетство, даже самый роман с тобою — все это нанос, налет на душу. А копни-ка хорошенько, как невзначай пришлось вот теперь, и из-под налета выглянет настоящее. Я терпеть не могу мужа, но разойтись с ним никогда ни для кого не разойдусь. Не по чему-либо другому, но просто потому, что — как же это я выскочу из колеи, по которой катилась половина моей жизни скорее приятно, чем дурно? Нас венчали, я привыкла жить на его средства, меня зовут мадам Рехтберг, это имя предоставляет мне недурное общественное положение, дает множество прав, требуя взамен самые крохотные обязанности; у нас множество одних друзей, знакомых, — и вдруг разрыв, скандал, развод... Нет, это невозможно...

— Но ведь вы все равно давно разошлись во взглядах и в жизни, и живете, как чужие!

— Да, но об этом знаю я, знает он и — вот теперь знаешь ты; остальные могут, если им угодно, догадываться, — до догадок мне нет дела. Меня пугают только определенности и резкости. Я создана для смешанных тонов и полутеней. Ты все ломишь по прямой линии, а, по-моему, описывать кривые — куда как приятнее и веселее. Но, увы, как всегда, крайности сходятся. Сошлись и мы...

— Ты не была такою, когда я тебя узнал, — бормотал Лештуков, покачивая головою.

— Нет, была. Только ты не видал. Ты не хотел видеть. Ты слишком поэт и фантазер. Когда ты полюбил, ты, в сущности, сперва полюбил не меня. Ты сочинил меня по своему вкусу, а потом ты влюбился в свою выдумку. Я это хорошо видела, но не могла тебя предостеречь.

— Почему?

— Во-первых, ты мне не поверил бы. Больного любовью ничем не переубедить. Ты сказал бы, что я на себя клевещу, что я напускаю на себя неподходящую роль, ломаюсь, играю. Это свойство любовной слепоты — видеть в правде ложь и во лжи правду. Затем, я должна тебе сознаться, — мне очень льстило, что ты так красиво обо мне думаешь. Я одно время, под твоим влиянием, чуть-чуть было и сама не поверила, будто я и глубокая, и особенная... И, наконец, ты мне очень нравился... Я не хотела отпускать тебя от себя. Мне хотелось угодить тебе... И... я немножко играла...

— Сознавая, что из этого не выйдет ничего доброго?

— Я тогда и предположить не могла, что мы зайдем так далеко.

— Как? Разве ты не понимала, что мне не до шуток, не до твоего флирта?..

— Нет, я тебе не верила. Я думала, что ты тоже только красиво играешь и немножко заигрываешься.

— В тридцать-то шесть лет?..

— Э! У кого актерство в натуре, тот и в семьдесят два играть будет. Думала, что мы немножко порисуемся друг перед другом, приятно проведем время и — расстанемся приятелями... Да вот и доигрались. Кто же мог предположить, что на свете водятся еще такие бешеные, как ты?

— Ах, Маргарита, Маргарита!

Она смотрела жалобно.

— Право, я сама не рада, что у меня такая сухая натура, что я могу выделить из своего сердца лишь так мало любви. Но зато, сколько ее есть у меня, она вся твоя и надолго твоею останется. Мне подумать страшно, как я буду без тебя... Я так к твоей любви привыкла!

Она заплакала.

— Ты поступаешь жестоко, а не я, — продолжала она сквозь слезы. — Ты ставишь мне свои ужасные «или-или». Точно

топором рубишь. А я люблю проще, как любится и как можно любить. Если бы ты действительно меня любил, не был только болен мною, ты бы сумел победить свой мужской эгоизм, свою сатанинскую гордость, бросил бы свои громкие фразы о гражданском браке, о бесчестности обмана, сумел бы примириться и ужиться с Вильгельмом. Подумай, глупый! Чем мешает он тебе, если я вся — твоя, а ему принадлежу только по имени? Ты всюду последовал бы за мною, не оставил бы меня одну на муку этой проклятой любви!

— Лгать, обманывать, притворяться, унижаться — разве это жизнь?

— Не знаю... Но знаю, что мы были бы близки друг другу... Что мы имели бы счастливые минуты, никого ими не оскорбляя, а тягость лжи... Как будто она одному тебе страшна! Мне, с моим беспокойным и робким характером, тоже жутко приходится. Надо очень любить, чтобы ставить себя в рискованное положение, как сейчас мое. Жертвы измеряются не тем, сколько кто жертвует, а тем, каких усилий это стоит. Верь: мне ничуть не легче твоего! Но ты не хочешь рассуждать. Ты все предрек, уверовал в свои программы... Какой Папа непогрешимый!.. Затвердил свое: подло... честно... честно... подло... Все или ничего! А по-моему, и не все, и не ничего, но хоть что-нибудь. Лишиться меня вовсе — это ты называешь любовью?!

— Ты хочешь... — медленно заговорил Лештуков.

— Только одного: чтобы мы были счастливы, сколько можем.

— Ценою подлости?

— А!.. Постараемся не думать и не станем говорить об этом!

— Вечно лгать?

— Ну и лгать. Отчего это слово так тебя пугает? Что за правдивость особенная напала? Ты сейчас произносил слова пострашнее, чем «лгать»... Ты Вильгельма убить собирался. Разве ложь страшнее убийства? Как тебя разобрать?

— Чего же именно ты хочешь от меня? — угрюмо спросил Лештуков, поникая головою.

Маргарита Николаевна быстро на него взглянула.

— Ты как это спрашиваешь, — опять для сцены и криков, или в самом деле желаешь, чтобы я тебе сказала, как хотелось бы мне устроить наши отношения?

— Я не могу совсем потерять тебя, — еще глуше сказал Лештуков, не отвечая прямо на вопрос.

У Маргариты Николаевны сверкнули глаза, и весело задрожал подбородок.

— Мне бы хотелось, чтобы ты, месяца через два, приехал в Петербург.

— Зачем? Чтобы, как здесь, любоваться твоим семейным благополучием и слушать мудрые речи Вильгельма Александровича?

— Петербург — не Виареджио, ты можешь никогда не видать Вильгельма и каждый день видеть меня...

Оба умолкли. Тишина нарушалась только буханьем моря, час от часу рычавшего все громче и победнее, — словно гигантский зверь резвился в темноте, сам потешаясь своею силою и свирепостью.

— Приедешь? — робко вымолвила Маргарита Николаевна, кладя руку на руку Лештукова.

— Погоди... Не знаю я, ничего не знаю...

Она прилегла к его плечу.

— Я буду думать, что ты приедешь...

Он молчал, неуклюже осунувшись в своем кресле.

— Ты позволяешь мне так думать?

Лештуков внезапно сполз с кресла и очутился у ее ног, уронив на ее руки лицо — мокрое от вырвавшихся на волю слез боли, стыда и гнева. Плечи его тряслись.

— Не знаю я... Ничего не знаю, — повторил он, захлебываясь истерическими спазмами, — думай, что хочешь... Сделать так, как ты просишь, отвратительно... гнусно... Потерять тебя —

страшно... Я не могу еще разобраться... Это после придет... Но если я и приеду, это уже не то будет, что было здесь. Я прощаюсь с тобою... Прощаюсь с мечтою огромного, хорошего, умного и честного счастья... Со светом любви... А там будут потемки: рабская ложь и рабская чувственность!

...Когда Маргарита Николаевна простилась с Лештуковым, небо уже белело. Он долго стоял на балконе, хмуря брови над распухшими красными глазами. Дождавшись солнца, он взял шляпу и тихо вышел из дома. Он направился к купальням Черри. Большого труда стоило ему растолкать лодочного сторожа.

— Синьору требуется лодка? В такую-то погоду?

Старик неодобрительно покачал головою, однако не посмел отказать и помог Лештукову спустить на воду легкий челнок. Бешеное море подхватило лодку отливом только что разбившейся о берег волны. Лештуков едва успел взмахнуть веслами, как лодка уже очутилась на гребне двухаршинного вала и ухнула с него, точно с ледяной горы. Затем ее опять швырнуло к берегу, но Лештуков был настороже и, — с красным лицом, вытаращенными глазами, с жилами, вздутыми, как веревки, на лбу, — напрягал свою силу, чтобы прорваться сквозь прибой. Вокруг него, как в котле, клокотала вода, не успевая даже сбиться в пену: волна была — как изумруд, только насквозь пропитанный серебряными пузырьками. С Лештукова снесло шляпу. Он сразу набил себе веслами мозоли и в кровь изодрал руки. Лештукову удалось выбраться сажен на пятнадцать от берега; волна здесь была ниже, кипение слабее, но течение давило против весел непреоборимою силою: Лештуков пытался соломинкой остановить гору! Волны, набегающие из открытого моря, сталкивались здесь с волнами, отпрядывающими от берега, и трепали лодку в дикой качке, валяя ее с бока на бок, точно пирог. Доски трещали. Лештуков, чтобы усидеть на месте, должен был упираться так, что ноги

немели, икры ломило тупою болью, а подошва будто пригорела к перекладине на дне лодки. Тем не менее, он еще не думал о возвращении. Борьба с валами тешила его. Седой вихрь возмущенной стихии своими грохочущими жемчугами исхлестал ему лицо и спину. Каждый всплеск волны бил его, как плетью, с размаху. Соль разъедала ему глаза, соль была в волосах, во рту было горько. Несмотря на теплую погоду, волны, когда ныряла в них лодка, заставляли Лештукова дрожать от холода, хотя, минуту спустя, пот катился с его лица градом, от усилий поединка с зверем-морем. Дикий восторг овладел Лештуковым, ему хотелось мчаться вперед и вперед, навстречу тайнам все нараставшего волнения. Мысль о гибели даже и в голову ему не приходила — так торжествовала ожесточенная до экстаза, возвышенная мечта борьбы. Но море было сильнее и вдаль от берега Дмитрия Владимировича не пускало. Ему оставалось довольствоваться тем, что он упорно держался на однажды достигнутой им полосе, предоставляя волнам таскать его взад и вперед вдоль береговой линии. На горизонте поднялся саженный вал и летел, тряся серебряною массою пены, точно сам Нептун вынырнул со дна и разметал седую бороду по рассерженному морю. От вала дохнуло холодом — и Лештуков почувствовал себя под тяже-стью мутно-зеленого, едва прозрачного сугроба, в котором все кипело и ходило ходуном, вертя лодку, как волчок. Вал пробежал. Оглушенный Лештуков едва успел увидать, что у него сломалось весло, как новая волна опять покрыла его и поволокла к берегу. Тогда он бросил и другое весло и упал в лодку ничком, крепко схватившись за борта. Его поволокло и вышвырнуло на песок к ногам ругающихся сторожей, давно уже, с проклятиями и беспокойством, наблюдавших его поединок с морем.

Лештуков пришел домой избитый, изломанный, весь в рубцах и синяках, и спал почти целый день.

Сутки спустя, он проводил Рехтбергов из Виареджио — со спокойствием и выдержкою, каких сам в себе не понимал. Когда поезд двинулся, Маргарита Николаевна смотрела в одно окно

вагона, муж ее в другое, — и как у него, так и у Дмитрия Владимировича, одинаково вежливо были приподняты на прощанье шляпы, одинаково любезные и спокойные улыбки освещали лица.

— Весьма милый человек этот ваш знакомый — господин Лештуков, — сказал Рехтберг жене, когда Виареджио осталось уже за ними.

Маргарита Николаевна не отвечала: ей плакать хотелось.

— Как жаль, что при его любезности и дарованиях он совершенно лишен характера, — продолжал супруг.

— По чему это вы заключили? — отрывисто отозвалась Маргарита Николаевна, усиленно глядя в окно — на вершины Массарозы...

— Прежде всего по тому, что он пьет слишком много вина, тогда как, при его нервности, это должно быть ему вредно, чего он, как умный человек, не сознавать не может...

«Тогда как... чего... не сознавать не может... — со злобою вторила мысленно Маргарита Николаевна плавной речи супруга. — О, как скучно он разговаривает... Не слова, а Иудушкин гной какой-то...»

И вдруг она зло засмеялась.

— Смею спросить о причине вашего веселого настроения? — остановил ее Рехтберг, с вежливым удивлением поднимая брови.

— Мне смешно, что за две недели знакомства с Лештуковым... с *известным* Лештуковым, — передразнила она его, — она почти не владела собою от гнева и теперь ничуть не боялась мужа, — вы только и сумели разглядеть в *известном* Лештукове, что он пьяница.

Рехтберг встретил ее вызывающий взгляд своим — холодным и острым.

— Нет, прошу извинения: вы ошибаетесь. Я только что имел честь вам заметить, что считаю вашего знакомого очень порядочным человеком. И, благодаря этой порядочности, я разглядел в нем только один недостаток, тогда как

иначе мог бы и имел право разглядеть многие... И... неужели вы желали бы этого?

Храбрость Маргариты Николаевны растаяла: она поняла, что Вильгельм Александрович обо всем догадался и все сложил на память в сердце своем... Она струсила...

— А! Мне все равно! — пробормотала она и пересела к другому окну.

Вильгельм Александрович проводил ее долгим взглядом и... уткнулся в огромную простыню «Figaro».

А Маргарита Николаевна кусала себе губы, чтобы не разрыдаться. В эти минуты она искренно ненавидела мужа и до безумия, до готовности вернуться с ближайшей станции, любила покинутого Лештукова. К счастью, в Лукке сел в вагон какой-то член парламента: на станции его провожала целая толпа избирателей, и две девицы в белом поднесли ему огромный букет белых роз, — вероятно, в знак политической непорочности. Депутат оказался говоруном с веселыми, умными глазами и превосходною черной как смоль бородою... За обедом в Пистойе он смешил Маргариту Николаевну анекдотами о Папе и невозможным французским языком; между Пистойей и Болоньей вел с нею разговор о чувствах, причем весьма кстати цитировал Мантегацца и читал сентиментальные стихи Стеккетти; а сойдя с поезда в Болонье, на прощанье, подарил «очаровательной спутнице» свой белый букет — «на память о незабвенной встрече!»

Поезд летел к австрийской границе. Рехтберг читал газеты...

Маргарита Николаевна нюхала букет, вспоминала черную бороду и остроты веселого депутата, и ей было не скучно...

XIV

По отъезде Рехтбергов Лештуков провел в Виареджио еще несколько недель. Им овладела тихая, безобидная апатия, —

точно после сильной лихорадки. Острые ощущения ушли, осталась лишь страшная физическая и нравственная усталость; не было охоты ни воспринимать впечатления, ни — того менее — разбираться в них. «Живу, но не мыслю», — выворачивал наизнанку Лештуков положение Декарта. Он почти не выходил из дома. Виареджио ему опостылело, как только может опостылеть человеку место, где он обесславил себя нехорошим поступком или вынужден был действовать вразрез со своею совестью. Лештуков с наслаждением уехал бы из Виареджио, но он, как нарочно, сидел без гроша — в ожидании большого аванса за проектированный роман для толстого ежемесячного издания.

Сезон купанья был в полном разгаре. Черри, осаждаемому клиентами, приходилось жалеть об одном — что его учреждение лишилось такой эффектной служанки, как Джулия. С нею он совсем бы перешиб конкуренцию остальных bagni... * Черри начал было переговоры с зеленщицей Анунциатой, но красавица заломила с него чуть ли не по золотому в сутки. Черри торговался, как может торговаться только итальянец, то есть за трех греков, двух армян и одного еврея. Но когда его сосед — конкурент Бальфи — уговорил Киару изменить своей булочной и поступить раздевальщицей в купальню, Черри сдался и приказал одному из своих работников сходить к Анунциате — ударить с ней по рукам.

Marinajo пошел, но очень скоро вернулся.

— Что? — встретил его Черри, — не ломается больше? согласна?

— Да я, хозяин, признаться, ее еще не видал.

— Где же ты шатался, birbante? **

— Дело в том, хозяин, что — стоит ли еще и идти к Анунциате?

— Почему нет?

— Джулия вернулась.

---

* Водный курорт, купальня *(ит.)*.

** Плут? *(ит.)*

— О! Ты врешь?

— Нет, хозяин, я сейчас встретил ее на Виа Паччини. «Скажи, — говорит, — хозяину, что, если он меня примет, я хоть завтра же приду на работу; сейчас мне некогда: дело есть, а к вечеру я сама зайду в bagni поговорить и условиться...» Кажется, еще красивее стала, только похудела очень.

Радостная улыбка встопорщила рыжие усы Черри.

— Отлично, — говорил он, потирая мозолистые руки, — за такую новость не грех будет угостить тебя стаканчиком вермута... у меня отличный: брат из Турина присылает...

Он подумал и прибавил:

— Авось теперь и Альберто будет вести себя умнее. А то — просто беда с ним. В малого, надо полагать, влез морской черт: постоянно пьян, с форестьерами, что ни день, то история — мужчинам грубит, с дамами нахальничает... совсем испортился парень! Я бы его дня держать не стал, да репутация у него заманчивая. Если я уволю Альберто, Бальфи тысячи франков не пожалеет, чтобы его получить, а он уведет к Бальфи с собою и мою публику...

Солнце жгло нестерпимо. Даже странно было, что такое мягкое, доброе на вид синее небо пепелит землю с жестокостью раскаленного Молоха. В море не шевелилась ни одна струя. Яхонтовый простор разнообразили только клочья застывших в воздухе без движения парусов. Жара тяжким грузом ложилась на город, клоня к земле все живое. Даже привычных туземцев сморило. Народ прятался дома или по винным лавочкам, кафе, альберго и остериям за опущенными маркизами и глотал мороженое и воду со льдом... На пустынном в эти часы моле копошилось всего несколько рыбаков, устраивая заставку для рыбы. Джулия сидела тут же, свесив ноги за парапет мола. С самого утра, когда она, после целого месяца, проведенного в отсутствии, возвратилась в родной город, она не могла найти себе места и покоя. Все в Виареджио было ей скучно, казалось унылым; ее томила злая, непобедимая тоска; хотелось бежать

из одиночества к людям, а при людях тянуло опять в одиночество. Джулия заглянула было к Лештукову, но он спал, и она, постыдившись его разбудить, обещала зайти после, а сама пошла бродить по городу куда глаза глядели. На рынке подруги, толковавшие ее романическое исчезновение из Виареджио по-своему, глядели на Джулию с нескрываемой насмешкой... Она не вынесла косых взглядов и, ответив на презрительные гримасы Киары и Анунциаты самыми гордыми молниями, какие только могла вызвать из своих удивительных глаз, ушла к морю...

Быстрые шаги заставили Джулию оглянуться: перед нею стоял Альберто. От скорой ходьбы и от волнения по красному лицу его катились крупные капли пота... Джулия, как слегка оглянулась на него через плечо, так и осталась в этой невнимательной позе, опираясь рукою о серый горячий камень.

— А, это ты! — сказала она равнодушно.

— Как видишь... Здравствуй, Джулия!

Альберто боролся с тяжелым дыханием.

— Мне еще утром сказали, что ты приехала. Я бросил работу и искал тебя по всему городу. Но тебя встречали все — только не я. Я уже возвращался в bagni, когда заметил с берега твой красный платок.

Он умолк. Джулия ничего ему не ответила, небрежно играя пальцами по камню...

— Тебе неприятно меня видеть? — сказал Альберто.

— Нет, ничего, все равно.

— Ты все еще у Черри? — спросила она после новой паузы.

— Все у Черри.

Джулия загадочно улыбнулась.

— Значит, опять будем вместе. Что этот... графчик из Вены все еще здесь?

— Да... Что тебе до него, Джулия?

Джулия опять не отвечала.

— Что же ты не спросишь, где я была? — с насмешкою сказала она, глядя на Альберто во всю величину своих глаз —

в самом деле и мрачных, и сверкающих вместе, точно звездная южная ночь, как сравнил когда-то Лештуков.

Альберто потупился, переминаясь с ноги на ногу.

— Не спрашиваю, — тихо возразил он, — потому что... где бы ты ни была, Джулия, я решил это забыть и простить.

— «Забыть и простить...» вот как! Помнится, я еще не просила у тебя прощения...

Над морем тяжело стрельнула крупная рыбина.

Джулия некоторое время следила за кругами, побежавшими от всплеска.

— Тебе нечего прощать, — продолжала она, переводя взгляд на Альберто, — ты, конечно, как все, воображаешь, будто я это время жила с художником... Этого не было. Вы правы в одном... Я уехала с тем, чтобы так было. Если бы он не взял меня женою, я стала бы его любовницей. Мне трудно было его найти. Он прятался от меня, я нарочно искала его в Риме, в Неаполе, в Реджио, в Палермо. Я всюду опаздывала. Он уезжал из города, как только я туда приезжала... Третьего дня я встретилась с ним, сама того не ожидая, на набережной в Ливорно, и... вот я здесь!

Альберто слушал, стараясь не глядеть на девушку.

— Я ему сказала: «Я не могу жить без вас, синьор...» Ха-ха-ха!.. Их, должно быть, из снега делают, этих русских великанов!.. Он сделал глаза и добрыми, и строгими вместе — это я только у него одного и видала — и говорит: «Полно, Джулия! Вы знаете, что я не могу на вас жениться...» — «Я и не требую этого, синьор, я вас люблю, примите меня к себе как горничную, как натурщицу, как что хотите... Клянусь вам: ни в чем я вас не стесню; даже, — если, наконец, и ваше мертвое сердце заговорит когда-нибудь, если вы полюбите другую, я сумею примириться с этим, уживусь с вашей избранницей и постараюсь ее любить ради вас...» Он мне на это сказал, что я слишком хороша и умна для горничной, что натурщицы ему не нужно и что честь не позволяет ему, не любя, делать любовницу из хорошей девушки... О, он честный человек, он благо-

роднее всех рыцарей, что жили и умерли вон в этих замках на горах!.. Но лучше бы и для него, и для меня было, если бы у него было поменьше чести и побольше тепла в душе... Он наговорил мне много хороших слов и советов, — но... я с детства знала их сама и без него!.. Благоразумие-то ведь одинаково везде у всех, — только кто же и когда его слушает?.. Он просил меня вернуться сюда к Черри; я послушалась... Только на прощание я сказала ему, что он раскается, потому что я отомщу ему — он сам не ожидает — как! Я заставлю его потерять это проклятое спокойствие духа; он имени моего не будет в состоянии слышать, без того, чтобы не побледнеть от раскаянья.

— Как же ты думаешь сделать это, Джулия?

Она резко засмеялась.

— А вот ты увидишь... ты, да, именно ты это увидишь.

— Я тебя, Джулия, не понимаю.

— И не надо. Когда время придет, поймешь.

— Джулия! — взволнованно заговорил Альберто, — раз ты не лжешь, — а что ты не лжешь, я в этом уверен: я знаю твою честь и имею основания верить чести художника; раз ты вернулась в Виареджио такою же чистою, как уехала, зачем это отчаяние? зачем думать о мести?.. Ты знаешь, как я тебя люблю. Вот тебе моя рука, возьми ее и, черт возьми, поставим крест на всем прошлом...

— Выйти за тебя замуж? Нет.

— Почему?

— Потому что я тебя не люблю, а люблю художника.

— И, любя, собираешься ему мстить?

— Только тем и мстят за любовь, кого любят. Да и месть бывает разная... Нет, нет, нет, Альберто! Женой твоей я не буду. Я видела свет за это время и многое узнала. Во мне есть сила, которой я сама не понимала раньше. А если бы и поняла, так не дала бы ей воли...

— Значит, это что-нибудь нехорошее?

— Художник мог спасти меня от меня самой. Я была бы сыта его любовью, я бы ничего больше не спросила от жизни. Но теперь, если мне не далось немногое, чего я искала, я возьму все, чем люди веселятся и утешаются.

— Вот что... вот что... — протяжно сказал Альберто.

— Ты говоришь, — венский графчик все еще здесь? и с этой своей крашеной француженкой?.. Накануне, как мне уехать, он шептал мне, что одно мое слово, и он пошлет француженку к черту...

— Вот что... вот что... — со странным спокойствием продолжал кивать головою Альберто.

— У меня будут бриллианты, и я буду пить шампанское за завтраком. Я заведу себе мальчишку-негра, чтобы носить за мною зонтик и накидку.

— Это должен дать графчик?

— Он не даст, — дадут другие. Я — красавица. Если меня не любит тот, кого я хочу, пусть любит меня, кто заплатит!

— Так, так, — бормотал Альберто, — только этого не будет.

Джулия возразила ему презрительным взглядом.

— Ты помешаешь мне?

— Да, я.

Она пожала плечами.

— Что ж? попробуй!

— Ты думаешь, мне легко было пережить стыд твоего бегства, когда всякий говорил о тебе самые подлые слова, самые скверные сплетни? Я укротил свое бешенство, я примирился со своим позором, я принес тебе ту же любовь, что и прежде... Я понял твое горе и до сих пор готов лечить его вместе с тобой, — лечить временем, ласками, честным именем своим, защитою храброго мужчины, незапятнанного уважаемого человека. А ты хочешь надругаться над собою и надо мною?.. Нет, тебе это не удастся. Честь художника спасла тебя от одного позора, а моя любовь спасет от другого.

Джулия вскочила на ноги.

— Что я не буду твоей женой, я готова повторить это тысячу раз, — сказала она в гордой позе, упирая руки в бедра.

— Тогда... — еще тише и спокойнее начал Альберто.

Но Джулия горячо перебила его.

— Дурак! Чего ты хочешь? Жены, у которой мысли будут всегда полны другим человеком, которая, если тебе удастся поцеловать ее, будет нарочно закрывать глаза, чтобы думать, будто ее целуешь не ты, а другой...

— Мое это дело. Если я иду на такую муку, не тебе меня отговаривать.

— Ты идешь, да мне-то неохота. Однако довольно, прощай: меня ждет старый Черри, я обещала прийти к нему вечером — подписать условие, а сейчас...

Она вынула из-за кушака часы, подаренные ей Ларцевым.

— Это часы художника, — сказал Альберто, не спуская глаз с золотой вещи, — зачем они у тебя?

— Он подарил мне их, когда уезжал из Виареджио.

Краска медленно сползла с лица Альберто, заменяясь серою пепельной бледностью.

— За что?

Джулия гневно сверкнула глазами.

— Ты сейчас подумал подлость. Я тебе никогда не прощу этого вопроса. А еще говоришь, что веришь мне, что все забыл и простил!.. Эта вещь — самое дорогое, что будет у меня в жизни... Смотри: вот, вот, вот...

Она три раза поцеловала часы и опустила их за кушак.

Яростный крик вырвался из груди Альберто. Он схватился за голову, но вдруг, как бы опомнившись и совладав с собою, опустил руки и закинул их за спину.

— Прощай и можешь злиться, сколько угодно!

Джулия гордо кивнула головкой и хотела пройти, но Альберто, все еще держа руки за спиной, полуоборотом своего большого тела, заслонил ей дорогу.

— Не уйдешь ты... — сказал он.

В его лице ни кровинки не оставалось. Джулия пожала плечами.

— Зачем я тебе? Мне нечего больше сказать тебе.

— Нечего?..

— Да. Если уж мне суждено достаться нелюбимому человеку, так мне нужен кто-нибудь и побогаче, и познатнее простого матроса... Пусти меня, хозяин будет сердиться.

Альберто посторонился.

— Иди! — кротко сказал он.

Но когда Джулия проходила мимо его, он проворно взмахнул рукою... На спине девушки выступила красная полоса. Джулия подняла руки высоко над головою и судорожно хватала пальцами воздух, словно старалась уцепиться за него. Потом, без крика, рухнула ничком на камни мола. Альберто ударом ноги сбросил ее в море. Тело ключом пошло ко дну — только красное пятно расплылось на воде, да широкие круги побежали далеко по синему зеркалу спокойных вод...

С конца мола бежали к Альберто рыбаки... Он молча бросил им нож, которым зарезал Джулию, и протянул руки:

— Вяжите!

Перед первым допросом в претуре Лештукову удалось протолкаться к преступнику.

— Друг мой, как вы могли это сделать?!

— Она хотела сделаться потаскушкой, синьор, — спокойно сказал Альберто. — Я не мог допустить ее до этого.

Карабинеры вежливо отстранили Лештукова.

— Тысяча извинений, eccelenza *, но теперь мы уже не имеем права допускать посторонних к арестанту.

— Если не брезгуете, пожмите мне руку, синьор, — сказал Альберто. — Прощайте. Спасибо за вашу приязнь. Не жалейте обо мне слишком: все — судьба!..

* Ваше сиятельство (*ит.*)

К вечеру убийцу увезли уже в Пизу, где и водворили в тюремном замке под крепким караулом.

XV

Два дня спустя немки поутру вместе с кофе преподнесли Лештукову только что пришедший из Петербурга конверт с банковым переводом. Дмитрий Владимирович был счастлив, как никогда еще в жизни не радовался деньгам, и в один день собрался к отъезду из Виареджио: после трагедии Альберто чудный цветущий городок стал казаться ему какою-то могилой. Накануне отъезда, поздно ночью, он сидел на моле, как раз над тем местом, где было найдено тело Джулии. Он видел ее — обезображенную ударами багров, окутанную рыболовною сетью... Но ему как-то не думалось о той Джулии; ему хотелось мечтать, будто она все еще тут, внизу, под волнами, холодная и прекрасная, как русалка; хотелось видеть сходство между нею и яркой звездой, что, чуть колеблемая ночным волнением, мерцала глубоко под его ногами, на самом месте гибели Джулии. Лештуков думал о Джулии, об Альберто, о себе, о Маргарите Рехтберг, — и странная зависть к судьбе убитой девушки и ее убийцы смущала его мысли.

«Альберто уверял, что мы с ним из одного теста вылеплены, — думал он. — Может быть, тесто и одно, да дрожжи разные. Оба мы пережили неудачную любовь, оба были оскорблены, унижены: у нас обоих отняли лучшее, чем мы владели, мы оба терзались, оба ненавидели... Он — простой человек полудикой воли — и распорядился просто. Над его человеческим достоинством насмеялись, — он убил. Он сделал страшно, безобразно, преступно, но доказал, что знает себе цену. Он и на скамье подсудимых будет сидеть с гордо поднятой головой. Любовь дает право суда над человеком. Он судил — и убил. Отчего же я не убил? Первое хорошее чувство

в моей гадкой, развратной жизни разменялось на бирюльки; я, как одураченный паяц, сыграл роль трагического героя в водевиле! Зачем я допустил до этого? Разве не лучше было возвысить водевиль до трагедии? Разве я не мог драться с мужем Маргариты, как львы дерутся из-за львицы? А вместо того — вот: я сижу и размышляю — поеду ли я зимою в Петербург на новые нравственные пощечины, на новые подлости обмана и самообмана. Гуманность, цивилизация помешали?.. Да ведь хотеть-то крови они мне не мешали! Я и сейчас убежден, что убить было надо: ее ли, себя ли, его ли... надо! Просто не посмел. А не посмел — оттого, что плохо любил. Не женщину, а свою выдумку любил: права была Маргарита. И все мы — люди интеллигентного дела, люди нервов и мыслительной гимнастики — так любим. Наша любовь — что мертвая зыбь: она тебя измочалит, но ни утопить — не утопит, ни счастливо на берег не вынесет. Все — сверху. Вон как эти волны... Ишь как беспокойно суетятся они и лижут серые камни! А что в них? Только что красиво морщат лицо моря... Настоящая-то морская тайна — там, в глубине, где нет ни красивых морщин этих, ни беспокойства. Тишь, гладь, темь и... труп девушки, зарезанной за любовь. Альберто — убийца и спокоен. Я не убил — и мне ужасно скверно. Скверно не оттого, что не убил, — а от догадки, почему не убил.

Давно ли я — опытный, стареющий человек с сединою в волосах — горячился, выкрикивал монологи и ставил в них жизнь на карту за честную любовь... Слова! Слова! Слова!.. Что впереди меня и Маргариты? Цепь гнусных обманов, лжей и сотня-другая минут наслаждения. Мое «или-или» разменялось на постыднейшие компромиссы, — мы условились, однако, что будем принимать эти компромиссы за любовь... фальшь — за лучшую правду жизни! Ха-ха!

Какое лицемерие!.. Как удобно раздобылись мы привилегией на безнаказанность тех самых грехов, за которые честные мужланы, вроде моего Альберто, расплачиваются поножовщиной.

«Я убил ее, чтобы она не сделалась потаскушкой», — это прорычал «полускот». «Приезжай, — я буду обнимать тебя за спиною мужа!» — это мурлыкает женщина-кошка с тонкой нервной организацией и острым, образованным умом. И я — человек не из самых худших и глупых в своей среде — выслушал эту программу, — и ничего! Слушал и думал: «Гадко!» Но как бы это ухитриться, чтобы примирить эту гадость со своею совестью, чтобы не претило извлекать удовольствие из связи с женщиной, которая не стоит, чтобы ее любили, а я все-таки ее без памяти люблю?

За что?

Альберто знал, за что любил Джулию: он ее добивался, как тигр добивается тигрицы...

А я не знаю. Потому что, кто же из нашей братьи решится на такое же откровенное признание? Как можно! Какое скотство! А высшие взгляды? А сочувствие душ? А общность интересов и идеалов?

У Альберто и ему подобных из любви рождается чувственность. У них она — дитя благородного происхождения; поэтому они ее и не стыдятся. Вон они — эти итальянские жены-простолюдинки, с дюжиной ребят, так гордые своим потомством, такими влюбленными глазами следящие за своими Джованни и Джузеппе, так наивно откровенные в своих супружеских ласках и тайнах. Чего ей стыдиться? Она любит, — она права.

У нас почти всегда, наоборот, из чувственности рождается любовь. Яблочко не далеко падает от яблоньки, — и мы стыдимся любви, как стыдимся ее матери. Мы стараемся декорировать ее всяческой идеализацией, но... «краски ветхие с годами спадают ветхой чешуей!..» И, рано или поздно, нам приходится краснеть за свою любовь, — недоношенный плод отравленного воображения. Мы стараемся ее уважать, мы притворяемся, что ее уважаем, мы убеждаем себя и верим, наконец, что ее уважаем, — но заглушенный инстинкт правды сильнее нашей обманутой воли. И, когда такая любовь стано-

вится решающим моментом жизни или смерти, тайный голос должен шепнуть умному человеку: «Стоит ли?»

Мелкое чувство вызывает и мелкую борьбу. Пусть она будет и эффектною, и шумною! Все-таки это — не буря морского простора, которая в щепки ломает корабли. Это береговые волны: они нагрохочут на десятки верст, изроют песок, перебуравят камни на берегу, нашвыряют водорослей и раковин, может быть, и «чудный перл» ненароком выбросят... и только. Волна набегает и разбивается. Чувство приходит и уходит. Одна волна покрывает другую. Минуту счастья смывает день страдания. Поцелуй окупается подлым обманом, за полосу позора платит полоса наслаждения... все волны и только волны!..

Любовь — ровесница смерти и сильна как смерть. Но это не про наши любви сказано... не про любви уверток и компромиссов: сказано про любовь-необходимость, а не про любовь-случайность!.. Разве что помириться на том, что и смерть, как любовь, будет для нас не более как волною: налетит невзначай и смоет нас против воли, сколько бы мы ни держались за мелконькую жизнь, за ее низкие истины, сдобренные нас возвышающим обманом.

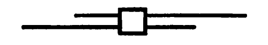
Только эта последняя волна налетит и ударит совсем уж из неизвестного и непостижимого далека, как тогда, в бурю, налетел на меня и зарыл меня в водяную могилу седоголовый вал.

Волны... волны... все волны!»

Лештуков встал и тихо побрел домой в кротком, точно виноватом раздумье.

Назавтра он простился с Виареджио и, когда поезд мчал его мимо Пизанской падающей башни, он — именем друга-узника, затерянного где-то рядом, в тюрьме, — дал себе слово — в Петербург на зиму не ехать.

1893



МАРЬЯ ЛУСЬЕВА

От автора

В настоящем издании «Марья Лусьева» выходит значительно дополненною, — почти вдвое обширнее — прежних. В роман введен ряд эпизодов и сцен, ранее не включавшихся по соображениям цензурным или персональным. Так, для читателей, знакомых с прежними изданиями «Марьи Лусьевой», будут новые главы и эпизоды: «Люция», «Подвальные барышни», «Женя Мюнхенова» и история ее портрета, «Живорыбный Садок» москвича Бастахова, «Похититель невест», «Ассоциация Феникс» и др.

Такое расширение «Марьи Лусьевой» усугубляет ее недостаток, не раз ставившийся мне в упрек: что по форме романа, ведомого рассказом от первого лица, я грешу против художественной истины, заставляя героиню в два-три часа, максимально которые могли бы посвятить ей ее слушатели, сообщить столько и так подробно, что хватило бы слушать на неделю. Это правда, — приемлю упрек. Но я и раньше заявлял неоднократно, и теперь повторю, что в «Марье Лусьевой» я преследую цели отнюдь не художественной архитектуры, но публицистической иллюстрации одного из наиболее опасных зол современного «культурного общества»: торговли «живым товаром».

Зло это, к великому горю и погибели человечества, не изменяется ходом истории. Сколько наивных надежд возлагалось на социальную революцию! Пришла она, но, если что переменила в проституционном недуге, то не на лучше, а на в десять раз хуже! Первоначальный очерк «Марьи Лусьевой» был написан 25 лет тому назад. Однако,

работая над романом для настоящего издания, я то и дело убеждался в печально прочной зеркальности моих фактов не только для распоясавшейся «подсоветчины», но и вообще для быта больших послевоенных и послереволюционных городов, как рисуют ее их собственная газетная хроника и бытовая литература.

Поэтому я ничуть не смущаюсь удлинением цепи сообщаемых эпизодов. Думаю, что не посетует на то и читатель, получающий новый материал к осведомлению и обсуждению, в форме, надеюсь, легко восприемлемой.

Вообще же, позволю себе повторить то, что заявил при первом издании «Марьи Лусьевой», напоминая, вместе с тем, историю ее происхождения.

«Марья Лусьева» как повесть, вымысел, но в «Марье Лусьевой» нет ни одного, хотя бы самого мелкого, эпизода, который был бы вымышлен. Мысль написать «Марью Лусьеву» дал мне чиновник, изображенный в моем рассказе под именем Mathieu le beau. Он, развивая передо мною в приятельском разговоре свои служебные воспоминания, сообщил мне, между прочим, случай с интеллигентною барышнею в одном из южных наших центров: она, сойдя с ума, воображала себя проституткою и наделала немало хлопот своему семейству и городской администрации, прежде чем удалось изобличить ее в эротическом бреде. Что факт этот возможен и даже не может назваться единичным, подтвердили мне ростовские газеты, огласившие в зиму 1902 года случай однородного помешательства, но с еще более странным осложнением навязчивой идеи, так как воображал себя женщиною легкого поведения солидный мужчина. Перед некрасовскими праздниками, в декабре 1902 года, по газетам опять прошел рассказ о помешанной девице, которая с надгробным венком в руках пришла в полицейский участок читать «Убогую и нарядную».

Сперва я хотел было сделать из «Марьи Лусьевой» просто психологический этюд, с посильным анализом перечисленных случаев сумасшествия. Но потом, взявшись за работу, я соблазнился расширить тему и направить ее к целям более общественного характера, чем описание сумерек в двух-трех повредившихся умах... Я решил попробовать — сколько могу и знаю — осветить лазейки зла и, отказавшись от мысли писать «Марью Лусьеву» сумасшедшею, сделал

из нее одну из невольниц «дома свиданий», которая, взбунтовавшись, была выдана и принята за сумасшедшую.

Так возникла эта «былевая небылица», которую характеризовать я считаю себя вправе словами Сухово-Кобылина в его послесловии к трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Веселые Расплюевские дни»: «Если бы, за всем этим, мне предложен был вопрос: где же я так-таки такие картины видел?.. то я должен сказать, положа руку на сердце: — Нигде... и — в е з д е...»

За 25 лет своего существования «Марья Лусьева» была судима и благосклонно, и злобно, имела своих друзей и своих врагов. Одни, может быть, слишком лично ставили автору в высокую заслугу прямизну и углубленность обличения без «лживства, лукавства, вежливства», со всеми точками над i. Другие довольно идиотски приписывали ему... «лукавое намерение развратить «Марьей Лусьевой» женщин и детей»!.. Сам же автор ценит в «Марье Лусьевой» то достоинство, как главное, что за 25-летнюю свою службу она ни разу не была опровергнута хотя бы в малой какой своей подробности, доказательно и авторитетно.

В прежних изданиях роман сопровождался рядом статей по вопросу борьбы с проституцией. В большей части своего содержания они устарели, а потому из настоящего издания исключены. Меньшую же часть, фактическую, я перенес, — в пояснение и подтверждение некоторых эпизодов, — в подстрочные примечания. Подстрочными же примечаниями обозначены теперь справки по авторам, сочинениями которых «Марья Лусьева» проверена в бытовой своей части. Список этих сочинений приложен в конце романа.

Александр Амфитеатров

Levanto
1927 VII 17

Часть первая

ГЕНЕРАЛЬША

I

Дело было в последних девяностых годах прошлого века.

В один из к—ских полицейских участков явилась — «ворвалась, как буря», говорил мне свидетель-очевидец — нарядно одетая молодая девушка, очень красивая и вполне приличного типа, но взволнованная, с одичалыми глазами, с щеками, пылавшими огнем.

— Кто здесь главный? — резко крикнула она.

— Пристава нет сейчас. Я за него, его помощник. Что вам угодно?

Девушка продолжала так же резко и порывисто:

— Меня зовут Марья Ивановна Лусьева. Я из Петербурга, приехала неделю тому назад. Я тайная проститутка и доношу вам на себя, чтобы вы дали мне желтый билет. Вот вам мой паспорт.

Драматический порыв Лусьевой, возбужденный тон ее речи, слишком заметная интеллигентность, общая пристойность всего ее, как говорят немцы, «явления», совсем несогласные с ее показанием, смутили полицейского.

«Дело неспроста», — подумал он и спросил, избегая местоимений:

— Из каких?

— Я же дала вам паспорт, — грубо рванула Лусьева. — Там все прописано.

Подозрения помощника пристава, что дело не просто, увеличились, когда в паспортной книжке он нашел обозначение — «дочь надворного советника», «дворянка», а в графе документов, на основании которых выдан вид, ссылку на аттестат одной из лучших петербургских гимназий.

— Гм... — сказал он. — У вас прекраснейший документ. Как же вы это так? А?

Лусьева молчала, с нервною злобою терзая перчатку на руке. Посмотрел на нее помощник пристава, — не в себе девка.

«Тут что-то мне не по чину разбирать, — решил он про себя; — чем мне самому влетать в эту кашу, пусть расхлебывает ее старшее начальство».

И телефонировал полицеймейстеру, что, мол, так и так, — пришла барышня благородного звания и отменной наружности, взводит на себя вины несоответственные и заявляет требования несвойственные, очень расстроена и даже как будто не в своем уме; ввиду сомнительности случая, как прикажете поступить?

Вышла резолюция: «Отправить предполагаемую больную в приемный покой и вызвать к ней врача, а там видно будет».

Лусьева, с истерическим упрямством, продолжала кричать, чтобы ей отдали позорное свидетельство.

— Успеете, успеете, — с досадою сказал ей помощник пристава. — С этою радостью, мадемуазель, расстаться трудно, а заполучить ее — минутное дело.

Врач — глупый, старый, равнодушный формалист, давно уже переставший интересоваться судьбами человечества, поскольку они выходят за границы винта и монопольки с груздем в сметане, — не нашел в Лусьевой ничего анормального.

— Женский пол — как женский пол. Не понимаю, с чего вы сполошились. Что в гимназии училась, так все и рты поразинули, аномалий заставляют искать. Просто развратная девчонка, — вот вам и вся аномалия.

И, в конце концов, Лусьева получила бы роковой документ, если бы не повезло ей, случаем, горемычное счастье.

Дав резолюцию о врачебном исследовании странной девицы, полицеймейстер отправился прямо от телефона к себе в столовую завтракать и, за рюмкою водки, рассказал:

— Представьте, какое у нас сейчас в первом участке оригинальное романическое приключение.

И так далее, и так далее.

— А как фамилия? — спросил его гость, молодой чиновник особых поручений при к—ском губернаторе.

— Какая-то Лусьева... Марья Ивановна...

Молодой человек даже покраснел от изумления.

— Марья Ивановна Лусьева? Да это чепуха какая-то! Не может быть. Я Марью Ивановну Лусьеву прекрасно знаю. Это проезжая барышня остановилась в гостинице «Феникс», я только вчера был у нее с визитом. Тут — либо самозванство и присвоение чужих документов, либо страшное недоразумение и несчастье. Это надо расследовать. Поедемтека, Тигрий Львович.

По дороге чиновник рассказал полицеймейстеру, что познакомился с Лусьевой случайно, на музыке в городском саду. Она была с теткою, в высшей степени приличною особою, которую рекомендовала как баронессу Ландио. Вчера, сделав прежним дамам визит в «Феникс», он убедился, что тетка и племянница — женщины с состоянием: они занимают хороший номер, везут с собою в Крым собственную прислугу — тоже весьма благопристойную русскую тетушку, что-то среднее между горничною и экономкою. На что-либо сомнительное, подозрительное, нечистое не было даже и намека.

— Ну, стало быть, сумасшедшая, — решил полицеймейстер. — А знаете ли, — мы едем мимо «Феникса»: не завернуть ли к тетке-то? Быть может, она и не подозревает, что ее племянушка откалывает с безумных глаз. Предупредим. Все-таки, баронесса...

В «Фениксе» на вопрос столь официальных гостей о баронессе Ландио управляющий смутился и вместо ответа пренелепо сразу же заявил:

— Я, ваше высокоблагородие, ни в чем не виноват. Документ у нее был в порядке.

— Никто тебя ни в чем не обвиняет, — возразил изумленный полицеймейстер. — А разве что-нибудь случилось?

— У нас ничего особенного не случилось, — сказал управляющий, — но только вот — наш паспортист пришел сейчас из участка и говорит, будто бароншину барышню взяли в полицию и хотят записать в публичные.

— Пустяки. Проводи нас к баронессе.

Управляющий всплеснул руками.

— Да нету ее уже у нас, ваше высокоблагородие. Уехала с утренним поездом на Одессу. И прислуга ихняя с ними. До ужастей как спешили, в двадцать минут собрались...

Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись: дело, действительно, начало становиться романическим. Из дальнейших расспросов выяснилось, что баронесса с племянницею выехали вчера вечером из гостиницы, часов около восьми, в какой-то театр. Баронесса возвратилась в послеспектаклыное время, между часом и двумя ночи, одна. Барышня Лусьева приехала уже утром, часов в шесть, или даже позже; вскоре после того у них в номере началась ссора, раздались нестерпимые визг, крик и брань, так что пришлось постучать к ним в дверь, прося вести себя тише и не мешать соседям. Громче всех раздавался голос женщины, которая служила при баронессе.

— Такие словечки загинала, что слушать, — на базаре фонари лопнут.

Наконец барышня Лусьева выбежала из номера в страшном расстройстве, с сердитым и презрительным лицом прошла мимо швейцара и исчезла на улице. А баронесса вскоре позвонила и приказала подать счет. Она отлично расплатилась и щедро дала на чай. Но ужасно изумилась и испугалась, когда вместо трех паспортов ей принесли из конторы только два.

— А где же вид Марьи Ивановны? — воскликнула она, искривя лицо.

Лакей, который подавал счет, объяснил, что по требованию барышни, еще третьего дня контора возвратила ей паспорт на руки.

— Но... но... как же это вы так могли поступить... разве это можно?.. Вы ужасно что для меня теперь сделали... Вы не имели права...

Баронессе объяснили, что, напротив, гостиница не имела никакого права задержать паспорт, когда его требовала законная владелица. Во время этого объяснения прислуга баронессы молчала, но смотрела на госпожу свою аспидом и, видимо, была не в духе. Затем они обе уехали в дилижансе гостиницы, и, — говорит кучер дилижанса, — всю дорогу до вокзала между двумя женщинами в карете шла ругань не на живот, а насмерть, причем баронесса как будто плакала и в чем-то оправдывалась, а прислуга твердила:

— Погоди, погоди! дай в купу сесть: я тебе щеки нарумяню!

Все эти необычайности, в связи с исчезновением Лусьевой и последующими странными о ней слухами, смутили управляющего «Фениксом» — он встревожился:

— Не гостили ли у нас торговки живым товаром?

Удивляло его еще одно обстоятельство: он решительно не помнил, чтобы возвращал паспорт барышне Лусьевой, а между тем паспорт очутился у нее в руках, и молодой коридор-

ный, служивший при номере, клялся и божился управляющему, что тот собственными руками выдал ему документ для передачи.

— Оно, конечно, знаете-с, возможно: съезд публики сейчас очень большой, толчея, ум за разум заходит...

Во всяком случае, он по собственному почину собирался уже пойти в полицию — заявить подозрение о странных гостях, да вот — на счастье, заехал сам полицеймейстер с его высокоблагородием. Раньше, в течение семи дней, что дамы стояли в «Фениксе», никаких скандалов между ними не происходило, жили они тихо, гости их посещали редко, а если бывали, то очень порядочные.

— Вот и их высокоблагородие однажды заезжали.

Марью Ивановну Лусьеву полицеймейстер и чиновник застали в страшном возбуждении. Сухое ли, небрежное обращение врача подбавило масла в огонь, просто ли истерический припадок разрастался, но теперь несчастная девушка действительно производила впечатление недалекой от безумия. Настойчивое требование «билета» не сходило у нее с языка.

— Вот, — закричала она, едва увидела чиновника особых поручений (окрещу его, наконец, Матвеем Ильичом, прибавив, для краткой характеристики, что губернские львицы прозвали его «Mathieu le beau» *, а губернатор, старик веселый и насмешливый, предпочитал для него кличку — «Мотька, где водька?»), — вот и этот господин может вам подтвердить, что я такая... Что, брат, узнал? Вот и расскажи всем, как я привязалась к тебе на музыке!

— Опомнитесь, Марья Ивановна! — возопил сконфуженный чиновник, — что с вами? Никогда не было ничего подобного... Ваша почтенная тетушка...

Лусьева громко и нагло захохотала:

— Тетушка? Это баронесса-то? Целуйся с нею.

---

* Матьё прекрасный (*фр.*).

— Так она не тетка? — встревожился полицеймейстер.

— Может быть, кому-нибудь и тетка.

— А с вами — в каком же родстве?

— Десять дней тому назад я еще и в глаза ее не видала, не знала, что такая есть на свете — ба-ро-нес-са Ланди-о... — со злобною иронией протянула Марья Лусьева.

— Следовательно, она — подложная личность?

— Нет, паспорт у нее настоящий. Кажется, в самом деле баронесса. Что вы думаете? Мало на Сенной в ночлежках живет голодного народа с хорошими паспортами? Заплатите деньги: не то что баронессу, — графиню, княгиню можно выудить... Наемная дуэнья, — при мне в тетках состоять была взята. Для языков и для аристократичности. И дешевая: дневной расход, хорошее платье, проезд по первому классу за три рубля в сутки. Правда, умеренно? Потому что, знаете, она хоть представительная, но пьет уж очень и, пьяная, никакой воли в себе не имеет, всю ее хоть разними...

— Позвольте. Дешево ли, дорого ли, но чей же это расход? Кто платил? Вы платили?

Лусьева злобно засмеялась.

— Я? Да у меня уже с полгода лишнего рубля в кармане не было. «Антрепренерша» моя платила, «мадам, Анна Тихоновна», — вот, которая в гостинице за прислугу при нас числилась...

— Так, — протяжно сказал полицеймейстер, — ну, теперь все понятно. Дело бывалое. Рассказывайте.

— Позвольте, однако, — вмешался Mathieu le beau. — Если даже правда все, что вы о себе говорите, я не понимаю цели. Против вас не имелось никаких подозрений, на вас не поступало доносов... Вы могли спокойно продолжать ваше... гм... существование... — поперхнулся он. — И между тем сами доносите на себя. Понимаете ли вы, какую ужасную будущность себе готовите? Ведь этот билет, о котором вы просите, просто черт знает что... И зачем?

— Затем, — с жестоким гневом прервала его Лусьева, — что меня так испоганили, что, кроме как продаваться, я уже ни на что не гожусь. Но если продажною быть, так уж пусть хоть в чистую — сама собою торгую, а не набиваю карман подлых тварей разных, словно раба какая-нибудь...

Полицеймейстер присвистнул.

— Это у нас называется: «Наказал мужик бабу: в солдаты пошел». Рассказывайте.

II

Марья Ивановна Лусьева оказалась дочерью бедного петербургского чиновника, которому даровая квартира в казенном доме помогла дать детям приличное образование. Их у старого Лусьева было много, но ко времени, как ему овдоветь, средние дети попримерли, и остались только два мальчика, погодки шести-семи лет, да старшая дочь, уже четырнадцатилетняя гимназистка, Маша. Училась Лусьева отлично. Характера она была веселого, хохотушка, любила танцевать, бегала по театрам, садам, на музыку, но, благодаря хорошим способностями, не отставала от подруг в успехах. Курс кончила отлично. Годов с шестнадцати ознакомилась с флиртом и имела огромный успех у мужчин. Нравиться ей никто не нравился особенно, но чтобы ухаживали за нею, она любила очень.

— Ах, Маша! — говорили ей подруги, — какая ты счастливая: даст же Бог такую красоту. Если бы ты еще одевалась как следует, всем мужчинами с ума надо сойти.

— То-то и есть, что Бог разделил по справедливости, — отсмеивалась Маша, — кому красоту, кому туалеты.

Однако рядиться хотелось. Хотелось тоже хороших духов, хотя бы дешевеньких украшеньиц, прошивок, кружев, убрать иной раз голову модною прическою у хорошего парикмахера. Но — денег нет, а на нет и суда нет.

— Счастливица! — вздыхали хорошо одетые подруги, завидуя Машиной красоте.

— Счастливицы! — вздыхала Маша, завидуя хорошо одетым подругам.

В числе Машиных приятельниц была некая Ольга Брусакова, жительница того же казенного двора, девица лет уже двадцати двух, грузной, аляповатой красоты и пухлого, поношенного вида. Дурного об Ольге сказать было нечего. Правда, довольно часто она не ночевала дома и даже иногда исчезала из родительской квартиры на целые недели, но всем в доме известно было, что время отлучек своих девица Брусакова проводит у своей крестной матери, госпожи Рюлиной, — по слухам, важной и богатой барыни, которая ее безумно любит дарить, балует и записала на ее имя крупный куш в своем завещании.

Находили немножко странным, что об этой великолепной крестной матери у Брусаковых в семье ничего не было слышно до семнадцатилетнего возраста Ольги. В ту пору у девушки завязался весьма неудачный роман. Герой его выдавал себя за графа ***. В действительности же, — как шушукались подвальные кумушки, — проходимец оказался лакеем графа, выгнанным за пьянство и покражу барского платья и белья. Тогда-то вот и выдвинулась в жизни Ольги величественная фигура знатной и богатой крестной мамаши. Генеральша Рюлина отобрала Ольгу у родителей и продержала у себя больше года. Добрые языки говорили: чтобы разбить неудачное любовное увлечение девушки и дать ей опомниться от драмы тяжкого разочарования. Злые языки утверждали, — чтобы скрыть беременность и роды.

И то могло быть, потому что Ольга возвратилась от Рюлиной к домашним пенатам сильно изменившись. И физически: приобрела вид скорее молодой дамы, чем девицы. И морально: из резвой и веселой хохотушки превратилась в мрачную лежебоку, страстную курительницу дорогих бла-

говонных папирос и усердную поглотительницу душистых ликеров. Рюлина ее очень избаловала. Так как покровительство этой барыни вносило благосостояние в дом, то Ольга сделалась в своей семье главным лицом. Жила, как хотела. Отец (горький пьяница) и мать (азартная игрица по клубам) ходили пред дочкой на цыпочках и — что она, как она, где она, с кем она — не дерзали допытываться. Было однажды навсегда решено, что, раз Рюлина взяла Ольгу на свое попечение, значит, на Рюлиной и ответственность за Ольгу, а у родных папаши с мамашей руки от дочки развязаны и совесть чиста.

Госпожа Рюлина никогда не навещала свою любимицу у ее родителей, но два раза в неделю непременно, а то и чаще, присылала за Ольгою свою карету. И Ольга спешно отрывалась от дела ли, от веселья ли и уносилась с казенного двора на паре чудеснейших караковых, на мягких американских шинах.

— Счастливица! — вздыхало вслед ей все молодое женское население огромного корпуса.

Ольга была добрая девушка. За вялость и молчаливость она прослыла глупою. Крестная мать надарила ей множество вещей, но bijoux * Ольги недолго у нее держались: она все раздаривала подругам, либо — просто и без дарения — возьмут поносить, да и заносят, а она не спрашивает. Станут Ольгу учить уму-разуму:

— Зачем зря раздариваешь вещи? Они денег стоят.

— Великих ли денег? Грошовая дрянь. Если бы брильянты или валансьен, — не бойтесь, не отдам...

— Все-таки лучше берегла бы для себя...

Ольга улыбалась.

— У Полины Кондратьевны этой дряни полны сундуки. Скажу, что надо, — еще подарит.

— Счастливица!

* Драгоценности (*фр.*).

Однажды Машу Лусьеву пригласили на свадьбу. Надо было одеться поприличнее. Платье довольно хорошее у нее нашлось. Украшения пообещалась дать Ольга. Приходит к ней за ними Маша. Ольга только что приехала домой от крестной матери больная, не в духе, лежит на диване, руки за голову, зевает, еле отвечает на вопросы. Вещи она отобрала для Маши отличные.

— Счастливица ты, — по обыкновению говорит Маша, — чего-чего у тебя нет. Просто зависть берет на твое счастье.

Ольга в ответ промычала что-то не слишком веселым и одобрительным тоном; ее мучил жесточайший мигрень, и она усиленно растирала томимый болью висок платком, вымоченным в одеколоне.

— Золотая душа твоя Полина Кондратьевна, право, золотая...

— Бог смерти не дает, должно быть, заживо вознесена в рай будет, — странным, злобно-насмешливым голосом возразила Ольга.

— Как ты говоришь... — смутилась Маша. — Будто совсем ее не любишь...

Ольга молчала.

— Она тебе столько благодетельствует... дарит. Разве ты ей не благодарна?

— Если бы смела... с удовольствием бы швырнула все эти цацки ей в рожу... — неожиданно прорвалась Ольга, засверкав глазами.

Маша совсем растерялась.

— Ой, что ты это... За что?

— Да уж за то... стоит...

Маша подумала, что, должно быть, между крестною и крестницей пробежала черная кошка, поссорились, и теперь Ольга нервничает и злится. Она хотела смягчить неприятный разговор и свести его к шутке.

— Ну, ты совсем неблагодарная, — смеясь, сказала она. — Не стоишь своего счастья. Если бы Бог дал мне такую крест-

ную маму, я бы ее вставила в киот. Слушай. Подари мне свою Полину Кондратьевну, а я тебе отдам свою крестную.

Ольга посмотрела на подругу острым, серьезным взглядом.

— Вот что, Машка, скажу тебя напрямик и твердо: ты этим со мною не шути. Избави тебя Бог. И слов вперед мне не говори, не начинай, не смей...

— Помилуй, Оля, что ты? разве я серьезно?

— Знакомиться с Полиною Кондратьевной не воображай: не допущу, не позволю...

— Я и не мечтала... тем более, если ты так ревнуешь...

— Я ревную?..

Ольга даже зубами скрипнула, но спохватилась и договорила уже спокойно:

— Ревную я или нет, — этого ты не поймешь, мое дело. А тебе по дружбе советую: не завидуй ты мне и не мечтай о моем счастье. А если столкнет тебя дьявол где-нибудь с моею Полиною Кондратьевной, беги ты от нее, как от огня, не льстись, не знакомься. И если когда-нибудь я сама стану уговаривать тебя поехать к ней, прошу тебя: не слушай меня, откажись тогда...

— Да, ты не уговариваешь... Напротив, не хочешь...

Ольга возразила, глядя в сторону:

— Вот и напомни мне этот наш разговор, как я не хотела... Потому что, Машенька, сейчас я тебе все это — свои слова говорю, задушевные, по дружбе. А случается, что мне приказывают говорить... Я, Маша, живу не на своей воле... Не всегда мне можно быть откровенною... А затем довольно об этом. Ну ее к черту... да и меня с нею тоже!..

«Какая она сегодня непонятная, — думала Маша, уходя от Ольги. — Точно она выпила?!»

Увы! Если бы подруги поцеловались на прощанье, — Ольга уклонилась от этого обряда под предлогом насморка, — то, вероятно, даже наивная Маша заметила бы, что от девицы Брусаковой жестоко разило коньяком.

III

Одною из странностей Ольги Брусаковой было, — что она терпеть не могла показываться в обществе, на улице, в театре или в концертном зале с кем-либо из своих подруг. Если случалось ей сойтись публично даже с Машею, которую она, всем заведомо, очень любила, она делала неприятное лицо, едва здоровалась, уклонялась от разговора и всячески старалась отделаться поскорее от нечаянной и словно противной ей встречи.

Однажды Маша столкнулась с нею лицом к лицу на Морской. Ольга выходила из фруктового магазина с покупками в руках. Маша обрадовалась. Ольга нахмурилась.

— Ты куда? Домой? — спросила Маша.

— Да, думала уже домой...

— Вот и прекрасно, пойдем вместе...

Ольга слабо покраснела, пролепетала что-то невнятное и странно оглянулась по людной улице, кипевшей народом. Маша подметила этот робкий взгляд и рассердилась.

— Что это, право, Оля, — обиженно сказала она, — мешаю я тебе, что ли? Право, можно подумать, что ты меня стыдишься...

Ольга Брусакова посмотрела ей в лицо жалким, скрытным взглядом.

— Вот глупости... — пробормотала она. — С чего ты взяла? Пойдем, конечно. Очень рада.

— Отчего эта дама так пристально смотрит на нас? — спросила Маша, когда, обогнув угол, они приближались к Полицейскому мосту.

— Какая дама?.. Ах... Здравствуйте... — растерянно сказала Ольга красивой, нарядной особе, которая поравнялась с ними.

— Здравствуйте... — протяжно сказала та, окинув обеих девушек любопытным, проницательным взглядом.

Подруги прошли было мимо. Маша с изумлением видела, что Ольга красна и дышит тяжело. Чувство оскорбления снова закралось в душу Лусьевой.

«Как она стыдится моего общества перед своими знакомыми...» — с тоскою думала она, уже горько раскаиваясь, что просила Ольгу идти вместе, и решая в уме, что сейчас же расстанется с нею под каким-нибудь предлогом, возьмет извозчика, свернет в переулок, лишь бы освободить ее от своего неприятного присутствия.

— Виновата... Эвелина, мне надо сказать вам два слова, — послышался сзади любезный женский голос.

Ольга быстро повернулась: звала красивая встречная дама, — и подошла к ней.

«Эвелина?!»

Маша ничего не понимала.

Разговор Ольги с незнакомкою был короткий, но пылкий и, заметно, очень неприятный. Маша уловила несколько слов.

— Вы не имеете права... — нервно говорила Ольга.

Дама спокойно и презрительно улыбалась красивым ртом и смотрела на Ольгу, как власть имущая.

— Это ваша подруга? — нарочно повысила голос она. — Какая хорошенькая!

Ольга, все более и более разгорячаясь, нагнулась к ней и зашептала быстро-быстро и как бы уже не споря, а просительно.

— Да, да... Я скажу Полине Кондратьевне... — с таким же неприятным спокойствием твердила дама. — А подруга ваша очень хорошенькая... До свиданья, Эвелина.

Ольгу так и передернуло. На ней лица не было, когда она возвратилась к Маше.

— Кто это? — спросила Лусьева, когда они отошли.

Ольга пробормотала:

— А, мерзавка одна... Из маменьки крестной прихвостней...

— Ты с ней в ссоре?

— Как ни сойдемся, непременно поругаемся... Гадина!

— Она тебя Эвелиною звала... Как странно...

— Ничего нет странного, — быстро ответила Ольга, усиленно глядя себе под ноги. — Разве я тебе не говорила? Полина Кондратьевна меня так всегда зовет... Ну, и все в доме... Она ведь чудачиха, у нее каждому человеку своя кличка... Этой вот дряни, что мы встретили, настоящее имя Александра Степановна, а Полина Кондратьевна зовет ее Адель... Даже горничную Лушку, и ту перекрестила в Люцию *).

— А эта Адель — родственница ей или чужая?

— Черт ее знает. Говорит, будто родственница. Просто любимая приживалка... всем домом управляет.

— То-то вы с нею не в ладу...

— Да не то чтобы уж очень не в ладу, а... Скверно, что она тебя встретила со мною, — вот что... — вдруг искренно вырвалось у Ольги.

Машу опять кольнуло. Она готова была заплакать.

— Как это нехорошо с твоей стороны, Оля, — горячо сказала она. — Зачем ты так бестактно даешь мне понять, что я тебе не пара? Ну, пусть я бедная, а твои знакомые — аристократы... Неужели я уж так тебя срамлю? То ты все шла и оглядывалась по сторонам, будто мы что украли, теперь попрекаешь, зачем нас встретили вместе...

Ольга не отвечала, смотрела на тротуарные плиты, и до самого корпуса подруги шли в глубоком молчании. Маша чувствовала себя уязвленною до глубины души. Но у своего подъезда Ольга простилась с нею тепло и сердечно и крепко при этом поцеловала. На глазах ее дрожали слезы.

— Все равно, дура, думай обо мне, как хочешь... — сказала она трепетным, полным дружбы голосом. — Все равно, ты ничего не понимаешь, и не дай тебе Бог понять...

---

*) О ложных именах: Parent Duchatelet, 129 — 135

Здесь и далее сноски, обозначенные *), принадлежат А.В. Амфитеатрову.

«Удивительная вещь, — думала потом Маша, — отчего она так расстроилась? Бедная Ольга. Должно быть у ее благодетельницы все-таки ужасный характер. Как Оля ее боится».

IV

Спустя несколько дней Ольга навестила Машу. Вид у нее был совсем уже другой: холодный, равнодушный.

— Я к тебе сегодня по делу, — сказала она, глядя в пространство, мимо лица Маши. — Ты, помнишь, говорила, что хотела бы познакомиться с Полиною Кондратьевной? Ну, Аделька эта... помнишь, которую мы встретили на Невском? Насплетничала Полине Кондратьевне три короба, какая ты красавица и симпатичная, и теперь моя старуха совсем взбеленилась: вынь ей да подай — привези тебя в гости... Взяла с меня слово, что ты у нее непременно будешь... Уж поедем, пожалуйста, а то она меня заест...

— Отчего же нет? — отвечала Маша. — Я очень рада... Вот только ты — как?

Ольга пожала плечами.

— А мне-то что? — возразила она с искусственным равнодушием.

— А помнишь: ты меня предостерегала, чтобы я ни в каком случае не знакомилась с твоею крестною?

Девица Брусакова стала густо-малиновою и захохотала деланным смехом.

— Ах, ты вот про что... Тогда? Ну об этом можешь забыть... Тогда я была сама не в себе... Она мне, за одну штуку, страшно обидную сцену сделала.

— Я так и поняла, что это было несерьезно, — тоже засмеялась Маша.

— Ну, конечно, несерьезно... — вяло подтвердила девица Брусакова. — Поедем.

Маша отправилась к отцу спросить разрешения на новое знакомство. Родитель, разумеется, не только позволил, но и был польщен.

В богатой квартире Полины Кондратьевны Лусьева была встречена как родная. Красивая Адель была тут же.

— Вас хотели от нас спрятать, но это не удалось, — сказала она, шутливо грозя пальцем Ольге Брусаковой. Та улыбалась, но очень криво и с нехорошим бледным лицом.

Сама Полина Кондратьевна Рюлина оказалась величавою старухою, лет уже под шестьдесят. Она была массивна, как башня, одевалась молодо, белилась, румянилась и, заметно, с тщательностью старалась сохранить как можно доле остатки былой красоты и эффектной фигуры. Глаза ее удивляли своим выражением: беспокойным и в то же время наглым, дерзко вызывающим.

«Так смотрела Даша», — подумала Лусьева.

Даша была горничная, которая, прослужив у Лусьевых несколько дней, попалась в воровстве, а когда пришла полиция составить протокол, то сыщик узнал в Даше известную профессиональную воровку, обирательницу мелких квартир.

Заговорила Полина Кондратьевна с Машею по-французски и заметно осталась довольна. Сама Рюлина странно акцентировала на всех языках, не исключая русского, хотя рекомендовала себя кровною русачкою.

Весь train * дома был приличен до чинности. Маша с удовольствием чувствовала себя среди «аристократической обстановки». По приказанию Полины Кондратьевны, Адель показала Марье Ивановне всю квартиру — очень большую, старинно и богато отделанную, с множеством бронзы, картин, objets d'art **. Некоторые картины были затя-

---

* Образ жизни *(фр.)*.

** Произведения искусства *(фр.)*.

нуты зеленым сукном. Особенно много таких было в роскошной и торжественной спальне хозяйки, сиявшей, кроме того, множеством зеркал: даже угол около гигантской двуспальной кровати и квадрат потолка над нею были зеркальные *). Маша выразила удивление. Адель засмеялась.

— Это вкус покойного супруга Полины Кондратьевны. Обстановка не менялась после его смерти. Полина Кондратьевна обожает его память, хотя, говоря между нами, он был большой шалун и mauvais sujet... ** Например, хотя бы эти зеркала... Или эти картины... Посмотрите...

Адель отдернула один из чехлов. Марья Ивановна взглянула и потупилась, заливаясь румянцем: картина изображала сатира и нимфу поведения совершенно нескромного. Адель хохотала.

— Согласитесь, что такую прелесть нельзя держать на виду.

— И все, которые закрыты, такие? — спросила Маша.

— Все. Это был вкус покойного генерала. Когда-нибудь приходите днем, — я вам покажу... Есть шедевры... Даже Рубенс... Только Полине Кондратьевне не говорите: она ненавидит, чтобы их открывали, говорит, что мерзость...

— Я бы на ее месте просто велела вынести их на чердак...

— А, милая, говорю же вам: она боготворит память мужа... В квартире — вот уже пятнадцать лет — не тронута с места ни одна его вещь... Да к тому же и жаль: иные полотна чудно хороши, за них плачены тысячи рублей. Вот, например...

Адель отдернула и другой чехол: Леда и лебедь...

— Это из мифологии, знаете, — смеясь, пояснила она.

Маша знала. Вещь была действительно художественная, чуть ли не майковской кисти. Любопытство преодолело стыд.

---

*) Кузнецов, 34. Канкарович, 83.

** Чудак... (*фр.)*

Маша посмотрела картину, конфузясь, краснея, с угрызением совести, но и с любопытством.

— Тут Фрина с невольницей... Тут Пазифая... — быстро отдергивала и сейчас же задергивала полотна Адель, так что они едва успевали сверкнуть в глазах Маши обилием нагого тела и странными позами. — Это рубенсова семья сатиров... Все очень пикантно... Да вы заходите завтра днем... Часа в два... Полины Кондратьевны не будет дома: поедет с визитами... Я вам все покажу. Только ей — молчок, а то мне достанется.

Она призадумалась как бы с некоторой нерешительностью и вдруг хитро подмигнула.

— А, впрочем, я и сейчас еще покажу вам что-то интересное. Что же я все забавляю вас старьем? Перейдемте в будуар, — увидите новую живопись: чудесный Константин Маковский... Это уже приобретение... заказ самой Полины Кондратьевны и, конечно, ничего неприличного... так, — очень художественное nudité... *

V

Картина, действительно превосходная, изображала нагую женщину, стоящую во весь рост, в позе Венеры Медицейской. Но золотые волосы ее не были убраны à la grecque **, как у бессмертного образца, но, распущенные по плечам и спине, катились волнами именно уже «рейнского золота» ниже колен. Маша Лусьева смыслила кое-что в живописи. Она сразу распознала, что это — портрет, и ахнула в изумленном восторге:

— Какая красавица. Кто такая?

Адель, с улыбкой странного самодовольства, назвала:

---

* Обнаженная натура (*фр.*).

** По-гречески (*фр.*).

— Евгения Александровна Мюнхенова. Слыхали?

— Нет.

Адель высоко подняла черные брови.

— Не слыхали про Женю Мюнхенову?

— Никогда не слыхала.

— Ну, Мари, вы, должно быть, не в Петербурге живете, а в какой-нибудь медвежьей берлоге... Впрочем... вам который год?

— С прошлой недели пошел девятнадцатый.

— Ага! Значит, когда Женя блистала в Петербурге, вы были еще совсем маленькая девчурка. Ведь это около десяти лет тому назад. Уж седьмой год, что ее нет в России...

— Она... артистка была?

— Н-н-н-е-ет... — протянула Адель, — не совсем... Ее, знаете, безумно любил великий князь...

Названное имя заставило Машу, верноподданную обожательницу царской фамилии, округлить глаза новым изумлением, почтительным почти до страха.

— Как же это, Адель Александровна? — робко возразила она, — ведь он женатый и у них дети взрослые?

Адель рассмеялась.

— Ах вы... наивность! Как будто женатые не влюбляются! Что же им, под венцом, глаза, что ли, выкалывают, чтобы не видали больше женской красоты?.. Великий князь человек с развитым эстетическим вкусом... А согласитесь, что между Женей Мюнхеновой и этой жирной немецкой принцессой, его супругой, есть маленькая разница не в пользу законной толстухи...

— Еще бы! еще бы! — подтвердила Маша, восторженно вглядываясь в красавицу, которая, гордою победительницею, чуть улыбалась ей с полотна. — Господи, как хороша! Просто невероятно, до чего хороша!

— Да, очень хороша. Так хороша, что, пожалуй, лучше уже не бывает. И смею вас уверить: Маковский ей не

польстил, а, напротив, на портрете Женя и вполовину не так прекрасна, как на самом деле. Здесь она статуйна немножко, — застылые классические черты. Константину Егоровичу не удалось схватить жизни ее лица, синего огня глаз ее удивительных...

— Богиня! истинно богиня! — повторяла Маша.

Адель бросила на нее лукавый проницательный взгляд.

— А ведь вам хочется о чем-то спросить меня, да не решаетесь? — усмехнулась она.

— Я?.. что?.. Почему вам кажется?.. Нет! — удивилась Маша.

Но Адель, без внимания к ее отрицанию, продолжала:

— Хорошо уж, плутовочка вы этакая, я пойду навстречу вашему вопросительному взгляду. Вас, не правда ли, удивляет, почему портрет Жени Мюнхеновой, да еще в обнаженном виде, помещается так почетно в будуаре такой строгой дамы, как наша милая Полина Кондратьевна? Очень просто: Женя Полине Кондратьевне немножко сродни... правда, седьмая вода на киселе, но все-таки... и почти воспитана ею... Ведь и с великим князем-то она познакомилась здесь, у нас в доме...

— Как? у вас в доме бывает великий князь?! — до мурашек по спине ужаснулась Маша.

— Очень часто, — равнодушно подтвердила Адель. — И не он один, многие из великих князей бывают. А этот... еще бы ему не навещать Полину Кондратьевну, когда покойный генерал был его сослуживец и боевой товарищ? Он к нам — запросто. Когда-нибудь вы с ним у нас встретитесь.

— Ой, Адель Александровна, что вы! Господи, как страшно! Да я, кажется, сквозь землю провалюсь...

— А вот я нарочно вас сведу, чтобы вы не воображали его сверхъестественным существом каким-то... Мужчина, как все, и очень простой, любезный, обходительный господин... Женя, — кивнула она на портрет, — была с ним очень

счастлива. А он с того времени, как она его бросила, не может утешиться, все ищет замены, но... не так-то легко...

— Я думаю! — согласилась Маша, опять вглядываясь в портрет, — уже завистливыми, ревнивыми глазами.

Но Адель, с плутовской улыбкой, — фамильярным приятельским жестом — ударила ее по плечу.

— Вот увидит вас, влюбится и забудет Женю...

— Ну уж! где мне! — вздохнула Маша. — Я, после этого портрета, буду стыдиться на себя в зеркало взглянуть...

—Уж будто? — смеялась Адель. — А вы хитрая, и напрашиваетесь на комплименты. Унижение паче гордости. Не поверю я, чтобы вы не понимали своей красоты. Вы, душечка, в своем роде стоите Жени. У вас с нею только разный тип. Она блондинка, вы темная шатенка, — вот и вся разница...

VI

Маша сознавала, что Адель ей безбожно льстит, но слушать было приятно, а к красавице на полотне в ее маленьком глупеньком сердечке зашевелилось не очень-то дружелюбное чувство критического соперничества. Захотелось искать в совершенстве Жени недостатки, сказать о ней что-нибудь неприятное.

— И все-таки, — вымолвила Маша не без презрительного оттенка в голосе, — сколько она ни хороша, я не понимаю, как же ей не стыдно было так позировать?..

— Ну это-то пустяки, — небрежно возразила Адель. — Вы в Петергофе бывали? дворцы осматривали?

— Сколько раз.

— Значит, должны были видеть портрет императрицы Елизаветы, когда она была маленькою великою княжною. Отец, Петр Великий, велел написать ее тоже совсем голенькою, чтобы все любовались, до чего она прекрасна...

— Да, но там маленькая девочка... бессознательный ребенок...

— А угодно вам взрослую, то на Невском, против Гостиного двора, на лотке у любого формовщика вы найдете гипсовую отдыхающую Венеру Кановы, то есть Полину Боргезе, сестру Наполеона Первого.

— Пусть так, но что же из того следует? Все-таки стыдно.

— Следует то, милая, что на настоящих высотах жизни красота перестает считаться с мещанскими предрассудками и не стыдится себя, а, напротив, эстетически гордится своей победительной силой...

— Ах да! Это — как в Греции... Фрина! — вспомнила Маша из запретного гимназического чтения страницу, целомудренно зачеркнутую в учебнике истории педагогическою цензурою, а потому прочитанную гимназистками с особенным живым интересом.

Губы Адели тронула легкая насмешливая улыбка, которую она искусно скрыла.

— Вот именно, как Фрина пред судьями... А кстати: вам не случалось слыхать, что в Петербурге есть барышня, некая Юлия Заренко, до того похожая на «Фрину» Семирадского, что так и слывет в обществе Фриною?

— Неужели настолько хороша?

Адель пожала плечами.

— Как вам сказать? Конечно, хороша, но, по-моему, уж слишком захвалена и сама слишком много о себе воображает... Я вам покажу ее как-нибудь, она у нас бывает. Вы, на мой взгляд, гораздо лучше.

— Ох, вы, кажется, тоже хотите совсем меня захвалить! — смущенно рассмеялась краснеющая Маша.

А Адель твердила:

— Я только откровенна, только искренна!.. И ненавижу условности... условные фразы, условные поступки, условную мораль, отраву всей нашей жизни... В особенности, ох уж эта

мне условная мораль петербургских мещан! За что я больше всего люблю и уважаю мою старуху, это — что в ней бесконечно много истинного достоинства и стыда, но ни малейшего страха пред глупыми условностями, которыми общество само себя сковывает, как кандалами. Собственной совести бояться — это мы с нею понимаем, но, что люди скажут, нам решительно все равно... Ведь вот и за Женю эту восхитительную сколько нам доставалось, когда она жила с великим князем, зачем мы ее принимаем у себя, не отвернулись от «погибшей женщины», как всякие там злородные и надутые мещанские добродетели... Из которых, однако, каждая, конечно, мечтала втайне: «Ах, если бы мне быть на ее месте!..» Потому что Женя видела у своих ног всю власть, все богатство, весь блеск, всех могущественных и знаменитых людей — да не только Петербурга, а всей Европы... Вот вам и «погибшая женщина»!..

— Однако, Адель Александровна, — робко протестовала Маша, побуждаемая проснувшимся в ней недружелюбием к красавице, — если она пожертвовала своим добрым именем для власти, богатства и блеска, это, согласитесь, действительно нехорошо... извините, что-то даже... продажное!

— Нет, это вы извините! — воскликнула Адель, даже с горячностью. — Ошибаетесь! Женя не продавалась! не способна была! Она сошлась с великим князем по глубокой, искренней взаимной любви. А что она так рискнула собою, то — что же было делать, если его высочество узнал Женю слишком поздно, когда был давно женат? Любовь не рассуждает и не терпит, а развод на этих высотах — дело недопустимое: династический скандал, нарушение политического равновесия Европы!.. А когда Женя заметила, что она ошиблась в князе и разлюбила его, то — как благородно и честно поступила! Никакие богатства и почести ее не удержали, не захотела кривить душою, — бросила все и ушла...

Маша вынуждена была согласиться:

— Да, если так, то, конечно...

Но Адель, все с тою же пылкостью, напирала:

— Как вы думаете: такая grande dame *, как Полина Кондратьевна, женщина старого институтского воспитания, полная самой взыскательной pruderie **, стала бы поддерживать дружеские отношения с продажной женщиной и вешать ее портрет на стену своего будуара?

Столь прямо поставленный вопрос застал Машу врасплох. Некоторое сомнение в великих добродетелях голой богини все еще смутно копошилось в ее мыслях. Но Адель и не ждала ответа, а с победоносной наглостью заключила:

— То-то вот и есть!.. А, милая мещаночка, я вас заставлю переменить мнение, пуританка вы этакая! Я вам еще порасскажу о Жене... Это не простая женщина, а живая волшебная сказка из тысяча одной ночи!.. Ну и вообразите себе теперь, что сказка эта, в угоду мещанским предрассудкам, вместо своего преступного романа с женатым великим князем, добродетельно обвенчалась бы с какими-нибудь холостым или вдовцом чинушей, столоначальником, начальником отделения или как там зовут их еще?.. Женя Мюнхенова в средней буржуазной обстановке! Ведь это же просто противоестественно, дорогая моя!.. Женя столоначальница! Женя хозяйка квартиры, где-нибудь в Рождественских, мать дюжины плаксивых ребят! Разве не грех? разве не преступление?

Случаем ли Адель метко попала в цель, Ольга ли Брусакова ее научила, но эти последние слова ее затронули как раз самую больную струну в сердечке Маши Лусьевой. В последнее время к ней упорно сватался столоначальник учреждения, в котором служил ее отец. Человек был приличный, с возможностями успешной карьеры, на виду у начальства. Словом,

---

* Светская дама (*фр.)*.

** Показная добродетель (*фр.*).

жених — хоть куда. Отец Маши очень ему покровительствовал и — нудить не нудил, но очень донимал дочь бесконечными разговорами-нотациями, что пора ей пристроиться, а лучше случая — и желать нельзя. Но Маше жених не нравился: казался скучным и пошлым, — в тридцать лет сухарем, а что же дальше будет?! Вообще, к чиновничьему мирку Маша относилась с недружелюбием и заключиться в нем на всю жизнь представлялось ей жребием почти что самоубийственным. Понимая свою красоту, она даже к влюбленным в нее из этого мирка не имела веры и критиковала их скептически:

— Знаем мы, зачем ему нужна красивая жена. Женится, да и заставит себе карьеру делать. Предоставит кому-нибудь из начальства...

Так что суждение Адели о браке с «чинушей» взволновало Марью Ивановну, как эхо ее собственных мыслей, и с этой минуты злополучный столоначальник потерял чаемую невесту безнадежно навсегда.

VII

В карете, уносившей подруг к родным пенатам, Маша трещала, как канарейка: уж так-то понравилась ей госпожа Рюлина и в особенности приветливая Адель. Ольга угрюмо молчала.

— А картины она тебе показывала? — спросила она наконец усталым, скучным голосом.

— Да... Фу, какая гадость!.. Не понимаю, как их можно держать в доме...

— Нравятся иным... — с насмешкою протянула Ольга.

— Но зато Жени Мюнхеновой портрет — какая прелесть!

Ольга встрепенулась.

— Как? — бросила она порывистый вопрос, — Адель уже просветила тебя и о Жене Мюнхеновой?

— Фу, Ольга! — удивилась Маша, — «просветила!» как ты странно выражаешься!

— Не в том дело... Ну, ну! что она тебе о Жене наговорила?

Маша передала. Ольга хмурая слушала, покусывая губы. Когда Маша кончила:

— Ты все-таки этого имени дома как-нибудь не брякни! — посоветовала Ольга, откидываясь в темную глубь кареты. — Хотя твой почтенный родитель тоже довольно невинный цыпленок для своих преклонных лет, однако, может быть, как-нибудь случайно осведомлен... И едва ли ему понравится, что дочка посещает дом, где на стенах красуются непристойные картины, а хозяйки читают девицам лекции о превосходстве содержанок... хотя бы и великокняжеских! — над порядочными женщинами...

— Да я уже и сама соображаю, что тут кое о чем лучше будет промолчать, — поддакнула Маша с важностью заговорщицы.

Ольга странно, неприятно рассмеялась.

— Да, уж лучше помолчи! Однако, как Аделька спешит с тобою... вот спешит! — вымолвила она после короткой паузы, как бы размышляя вслух. — Я не запомню, чтобы она с кем-либо еще так спешила...

— То есть... как это? в чем? Я не понимаю.

— Дружить с тобой уж что-то слишком пылко устремилась... Ты, Маша, как хочешь, твое дело, но все-таки мой тебе добрый совет: не бери очень всерьез, что она тебе толкует... Она ведь у нас соловей, запоет кого хочет...

— Разве она мне все неправду говорила? — недоверчиво озадачилась Маша.

— М–м–м... н-н-нет... правду-то правду, пожалуй, н-но...

— Что же?

— Да талант у нее — так повернуть и расписать правду, что уж лучше бы лгала...

— Однако, Оля, вот это, что она хвалилась, будто у них бывают великие князья, — это-то верно?

Ольга опять вся нырнула в мрак.

— Всякие у них бывают, — послышался сухой ответ.

— И великие князья? — настаивала Маша.

— Ну... иногда и великие князья... вот пристала!

— Так-таки вот — точно мы, в своей среде, друг к другу в гости ходим? совсем запросто?

— О, слишком запросто! — быстрою злою насмешкою откликнулась Ольга.

— И ты встречалась с ними?

— Имела это... удовольствие.

— Господи, какая счастливица! Но как же ты мне никогда ничего о том не говорила?

— Должно быть, к случаю не пришлось. Да и Полина Кондратьевна — заметь кстати и для себя — вообще не любит, чтобы на стороне болтали о том, что делается у нее в доме... Знаешь, пословица советует сора из избы не выносить...

— Помилуй, Оля, какой же этот сор — визит великого князя? Ты просто деревяшка, ледышка какая-то, если можешь равнодушно говорить о подобной чести... Я прыгала бы от радости!

— Прыгай, пожалуй, если уж ты такая... верноподданная, — с особенной, до грусти, серьезностью отозвалась Ольга, — но, Машенька, еще и еще повторяю: когда Аделька опять будет набивать тебе голову эпопеями о великих князьях и разных там Женях Мюнхеновых да Фринах, дели все, что слышишь, на десять: девять выкинь, одно оставь... да и то еще обочтешься!

Девушки умолкли — каждая в своих мыслях. Карета катила их в родной казенный двор.

— Да, — внезапно сказала Ольга, прощаясь с Машею, — скверные картины... Ненавижу их... Не увлекайся, не соблазняйся ими, Машенька...

— Ольга, — ты с ума сошла!.. — воскликнула изумленная Лусьева. — Неужели ты думаешь, что они могут мне нравиться?

Ольга горячо жала ей руку и говорила:

— Я, когда их вижу, всегда об одном думаю. Хорошо, что все эти госпожи рисованые — мертвые, фантазия одна... А если бы живые?.. Ты вообрази только, поставь себя на место женщины, которая была бы так... и все бы на нее смотрели... разбирали вслух ее красоту, ее сложение... Каково бы ей было? а?

— Что ты! разве это возможно? — озадачилась Маша.

— Да ведь писано же с кого-нибудь...

— Ну уж, должно быть, с каких-нибудь совсем бесстыдных... — горячо воскликнула Маша.

— Прощай, — сухо сказала Ольга и скрылась за дверью.

Маше спалось отлично, ей снились очень веселые сны в эту ночь.

VIII

В скором времени Марья Ивановна стала в доме Рюлиной своим человеком и, вопреки предостережениям Ольги Брусаковой, особенно дружески сошлась с красивою, умною Аделью. Лусьева еще не совсем вышла из того возраста, когда «обожают» интересных старших девиц и дам. Кроме Адели, у Маши появилась новая приятельница, некая Анна Казимировна Катушкина, по кличке рюлинского дома — Жозя, молодая разводка полупольской крови, очень красивая и веселая блондинка с заманчиво туманными глазами, крупная, породистая, с языком циническим, но острым, — неистощимый источник каламбуров, анекдотов и афоризмов самой беспечальной философии *). Маше — впрочем, Рю-

*) Ломброзо, 448.

лина успела уже и Лусьеву переделать в Люлю, по первому слогу ее фамилии — Жозя казалась очень милою, доброю, немножко жалкою, а что — шальная, то с нее и взыскивать нельзя: жизнь несчастная.

— Влюбчива я, душки! — ахала про себя сама Жозя. — Ах, если бы не моя проклятая влюбчивость! Ах!.. Ко мне князь Свиноплясов, за красоту мою, без приданого сватался, — десять миллионов, душки! — а меня черт дернул в Катушкина врезаться: он у татка в конторе за бухгалтера служил... глаза пронзительные, маслинами... ну и кувырком! и тайный плод любви несчастной!.. вот тебе, здравствуй, и княгиня!.. Спасибо еще, что хоть сам-то Катушкин не спятился, соблаговолил жениться... Но и дул же он зато потом меня, душки, — вот дул!.. С Катушкиным Бог развязал — банкир Баланович, — знаете, на Невском? У-у-у! его все боятся, всех в лапе держит, паучище, — беда! — звал меня жить за хозяйку... Собою еще молодец, усы, духи самые джентльменские, квартира, лошади, полторы тысячи в месяц на булавки... Я было и с лапочками, но тут подвернулся юнкер Шмидт. Выжимает шестьдесят килограммов, в рейтузах... Говорит: с милым рай и в шалаше, а то застрелюсь... Два месяца голодала с ним, как собака, да еще — отчаянный: полтора раза стрелял в меня из револьвера, потому что имел товарища Шульца... вот зубы, душки! ах, милые, шульцевских зубов нельзя видеть без восхищения! Жемчуг! У дантистов в витринах не видала подобных!

— Погоди, Жозя, — издевалась Адель, — как же это Шмидт стрелял в тебя полтора раза?!

— А во второй раз осечка вышла. Впрочем, это уж не изза Шульца. К Тартакову приревновал. Я портрет Тартакова купила за гривенник и спрятала под подушку. А Шмидт мой, длинноносый, нашел и сейчас же — за револьвер. Это у него ужасно как скоро всегда начиналось. Потому что он, душки, так себя понимал, что папаша у него пьяница, мамаша в су-

масшедшем доме сидит, а я, говорит, наследственный декадент и психопат и никакого суда на свете не боюсь, потому что, какого лихого прокурора на меня ни спусти, с меня взятки гладки... Чуть поругаемся, глядь, револьвер уже в руках... И тебя, — говорит! И себя, — говорит! И его, — говорит! И всех, — говорит! А я с Тартаковым и по это время не знакома... ей-Богу!

— А зачем покупала портрет?

— Тут в аптеке соседней провизор был, очень похож: славный такой еврей, молоденький, круглолицый, кудрявый... ужасно как мне нравился.

— И с провизором был роман?

— Что! Не стоит внимания: всего два рандеву, а после его мамаша с папашею в Вильну выписали и женили на бакалейной вдове... Да! Влюбчива, дети мои! Что делать? Судьба. Погибаю от влюбчивости. Весь мой глупый характер: не могу. У кого голова кудрявая, — не могу. Сколько я от одного подлого актерья горя перетерпела, потому что, если мужчина средних лет очень аккуратно выбрит, против этого я уж никак не могу устоять. В одного влюбилась за то, что пиджак синий носил, очень хорошо сидел на нем... А он, дурак, возьми да явись на свидание в коричневом рединготе... ну и никакой иллюзии... потеряла настроение, прогнала.

— А теперь кто у тебя, Жозя?

— Инженер... преогромнейший, душки, мужчина... и все шампанское хлещет...

И Жозя, захлебываясь, повествовала, как и где она познакомилась с инженером, и какие приключения у них затем вышли.

— Стой, Жозька, перестань, — хохоча, обрывала ее Адель. С тобою договоришься. В голове у тебя дырки, ветер продувает, язык без костей... Разве можно входить в такие подробности? У, бесстыдница! Тут барышня сидит, слушает, ей этого нельзя...

— Ну-у-у-у? — отчаивалась Жозя. — Ах я окаянная! Всегда увлекусь, забудусь... Вы, Люлюшечка, простите, не обижайтесь на меня, грешницу. Я ведь спроста.

— Ну что вы, Жозя? Что это, право, какая вы, Адель? — обижалась Маша. — Разве я маленькая? Смешно не понимать.

Адель строила строгое лицо.

— Нет, нет... Полина Кондратьевна услышит, будет сердиться. Скажет, что мы вас развращаем... Она на этот счет такая prude... Женщина старого воспитания... Ей и генерал покойный анекдотами подобными надоел...

— Их дома нет, — спешит вмешаться любимая камеристка Рюлиной, русская красавица Люция, по паспорту ярославская крестьянка Лукерья Куцулупова, всегда фамильярно вертевшаяся в комнатах при барышнях, — по фавору у хозяйки дома почти что в ровнях с Аделью. — Их дома нет, уехали с визитами...

— Ну, разве что дома нет.

Ольга Брусакова и этой Машиной дружбы не одобряла. О Жозе она выразилась кратко, но сильно:

— Хуже Адельки. Мерзавка и предательница.

Это было до того не похоже на правду, что Маша возмутилась.

— Господи! Что с тобою делается, Ольга? Ты мизантропкою становишься. Откуда это у тебя? Всех бранишь, ко всем дурные подозрения, злость, ненависть какая-то...

— Как знаешь. Твоя знакомая, твое дело.

— Ты с нею сама друг, даже на «ты».

— Я! Мало ли что я... Если Полина Кондратьевна мне прикажет, я и с Люською буду на «ты»... А ты человек свободный, у тебя должна быть своя воля, ты можешь выбирать себе подруг...

— Что ты имеешь против Жози ?

— Она поганая.

— Что в разводе с мужем, так уж и поганая? Это, Ольга, надо знать, отчего.

— Дело не в разводе, а... Ну да поживешь, — сама оценишь эту цацу. Что она, небось, все пакости свои тебе врет? И книжонки скверные навязывает? Ведь она без того жить не может. Дрянь, вся дрянь. И телом, и душою. Да и ты, Маша, хороша, нечего сказать: как уши не вянут слушать?

Маша обиделась.

— Скажите, сколько нравственности! Ах!.. Угнетенная невинность или поросенок в мешке!..

— Вот и это, про поросенка, ты уже от нее, от Жозьки... Можно поздравить с успехами... Способная ученица!..

— В чужом глазу сучок мы видим, в своем не чувствуем бревна. А у самой — «Афродита» под подушкою.

— Я — что? — стихла сконфуженная Ольга. — Ты себя со мною, говорю тебе, не равняй. Я уже в старые девы гляжу... И сложилось у меня все так... особенно... ты не знаешь... Я отравленная, человек пропащий. А ты девочка свежая, молодая... Тебе жить да жить...

— И поживем, — хохотала Маша. — Еще как поживем-то. Что ты, право? Нам с тобою только время о женихах думать, а ты панихиды поешь. Поживем.

— Ну, давай Бог, живи.

IX

За месяц, что Маша, как говорится, и легла, и встала у Полины Кондратьевны, она изрядно втянулась в долги. Адель, Жозя, Ольга одевались шикарно. Лусьевой было стыдно оставаться рядом с ними «чумичкою, хуже горничной», тем более, что, в данном случае, эта фраза, столь обычная в устах всех тоскующих от безденежья модниц, звучала совершенною правдою: прислуга в доме Рюлиной была одета

очень хорошо, а Люция франтила, совсем как барышня, по последней моде. На одно хорошее платье Маша выпросила денег у отца, — он дал с удовольствием, потому что желал, чтобы дочь бывала часто у Рюлиной, воображая, что знакомство принесет ей покровительство и пользу. Но в то же время предупредил:

— Больше не проси, — рад бы, да не осилю.

Поэтому другое платье Маша, скрепя сердце, заказала знакомой портнихе в кредит, с ее материей, приняв обязательство уплатить через месяц, но сама не зная, на что рассчитывает, когда обязательство принимала. Срок приближался к концу. Денег, конечно, не было. Маша с трепетом ждала, что вот-вот портниха предъявит ей счет... надо либо виниться перед отцом и выдержать жестокую сцену, либо извернуться, перехватить деньжонок... Спросила у Ольги. — «Нет, сама на мели... и не в ладах с Полиною Кондратьевною, не смею просить». Маша совсем загрустила.

Тоску ее заметили у Рюлиной, и Адель, оставшись наедине с девушкою, легко выпытала, в чем заключается ее печальная тайна.

— Вот пустяки, — воскликнула она. — Стоит горевать. А мы на что? Сколько вам?

— Тридцать два рубля, — с ужасом призналась Маша.

— Ах как страшно! — подумаешь, миллионы... О такой мелочи и Полине Кондратьевне не стоит говорить, я ссужу вас из своих. Я ждала все-таки палочку с двумя нулями...

— Что вы, что вы, Адель, как можно! Я ста рублей и в руках никогда не держала.

— Вот, возьмите, Люлю... укротите вашу свирепую кредиторшу... Как не стыдно было давно не сказать?.. Скрытная!.. А заказов ей вперед не давайте. Между нами говоря, она шьет на вас отвратительно. Прачкам так одеваться прилично, но хорошенькой изящной барышне непозволительно. Разве это туалет — на тридцать два рубля?

— У меня нет средств одеваться дороже.

Адель ласково обняла Лусьеву.

— Зато у вас есть друзья, которые заботятся о вашей красоте больше, чем вы сами. Полина Кондратьевна давно уже просила меня предложить вам ее кредит у madame Judith, но я все забывала... Ну а теперь, раз к слову пришлось, — хотите?

— В долг? Нет, Адель, я не могу должать.

— Вот?! Почему?

— Долг платежом красен. Я бедная. Откуда возьму денег расплатиться?

— С кем? С madame Judith? Полина Кондратьевна платит ей два раза в год.

— Нет, с Полиною Кондратьевною.

Адель опять ударилась смеяться и трепать Машу по плечу.

— С Полиною Кондратьевною? Полно, не смешите, Люлю, когда она требует долги? С кого? Это у нее страсть — баловать нас, молодежь. Я, Жозя, Ольга — все у нее по уши в долгу, без отдачи. Разве мы, бедные церковные крысы, в состоянии так франтить, если бы не она? Все живем ее кредитом, и никогда ни у кого никаких неприятностей. А вы сейчас у нее в особенной милости, фаворитка. Она рада будет, вы ее обяжете. Ведь ангел же, воплощенная доброта. Рада все отдать, если кого полюбит. Хорошо, что у нее нет близких родных. А то ее давно в опеку взяли бы, — честное слово.

И вскоре после этого разговора податливая Маша-Люлю была одета, как парижская картинка, одною из самых дорогих модисток Петербурга. Поданный счет Адель все-таки попросила Машу подписать *).

— Знаете, деликатнее... Старуха не любит, чтобы ее благодарили, — вообще, чтобы подарок имел вид подарка... Подарки без оплаты, по ее взглядам, немножко оскорбля-

*) Корнич, 29. Cutrera, 37 — 39.

ют тех, кто принимает; из-за подарков всегда потом начинаются неприятности, разлад... Предрассудок, конечно... А, впрочем, может быть, она и права... Во всяком случае, декорацию эту, будто вы должны, красивее сохранить... ведь и для вас удобнее... Мы все так делаем, и она очень довольна.

Маша подписала счет, причем цифру долга Адель прикрыла рукою.

— Не покажу. Вы еще в обморок упадете.

— Ну что вы, право... Покажите, Адель... Сколько?

Адель с обычным своим хохотом воскликнула:

— Тридцать два рубля!

— Ах, Адель, какая вы шалунья!

— А вы, милочка, красавица! Для вас — все на свете.

Подарки — вообще сила развращающая, но подарки кредитом опаснее других, потому что при них не так осязательно чувствуется благодарность к дарителю, менее смущается совесть дароприниматeля. Что же, мол? Ведь не свое дает, ручается за меня только; я не подведу, ручательство оправдаю, расплачусь... Мало-помалу, день за днем, Маша Лусьева получила кредит в нескольких магазинах Гостиного двора, у парфюмера на Морской, у фруктовщика в Милютиных рядах, у очень солидного, хотя и русского, ювелира на Невском.

— Ах, — сама на себя ужасалась она, — какая я негодница!.. Должаю, должаю и удержаться не могу... Вот — как Жозя влюбляется, так я должаю... Словно демон меня обуял!.. Как буду отдавать?

— Отдадите, милая, — утешала Адель. — Вот, даст Бог, выйдете замуж за богача, — тогда мы с вас все и потребуем.

— Так и возьмет меня богатый.

— Такую-то красотку? Да вас у нас с руками оторвут. За миллионера отдам. Меньше — не согласна.

— Скромничает невинность! — трунила и Жозя. — А на кого Ремешко смотрит каждый вечер, как кот на сало?

Ремешко — молодой и довольно представительный, всегда безукоризненно одетый господин, с драгоценнейшим солитером в булавке галстука — бывал у Полины Кондратьевны довольно часто. Как-то раз Маша упомянула его фамилию у себя дома. Отец ее оживился:

— Ремешко? Из каких Ремешков?

— Не знаю. Адель говорит, что с юга откуда-то, овцеводство там у него какое-то особенное... Очень богатый человек.

Старик так весь и встрепенулся.

— Какое-то? О-го-го! Дурочка! Если этот Ремешко тот самый, то — перед ним все шапки долой: архимиллионер. Понимаешь? О нем вот что рассказывают. Встречает он где-то, в клубе, что ли, тоже овцевода одного, хвастуна великого. А в лицо его, Ремешко, хвастун не знает, да и фамилию не расслышал, мимо ушей пустил. «Вы, — спрашивает, — чем занимаетесь?» — «Я, — скромно отвечает Ремешко, — имею свое хозяйство, овцою пробавляюсь...» Хвастун давай ему вперебой расписывать про свое хозяйство, какое оно превосходное... Надоел. Ремешко спрашивает: «И много у вас овец?..» Хвастун говорит: «Двадцать тысяч. А у вас?..» Ремешко отвечает: «Овец не считал, но собак при овцах у меня вдвое больше...» Вот он каков, этот господин Ремешко!

Тот ли, не тот ли, но Ремешко действительно ухаживал за Машею очень скромно, почтительно, как человек хорошего воспитания и честных правил. Хотя он Маше не нравился, однако после родительского анекдота об овцах и собаках Лусьева стала поглядывать на архимиллионера с большим, чем прежде, интересом. Тем более, что архимиллионер не раз проговаривался многозначительными фразами, что жениться богатому на богатой без любви — преступление. «Я женюсь только по сильной страсти; мой идеал — девушка, выросшая в небогатой, честной семье, неизбалованная, со скромными вкусами и привычками...» Адель при подобных

заявлениях толкала Машу под столом ногою, и Маша мало-помалу выучилась в ответ на них краснеть, словно бы они именно к ней относились...

— Вот будет у тебя сорок тысяч собак, — ты нам все собаками заплатишь, — острила Адель.

Острила Адель, острила Жозя, острила Полина Кондратьевна, острила сама Маша, — все острили и смеялись. Ужасно много было в этом доме острот и смеха, а под смех и остроты Маша все забиралась да забиралась в кредит *).

Ольга Брусакова вмешалась было:

— Не зарывайся, Марья! Серьезно тебе говорю: это скверно кончится. Ты Полины Кондратьевны не знаешь... Она с большими капризами...

— Да ведь не у тебя беру, — выучилась уже огрызаться Маша. — Жаль тебе чужого? Что взяла, то и отдам...

— Когда? Чем?

— Ждут, не требуют, — чего же мне заботиться? Я все помню: сколько, куда, кому, на что... Отдам.

— То-то, надо помнить. Отдать, Машенька, придется. Будь ты Люлюша-Разлюлюша, а придется, — в этом я тебя заверяю. И заставят тебя заплатить гораздо скорее, чем ты надеешься. Ты Адельке не верь, у нее свой расчет в голове.

Маша призадумалась было, посдержала себя, стала экономнее. От Адели не укрылась ее новая осторожность, она узнала причину и пришла в страшное негодование.

— Ох уж эта мне Ольга-Эвелина! — с досадою кричала она. — Вечно сует свой нос, куда не спрашивают. Ревнива, как бес, жадная, злая... Уж, кажется, ей-то пора бы быть сытою и совесть знать: задарена выше головы, избалована, как принцесса... Нет, всего мало, все недовольна: зачем хоть что-нибудь достается не ей, а другим!.. Глаза завидущие!.. А главное, что за низость? Какое право имеет она

*) Корнич, 29. Cutrera, 37 — 39.

восстановлять вас против Полины Кондратьевны? Ну против меня, — я понимаю: меня она всегда ненавидела, потому что я ее вижу насквозь и не раз выводила на свежую воду разные ее подлые штучки, — но против Полины Кондратьевны? Это гадко, это черная неблагодарность... это — предательство!

Слушая эти патетические причитания, произносимые самым благородным и горьким тоном (Адель действительно рассвирепела на Ольгу очень искренно), — Маша тоже вознегодовала. Отношения между двумя подругами были, таким образом, что называется, подсалены. Когда в тот же вечер приехала к Рюлиной Ольга, Полина Кондратьевна пригласила ее к себе в спальню для объяснений. Разговор был очень недолгий, но, должно быть, слишком выразительный. Ольга вышла от крестной с глазами, распухшими от слез, а щеки ее горели румянцем, как огонь.

Домой Ольга и Маша, по обыкновению, ехали вместе. Маша дулась на коварную подругу и молчала всю дорогу. А Ольга обмолвилась только одною фразою:

— Ты, Марья, такая дура, что больше я ничего тебе советовать не стану. Бог с тобой. Из-за тебя сама в беду попадешь.

— И очень рада, — сухо отрезала Маша. — Никогда в твоих советах не нуждалась.

X

Машу часто оставляли ночевать у Полины Кондратьевны, и она любила оставаться. Бывало очень весело. Обыкновенно ночевала за компанию и Жозя. Адель укладывала подруг в своей комнате, приходила вальяжная и фамильярная Люция, и молодое общество трещало, как певчая стая, до белого света, причем Жозя, по обыкновению, сыпала анекдотами, стихами, амурными воспоминаниями; Адель

ее подстрекала и ей подпевала, и так — покуда всех не сморит сном...

Поутру — ванна. Молодой визг, резвые шутки, хохот, шалости... Ванна у Полины Кондратьевны была устроена на диво, последнее слово гигиены, даже с приспособлениями в комнате для домашней гимнастики.

— Mesdames *, — предлагает Жозя. — Давайте представлять статуи...

— Живые картины!

— Нет, — хохочет Адель. — Лучше, как в цирке, составим пирамиду. Люлю, Жозя, становитесь, а Люська — к вам на плечи...

Шалили опять-таки потихоньку: Боже сохрани, чтобы не услыхала Полина Кондратьевна!.. А Адель, бывало, смотрит-смотрит на разыгравшихся подруг...

— Фу, — скажет, — какие вы, негодные, все красивые!.. Загляденье!.. Подождите... Стойте так, останьтесь: я вас сниму... уж очень хорошо!..

Она усердно занималась фотографией и имела превосходный аппарат, с цейссовым объективом. Чуть не по целым дням щелкала машинкою. С Маши, как новенькой в доме, нащелкала особенно много негативов, — в том числе немалое количество «живых картин» в ванной комнате.

Однажды с Машею приключилось у Рюлиной довольно странное происшествие. Села она в ванну, и вдруг закружилась у нее голова, и она сразу потеряла сознание. Слышала, как сквозь сон, что ее как будто куда-то несут. Очнулась — в ванной же, на диванчике. Жозя, Адель, Люция хохочут около, дают ей нюхать спирт.

— Óна, как ты нас напугала! Мы думали, ты умерла...

— Долго я была без чувств?

— С четверть часа.

---

* Дамы, сударыни (*фр.*).

— А зачем вы меня куда-то носили?

— Что вы бредите, Люлю! — удивилась Адель, — только и было, что перенесли вас из ванны на диван...

— Никуда вас не носили, барышня, — подтверждает и Люция. — Это вам показалось в обмороке...

Но глаза у всех трех были лживые... Посмотрела Маша на часы: половина двенадцатого. А она хорошо помнила, что села в ванну в пять минут одиннадцатого. Стало быть, обморок ее продолжался не четверть часа, а час с лишком.

— Зачем вы меня обманываете? — рассердилась Маша.

Жозя покраснела и говорит:

— Мы боялись, чтобы ты не испугалась, что у тебя был такой долгий обморок.

— Знаете, Люлю, — поддакивает Адель, — это не хорошо, вы обратите внимание, вам лечиться надо...

Тем дело и кончилось. У Маши поболела дня два голова, и затем все прошло и забылось.

Когда Лусьева рассказала про свой обморок Ольге Брусаковой, та ужасно взволновалась.

— Обморок, в ванне? Отчего?

— Сама не знаю, раньше никогда не бывало.

— Ты перед тем ела что-нибудь? пила?

— Чай с вареньем пила, в постели...

— Ага! — с каким-то злорадным отчаянием промычала Ольга.

И принялась уговаривать Машу:

— Слушай, Марья Ивановна, такими внезапными обмороками не шутят. Так начинается острое малокровие, это опасно... Я по себе знаю. Я в твои же годы от обмороков этих чуть на тот свет не отправилась. Искренний мой тебе совет: посоветуйся с женщиною-врачом...

Маша была жизнелюбива, за здоровье боялась, — струсила.

— Да я с радостью бы, но у меня нет знакомой.

— Я тебя отвезу, у меня есть... Анна Евграфовна, старая приятельница...

— Отлично, поедем.

Женщина-врач, после долгой и внимательной консультации, признала Машу совершенно здоровою и в порядке. Ольга после приема переговорила с нею еще раз наедине. Та повторила свой прежний диагноз. Ольга осталась в большом удивлении: «Странно... — размышляла она, трясясь рядом с Машею на плохом извозчике. — Зачем же они в таком случае опоили ее? *) Какую подлость еще мастерят? Очень странно...»

XI

Быстро летело время. Маша все глубже и глубже входила в рюлинский дом и его быт. Рюлинские нравы все крепче и крепче впивались в Машу, все острее и острее ее заражали. Перерождение девушки из скромной, мелкобуржуазной куколки в бойкую и вертлявую бабочку, — она думала, что большого света, в действительности — демимонда, совершалось последовательно и неуклонно. Почти каждое гостеванье у Полины Кондратьевны приносило Маше новые знакомства — все больше мужские и с такими громкими именами, что старик Лусьев, слыша их от дочери, уже и не знал, восторгаться ему или трепетать: привел же Бог Маше вращаться в этаком избранном кругу! И благословлял благодетельницу Полину Кондратьевну, которой он, конечно, был представлен и очень ею обласкан, но ограничился единственным к ней визитом: куда, мол, мне, маленькому человеку, садиться в такие большие сани — с посконным рылом да в суконный ряд! Препирательства с дочерью о женихе-столоначальнике пре-

*) Генне-Ам-Рин, 117.

кратились: у старика теперь тоже не те мечты зашумели в голове. В обществе генеральши Рюлиной — чем черт не шутит? Полина Кондратьевна в Машу — ну просто влюблена! Захочет ее превосходительство сделать счастье девушки, — то и высватает ее за какого-нибудь этакого с золотым эксельбантом... Вон ведь там князья да графы, как шмели, толкутся... Маша говорит: даже великие князья бывают... шутка ли! великие князья!..

Упованиями своими старый Лусьев усердно делился, по близкому соседству, с матерью Ольги Брусаковой, дамою молчаливою и слушательницею охотною, но несколько странною. Внимая старику, она не разуверяла его в надеждах, не поощряла их, а только в конце непременно советовала — не распространяться много о Машином фаворе у Рюлиной при посторонних, особенно при сослуживцах. А то, мол, по зависти, подстроят какую-нибудь пакость, так что все ваши планы-прожекты разлетятся прахом... Пессимистические предостережения эти старик находил разумными и принимал их к сведению и исполнению, — молчал.

Великих князей Маша видела, покуда только в посулах Адели, но раза два или три Полина Кондратьевна допустила Машу на свои интимные вечерки для друзей, на которых бывали только мужчины, — всегда понемногу, трое-четверо, все старички, притом истые тузы. Вечерки эти проходили опять-таки очень благопристойно, только тон старческой французской causerie * держался невозможно скабрезный. К удивлению Маши, Полина Кондратьевна, вопреки своему обычному показному пуризму, выслушивала сквернословие дряхлых гаменов с весьма благосклонною готовностью и зачастую даже сама давала им толчок к «милым мерзостям», как выражался один из ее именитых гостей, крупный биржевик и предприниматель на все руки, Илья Николаевич Смор-

* Непринужденная беседа, болтовня (*фр.)*.

чевский. Еще казалось Маше странным, что в свои вечерки Рюлина ни за что не позволяла ей заночевывать и довольно рано отправляла ее домой, словно скрывая от нее какие-то домашние таинства, которые должны начаться после ее ухода. Маша спросила Ольгу Брусакову.

— Очень натурально, — возразила та, брезгливо пожимая плечами. — Конечно, мы, молодые, не к месту и только мешаем старичью. Ведь у них там чуть не восемнадцатый век ancien régime *. Отставные Ловеласы в подагре и среди них крестная в роли седой Клариссы.

— Я так полагаю, — язвила по тому же поводу Адель, — что старушка наша просто ревнует нас, молодежь, к своим селадонам... каждому в субботу сто лет! Ах, ведь сердце не камень! Я прекрасно знаю, что граф Иринский в 1859 году предлагал Полине Кондратьевне свою сиятельную руку и сердце, и в 189* он, коварный изменник, мне глазки строит: полагайтесь после этого на мужчин! Какой женщине приятно видеть, что старый поклонник гуляет на сторону? Полина Кондратьевна оберегает своих юношей от нашего легкомыслия и прекрасно делает.

И действительно, Адель едва-едва показывалась на вечерки, Жозю и Ольгу Маша на них тоже ни разу не встретила. Кстати сказать, — когда Лусьева, неудовлетворенная ответами Ольги и Адели, стала расспрашивать о рюлинских вечерках Жозю и Люцию, то первая фыркнула и, захлебываясь смехом, убежала от нее в другую комнату, а степенная Люция, хотя тоже смеясь, сказала нравоучительно:

— Много будете, барышня, знать, — скоро состаритесь. Всему свой черед. Придет ваше время, и вы попируете...

А что пировали на вечеринках сильно, было несомненно. После каждого сборища запах вина и сигар долго не исчезал из нарядных комнат Полины Кондратьевны, до спальни вклю-

* Старый порядок (*фр.*); отживший, устарелый уклад быта.

чительно, не поддаваясь курениям, лесной воде и усиленной вентиляции...

Должать Маша окончательно перестала опасаться, потому что в самом деле было очевидно, что Ремешко не сегодня-завтра будет просить ее руки. Он влюбленною тенью ходил за Машею по пятам, подносил ей конфеты, букеты, доставал дорогие билеты в театры, экипажи для прогулок, глядел в глаза, ловил желания и выражал всем лицом и всею фигурою: «Прикажи, — и я твой, и овцы мои твои, и собаки, и пастухи, и страусы».

Ибо, ко всем великолепным слухам о богатствах Ремешки, прибавилась еще легенда, будто в его необозримых полях производятся опыты работ над верблюдами, ламами и страусами — в первый раз в Европе.

— Правда, что у вас в имении на страусах воду возят? — спрашивала его Адель.

Ремешко скромно улыбался.

— Да ведь что такое страус? Только что слово громкое... А то — как журавль или аист... Ну, конечно, ростом вышел... Но все-таки, — кто привык, ничего особенного: птица...

Миллионер давно уже познакомился с отцом Маши, совсем его очаровал, пообещал стипендию брату ее, как скоро тот кончит гимназию, — словом, жениховствовал, сколько умел, — только вот все запинался с предложением.

— Робок, — извиняла его г-жа Рюлина, — застенчив очень. Что же? Тем лучше для вас, Люлечка. Скромность в женихе не порок. Между нынешнею молодежью такие смирные — редкость. Из него, деточка моя, золотой муж выйдет... Да и куда вам спешить? Вы молоденькая. Что уж так прытко — едва из коротенького платьица и сейчас же в мамаши? Надо поглядеть на свет и людей, повеселиться, перебеситься, как говорят мужчины... Ведь вы в него не влюблены?

— Н-н-нет... не очень...

— А если не очень, так и потерпите, пока будет очень... Нехорошо быть разборчивою невестой, но выскакивать замуж за первого жениха, который навернулся навстречу... знаете, — оно мескинно как-то... Может быть, он и не судьба ваша, может быть, Бог вам еще лучше счастье готовит... Les mariages se font aux cieux!.. * Живите, Люлечка, веселитесь, пользуйтесь жизнью, пока вы такой резвый, маленький котенок. А он у вас всегда останется в запасе... Я уж вижу: у него это очень серьезно, он от вас никогда не откажется...

— Ну, Полина Кондратьевна, — протестовала Адель, — философия ваша прекрасна, но, воля ваша, если он думает еще долго мямлить, я его возьму за ушенки, насильно приведу к Люлюше и на коленки поставлю!.. Мне его влюбленные глаза опостылели... Миллионер, а тряпка какая!.. Это на нервы действует...

— Ага, кажется, мы завидуем? — поддразнивала Рюлина.

— Еще бы не завидовать: сорок тысяч собак!.. И еще овчарок!.. Обожаю овчарок!.. Мохнатые!..

Маша обещала:

— Я вам, Адель, половину подарю.

XII

Подруги — Адель, Жозя, Маша, иногда Ольга — много выезжали вместе по вечерам.

— Вы куда сегодня? — спросит Рюлина.

Адель чуть заметно подмигнет Маше и отвечает спокойно:

— В консерваторию. «Демон» идет, с Баттистини... Ремешко привез ложу.

— А, — одобряет старуха, — в консерваторию — это прекрасно. Туда совершенно прилично и одним... А то эти

* Браки устраиваются на небесах!.. (*фр.*)

«Аквариумы», «Фарсы», «Неметти»... Фи!.. Не понимаю, как туда ездят порядочные женщины?.. А Баттистини поет «Демона» очаровательно, я знаю, стоит послушать... Поезжайте, поезжайте, насладитесь... Только, ради Бога, мои девочки, не волнуйте меня: после спектакля прямо домой...

— Конечно, домой, Полина Кондратьевна. Куда же еще?

Рюлина лукаво прищуривалась, как старый кот, и грозила пальцем:

— Знаю я вас, плутовки, знаю! Вы думаете, что если старуха в постели с одиннадцати часов, то ничего уже и не замечает? В котором часу вернулись третьего дня, негодные? А? Светало уже. Я слышала, знаю...

— Ну, Полина Кондратьевна, — шутливо извинялась Адель, — один раз не в счет. Совсем исключительный случай. Если бы один Ремешко звал, мы ни за что не поехали бы, а тут и Сморчевский, и Фоббель, и инженер этот, поклонник Жози... неловко было отказаться: все просят. Сморчевский на колени встал, всех надо обидеть... Ну нечего делать, позволили себя уговорить, поехали на полчаса к «Медведю», да и — вот...

Она комически развела руками.

— Уж очень развеселились там, ў «Медведя», не заметили, как пробежала ночь...

— Если со Сморчевским и Фоббелем, это ничего, — примирялась старуха. — Они свои люди, почтенные. Сморчевского я с детства знаю...

Выбравшись из дома, подруги хохотали...

— Держи карман! Очень нам нужны твоя консерватория и Баттистини! Не слыхали скуки?

И ехали в «Фарс». Там их окружало огромное знакомство: золотая молодежь и действительные статские папильоны, львы, онагры, мышиные жеребчики, бритые актеры, модные журналисты в воротничках à la Rostand и блистательное офицерство. Ложа с тремя-четырьмя красивыми головками привлекала всеобщее внимание.

— Кто такие? — услыхала однажды Маша вопрос в фойе и ответ — каким-то, как показалось ей, и завистливым, и вместе презрительным тоном.

— Рюлинские...

— Ага!.. Это известная «генеральша»?

— Ну да...

— Эффектные штучки! Познакомиться бы?

— Ну, брат, это — с посконным рылом в калашный ряд. Тут, сотнями и тысячами пахнет...

Маша передала слышанный разговор Адели.

— Очень просто, — невозмутимо объяснила та, — эти господа принимают нас за кокоток... Очень лестно: доказывает, что мы хорошо одеваемся... Вы говорите, — они сказали: «Пахнет сотнями и тысячами?..» Ну вот и поздравляю: теперь мы, по крайней мере, знаем, сколько стоим, если нам случится сделаться кокотками...

Некоторое недоумение Маши: почему же эти господа приняли ее, Жозю и Адель за кокоток, раз им известно, что дамы — «рюлинские», — Адель умела ловко замять и заговорить так, что оно уже и не всплывало наверх...

Почти после каждого спектакля знакомые увлекали подруг ужинать к Кюба или «Медведю» либо мчали их на тройках к Эрнесту и Фелисьену.

— Черт знает что за жизнь мы ведем, — зевала на другой день часу во втором дня, в постели, усталая Адель. — Право, даже уж и неестественно как-то стало — засыпать без шампанского и не слыхав румынского оркестра *).

Первый ужин и тон, который господствовал за столом, очень смутил было Машу. Как ни «развила» ее Жозя, как ни испортили душу ее безделие и пустословие рюлинского дома, но когда сальные намеки, распущенный флирт, гряз-

*) Ср. Корнич, 35. Роль ресторана в тайной прост<итуции>. — Канкарович, 92—95.

ные анекдоты, жесты, нелепейшие шансонетки, самый наглый канкан — все, что до сих пор говорилось и проделывалось наедине между подругами, интимно, запретной шалости ради, — когда все это пришлось увидать и услыхать как нечто самое заурядное и общепринятое в кружке смешанном, в разговоре и обращении «порядочных» мужчин, Люлю растерялась и не сумела сразу попасть в тон. И когда старый, наглый, гнусавый каботин Сморчевский, друг и покровитель невских кокоток в трех поколениях, сообщил Лусьевой на argot * парижских бульваров каламбур, от которого стошнило бы и сутенера, — Маша страшно оскорбилась, расплакалась и, оставив французские тонкости, обругала нахала на простейшем и тончайшем русском языке «свиньею». На что забубенный старичина нимало не обиделся, а, наоборот, пришел в самый дикий и глупый восторг.

— Dame! Quelle vervel! Hein! En voilà un témperament!.. А? И каким контральто! Какая сочность!.. «Свинья-а-а-а»... Avez vous entendu, messieurs: она тянет!.. «Свинья-а-а!»... Поет... Une chanson de Wolga!.. Дичок... Чернозем... «Свинья-а-а-а»... C'est pour la première fois que j'entends, чтобы ругались так красиво... Bast! En ce cas je me fais nationaliste! Ну, m'selle Loulou! Ну, милая! Allons donc, ma chère! Allons donc! Encore un petit «свинья»! Je vous supplie... ** Я вас умоляю, еще только один раз: свинья-а-а!

Все смеялись за столом, а Жозя, на которую сосед ее, бородатый и усатый, из опасной породы серьезных и молчаливых развратников, швед Фоббель, надел рогатую тиару, свернутую из салфетки, кричала через стол:

---

* Арго (*фр.*); ненормативная лексика.

** Госпожа! Черт побери! Какой пыл! А? Вот вам и темперамент! ... Вы слышали, господа... Песня с Волги. Первый раз слышу... Баста! Становлюсь националистом! Ну, мадемуазель Люлю!... Пожалуйста, дорогая! Ну, пожалуйста! Еще одну маленькую «свинку»! Я вас умоляю... (*фр.*)

— Не ругай его даром, Люлю! Если нравится, пусть за каждую «свинью» платит по большому золотому!

— В пользу моих бедных!

И Адель, взяв со стола тарелочку из-под фруктов, кокетливо протянула ее Сморчевскому.

— Ах, с удовольствием... — заторопился тот. — Когда я доволен, мне не страшна никакая контрибуция... Сделайте одолжение, вот... Eh bien: c'est payé. Allons donc, Loulou! J'attends mes dix beaux cochons de Wolga... * Пожалуйте порцию «свиньи» — на сто рублей!..

И он даже жмурился, предвкушая. Маше стало уже и смешно.

— А одиннадцатую и двенадцатую я вам так и быть, говорю даром... — скокетничала она так ухарски, что Жозя зааплодировала с своего конца стола.

Но назавтра и она, и Адель дружно напали на Машу за ее обидчивость.

— Стыдитесь, Люлю, милая. Нельзя, душечка, держать себя недотрогою. Вы ведете себя comme une oie blanche **. Времена, когда это нравилось мужчинам, прошли безвозвратно. C'est du moyen âge ***. Нынешняя девушка должна все понимать, ко всему быть готовою, на все уметь ответить... В моде демивьержки, а не Агнессы и белые гусыни... ****)

— Но, право, стыдно, mesdames!.. Этот Сморчевский так скверно врет, что я не могу, уши вянут...

— Да вам-то что? Ведь он врет, а не вы!.. Пусть врет. Разве вы слиняете от его слов? Если бы он позволил себе по отношению к вам что-нибудь нехорошее, — ну тогда еще я понимаю... Я сама терпеть не могу, когда этакий мухомор вдруг

* Прекрасно: это оплачено. Послушайте, Люлю! Я дожидаюсь десятка прекрасных свинок с Волги... *(фр.)*

** Как простушка; наивная и невинная девушка *(фр.)*.

*** Это от Средних веков *(фр.)*.

****) Школа распущенности и шик ее: Кузнецов, 26.

вздумает давать волю рукам и лезть целоваться... Но — слова? что вам слова?

Адель с недоумением и даже как бы не без негодования воздымала плечи к ушам. Жозя скалила зубы:

— Оставьте старцу слова его... В возрасте Сморчевского, — знаете? — moralement on est physique, mais physiquement on est moral... *

И завертелась мельница, пошла писать губерния, посыпались двусмысленности, дрянные анекдоты о разнице между словами и делом...

— Право же, он не дурной человек, наш бедный Сморчевский, — заступалась Адель. — Очень добрый, с большим тактом. Хотя бы и вчера: вы наговорили ему дерзостей, а он премило обратил все в шутку и еще пожертвовал для моих бедных десять золотых. C'est un vrai gentilhomme **, это надо ценить. Нет, Люлю, вы его не обижайте: увидите, что когда-нибудь он очень и очень вам пригодится... Да и Полина Кондратьевна его уважает и не будет довольна, что вы с ним так резко... Она ему тоже все позволяет... Это старый друг дома, приятель еще покойного генерала.

— Да мне теперь уже и самой совестно, что не сдержалась, обидела его.

А Жозя хлопала Машу по спине.

— Ничего! Это она у нас по молодости и глупости! Утенок учится плавать. Дайте Люлюшечке срок: стерпится — слюбится...

И действительно, стерпелось и слюбилось. Ужина три оттерпев, Маша усвоила их каботинный тон в совершенстве. Пустит ей Сморчевский грязную остроту, она, не сморгнув, ответит вдвое круче; либо, если, сконфузившись, не найдется, что ответить, — посмотрит на старого сатира мутным,

* Духовно они телесны, но телесно — духовны (*фр.*).

** Он настоящий аристократ (*фр.*).

глупым, ничего не говорящим, но как будто веселым взглядом, которому выучилась у Жози.

— Oh-là-là!..

Или:

— Et patati, et patata!.. *

И захохочет. Бессмысленны восклицания, бессмысленны глаза, бессмыслен хохот, но это метод, — политичный исход из щекотливого положения.

— Так, душечка, и кокотки, — поучала Жозя. — То ли им, бедняжкам, случается терпеть от мужчин? А они все смеются. Надо трещать и смеяться, смеяться и трещать. А слушать и думать как можно меньше, и все, что мужчины соврут уже очень подло, пропускать мимо ушей... И тогда всем очень приятно и весело. По-моему, женщина, которая все замечает и обижается словами, не имеет такта, не умеет себя вести. Она не на высоте своего положения, душечка. Женщина для общества должна быть вся восторг. Надо, чтобы — розы и весело!.. смеяться и трещать!..

На одном из ужинов появилась и Ольга Брусакова.

От присутствия Маши ей было сначала заметно не по себе: она хмурилась, смотрела на тарелку и едва отвечала Фоббелю, который за нею ухаживал. Но Адель вызвала ее на минутку в уборную, и Ольга возвратилась преображенная: столь разбитная и веселая, столь «смеясь и треща», что за нею померкла даже неунывающая Жозя.

— Наконец-то я узнаю нашу милую Эвелину!.. — гнусил Сморчевский. — А что вы делали там в уборной? Отчего такая перемена? Сафо объяснялась в любви Фрине, или получили подарок в десять тысяч?

Ольга думала: «Переменишься, когда Аделька грозит жаловаться старой стерве, чтобы та надавала мне плюх...»

Но говорила, кривляясь:

* И так далее, и тому подобное!.. (*фр.*)

— J'ai eu mal au ventre! C'est passé — et me voilà! Connu? Oh-là-là! Va-t'en, gros pignouffe! *

— Так вот ты какая!.. Не ожидала... Прелесть, лучше всех!.. — с веселым удивлением говорила Ольге Маша в уборной же, собираясь уже к отъезду с пиршества. — Вот ты умеешь быть какая!

Ольга красная, как кумач, с мутными, безумными глазами, поправляла перед зеркалом спутанную прическу, пошатывалась, приседала и хохотала:

— Да, я такая... А ты думала, — что? Ха-ха-ха!.. Есть о чем тужить!.. Дряни!.. Да!.. И Аделька дрянь, и все!.. И я дрянь!..

— Тише ты! Какие слова? Разве можно?

— Не желаю тише. Имею право, чтобы громко. Кричи во всю! Ругай! Бей! Ничего не будет! Это ничего... Сделай твое одолжение! Еще деньги заплатят.

— Ты уж очень много шампанского выпила.

— Еще бы с поганцами трезвою сидеть!.. А Адельке я покажу, как меня в морду…

— Оля!.. Бог с тобою! Что ты говоришь?

Ольга опомнилась, посмотрела на Машу пьяными, мрачными глазами, оправилась и спустила тон.

— И то... эк меня разобрало!.. — с усилием засмеялась она. — Невесть что плету... Фу-у-у!.. Налей мне воды, пожалуйста.

— Надеюсь, ты с нами, к Полине Кондратьевне? — спросила встревоженная Маша.

Ольга отрицательно замотала головою.

— Ой, Оля, — встрепенулась Маша, — ой, голубчик, поедем лучше с нами! Уж мы тебя как-нибудь спрячем от крестной. А домой как ты покажешься такая? Всех перепугаешь... Не надо, Олечка!..

---

* У меня болел живот! Прошел — и вот здесь! Ясно? О-ля-ля! Пошел вон, наглец! (*фр.*)

— Фю-ю-ю-ють!.. — засвистала Ольга. — «Иде домув мой?» — слыхала, хоры поют? Когда еще я попаду домой-то?! Меня Фоббель проветривать везет... За Лахту, в охотничий домик... чай пить... у! Ненавижу! Кровь мою выпьет, швед проклятый!.. Ну да ладно! погоди!..

И вдруг насупилась.

— А Ольгою называть меня здесь не смей... Я для кабака Эвелина, а не Ольга... Ольга, Марья — это мы дома. А Эвелинка, Люлюшка — для кабака...

XIII

Как-то раз Маша прихворнула на несколько дней и, смертельно скучая, должна была отсидеть их в полном одиночестве. Даже Ремешко не заезжал, потому что его не было в Петербурге: он отправился по делам в Москву. Прибыв по выздоровлении к Полине Кондратьевне, Маша еще на подъезде, по перекошенному лицу красивой Люции, которая вышла на ее звонок, заметила, что в доме неладно.

— Не приним...— начала было Люция, но, узнав Машу, улыбнулась и махнула рукою. — Ох, это вы, барышня! Вот до чего замоталась: своих не узнаю. Пожалуйте. Вам-то можно. А то никого не принимают — ни сама, ни Адель Григорьевна...

— Что случилось? — испугалась Маша.

— Сама больна... Третьи сутки... Сегодня с утра пятую истерику закатывает. Швейцар за доктором Кранцем в карете услан... Такая тамаша идет третий день, что не дай Бог лихому татарину...

И, наклонясь к уху барышни, горничная прошептала:

— На бирже пробухалась. Сормовские подкузьмили.

Адель, сидевшая в своей комнате за письменным столом, мрачная, бледная, злая, обернулась на Машу тигрицею какою-то разъяренною, но, узнав ее, смягчила взгляд.

— А, Люлю! Поправилась? Слава Богу, очень кстати. А то я одна просто с ног сбилась. Слышали, старушка-то наша отличилась? Чтоб ее черт побрал, не говоря худого слова!.. На сорок одну тысячу! Можете себе вообразить?

Маша не могла вообразить. Про такие суммы она только в романах читала.

— Главное, что досадно, — желчно продолжала Адель, роясь в бумагах на столе, — что досадно... Если ты хочешь крупно играть, то умей владеть собою. А то извольте радоваться: хлопнулась в обморок в банкирской конторе!.. ну и скандал на весь Петербург! Сейчас же закричали: Рюлина разорилась, Рюлина банкрот! А ничего подобного. Она не сорок одну тысячу, а четыреста десять тысяч в состоянии потерять, и все-таки у нее останутся прекрасные средства на дожитие... Да!.. Конечно, если не хлынут потопом вот этакие бумажки.

Адель бросила Маше голубой листок, в котором m-me Judith вежливо и сухо просила m-me Рюлину как можно скорее очистить счет по ее магазину.

— Понимаете? Мерзавка какая! Часа не прошло после этого глупого обморока, как мы уже получили эту прелесть... Я всегда говорила и говорю, что Петербург по сплетням хуже всякого захолустья... Часа не прошло, а уже всюду молва, что разорилась, и счет!.. И вот еще!.. вот еще...

Адель нервно подавала Маше счет за счетом.

— Денежные катастрофы поражают людей, как молнии. Вы не успели опомниться, как кредит ваш — уже на дне пропасти...

Маша видела на счетах фирмы знакомых магазинов, где она должна, и сердце ее сжалось.

— Что же теперь делать? — пролепетала она.

Адель злобно мотнула головою.

— Надо платить. Но — чем, вот вопрос... не знаю!.. Не предвижу никаких поступлений. У нас до ста тысяч в дол-

гах, и никто не платит... Я не про вас говорю, — резко бросила она в ответ на робкое движение вспыхнувшей Маши. — Что ваш долг? Капля в море. Заплатите вы, не заплатите, — нам от того ни лучше, ни хуже не будет. Да и с какой стати вам платить свои гроши, когда другие так бессовестны — не платят десятки тысяч? За что вам быть святее остальных?

Тон Адели — даже не укоризненный, а какой-то необычайно свысока пренебрежительный, точно и в Маше, и в долге ее видела невесть какую ребяческую, даже недостойную разговора, мелюзгу, — больно уколол Лусьеву. А Адель, сердито усмехаясь, поддавала жару:

— Вот тоже Жозька... сумасшедшая... Можете себе представить? Как услыхала про нашу беду, сейчас же бросилась в ломбард, вся заложилась, осталась в одном платье... Пятьсот тридцать рублей принесла... Ну, спрашивается, на что нам ее пятьсот тридцать рублей? Конечно, благородно... Я всегда знала и утверждала, что другой такой души, как Жозя, не найти днем с огнем... Но — какая польза? к чему?

— Нет, Адель, — твердо возразила Маша. — Нет, это она прекрасно поступила, как должно... Всем нам надо так. Я уверена, Адель, что и вы сделали то же... что-нибудь очень хорошее.

Адель нахмурилась.

— Я... что обо мне?! Если я не постараюсь для Полины Кондратьевны, то кому же? Мы с Люцией без башмаков останемся, а старухи своей не выдадим. Довольно предательниц и без нас...

Когда Маша уходила от Адели, Петербург для нее делился рюлинским домом на две резко распределенные половины: на белых агнцев, которые стараются всеми своими средствами и силами помочь бедной Полине Кондратьевне, как Адель, Жозя и Люция, и на смрадных козлищ, ничего не сделавших и не желающих сделать для своей благодетельницы, как (покуда) она, Маша, и, быть может, «вечная эгоистка» — Ольга

Брусакова. Сделав визит к последнему козлищу, Маша, действительно, нашла его возмутительно равнодушным к злополучию Полины Кондратьевны, от чего и пришла в величайшее негодование. Само собою разумеется, что Лусьева последовала великодушному примеру Жози и немедленно заложилась в ломбарде тоже до последней нитки. Вырученные сто восемьдесят четыре рубля — жалкие крохи — она принесла к Адели со слезами на глазах, понимая ничтожность своего даяния.

— Вот... все, что выручила... больше не дают... — сказала она и горько заплакала.

Адель нетерпеливо отмахнулась от нее.

— Я говорила вам, Люлю, что это лишнее, возразила она довольно сухо. — Во всяком случае merci *. Но самое лучшее и умное, что вы можете сделать, — возьмите эти деньги, займите у меня еще немного, сколько там следует, на проценты за полмесяца, как это водится, и выкупите ваши вещи обратно. Молодой девушке нельзя без этого, а сто восемьдесят четыре рубля все равно, честное же слово даю вам, нам не в помощь!.. Сами посудите: у одной Judith ваш долг на тысячу семьсот шестьдесят восемь рублей...

— Что?.. Ах!

Маша в ужасе схватилась за голову. Адель сделала гримасу: «А ты, мол, легкомысленная дармоедка как полагала?» — и продолжала:

— Да. Почти две тысячи одной Judith. А Maurice? А Alexandre? А ювелир Карпушников? Что же тут сто восемьдесят четыре рубля? По пятаку за рубль... **)

Маша рыдала.

---

* Спасибо (*фр.*).

**) Искусственная фабрикация долгов. Елистратов, 18. Кузнецов, 186. Cutrera, 37 — 39.

— Вы убили меня, Адель! Я просто не знаю, как теперь глядеть вам в глаза... Я так несчастна, чувствую себя такою жалкою, неблагодарною... Но что же я могу сделать? Ничего, ничего, ничего...

— Ну, это — положим... — пробормотала Адель, устремляя на нее загадочный, предлагающий взгляд. — Сделать-то вы можете много, только захотите ли...

— Что? что? Скажите мне, — обрадовалась Лусьева, — я все, что велите...

— Нет уж, велеть я вам ничего не буду, — не то обидчиво, не то презрительно возразила Адель. — Я совсем не желаю предъявлять к вам требования, чтобы вы потом имели повод хоть в чем-нибудь упрекать нас с Полиною Кондратьевною. Всякое требование с моей стороны сейчас было бы нравственным насилием... Нет уж! Если хотите, ищите и догадывайтесь сами!.. Вон — Жозя догадалась... Она мне три тысячи принесла...

— Три тысячи? Да кто же ей дал?

— А уж это вы ее спросите, ее дело...

XIV

Маша бросилась к Жозе, в ее грязноватые меблированные комнаты, где она, как первая жилица, царила, окруженная чрезвычайным уважением прислуги и обожанием холостых жильцов. Застала Жозю Лусьева за пианино, довольно скверным и разбитым.

— Ах, душка! — воскликнула веселая особа, не отрываясь от клавишей, выпевавших фальшиво и не без запинок «Бурю на Волге»: как все женщины мажорного характера в жизни, Жозя любила в музыке мрачный и сентиментальный минор. — Ах, душка, нет ничего легче и проще!.. Я удивляюсь, почему Адель ломается, ничего вам не сказала... Вы

не три, а пять, семь, десять тысяч можете достать... Пустяки!.. Вам стоит сказать одно слово...

Маша покраснела.

— Вы, может быть, намекаете, Жозя, чтобы я попросила взаймы у Ремешко? но это так совестно, да его сейчас и нет в городе.

Жозя перестала играть и круто повернулась к Лусьевой на табурете.

— Ремешко?.. — воскликнула она, округляя голубые глаза. — Да что же это? Вы словно с луны свалились, душечка!.. Разве Адель и про Ремешку вам ничего не сказала?

— Нет...

Жозя всплеснула руками.

— Ну она чудачиха, совсем чудачиха!.. Ремешку, душечка, у Полины Кондратьевны не велено принимать.

— Почему? — бледная, едва выговорила Маша.

— Ах, душка! — затараторила, махая руками перед своим лицом, проворная Жозя, вы и вообразить себе не можете, какой он оказался ужасный мерзавец! Видите ли: все обнаружилось. И он, хотя Ремешко, совсем не Ремешко, то есть не Ремешко, у которого собаки; а Ремешко, у которого собаки, жаловался полиции, что Ремешко называет себя Ремешко, а у Ремешки, душка, собак нет, и ничего нет, и он мещанин из Либавы, и кроме того арап.

— Жозя, Бог с вами!.. что вы?.. что вы?..

Но Жозя махала руками и мчалась вперед, как Иматра.

— Арап, душка, арап!.. По всем клубам известен!.. арап!

— Да он же белый, Жозя!.. помилосердуйте!

Жозя только досадливо отряхнулась, точно собака, на которую брызнули водою.

— Ах, душка, я совсем не о том арапе, который черный! Он — в высшем смысле арап. Арап — это называется человек, который, когда в клубах идет игра, примазывается к крупным игрокам. Увидит, кто ставит большие куши, и

пристанет к нему, будто бы в долю. Если тот выиграл арап сейчас же тут как тут: позвольте, душечка, получить, я с вами вместе играл, душечка. Ну, а когда тот, душка, проигрывает, арап прячется под стол или в какое-нибудь низкое место... пропадает, душечка, как сатана или нечистая сила!.. И полицию, душечка, уже спрашивали, и полиция говорит, что Ремешко — арап, да и арап-то не простой, а самый что ни на есть над арапами арап, и давно уже запримечен, так что многие на него жаловались и хотели его даже просить выехать из Петербурга... Да, душка!.. И бриллиант этот у него, который в галстуке, тоже арапский, у Alexandre за восемь с полтиною куплен. Вот он каков господин Ремешко. Да! А мы, дуры, ему верили, вас за него замуж прочили!.. Это спасибо сказать Люции, душка, она все открыла, потому что ее сестра служит в судомойках в той самой гостинице, где этот арап проживал. Да! За арапа вас чуть-чуть не выдали, Люлечка бедная! И были бы вы теперь арапка... Да что же вы бледная такая? Люлечка... Господи, да она падает!.. Люлечка!.. Из-за арапа?! Стоит ли?.. Люлечка... Фу, глупая какая!..

XV

Открытия о Ремешке ввергнули Марью Ивановну в обморок вовсе не по обманутым нежным чувствам к фальсифицированному магнату, но просто потому, что, покуда Жозя изъясняла ей его проделки, Лусьевой с необычайною резкостью представлялась мысль, что, стало быть, весь ее долг, сделанный в расчете на замужество за Ремешко, теперь ляжет на нее, как неотвратимая груда, быть может, на много лет жизни... Когда она пришла в себя, оттерпела хорошую истерику, выплакалась и успокоилась, Жозя заговорила о делах. Достать денег, притом в количестве какое угодно, Маше

оказалось действительно очень легко: надо было только написать вексель на желаемую сумму, на имя Полины Кондратьевны Рюлиной, и подписать этот вексель именем Машина отца, Ивана Артемьевича Лусьева.

— По какому же праву я подпишу вексель именем отца?

— Ах, душка, кто же говорит, что по праву? Нет права... Но, видите ли, душка, это не вы виноваты, что так надо, а закон такой глупый, потому что, душка, женские векселя вообще не охотно учитывают, а вы еще вовсе не имеете кредита и даже не можете выдавать векселей, потому что вы несовершеннолетняя...

— Я боюсь, Жозя... Я, конечно, ничего не понимаю в делах, но из этого, мне кажется, легко может выйти что-нибудь дурное...

— Ах, Люлечка, да что же может выйти дурного из векселя, по которому никогда не придется платить? Ведь Полина Кондратьевна его учтет, понимаете? — учтет...

— Нет, Жозя, не понимаю...

— Ах, душка, как же вы не понимаете, когда так просто, что я не знаю, как вам объяснить?! Это значит, душка, что она свезет вексель к знакомому дисконтеру, в банкирскую контору одну, и дисконтер ей даст денег, только вычтет там сколько-то процентов, и потом вексель может лежать у дисконтера как вы хотите много времени, душка, хоть тысячу лет, только его, душка, надо часто переписывать и аккуратно платить проценты... Да! И когда, душка, проценты дисконтеру платятся аккуратно, то ни один человек на свете не может знать, что есть такой, душка, вексель, и отец ваш, душка, тоже никогда не узнает. Никак, никак ему нельзя этого узнать, душка, потому что это коммерческая тайна, кто какие пишет векселя, и если дисконтер кому-нибудь о вас откроет, то его за это в Сибирь!.. понимаете, душка?.. Нечего вам бояться, не знаю, чего вы боитесь. Я вот всегда так. Если Полина Кондратьевна велит или самой нужны деньги,

а у нее занять нету, я сейчас же беру за бока своего разведенного благоверного и катаю на его векселя, — я катаю, Полина Кондратьевна учитывает... Тут нет ничего дурного, Люлечка. Что же особенного? И вы, Лусьева, душка, и отец ваш Лусьев, душка... Вы только именем пользуетесь... А что в имени? Дисконтеру — что Лусьев, что Лусьева, все равно. Дисконтер, душка, даже не спросит, что таков Лусьев, и есть ли он на свете. Ведь он не вам и не отцу вашему поверит, а Полине Кондратьевне. Это ее кредит, и только так уж заведено, душечка, форма такая глупая, что кредит-то ее, а вексель нужен на ее имя от кого-нибудь другого, чтобы были две подписи, — она поставит бланк и получит деньги... И всем очень приятно, душка, и чрезвычайно просто!

Вдохновенное лганье Жози дурманило Машу. Перспектива достать кучу денег под залог клочка бумаги и нескольких букв начала представляться ей заманчивою... Жозя говорит, что все так делают. Если все, то почему же и не попробовать?

— Только все-таки я не знаю, право... страшно как-то... сама не понимаю чего, но чего-то боюсь...

— Ах, душка, — обиделась даже Жозя, — как будто я вас уговариваю?! Никто вас не неволит, поступайте как знаете!.. Я только думала, что вы, как все мы, хотите помочь бедной Полине Кондратьевне, которая вас так любит. Это у нас, в компании, самое обыкновенное: когда ей нужны деньги, мы все пишем для нее векселя, — и я, и Адель, и Ольга...

— Как и Ольга тоже? — живо переспросила Маша.

— Еще бы! И еще сколько! Спросите Адель: она вам покажет.

Лусьева вздохнула с облегчением.

— Ну, если уж Ольга, — хорошо, в таком случае, я согласна...

— Ишь какая, нехорошая! — ревниво попрекнула Жозя. — Ольге своей противной верит, а мне нет!..

— Да не то, Жозенька, — как вы можете думать?.. Но она такая осторожная, благоразумная... Только уж вы, Жозя, научите меня, как что надо сделать там, с векселем... Я ведь на этот счет круглая дура, ничего не знаю...

— Да вы обратитесь к Адели!.. хотите, я сегодня же ей скажу, что вы желаете?.. Она вам все устроит...

Разумеется, фантастический шестимесячный вексель, выданный в тот же самый день Марьею Ивановною Лусьевой, за подписью Ивана Артемьича Лусьева, очень изумил бы всякую банкирскую контору, в которую был бы представлен к учету, но — он никогда ни в какую банкирскую контору и не предназначался, а очень мирно и спокойно улегся в несгораемом шкафу госпожи Рюлиной, в плотный полотняный конверт большого формата, с пометкою лиловыми чернилами: «Люлю». Таких конвертов, плотно набитых какими-то бумагами, покоилось довольно много в шкафу. Были конверты Жози, Ольги, даже Люции, — всех, кроме Адели. Хотя денег по векселю Рюлина, конечно, ниоткуда не получала, тем не менее благодарность за то, что Маша «выручила», была разыграна очень трогательно, а счеты из магазинов, касавшиеся Машиных заборов, были с благородством изорваны на глазах девушки. Надо ли говорить, что действительная сумма к уплате по счетам была впятеро меньше цифр, поставленных Аделью? Вместе с тем Маше дали понять, что платить проценты по векселю — конечно, входит в ее обязанность и что процентов будет довольно много, а вексель придется переписывать часто, так как кредит-де — самый трудный и краткосрочный.

XVI

Прошло три месяца, сильно двинувших Марью Ивановну вперед по пути «просвещения». Каждый месяц вексель ее переписывался, и каждый раз надо было доставать денег для

процентов — действительно, огромных, зверских процентов: сперва Адель потребовала двести рублей, во второй раз уже триста, а на третий месяц пришлось найти и все пятьсот. Минули те времена, когда у Маши Лусьевой дрожала испугом душа при одном звуке таких цифр. Теперь она знала, что рубли в сотнях — очень небольшие деньги для хорошенькой барышни, «которая не дура», и доставала их очень легко.

Стоит только поплакать да надуться на целый вечер, — Сморчевский заплатит. А не Сморчевский, так Фоббель. А не Фоббель, так Бажоев...

Изменился и тон, которым Адель спрашивала проценты. В первых двухстах рублях она извинялась, умоляла занять их, сконфуженная, уверяла, что охотно внесла бы свои, если бы стояли лучшие времена, а то все еще никак не соберется с деньгами и не оправится от недавнего разгрома. На второй месяц извинения были уже гораздо слабее.

— Прямо несчастие мне с вами, Люлю, по этому векселю: как ему срок, так у меня касса пуста... фатум какой-то!.. Уж нечего делать, попросите опять у Сморчевского... старик выручит: он вас любит...

А в третий платеж она просто уведомила — почти что приказала:

— Люлю, через четыре дня вам платить пятьсот... Старайтесь, деточка Люлюшечка, добывайте!..

И «деточка Люлюшечка» добывала: хныкала, капризничала, жаловалась на судьбу, на злых людей, плакала, уверяла, что «лучше отравиться», и «деточку Люлюшечку» спешили развеселить и утешить. А затем:

— Кажется, я заслужил поцелуй?

— Сморченька, миленький! Да хоть двадцать!

— А Люлюша споет нам «Connaissez vous l'histoire d'un vieux curé de pays»? *

---

* «Известна ли вам история старого деревенского кюре»? (*фр.)*

— Фи, Бажоев, вам бы только гадости слушать!.. Ну да уж хорошо, спою, спою!.. для вас!.. противный!..

Раздобывала Маша такими способами деньги для «процентов» Адели, раздобывала и для себя. При всем том, — хочется человеку всегда хорошо о себе думать! — она и не воображала, что она продается, и очень бы удивилась, если бы ее укорили в том. Продаются кокотки, камелии, проститутки. Продаваться — это значит принадлежать мужчине телом за деньги, а два-три пьяных поцелуя, даже объятия, скабрезная песенка, фривольный жест... какая же тут самопродажа? Помилуйте? Что за невидаль при добрых дружеских отношениях? И, наконец, это добрая воля Сморчевского — дать или не дать денег. Чем Маша виновата, если он такой нервный и щедрый человек, что согласен лучше заплатить за хорошенькую женщину все маленькие долги ее, чем видеть ее в слезах. А когда выпадает такое счастье, глупо им не пользоваться. Маша не миллионерка, Сморчевский и прочие доброхотные датели от того не обнищают, а бедной девушке будет на что поправить свои обстоятельства и выполнить обязанности к своим друзьям.

Впивая эту мораль, Маша, тем не менее, иногда смущалась втайне своим поведением и испытывала угрызения совести. Стали проявляться у нее и кое-какие подозрения, что среда, где она увязла, не только веселящаяся, но и жуликоватая, и развратная. Рюлина и ее приспешницы еще скрывали от Маши кое-что, и даже очень многое, и даже самое главное, но уже часто проговаривались словами и попадались на фактах, совсем не согласных с первоначальным высоким тоном, который Лусьева встретила в доме. Так, например, узнала Маша, что, столь часто поминаемый всуе, покойный «генерал» Полины Кондратьевны, якобы повинный в безобразных картинах ее спальни и во многих других неприличиях, никогда ни генералом, ни даже военным не был, и по паспорту госпожа Рюлина писалась вдовою губернского секретаря.

А кроме того, никто и никогда этого таинственного губернского секретаря Рюлина при великолепной супруге его не видывал, и прозябал он, и помер неведомою смертью где-то за тридевять земель, в тридесятом царстве, не то в Асхабаде, не то в Благовещенске. Само собою разумеется, что столь отдаленный губернский секретарь никак не мог быть ни сослуживцем, ни тем более боевым товарищем великого князя, любовника Жени Мюнхеновой, которым Адель хвалилась Маше в первый день знакомства. Вообще, великокняжеские сказания Адели, — права была Ольга Брусакова! — малопомалу очень слиняли и выцвели.

Например, оказалось, что тот великий князь, герой романа Жени Мюнхеновой, не только не близкий друг дома, как уверяла Адель, но и всего-то лишь дважды, за всю жизнь свою, удостоил укромный рюлинский особнячок высочайшим посещением инкогнито. Один раз, ненароком, прямо с какого-то гвардейского полкового праздника, полупьяный, с компанией офицерской золотой молодежи, наговорившей ему чудес о волшебной красоте Жени Мюнхеновой, которая тогда проживала у Полины Кондратьевны на положении воспитанницы: тут-то он, действительно, и влюбился! А в другой раз — уже нарочно, чтобы увезти Женю из-под гостеприимного генеральшина крова в приобретенный для нее дом на Английской набережной.

В качестве устроительницы и посредницы сего беззаконного союза генеральша содрала с его высочества какой-то едва вообразимый огромный куртаж. Так что даже сама сконфузилась и восчувствовала признательность к виновнице такого успешного грабежа. Женя Мюнхенова сделалась для нее самым любимым, поэтическим воспоминанием, почти до культа. История Жени развилась в эпопею дома, которою обязательно «просвещаются» рано или поздно все, вновь входящие к Полине Кондратьевне, дамы и барышни: вот, мол, пример для вас, поучайтесь и подражайте!

Однако, по сплетням Жози, сама-то Женя, как скоро выбралась с Сергиевской, порвала с генеральшей все сношения, ни к ней не бывала, ни ее у себя не принимала. Даже ее портрет знаменитый был вовсе не заказан генеральшею, как хвастала Адель, но попал к ней совершенно случайно.

Когда Женя, наскучив любовью великого князя, сбежала от него на манер Периколы или Беттины из «Маскотты», покинутый любовник в неистовом бешенстве приказал убрать с глаз долой все вещи, напоминавшие ему коварную изменницу. Портрет же (к слову сказать, писанный совсем не Константином Маковским, а каким-то случайно заезжим и мало ведомым французом) — уничтожить. Камердинер князя, рассудив, что хорошая живопись денег стоит, спустил портрет за двести рублей маклерше, а та предложила его Полине Кондратьевне за тысячу и отдала за пятьсот. Так как манера француза напоминала Константина Маковского, то Адель нашла, что будет шикарно приписать картину этому последнему и, владея несколько кистью, намазала внизу портрета, в углу, довольно искусно подделанную подпись русской знаменитости... А затем сфабрикованный кумир водрузили в святилище, и вокруг него обвились легенды, столь увлекательные, что, в конце концов, им едва ли не верили и сами, их творившие.

XVII

Прошлое Полины Кондратьевны тоже тонуло в легендах. По-видимому, она была действительно хорошего происхождения, потому что, даже сквозь налет многолетнего авантюризма, проблескивала следами прекрасного воспитания, какое давали только благородным девицам строгие институты пятидесятых годов. Она знала множество анекдотов из быта Смольного в его славную «Леонтьевскую»

эпоху и, может быть, в самом деле, была заблудшею овцою из стада смольнянок.

Но далее следовали провал и мрак. Вспоминали одно: что смолоду Полина Кондратьевна существовала (и весьма шикарно) на иждивении того самого графа Иринского, который и посейчас не оставляет ее, хотя уже старуху, своими милостями. Вся великолепная обстановка рюлинских аппартаментов, до скверных картин включительно, — от графа и его друзей; а в числе их, и впрямь, имеются два-три высокопоставленных лица, более известных распутством и казнокрадством, чем служебными доблестями, и некоторые великие не столько князья, сколько князьки второстепенного значения в фамилии, но первостепенно громкой скандальной репутации и в российской, и в чужеземных столицах. Граф Иринский — страшный потайной развратник, но он осторожен и не доверяет страстей своих никому, кроме Полины Кондратьевны; она, когда-то его любовница, теперь осталась его альковною поставщицею и вознаграждается за то огромными суммами. На таинственных рюлинских «вечерках» графская компания чувствует себя гораздо более дома, чем сама хозяйка, и безобразничает так, что плюнуть хочется, — потому-то Полина Кондратьевна и выживает из дома на это время лишние глаза и уши...

Об Адели Жозя насплетничала Маше на ушко, что у той есть старик, к которому она ездит в Царское Село каждые вторник и субботу. Адель же, даже не на ушко, сообщила про Жозю, что у нее старики имеются чуть ли не на все дни недели, кроме воскресенья, оставленного для молодых. Люция то и дело выходила из роли горничной, обмолвливалась на «ты» с Жозею, с Ольгою, даже с Аделью... Однажды, когда Маша ночевала у Адели, Люция возвратилась откуда то на рассвете вместе с Жозею и еще с какою-то незнакомою Маше, но весьма фамильярною ко всем, девицею. Все три были мертво пьяны, а Люция даже до беспамятства.

Жозю и фамильярную девицу Адель быстро спрятала куда-то. Но Люция бродила по всей квартире, ругаясь площадными словами, уселась к роялю и добрые полчаса колотила по клавиатуре кулаками, визжа фабричные песни. Никто — ни Адель, ни Полина Кондратьевна — не посмел к ней подступиться, покуда ее самое не сморило сном. Тогда она без церемонии повалилась на кровать Адели и захрапела. Маша была уверена, что негодяйку немедленно рассчитают, но назавтра Люция, как ни в чем не бывало, снова служила в доме, и только щеки у нее как будто немножко поприпухли да глаза покраснели, заплаканные... Вообще, правда дома начала сквозить из-за временных декораций его очень ярко: Лусьеву считали благоприобретенною уже настолько крепко, что очень далеко прятать карты от нее не стоит...

XVIII

В один роковой день, тоже после ночевки в доме Рюлиной, Маша, ненароком, из соседней комнаты, подслушала странный деловой разговор между Аделью и утренним визитером, неким господином Криккелем, — пшютом и дельцом, всему Петербургу известным, необходимым в каждом шикарном кружке и клубе, в каждом громком предприятии, в каждой модной забаве. Столица еще не успела разобрать, кто он — капиталист или мошенник. В газетах его величали «финансистом», а люди опытные усматривали в нем вызревающий «прокурорский фрукт». Но он шел в гору, и настоящие финансовые тузы-дельцы смотрели на него, туза-аплике, уже довольно благосклонно. Ему очень хотелось проникнуть интимно в тесный кружок Сморчевского и Фоббеля, и он делал для этого множество шагов, заигрываний, усилий.

— Не могу, Оттон Эдуардович, — говорила Адель. — Честное слово, не могу. Вы знаете, я для вас, по старой друж-

бе, готова на все, что угодно. Но ведь я не хозяйка. А Полина Кондратьевна — кремень: знает только свой prix fixe *. По полтораста на рыло, за Люлюшку три «сотерна». Entweder — oder **. Если я сделаю вам уступку, мне придется доложить из своих: «генеральша» у нас строгая...

— Дьявольски дорого, Адель.

— Что же делать? На то мы рюлинские. Буластиха или Перхунова устроят дешевле. Подите к ним. А то Юдифь...

— Все это, Адель, я знаю, да что пустяки болтать? Не тот шик...

— А если шик нужен, не скупитесь.

— Да! не скупитесь! У меня миллионов нет.

— Будут.

— Вашими бы устами мед пить. И за что так дорого? Ну за что? Только что посидят за столом в самом избранном обществе, скушают отличный ужин, проведут весело время...

(В 1902 году московский обер-полицеймейстер обратил внимание на странный новый класс женщин, приличных по имени, званию, состоянию, живущих на хороших квартирах одиноко или полуодиноко и почему-то выставляющих на доске подъезда вымышленную фамилию — не ту, что значится в паспорте и домовой книге. По расследованию причин, вызвавших в свое время приказ, тоже усердно цитированный газетами, оказалось, что ложные имена псевдонимных дам хорошо известны в мирке шикарных сводниц, ходебщиц и богатых прожигателей жизни. Дамы откровенно признавались, что источником средств к жизни являются для них ужины в веселых мужских компаниях, к которым приглашают их, через разных посредников и посредниц, московские кутилы и, в особенности, наезжие «бразильянцы»: дельцы и жуиры из провинции. Это — уже demimonde ***, но нет улик и «состава преступления», чтобы причислить ужинающих дам к проституции. На первом показном плане здесь — веселое времяпровождение, а торговля полом так ловко тушуется за флиртом и ухарским житьем, что многие профессиональные soupeuses **** совершенно искренно считают себя женщинами хотя

* Постоянная, твердая цена (*фр.*).

** Или — или; одно из двух (*нем.*).

*** Полусвет (*фр.*).

**** Здесь иронич.: любительницы поужинать, содержанки (*фр.*).

шальными, безумными, порочными, но отнюдь еще не падшими и продажными. В Петербурге класс этот особенно быстро и широко развился в последние годы, когда роскошь мод, прогрессируя с каждою зимою, переделала множество слабых семей в menages à trois*, составляющихся из жены, мужа и богатого содержателя или богатых содержателей, платящих счета за туалеты В числе известных soupeuses много наезжих провинциалок, причем юг оказывается наиусерднейшим поставщиком.)

— А вам бы еще чего? — засмеялась Адель. — Ишь, баловник! А сидеть с вами, кутилами безобразными, разве не труд? Из вашего брата теперь озорники пошли хуже, чем из купцов. Вон — Бажоев, черт старый, третьего дня Жозе на платье бутылку шамбертена опрокинул... Платье триста рублей стоило, а его бросить надо: хуже этих бургонских вин нет, ни за что пятно не отойдет... А получила-то я те же полтораста...

— Не врите, Адель, — уж, наверное, Бажоев заплатил...

— Да, он-то заплатил, потому что он ужасно какой благородный, а другой не заплатит, и ничего с него не возьмешь. Нас обидеть легко... Мы не хористки, не кокотки, скандала поднять не смеем, должны репутацией дорожить...

Криккель считал:

— Следовательно, вы, Эвелина, Жозя — по полтораста, да Люлю триста... семьсот пятьдесят... Уф, даже в жар бросает!..

— Может быть, Люську к концу ужина привезти?

Криккель оживился:

— Эту? Горничную-то? Которая русскую пляшет и песни поет? Привезти, непременно привезти! Панамидзе от нее без ума...

— Двести пятьдесят рублей, — сказала Адель.

Криккель инда крякнул.

— Это почему же?

* Семья втроем (*фр.*).

— Для круглости счета. Чтобы уж ровно тысяча.

— Но за что?

— За оригинальность.

— Вы цените эту особу выше себя самой?

— Нашей сестры в Питере много, а Люська — в своем роде, единственный экземпляр.

— Полно, пожалуйста. Кого вы морочите? На Никольском рынке, — вот где прислугу нанимают, этих ваших Люсек — прямо из деревни — сколько угодно.

— Вот и поищите себе Люську на Никольском рынке, — спокойно сказала Адель, — а наша пусть останется при нас.

— Тьфу! Ну только ради Панамидзе... человек-то больно нужный...

— Не скаредничайте, не жалейте, — ласково говорила Адель. — Ведь уж не даром вы затеяли этот ужин. Истратите две-три тысячи, а делишек обделаете на сто. Так не грех за то побаловать и нас, бедненьких...

— Скидки не будет?

— А ни-ни. Prix fixe. С какой стати? У нас клиентуры — хоть отбавляй. И то придется обидеть кого-нибудь для вас. Ей-Богу, все вечера расписаны на две недели вперед.

— Министр вы, Адель.

— Да уж министр ли, нет ли, а денежки пожалуйте.

— Но я буду надеяться: все будет аккуратно и благородно?

— Так, что благодарить приедете и браслет мне от Фаберже привезете.

— И уж без всяких гримас, обид, жеманств и фокусов?

— Говорю: браслет привезете.

XIX

Криккель уехал. Проводив его, Адель заметила за дверью растерянную, встревоженную, недоуменную Машу.

— Ага, ты слышала... — хмурясь, сказала она (в последнее время все молодые женщины в рюлинском доме сошлись на «ты»). — Ну что же? Очень жаль... То есть, правду-то говоря, вовсе не жаль, а отлично. Я очень рада, что так вышло наконец... Мне смертельно надоело кривляться. У Полины Кондратьевны свои расчеты играть с тобою в жмурки да прятки. А, по-моему, напрасно; давно пора — карты на стол и в открытую.

— За что ты требовала с Криккеля тысячу рублей?

— За то, что мы — ты, я, Жозя, Ольга, Люция, — сделаем ему честь, поужинаем с ним и с его приятелями.

— А больше... ничего?

Адель сухо улыбалась.

— Vous avez un esprit mal tourné *. Больше, покуда, ничего.

Она ударила Машу по плечу.

— За больше, Люлюшенька, и сдерем больше.

Но Маша серьезно смотрела ей в глаза.

— Потом — как же это? Нас ужинать зовут — и Люцию с нами? Горничную? Стало быть, мы на одной с ней доске?

Адель с досадою тряхнула головою.

— Ах, какой аристократизм напал внезапный!.. Да тебе-то что? Если это их каприз? Ведь ты слышала, какие деньги платят... И притом можешь успокоиться, Люцию зовут совсем не ужинать, а после ужина — проплясать русскую и спеть несколько ее глупых песен...

— Но она не умеет петь. У нее и голоса-то нет, визг какой-то...

Адель согласилась:

— Совершенно верно, что не умеет и визг... Но вот поди же: находятся дураки, которым это нравится, и Люська сейчас положительно в моде.

И прибавила нравоучительно:

* У вас извращенный ум (*фр.*).

— Мужчины ведь удивительно глупый народ. Черт знает что иной раз их прельщает. Ну Люська хоть красивая, — и лицом, и фигурою вышла... А то жила тут у нас, у Полины Кондратьевны гостила, одна киргизская или бурятская, что ли, княжна... Да врала, небось, что княжна, — так азиатка, из опойковых. Ростом — вершок, дура-дурой, по-русски едва бормочет, лицо желтое, как пупавка, глаза враскос... И что же ты думаешь? От поклонников отбоя не было. Первый же твой Сморчевский с ума сходил... «Ах, — кричит, — это из Пьера Лоти!.. «Дайте мне женщину, женщину дикую»... Кризантэм!.. Раррагю!»... Много он тогда на нее денег ухлопал...

Маша, не слушая, резко прервала:

— Ты и с Сморчевского так берешь? И с Фоббеля? И с Бажоева?

— Конечно. Чем они святее других? Со всех.

Маша подумала и всплеснула руками.

— Но, Адель! Мы бываем в разных компаниях так часто... Если ты берешь за это деньги, значит, ты ужас сколько получаешь.

— То есть, не я, — поправила Адель. — Я тут решительно не при чем... Получает Полина Кондратьевна, а я только ее доверенное лицо. Да, старуха зарабатывает очень хорошо.

— А мы?

— Что «мы»?

— Мы ничего не получаем?

— Как ничего? — засмеялась Адель. — А это что?

Она дернула за рукав Машина платья, коснулась браслета на руке, ткнула указательным пальцем на брошь.

— А это?.. это?.. это... А шесть тысяч под вексель?.. Разве мало затрат?.. Вот она их и возвращает, — и согласись, что очень деликатно: ты вот и сама не знала, как ей отрабатывала...

— Адель, ты поражаешь меня!.. я совсем растерялась в мыслях... Я думала, что Полина Кондратьевна...

— Даром бросит на тебя деньги? — захохотала Адель. — За что же это? Где ты видывала таких благодетельниц рода человеческого?

— Я думала, что она просто — потому, что мне симпатизирует... А тут выходит какой-то промысел...

— Да что ты — малолетняя, что ли? Где и когда бывало, чтобы за симпатию давали тысячные кредиты? Если Полина Кондратьевна рискует на тебя рублями, то, конечно, имеет свой расчет, ищет получить с тебя прибыль...

— Ужасно, ужасно, что ты говоришь, Адель!.. Это — как во сне. Тебя ли я слышу?.. Ты прежде мне говорила не то, совсем не то...

— Мало ли что было прежде? — огрызнулась Адель. — То — прежде, а то — теперь. Да и что тут во всем, что ты слышала, удивительного? И из-за чего ты так кипятишься? Кабы мы заставляли тебя делать что-либо постыдное... А то ведь, сознайся, ни к чему такому мы тебя не приглашали и не принуждали... И не намерены...

— Извини меня, Адель, но все-таки наши ужины, раз они за деньги, это — что-то очень нехорошее... Если бы я знала, что все эти камни и платья приобретаются такою ценою, то лучше бы их не было...

— Ну, милая, — холодно возразила Адель, — об этом было нужно раньше думать и спрашивать, а теперь вон сколько на тебе понавешано... Да и что ты в самом деле — все на меня да на Полину Кондратьевну? А сама ты? Разве не брала денег у Сморчевского с Бажоевым? Ведь знаю я…

Маша бормотала, разводя руками:

— Я просто не знаю... Что же это? Я теперь буду стыдиться в глаза смотреть Сморчевскому... и тем другим... Если наше общество можно покупать за деньги, кто же мы для них оказываемся? Что они о нас думают? Какая же разница между нами и кокотками?

Адель зло закусила губу.

— Та разница, — язвительно сказала она, — что, если бы ты была кокотка, тебе не платили бы триста рублей только за то, чтобы ты сидела за ужином в cabinet particulier * и плела пьяным дуракам демивьержные разговоры. Ты, покуда, порядочная барышня из общества, за это ты и в цене **).

— А почему же для себя, для Ольги, для Жози ты выговариваешь только половину.

Лицо Адели исказилось невеселою усмешкою.

— Вероятно, потому, что мы не имели счастья так хорошо сохраниться, как ты.

— Адель!

— «Будто мы кокотки», — передразнила Адель. — Ну и, конечно, кокотки!.. А кто же еще? Это я не знаю, какою дурою надо быть, чтобы не разобрать, что мы кокотки!..

— Ты просто с ума сошла и не знаешь, что говоришь.

— Нет, я-то в своем уме, а вот ты — удивительно наивная... особа.

— Можешь врать, что угодно. Я девушка. Я знаю, что я не кокотка.

Адель насмешливо присела.

— С чем и поздравляю. Честь вам и место.

— Да и на себя, и на них, на Жозю и Ольгу, — я ума не приложу, — зачем ты взводишь такое страшное? Ведь клевещешь!..

— Кой черт, я клевещу? — и озлилась, и захохотала Адель. — Нет, Люлюшка! Думала я, что ты глупа, но все же не до такой степени.

И быстрым, резким, циническим языком своим она пустилась разоблачать перед Машею до конца всю подноготную страшного дома...

---

* В отдельном кабинете *(фр.)*.

**) См. примеч. на с. 213 — les soupeuses.

XX

Бросилась Маша к Ольге Брусаковой и, к счастью, застала ее дома и одну. Та, с первых же слов, даже с удовольствием и облегченно как-то, подтвердила ей все рассказы и признания Адели.

— Ничего, Машенька, не поделаешь, — говорила она, лежа на кушетке в полутемной своей комнатке и попыхивая папироскою. — Это петля. Тебя так захлестнули, что не вырваться. Ты у них вся в руках: что хотят, то с тобою и сотворят. Вот — попробуй, откажись ехать на ужин к Крикелю...

— Да и не поеду! Неужели ты можешь думать, что поеду... после всего, что теперь знаю? — стиснув зубы, мотая головою, твердила Маша...

Ольга уныло возразила:

— Ну и скрутят тебя в бараний рог.

— Да чем же, наконец? Что они могут мне сделать?

Ольга только рукою махнула.

— Всё. Говорю тебе: всё. Вексель твой, ты сказывала, у Полины лежит?

— Я не знаю... У нее или в банке, что ли, каком-то...

— Врет: у нее. Ну и вот тебе и — чем.

— Я несовершеннолетняя, с меня искать нельзя. Я Сморчевского — так обиняками — выпытывала, а он, сама знаешь, какой знаменитый юрист... Он говорит, что не только векселя несовершеннолетних недействительны, но еще, если ты берешь вексель с заведомо несовершеннолетней, то тебя можно судить. Стало быть, по векселю им с меня ничего взять нельзя.

— Да, деньгами нельзя... Но ведь ты забыла: вексель-то твой — не твой, а отцовский.

— Ну?

— Значит, он фальшивый.

— Как ты странно выражаешься... Разве я стала бы писать фальшивые векселя? Неужели я способна? Адель и Жозя уверяли меня, что вексель никогда не будет представлен ко взысканию. Так что — отец написал, я ли, — это все равно... только форма...

— Очень верю, что никогда не будет представлен ко взысканию, но лишь в том случае, если ты будешь слушаться Полину и Адель во всем, что они тебе прикажут. А если ты вздумаешь сопротивляться, вексель увидит свет. И тогда суд не станет разбирать, почему он фальшивый, довольно и того, что фальшивый. А это уголовщина, за это в Сибирь. Ну, засудить-то тебя, по молодости и глупости твоей, пожалуй, не засудят, — но все равно: куда ты после такого дела годишься? Скандал, срам, газеты расславят... Одно средство: может быть, отцу признаешься? Может быть, он заплатит, не доводя дела до огласки?

Маша с ужасом покачала головою:

— Откуда ему взять такие деньги? Да никогда и не признаюсь я ему... что ты!.. Он меня убьет!.. Как я смею? Не одна я у него: два брата... Заплатить — значит нищими стать, в конец, до последней нитки разориться.

Ольга согласно кивала в такт ее словам.

— Я так и понимала. Конечно, разорение и скандал. Исстрамят тебя, а срам на семью падет. Пожалуй, отцу и должности пришлось бы лишиться... А уже о тебе самой, — повторяю тебе, нечего и говорить: если и оправданная выйдешь из суда, дорог тебе, «подсудимой», дальше нет, — ни службы, ни занятий, ни замужества порядочного... Следовательно, один выбор: в кокотки же — больше некуда!.. Ну, и, стало быть, как ты тогда ни вертись, а опять к ним же придешь, — к Полине Кондратьевне с Аделью, либо того хуже — к Буластихе какой-нибудь или Перхунихе... Либо запутает тебя, одинокую и без грошика, какая-нибудь простая факторша, от них же ходебщица... Я, Машенька, знаю: у меня самой с Полиною

другие счеты, моя кабала по-иному строена, а видать, как они с другими такое мастерили, видала не раз... Комар носа не подточит, — вот как! Да! Связана ты, голубчик, этим векселем проклятым по рукам и ногам!.. Да и одним ли векселем? Видела я: хвасталась мне Аделька, в каких позах она тебя наснимала!.. Хороша и ты тоже, Марья, — нечего сказать, есть за что тебя хвалить: такую мерзость над собою допустила!..

— Да что же я могла? И как было мне ожидать?

— Ну, милая, — строго возразила Ольга, — какая ни будь ты наивность, а есть же у женщины и природный стыд. Настолько-то соображения должна иметь девушка и сама, без чужой указки, чтобы понимать, что если ее фотографируют, черт знает как, с мужчиною, то добра из этого не выйдет...

Маша широко раскрыла глаза.

— С мужчиною? Я фотографировалась с мужчиною?

— С Мутовкиным. Видела снимки своими глазами.

— С Мутовкиным? Ольга, ты бредишь! Я никогда никакого Мутовкина не знала.

— Ну как не знала? Даже замуж за него собиралась...

— Ремешко?

— Ну да, по паспорту Ремешко. А по-нашему, по-рюлинскому, по-буластовскому и так далее, Мутовкин... Кличка его такая в этом мирке...

— Ты видала мой портрет с ним вместе?

— Да еще какой, — смотреть стыдно!..

— Ольга, я клянусь тебе всем, что свято: я никогда не снимались вместе с Ремешко. Даже и в мыслях не имела подобного!.. Даже и разговора о том между нами не было!..

Ольга воззрилась на подругу с любопытством.

— Тем хуже, — протяжно сказала она. — Значит, вас, голубчиков, Аделька фотографировала, — конечно, по уговору с тем мерзавцем, — когда ты не подозревала... тем опаснее... Эх, Маша, Маша!.. Не ждала я от тебя, что ты

так легко скрутишься!.. И как только угораздило тебя унизиться? Ведь прохвост же он, на роже у него написано, что прохвост!..

— Ольга, — кричала Маша, хватаясь за виски, — что ты говоришь? Объяснись! Как унизиться? Что там у них на карточке? Я ничего, — ну слышишь ли ты: ровно ничего из всех твоих слов не понимаю!.. Никогда, — веришь? — никогда между мною и Ремешко не было ничего стыдного и неприличного!

— Ты не врешь?

Глаза Ольги загорелись тревожным любопытством.

— Никогда!.. Никакой близости, интимности!.. Нельзя было, нечего было фотографировать с нас компрометантного!

— Откуда же взялась фотография?

— Я не знаю, но — чем хочешь буду божиться!.. Да и зачем мне теперь врать?.. И, наконец, сам он, Ремешко, хотя оказался потом дурным человеком, но я решительно не могу на него жаловаться: он вел себя совсем не таким, — был всегда очень приличный, скромный, почтительный...

Ольга нахмурилась.

— Ну, а на портрете вашем этот скромный и почтительный сидит на кровати, без сюртука, в расстегнутом жилете, а ты — лежишь у него на коленях, в костюме праматери Евы...

Маша остолбенела.

— Это безумие какое-то!.. — сказала она так искренно, что Ольга сразу уверилась в ее правдивости. — Я? я? Ты уверена, что я?

— Как в том, что сейчас тебя вижу.

— Может быть, похожая на меня какая-нибудь?

— Ну вот! Не знаю я тебя? Ты, Маша. Даже родимые пятнышки твои все обозначены, чтобы и сомнения не оставалось.

Маша, усталая от волнения, присела у ног Ольги, почти в суеверном трепете каком-то.

— Я не знаю, что... Это колдовство! — воплем вырвалось у нее. — Они волшебницы... так просто, человеческими средствами, нельзя этого сделать...

— Подделать-то, положим, можно, — возразила Ольга. — Даже очень легко. Обыкновенное средство, которым разные негодяи-лоботрясы дурачат ревнивых мужей: берут неприличную карточку подходящего размера, приклеивают женской фигуре голову с портрета дамы, которую хотят компрометировать, переснимают на новую пластинку, ретушируют, — и готово... Но это уже старая штука, на это, кроме сумасшедших от ревности, теперь никого не поймаешь. И экспертизы не надо, чтобы разобрать, что фотографировано с натуры, что переснято с рисунка или фотографии... Я бы сразу отличила... И вот то и ужасно, и удивительно выходит, что, как ты ни спорь, а фотографии деланы с тебя, с живой тебя...

— Волшебницы! — шептала Маша.

Ольга что-то соображала.

— Нет, не волшебницы, — медленно сказала она наконец, — а это — твой обморок, вот что. Помнишь?

— Да, да... — пролепетала Маша.

Мысли ее прояснились. Она вспомнила и свое долгое беспамятство, и странное общее смущение, когда она очнулась.

— Несомненно! В обмороке сняли. То-то у тебя там глаза полузакрыты... Да! В обмороке! Ловки, нечего сказать!

Ольга в волнении вскочила с кушетки.

— Я думала тогда, что тебя опоили для еще худшего. Оказалось, нет. Они тебя для кого-то берегли и берегут. Потому так долго и комедии с тобою тянули. А беспамятство твое понадобилось именно для того, чтобы нахлопать с тебя компрометантных снимков...

— Но, значит, этот Ремешко... или — как ты его? — Мутовкин... тоже из их компании и заодно с ними?

— Еще бы! А ты как думала? Давний прихвостень. На жалованье и сдельную плату получает. Известный «пробочник».

— Как?

— «Пробочник». Так эти господа у госпож Рюлиных называются. Он-де пробку из бутылки вытягивает, а мы вино выпьем... *) Его обязанность — заманить в долг или опозорить девушку так, чтобы ей потом выхода не осталось, чтобы она вся очутилась в лапах у Полины Кондратьевны. Ты думаешь, я умнее тебя? не считалась когда-то в его невестах? Было, друг!.. Тебя вот ругаю, а сама во дни оны, в такую лужу, по его милости, села, что страшно вспомнить!.. куда хуже твоего! Было, всего было... Это его должность, Мутовкина, по генеральшиной методе разыгрывать богатого влюбленного, чтобы мы, дуры, не боялись ей должать... Ну что же? Мастер! Разыгрывает джентльмена и Креза — лучше невозможно, надо к чести приписать!.. Но как только заберется наша сестра у Полины выше ушей своих да выдаст какой-нибудь красивый документик, вроде твоего, тут конец его роли: он исчезает, яко воск от лица огня... Он нужен, чтобы петлю надеть, а затягивают уже без него. Ему дают сотню, две, три — и отправляют из дома, подальше от скандала... Ты не беспокойся: еще насладишься обществом этого душеньки!.. Не тебя первую, не тебя последнюю «генеральша» ловит... увидитесь!..

— Я плюну ему в глаза, — сказала Маша.

Ольга горько засмеялась.

— А он скажет: Божья роса. Увидишь его! Самый подлый зверь.

XXI

Маша рыдала.

— Оля, Оля!.. Как же тебе-то не грех и не совестно? Как же ты-то — все знала о них и меня не остерегла?

---

*) Живарев, 21. Генне-Ам-Рин. Commenge, 338, 347.

— Я ли тебя не предупреждала? — грустно отозвалась Брусакова. — Что ты говоришь? Я вся извертелась перед тобою в намеках, а ты, — нет, все не хочешь понимать, всем веришь больше, чем мне. В старуху влюбилась, в Адель влюбилась, в Жозьку-поганку... На меня же за них кошкою фыркала! Разве я виновата, что тебя Бог догадливостью обидел, а черт тебе глаза слепотою застлал?

— Но зачем же было намеками и обиняками? Ты бы прямо, начистоту...

— То есть, так-таки вот сразу и признаться тебе: беги, Машенька, от нас куда глаза глядят, мы все здесь распутные и тебя ловим, чтобы сделать такою же, как мы?.. Ну, голубчик, духа не хватило!.. Я тебя очень люблю, но пожертвовать собою, чтобы ты так уж все знала про меня... нет, этого я не могу!.. стыдно очень, себя жаль!..

— Да ведь, Оля, — теперь же вот все равно открылись все ужасы эти...

— Э, теперь! — страдальчески морща лоб, отозвалась Ольга. — Теперь мне все равно!.. Обе в одной ловушке сидим... теперь мне тебя не стыдно... Примеряй по себе: в состоянии бы ты была признаться во всем, что с тобою сейчас происходит, — кого бы назвать из наших порядочных подруг? — ну, хоть Кате Заряновой?

— Ни за что на свете!.. Сохрани Бог!.. Лучше умереть!.. *)

— Ну, а со мною ты говоришь очень просто, по-деловому... и с Аделью будешь говорить, и с Жозькою, и с Люською... и с другими. Да! Порядочная ты очень была, стыдилась я тебя безмерно... и никак этого стыда не одолеешь. Жалость сильна, а он и жалости сильнее... Ну, а потом, если уж всю правду до конца говорить, то я, Маша милая, и за намеки-то мои тебе сколько раз бита!

— Бита?

---

*) Ломброзо, 450-451. Parent Duchatelet, I, 111, 112. Дальтон, 66, 67.

— Да, бита... — всхлипнула Ольга. — Ты не удивляйся: у нас это часто и скоро. Я и пригласить-то тебя в дом к «генеральше» согласилась только с битья; целые две недели отвиливала, отговаривалась, врала небылицы и на тебя, и на себя, почему ты не можешь прийти... Ну, Аделька, — ведь все это несчастье началось с той нашей встречи на Невском, — выследила как-то, что я плутую, подвела, наябедничала, — от старухи сейчас же мне таска!.. А помнишь, как ты провралась, что я отговаривала тебя входить в долги? «Генеральша» тогда полчаса истязала меня у себя в спальне... У нее система: сама с комфортом в кресла сядет, тебя на колени перед собою поставит, кольца с пальцев своих поснимает, — чтобы убойных знаков не делать, — и пошла лупить со щеки на щеку...

— И ты давалась?

— Да — что же я могу? Уж лучше пусть бьет наедине... А то позовет Адельку, Люську, велит держать... еще хуже!.. и срам...

— Я бы скорее ее убила, себя!..

Ольга взглянула на Лусьеву с сомнением.

— Не убьешь... — проворчала она.

— Нет, убью!

— Не убьешь! слыхали мы! Это только говорить, дружок, легко, что убью. И я когда-то кричала: ее зарежу, сама утоплюсь! Ты думаешь, одни мы с тобою у нее? Мало других, таких же закабаленных? Погоди, теперь от тебя прятаться перестанут, — перезнакомитесь!.. И все-то — все до единой — вопили в свое время: убью!.. убьюсь!.. Но ни в каторгу, ни на позор судебный, ни на тот свет раньше времени, как видно, идти никому не в охоту... Так что убила-то себя покуда только одна Розя Пантормова... Помнишь Розю? В Озерках, на вокзале блистала... Наверное, помнишь!.. Впрочем, тому уже года четыре... Ты тогда еще девочкою была...

— В Озерках? Позволь... Брюнетка?.. Дочь священника?.. Помню!.. Говорили, что она отравилась от несчастной любви...

— Никакой несчастной любви не было. Просто попала в силок к «генеральше», как и мы, грешные. Розя хорошенькая была, живая, с образованием, неглупая, нравилась мужчинам ужасно. Торговала ею Полина широко... А та пылкая, гордая, гневная. Неволю-то нести надоело... ну да и зазналась: думала, что очень уж необходима она генеральше, может пошвыривать ею, как хочет. Адели страшно грубила, ненавидела та ее. В один прекрасный день Розя совсем взбунтовалась. Довольно, говорит, вы мою кровь пили, хочу на волю, больше я вам не слуга!.. Старуха с Аделью на нее с кулаками, с дрекольем, а Розя револьвер вынула... они и осели... Ушла победительницею. А дней десять в своей комнате — да к следующему утру душу Богу и отдала... Да! Вот что! *)

— И ты на такой же цепи, как я... и все? — тихо и робко спросила Марья Ивановна.

Ольга угрюмо поникла головою.

— Больше, чем все. Она меня хоть в ступе толки, хоть масло из меня жми, — я бороться не смею. Я из рабынь рабыня. Ну да об этом лучше и не спрашивай!.. Велит воровать — буду воровать; велит сводничать — должна сводничать!.. У меня сердце кровью обливалось, когда ты пошла на их удочку, а раскрыть тебе весь план и ужас ихний я все-таки не смогла... страшно!.. Уж очень тоже один мой секрет у нее в шкафу запаян... И — вот что, Маша: до сих пор я, хоть и робко, но все восстановляла тебя против них. Ты не слушала, завязла... Ну, а теперь я сама тебе говорю, первая: не убереглась ты, — так лучше повинуйся, делай, что велят... сопротивляться ты опоздала! Если ты озлишь «генеральшу», она погубит тебя, как муху, — раздавит, и мокро не останет-

*) Петербургский факт.

ся. Если же слушаться ее, не фордыбачить, то она — пожалуй, еще и не из худших мерзавок по своей части. Секрет держит хорошо, — об Адельке нечего и говорить: могила! — и обращается недурно. Без толку не дерется, ведь другие бывают ужасные, словно не люди, а звери их родили! — в деньгах карманных, в кредите, в вещах никогда отказа нет. Но чуть ты вздумала явить перед нею свою волю, — шабаш: за малую вину изобьет смертным боем, за серьезный бунт загубит, как Розю Пантормову... Она, когда молоденькая была, то, говорят, у графа Иринского, покровителя своего, в имении крепостных собственноручно порола, а теперь мы у нее вместо крепостных. Она одной Адельки только и боится, потому что — одного поля ягода, и та, по натуре, сама черт хуже ее...

XXII

— Что же? — признавалась своим слушателям Марья Ивановна. — Я не героиня... характера у меня нет, трусиха я, дрянь!.. отстоять себя не сумела! Всему, чего от меня потребовали, покорилась, на все пошла и сдалась, — а тогда очутилась уже совсем в их руках... Да надо правду говорить — не скрывать: мало-помалу и сама опустилась, втянулась в эту подлую жизнь... Натуришка у меня слабая... аппетиты развернулись: и съесть я хорошо люблю, и вина отличать стала мастерица, и туалеты изящные мне подай, и шляпу-модель, и камушки... Без этого уже досадно и скучно: что за жизнь, если нет? — как это — у других все есть, а у меня вдруг не будет?

(В Петербурге ловушка затягиванья в проституцию сперва через «живые картины» и задолжение, потом через шантаж, работала в начале девяностых годов настолько открыто, что, когда первая половина «Марьи Лусье-

вой» была уже напечатана, известный столичный журналист Д.А. Линев-Далин прислал мне старую, пожелтелую вырезку из «Нового времени» с фельетоном покойного Жителя как раз об этом мрачном промысле. От другого, весьма известного петербургского журналиста, М.М. Кояловича, я получил письмо с вопросом, не рассказываю ли я в «Марье Лусьевой» историю некой его знакомой, погибшей, при очень похожих условиях, в шикарном петербургском доме свиданий на Морской улице? Фамилия девушки оказалась мне совершенно неизвестной. Совпадение же вымысла с фактом, во всяком случае, достойно внимания и характерно (1904). Да наконец, чтобы подкрепить мой рассказ большим и привычным литературным авторитетом, вспомните молоденькую невесту Свидригайлова, сосватанную ему шельмою немкою Ресслих, в расчете, что «я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот; в нашем слою, то есть, да повыше».)

К тому же разврат, как его продавала «генеральша», был тонкий, подкрашенный, даже раззолоченный: клиенты ее принадлежали к самому блестящему кругу Петербурга, — значит, были люди негрубые, — по крайней мере, в большинстве, — хотя поношенные, но элегантные, с приятными манерами и кротким обращением, ищущие и в продажной любви некоторой иллюзии флирта; так что ужас своего положения жертвы госпожи Рюлиной, если не очень грызла собственная совесть, не ощущали очень назойливо и резко.

Уже более полугода будучи «живым товаром», Лусьева телом оставалась девушкою: «главного» условия женского торга собою от нее не требовали очень долго, покуда в Петербург не приехал человек, которому ее именно в этом «главном смысле» предназначали и, как обещала Адель, «за большее и содрали больше». То был «стальной король» из Германии, архимиллионер, личность, по рассказам Лусьевой, мрачная, жалкая и трагическая. Марья Ивановна вспоминала о нем с ужасом.

— Жесток что ли был? Безобразничал очень?

— Нет, довольно сдержанный, даже из смирных... Но маньяк. Я с ним сама чуть с ума не сошла... Вы представьте себе: одержим боязнью местности!..

— То есть пространства? — поправил Лусьеву чиновник особых поручений.

— Нет, нет. Не пространства, а именно местности. Он не в состоянии оставаться в одном и том же городе больше недели: страхи на него нападают. У него на родине, говорят, и дворцы, и виллы чудеснейшие, парки, охоты, а он мечется метеором беспривязным по земному шару, обогащая отели и промышленниц вроде Полины Кондратьевны... Болезнь свою он скрывает довольно ловко. Все думают, что вечные разъезды его — деловая горячка: кипит-де человек энергией, сам во все свои аферы вникает. Ну а мы-то, женщины, знаем, какая у него энергия! Первые три-четыре дня он — ничего себе, совсем в здравом уме и твердой памяти, а потом, глядь, и пошел от своего козла бегать.

— Это термин что ли какой-нибудь особенный из вашей... профессии? — брезгливо осведомился полицеймейстер.

— Нет, какой термин? Просто галлюцинат он, маньяк: козла видит, — самого обыкновенного козла, черного с бородою. Куда он, туда за ним и козел. Вот вы улыбаетесь... А я сколько слез приняла из-за этого козла! Издрожалась вся от страха...

— Тоже начали его видеть?

— Нет, но ужасно это на нервы действует — долго быть с человеком, которому так постоянно, упрямо мерещится!.. Он видит, а вы не видите... это противно и жутко, если часто. Сперва, правда, только смешно, а потом начинают мысли приходить: а вдруг ему не чудится, но он в самом деле что-то такое настоящее видит?.. Ну и скандала тоже вечно ждешь, нервы в постоянном напряжении, — страшно!..

— Скандал-то откуда же?

— Ах, мало ли этот козел проклятый штук с нами выкидывал?! Помню: повезли мы с Аделью его в Петергоф — показывать фонтаны... Остались обедать у тамошнего «Медведя»... Татары блюда подают, а мой Herr Augustus им на ноги косится и глаза кровью налил: это значит, — уже при-

виделось ему — козел, за татарами бегает... А то ночью вдруг заревет, как вол. Просыпаюсь ни жива, ни мертва: пожар что ли или режут его?.. «Что с вами? Что случилось?..» Сидит на кровати, таращится в одну точку, весь в холодном поту, брыкает в воздухе голыми ногами... «Der Bock!.. Der Bock!..» * Оказывается козел в гостях был, на кровать лез и чуть было его не забодал... На Иматре он у меня, от козла удирая, чуть в водопаде не очутился. Едва-едва мы с Люцией успели поймать его за фалды...

— Однако!

— Мучительный человек!

— Вы долго его знали?

— Нет, где же? С Иматрою, шхерами, с Ялтою, — всего три недели. И то его главный секретарь, который с нами ездил, удивлялся, что так долго. Это редкость, чтобы он взял женщину с собою в путешествие. Ведь ему во всех городах, по маршруту, куда он направляется, заранее готовят новую. И, непременно, чтобы девушка. Он живет с нею несколько дней, а потом возненавидит и уже лица ее выносить не может. Меня тоже чуть не задушил.

— Даже? За что?

Марья Ивановна, как ни была расстроена, а улыбнулась.

— За козла принял!

— Черт знает что!

— Мало что не убил, дурак!.. И — главное: где его угораздило, — на Учан-Су. Наконьячился по дороге и пошел юродствовать. Придрался: почему в Учан-Су воды мало? Это не хороший вид, если в водопаде воды нет, это недобросовестность против путешественников!.. Я, сдуру, и пошути ему: «Должно быть, говорю, ваш козел здесь был и, на зло вам, всю воду выпил!..» А он осатанел: хвать меня за горло и к обрыву тащит!.. Я кричу: «Was machen Sie, Exellenz? Lassen Sie mich!

* «Козел!.. Козел!..» (*нем.*)

Ich bin kein Bock, ich bin Ihr kleines Schäfchen!» * — «Врешь, все вы одна шайка!.. Ты с ним сговорилась!..» Спасибо, проводники отняли!.. И больше, — как отрезало, — уже не захотел меня видеть. В тот же вечер отчалил на своей яхте в Константинополь.

— А зачем это вы с ним все по водопадам скитались? То на Иматру, то на Учан-Су?

— Тоже страсть. Как же? Помилуйте, — в Африке на Замбези был, в Полинезию нарочно ездил смотреть какие-то горячие каскады... Должно быть, потому наш Учан-Су так его и разобидел...

XXIII

— Какая, однако, ваша жизнь! — с некоторым содроганием сказал Mathieu le beau. — Зависеть от подобного субъекта!..

— Э! что! — небрежно возразила Лусьева, — таких ли я чудушек видала?! Про Бастахова слыхали?

— Это московский? известный?

— Ну да. О котором слухи ходили — и даже до судебного следствия, будто он старуху-жену отравил после того, как выманил у нее завещание на все состояние — движимое и недвижимое, а капиталу-то ни много ни мало — пятнадцать миллионов! Только это вздор: куда ему! Добрейшей души был господин и, если бы не склонен был в кутежах скандалить, то и цены бы ему не было: не характер — золото!.. Путался он тоже в компании Фоббеля и Сморчевского, но был много их шире... Налетал к нам изредка из Москвы или провинции, и тогда начинался у Рюлиной

* «Что вы делаете, ваше превосходительство? Отпустите меня! Я не козел, я ваша маленькая овечка!» *(нем.)*

такой пир горой, такой шабаш безумный, что, проводив Бастахова из Петербурга, мы все с неделю никуда не годны бывали — головою маялись.

Однажды всех нас четверых, ближайших рюлинских, — меня, Адель, Жозю, Люську, — он выписал к себе на подмосковную дачу, — инженеров каких-то он чествовал, с которыми дорогу что-ли строил или другое что. Целый дворец у него там оказался. А в оранжереях у него аквариум-исполин — на сто ведер — стекла саженные зеркальные. Вот — однажды, ради инженеров этих — какую же он штуку придумал? Воду из аквариума выкачал, а налил его белым крымским вином, русским шабли. Сам он и трое гостей кругом сели с удочками, а мы — Жозя, Люська, Адель и я — по очереди, в аквариуме за рыб плавали.

Удочки настоящие, только на крючках вместо червяков сторублевки надеты... Натурально, боишься, чтобы сторублевка не размокла в вине, ловишь ее ртом-то, спешишь, — ну хорошо, если зубами приспособишься. Мне и Адели как-то счастливо сошла забава эта, ну, а Люську больно царапнуло, а Жозе — так насквозь губу и прошло — навсегда белый шрамик остался... Зато каждая по четыре сотенных схватила. И уж пьяны же мы выбрались из аквариума — вообразить нельзя. Удивительное дело. Вино легчайшее, да и не пили мы ничего, только купались, глотнуть пришлось немного. А между тем меня едва вынули, потому что я на дно упала... мало-мало не захлебнулась...

Бастахов же стоит, руки в карманы, и хохочет:

— Мне, — говорит, — это — наплевать! — что шабли? Его ведро десять рублей стоит. Сто ведер — тысяча рублей. Нет, вот я в другой раз купанье из pommery sec * закачу...

Другие его поддерживают:

— Что же сразу-то не закатил? Поскупился?

* Сорт сухого сухого яблочного вина (*фр.*).

— Ничего не поскупился. Из одной эстетики. Так как шабли цветом белее, то — для прозрачности... А коль скоро ты сомневаешься в широте моей души...

Насилу его удержали. Потому что уже скомандовал было молодцам своим:

— Выкачивай шабли! Тащи шампанского!

Только тем и отговорили, что «рыбки» уже совершенно пьяны — «заснули» — и пускать их в шампанское больше нельзя: «играть» не смогут. И только вино испортят, а удовольствия никакого. Согласился.

— Хорошо! Значит, верите мне на слово, что я это могу?

— Верим! Верим!

— Ну так знайте же, что я и еще больше могу!

С этими словами берет в углу оранжереи заступ или лом какой-то, да — как развернется, хватит...

Дзззинь — гррр! Дзззинь — грр!.. Стекло из аквариума к черту, и хлынул винопад... Сотня-то ведер!.. Все потопил... Самого его, дурака, чуть не залило.

Гости бегут, ругаются, вино — по колено, тысячные растения пропали, нижние стекла в оранжерее напором вина высадило, во дворе каскады полились... Что этот Бастахов себе убытку в одну секунду наделал, многими тысячами считать надо. А он хохочет и рад:

— Понимаете-ли вы теперь меня? Я — сверхчеловеческий человек белокурой расы!

Между тем у самого бородища черная-пречерная: Пугачев живой!..

Редко когда-либо я видала Адель такою веселою, как когда мы ехали от этого Бастахова назад в Питер. Значит, уж чисто ограбила человека, — отвалил, не пожалел!

(Факт сей относится к 1895 году. Герой его умер лишь недавно в Ницце, в глубокой нищете, еще задолго до революции совершенно разоренный игрою. Существовал на жалкую пенсию, которую выплачивал ему игорный дом в Монте-Карло. 1928.)

XXIV

— Фи! — возмутился Mathieu le beau, — какое дикое безобразие! Ох уж эта Москва!

— Ну, знаете, и в культурном Петербурге не лучше... Еще не похуже ли?.. Есть такие фокусники-чудодеи, что Москве и не снились... Князь Мерянский, например... Не знаете?

— Один Мерянский, Гриша, был со мною в Правоведении. Неужели он?

— Нет, того звали, помнится, Валерианом... А у нас он был «вечным шафером» и «похитителем невест»... Ужасный был комедиант. Когда он меня заприметил в театре, то Рюлина с Аделью прежде чем нас свести, целых три дня учили меня, как и что надо, чтобы этому полоумному угодить. Знаете, и смешно было, и страшно. Сшили мне венчальный туалет, одели. А он, Мерянский этот, является как будто бы шафер — везти невесту к венцу. С дорогим букетом, изящный такой, tiré a quatre epingles *, но — на лице — трагический мрак. Хорошо. Полина Кондратьевна и Адель разыгрывают чувствительнейшую слезную сцену, словно, в самом деле, дочь и сестру венчаться провожают. В карете этот тип удивительный начинает обясняться мне в любви. Я возмущена:

— Как, князь? Вы делаете декларацию невесте вашего лучшего друга — в тот самый час, когда она готова стать его женою и произнести обет вечной верности?!

— О, да! Я подлец! я знаю, что я подлец и совершаю предательство, которому нет имени! Но страсть моя сильнее меня! Пусть гибнет дружба, пусть гибнет моя честь, но ты должна быть моею! Не в церковь я везу тебя, где напрас-

* Щегольски одет (*фр.*).

но ждет обманутый жених, а в свой загородный дворец, где ты будешь хозяйкой и царицей...

Я сопротивляюсь, осыпаю его упреками, он настаивает, разливается в красноречии. Наконец, я колеблюсь, убеждена, сдаюсь, — робко признаюсь, что сама давно его люблю и, если выхожу замуж за другого, то лишь потому, что он-то не являл мне своих чувств и не сватался... Ну, дикие восторги, блаженство и упоение...

— Итак, бежим?

— Бежим!

На Островах он имел, действительно, дворец не дворец, а дачу — каких мало. Прожила я у него трое суток и впрямь в царицах. Чего хочешь, того просишь, обхождение самое рыцарское, прислуга рабствует. Но я все время настороже, потому что в первый же день его дворецкий улучил минутку предупредить меня:

— Вы, барышня, поглядывайте за ним, чтобы не испугал он вас врасплох. Он ведь у нас трагедчик, любит себе страшные представления давать. Все — ничего, но как скоро вы заметите, что начал он от зеркала к зеркалу ходить, за волосы себя трепать, глазами ворочать и бормотать разные оскорбительные для себя слова, то вы старайтесь тогда уйти от него незаметно, и мы вас спрячем и благополучно выпроводим. А то может быть нехорошо.

Потому что это, видите ли, обозначает, что он уже пресытился преступною любовью, впал в раскаянье, мучится угрызениями совести и жаждет искупить свой ужасный грех...

Все это обещанное он разыграл, как по-писаному. Но я, по любопытству посмотреть подольше, как он ломается, пропустила удобный момент, когда благоразумно было уйти. А он уже заигрался до того, что врет:

— Ни я, ни ты недостойны жить! Неумолимый рок нашей крови требует! Умрем вместе!

И, глядь, у него в руке — револьвер!

Я — как завизжу и бежать! А он мне вслед — бац! бац!.. Не помню, как я очутилась в какой-то каморке под лестницей... Сижу и трясусь... А наверху — опять выстрелы, рев какой-то звериный, топот многих людей...

Немного времени погодя приходит этот самый дворецкий. Я — в ужасе:

— Что у вас там? что случилось?

Он — совершенно спокойно:

— Ничего особенного. Не извольте беспокоиться. Князь застрелился.

Я обомлела и не знаю, как на него смотреть: что он, говоря такое, дурак или изверг?

А он хохочет:

— Он у нас раз десять в год стреляется. Не бойтесь: нас с вами переживет. Здоровехонек. Сейчас мы его связали и спать уложили. Уже задрых. Завтра приедет профессор Томашевский, приведет его в чувство...

— Значит, слава Богу, обошлось благополучно? он себя не ранил?

Дворецкий еще пуще — в смех:

— Помилуйте, как же он себя ранит? Хоть и полоумный, а тела-то своего белого барского, чай, ему жалко…

— Ничего не понимаю! Вы же только что сказали, что он стрелял в себя?

— Ну да: в зеркало стрелял. Вот на зеркала у нас, в подобных случаях, действительно, большой расход. Сегодня разошелся, — уж очень вы его в фантазию ввели, — штук шесть перекрутил простенных да трюмо... Что ему стоит — от миллионов-то?

— Однако по мне-то он стрелял не в зеркало?!

— А это уж вы сами виноваты, что долго с ним задержались... Я вас упреждал... Да это ничего, вы не жалейте, что страха набрались: он за это особо заплатит... господин щедрый, с пониманием...

— Это прекрасно, но ведь он попасть мог.

— Гм... случалось, что и попадал...

— Как же тогда?!

— Счастьем везло, что легко, без увечья, по мякотям... Ну тысячи три-четыре в зубы, — еще и рады: хоть опять стреляй... Маргариту Михайловну знаете?

— Которую? «Тебя, мой друг Марго»?

— Вот-вот... Которая жандармского полковника подвела под растрату и суд... Спросите у нее, за что она от нас пенсию получает... Пятый год княжая пулька в ней катается...

Я в негодование пришла:

— В самом деле, этого бешеного вязать надо, только, к сожалению, вы это делаете слишком поздно!

— Никак нет. В самое время. У нас рассчитано. Ежели скандал не до конца, так он обидится и не дается. А как вошел в удовлетворение и стал от своего безобразия изнемогать, тут его бери и крути. И чем крепче, тем он больше доволен... Это у него в программу входит.

Не знаю, сколько сняли с «похитителя невест» Рюлина и Адель за мое похищение, — должно быть, много, потому что и я получила очень хорошие подарки. А все-таки я искренно счастлива была, что эта трагикомедия не могла повториться: женщину, однажды через нее прошедшую, «вечный шафер» уже никогда больше не брал и даже, встречая, делал вид, будто ее не знает...

— Слышали? вот вам и петербуржец! Нет знаете, нашей сестре, безответно подчиненной мужским капризам, все равно плохо: что без культуры, что в культуре!

Полицеймейстер крякнул-поддакнул:

— Н-да-с. Профессия, можно сказать, енотовая.

(Эпизод о «Вечном шафере» сообщен автору известным петербургским психиатром, проф. Брониславом Викентьевичем Томашевским, под присмотром которого этот психопат находился многое время. 1928.)

XXV

До появления в Петербурге гонимого козлом немецкого миллионера участие Марьи Ивановны в операциях госпожи Рюлиной ограничивалось по-прежнему ролью soupeuse, — ужинающей и прожигающей жизнь демивьержки, для богатых холостых компаний и — новенькое — фигурантки для «живых картин» в афинских вечерах, которыми развлекались граф Иринский и другие маститые гости генеральши *).

— Что же вы представляли? — с оживленными глазами заинтересовался Mathieu.

Марья Ивановна посмотрела на него с презрительною злостью и нетерпеливо дернула плечом.

— Что я вам буду расписывать, — что? Разумеется, не «Пострижение монахини» и не «Первый день в школе»!.. Ведь рассказывала я вам, какая живопись висела по стенам у Рюлиной... Ну, эти самые милые сюжеты и воспроизводились.

— Ах, это — как намекала вам ваша подруга?

— Да, Ольга Брусакова... Если бы я тогда понимала!

— Неловко это? — с деловою прямолинейностью задал вопрос полицеймейстер.

Марья Лусьева бросила на него уничтожающий взгляд и сказала сквозь зубы:

— Попробуйте!

Полицеймейстер крякнул и не нашелся ответом.

— Нет, что же? — выручил его Mathieu le beau. — Тигрий Львович данных для того не имеет... Вы уж лучше про себя!..

При первом своем «дебюте» Маша участвовала в группе «Трех Граций» — с Люцией и с какою-то совершенно безмолвной на всех языках, не исключая родного, шведкою, ко-

*) Ломброзо, 419 Parent-Duchatelet, 118—121. Корнич, 35.

торую Лусьева видела только однажды в жизни, — именно вот в этот вечер и на этом «спектакле».

— Я не имела духа выйти: так было ужасно, позорно, скверно... Стою, уже убранная и причесанная по-гречески, как надо, — сама Полина Кондратьевна голову убирала, — стою перед дверью этою проклятою, зубами стучу, лихорадка колотит. Ну вот не могу перешагнуть в ту комнату и не могу!.. Полина Кондратьевна, Адель стараются около меня — просят, приказывают, злятся, грозят... не могу! А бить не смеют... зубами старуха скрипит, а ни щипнуть, ни ударить нельзя: если зареву, — гостям будет слышно, граф губу оттопырит, что mauvais genre *, — дерутся! Да и как же потом будет меня выпустить — заплаканную? Ведь комната — не сцена: все видно, каждый синяк, всякая царапина на теле обозначится; а если за волосы, — прическу смять должны... Ольга тут тоже, — она в тот вечер «Запарилась» изображала, картину художника Матвеева, — сама в три ручья плачет надо мною, а умоляет: «Все равно уж, Машенька: если ты на это пошла, то судьба такая... надо начать! Ободрись, — что тянуть-то? Перед смертью не надышишься!.. Ступай!..» Нет, не могу. Ноги — точно ватные, колени гнутся... Они меня — валерьяном, они меня — шампанским, они меня — коньяком... Ничего не помогает: нет сил, и шабаш!.. И вдруг — Люция влетела?.. Злая, красная, огромная... «Долго еще, — кричит, — эта невинность ломаться намерена? До утра, что ли, я, по ее милости, мерзнуть буду?..» И затопотала на меня пятками... Никто еще в жизни на меня не орал... У меня кровь так к вискам и хлынула! Света я не взвидела! Ни стыда, ни страха не осталось в глазах! Завизжала что-то ей в ответ и сама не помню, как выскочила за дверь, как очутилась в той комнате, перед занавескою, как стала в позу... — вся в электричестве... Люция после

* Неприлично; букв.: дурной вкус, тон (*фр.*).

удивлялась: «Ну и обругала же ты меня, девушка! Откуда слова взяла?..» А я не помню... Потом легче стало, привыкла, некоторые картины даже самой нравились... Я больше в Тициане имела успех... Уж очень хвалили меня: и богиня-то я, и статуя, и мрамор живой... Что же? Со всем освоиться можно. Балерины привыкают же, актрисы тоже, которые в оперетке и в феериях... Разница не велика. И публика у нас бывала та же самая, — только что меньше ее, да в комнате, а то весь балетный первый ряд!..

(Генне-Ам-Рин, 32. — Историю «живых картин» я изложил с давнего рассказа первоклассной опереточной звезды, которая имела несчастие состоять в кабальных отношениях к их устроительнице, — надо думать, не долговых, потому что женщина эта сама зарабатывала от сцены немалые тысячи и в средствах не нуждалась. Я имею право говорить об этом случае, потому что он когда-то был сообщен мне его героинею с предисловием: «Вот напишите повесть о моей жизни». В лапы «генеральши» (обобщаю в данном случае кличку нарицательно) она попала еще консерваторкою через... торговку-разносчицу, у которой покупала кружева и которая в Москве семидесятых и восьмидесятых годов была, оказывается, своего рода знаменитостью.)

XXVI

— И часто мучили вас подобными спектаклями? — спросил полицеймейстер.

— В месяц раз пять или шесть, не больше... это очень дорогая забава.

— И все было шито-крыто? Полиция не беспокоила?

Лусьева пожала плечами и окинула полицеймейстера язвительным взглядом, под которым тот невольно опустил глаза и даже как будто слегка покраснел бурым румянцем.

— В самом деле, — опять поддержал его Mathieu le beau, и на этот раз очень некстати, — в самом деле, не могла же полиция не знать, что в доме госпожи Рюлиной происходят

оргии... ну, хотя бы только подозревать, наконец... Достаточно подозрения, чтобы вмешаться.

Лусьева возразила медленно и ядовито:

— В присутствии господина полицеймейстера, чтобы не обидеть его мундира, я отвечу вам на это только одно: и уши, и глаза одинаково могут быть золотом завешаны.

Полицеймейстер угрюмо промолчал. Лусьева продолжала, злорадно торжествуя:

— Много я чудес видывала на веку своем — чуда не видала: полиции, которая взяток не брала бы... Присутствующие, конечно, исключаются.

— И по вполне заслуженному праву, — любезно заметил Mathieu le beau, — Тигрий Львович известен своим рыцарством и бескорыстием.

— Уж не знаю, известен я или нет, — проворчал полицеймейстер, — а только что не беру-с, — это верно. Не беру.

— Так за вас кто-нибудь берет! — хладнокровно возразила Лусьева. — Вы-то, может быть, не берете и даже не хотите брать, но — оглянитесь хорошенько назад: уж наверное найдете какого-нибудь притаившегося человечка, который за спиною вашею дерет с живого и мертвого. Может быть, даже и от вашего имени... Не бывает, что ли? Какой же обыватель поверит, будто полицеймейстер может быть феникс бескорыстный? Только постучись да скажи, что надо для полицеймейстера, — никто не усомнится, всякий даст. А уж особенно у кого хвостик замаран. Кто вином без патента торгует, игорный дом держит, промышляет тайною проституцией... Эх вы! Меня сам Зволянский *) в ванне с шампанским купал, а вы хотите, чтобы Рюлина боялась полиции!..

Полицеймейстер густо кашлянул и возразил тоном строгим, но не слишком решительным и твердым:

— Не все же таковы, сударыня...

*) Директор департамента государственной полиции конца девяностых годов.

Лусьева злобно засмеялась...

— Нет уж, знаете, каков поп, таков и приход. Что-то я праведников-то в сером пальто с серебряными пуговицами не много видала.

— Я не решусь отрицать... К сожалению, вы правы: этот порок распространен в нашем ведомстве, и некоторые из моих коллег и сослуживцев, действительно, обличались в потворстве торговцам живым товаром... и даже... гм... как ни грустно сказать, даже в соучастии...

— Чего там — в соучастии? — грубо рванула Лусьева. — Кому же и знать, если не вам? В Кронштадте Головачев, в Николаеве Бирилев, на чужое имя, прямо открытые публичные дома держали...

— Н-да, — подтвердил Mathieu le beau, играя карандашом, — это было… я читал...

— Вы мне лучше вот скажите, — настаивала Лусьева. — Ваша полиция проштрафляется часто, и тогда ее ревизуют из Петербурга. Так вот — была ли хоть одна такая ревизия, чтобы не открыла она печек и лавочек-то этих, связей и дружества между полицейскими и притонами, в которых развратом торгуют? Ведь это же главный полицейский доход. Разве вот — игорные дома и клубы еще больше платят. Без покровительства и потворства полиции, конечно, Рюлиной не просуществовать бы и дня. Но кому же из полиции было поднять на нее руку, если она сыпала тысячами? И — если бы вы знали — в карманы каких тузов! Кому в охоту лишиться этакого постоянного дохода и закрыть себе этакую верную кассу страховательную против черного дня? Проворуется туз полицейский, надо пополнить растрату, — к кому бежит за деньгами? К «генеральше»! Отдали полицейского под суд, грозит ему предварительное заключение, следователь требует залог, — опять Рюлина выручает, либо Буластиха, либо Перхунова, либо Юдифь... Неправда, что ли? *)

---

*) Дальтон, 75. Елистратов, 28, 29, 290. Канкарович, 84. Рубиновский, 22, 23.

XXVII

— Не то чтобы неправда, — слабо отбивался угрюмый полицеймейстер, — но уж слишком вы обобщаете. Конечно, дружество бывает. Даже часто. Но ведь подобные дружества весьма непрочны, — до первой ссоры-с... И тогда...

— Что же тогда? Все переплетено в неразрывность, в круговую поруку. Топить этакую «генеральшу» для полицейского значит утопить, за компанию, самого себя. И для «генеральши» тоже — подвести полицию под следствие — уж чего бы легче! — да ведь вместе и самоё себя увязишь в уголовщине так, что потом уж и не вылезть... Вы думаете, не бывало доносов? И анонимные письма посылались, и девушки некоторые, из смелых, прямо к властям обращались за защитою... Ничего! Сама же полиция и предупреждала тогда Рюлину, что, мол, — остерегись маленько! держи ухо востро!.. Ну, и выходила «генеральша», по секретному дознанию, белоснежною голубицею, а донос оказывался клеветою... А всего чаще подобные извещения прямо складывались под сукно, а то и бросались в корзину. Одна хохлушка, Галею звали, — бойкая была, — чуть-чуть не подвела нас под прокурора. Что же? Правда, пришлось-таки Полине Кондратьевне порастрясти банковые вклады свои, но зато полиция живо обернула дело вокруг пальца, и, в конце концов, следствие осталось с носом, хохлушку признали нервнобольною, психопаткою, и «генеральше» же отдали на попечение...

— Жутко, поди, пришлось бедняжке? — спросил Mathieu le beau.

— Нет, ничего. Старуха была уж очень напугана, опасалась тиранить, чтобы не повторился скандал. Хоть и обидно ей было, а все-таки поторопилась сплавить Галю в провинцию... там она, говорят, даже замуж вышла... Вот тебе и сумасшедшая!

Голос Марьи Ивановны, когда она рассказывала о мнимом сумасшествии Гали, зазвучал каким-то неопределенным испугом, и глаза сделались странные, подозрительные, с бегающим в глубине их тревожным светом.

Полицеймейстер посмотрел на нее и подумал: «Сама-то ты, сударыня, что-то — как будто — не совсем того... не совсем в равновесии».

А Лусьева оправилась и продолжала:

— Когда полиция заинтересована в деле, то — хоть семь министров на то дело войною пойди: все останутся в дураках. Как же! Следили ведь за ними в то время, как Галька-то нажаловалась… усиленно следить было велено. Кто вошел, кто вышел, все было известно. Ну и в конце концов что же могли уследить? Живет себе богатая вдова, Полина Кондратьевна Рюлина. Живет на доходы с капитала. Интимно близка к графу Иринскому, одному из богатейших и влиятельнейших людей в Петербурге. Тогда-то у госпожи Рюлиной был завтрак, обед или ужин, на котором присутствовали граф Иринский, Сморчевский, Фоббель… слава Тебе Господи! не маленькие люди! за шиворот их, так вот с бухты-барахты, ни село ни пало, не возьмешь! А у нас и куда громче и властнее гости зауряд пировали... Иногда, бывало, такое светило блеснет на горизонте нашем, что вся обомлеешь перед ним, дрожмя дрожишь от страха, уж и не знаешь, как его титуловать... Одна Люська у нас на этот счет была дорогой человек — бесстрашная: хоть китайского богдыхана или шаха персидского ей предоставь, — и с тем будет запанибрата!

Полицеймейстер проворчал, все еще не сдаваясь:

— Доносы иногда залетают на великие высоты, — тогда полиции уже не до попустительства-с: каждому надо свою шкуру спасать, покуда не погиб, как червь, за одно уже незнание и неслежение.

Лусьева отрицательно мотнула головою.

— Нет. Относительно Рюлиной полиция всегда осталась бы права. С какой стати было ей следить за квартирою «генеральши»? Какое может быть дело полиции до гостей в частной аристократической квартире? Ведь не политикой занимались. Откуда подозрения? Рюлина никогда не была на дурном замечании. Знакомства у нее — блестящие. Скандалов громких у нее не случалось. Что же полиции? Часть города, где был наш дом, — самая шикарная. Пять-шесть человек гостей — не сборище какое-нибудь, даже если бы и каждый вечер, а у нас — редко больше двух раз в неделю, а чаще — один раз. Журфиксы тоже у всех бывают: не на что полиции обратить внимание, хотя бы и несколько карет у подъезда... Да и говорю вам: не такие люди нас посещали, чтобы очень бояться полиции. Наоборот: пред большинством наших гостей полицию лихорадка била.

— Ну, если бы, — вмешался Mathieu le beau, — если бы случилось все-таки нечто, — хотя, по-вашему, и невозможное? Вообразите себе счастливо попавший донос, который возымел действие с быстротой молнии, — местная полиция не успела ни слова шепнуть вашей Рюлиной, потому что сама попалась врасплох, — и производится внезапная облава? Ведь в таких случаях даже принято употреблять в дело полицию не местную, которая может быть заинтересована или куплена, но — нарочно берут — чужую, командированную из далеких окраинных районов.

Лусьева с уверенностью возразила:

— Ничего не нашли бы. Разве что — перевернуть вверх дном весь дом, разобрать несколько перегородок, ободрать обои, сломать две-три стены. Эта комната, — гобеленовая, — где мы давали представления, была настолько хорошо замаскирована, что мы сами, девушки, — без Полины Кондратьевны и Адели, — днем не находили в нее входа...

— А пресловутые картины на стенах?

— Они висели в другой части дома: то была совсем особая квартира, снятая на чужое имя... Наш дом был неболь-

шой, трехэтажный, всего в восемь квартир. И все они были заняты Рюлиною на разные имена, и во всех жили подставные хозяева... тот же Ремешко, например, факторша одна из светских, вообще господа и госпожи в таком роде... На имя же самой генеральши было записано только небольшое помещение нижнего этажа с окнами во двор, — очень простенькое, небогатое: обыскивайте его, сколько хотите! Там она принимала людей, которые приходили к ней не по торговле, и незачем им было видеть верха... Мой отец, например, был очень удивлен, когда побывал с визитом у Рюлиной. «Что же ты, Маша, говорила, будто Полина Кондратьевна уж очень хорошо живет? Ничего особенного, обыкновенная самая обстановка, видать, что женщина не бедная, но деньгами вокруг себя на роскошь не швыряет».

— Однако, сколько видно, она рисковала огромными расходами?

— Да. Я знаю наверное, что эти восемь квартир стоили ей тринадцать тысяч рублей в год, и, если бы домохозяин набавил вдвое, пришлось бы заплатить *). Хозяйкою той квартиры, где давались «живые картины», считалась старушка, дальняя родственница Адели... даже и не помню уже, как ее звали!.. Я долго — до тех самых пор, пока не поселилась у Рюлиной совсем, принимала ее за экономку какую-нибудь или, как говорится, «чуланную приживалку»: хрюзьба, из ума выжившая!.. Вот ей бы и пришлось отвечать в первую голову, если бы случился донос и обыск. Тоже очень хорошее жалованье имела **).

XXVIII

Захваченная рюлинскою мышеловкою, Марья Лусьева утонула в мутном омуте, который со дня на день все крепче

*) Дороговизна подобных квартир: Кузнецов, 34.
**) Parent Duchatelet, 474, 475. (Квартиры на чужое имя.)

сковывал ее ноги втягивающей вглубь тиной. По возвращении из путешествия со «стальным королем», ее телом стали торговать уже систематически, как товаром, дорого таксированным, но в предложении по спросу. На беду Маши, в недрах особняка произошла некоторая бурная революция. Из кабалы у генеральши вырвалась на волю, с большим для Рюлиной ущербом и на этот раз в самом деле не без великокняжеского участия, козырная дама колоды, та самая Юлия Заренко, о которой Адель когда-то рассказывала Маше, что она разыгрывает из себя Фрину и так слывет в городе. Маше пришлось занять ее место и, таким образом, повыситься как бы в примадонны генеральшина персонала.

(Кличку «генеральши» для Рюлиной я взял из Москвы, где под таким именем очень долго процветала Рюлина своего рода, в гостиной которой золотая молодежь и мышиные жеребчики имели самые неожиданные дамские встречи. Притоны ее помещались на Никитском и Рождественском бульварах. Фирма передавалась в трех поколениях, причем утверждали, что с первой «генеральши» покойный Всеволод Крестовский написал свою фон Липпе в «Петербургских трущобах». Кузнецов, 246. — Заграничные примеры (процессы Леруа, Рисбахский, Ростерт и др.) см. у Генне-Ам-Рина. Когда я впервые печатал «Марью Лусьеву», в московских газетах появилось интересное сообщение о доме свиданий в Николаеве, устроенном похоже на то, как описана у меня торговля «генеральши» Рюлиной. Южные газеты, перепечатывая известие, прибавляли, что подобное lieu de retraite aristocratique * имеется и в Одессе: были даже поставлены инициалы коммерсантки, им промышляющей. По справкам моим у одесситов, инициалы эти очень популярны в городе. А вот что писал мне по этому поводу одесский журналист А. Чивонибар (автор интересной книги «Каторга. Тюрьма. Голод»): «Дома свиданий, о которых вы спрашиваете, существовали и существуют в Николаеве и Одессе. Полиция знает и... пока нет скандала, молчит. Содержательницы «домов» соблазняют девушек и замужних женщин обещанием выгод, — капиталов, бриллиантов и пр. — и эксплуатируют их. Девушки и дамочки — так называемые «частные», приходящие. Они — при родителях или при муже; получив записку, отлучаются на «дело». Дороговизна жизни, желание красиво одеваться и вообще

* Притон; букв.: уединенное место, приют аристократа (*фр.*).

все более устанавливающаяся «свобода нравов» способствуют умножению числа тайных «честных» проституток. Содержательница одесского дома свиданий Г — берг. О ней была напечатана корреспонденция в «Русск<ом> слове» Дела в суде оканчиваются штрафом или арестом (небольшим); на днях в Одессе супружеская парочка оштрафована по 50 р. за это занятие. 21 сентября 1903 года». См. также книгу одесского журналиста Кармена — «На дне Одессы». Ростовские и екатеринославские газеты в 1902—1903 году оглашали подвиги какой-то кочующей «баронессы». Таким образом, зло это оказывается повсеместным в больших русских городах, принимая только разные размеры и окраски.)

Специальностью «генеральши» была торговля исключительно «порядочными» женщинами хорошей репутации, стоящими вне подозрений в продажности. Главным орудием вовлечения их в разврат являлся систематический шантаж, — разнообразный, вкрадчивый, повелительный, беспощадный. Агентов, агенток, факторш, «ходебщиц», собственных сыщиков и сыщиц имелась в распоряжении Рюлиной очень изрядная армия, — и дорогая. Были у нее слуги на постоянном жаловании, были на сдельной плате. Одни жертвы ловились на любовь, на обманы обещанием жениться, другие затягивались в тенета деньгами, кредитом, векселями, третьи порабощались каким-либо уголовным секретом, четвертые, наконец, просто приводились к убежденно, что, при условии мертвой тайны, которую обещала им, и действительно сохраняла Полина Кондратьевна, ремесло продажной женщины нетрудно и доходно. К таким принадлежала Жозя. Но их в рюлинском гареме было меньшинство, и «генеральша» не ценила их высоко.

— Подобные особы слишком легко перескакивают в откровенные кокотки. А мне кокотка — ни к чему: она только цену сбивает и моих компрометирует. Я с кокотками рук марать не хочу: я работаю порядочным товаром *).

Старая ведьма была положительно гениальна по умению создавать «порядочные» обстановки и условия даже для

---

*) Мартино, 66, 67. Кузнецов, 89. Канкарович, 84, 87. Commenge, 60 — 64.

самого шального, разнузданно-продажного разврата: угостить и утешить клиента, и оберечь свою рабыню.

— Уж у меня этого быть не может, как у других, — гордилась она, — чтобы муж жену сюрпризом встретил или знакомый знакомую опознал. Никаких дурацких альбомов и смотрин на удачу! *) Я все заранее в расчет принимаю. Мне о каждой моей и о всяком клиенте всегда вся подноготная до последней порошинки известна.

Всего в кабале у нее было от пятнадцати до двадцати женщин, рассеянных в разных концах Петербурга и рассыпанных по разным общественным слоям, начиная снизу, — сбитыми Питером с толка деревенскими девками, вроде вот этой песенницы без голоса, а плясуньи без грации, которую прихоть столичного разврата возлюбила под именем «горничной Люськи», — и, кончая вверху, — превосходительною супругою очень видного чиновника, известного своею неподкупною честностью и бедного не по месту, которое он занимал. Супруга очень любила мужа, имела на него большое влияние, но аристидовых правил его не разделяла и тайком побирала взятки, паче всего на свете трепеща, что муж когда-нибудь и как-нибудь о том прослышит. На этом именно и поймала ее одна из доверенных факторш Рюлиной. Чиновнице дали крупную взятку за дело, о котором знали заранее наверное, что она будет бессильна его провести; затем выждали, когда она профинтит деньги и окажется без гроша, — и тут-то приступили: либо подай немедленно всю сумму, либо будем жаловаться мужу. Перетрусившая дама заметалась по Петербургу в поисках кредита и тотчас же нашла его: благодетельная рука другой факторши направила ее к Полине Кондратьевне, а та уже сумела окружить рыбку со всех сторон своею крепкою, шелковою сетью. С тех пор чиновница, — вот уже который год, — получает время от времени

*) Мартино, 142. Кузнецов, 37.

от Рюлиной любезно-условные предписания и в ответ на них, не смея и пикнуть против, садится в карету и скачет, куда велено, с такою исполнительностью, как Ольга, Жозя, Люция и Маша.

(Случай этот перенесен мною в Петербург из Одессы, где его свидетелем был В.М. Дорошевич. Но впоследствии я имел наглядные доказательства, что подобный подпольный полусвет des lionnes pauvres * имел не одну жертву или жрицу среди дам петербургского бюрократического круга 1910 — 1918 гг. Что творилось хотя бы вокруг пресловутой Ольги Штейн! 1923.)

XXIX

ЛЮЦИЯ

1

Видную и статную ярославку Люцию и впрямь на Никольском рынке подхватила одна из агентш Рюлиной ровно через двенадцать часов после того, как девушка прибыла в Питер на заработки, в стае товарок-«аравушек» из далекого Пошехонского захолустья. В чумазой, еще не опомнившейся от железнодорожной тряски и уже ошалевшей от столичного шума и толпы шестнадцатилетней девчонке, неуклюжей до того, что больше походила на медведицу в платье, чем на женщину, зоркие глаза опытной сводни угадали скрытую своеобразную красоту.

Отправленная нищею семьею в Питер, Лушка Куцулупова, подобно другим «белохребетницам» (такою кличкою дразнят этих весенних странниц, по белым мешкам, которые они несут за плечами), не мечтала найти в столице что-либо луч-

* Жалкие львицы (*фр.*).

ше поденщицы на черную работу по огородам. Вместо того, к своему изумлению и восторгу, неожиданно очутилась прислугою в уютной вдовьей квартирке на Петербургской стороне у ласковой хозяйки, которая принялась баловать ее, словно дочь родную. Вымыла, вычесала, вычистила, выгладила, принарядила и повезла на смотрины к Адели и Полине Кондратьевне. Те одобрили товар и приказали дрессировать и шлифовать девку дальше.

В какие-нибудь два месяца из тощей, загорелой, черноногой деревенской навозницы выработалась белорукая, белолицая, пышная девица, настолько привлекательная в наколке и переднике столичной франтихи-горничной, что Полина Кондратьевна как увидала Лушку в этом одеянии, так сию же минуту и прикомандировала к своей особе:

— Замечательно удачно! Лучше быть нельзя. Как раз то, что надо для любителей s'encanailler *. И Фоббель влюбится, и Сморчевский растает, и Панамидзе с ума сойдет.

И вот вошла Люция (уже не Лушка) в ласковый вертеп на Сергиевской якобы служанкою, блаженно недоумевая, что это за удивительный город такой этот Питер? Ежели в нем подобное золотое житье горничных, то каково же бриллиантово живется госпожам? Ела, пила, франтила, труда почти никакого, развлечений — сколько хочешь. Едет Адель в театр, кататься на Острова, выходит на прогулку, — Люцию берет с собою провожатой. Не житье, а масленица!

Восхищенная, переполненная признательностью, девушка смотрела на своих благодетельниц, Адель с Полиной Кондратьевной, как на вочеловеченные божества какие-то, всемогущие в беспредельной доброте, непогрешимые в беспредельной мудрости. Весь деревенский смысл и пошехонские правила перевернулись в ее одурманенном умишке вверх дном. О темной далекой семье, о тяжком черном труде вспомнила с ужасом

* Якшаться со всяким сбродом (*фр.*).

и стыдом: как могла терпеть — губить себя в такой низости? А в госпож уверовала слепо и приковалась к ним собачьей преданностью, без рассуждения. Что Полина Кондратьевна с Аделью велят, это, значит, хорошо, что запрещают, — дурно. Делай, что приказывают; спорить, возражать — ты против них умом не вышла.

2

Доведенную до того градуса восторженного повиновенья, что велят убить — не задумавшись, убьет, велят с крыши прыгнуть — прыгнет, ее, с величайшею легкостью, продали какому-то наезжему нефтянику-армянину. И подвели так ловко, что Лушка-Люция и винить хозяюшек не могла в своем падении: вышло, будто сама сдурила — отдалась в подпитии.

Это приключение смутило было Люцию, она струсила: «Пропала теперь моя головушка!» Однако была уже достаточно развращена городом, чтобы решить, что снявши голову по волосам не плачут, и, лишь бы генеральша с Аделью на нее не гневались, а то — жила без греха, проживу и в грехе. Когда же из тысячи рублей, заплаченных армянином за Лушкину невинность, щедрая генеральша отсыпала красавице целую сотенную бумажку для отсылки родителям в деревню, девка сразу утерла недолгие слезы. Этого ей и во снах не снилось, чтобы можно было так легко добывать этакие деньги.

К тому же и жизнь ее после падения, чем бы ухудшиться и омрачиться, изменилась еще к лучшему. Теперь уже только слава осталась, будто она горничная: Полина Кондратьевна с Аделью приказывают держать кокетство такою модою. А, на самом-то деле, никакого различия с прочими рюлинскими дамами и барышнями: кто ей «вы» тем и она «вы», кто ей «ты», получай и от нее «ты»... Она уже очень хорошо понимала, что хозяйки дорожат ею гораздо

больше, чем многими из своих благородных и образованных кабальниц, и слепая благодарность, и преданность ее к негодяйкам, обратившим в товар ее прекрасное тело, не уменьшалась, но росла. С живыми картинами ее совесть очень легко примирило то обстоятельство, что на первых порах, пока не привыкла, с нею вместе выступала Адель, а генеральша уже всенепременно сидела зрительницей и восхищалась. Ну, раз Адели не стыдно, то чего же ей-то, Люции-Лушке, стыдиться? Быстро вошла в колею!

3

Когда Марья Ивановна попала в кабалу к генеральше, Люция служила Рюлиной уже пятый год и, после Адели, была в страшном доме наиболее доверенным лицом. И, при всем своем природном добродушии и веселье, может быть, самым опасным — по бессознательной готовности и привычке быть машиною, движимою по заводу ее обожаемыми хозяйками. Марья Ивановна была с Люцией дружна и хороша, и, однако, знала, что, если Полина Кондратьевна завтра прикажет этой Люции избить ее до полусмерти, девка не поморщится, изобьет, да еще и с нотациями, с руганью: «Не серди ангела-генеральшу!»

Силищи она была непомерной и совершенно избавляла Рюлину от неприятной необходимости держать в комнатах мужскую прислугу, которая, в случае какого-либо скандала, могла бы сыграть роль вышибал. Но скандал в особняке на Сергиевской был делом редким, почти небывалым. Во-первых, не такая публика посещала генеральшин гарем, чтобы доводить свое безобразие до гласного скандала. А вовторых, уж если она принималась безобразничать, то платила за это удовольствие столь огромные деньги, что генеральша с Аделью, бровью не моргнув, наблюдали выходки, за которые любая хозяйка рублевого публичного дома приказала бы вышибалам выбросить гостя на улицу.

Зато сама-то Люция, как скоро напивалась, — а приключалось это часто, потому что проклятый дом разбудил в девке мирно спавший в крови ее наследственный мужицкий алкоголизм многих поколений, — становилась она на час-другой хуже всякого уличного буяна, и, покуда не проспится, лучше к ней и не подходи: взбесившийся слон какой-то!

А назавтра с ужасом вспоминает, чего она натворила и наговорила, плачет, просит прощения, валяется в ногах, с покорностью принимает брань и карательные генеральшины оплеухи. Пьянству своему Люция и сама была не рада и не раз умоляла Рюлину:

— Ваше превосходительство, да запретите мне вовсе пить. Я знаю, что, ежели вы мне запретите, я вина в рот не возьму.

Но запрещать для Рюлиной было не выгодно. Главным образом, из-за доходнейшего клиента, капиталиста-промышленника Фоббеля. Этот угрюмый швед, горький пьяница и, — черт его знает, то ли он был садист, то ли мазохист, — предпочитал Люцию и Ольгу Брусакову всем остальным «рюлинским», как единственных, способных без плутовства «выдержать его марку». Ради него, главным образом, и терпела еще генеральша Ольгу Брусакову, — иначе давно спустила бы ее с рук как подержанный товар, уже неприличный для первоклассной рюлинской фирмы.

В своем охотничьем домике за Лахтою Фоббель, вдвоем с Люцией или Ольгою либо втроем с обеими, пропадал иногда по несколько суток. Как проводились там дни и ночи, женщины не любили откровенничать даже пред подругами. Но за них красноречиво вопияли синяки и царапины, испещрявшие тела их. Впрочем, справедливость требует добавить, что и очень красивый, апостольски-бородатый лик Фоббеля, назавтра после лахтинских ночей, обычно забавлял питерский деловой мирок либо плохо закрашенным фонарем под глазом, либо расплющенным в лепешку носом. Швед нахо-

дил эти маленькие неприятности нисколько не мешающими большому удовольствию. В числе брелоков, болтавшихся на его часовой цепочке, он носил, в драгоценной оправе, свой собственный зуб, выбитый какою-то лютою негритянкою в Сан-Доминго. Как же было лишить этакого зверя такой зверихи, как Люция?

XXX

«ПОДВАЛЬНЫЕ БАРЫШНИ»

1

Очень заметным, почти господствующим элементом в персонале рюлинских кабальниц были «подвальные барышни»: тип, мало знакомый людям, чуждым былого петербургского быта.

«Подвальные барышни» — это девье население катакомб, простирающихся под колоссальными зданиями разных правительственных ведомств и учреждений: дочери, сестры, племянницы швейцаров, курьеров, департаментских сторожей и тому подобной служилой мелочи.

Женская иерархия служилого Петербурга делилась на три нисходящие категории: 1) «наши министерские дамы» (начиная супругою министра и кончая женою начальника отделения, включительно); 2) «наши чиновницы» и 3) жены (и, конечно, дочери и сестры) старших служащих. Эта третья — уже низшая каста, но все-таки какая ни есть, еще «каста». Подвальные же барышни развивались уже вне этой иерархии, во внекастовой бездне. Были даже не «прислугою ведомства», но лишь чем-то, семейно приписанным и числящимся «при» прислуге.

Служба мужчин, ютившихся, подобно гномам, в казенных подвалах, была хорошая: довольно легкая и обязательно

чистая. Она спокойно протекала в холодных, просторных, светлых залах министерств, в серо-голубых департаментских коридорах, на величественных парадных лестницах и подъездах. От людей, к ней допускаемых, требовалась, прежде всего, некоторая декоративность: внушительная, бравая наружность, опрятность, щеголеватость, — дабы человек видом своим начальство от себя не отвращал, а на публику не наводил уныния. Поэтому смело можно сказать, что население подземного Петербурга, по крайней мере, мужское, было из красивейших физически во всей столице и, конечно, производило таковую же породу — потомство. Не даром же, в самом деле, подвалы поставляли веселящемуся городу столько жриц демимонда и красивых балетных фей.

Декоративная служба создавала и декоративный семейный быт. Недавний мужик или отставной солдат — подвальный обитатель — переставал быть мужиком или отставным солдатом, как скоро удостаивался швейцарской ливреи или курьерского мундира с галуном ведомства. Он делался уже, так сказать, избранным и превозвышенным из всех мужиков и отставных солдат, сам себя в таком великолепии видел и мыслил, сам о себе так понимал. И того же высокого мнения о нем была семья, им кормимая: «Авдей Трифонович — не простой человек, не «вольный», он казенный. У него мундир, у него жалованье от казны, у него хоть угол, да казенная фатера. Ничего этого у простых и вольных не бывает, — стало быть, не простые и мы. Мы выше. Не господа, но почти как господа. А захотим натужиться, выжать из сундука деньги, — так будем и совсем, как есть, на господскую стать».

И тужились.

Дочери Евы одинаковы на всех ступенях общества, во всяком ранге и состоянии. Мода и подражание — законы, управляющие женским миром равно в шалашном стане папуасов и в раззолоченных дворцах европейских столиц. Мини-

стерские дамы копируют жен и дочерей министров, наши чиновницы — министерских дам, жены служащих — наших чиновниц и так далее, со ступеньки на ступеньку. Этот закон последовательности в подражании, дойдя до подвальной барышни, создавал и для нее искушение, повелительное до необходимости — «подходить под помощник-экзекуторову дочь». И так как помощник-экзекуторова дочь хоть и плохенькая, бедненькая, а все же «барышня»: училась в гимназии, играла на фортепиано, бывала в театрах и имела вечеринки на неделе, вроде журфиксов, «по причине женихов», — то и подвал тянулся из последних своих сил и средств, чтобы доставить своим барышням какие-нибудь суррогаты помощник-экзекуторских радостей. Двухголосный вой жены и дочери: ужли пропадать в необразовании? — весьма скоро заставлял самого неподатливого вахтера или швейцара раскупорить заветную небогатую кубышку. Да подвальные отцы и сами любили баловать свою молодежь и вести ее на господскую ногу.

Любопытно, что эти слуги казенных учреждений не любили и презирали слуг частного найма, избегали якшаться с «лакусами» и считали себя несравненно выше их как «людей продажных». Став слугою казенного учреждения, сторож или швейцар вполне уверен был, что он «в люди вышел», а детям его надо выходить уж в «господа».

2

В довоенном Петербурге многие воспитательные приюты, а из городских училищ некоторые, были поставлены так хорошо, что в последние десятилетия XIX века им стали доверять подготовительное догимназическое образование детей своих даже многие зажиточные и вполне интеллигентные семьи. (Заслуга, главным образом, незабвенного М.М. Стасюлевича!) Казалось бы странным: как, наряду с этими обстоятельными и хорошими школами, могли еще существо-

вать, — притом, не прозябая, но процветая, — разные шарлатанские «пансионы с музыкой», сравнительно даже недешевые? Кому они были нужны? Кто в них учился? Содержательница одного такого пансиона, дама необычайного ума и столь же необычайной бессовестности, отвечала на этот едкий вопрос с холодным цинизмом:

— Нужны всем, кому надо наменять на грош пятаков.

— То есть?

— Невеждам, которые хотят купить способность казаться образованными в течение пятиминутного разговора. «Хамкам», которые желают, чтобы их хоть на пять минут принимали за «интеллигенток».

«Подвальная барышня» была главною и постоянною поилицею-кормилицею таких обманных муштровщиц-педагогичек. Подите, бывало, в какой-нибудь петербургский клубный маскарад, — средней руки, из приличных. Если к вам подходила маска с довольно складною речью, любительница распространиться о чувствах языком переводного бульварного романа, охотница ввертывать в разговор заученные французские словечки с русским, но не совершенно скверным произношением и пересыпать громкие фразы стишками, с обязательным примечанием в скобках: «как сказал Бальмонт», «как, помните, у Брюсова», — вы могли держать верное пари, что вас интригует «подвальная барышня», недавно покинувшая «пансион с музыкой» и не успевшая позабыть его недолгую и нехитрую муштру. А для поверки стоило прислушаться: как только этакая маска разгорячится, увлекаясь своим умным красноречием, то и пойдут у нее скользить с языка предательские «тротувар», «ропертуар», «еронавт», «велисапед» и даже «фрыштик» — этот ужасный двухсотлетний любимец петербургских полунизов.

Журфиксы — помощник экзекуторовой дочки — для подвальной барышни были недостижимы по дрянности квартир и патриархальной старозаветности родителей. Но их заме-

няли Летний и Таврический сады, Александровский сквер, гулянья Михайловского манежа и Народного дома, позже — кинематографы. Была подвальная барышня, как голь, на выдумки хитра: знакомилась и дружила с хористками, статистками, швеями на театре, горничными актрис. А потому, поискать, то у нее всегда найдется в сумочке театральная контрамарка: она, что называется, легла и встала в цирке и кинематографе; она торчала, как своя, за кулисами, была вхожа завсегдатайницею в плохенькие клубы; капельдинеры контрабандно пропускали ее на свободные места:

— Только для вас-с, потому как знаю ваше упоение к искусству-с.

Она слышала Собинова, Шаляпина, обожала Северского, Вертинского, над ее кроватью были пришпилены фотографические карточки Насти Вяльцевой и «Асточки» Нильсен. На вечеринках у подруг она танцевала танго и кэк-уок. Следила по газетам, какие вышли в свет новые модные танцы, какие предвидятся сенсационные фильмы, а также — кто в «Петербургской газете» назван «о азар» из столичных красавиц на последнем посольском балу и в каких эти озорные дамы были туалетах.

3

Шаляпин отпел, танго оттанцовано... Домой! Короткая, волшебная сказка жизни кончена; ждет скучная, скверная, скудная правда. Подвальную барышню подвозят, — бывает, что на заводском рысаке, а то и, подымай выше, на ролсройсе, — к громадному корпусу «ведомства». Стыдясь перед провожатыми обнаружить свое плебейское жилье, она выходит на углу, бежит-ныряет в ворота, — и вот он вновь, родимый подвал!

О как он душен, грязен, тесен! как противно храпят за перегородками соседи! как тошны отголоски интимной се-

мейности, наполняющие эти вековые, промозглые от дыхания плебейских поколений своды!..

Лежит подвальная барышня на своей жесткой и не слишком-то опрятной постели, лежит бессонная, нервная, возбужденная, смотрит во тьму лихорадочными глазами, думает:

— Да, разве это жизнь?!

— Хрр... хрр... хрр...

— Марья... хрр... Маша... супруга... Машенька...

— Хрр... хрр... хрр...

— Жизнь-то там, откуда я сейчас пришла, а это — черт знает что! Не люди — свиньи... Как бишь Собинов пел-то? Да!

В блаженстве потонули...
В бла-жен-стве по-то-ну-ли...

— Опять подлецы грязным бельем весь коридор завалили? Продохнуть нечем...

— Хрр... хрр... хрр...

— Супруга... Машенька...

— Господи! Да неужели же на всю жизнь здесь? Нет, довольно! Нет больше никакой моей возможности! Уйду я от вас, свиней, уйду, уйду, уйду...

Куда? Да не все ли равно? Лишь бы туда, где нет храпящих, бормочущих, целующихся с женами соседей, не ревут благим ночным матом золотушные ребятишки, не пахнет мокрыми детскими пеленками и устоявшимися щами... Туда, где сияет электричество, гремит оркестр, ходят нарядные дамы, называемые «о азар», и мужчины в смокингах с гвоздикой или орхидеей в петлице... Туда, где, если не сам Собинов, то, по крайней мере, граммофон, напетый Собиновым, победоносно поет о двух счастливцах, для которых — звезды, море и весь мир:

В блаженстве потонули,
В блаж-жен-стве по-т-то-нууууу-улли!..

И вот тут-то, откуда ни возьмись, выныривает перед подвальной барышней добрый помощник, блудный бес Асмодей, во образе ли ласковой сводки, во образе ли какой-нибудь развеселой подружки, вроде рюлинской Жози, во образе ли подлеца-«пробочника» Ремешки, — и берет ее за руку, играет соблазняющими глазами манит:

— Пойдем!..

В петербургской проституции сравнительно мало женщин местного происхождения. Столичный разврат обслуживается, по преимуществу, провинцией. Но из коренных проституток-петербуржанок добрую треть формировали бывшие подвальные барышни: ходебщицы, сводни, маклерши и факторши домов свиданий видели в этих «полуинтеллигентках» самую легкую и хлебную свою добычу. Они подготовлялись к падению и жаждою лучшего быта, и преждевременным половым опытом, которым поучал их тесный уют подвала, где семью от семьи отделяли перегородки, слишком тонкие и материально, и морально.

— Я, — угрюмо признавалась автору этой книги проститутка из бывших «подвальных барышень», — плотской секрет знаю чуть ли не от материнских сосцов, по одиннадцатому году была оцелована всеми мальчишками в корпусе, а в скором времени стали вязаться ко мне и взрослые. Мать-то, покойница, точит-точит, бывало: «Ой, Капка, берегись! ой, держи ухо востро!» Да... тело-то уберечь до поры до времени, при уме, возможно: я себя, похвалюсь, содержала в строгости до двадцати лет... А душу как уберечь, чтобы — что слышу, не знала, что вижу, не понимала?.. А ходебщицы начали меня подстерегать, можно сказать, с ангельского младенческого возраста, потому что видели, что я обещаю вырасти красива. За всеми нами, которые хорошенькие в детстве, эти окаянные ведьмы имеют свое наблюдение. По пяти, по шести лет ждут, кружат-увиваются коршуньем, выжидают своего термину...

XXXI

Но далеко не одни глупые дикарки, вроде Люции, и озлобленные полуинтеллигентки из подвалов легко сбивались на торный путь убеждения, что в тайной проституции, направляемой искусною рукою такой благодетельницы, как генеральша Рюлина, открывается для женщины отнюдь не позор, а, напротив, наилегчайшая возможность жить в сытости и довольстве, нарядною, беззаботною, и, при счастье, даже сделать фортуну и карьеру, пленив какого-нибудь туза с капиталом и видным общественным положением, который, — чем черт не шутит, возьмет, да и плюнет на предрассудки, женится. Адель хвалилась, — и не лгала, — называя по именам балерин, актрис французского театра, светских авантюристок, нашедших свое счастье через особняк на Сергиевской: а теперь они богатые и могущественные любовницы, а иные и законные жены, банкиров, адвокатов и докторов с огромною практикою, высокопоставленных чиновников... министров... великих князей!

Маша Лусьева уже не застала в числе рюлинских кабальниц главную гордость генеральши, знаменитую, почти легендарную красавицу из красавиц, златокудрую Женю Мюнхенову. Она-то, впрочем, была тоже без рода, без племени. Загадочное происхождение ее так и осталось темным, хотя в короткий период ее петербургской славы и преуспения — до возвышения в «невенчанные великие княгини» включительно — к выяснению ее генеалогии прилагали старание и друзья, и того пуще, враги. Дознано было только вот что.

ЖЕНЯ МЮНХЕНОВА

1

В 1863 году, совсем накануне польского повстанья, в глухой литовской деревне с названием, обладающим столькими

согласными, что и поляки им давятся, родилось в крестьянской хате внебрачное дитя, девочка, и, по желанию матери, было наречено Евгенией: в честь местной владелицы-магнатки, графини Евгении-Марии-Алоизии-Августы и пр., и пр. Щавской. Мать новорожденной служила графине камеристкой, слыла любимицей госпожи и пользовалась ее доверенностью. Но беззаконная беременность сей девицы, к тому же немолодой уже, возмутила целомудренную графиню. Преступной Анельке, лишенной милостей госпожи, пришлось покинуть замок и выселиться на деревню, в родную семью, от которой она, было, давно отстала, так как уже несколько лет сопровождала графиню в путешествиях по Европе.

Казалось бы, что возвращение заблудшей овцы в родной хлев, в таких щекотливых обстоятельствах, не обещало ей благосклонного приема. Однако, к изумленно соседей, виноватая Анелька была встречена в семье с распростертыми объятиями. Беззаконную роженицу не только не обидели грубым словом, не говоря уже — побоями, но окружили таким бережным и учтивым уходом, какого никогда не видали, — и думать о нем не умели, — законно замужние сестры и жены братьев опальной покоювки.

Причин тому, обсуждая чересчур уж христианскую благость Хрщей,соседи находили три. Во-первых, Анелька, чуть не двадцать лет состоя при графине, скопила капиталец. И, действительно, с ее вселением в семью, Хрщи зажили куда лучше прежнего, — прямо так, панками. Во-вторых, отцом ожидаемого Анелькою ребенка подозревался управляющий лесными дачами графини, форстмейстер Александр Вальтер, родом швед, молодой и в высшей степени приличный господин, тоже фаворит госпожи, особенно после того, как, под ее влиянием, он перешел из лютеранского вероисповедания в католическое. В-третьих, все были уверены, что гнев графини на Анельку больше показной, приличия ради, и, стало быть, недолгий, и вскоре Анелька опять будет в милости и силе.

Действительно, разлука с любимою служанкою и отсутствие ее привычного ухода так разогорчили впечатлительную графиню, что она даже заболела, впала в хандру и несколько недель ни сама из замка не выезжала, ни к себе не принимала никого, кроме местного ксендза, своего духовника. Об изгнанной же Анельке и заочно заботилась. Настолько, что к сроку родов выписала для нее из Вильна ученую акушерку. К большому собственному благополучию, потому что Анелька-то родила с величайшею легкостью, едва повизжав час-другой, но графиню, слишком переволновавшуюся за нее, схватила в ту ночь жесточайшая холерина, и, за отсутствием врача, акушерке, вызвавшейся его заменить, пришлось возиться с больной пани гораздо больше, чем с здоровенной родильницей-служанкой.

Затем соседские предвидения оправдались. Прощенная Анелька возвратилась в замок и стала к госпоже еще ближе прежнего. Несколько недель спустя, графиня опять отбыла за границу, увозя с собою и верную служанку. Дочка Анельки осталась на попечении Хрщей.

Матери и дочери не суждено было когда-либо увидеться. Разразившееся повстание навсегда закрыло графине Щавской возврат на родину. Она была сильно компрометирована. Ее имения Муравьев конфисковал, двух близких родственников повесил, нескольких сослал в Сибирь и дальние русские губернии. Куда-то в неведомую глушь препровожден был и ксендз, духовник графини. Швед Александр Вальтер замешался в повстанье, командовал бандою и, в стычке с казаками, получил смертельную пулю. А незадолго до Франко-Прусской войны парижские газеты возвестили о скоропостижной кончине графини Евгении-Марии-Алоизии-Августы и пр., и пр. Щавской, которой красота и любезность чаровали-де столицу мира с лишком сорок лет, возблистав еще при дворе Карла X и благополучно досияв в неувядаемости... до конца Второй Империи! Апоплексический удар

убрал эту прочную обольстительницу с сего света на тот в возрасте шестидесяти трех лет. Неразлучная слуга и спутница ее, Анелька, умерла несколько раньше.

Дочка, покинутая Анелькою в деревне с неудобопроизносимым названием, росла, таким образом, круглою сиротою. По великодушному распоряжению графини, панская контора платила Хрщам за содержание девочки довольно щедро — для деревни. Но после повстания, с конфискацией имения выдачи прекратились. Вместе с тем, конечно, прекратилось и бережное отношение Хрщей к девочке. Стала она лишним ртом в семье, обузой.

Пяти лет Женя гусей пасет, восьми — скотину. Детство босое, в лохмотьях, впроголодь, грубое детство. Любопытно, однако: в суровой среде, где так тяжелы карающие руки и так легко «сдирают шкуру» с ребенка за малейшую провинность, Женю никогда не били. Этому впоследствии она сама дивилась, как чуду. Видно, было что-то в этом ребенке, что останавливало поднятую на него сердитую руку. И еще: оборванная чуть не до наготы, босоногая, всегда с животными — гораздо больше, чем с людьми, — Женя все-таки ухитрялась как-то оставаться чистою телом и, среди вшивых ровесников и ровесниц, одна не знала паразитов ни в волосах, ни в одежде.

— Ишь, шведское отродье! — завистливо бранила Женю одна из теток, особенно ее не любившая, — и вошь-то ее не хочет, не берет!

В том, что Женя «шведское отродье», с возрастом ее, не стало уже никакого сомнения. С ее лица гордо сияли прекрасные синие глаза Александра Вальтера, его золотые кудри вились над ее высоким лбом, — та же мощная стройность тела, та же смелая, легкая походка, та же благородная осанка, та же благосклонность взгляда и ласковость улыбки, за которые по покойному шведу вздыхали едва ли не все паненки в околице верст на пятьдесят. Но напрасно. До своего гре-

хопадения с Анелькой Вальтер жил среди соблазнительных литовских и польских красавиц истинно Иосифом библейским: ни единого романа, — даже в сплетнях! И немало удивлялись в околотке тому, что этот серьезный, меланхолический даже, красавец, брезгливо-чистый, словно честно верующий монах, сделал столь странный выбор из числа усердно гонявшихся за ним, как невест, чаявших жениха, так жен Пентефрия, чаявших любовника: оскандалился с покоювкою, — притом, нисколько некрасивою и уже далеко за тридцать, пожалуй, и во все сорок лет!

И — пусть Женя так выразительно ярко уродилась «вся в отца»! Однако должна же была бы и мать хоть сколько-нибудь отразиться в дочери. Между тем в ангельском личике и изящной фигурке Жени ни одна черта не обличала наследства от дебелой, смуглой, курносой Анельки, с ее татарскими глазами и густым конским хвостом, черным и жестким, в качестве волос. Если уж кого напоминали маленькие ручки и ножки девочки и вся ее точеная скульптурность, то никак не тяжеловесную Анельку, но, по удивительной игре природы, ее госпожу и благодетельницу, великолепную графиню Евгению-Марию-Алоизию-Августу и пр. Щавскую.

Отсюда взялась легенда, будто отцом-то Жени, — конечно, так, — был Александр Вальтер, но в матерях — Анелька только приняла грех на себя, а, на самом деле, девочке дала жизнь увлекшаяся красавцем-шведом графиня. Анелька же служила только ширмою для тайной связи, которую ее сиятельство, быв сластолюбива, но надменна, почитала для себя унизительною. Уверяли, будто и виленская ученая акушерка проговорилась однажды, что наилучший свой гонорар за практику она получила в некоем захолустном графском замке за то, что помогла горничной графини разрешиться от бремени... подушкой!

Кроме некоторого сходства Жени с графинею, за легенду говорили также и нравы Евгении-Марии-Алоизии-Августы и пр.

Сиятельная таки повеселилась на своем веку. Дважды была замужем, — в третий брак ей не позволили вступить взрослые сыновья и дочери, сами уже семейные и детные. Смолоду графиня была очень хороша собою, и парижская светская хроника немало внимания посвящала ее амурам. Героями их слыли интереснейшие люди Парижа, — то дипломат, то поэт, то политический трибун, — в эпохи Карла X, Луи Филиппа и Луи Наполеона. Остатки замечательной красоты графиня сохранила и в пожилые годы, хотя сильно располневшая, но с свежим лицом под густым и волнистым серебром блестяще-белых волос, — рано поседев, она их не красила из своеобразного кокетства, — и с весьма достаточным запасом молодого огня в ярких темных глазах.

Словом, в том, что эта отцветшая победительница сердец еще не хотела считать свою женскую жизнь конченою и, с деревенской скуки, свела романчик с красивым лесничим, не было ничего невероятного. Но в год рождения Жени графине стукнуло 56 лет! Родить в этом возрасте почти невероятное чудо для женщины... разве, что она — библейская Сарра, да ведь и для той потребовалось сверхъестественное вмешательство! А потому легенду меньшинство принимало, большинство отвергало.

2

Легенда принесла Жене то счастье или несчастье, что ею заинтересовался вновь назначенный в парохию молодой ксендз. Нашел девочку похожею на златокудрого ангела, вскудлаченного ветром, покуда слетал с неба. Жене шел двенадцатый год, а грамоты она еще не знала. Поиспытав разговором, ксендз нашел ее одаренною умственно почти в той же мере, как красотою, и решил дать ей образование. Человек он был хороший, честный, с самыми благими намерениями, но девочка, подрастая, все хорошела, все делалась интереснее,

и, — на пятнадцатом году ее, — не выдержал ксендз искушений озлобленной безбрачием плоти: сорвался!.. По околотку загудела сплетня, кто-то донес, ксендза вызвала консистория и, после жестокой головомойки, перевела его, с эпитимьею, в другую парохию. А Женю Хрщи спровадили от срама в Вильно к какой-то тамошней своей родственнице с наказом не возвращаться. Чтобы, значит, коли не сдержала себя девка, пропала, то, стало быть, судьба ее такая, но — пусть пропадает подальше, в городе, где им, развратным, вод, а от нас, деревенских, проваливай, голубка, с глаз долой, чтобы твоим духом на век не пахло!

Виленская родственница, кухарка в господском доме, встретила Женю более чем неласково, — даже не приняла ее переночевать. Девушка скиталась по незнакомому чужому городу, не зная, что с собою делать. Денег у нее было немножко, — ксендз, уезжая, успел ей сунуть, а она имела благоразумие припрятать от Хрщей, — но она была так деревенски наивна, робка и дика, что не посмела попроситься в гостиницу и поопасилась укрыться в корчму. Так и проходила, бесприютная и бессонная, всю короткую летнюю ночь, благо погода стояла ясная и теплая.

Поутру, у Острой Брамы, пригляделась к Жене одна из богомолок и привязалась с разговором. Женя, по природе сдержанная и осторожная, о себе сообщила богомолке мало, а богомолка — ей, что пришла к Острой Браме отслужить напутственный молебен перед своим отъездом в Петербург, где ее ждет очень хорошее место у богатых польских панов, недавно перебравшихся из Вильна в столицу и теперь вызывающих к себе ее, старую свою прислугу. Рассказы словоохотливой женщины о Петербурге внушили Жене мысль поехать с нею.

— Я так сообразила, — объясняла она впоследствии, — жить мне, здесь ли, там ли, все равно не на что. Она говорит, что в Петербурге легче найти место, чем в Вильне. Так, чем

проесть свои рублишки на виленских бубликах, истрачу-ка я их лучше на билет до Петербурга, — авось мне там улыбнется какое-нибудь счастье. Если же нет, то — бросаться ли в Вилию, бросаться ли в Неву, результат один. А, по крайней мере, перед смертью посмотрю, какой это такой есть на свете Петербург, которым так много хвалятся москали, да и из нашего Мицкевича пан ксендз Казимеж читал мне чудесные стихи...

Богомолка охотно согласилась принять Женю в компанию и даже обещала свое покровительство — устроить ее служкою к тем же панам или в их знакомстве. Поехали. Обе — налегке: у Жени — крохотный узелок, у спутницы — никакого ручного багажа, но сундук в багажном вагоне. Женщина как будто была неплохая и искренно расположилась к Жене. Но в Пскове приключилось несчастие. Женщина вышла купить провизии, замешкалась и прибежала к вагону, когда поезд был уже в ходу, и сесть ее не пустили. Она успела бросить Жене в окно пакетик с едой, но Женины деньги и билет остались у нее. О билете контролер, по свидетельству прочих пассажиров, принял в уважение несчастный случай, и до Петербурга Женя доехала. Но на Варшавском вокзале сошла с поезда без единого гроша в кармане, без единой знакомой души в городе и без единого русского слова на языке.

Поляк-кондуктор посоветовал ей ждать спутницу на вокзале следующими поездами из Пскова. Ждала. Поезда приходили, но спутница не являлась. Так промаялась Женя почти сутки. Наконец ее жданьем заинтересовалась буфетчица третьего класса, немножко говорившая по-польски. Узнав дело, она не захотела пугать девочку, но про себя была уверена, что ждет напрасно: наскочила деревенщина на поездную мошенницу! Видя Женю совершенно изнеможенною, добрая женщина отвела ее к себе на квартиру — выспаться, а там видно будет, что Бог даст!

— А здесь тебе торчать нечего. Псковские поезда все пришли, и новых до завтра не будет. Ты уже и так намозоли-

ла глаза жандармам: еще заберут тебя, глупую, — выпутывайся потом...

Подозрения буфетчицы были несправедливы: впоследствии дорожная спутница нашла Женю в Петербурге и возвратила ей билет и деньги. Чем составила свое собственное счастье: обрадованная Женя, уже богатая и могущественная, вознаградила виленскую знакомку за доказанную честность буквально сторицею. Но покуда что вышло плохо.

Женя, с устали и волнения, заспалась, скептическая буфетчица пожалела ее сна, находя ненужным будить ради безнадежной встречи. Который-то из утренних поездов привез виленскую женщину, но ей, опоздавшей на сутки против назначенного господами срока и с того совсем потерявшей голову, и в мысли не пришло порасспросить о Жене на вокзале. Получила второпях из багажа свой сундук, села на извозчика и укатила. И, таким образом, повисла одинокая Женя в смрадном воздухе летнего Петербурга без всякой поддержки, кроме тоненького-тоненького волосочка — симпатии, которую восчувствовала к ней жалостливая буфетчица.

3

А где тонко, там и рвется. Жалеть-то красавицу-«полечку» буфетчица жалела, но, разглядев, что «полечка» беременна, добродетельно смутилась, что пустила к себе «такую». Дала Жене, для успокоения своей совести, три рубля и выпроводила ее на все четыре ветри.

Женя, твердо убежденная в том, что ее виленская знакомка в Петербурге, решила искать ее таким остроумным способом:

— Она благочестивая. В Вильне служила напутственный молебен у Острой Брамы. Значит, здесь непременно будет ходить в костел. Пойду и я — стану у костела и буду ждать.

Если не дождусь ее самой, то, может быть, разговорюсь с какой-нибудь землячкой, которая мне поможет ее найти...

Вежливо отблагодарив буфетчицу за гостеприимство, Женя просила на прощанье указать ей дорогу к польскому костелу. Где именно польский костел, буфетчица не знала, но назвала ей главный католический храм св. Екатерины на Невском и даже так сдобрилась, что дала Жене мальчика — проводить до Невского... Впоследствии этот мальчик получил за проводы тысячу рублей!

На паперти св. Екатерины Женя знакомки не дождалась, конечно, а дождалась того, что ее арестовал было городовой за прошение милостыни. Кое-кто, прислушавшись, вступился за Женю, объясняя, что, обращаясь к входящим и выходящим богомольцам, она не милостыни просит, а ищет какую-то свою родственницу... Закипел спор, стала собираться толпа. Бессловесная по-русски, Женя, с испуга, и по-польски-то заговорила скверно, сбиваясь на родной жмудский язык, которого, как назло, никто из свидетелей сцены не понимал...

— Ну, — решил околоточный, — канителиться нам некогда. Марш в участок. Там запротоколим и разберем.

Судьба Жени хотела, чтобы в это время проходила мимо храма св. Екатерины «крестница» генеральши Рюлиной и sousmaitresse * ее особняка, Адель, тогда еще совсем молодая, не более как лет 23—25. Совершая свою обычную предобеденную прогулку по Невскому, она заметила толпу, подошла посмотреть-послушать, поразилась красотою Жени и мигом осенилась вдохновением на гениальный план. По-жмудски она не говорила, но живала в Ковне, Гродне, Сувалках и поняла Женю лучше, чем прочая публика...

— Ну вот! — радостно заговорила она по-польски, пробираясь сквозь толпу, — ты, Женя, ищешь нас, а мы сбились с ночи, ища тебя...

* Надзирательница (*фр.*).

И продолжала по-русски — к околоточному:

— Отпустите это бедное дитя, господин офицер. Оно ни в чем не виновато и говорит чистую правду. Женщина, которую она ищет, знакомка моей крестной. Она только что приехала из Вильна и теперь мечется по Петербургу в таких же попыхах, разыскивая свою потерянную спутницу... Так что, раз недоразумение выяснено, позвольте мне взять этого младенца с собою и дальнейшую ответственность за нее принять на себя... Вот моя визитная карточка и адрес... Или, если этого мало, то — как вам угодно — проедем вместе с нею к крестной...

Но околоточный, взглянув на карточку с N дома в лучшей части Сергиевской, видя перед собою даму, безукоризненно элегантную, хорошего аристократического тона, не изъявил никаких сомнений, а, напротив, извинился, что, по обязанности строгой службы, невольно должен был напугать заблудившуюся овечку...

И вот Женя, ошеломленная, в полном непонимании, что с нею творится, во сне она или наяву, поспешно усажена в шикарнейшую пролетку лихача и вихрем мчится, — куда? не ведает! — оборвашка оборвашкою, кудлашка кудлашкою, рядом с шикарнейшею красавицей-дамой, которая представляется ее одурманенному воображению не иначе, как благодетельною феей, вовремя прилетевшей, чтобы вырвать ее из когтей злых чертей...

А не более как три года спустя, Женя обитала в собственном скорее дворце, чем доме, на Английской набережной, слыла в насмешливо-завистливой столичной сплетне невенчанною великою княгиней и растила дочку ярко выраженного романовского типа, в которой августейший родитель души не чаял. И, в льстивую ли угоду ему, по эстетическому ли, в самом деле, восторгу к красавице, большой миллионер и большой чудак, банкир Мюнхенов, вдохновенный поэт в душе и лютый аферист в своей конторе, удочерил Женю и завещал ей значительную часть своего состояния.

«Затем, — объяснял он, — что желаю увековечить свою скромную, ничем не прославленную и обреченную забвению фамилию, слив ее с твоей бессмертной красотой». Действительно, хороша была эта Женя Мюнхенова даже сверхчеловеческою какою-то, божественною, олимпийскою что ли, почти страшною в обаятельной силе своей, Афродитиной красотой. Ни один портрет ее, ни один бюст не удался художникам, хотя кто только из знаменитостей последних двух десятилетий прошлого века не писал или не лепил Женю! А фотография лишала красок, обращала в мертвое тело, не вспрыснутое живою водою.

Несравненность и, может быть, невоспроизводимость своей красоты Женя сама лучше всех знала. Однажды вновь прибывший в Петербург секретарь французского посольства, воображая быть любезным, спросил ее, много ли таких прекрасных женщин в России? Женя очень спокойно поправила:

— Вы, вероятно, хотели сказать — на земном шаре?

А в другой раз, в общем разговоре о красавицах Петербурга с таким же спокойствием высказалась:

— Красивых женщин в Петербурге — одна: я. Но есть две-три хорошенькие. Например, Зинаида Богарне, Мария Петина, Елена Мравина...

То есть — самые прославленные и великолепные богини красоты в старом Петербурге!

В различие с многими красавицами, Женя Мюнхенова была и умственно одарена богато на зависть. В восемнадцать, двадцать лет ее никто из вновь ее узнавших не хотел верить, что она еще недавно, босоногою девчонкою, пасла гусей и уток на берегах Вилии. Женя с поразительной легкостью овладела русским, французским и английским языками, много, охотно и толково читала и умела интересно поддерживать решительно всякий разговор, возникавший в ее салоне. Память о ксендзе, погубителе ее девичества, оттолкнула ее от католического духовенства и церкви и сделала вольнодумкою. Но католи-

ческая наследственность и закваска сказывались в Жене чрезвычайным интересом к мистическим явлениям и учениям века. В этой области она была настоящий профессор, но нельзя сказать, чтобы из легковерных, — напротив, со спиритическим, например, движением, очень сильным в то время, она вела самую скептическую полемику.

Проблистав таким образом три или четыре зимы, Женя Мюнхенова скрылась с петербургского горизонта так же внезапно, как над ним воссияла. Говорили, будто она бросила своего высочайшего почти что супруга ради какого-то офицера — даже не гвардейского, а из провинциальных армейцев. Если это и было, то, должно быть, ненадолго, потому что вскоре Женя начала мелькать то здесь, то там — за границею, одинокая, в скромных буржуазных условиях жизни и, по-видимому, очень стараясь не привлекать к себе общественного внимания. Но с ее лучезарною красотою это было мудрено: всюду тянулся блестящий след, как за ярким метеором. Наконец и того добилась, — исчезла бесследно.

Был слух, что обманула Женя надежду банкира Мюнхенова сохранить в ней фамилию свою, — вышла в Триесте замуж за богатого левантинца, красавца и авантюриста, каких мало. Но овдовела, а, по смерти мужа, которого, кажется, очень любила, замкнулась, словно в монастыре, в пустынном имении, где-то не то в Киликии, не то в Сирии, и усиленно предалась... изучению оккультных наук!.. Дочку ее отец воспитал, под новым исхлопотанным именем, в лучшем из провинциальных институтов.

XXXII

Имя Жени Мюнхеновой произносилось в особняке на Сергиевской с симпатией и уважением даже до благословения. Зато о другой подобной же удачнице, пресловутой Юлии Сер-

геевне Заренко, чуть-чуть было не выскочившей в морганатические супруги престарелого prince'а Gogo, вспоминали не иначе, как с проклятиями и только что не со скрежетом зубовным. Эта продувная красавица ухитрилась вырваться из рюлинских когтей, мало что не поплатившись за свободу ни единою копейкою, но еще и с генеральши содрав тридцать тысяч рублей. «А не то, — грозила, — одного моего слова prince'у достаточно, чтобы разорить всю вашу паскудную механику и расточить клиентуру».

Юлию Заренко Маша Лусьева еще успела однажды встретить у Рюлиной и даже участвовала с нею в живой картине. Юлия изображала Фрину, а Маша, Люция и какая-то смуглая Зиночка — ее рабынь. Заренко была бесспорно прекрасна, но из-под красоты в ней сквозила прожженная деловиха вроде Адели, только еще много усовершенствованная. Маше она нисколько не понравилась. Тем более, что партнерок своих по живой картине надменная красавица трактовала так презрительно, словно они, и в самом деле, закрепощены были ей в вечное и потомственное владение...

В короткий период величия и блеска Юлии Заренко, когда она, вертя своим всемогущим prince'ом, как волчком, грабила и взяточничала в двух управляемых им ведомствах, Полина Кондратьевна с Аделью — как только не иссохли в щепки, как не сбесились до водобоязни от бессильной злобы и зависти! Зато уж как же и ликовали они потом, — визжали от радости! — когда окаянное «Юлькино» счастье вдруг, нежданно-негаданно, лопнуло, как мыльный пузырь, в скандале чудовищном... небывалом! неслыханном!!. Если генеральша не устроила по этому случаю фестиваля с иллюминацией особняка, то исключительно из боязни, не принял бы такую демонстрацию в насмешку на свой счет сам prince Gogo, который тем временем лежал избитый до полусмерти прежним любовником Юлии, медведем весьма демократического происхождения и таковых же мускулов.

(Историю Юлии Заренко читатель может найти подробно рассказанною в моем романе «Без сердца» (Берлин. Изд. «Грани». 1923.) *А. А.*)

XXXIII

Хозяйки и приказчицы нескольких модных магазинов, мелкие дисконтеры и ростовщицы, проходимцы из биржевых зайцев, аукционных и ломбардных маклаков состояли в тесных сношениях с Рюлиной, хотя в великолепном особняке ее на Сергиевской никто из этой братии не появлялся. Для черной работы по своей купле-продаже «генеральша» имела особую квартиру — где-то в людных и толкучих улицах, кишащих мешаным народом, не то у Чернышева моста, не то на Вознесенском проспекте. Эту декоративную «контору» прикрывала своим именем и жалким положением больная сестра Полины Кондратьевны, глупая, дряхлая, безногая старуха, которую Адель и Полина Кондратьевна ежедневно навещали, встречаясь у нее с нужными людьми и обделывая текущие дела-делишки. Для видимости старуха вела какую-то маленькую торговлю и занималась некрупным дисконтом.

Орава пособников доставляла Рюлиной сведения о женщинах, запутавшихся денежно, с зарезом крайней нужды — до ножа у горла или револьвера к виску. «Использовать сюжет» было делом ее самой, Адели или какой-нибудь доверенной факторши. Между акушерками — содержательницами секретных родильных приютов, бабками, знахарками, врачами, не брезгающими абортною практикою, Рюлина тоже была богата своими людьми [*)].

— Потому что, — откровенничала она, — это — лучше чего не надо, если у хорошей девушки остается позади ан-

[*)] Parent Duchatelet, 473.

гельская душка. А ежели еще и с могилкою не очень правильною, — тогда уж совсем, как есть, благодать Божья.

Именно таким страшным узлом была завязана в грозном шкапу Полины Кондратьевны Ольга Брусакова. В среде бракоразводных адвокатов, свах, консисторских ходатаев по семейным делам, — всюду водились ищейки. Ловля женщин практиковалась не только в одном Петербурге, но и в провинции. Одну из самых успешных и выгодных своих красавиц Рюлина получила из Закавказья: обольщенная гувернантка, она отбывала срок тюремного заключения за покушение на убийство новой любовницы своего любовника; тюрьма сделала ее мертвою для родной окраины, — впереди, по выходе из заключения предвиделась беспомощная нужда... *) никто не поддержит «уголовную подсудимую», все будут только пальцами показывать!.. Нашлась, однако, и при тюрьме старательная особа: ссудила бедняжке денег на проезд в Петербург и снабдила ее рекомендацией к Полине Кондратьевне. Одна рюлинская факторша более высокого полета даже небезызвестна и уважаема в филантропических кружках **). Ее специальностью было выслеживать красивых женщин, выздоравливающих по больницам ***).

— Я для своих душечек денег не жалею ****), — хвасталась «генеральша». — Я Фани прямо из клиники взяла, с койки, после тифа, кости да кожа, голова бритая, урод уродом, даже глаза желтые. Но гляжу: откормить ее, — будет прок из девки, — ну и сделай твое одолжение! К знаменитости ее возила. Говорит: «Хорошо на Кавказ», — превосходно! послала, с доверенною на Кавказ. Мало поправилась. Велела ей проехать в Сухуми к самому Остроумову. Этот говорит: «Хорошо на Принцевы острова!» Отлично: выдержала ее два месяца

---

*) Генне-Ам-Рин, 77. Живарев, 7.

**) Parent Duchatelet, 474.

***) Живарев, 7.

****) Кузнецов, 32.

на Принцевых островах! В моем деликатном деле расходов бояться — доходов не видать. Я убытков от моих душечек не надеюсь: отработают! Есть с кого!

И, действительно, клиентура «генеральши» была огромнейшая, так что весьма часто у нее не доставало своих «белых невольниц» и надо было занимать их у других промышленниц тем же товаром: у Буластовой, Перхуновой, Юдифи, о которых раньше сообщали Маше Адель и Ольга. В то время как Рюлина обслуживала по своей темной специальности самые верхи и сливки столичного общества, клиентура этих других госпож была много серее, работали они откровеннее, мельче и шире, кокотками не брезговали; сводничество их грубее в приемах, а рабство у них было много жесточе и тяжелее. О самодурстве Буластихи ходили грозные рассказы.

Она довольно часто посещала Рюлину, — и даже не в ее «конторе», а в самом доме: двух промышленниц связывали не только некоторые общие аферы по живому товару, но еще и лютая страсть к игре: обе были завзятые картежницы и постоянные партнерши... Про женщин, закабаленных Буластовою, даже Полина Кондратьевна говорила не без жалости:

— Я понимаю: чтобы женщина работала, — заставь ее. Если она ленится, упрямится, нос подымает, капризничает, сплетничает, дерзит, доносит, — не жалей, накажи! Но зачем без вины издеваться над человеком? Зачем без надобности тиранить и обижать? А у Прасковьи Семеновны уж характер такой злобный: без всякой пользы для себя, так, по пристрастию одному, портить жизнь девкам... Мучительница, палачиха!.. Положим, что с нее доброго и взять? Отроду хамка, да еще и пьяница!..

Разумеется, все женщины Рюлиной очень скоро делались известными одна другой, но не только считалось неловким, а строго запрещалось показывать знакомство вне стен рюлинского дома; чтобы дружить, требовалось разрешение

«генеральши» *). Это правило соблюдалось очень тщательно. Рюлина находила, что если жертвы ее начнут интимничать между собою, то из приязни их не выйдет никакой прибыли для нее, а друг друга они могут компрометировать какою-либо неосторожностью.

— Знаете, душечки, — философствовала она, — где бабьи дружбы, там и бабьи ссоры. А если две бабы хорошо поссорятся, то и оглянуться не успеешь, как такого наговорят, что в болтовне ихней не только я, грешная, — целый совет присяжных поверенных завязнет!..

Маше и Ольге случилось быть приглашенными на одну свадьбу, — и в великолепной начальнице, посаженной матери молодых, они узнали свою товарку-чиновницу. Еще вчера она, под именем Фаустины, позировала вместе с ними для каких-то не то турецких, не то персидских дипломатов в картине под поэтическим названием «Бахчисарайский фонтан». У величавой матроны даже бровь не дрогнула, когда ей представили барышень; Ольга с Машею тоже отлично выдержали роль, будто имели счастье встретить чиновницу в первый раз. Имя и фамилию ее они, и в самом деле, только при этом капризном случае узнали. В рюлинской компании считалось очень нечестным и предательским, находясь «на работе», назвать подругу не условным ее, но настоящим именем, и, наоборот, при встрече в обществе, окликнуть ее не настоящим именем, а условным. Да!.. «И у ада есть закон»... «Die Hölle selst hat ihre Rechte».

XXXIV

На второй год крепостной зависимости от Рюлиной Маше суждено было пережить большое несчастье: отец ее, воз-

*) Елистратов, 265. Живарев, 16, 17.

вращаясь домой со службы, — когда переходил Симеоновскую, — был сбит шалым велосипедистом под конку и не встал уже. Смерть старика, конечно, вызвала жестокий семейный разгром, но Маша, со стыдом за себя, сознавала, что в наступившем ужасе есть для нее и одна радостная точка: отец умер, не узнав о дочери позорной правды, которую было так трудно от него скрывать.

— Твое положение, Марья, было еще подлее моего, — говорила Ольга Брусакова. — Мне хоть не надо играть комедий дома, при своих. Мать моя давно все знает... потатчица и соучастница! Ей что? Было бы в кармане пять рублей на «мушку» в Немецком клубе, а то — я хоть гуляй нагишом по Невскому!.. Отец... кажется, в одной квартире живет, а, ей-Богу, я его вот уже лет десять не видала по-человечески... в семье то есть. Если он не на службе, значит, в бильярдной, в трактире Соловьева. Если не в трактире, значит, лежит без задних ног, пьяный, в своем чуланчике, спит. А твой старик — настоящий был, хороший, честный, доверчивый... стыдно такого!.. И хотелось же ему счастья для тебя, и веровал же он в «генеральшу» нашу, что она — благодетельница — тебе как клад нашлась!.. нечего сказать, умела очки втереть!.. Нет, это — скажи слава Богу, что его так внезапно зашибло!.. Это Господня милость к вам обоим.

По просьбе Рюлиной граф Иринский оказал давление на какую-то важную питерскую пружину, и младшие сироты были приняты в закрытое учебное заведение на казенный счет, но не в Петербурге, что для Лусьевой было и к лучшему. А Машу Полина Кондратьевна заставила поселиться у нее. Положение девушки стало хуже — не по дурному обращению и не по увеличенной требовательности, но — с большею ощутительностью почувствовала она теперь свое превращение из свободного человека в живую вещь. Маше не на что было жаловаться в материальном отношении, жила она в довольстве, ни в чем не получая отказа.

Иногда Рюлина даже баловала ее маленькими подарками — настоящими, которые не ставились в счет. Но зато, с переездом к Полине Кондратьевне, на руках у Лусьевой никогда не оставалось много карманных денег; паспорт ее, после того как был отдан для прописки, Рюлина тоже не возвратила ей, а заперла в свою знаменитую шкатулку; как-то само собою сделалось, что Маша перестала уходить из дома без спроса, когда ей хотелось, а, отпрашиваясь, должна была говорить, куда идет, зачем и надолго ли, и, если опаздывала против обещанного срока, то получала жесточайшие головомойки. Ей велено было отстать от всех знакомств ее прежнего, нерюлинского круга, и понятно, что к себе в гости, в дом Полины Кондратьевны, она никого из посторонних не могла, да, впрочем, и не решилась бы пригласить. Мало-помалу, тоже как-то незаметно, ввелось, что, чуть соберется Маша на прогулку, — глядь, и Адель с нею, либо Люция, либо Жозя, либо кто-нибудь из факторш и доверенной прислуги, а если некому отлучиться, то старуха и Машу оставляет дома.

— Берегут тебя очень, Люлюшенька, — откровенничала Люция, с которою Маша, тоже с тех пор, как жила у Рюлиной, сошлась приятельски. Лусьева, как большинство женщин не умела жить без «друга», а Ольгу она теперь видала редко, Жозю ненавидела как ловушку-предательницу, Адели же боялась. На «ты» Люция сама заговорила с нею, давая понять, что здесь и теперь они — в ровнях, и чтобы Маша не вздумала обращаться с нею как с прислугою. Впрочем, о том же и Адель предупредила:

— Ты, Люлюшка, конечно, сумеешь поставить себя в хорошие отношения с Люцией?.. Надеюсь, ты понимаешь, что она остается на положении горничной исключительно по своей доброй воле: только потому, что ей удается эта роль. Она сама отлично знает, что превратиться в барышню для нее значит потерять успех... Удивительно много стало в Пе-

тербурге охотников s'encanailler, как говорится!.. *) Но среди нас, между своими, она, само собою разумеется, не слуга, а — как все... Полина Кондратьевна очень высоко ее ставит... советую это соображать!..

К счастью Маши, Люция оказалась девкою кроткого нрава, — из тех ленивых русских натур, в которых странно, но отлично уживаются доброта и распутство, одинаково развиваясь из неспособности к «прозрению внутрь себя», то есть полного невнимания к внутренней жизни.

— Очень берегут тебя, Люлюшка, — рассказывала она. — Боятся, не стали бы сбивать тебя от нас, переманивать... Ну и любовишка чтобы не завелась на стороне, — потому, что наша сестра в таком разе делается дура!.. Очень уж ты на точке: сейчас — Адель прямо так и говорит — вся их коммерция только и держится, что нами — ты да я, остальные не в спросе...

В один зимний день Полину Кондратьевну неожиданно посетила, не в обычай — утром, а не вечером, — ее «коллега по профессии», Прасковья Семеновна Буластова. Тут Маша впервые разглядела эту легендарную особу поблизости. На вид Буластиха показалась ей не столько страшною, сколько вульгарною: огромная толстейшая бабища-купчиха, лет сорока восьми, разряженная безумно: и дорого, и чрезвычайно безвкусно, в камнях всюду, где только можно было приткнуть или повесить камушек. Она беседовала с Рюлиною и с Аделью, запершись втроем, но, должно быть, не особенно приятно, потому что уехала недовольная, надутая.

— Знаешь, зачем была? — шепнула потом Маше Люция. — Я подслушала: ко мне в комнату из кабинета, через вентилятор, звучит... Тебя торговать хотела.

— Как меня торговать? — изумилась и встревожилась Маша.

---

*) Кузнецов, 10.

— Обыкновенно как: чтобы отдать тебя к ней, в ее дело, на ее полное распоряжение.

— Да я не хочу!.. — совсем уже испугалась Лусьева. — Что ты! Бог с тобою! Я к ней не пойду...

— Отдадут, так пойдешь, — равнодушно возразила Люция.

— Да как же можно?

— А почему нельзя? Предложит Буластиха нашей хорошего отступного, та и продаст *).

— Как это — продавать? — волновалась Лусьева. — Не вещи мы! Я не корова, не лошадь, чтобы так, будто на базаре!.. Это — когда крепостные были, тогда людьми торговали, а теперь их не покупают и не продают!

Люция, валяясь на Машиной кровати, зевнула и сказала протяжно и поучительно:

— Да не тебя, дура! — пакет твой продадут.

Маша озадачилась.

— Пакет?

— Твой пакет — тот самый, который о тебе у старухи составлен и в шкатулке лежит. Понимаешь? Буластиха ей — деньги, а наша Буластихе — пакет... только и всего! Ну а ты, известное дело, — к пакету этому прилипшая, потому что там в пакете вся твоя жизнь... «Права» твои продадут, — смекаешь? Всю аттестацию!.. Теперь ты зависима от нашей, потому что у нее твой пакет, и должна ты по пакету делать все, что она прикажет. А когда у нашей твоего пакета не станет тебе на нее уже плевать, потому что в пакете сила, и слушаться ты будешь уж той толсторожей, Буластихи…

Она тяжело ударила Машу по спине и захохотала.

— Что? оробела? Вон она, какая машина-механика!.. Только ты не бойся! Наша Буластихе отказала наотрез. Та большие тысячи предлагала, старуха было и подаваться начала, да Адель пошла дыбками вразбив, что самим дороже.

*) Кузнецов, 96, 122, 186, 247.

Маша улучила случай переговорить о новом своем страхе с Ольгою Брусаковою.

— Да, это бывает, — хмуро подтвердила та. — Перепродажа шантажа... частая история. И Буластихе сейчас ты, действительно, была бы очень к руке... Она без примадонны осталась... Ее знаменитая «Княжна» заболела: женское что-то, в Еленинской больнице лежит...

— А чем она знаменитая?

— Тем, что заправская княжна, с родословною чуть не от Гостомысла.

— Красивая?

— Никогда не случалось встречаться. Говорят, что нет... Да врут, должно быть, потому что в буластовском деле «Княжна» — вот как ты у Рюлиной — идет всегда в первую голову... Ты не опасайся: тебя не продадут. Тобой здесь очень дорожат. Я не запомню, чтобы «генеральша» носилась с кем-либо из нас, как с тобою. Она из-за тебя даже и ко мне стала любезнее... Право!

— Уж очень страшно, Оля!.. Про эту Буластиху ходят такие легенды...

— Да, у Рюлиной — надзор, а там — острог, да еще и с застенком!.. *) Все в один голос говорят. У нас бывали девушки, перекупленные от Буластихи. Они и вспоминать боялись, каково им сладко жить. Одна, из казачек, Фиаметтою звали, — богатого купца дочь, только от родителей проклята за офицера, — так вот эта Фиаметта, бывало, очень смешила нас за ужинами: если на столе стоит зернистая икра, — она и к закуске не подойдет; видеть зернистой икры не могла, не то что есть... Адель даже и кавалеров так предупреждала: ежели Фиаметта в компании, то уговор, — чтобы зернистой икры не было...

— А Буластиха причем?

*) Елистратов, 265. Жуварев, 17, 18.

— А вот видишь ли: пошалили однажды буластовские девушки, захотели подразнить хозяйку, — вытащили у нее из буфета два фунта зернистой икры и съели. Прасковья Семеновна хватилась: «Где икра? кто взял?..» Подружки струсили, говорят Фиаметте: «Ты зачинщица, ты на себя и бери!.. Ответ не велик: зернистая икра сейчас два рубля фунт...» Фиаметта заявляет: «Виновата, Прасковья Семеновна, мой грех!..» А той не икра и дорога, всего только того и надо, чтобы к жертве придраться... Обрадовалась, тиранство-то в ней разыгралось... «Ах, — пищит, — это ты, Фиаметочка? Вот не ожидала!.. Что же? Ты разве так любишь зернистую икру?» — «Очень люблю, Прасковья Семеновна...» — «Дурочка, так ты бы давно сказала! Я тебя угощу!..» И приказывает своей Федосье Гавриловне, — это у нее управляющая, как у нас Адель, только совсем простая баба, и характером, говорят, Ирод, да и видом ужаснейшая... вчуже смотреть жутко! — приказывает принести еще два фунта икры... Та приносит... «Вали на пол!..» Вывалила... Прасковья Семеновна — туфли с себя долой и становится в икру босыми ножищами: «Ешь!..» Фиаметта так и вскочила: «Что вы? Очумели?..» А Федосья Гавриловна ее сзади кулачищем по затылку — раз!.. Фиаметта и с ног долой, прямо к икре носом... «Помилуйте!..» — «Два!..» — «Никогда больше не буду! простите, миленькая!» — «Тогда прощу, когда от икры ни зернышка не останется! А покуда не доешь, бить будем!..» Вот какие дьяволы!.. «Жри! — кричит, — да без передышки!» И ничего не поделаешь: сожрала!.. Потому что, едва голову поднимет, Федосья ее трах!.. Не диво, что после такого угощения на икру смотреть не захочешь!..

Адель только повествовала:

— Жила у нас одна буластовская, Клавденька... Та, бывало, все по ночам с постели срывалась. «Куда ты?..» — «Прасковья Семеновна кличут!..» — «Очнись, глупая...» — «Пусти, пусти!.. щипать станет!..»

Рюлина узнала о смущении Марьи Ивановны и лично ее успокоила:

— Слово тебе даю, что этого не будет. Зачем? Я совершенно тобою довольна. Если бы я хотела с тобою расстаться, то уже рассталась бы: Буластова мне за тебя пятнадцать тысяч надавала.

XXXV

Есть натуры, женские в особенности, которым всякая властность, хотя бы и самая порочная, нравится и импонирует, в которых чувство принадлежности быстро переходит в привычку и, при не совсем дурном обращении, даже во что-то вроде привязанности. Лусьева была из таких. Она поработилась Рюлиной с детскою легкостью и вскоре стала в ее доме настолько же позорно своею, как Адель и Люция. Ее давно уже не стерегли, следить за нею вне дома тоже перестали — мало того: когда в доме появилась новая «крестница» Полины Кондратьевны, беленькая и глупенькая немочка, едва перешагнувшая за шестнадцать лет, Рюлина поручила надзор за нею Маше, — так уверилась старуха, что загубленной до конца девушке некуда идти, да уже и нет у нее воли на уход. Нельзя человеку, очутившемуся в позорном и гибельном положении, жить без надежды выйти из него когда-нибудь. Хранили этот мираж будущего и невольницы «генеральши». Они не раз слыхали от своей повелительницы и верили, что Полина Кондратьевна уже устала вести свое огромное и трудное предприятие и намерена вскоре забастовать, а при забастовке сломает свой роковой шкаф, сожжет в камине роковые пакеты и отпустит всех на волю *). Она бы давно ликвидировала, да все проигрывает.

*) Живарев, 26.

В самом деле, — умная, ловкая, властная старуха имела чуть ли не единственную слабую струнку в характере, — зато и господствовала же над нею струна эта! Демон игры владел Рюлиной беспрекословно. Несмотря на очень значительный доход, она никак не могла собрать капитала для жизни рентою, о которой мечтала уже лет пятнадцать. То разоряла биржа, то обижали карты и тотализатор, то ощипывала рулетка.

— Хотя бы вы любовника завели на старости лет, — язвила ее Адель, — чтобы бил вас и не позволял вам просчитываться!

И старуха, которая в других случаях не терпела — куда уж насмешек над собою! — взгляда без почтения, жеста неуважительного, — на этот выговор конфузилась, отмалчивалась, отсмеивалась.

— Не надо ворчать, Адель! Если выиграю, пойдет тебе же на приданое.

— Смотрите: моих не продуйте! — безнадежно возражала Адель.

Ей искренно хотелось, чтобы игра не сбивала старуху с пути к ликвидации. Она находила, что пора им сойти с опасной сцены.

— Не всегда счастье. Так нельзя надеяться, что можно продвигать вечно. Столько конкуренток, каждый день новые... Положим, по делу, нам никто из них не опасен. Но в профессию начинает влезать такая шваль... от них всего скверного следует ждать!.. Каждый день возможен донос, скандал, и все полетит к черту!.. Да наконец надо же когда-нибудь и просто остепениться! Я совсем не намерена покончить свою жизнь в этих милых трудах... Я отдала им более двадцати лет жизни... В день моего четвертьвекового юбилея я говорю: баста! — и складываю оружие. Пора жить! — жить, черт возьми, а не прокисать в работе!

Маша долго не могла поверить, что Адели уже сорок лет: до того казалась моложава, крепка и здорова эта красивая женщина, скованная лет на девяносто жизни.

— Бывают же такие железные! — завидовали ей все. — Она и спит-то вполглаза, точно кошка, — право!

— Если надо, хоть трое суток могу не спать! — похвалялась сама Адель.

Она была педантично воздержанна в своем общем житейском режиме, — сколько позволяла профессия, разумеется. Вина она выпивала обязательно пол-литра в день, одного и того же, красного, довольно высокой марки, и уж больше нельзя было заставить ее выпить никакими просьбами, — хоть насильно в рот лей. Но спаивать целые компании и самой среди них разыгрывать полупьяную — была великая мастерица. Рестораторы ее обожали, потому что не было в Петербурге равной искусницы опустошить все близ стоящие бутылки на столе, не выпив из них ни глотка... Совершенно исключительная физическая сила, ловкость и гибкость ее приводили рюлинских женщин в изумление.

(Паран Дюшатле, составляя главу о здоровье проституток, был очень изумлен несоответствием данных о предмете у более ранних исследователей. В то время как одни оплакивали горькими слезами участь несчастных, осужденных на преждевременное истощение, болезни, скорую чахотку, раннюю смерть, другие объявляли проституток чуть ли не самыми крепкими женщинами во Франции, «железное здоровье» которых никогда не уступает их позорному промыслу, за исключением, конечно, влияния известной болезни!.. Странное разногласие объяснилось очень просто: одни источники составились целиком по наблюдениям врачей над нищенствующими низами класса, другие — исключительно над его сытыми верхами. Паран Дюшатле, кажется, первым сумел разделить проституционную массу на сословия, или категории, — распределил своеобразную аристократию и буржуазию «нарядных» с бедствующею поденщиною и босячествующим пролетариатом «убогих». Не говоря уже о демимонде, — даже между Настею из пьесы «На дне» и обитательницами первоклассного «дома» физическая разница не меньше, чем между Костылевскою ночлежкою, где задыхается первая, и зеркальными залами и атласными спальнями, где нравственно сгнивают вторые. См. Parent Duchatelet, 582. Ломброзо, 296—299.)

— Мне бы в цирке гимнасткою быть или наездницею, — говорила она. — Жалею, что смолоду не занялась...

— Это она закалилась, подмерзая в корзине на моем крыльце!.. — объясняла Полина Кондратьевна, вспоминая, что некогда нашла Адель, трехнедельным ребенком, на подъезде барского дворца в подмосковной усадьбе графа Иринского. Происхождение подкидыша, однако, было выслежено, и родители Адели приведены в известность.

— Порода хорошая! — хвалилась собою Адель. — Здоровая, южная кровь!

— Но ведь маменька ваша, сказывают, была из волоколамок, — вот, что летом приходят малину убирать? — язвила ее Ольга Брусакова.

Адель невозмутимо возражала:

— Зато родитель француз, провансалец. Он до сих пор служит главным управляющим у графини Лотосовой... то есть числится и жалованье отличнейшее получает, а уж какая может быть в его годы служба! Графине восемьдесят пять, ему семьдесят... развалины!.. Так, — награжден свыше меры в воздаяние за прежнюю любовь и заслуги. Она его, говорят, у самой Ригольбоши отбила и в Россию увезла!.. Замуж за него хотела выйти, да граф развода не дал, а когда он помер, уже и охота прошла.

Адель выросла у Полины Кондратьевны за дочь и, кажется, никогда с нею не расставалась. Она была единственною привязанностью Рюлиной, женщины без родственников, совершенно одинокой. Старуха даже ревновала ее, если у Адели заводилась какая-нибудь неделовая дружба. Влюблена Адель, по собственному своему признанию, не была ни разу и ко всякому амурному томлению относилась с большим презрением [*)].

— Блажь!

[*)] Ломброзо, 314-320. (Femmes de marbre)

— Ну а вдруг влюбишься?

— Нельзя влюбиться. Глупое слово! Может только блажь найти.

— Ну хорошо, пускай блажь!.. Как ты будешь, если блажь найдет?

Адель усмехнулась.

— Переселюсь на несколько дней в шестой номер и не вернусь, покуда не просветлеют мозги... Так, знаешь, чтобы о мужчине и думать противно было... Вот, — как Фиаметте про икру...

В шестом номере жил Ремешко и два его товарища, тоже причастных к делу госпожи Рюлиной.

XXXVI

Как ни гадок был рюлинский ад, какими презренными и несчастными не почитали себя закабаленные в нем рабыни, однако и им на столичной лестнице промысла их оставалось еще — на кого смотреть свысока, кем брезговать, кого презирать, — по заслугам, как тварей, опустившихся в порок бесконечно глубже, чем они, гниющих в такой нравственной низости, что, кажется, сама грязь, которой служили эти позорные существа, удивлялась им и отвращалась от них с тошнотою. Мужчины шестого номера всеми женщинами дома Рюлиной были ненавидимы. Что за птицу представлял собою «пробочник» Ремешко, уже было рассказано подробно. А он был сравнительно самый порядочный из трех, то есть, по крайней мере, и будет вернее, самый осторожный: памятовал, что все-таки — не ровен час — в лоб может хлопнуть револьверная пуля, а на ребра обрушиться костоломная дубина рассвирепевшего родственника, жениха или любовника которой-нибудь из погубленных им жертв. Приличнейший на вид, солидный, умелый разыгрывать роль богатого челове-

ка, которым он, и в самом деле, кажется, был когда-то, он работал по преимуществу в мелких буржуазных и чиновничьих семьях. Громкая фамилия, великосветские манеры и репутация миллионера обволакивали Лусьевых, Брусаковых и им подобных, как сладкий дурман, и покоряли Ремешке девушек и женщин тщеславной мещанской среды с быстротою, которой позавидовал бы сам Дон-Жуан испанский. Он часто уезжал в провинцию и возвращался оттуда почти всегда в компании какой-нибудь хорошенькой дурочки, которую, сыграв предварительно более или менее чувствительную любовную драму, благополучно передавал в когти Полины Кондратьевны за вознаграждение — нельзя сказать чтобы очень щедрое. Компрометирующие «пакеты», которыми Рюлина держала в руках рабынь своих, имелись у нее и на мужчин из шестого номера, но — хранились не в домашнем несгораемом шкафу, а в coffre-fort * какого-то заграничного банка.

— Друзья мои! — говорила она господам этим, — вы должны быть моими телохранителями и беречь меня как зеницу ока. Потому что — не дай вам Бог того, чтобы я умерла насильственною смертью либо испытала нападение какое-нибудь или вообще как-нибудь подозрительно этак скончала жизнь свою в одночасье. Потому что у меня такое распоряжение сделано: если я убита или погибну внезапно — постараются добрые люди тихою смертью извести меня, — то пакеты ваши сию же минуту вручаются прокурорскому надзору и жандармам... Поняли?

Прохвосты понимали... Поэтому рабство их было еще прочнее и, в смысле зависимости, много унизительнее женского, и самую подлость свою приходилось им продавать Рюлиной по самой дешевой цене.

— Эх, Марья Ивановна! — возразил Ремешко, когда Лусьева однажды и со зла, и немножко спьяна, принялась было

* Сейф (*фр.*).

ругать его за свою погибель. — Разве я виноват? Мое дело подневольное. Я — раб хуже всех здешних рабов. Не то что девушку завлечь, а прикажут мне задушить вас и тело ваше в Неву с камнем бросить, я и в этом спорить не посмею... А что я будто бы за деньги вас продал, то скажу вам — вот, как Бог свят: сколько ни злосчастна судьба ваша, но все же вы в тысячной обстановке живете, тысячным кредитом пользуетесь. Хоть и петля, да шелковая. Мне же — за все ваше дело — выбросила Аделька две сторублевки... в тот же вечер я их в Петровском клубе спустил...

Эти люди, промышлявшие предательством в любви, гнили в гуще общества, как темная поддонная сила вне закона, труда и заработка. Материально они зависели от Полины Кондратьевны не менее, чем по силе ее изобличительных документов. В любой момент она могла оставить их без крова, пищи и одежи — буквально на произвол судьбы, как людей, которым некуда идти, лишенных всех прав не фактом судебного приговора, но инстинктом животного самосохранения. Они должны были прятаться от жизни, как волки в лесу, потому что волк подлежит истреблению уже за то, что он волк, и, какие покаяния ни принеси он, какие готовности ни заяви, никто не поверит, что он — только большая собака. Да и в волках-то — как волки-одиночки, которые угрюмо боятся других волков и должны промышлять добычу каждый за себя самого, не смея приставать к стае. Ни один из них не мог ответить не то что удовлетворительно, но даже хоть сколько-нибудь вероятно на первый вопрос, который встречает человека в каждой корпорации, хотя бы даже и жульнической:

— Кто ты такой?

Достаточно сказать, что все трое были страстные игроки и недурные шулера, но не смели метать в клубах, чтобы не влететь в историю, потому что история вызовет слежку. Один был пьяница, но, зная себя буйным во хмелю, в рот не брал

вина иначе, как в одиночку: боялся, не наскандалить бы и не дать бы скандалом руководящей нити для слежки.

XXXVII

У рабынь Рюлиной были шансы — когда-нибудь откупиться на волю, при помощи какого-нибудь влюбленного богача, способного отвалить единовременно куш, достаточно жирный, чтобы оптом удовлетворить аппетиты «генеральши», рассчитанные на долгую розницу. Были шансы — уйти на богатое содержание или даже в замужество и, обязавшись хорошо обеспеченными векселями, платить Рюлиной лишь ежегодный своего рода оброк. Были шансы — раздобывшись деньгами, скрыться за границу. Но три раба шестой квартиры были лишены и этих возможностей. В одну из своих провинциальных поездок Ремешко пленил где-то на Волге многомиллионную вдову-купчиху и решил было — покончить со всеми своими похождениями, жениться и остепениться в лоне супружеских капиталов. Примчался к Рюлиной — торговаться о свободе, и — Люция с Машею подслушали через отдушник разговор удивительный. Полина Кондратьевна весьма похвалила «пробочника», что не скрыл от нее своих матримониальных затей, и очень советовала — не упускать случая, непременно жениться. Но выдать Ремешке его «пакет» — компрометирующие документы — отказала наотрез.

— Ни за пятьсот тысяч.

— Вы назвали эту цифру как невозможную, — говорил отчаянный, весь зеленый Ремешко, — но я готов больше дать... Не обещать, а дать, — верите?

— Почему же не верить? — хладнокровно возражала старуха, — состояние твоей невесты мне известно. Захочет заплатить, так заплатит, а заставить — ты сумеешь. Но я сказала не

«пятьсот тысяч». И так как ты не понял, то я прибавлю: ни за миллион!

— Полина Кондратьевна! Подобного капитала вы не успеете составить, как бы хорошо ни шла ваша торговля. С пятьюстами тысячами вы можете забастовать...

— Где? на Сахалине? — сухо оборвала его старуха. — Мой милый, права и возможности умереть спокойно и в своей постели я не продам ни за какие деньги. Я желаю быть хозяйкою своей жизни, а не лакеем, как ты. Можешь обобрать эту саратовскую тумбу хоть догола, — поделиться ты, конечно, со мною должен и поделишься хорошо, как я захочу и найду нужным, — но о документах своих и думать перестань: они для тебя не продажны.

— Полина Кондратьевна! Вы отказываетесь от своего счастья и губите мое!

— Оставь, пожалуйста. Яйца курицу не учат. До тех пор, покуда твои документы в моих руках, ты — мой раб. Как только они очутятся в твоих или уничтожены будут, роли наши меняются. Ты слишком во многом участвовал и чересчур много знаешь, голубчик. Небось, и доказательствами запасся, улики подобрал.

— Клянусь вам, — какое хотите обязательство выдам, что никогда не стану вредить вам, лишь бы документы перешли ко мне.

— Я тоже, пожалуй, поклянусь, что никогда вредить тебе не стану, но документы останутся у меня.

Старуха засмеялась.

— Умный человек, а глупости говоришь. Ну чего стоит такое обещание? За кем сила, того и воля. Если из двух человек одному необходимо бояться другого, то я предпочитаю, чтобы боялся ты, а не я... А жениться — это ты ловко задумал... женись! Ничего не имею против того, чтобы ты разбогател. Супруга с миллионами — вещь полезная. И тебе, и нам будет хорошо.

— Для вас что ли жениться-то? — грубо огрызнулся Ремешко. — Чтобы вы эти миллионы из меня потом, год за годом, высасывали чрез документы мои? Нет, покорно благодарю! Овчинка выделки не стоит! Сами знаете, что жениться мне значит еще новую уголовщину на себя взгромоздить... Рисковать собою лишь для того, чтобы ваши доходы новым оброком своим увеличить, я не намерен-с, нет! Отступного заплачу — сколько угодно, а в оброчники не пойду!

— Как тебе угодно. Ты хорошо знаешь, что я на этот доход не рассчитывала, — следовательно, отказаться от него мне ровно ничего не стоит. Если бы с неба валилось, подобрала бы, с великою благодарностью. Но если ты надеялся миллионами ковриги своей настолько меня ослепить, чтобы я дуру сваляла, то — весьма ошибся в расчетах, голубчик! Меня, брат, золотым блеском не удивишь. Я на своем веку всего видела: и миллионами ворочала, и на Сенной за полтинник с первым встречным ходила. Да! Так, стало быть, изволь работать, что и как я тебе велю, твоей собственной изобретательности мне совсем не надо... Пощипать же ковригу валяй! дело не вредное! Пожуируй в свое удовольствие, а барыши — на дележку. Треть — твоя, две — мои.

— Две трети — вам? За что же бы это? — злобно усмехнулся Ремешко.

— За то, голубчик, чтобы я не мешала тебе, чтобы коврига твоя не узнала, что ты за цаца.

XXXVIII

Женщины Рюлиной относились к мужчинам шестого номера — приблизительно так же, как к ним самим относились их гости-покупатели: ими пользовались и гнушались. Ни один из этих продажных самцов не умел выскочить в сутенеры. Да и понятно. Сутенер тем и побеждает проститутку,

что она видит в нем человека, объявившего себя вне всякого закона и повиновения: между ним и действительностью нет ничего, кроме его воли, за которую он кого угодно на финский нож насадит и сам готов под нож идти. В сутенере живет демон анархии, страшный для всякого, кому приходится с ним считаться: это — защитник-разбойник. Он способен изувечить свою женщину и даже почитает такое бойло шиком своего рода, но — кроме него самого — уже никто больше той женщины не тронь. Гость, полиция, хозяева женщины — для него кровные враги, с которыми он состоит лишь в перемирии, покуда нет вызова с их стороны, но никогда не в мире. Разумеется, на такую роль совершенно не годились жалкие рабы, трепетавшие при одном суровом взгляде Адели, при одном имени Полины Кондратьевны. В жизни «воспитанниц» Рюлиной не было ни искры даже и той бедной поэзии, скорбной и мучительной, которую носит в себе каждая уличная проститутка, верная своему полудикому «коту».

А между тем, все три проститута эти были специалисты по уловлению женщин, и каждый из них на веку своем сбил с пути не один их десяток. Один из товарищей Ремешко даже имел кличку «Графчик», потому что когда-то давно, служа лакеем в доме графа N, ухитрился влюбить в себя графскую дочку. Забеременев, несчастная выбросилась с третьего этажа и убилась. «Графчик» с хвастовством показывал окно на Литейной, откуда упала на тротуар его несчастная возлюбленная. Это был мерзавец опасный и разносторонний, одинаково ловкий в подвале провести роман с хорошенькою швейкою в качестве честного и солидного труженика-мастерового, а в бельэтаже блеснуть лондонским фраком и офицерским мундиром. В провинции он не стеснялся щеголять в гвардейских формах и настолько хорошо знал военный быт, имена и нравы, правду и сплетни, что в самозванстве своем никогда не то что не попался, но даже и подозрений не возбуждал. Он отлично говорил по-румынски, по-армянски

и не скрывал, что долго был фактором по переправке живого товара из Одессы в Константинополь и в этой милой профессии натворил каких-то совсем сверхъестественных зверств.

— По моей шее три государства тоскуют! — хвастался он.

Третий проститут, по кличке «Студент», имел специальностью разыгрывать передового человека, развивателя, пропагандиста. Красавец с нежным, женственным личиком, он в свои почти уже сорок лет глядел еще двадцатипятилетним юношею, был мастер поговорить на «брошюрные» темы и, бродя по скверам, садам, дачным местам, пожирал сердца бонн, гувернанток, учительниц, одиноких барышень из замкнутых, скучных, полуинтеллигентных семей. Определись этот человек в шпионы, из него мог бы выйти страшный провокатор. Но для «Студента» была закрыта даже эта карьера, в которой за усердие и ловкость получал иногда отпущение грехов сам Ванька Каин. Напротив: до наглости бесстрашный пред физическими опасностями своего ремесла — пред кулаками или дубиною разъяренного мужа, револьвером брата, финским ножом любовника, — «Студент» был единственным человеком в доме Рюлиной, которого не только угрозою, но простым разговором о полиции, суде, прокуроре, тюрьме, каторге и т.п. можно было довести до панического ужаса, до истерического припадка. Этим пользовались, чтобы дразнить его как юродивого. Вообще, его считали немножко помешанным, да едва ли он уже и не был таков. В нем чувствовался человек, когда-то перенесший страшную опасность и навсегда напуганный ею. В домашнем быту, когда «Студент» освобождался от своей интеллигентной роли, он проявлял привычки и манеры, говорившие сведущему человеку о долгом и печальном тюремном прошлом. «Графчик» в частых своих ссорах со «Студентом», — все три сожителя в свободное время только и делали, что лаялись между собою, — ругал его «острожною Катькою». Эта выразительная кличка объясняла, почему воспитанницы брезговали «Студентом» еще больше, чем двумя

его товарищами. Те были хоть мерзавцы, но все же — самцы, а не полусамки, как этот несчастный отброс житейской накипи — невесть из какого скверного ее котла. Окликнутый на улице, он снимал шляпу неуловимо быстрым, холопски поспешным жестом раба, привычного, что за покрытую голову начальственный кулак бьет по морде без милосердия.

— Дурак! — издевался над «Студентом» «Графчик», — по одному тому, как ты кланяешься, в тебе не вовсе глупый сыщик должен сахалинца признать!

Жил «Студент», конечно, по подложному или чужому виду, как и его товарищ «Графчик». Но последний был болтлив и охотно рассказывал многие свои похождения. «Студента» же биографию и настоящее имя знала во всем свете только Полина Кондратьевна да, быть может, отчасти Адель.

— Ты от меня, голубчик мой, никуда не укроешься, — шипела Рюлина, когда бывала недовольна «Студентом». — Только тебе и жизни, что у меня под крылом. Сбежишь — на краю света найду тебя! Разве на луну улетишь, а то подобных тебе соколиков даже Америка выдает.

XXXIX

При всей своей нелюбви делиться Аделью с кем-либо старуха, несколько лет тому назад, посылала ее в Москву к отцу, о котором был слух, что он очень денежный человек.

— Старик, — рассказывала Адель, — очень удивился и обрадовался, что у него такая красивая дочь. Сразу мне поверил, да нельзя и не поверить: я вылитый его портрет... Но — вот матери моей никак не мог припомнить. «Ах, — говорит, — chérie! * их у меня тогда столько было!..» — «Да тряхните памятью: Аленой звали...» — «Mais oui, mon enfant!

* Дорогая! (*фр.*)

Toujours, comme ça: les Alionas et les Axinias...une grosse foule de pauvres creatures!..» * — «Так и не знаете?» — «Помилуй, ma petite **, как ты хочешь, чтобы я знал? Ведь я управлял вотчиною в десять тысяч душ!.. Да! И обо мне даже один ваш известный сочинитель драму написал!.. Про меня и про графиню! Ба! Я сам видел: в театре представляли — и очень хорошо. Вот какой я был молодец!.. Где же было считать их всех, les Alionas et les Axinias?!.» Подарил мне, однако, образ Святой Цецилии и локон волос. «Это, — говорит, — кудри моей матери, а твоей бабушки... une déesse! une sainte à genoux, mon enfant! *** Это принесет тебе счастье...» И плачет... Бонна его или лектрисса, что ли, все мимо нас шнырит, разряженная такая, морда надутая, съесть меня хочет... Я было подластиться к ней хотела: «Что вы, миленькая, против меня имеете? Вы не бойтесь: я как приехала, так и уеду... не отбивать хочу вашего старика: я дочь!..» — «Вижу, — отвечает, — что дочь, обличье обозначает... да уж больно много вас, сыновей-дочерей, к нему шляется... Я свой хабар оберегать должна, — пускать перестану. Кто вас знает, зачем? Он старик слабый...» Ну, а потом мы с нею очень сошлись. Преумная баба оказалась и теперь даже помогает нам немножко по делам, когда случаются в Москве... И вообразите: сколько нас, «дочерей-сыновей», к старику ни являлось, он всем, оказывается, дарил по Святой Цецилии и по локону своей матери... Надо полагать, бабушка моя была вроде Анны Чиляг, — вот, которая в газетах рекламы своим волосам печатает, а то и сама Юлия Пастрана!..

У Адели был жених — настоящий жених, деловой, un vrai homme d'affaires ****: изящный и довольно красивый, тоже

---

* Ну, конечно, дитя мое! Всегда одно и то же: Алены, Аксиньи... Целая толпа несчастных созданий!.. (*фр.*)

** Моя малютка (*фр.*).

*** Богиня! Коленнопреклоненная святая, дитя мое! (*фр.*)

**** Истинный деловой человек (*фр.*).

лет сорока, француз, коммивояжер крупной парфюмерной фирмы, очень хорошо осведомленный о профессии своей невесты, потому что был давним поставщиком на знаменитую модистку Юдифь, поставщицу Рюлиной. Но французский буржуа, покуда делает карьеру, не имеет предрассудков насчет происхождения капитала. Целомудренные негодования осеняют его вместе с рентою. А до тех пор — les affaires sont les affaires *.

— Когда у меня будет сто тысяч рублей, — мечтала Адель, — я скажу всем вам mes adieux!.. ** Мы с Этьеном обвенчаемся и уедем жить в Монпелье; это его родной город, и он надеется приобрести там очень выгодно превосходную фабрику душистого мыла... Со временем он будет депутатом, а я первою дамою в округе!

Но надежды ее то и дело разбивались проигрышами Рюлиной, как о подводные камни.

— Ах, если бы не эта проклятая страсть! — вздыхала Адель. — Полина Кондратьевна — я не знаю, на что способна!.. просто, кажется, мир покорила бы! Я выросла при ней, воспитана ею, с пятнадцати лет работаю с нею вместе, и, — кроме игры проклятой: биржи, рулетки, тотализатора, карты, — не могу назвать ни одного ее ложного шага!.. Вина она не пьет, ест — не гурманствует, мужчины для нее не существуют... самый восхитительный темперамент, идеальный характер для дел!.. Но вот — все грабит игра!.. И притом какая несчастная игра!.. Бывает, что ей месяцами не везет... Случалось, что мы закладывали брильянты!.. Да!.. У Юдифи — состояние, у Перхуновой — капитал, Буластиху можно считать в сотнях тысяч, а у нас самая шикарная клиентура и дела идут блестящее всех, но мы закладываем брильянты!

* Дела — это дела (*фр.*)

** Прощаюсь!.. (*фр.*)

Картежные вечера, и по очень крупной, устраивались довольно часто в доме самой Рюлиной — в одной из квартир нижнего этажа, обращенных во двор. Буластиха, Перхунова, Юдифь и наиболее фаворитные факторши Рюлиной бывали при этом частыми, а иные и непременными, участницами.

XL

В одну из таких игорных ночей Машу, поздно вернувшуюся с беленькой немочкою из театра и давно уже спавшую крепким сном в своей «каюте», разбудила заспанная, зевающая Люция.

— Вставай, одевайся... тебя требует Полина Кондратьевна.

— Чего ей? — недовольная, сонная, зевала в ответ Маша.

— Пес ее знает зачем... Приказывает Аделька по слуховой трубе, чтобы ты оделась получше и шла вниз, в восьмой номер... Надо быть, графские нагрянули...

— Шляются... бессонные черти!

Когда Марья Ивановна, принарядившись, явилась на зов, ее прежде всего ошиб пьяный, дымный воздух комнаты, словно тут кутила целая команда пожарных. Ей бросился в глаза ряд развернутых, исписанных мелом, ломберных столов и в особенности один, у которого стояла Адель, — с двумя электрическими лампами-шандалами, с грудою карт на нем и под ним. Над богатым, но уже очень опустошенным, закусочным столом возвышалась, в табачном тумане, как некое красное облако, широкая выпуклая спина тучной женщины в пунцовом шелку. Марья Ивановна с обычным испугом узнала Буластову. Та, — на шум платья Лусьевой, — повернула к ней красное, в тон туалета, толстое лицо, заулыбалась, закивала. Сердце у Маши дрогнуло... Адель, хмурая и бледная, стоя у карточного стола, злобно чертила по сукну мелом. На Машу она не подняла глаз, только, заслышав ее, нервно передернула плечами. Были тут и Перхунова, и Юдифь, и еще несколько

женщин, незнакомых Маше. Все они казались полупьяными и утомленными. Но всех страшнее была сама хозяйка — Полина Кондратьевна. Она сидела в глубоком кресле совсем обессиленная, точно разваренная, даже свинцовая какая-то с лица; полуседой чуб ее развился на лбу и налип мокрыми косичками, по румянам на щеках проползли черные борозды, глаза тупо и тускло таращились в одну точку.

— Марья, — сказала она сиплым, не своим голосом, впервые за все три года называя Лусьеву по имени. — Я, Марья, того... Ну да что уж тут!.. не везет! Вот, Прасковья Семеновна, извольте получать... при свидетелях...

— Так точно, душенька Полина Кондратьевна, при свидетелях!.. — отозвалась Буластова тонким и веселым голосом, ловя с тарелки вилкою румяный кусок семги. — Все по чести и в аккурате!..

— Как следствует!.. — сипло поддакнула какая-то из «дам»...

Полина Кондратьевна обвела всех своим мертвым взглядом и продолжала:

— Так вот... я, Марья, от тебя отказываюсь, ты мне больше не слуга... Теперь будет твоя госпожа Прасковья Семеновна... целуй ручку.

Кровь хлынула в голову Маше. Так и отшатнуло ее... Буластиха улыбалась ей, жуя семгу маслянистым ртом, и протягивала тяжеловесную, мясистую, в кольцах лапу.

— Целуй, скорее целуй... — послышался за спиною Маши быстрый, трепетный шепот взволнованной Адели.

Маша, едва соображая, что с нею сделали, что она сама делает, нагнулась к протянутой руке.

— Испужались? — сказала Буластова с тою же торжествующею и жеманною улыбкою, голосом сдобным, звонким и певучим, как у охтенки. — А вы не пужайтесь. У меня вам, душенька, будет оченно как прекрасно... Бумажонки и причандалы ейные у вас, Аделичка, будут? — обратилась она к Адели.

— Ключи дайте! — грубо крикнула та на беспомощную Полину Кондратьевну.

Старуха молча, трясущейся рукою, вынула из сумочки на поясе связку ключей.

— Пожалуйте, примите!.. — отрывисто и мрачно обратилась Адель к Буластовой.

— Федосья Гавриловна, — хозяйски приказала Буластова одной гостье, высокой и плечистой бабе-гренадеру, угрюмой с виду и даже не без усов. — Сядь, голубушка, рядом с барышней, возьми ее за ручку, покуда мы не вернемся.

— Не отнимем ее у вас, — обиделась Адель. — Что это вы, право, Прасковья Семеновна.

Та возражала уже на ходу.

— Ах, милая, как вы могли подумать? Разве я от вас надеюсь? А бывает, что бегают...

— Куда от нас бежать? Ей бежать совсем некуда.

— Конечное дело, что некуда. Да ведь глупы они, девки, соображения не имеют. Мало ли что им в фантазию вступит? Дом же у вас огромаднейший, имеет многие выходы, богатейшее помещение... Выскочит барышня на улицу, — возись с нею!.. Другие тоже, случается, стекла бьют, скандалы делают...

— Не таковская.

— Ах, не скажите! Ах, ангел мой, и очень вы мне этого не говорите! Ни одна девушка сама характера своего не знает, и, чего вы можете от нее с большою внезапностью ожидать, этого вы наперед знать никак не в своем состоянии.

Баба-гренадер исполнила повеление хозяйки в точности и для верности даже обняла Машу за талию, так что, сидя с нею плечом к плечу, перепуганная, ошалевшая девушка чувствовала себя в железном обруче. И вдруг она — вихрем в голове — вспомнила все страшные толки, все грязные сплетни, все возмутительные слухи, что доходили на Сергиевскую о Буластихином доме вообще, а в особенности, об этой вот Федосье Гавриловне, которая теперь заключила

ее в живые оковы и дышит на нее винным паром. И жутко ей стало до озноба и стука зубовного: вот когда душенька-то совсем пропала, волокут черти в ад!

Рюлина смотрела на Машу, качала головою и говорила:

— Уж извини, Марья, — никогда я не думала так с тобою расстаться, но, видно, такая твоя судьба... Жаль мне тебя отдавать, ужасно жаль!.. Не будет у меня другой такой слуги... Бить меня некому, старую дуру!..

— Зачем вы меня продали, Полина Кондратьевна? — зарыдала девушка.

Старуха сконфузилась и ничего не отвечала, — только развела руками.

— Они вас не продали, — толсто кашлянув, сказала басом баба-гренадер, — мы вас в карты выиграли.

Гостьи захохотали.

Маша обомлела. Этакой подлости над собой она уже никак не ожидала и сразу не могла даже охватить ее умом. Уставилась молча на генеральшу дикими глазами, но Рюлина под ее непонимающим взглядом лишь посизела вся в лице и еще глубже осунулась в своем кресле.

В карете, увозившей Машу навсегда от Рюлиной, между двух мощных телохранительниц, Буластова опять повторила:

— Не пужайтесь, убедительно вас прошу! Ежели вы будете против меня рассудительная и аккуратная, — как в раю проживете, неприятностев от меня не узнаете. Я вас, Марья Ивановна, очень ценю. Я за вас, — вот как вы есть в одних шубке-платьишке, без всякого приданого, на девятнадцать тысяч шла. Кабы вышла не моя карта, я должна была платить девятнадцать тыщ... Опосля того вас оченно можно сберегать... Вы не пужайтесь...

(Не помню, кто из критиков «Марьи Лусьевой» в первом ее издании усумнился в правдоподобии этой сцены — проигрыша «живого товара» в карты. Между тем это случай обыкновенный и даже частый, — правда, больше на низах проституции, где хозяйки вообще смотрят на своих ка-

бальниц как на живой меновой или денежный знак. Факт же проигрыша, так сказать, «примадонны» шикарного заведения я взял вот из какого происшествия. В начале 80-х годов один из самых блестящих молодых людей тогдашней Москвы, студент-техник П.Н. Кр-ч-т-в без ума, без памяти влюбился в красавицу-проститутку Зину Косую, закабаленную пресловутым публичным домом Стоецкой. Кр. был человек очень состоятельный, однако хозяйка заведения, заметив, что он влюблен серьезно, заломила с него за Зину такой огромный выкуп, что К. спасовал: не под силу! Промышленница эта (к слову отметить, сама женщина еще молодая, красивая и даже изящная) была лютая картежница. Вот Кр. и известный драматический актер О.П. Горев и взманули ее на крупную игру. Сначала Кр. был в сильном проигрыше, но у жадной бандорши разгорались глаза на большее, она не забастовала вовремя, счастье ей изменило, и Кр. пошел ее крушить. В несколько минут она продула восемнадцать тысяч рублей (отсюда я и взял цену Марьи Лусьевой). Струсила и запросила пардона. Кр. объявил, что готов ей простить проигрыш, но — пожалуйте Зину! На том и сошлись. Сожительство Кр. с выкупленной таким способом Зиной продолжалось несколько лет. Это была всей Москве известная, замечательно-красивая, картинная пара. Однако и этот романический союз осужден был однажды лопнуть — и, кажется, по вине Елены Николаевны (настоящее имя Косой Зины). Не знаю, что с нею потом сталось: едва ли не возвратилась к прежней профессии, по которой, живя с Кр., довольно прозрачно скучала. Кр. вскоре женился на молодой драматической актрисе, сестре одной из самых ярких звезд русского театра, замечательной красавице великорусского типа, но и в сотую долю не так даровитой, как сестра. Брак этот тоже оказался непрочным. Супруги разошлись, а затем, по разрыве, оба были как-то очень быстро загублены туберкулезом, что очень изумило Москву, потому что, казалось бы на вид, как мужу, так жене, своего богатырского здоровья во сто лет не изжить. См. также Ломброзо, 132 — 134. Кузнецов, 96, 122, 186, 247.)

Часть вторая

БУЛАСТИХА

XLI

Дело Прасковьи Семеновны Буластовой было устроено на совсем иных основаниях, чем у Рюлиной. Она не признавала женщину своею, покуда не забирала ее к себе в дом, под прямой гаремный надзор.

— Вся должна быть у меня в кулаке! Нет у тебя своего! Куском моя! *)

Дело было мельче и несравненно серее рюлинского, но шире. Домов, то есть квартир, населенных невольницами, Буластова имела в городе множество, не меньше пятнадцати, но все маленькие, рублей по четыреста, по шестисот годовых, и только три большие, слывшие в деле «корпусами».

Самую обширную, но опять-таки не целый особняк, как Рюлина, но лишь длинный бельэтаж занимала сама Прасковья Семеновна с самыми ходивыми и избранными из кабальниц. Тут был центр ее торговли и всего хозяйства. Помещение было выбрано очень ловко: на бойкой площади против одного из самых посещаемых петербургских театров, а между тем, уединенное и отделенное от столичной жизни, словно тюрьма.

*) Кузнецов, 32.

Подвал и нижний этаж под «корпусом» были заняты рядом нежилых торговых складов и магазинов. В третьем этаже угнездилось по долгосрочному контракту правление какого-то «Анонимного общества пережигания печорских лесов в древесный уголь», пустовавшее с пяти часов дня до одиннадцати утра, да и в приемные часы свои не слишком посещаемое. Выше обитала хозяйка модного заведения, рабски связанная с Буластовой постоянною на нее работою, а в пятом этаже ютились захудалые меблированные комнаты, которые Буластовой очень хотелось приобрести, но хозяин, еврей с правом жительства, был себе на уме и не уступал дешево. Соседство Буластихина вертепа, когда в нем гуляли Гостиный двор или Калашниковская пристань, давало большой доход также и этим «меблирашкам». При переполнении спален в «корпусе» парочки искали пристанища наверху, и номера ходили впятеро, вдесятеро своей обычной цены.

Другой «корпус» *), поменьше, находился на Песках и управлялся сестрою Буластовой, Пелагеей Семеновной, бабой старой, глупой и вздорной, но не злой. Буластиха была тесно связана с нею в капитале и потому не могла выжить ее из дела, хотя очень к тому стремилась, считая сестру дурой бестолковой, нерасчетливой и чересчур мягкой:

— Балуешь ты мне, Пелагея, девиц!

Действительно, попасть в корпус к Пелагее Семеновне опытные кабальницы почитали за отдых. Но в то же время этакое перемещение было зловещим признаком — вроде перевода офицера из гвардии в инвалидную команду. На Пески сплавлялись из главного корпуса и наиболее действенных квартир неудачные новенькие и падающие в спросе, устаревшие, надоевшие, приглядевшиеся: товар, что не идет с рук по хорошей цене — значит, пускай его в дешевую распродажу.

---

*) О соединении нескольких притонов в одних руках, с приказчицами на отчете. Кузнецов, 32. Генне-Ам-Рин (случай Марии Джеффери), 114, passim.

Третьим «корпусом», маленьким особняком на Петербургской стороне, командовала та самая Анна Тихоновна, что впоследствии привезла Машу Лусьеву, под эгидою баронессы Ландио, в город К. Этот корпус слыл между кабальницами под выразительными именами «Сибири», «Сахалина» и даже «Ада». Тут было штрафное отделение, дисциплинарный батальон Буластихина дела. К Анне Тихоновне, степенной и благовидной вдовице, опрятной, учтивой, с лицом и манерами почтенной нянюшки добрых старых времен, ссылались на исправление женщины, виноватые непокорством или какими-нибудь проказами, — и тоже второй и третий сорт: такие, которыми Прасковья Семеновна с Федосьей Гавриловной не настолько дорожили, чтобы утруждать себя их собственноручною дрессировкою. Отсюда ясно, каков характер таился под патриархальною наружностью кроткой вдовицы. Сама она, впрочем, часто бывала в разъездах, так как считалась специалисткою по торговле на провинцию и то и дело конвоировала каких-нибудь красавиц куда-нибудь на местный заказ. А на время ее отлучек бразды правления «Сибирью», «Сахалином» или «Адом» принимала тамошняя корпусная кухарка Лукерья — уже совершенно каторжный тип. Так что штрафные кабальницы уж и не знали, когда им живется хуже — при самой управительнице или при заместительнице...

В корпусах — особенно в главном — имелись просторные залы, столовые, зеркальные комнаты. Здесь можно было гостю потанцевать, поужинать, устроить афинскую ночь с местным женским персоналом или вызываемым из маленьких квартир — главной доходной статьи Буластихина дела. В каждой из них жило по две, много по три женщины, под фирмою какой-либо приличной на вид и по паспорту дуэньи, вроде той же баронессы Ландио, — на нее писалось помещение по домовой книге *). Иногда эта госпожа

*) Кузнецов, 32 Генне-Ам-Рин, 117.

бывала действительною распорядительницею квартиры, то есть ответственною приказчицею на отчете; иногда, в квартирах побойчее, к ней приставлялась контролерша, под видом экономки. Прислуга давалась в зависимости от величины и торгового значения квартиры. Были такие, где полагались и хозяйка, и экономка, и кухарка, и горничная, а были и такие, где все четыре должности совмещались в одной хозяйке, при помощи самых надзираемых ею женщин, которых, конечно, в таком случае полагалось и число минимальное, и качество попроще.

Наконец, были укромные приюты, — преимущественно на городских окраинах и на зимних дачах в пригородах, — где вовсе не селилось женщин, а были только сторож с сторожихою, обязанные держать помещение в порядке и тепле на случай наезда из города особенно таинственных парочек, о чем они предупреждались из главного корпуса по телефону. Это была дорогая игрушка, Буластиха шибко на ней наживалась. Но вообще-то квартиры были ее мелочными лавочками для дешевой торговли враздробь, тогда как главный корпус являл собою нечто вроде универсального магазина или клуба.

XLII

Защита квартирных женщин против случайностей их опасного промысла выражалась в «жильцах» — колоссальных парнях, которые будто бы нанимали от хозяйки свободную комнату с мебелью. В действительности же, сами еще получали жалованье, впрочем, ничтожное, так как главный расчет службы был на подачки от гостей, да и женщины понуждались делиться с «жильцом» из денег, перепадавших им «под подушку» и «на булавки». Когда в квартирках появлялись гости, «жильцы» обязаны были услуживать им за лакеев, а в случае дебоша и буйства переходить на роли телохранителей-вышибал. Само собою разумеется, что

вербовалась эта доблестная гвардия отнюдь не из кандидатов на Монтионовскую премию за добродетель *).

— Помните, дьяволы, уговор: чтобы у меня ни грабежа, ни краж!.. а ни-ни! — грозила Буластиха. — Ежели даже гость твоих фокусов-мошенств не приметит, но я проведаю, то в Сибири сгниешь. А уж от меня-то, брат, не спрячешься: я вас всех насквозь, да еще на три аршина под тобою в землю вижу!.. И не за кражу свою сгниешь, а за то — за свое... за другое, прежнее... Понял? У каждого из вас, голубчики, довольно есть такого, чтобы в тюрьме сидеть. Моими милостями от кандалов бегаете. Ты, мордатый, не гляди, что в сыщиках служишь: зазнаешься, — я на тебя укорот найду. Сыщик — не святой митрополит-чудотворец. Тоже вашим братом остроги-то конопатят предостаточно. А каково бывает сыщику среди шпанки острожной, — знаешь? Жив не будешь, каторжная твоя душа!.. Вот ты и соображай!.. Когда счета подаешь, — приписывай, сколько влезет: что сверх моих марок возьмешь, первое счастье — экономкино, второе — хозяйкино, третье — твое. Но воровать — Боже сохрани! У меня служи почисту, поблагородну...

Трепетали ее все, потому что мясистый кулак ее в случае провинности не разбирал возраста и пола, и усатые морды «жильцов» обливались кровью из «хрюкала» так же легко и покорно, как и нежное личико беззащитной семнадцатилетней девочки, не угодившей своему «гостю».

— У меня, батюшка, отец родной, для гостя — рай, — убеждала Буластиха своих приятелей-клиентов: ни тебя опоят, ни тебя окурят, часов-кольцов не снимут, бумажника в кармане не тронут...

— Это хорошо, мать-командирша, что совесть помнишь!

Буластова ухмылялась.

---

*) Ломброзо, 429 — 430. Parent Duchatelet. Frégier. Cutrera. «Всемирный вестник». 1903 (статья о петербургских хулиганах).

— Ну совесть!.. Где в нашем деле совестью заниматься?.. Не то чтобы совесть, а — не расчет. С очень толстым бумажником ты, купец милый, как будучи человек торговой души, ко мне в большой разгул не пойдешь. А тыщу-другую с тебя снять — рук марать не стоит: коли в задор войдешь, сам больше оставишь!.. Кабы на сто тысяч, на пятьдесят, ну — на двадцать на пять, — это еще куда бы ни шло руку закинуть! А что мне — скандал на ту же сумму влетит. Полиция, да суд, да газетишки... погибель!

Шантажные оковы, которыми удерживала своих невольниц Рюлина, Буластова ценила очень мало.

— Барская затея, и страх от нее барский, — объясняла она. — Когда девица в моих руках, я ее завсегда так расположить могу, что, окромя энтого самого, никакой другой угрозы супротив нее уже и не требуется. Чего ее старым страмом стращать? Живет у меня, вот те и весь страм... довольно! Энто у Рюлиной субтильности-миндальности, потому — графы, бароны, калегварды... А меня, батюшки, кормят Калашниковская пристань да Гостиный двор. Моя публика — хо-хо-хо!.. Уходи от меня, пожалуй: Рюлина со всеми своими пакетами того не сделает, как я тебя без пакета по всей Рассее затравлю!.. От меня — ежели не на выкуп, так — на бланку, в разряде, по книжке... других ходов нет.

По этому рассуждению, невольниц на «пакете» у нее под начальством имелось, действительно, немного. Преобладающее большинство составляли просто тайные проститутки, по ремеслу скрываемые и скрывающиеся от полиции. Элемент, которым Рюлина брезговала, здесь почитался главным в деле.

Затворничество, — вне выездов на «работу», всегда под присмотром какой-либо верной дуэньи, — соблюдалось строжайшее *). Шпионство было развито стихийно. Хозяйки шпионили за экономками, экономки за хозяйками, «жиль-

*) Генне-Ам-Рин, 108, 109.

цы», прислуга, женщины — все были связаны взаимным наблюдением и доносами. Буластиха знала всегда и все по всей своей сети. Память у нее была огромная, — точно губка, всасывающая сплетни. На невольниц она принимала жалобы ото всех, невольницы жаловались с успехом, лишь когда их дурно кормили: на этот счет Буластиха была очень внимательна и предусмотрительна *), — все остальные претензии она пропускала мимо ушей, а над иными прямо издевалась:

— Говоришь, — экономка по щекам тебя прибила? Больно?

—Ужасно больно, Прасковья Семеновна.

Трах!!! у девушки сыпятся искры из глаз от неожиданной оглушительной пощечины.

— Так больно или еще больнее? — хохочет Буластиха.

— Прасковья Семеновна! — бросается к ней девушка, — не велите «жильцу» ко мне приставать... Я его видеть не могу, а он бить грозится, насильно приказывает...

— Дурак, что еще не бьет, — хладнокровно возражала Буластиха. — Дура! Убудет тебя, что ли?

— Заступитесь... Противен он мне!..

— Ну да! Только и есть мне дела, что твои капризы разбирать. Ты, девушка, с «жильцом» не вздорь. Жилец вашей сестре человек завсегда самый нужный. Жильцу угоди.

Невольницы в корпусе считались более почетными, чем невольницы мелких квартирок. При себе Прасковья Семеновна поселяла тех, которыми наиболее дорожила, но ее отвратительный, свирепый характер делал это нерадостное отличие почти наказанием.

При вступлении Маши в корпусе жило пять девушек, из них ни одной интеллигентной. Роль примадонны, за отсутствием «Княжны», разыгрывала великолепная волжская красавица Нимфодора, белотелое создание, с глазами репою, которое никак не могло запомнить собственного своего имени. При

*) Кузнецов, 37.

первом знакомстве с нею Маши Нимфодора была в слезах: ей только что досталось от хозяйки, — зачем была дура дурою при деликатном госте?

— И грит этто он, злодей, — всхлипывала Нимфодора пред Машею и хорошенькою, как молодой хищный зверь, гибкою, черною, глазастою, знойною и опасною еврейскою Фраскитою, — и грит он этто мне, голубушки мои: «Так, стало быть, — грит, — сударыня, должон я понимать вас из благородных?..» Я ему все, как Федосья Гавриловна учила, сичас объясняю: «А вот вам, кавалер, как Бог свят, Мать Пречистая Богородица, что тятенька у меня майор, а маменька... как ее, пес-дьявол? — адьютантша». — «Удивительно!» — грит. — Я ему на это: «А, как есть, ничего не удивительно, потому что, стало быть, у мово родителя лента через все плечо и, выходит, остаюсь я теперича пред вами полковницкая дочь».

— Это, — про ленту-то, — тоже Федосья Гавриловна тебя учила? — язвила и хохотала хорошенькая Фраскита.

Нимфодора уставила на нее свои унылые глаза, как телка, созерцающая новый забор.

— Н-н-не... про ленту я сама...

— Зачем же?

— А гадала, что баско... Мать-кормилица! Что ж мне? — уж и слова своего не скажи? Чать я не для худого, своей же хозяйке стараюсь...

— Ну! ну! — наслаждалась злорадством Фраскита.

— Ну... он, аспид холодный, все вида не подает, в сурьезе сидит, комедь ломает: «А образование, — грит, — свое вы, я в том уверенный, в ниверситете имели?» Я, — как и что в том разе сказать, не ученая, — политично отвечаю ему в обиняк, с учтивостью: «Это, милостивый государь, не от нас зависимое, а как тятенька с маменькою пределят». — «Очень похвально, — грит, — милостивая государыня, правильное имеете рассуждение, одобряю. А имечко ваше святое как?» Я, сделамши ему с приятностью глазки,

натурально запрошаю: «А вам на что? Может, это мой тайный секрет?» — «Да все же», — грит. «Ну, зовите хучь, Олею». — «Ну что Оля: врете все... хороша Оля, да с ней недоля!.. вы заправское имя скажите!..» — «А уж ежели хотите знать заправское, то зовут Помидора...» А он, что же, черт зевластый? Как загогочет... ровно боевой гусак! И сейчас же экономку, Раису Михайловну, кличет. «Вы бы, — грит, — плутовки, поддельщицы питерские, свою полковницкую дочь хоть врать складно выучили!.. одно с вашей стороны ко мне невнимание и мошенство! Так уж только за красоту не увечу, да что деньги вперед заданы» *).

Две девушки были из безличных, но красивых и бойких петербургских немок. Пятая и последняя — особа уже лет тридцати пяти, или казавшаяся на столько по старообразию, превосходно сложенная, хотя и сильно ожирелая, — была очень некрасива грубым, что называется, носорожьим лицом «кожевенного товара», с большими белесоватыми глазами и носом, изучавшим движение планет на небеси.

— Нет ничего, что бы Антонина не могла рискнуть! А ругается она, как орган! Если заведен, будет сыпать четверть часа, не передыхая, и все разные слова!.. Купцы ее за это страсть обожают! **)

Столь исключительными данными объяснялось, почетное не по наружности, место Антонины в буластовском деле. Кроме того, у нее было чудеснейшее контральто, которым она мастерски пела под гитару цыганские песни. За этот талант и за грубую, мужественную развязность Антонина и между товарок занимала привилегированное, господствующее место. Немки ее обожали и чуть не дрались между собою за близость к ней. А Антонина обходилась с ними небрежно и повелительно.

---

*) Ср. Кузнецов, 37.

**) Кузнецов, 26—27. Также в моих «Птичках певчих». Также в «Лиляше» (Пролог).

XLIII

Эта женская компания приняла Машу не то чтобы враждебно, но с тем насмешливым злорадством, каким люди в скверном положении сами встречают падающих в него новичков: была рюлинская, стала буластовская, значит, не в гору, а под гору, не на поверхность, а ко дну *) .

— Ты угости барышень на новоселье, — посоветовала Лусьевой в первый же день звероподобная Федосья Гавриловна. — Скорее подружишь.

— Я рада, но денег нет.

— Пустое дело: отпущу всего, что спросишь, проставлю на счет. Хоть на сто рублев!

Огромною выгодою обитательниц корпуса перед квартирными было отсутствие «жильцов». Мужское население корпуса представляли кучер и, по жаргону дома, «слоны» — два гиганта-лакея, один лет тридцати пяти, другой уже к пятидесяти. Кучер был женат на одной из горничных корпуса, а гиганты оба, — хотя могли бы поставить себя в отношении невольниц на ту же ногу, что и жильцы по квартирам, и уж, конечно, не Прасковья бы Семеновна им запретила, — пренебрегали своими возможными привилегиями. Младший — потому, что был безумно и без всякого успеха влюблен в Фраскиту и, перенося от нее тысячи обид, насмешек и неприятностей, не поднимал даже взгляда на других женщин.

— От Федора — Фраскиткина смерть! — пророчила густым своим голосом опытная Антонина.

— Развести бы их? — рекомендовала Федосья Гавриловна.

Прасковья Семеновна презрительно фыркала:

— На кой ляд? Чтобы энтот буйвол вовсе рехнулся от ревности да раз по десяти на день бегал ее проведывать?

---

*) Ломброзо, 412 (Carlier).

Забыла, как он в прошлую зиму изломал Ваньку Кривулю? Того еще не хватало, чтобы «жильцы» друг на дружку смертным боем шли!

Лусьева никогда ни раньше, ни позже не видала человека так страстно влюбленного, как Федор. Это было настоящее сумасшествие от любви. Он совсем разучился говорить, целыми днями молчал и все думал. Если Фраскита была у него на виду, он не отводил от нее глаз. В остальное время сидел в передней на скамье и тупо смотрел на носки своих сапогов, гвоздя мозги одною и тою же больною мыслью.

— Зарежет тебя Федька! — все в один голос остерегали Фраскиту.

Она, гордо раздувая сильные ноздри типичного еврейского носа, говорила:

— А ну?!

Буластова, дорожа Федором, увещевала его:

— На кой дьявол она тебе далась?

— Жениться... желаю...

— Нашел на ком! Лучше не выберешь?

— Не желаю.

— Да и как женишься? Ты русский, она еврейка.

— Выкрещу.

— А если не захочет.

— В Турцию увезу, там есть город Солоника... Я уж знаю, был. Там греческие попы за лиру кого с кем хошь...

— Однако, парень, у тебя это обмозговано!.. — с почтительным любопытством рассматривала его Буластова. — А вдруг не перевенчают?

— Ейную веру приму.

— Н-ну-у?!

Буластиха только качала головою.

— А лучше бы ты свое это баловство прекратил. Такой прекраснейший молодой человек и из себя картина... Плюнь! Одна она что ли? Среди каких красавиц живешь...

— Не желаю... — угрюмо мурчал Федор, изучая носки сапогов.

— Ах, черт бровастый! Ну хочешь: прикажу, чтобы жила с тобою?

— Не желаю... чтобы приказывать...

— Тьфу!

К «гостям» Федор Фраскиту не ревновал, а если ревновал, то хорошо скрывал скрипение своего сердца: ремесло ведь! — но ни один «жилец», никто из мужчин-завсегдатаев, часто вхожих в буластовский вертеп, не смел и подумать об ухаживании за Фраскитою. Классическая трепка, которую корпусный «слон» задал жильцу Ваньке Кривуле, легендарным предостережением огласилась по всем квартирам.

— Я у вас бывать не стану! — орал на самое Буластиху чопорный и франтоватый немец, домовый годовой врач ее, доктор Либесворт: популярнейший в своем роде на весь Петербург специалист, с которым, однако, пациентки избегали раскланиваться при встречах. Медицинским надзором этого гения особого рода буластовские затворницы были окружены едва ли не с большею тщательностью, чем подвергаются ему настоящие регистрированные проститутки... *) Его же услугами предотвращались, редкие в среде этой — невыгодные для хозяйки — беременности **). — Я не могу! Ваш «слон» действует мне на не-е-е-рвы!.. Ну что особенного в том, если я даже и увлекся? Ну разумно вас спрашиваю, — ну что?! А он... этакое грубое (доктор с отвращением произнес: «гррэбое») животное!.. Нет! Я... я... я и гэвэрить о нем не хочу!.. Однако мой цилиндр стоил двадцать пять рублей. Вы, madame Буластова, можете вычесть там с него или как вам угодно... но я ставлю вам в счет двадцать пять рублей! Да-с!

---

*) Мартино, 142.

**) По Марновской, только 34 проц<ента>. Ломброзо, 318.

— Ты что же, облом?! — налетала Прасковья Семеновна на Федора.

Тот смиренно принимал плюходействие, но повторял:

— Не желаю... чтобы...

— Хоть бы вы, чертовки, отбили его у Фраскитки которая-нибудь! — озлилась Прасковья Семеновна. — Я, Федор, если ты не образумишься, кажись, тряхну стариною, сама за тебя примусь...

— Ваша воля хозяйская, — уныло басил созерцатель своих сапог, — но токмо я... чтобы в законный брак... желаю...

Другой «слон», — звали его Артамоном, — был человек делового характера, солидной лакейской складки, читатель газет, знаток биржевой хроники, скупец, мелкий ростовщик и в доме, и вне дома, человек с капиталом и с будущим. Он уже четвертый год жил в постоянной связи с «Княжной», о которой Маша еще у Рюлиной слыхала как о главном буластовском козыре, держал ее в большом повиновении и новых побед не искал. Когда Маша вступила в корпус, «Княжна» была в отлучке — под охраною все той же Анны Тихоновны, украшала своим присутствием Ирбитскую ярмарку.

— Каждую зиму посылаем, — повествовала Маше Федосья Гавриловна. — Прошлый год одиннадцать тысяч хозяйкиной пользы вышло, да Артамон четыре билета купил... а чем Анна Тихоновна и Зоя Маркеловна попользовались, это уже их счастье: не расскажут! Тоже небось сот по семи в чулке под пяткою привезли, а то и все тыщу!.. Вещи «Княжна» получила... очень значительные: браслеты, кольца... шубку песцовую... мне чудеснейших соболей подарила... Потому — такое — серединное место, именитое купечество!.. Сибиряки рассейских перешибить хотят, а рассейским в капитале уступить амбиция не позволяет...

По портрету «Княжна» Маше совсем не понравилась: узкое, длинное лицо малокровной и уж не очень молодой блондинки, с носом, тонким, как лезвие ножа, с маленьки-

ми, неласковыми глазами и слащавою, лживою улыбкою на растянутых губах.

— Да! — многозначительно подмигнула Федосья Гавриловна, прочитав на лице Маши полное разочарование. — Рожа не рожа, а таки мордальон!.. Один нос на троих рос — «Княжне» весь достался... А зарабатывает лучше всех *). Потому что — «Княжна»!.. Нашей публике оно, понимаешь, лестно...

XLIV

«Княжна» занимала в корпусе недурную комнату с маленькою прихожею и альковом, красиво отделанную, — впрочем, за ее личный счет. Другие женщины ютились в грязных, тесных каморках-спальнях, не видавших ремонта чуть ли не с легендарных грессеровских времен. Впрочем, лучших логовищ для сна они — ленивые **), зажирелые, распущенные — и не требовали. Нужно было именно логовище, а не жилье: постель, чтобы валяться на ней по целым дням — «до востребования», и туалетный столик. Никогда ни одна из этих женщин не развлекала себя ни чтением, ни работою. Над рукодельницами издевались ***), и первая — сама хозяйка. Шить, вязать, вымыть что-либо из белья для самой себя считалось позором, унижением: на то горничные, прачки — парии ручного труда; аристократки труда полом смотрели на них с неизмеримого высока, полные трагикомического презрения.

Лень и неряшество обстановки отражались неряшеством ленивых, холеных тел. Под бархатом и шелком скрывались грязные юбки; шею мыли под большое или малое декольте,

*) Шашков, 663. Ломброзо, 80, 318.

**) Елистратов, 16.

***) Ломброзо, 433. Cutrera, 25.

глядя по случаю; в великолепных прическах не в диво были насекомые *). Все в притоне было нарядно вечером, все грязно и унизительно днем. «Гостей» здесь, в комнатах барышень, конечно, не принимали. Для них имелся в передней и парадной части бельэтажа обширный зал, убранный с трактирным шиком, и три соответственных боковых к нему покоя, по востребованию превращаемые в спальни. Если их оказывалось недостаточно, лишние пары переселялись в меблированные комнаты пятого этажа. При том в смысле «приема гостей» корпус сравнительно мало работал, открывая свое большое помещение лишь для крупных и многолюдных оргий. Маленькие свидания Буластова предпочитала устраивать по квартирам.

Маша сперва осталась вовсе без комнаты.

— Уж я тебя, Машенька, попрошу на первых порах, покуда отделается помещение, потеснись, поживи у Федосьи Гавриловны.

Буластиха врала: помещение было, притом отличное, и со временем Маша именно его получила. Да и всей «отделки» потребовалось только открыть из комнаты экономки дверь, бывшую на ключе и завешанную ковром с изображением двух купающихся нимф, да передвинуть экономкину слоноподобную кровать к противоположной стене. Но хозяйка, попервоначалу, боялась оставить Машу жить одну в отдельной комнате.

— А вдруг удавится? вдруг убежит? вдруг расшибет стекла, бросится из окна либо просто устроит скандал на целую улицу?

Осторожности ради, Маше не было поставлено в комнате Федосьи Гавриловны даже особой кровати. Экономка, как некий цербер, укладывала Машу на огромный двухспальный одр к стене и затем отрезывала ее от всего мира своею колоссальною тушею, поразительно чуткою во сне. Туша хра-

*) Parent Duchatelet, 135—137.

пела, видела сны, даже бредила, но — чуть Маша открывала глаза, в тот же момент, по неизъяснимому сторожевому инстинкту, открывала их и Федосья Гавриловна.

— Спи, бессонница! баюн тебя не берет!

Комната экономки была просторная, солидная, опрятная. Федосья Гавриловна содержала ее в большой чистоте.

Стены усеяны были фотографиями в рамках, преимущественно женскими. Марья Ивановна признала два-три лица, знакомые ей по дому Рюлиной, и ей стало как-то легче: ага, мол! значит, не я первая здесь, не я и последняя! Над пузатым комодом, крытым парусной скатертью, висел в овальной рамке большой портрет необыкновенно дюжего офицера в гусарской форме. Вглядевшись, Марья Ивановна узнала в лихом гусаре не иного кого, как хозяйку комнаты, экономку Федосью Гавриловну. Должно быть, она самой себе очень нравилась в этом воинственном уборе, потому что, кроме большого портрета, гусары меньших размеров со всех стен, то фасом, то в профиль, пучили гигантскую грудь, хватали туго обтянутыми толстейшими ляжками, топырили зад готтентотской Венеры.

Действительно, Марья Ивановна нашла, что в мужском костюме «экономочка» куда пригляднее, чем в дамском туалете, и природа преподло подшутила над нею, сотворив ее женщиною: в мужчинах была бы красавец не красавец, но молодец хоть куда. Заметив, с каким самодовольством экономка показывает эти свои изображения, и памятуя, что на лесть не только звероподобные люди, но и крокодилы падки, Марья Ивановна, на всякий случай, немножко сподличала.

— Какая вы здесь интересная! — воскликнула она, — прелесть, как вам идет... просто, душка, — влюбиться можно!

Федосья Гавриловна самодовольно захохотала и, в виде милостивой ласки, тяжело ударила пленницу ладонью между лопаток.

— А ты влюбись!

— Нет, право... без шуток!.. На вашем месте я всегда бы так ходила...

— Хозяйка не позволяет, — возразила Федосья Гавриловна с скрытою грустью, почти со вздохом. Да и, конечно… так, иной раз, для машкарада, отчего не пошутить, а воопче не пристало... Экономка не барышня... Это вашей сестре пристойно рядиться во всякие виды, чтобы завлекать «понтов», а экономка должна соблюдать свою солидность... Ты хоть радугой выпестрись, а мне — темное платье, наколка, передник пофрантовитей да бант на груди...

Как большинство женщин, промышляющих живым товаром и обслуживающих этот рынок, ни Буластиха, ни Федосья Гавриловна сами никогда проститутками не были, чем весьма откровенно гордились пред своими жертвами и чем, может быть, объяснялось их презрение и жестокость к жертвам.

(Очень редкие проститутки, хотя, казалось бы, совершенно утратившие стыд в печальном промысле самопродажи, относятся без отвращения к торговле «живым товаром». Лишь незначительная часть таких торговок выходит из среды проституток. Так, по данным Кузнецова, в 1870 году из 66 содержательниц домов терпимости в Москве ранее были проститутками только 7.)

При разврате и жадности Буластихи, конечно, не добродетельные соображения ее сдерживали. Смолоду она была недурна собой и, на посту хозяйки, случалось ей терпеть жесточайшие искушения.

— Мне подлец Широких, — хвастала она, — пьяный черт, самодур иркутский, — вот в этой самой зале, — десять тысяч, как одну копеечку, вывалил на паркет, чтобы я с ним пошла вместо Лидки Шарманки... помнишь, Федосья? красавица была, не нам с тобой чета... Да ведь этим дьяволам, самодурам, главное — подай запретное, чего достать нельзя... Сердце перевернулось и кровью обливалось... убила бы его, мерзавца, как он швырял пачками по

паркету... Однако скрепилась, выдержала характер... Потому что иначе — назавтра — какой же был бы здесь над всеми мой афторитет? Ферфаллен ди ганце постройке! Вся дисциплина к черту под хвост!

XLV

Определение Маши на постоянное и столь интимное житье к Федосье Гавриловне *) было встречено в корпусе градом насмешек, грязных острот и намеков, которые звероподобная экономка принимала с снисходительною руганью и самодовольными улыбками, а Лусьева — раздражаясь до бешенства, до слез...

— Оставь. Что тебе? От слов не слиняешь! — уговаривала возвратившаяся из Ирбита «Княжна», сразу очень хорошо подружившаяся с Марьею Ивановною.

— Мне обидно, что врут гадости...

— Наплевать!

— Да! Если бы врали про тебя!

— Успокойся: врали и про меня, покуда не надоело. В высокой степени наплевать! Надоест врать одно и то же, — оставят в покое и тебя, начнут есть какую-нибудь новенькую. Через эти сплетни нашей сестре обязательно пройти. Я даже советую тебе не слишком спорить против них. Из них тебе может быть польза. Сплетни ей льстят. Она слушает, что врут и — будто сердится, а сама надувается от радости, как индюк! — стало быть, и сама будет к тебе мягче, чем к другим, хозяйкин гнев разобьет **), когда понадобится: за ее спиною — как за каменною стеною...

---

*) Ломброзо, 319—325. Parent Duchatelet, 161, 163. Martinau. Cutrera, 30 — 33. Канкарович , 143, 144, 189, 190.

**) Кузнецов, 25.

Прасковья-то наша не только ее уважает и слушается, а даже и побаивается: уж слишком давно работают вместе, много общих делишек на совести... Держись, Марья, за Федосью! держись!

— Да! — пробормотала Маша, — хорошо, если все обойдется словами... А если она заберет в голову фантазию — на самом деле?

«Княжна» посмотрела на подругу пристально, мрачно.

— Э!!! — сказала она и отвернулась.

И в коротком звуке ее безнадежного восклицания Маша угадала: «Ну что ты притворяешься дурочкою и фигуры строишь? словно малолетняя. Кто попал на дно ада, тому поздно читать чертям лекции о добродетели...»

Маша покраснела. В узеньких глазках «Княжны» она прочла недоверие к искренности ее опасений и негодования: ну как это «рюлинская», — после нескольких лет в школе и практике изощренного генеральшина притона, — вдруг оказывается столь невинною институткою, что для нее новостью являются самые обычные похождения вертепного быта? Роман с экономкой — экая, подумаешь, важность какая! кто через это не проходил? Стоит поднимать столько шума из-за таких пустяков! *)

— У нас, у Рюлиной, — возразила Маша, — пошлости эти показывались только в живых картинах... для графа Иринского и других старых подлецов...

— Будто бы уж, только? — недоверчиво удивилась «Княжна».

Маша нетерпеливо отвернулась, кусая губы.

— Ну, пожалуй, бывало иногда баловство... шалости, спьяну... Жозька безобразничала... Актрисы две приезжали, графинька одна... Но — чтобы в жизни, чтобы всерьез, чтобы почти открыто, — никогда! никогда! Никому и в голову не приходило такого срама. Ни за что!

---

*) Ср. «Яму» Куприна. Jean Lorrain «Monsieur Philibert».

«Княжна» любопытно воззрилась на нее:

— В самом деле? Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а, как видно, устав на устав не приходится. У нас это — чуть ли не высший шик... Наслышали, что так водится за границею, в Париже, — стало быть, подавай и нам, в Гостиный двор — последнюю моду. У Прасковьи Семеновны в «корпусе» и по квартирам жило прежде много француженок, а в особенности немок, берлинских. С них это и взялось, и пошло. А уж где завелась однажды эта зараза — кончено: скоро ее не выкуришь, будет расползаться, как экзема какая-нибудь эпидемическая... Ведь знаешь, как мы, русские, все заграничные моды перенимаем: если в Париже золотник, так у нас фунт, если в Берлине аршин, так мы сажень вытянем. А сколько нашей сестры на этом вконец оскверняется, до скота бессмысленного тупеет и, развратом захлебнувшись, душою и телом гибнет!.. Уже одну Антонинку нашу — если бы моя воля была, я повесить велела бы: она ведь теперь зачинщица всей этой грязи и тон дает. Немочки эти обе — Клара и Густя — еще полгода назад, когда поступили к нам, какие были чистенькие, скромные, робкие, как стыдились и тосковали, что несчастная судьба бросила их на путь наш безрадостный! А сейчас — Антонинкину школу прошли — ведут себя халды халдами, стали грязь грязью. От чего прежде плакали и приходили в отчаяние, — Клара-то на первых порах у нас в петлю было полезла! — теперь хохочут... хвастают... бесстыдничают!.. А ведь Кларе всего двадцатый год, а Густе нет девятнадцати. И для обеих Антонинка — божество земное: кулаками дерутся между собою из-за того, на которую она ласковее посмотрит. А она — ведьма, тварь. Она уже одну девушку — грузинка была, Тамарою звали — довела фокусами своими до кровохаркания. А другая, Лиза-одесситка, нажила себе нервные припадки, истеричка сделалась, так себя искалечила, что уже как будто и в уме мешаться начинала. Галлюцинации имела, страхи таинственные. Теперь ее

в Финляндии водою лечат... «понт» один богатый разжалобился, — выкупил ее у Прасковьи Семеновны и денег дал.

Марья Ивановна возразила:

— Я, Лидия, не понимаю. Все говорят, и я сама вижу, что Прасковья Семеновна ужасно взыскательная и строгая. Как же она-то это терпит и попускает?

— Сама хороша, — желчно отозвалась «Княжна». — Ты еще не знаешь, ты вообразить себе не можешь, что это за скотина, какая это развратная тварь! Более скверной бабы я не видала!

— Однако не пристает же она, как Антонина...

— Так это потому, что она о себе понимает очень высоко, а нас презирает, как последнюю дрянь. Мы для нее не люди, а рабыни, живой товар. Она брезгует собственным товаром. А ты порасспроси прислугу, что у нее в личных ее покоях творится. Она не признает ни мужчин, ни женщин: ей подай тринадцать, четырнадцать лет... И — свирепая ведь она, мучительница... Черт знает что проделывает! В прошлом году чуть-чуть не засекла паренька одного, а пять лет назад гимназистика на полотенцах до бесчувствия закачала... Ей ли других унимать? Она только издевается да тешится.

— Пусть даже и так, но ведь ей же не выгодно, если одна девушка чахотку наживает, другая сумасшедшею делается... Значит, они перестают годиться в работу. Она теряет на них.

«Княжна» отвечала сурово и насмешливо:

— Не беспокойся, не просчитается. Еще будет ли чахотка, еще когда-то сумасшествие, а до тех пор ей за Лизами да Тамарами несчастными и сторожей не надо, — хоть веревки из них вей, хоть ходи по ним, как по живым половицам, хоть розгами секи их каждый день, только не разлучай. Ты смотри: немки наши горемычные даже свободными днями не пользуются, никогда ни шага из дома, кроме как на «работу», сторожат свое сокровище, точно их привязывает к «корпусу» невидимая цепь. Ты, я, Фраскита,

пожалуй даже Нимфодора глупая, — только покажи нам выход на волю, убежим куда глаза глядят. А Клару и Густю разве что силою Прасковья Семеновна прогонит из «корпуса»: по своей воле они не уйдут никуда. И буфету от них доход немалый: все три — что ни добудут на булки, сейчас же вместе проедят на сластях и пропьют на ликерах. А бутылку ликеру Федосья ставит в пятнадцать рублей, а полуфунтовая коробка конфет у нас — три целковых. Все кругом в долгу, закабалились до того, что в десять лет не раскабалиться. Таких особ, как Антонина, хозяйки на вес золота ценят, а ты хочешь, чтобы Прасковья Семеновна ей противодействовала? Не так глупа! *)

К сожалению, «Княжна» была совершенно права, заподозрив Машу в неполной искренности. «На самом деле», которого возможностью Маша возмущалась для будущего, уже давно было настоящим, — только таились... А после разговора с «Княжной» Маша, с обычною своею трусливою покладистостью, рассудила, что с волками жить — по-волчьи выть: хвастать нечем, да и очень скрывать не стоит. Выгоды покровительства Федосьи Гавриловны, высчитанные «Княжною», выяснялись Маше с каждым днем наглядно и осязательно. Она чувствовала, что, сравнительно с рабством прочих женщин «корпуса», ее рабство еще бархатное. И, мало-помалу, для самой себя незаметно, через ежедневные мелочишки, стала все менее стесняться и все прозрачнее входить в роль «экономкиной душеньки».

Месяца через три по вступлении в «корпус» Маша получила наконец отдельную комнату, — смежную с экономкиной, через открытую дверь. По этому случаю «корпусные» товарки потребовали с Маши угощенья на новоселье, а чтобы веселее было, выдумали сыграть шутовскую свадьбу. Пир был на весь мир: все силы и власти «корпуса», с самою Буластихою

---

*) Кузнецов.

во главе, все барышни, вся прислуга и почетные гостьи из квартир. «Венчания» не играли: жестокость и распутство не препятствовали Буластихе и Федосье Гавриловне быть религиозными и опасаться кощунства, которое не пришлось бы по сердцу также и многим из барышень и прислуги. Федосья Гавриловна, в роли новобрачного, величественно принимала гостей, облеченная в фрачную пару, а Марья Ивановна — в том венчальном туалете, что некогда сшила ей Рюлина для прельщения сумасшедшего «Похитителя невест». Пьянство на этом шутовском свадебном пиру было великое, а счет долга Марьи Ивановны в книгах Буластихи удлинился колонкою двух и трехзначных чисел с четырехзначным итогом. Несмотря на то, что Федосья Гавриловна для своего праздника ставила цены милостивые, почти лавочные!

XLVI

Первые три дня Марья Ивановна провела как бы в заключении: безвыходно, безвыездно. Приходили какие-то факторши темного вида, Буластиха и Федосья Гавриловна знакомили с ними Машу. Те говорили ей комплименты, пили чай с вареньем и ромом, шептались с хозяйкою или экономкою, некоторые получали Машины фотографии — как обыкновенные, так и из коллекции Адели (эти последние, конечно, потихоньку от Маши) — и уходили. Сама Буластиха тоже несколько раз выезжала со двора, забирая с собою Машин «пакет»... На четвертые сутки Маше уже с утра было велено хорошенько заняться своею красотою. А когда смеркалось, Федосья Гавриловна села с нею в карету и покатила на Васильевский остров.

Карета высадила женщин у одного из очень многих подъездов огромного пятиэтажного дома, протянувшегося чуть не на целый квартал по линии и долгими глаголями загнутого в переулки. Федосья Гавриловна и Лусьева стали под-

ниматься по бесконечной петербургской лестнице: тусклой, узкой, грязноватой и не из ароматных. Экономка пропустила Машу идти вперед, а сама отставала только на ступеньку. Подниматься надо было на самый верх. У довольно обдерганной двери без дощечки Федосья Гавриловна дернула за звонок, и — Сезам тотчас же отворился: выглянула толстая рябая горничная, а за нею высился угрюмый детина с шрамом под глазом и в буйных кудрях. При виде Федосьи Гавриловны лица обоих приняли выражение подобострастного восторга. По коридору навстречу вошедшим спешила худощавая пожилая дама с льстивою и глуповатою улыбкою на изношенном и, заметно, знавшем много лучшие дни лице. Одета она была в черный шелк и очень прилично, но как будто немножко с чужого плеча.

— Ах, душечка, Федосья Гавриловна! — взвизгнула она. — Ах, как я рада! А мы уже в отчаяние приходили... Ждем, ждем...

— Ты нас прямо к себе веди, — чуть кивнула ей экономка. — Там и разденемся.

— Слушаю, душечка моя! С особенным удовольствием!

По тесному коридору они прошли гуськом, стараясь не зацепить низко опущенную керосиновую лампочку, в небольшую комнату с множеством образов в углу и полочкою душеспасительных книг *) над полуторною деревянною кроватью с высокими подушками и малиновым стеганым одеялом.

— Скидай шубку, — приказала Федосья Гавриловна Маше, только теперь здороваясь с дамою за руку. — Вот, познакомьтесь, что ли: Марья Ивановна — Евгения Алексеевна, хозяйка здешняя... У, шуть песский! Из всех квартир хуже твоего тычка, Евгения, для меня нет, шутка ли? Семьдесят три ступеньки!..

Она лоснилась, как атлас, и пыхтела, как паровик.

— Очень приятно сделать такое милое знакомство!

---

*) Ломброзо, 427, 428. Кузнецов.

Дама протянула Маше худую холодную руку с вздутыми синими жилами.

— А «обже» ваш давно уже томится... просто сгорает нетерпением! Ах, только теперь я вас во всей вашей красоте, милочка, вижу!.. Что это? Прелесть какая вы хорошенькая!.. У нас такой даже еще и не бывало!.. Очень счастлива! Я вас, mademoiselle, давно знаю: по театрам видала, в цирке... Просто заочно влюблена в вас была: такая душка, радость, ангелок!.. И всегда, бывало, думаю: ну что она там у Рюлиной? Лучше бы к нам. И вот, наконец, какова судьба-то? — ну, ждали ли вы того? — привел Бог познакомиться!..

— Ты, Евгения, не трещи, — бесцеремонно оборвала ее Федосья Гавриловна. — Твоих всех слов до будущего года не переслушать. С кем энтот у тебя там?

— Его занимают Эмилия Карловна и Клавдюшка.

— Покличь-ка Эмилию сюда, а сама там покуда побудь-останься.

Дама ушла, не очень довольная, но все же, по привычке, льстиво и восторженно улыбаясь.

— Это я для тебя стараюсь, — сладко сказала Маше Федосья Гавриловна, — хочу познакомить тебя заранее с экономкою. Потому что — Евгения эта лишь на словах прытка, а вся цена ей медный грош, и в деле она ровно ничего значит. Так только, что паспорт очень хороший и представительность имеет, за то и держим... А то бы — и жалованья жаль... А Эмилия Карловна — солидный огурец: не раз тебе придется водить с нею хлеб-соль. Баба не из злобных, но с норовом и почтение любит. Ну, стало быть, значит, и — не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

Вплыла небольшого роста шарообразная немка из типа, про которую русский народ говорит: «Лихорадкою беднягу било, — все кости вытрясло, а восемь пудов мякоти осталось».

— О? Ви?! — с приятностью заулыбалась она.

Федосья Гавриловна познакомила Машу. Узнав, что девушка владеет немецким языком, Эмилия Карловна, сразу к ней расположилась.

— Ты, Эмилия, соблюдай, — внушала Федосья Гавриловна, — чтобы твои оболтусы, Боже сохрани, ее не обидели.

— Aber, meine liebe * Теодос Кавриль! пошалюста, путте покойник! Я ошинь карашо виталь, какой Марь-Фан шельфек, и путу ее заграниль, как eine синица в глазе!

— Ты так всем и скажи: ежели грубости, охальство, вопче безобразие, я взыщу хуже, чем за десять княжон...

— Путте покойник! путте покойник! — гостеприимно приглашала усердная немка.

— А затем проминаться мне здесь с вами нечего. Тот-то что делает?

Эмилия Карловна сожалительно подняла брови к верху узенького лба.

— Пил с Клавдюша отин путилька шампань.

— Ишь, скаред! Ну мы с Машею его подкуем. Ты это, Марья Ивановна, памятуй себе паче всего: вина — сама пить хоть и не пей, а спрашивать вели походя... Это у нас — в первый номер. У Рюлиной вашей, сказывают, хороших гостей вином даром поят, хоть облейся, — так зато Аделька с них снимает тысячи. А мы женщины скромные, до тысячи и считать не умеем, — ну, а за винцо нам заплати!..

Она вывела Машу в небольшой, очень небогатый и изрядно закопченный залец, в котором на стене красовались картины, изображавшие — одна жертвоприношение Авраама, другая — Вирсавию в купальне: рыночные произведения ученической васильеостровской кисти, вероятно, когда-нибудь застрявшие при квартире за долг. Под аляповатою Вирсавией, на диване, восседала не менее аляповатая девица в китайском пеньюаре и с папиросою в зу-

* Но, моя милая (*нем.*).

бах. Навстречу Маше она испустила притворно-радостный визг:

— А вот, Семен Кузьмич, и моя подруга!.. Здравствуй, душка, ангел, небожительница!

Марье Ивановне пришлось наивнейше облобызаться с особою, которую она, хоть присягнуть, — видела впервые в жизни. Евгения Алексеевна сидела тут же. Она изображала снисходительную тетушку, grande dame, а аляповатая особа — ее шаловливую племянницу... Спектакль разыгрывался для малорослого молодого человека, с незначительною физиономией, обросшею мутными, рыжеватыми волосами; галстук у него был голубой с изумрудною булавкою, а глаза, порядком подконьяченные, то беспокойно вращались, точно колеса, то вдруг застывали в столбняке необъяснимого испуга. Человек этот производил впечатление, будто он только что хапнул чужие деньги и не уверен, не гонится ли за ним по пятам полиция. Узрев Машу, он просиял, перестал вертеть глазами и несколько приосанился. Полилось вино... Купца, действительно, «подковали». Время от времени Федосья Гавриловна подмигивала другим женщинам — те, поодиночке, вставали и уходили. Наконец она сделала знак и Маше. И та вышла.

— Ну-с? — победоносно воскликнула Федосья Гавриловна, оставшись с гостем наедине. — Видал? Врали мы тебе или нет?

— Дили... лиди... леди... деликатес!.. — лепетал нагрузившийся вращатель глазами.

— Д-а-с! Нет, ты скажи, портрет видал? казали мы тебе портрет? отличает хоть эстолько? врали мы тебе? скажи, ответствуй: врали?

— Не м-мо-огу на себя брать... Лиди... дили... катес!.. И должон к вашей чести приписать, потому что все такое... по совести...

— Да! И генеральская дочь! Хошь — все документы на стол? За нее, брат, три графа сватались! Графы! Можешь ты вникать?

Глаза Семена Кузьмича затвердели в столбняке.

— Б... б... б... бароны лучше! — все-таки протестовал он, хотя и с нерешительностью.

— Много ты понимаешь! Баронами, брат, у ейнаго отца все притолоки обтерты.

— Б-баронами? — в священном ужасе возопил Семен Кузьмич.

— Ими самыми! — храбро подтвердила решительная дама. — Сейчас умереть. Эка невидаль — бароны твои!.. Тебе, по низкости твоего рождения, они, может быть, и в диковину, а нам — тьфу! Вот мы как высоко себя понимаем!

— Ну, и значит, — перешла она в деловое объяснение, — коль скоро мы свое слово к вам сдержали и барышня вам нравится, то позвольте условленное с вас по уговору получить.

Тем временем Марья Ивановна оставалась на попечении аляповатой девицы...

— Вас Марьей Ивановной звать? — трещала та. — Давно вы у Буластовой? А прежде у Рюлиной были? Вы, говорят, из благородных? Я сама вахмистрова дочь и в пинционе два класса была, но — ежели превратный кирасир?! Ах, слабость нашей сестры не подлежит описанию и очень достойна удивления!.. В корпусе живете? Там у вас девица Нимфодора — все ли здорова? Подружка моя, прекраснейшая девушка, только глупа очень... Ах, житье вам, корпусным! Я к вам как-нибудь в гости отпрошусь, — можно? Когда самой дома не будет? Ужо я скличусь с вами по телефонту... Можно? Федосья Гаврииловна — та пущай, она девицам к знакомству не супротивница... Гы-гы-гы! Наслышаны мы... Уж вы! Шельмы рюлинские!

Девица захохотала и пребольно хватила Машу с размаху по плечу.

— Вы мне ключицу сломаете, — сказала Лусьева.

— Ишь, нежности!.. А везет-то вам как, именно уж можно сказать, что фартит: какого теленка черт смарьяжил! Энтого — хоть развинти, пальцем не тронет... А вот я, душенька, распронесчастная уродилась на тот самый счет: ежели, скажем, я нонеча во сне капусту вижу, беспременно меня вечером гость бьет! Но только вы того, не опасайтесь: у нас долго скандальничать не полагается, и «жилец» Александр — чрезвычайно какой сильный. По осени купчик тут один кутил со своими молодцами — так Александр их всех четырех, через всю лестницу, скрозь пять этажей, на улицу вышиб... Пристав опосля приходил: «Мадам, на вас жалобы!.. Потрудитесь в вашем неправильном поведении, чтобы потише...» Евгения Алексеена испугалась, только приседает перед ним да клохчет, будто курица. Ну а Эмилия эти дела знает! Сейчас — бутылку шампанского на стол, четвертной билет в салфетку, меня с Еленою позвала: это тоже девушка здешняя, она нонеча к Анне Тихоновне в корпус на финский вечер взята, — Перинная линия гуляет... А вы каких наших хозяек знаете? Ах, еще первую!.. Ну, наша Евгения — что! Только божественные книжки читает да с «жильцом» амурится... А тот на нее, старую кощею, и смотреть не хочет. Он в меня влюбленный. А в вас кто влюбленный? Гы-гы-гы... Слуште! — понизив голос, зашептала она деловым тоном. — Ежели «понт» энтот положит вам под подушки на булавки, вы меня не забудете, — а? Вы, душка-ангел, не жалейте: вы не нашей сестре чета! Я знаю: за вас Федосья три сотни слупила... вы аристократная богачея, а нам, беднягам, откуда взять?

— Какая же я богачея? — даже ахнула Маша. — У меня за душою гроша нет.

Девица торопливо закивала головой.

— Понимаю, душонок мой, все понимаю!.. Да ведь — положит! смекаете? — положит! Вот вы тогда и поделитесь.

Я с вами за это всегда дружить стану. Да! Вы не беспокойтесь: я заслужу!.. Очень могу вам пригодиться. Авось не последний раз вы у нас гостите... Господи!

Маша обещала.

Утро, заставшее Лусьеву в этой квартире, было сплошь отравлено попрошайничеством. Начала Эмилия Карловна:

— Сколько вы получили на булавки, Schätzchen? *

— Двадцать пять рублей, — с досадою, измученная, желтая, злая, полусонная, отвечала Лусьева; эта подачка унижала ее в собственных глазах не только женски, но даже «профессионально». У Рюлиной она швырнула бы бумажку в лицо мужчине, на смех сожгла бы ее на свечке... **) Но немка взглянула на Машу не без почтения.

— S-o-o-o? Schön, Kindchen, schön! Sehr glücklich! ***

И тотчас же объяснила.

— У нас такое положение. Если вы получаете на булавки, то двадцать пять процентов поступают в пользу экономки. Aber, mein Kind ****, вы такая симпатичная, для первого знакомства, вы, наверное, прибавите мне маленькую безделицу в подарок.

Маша сконфузилась и дала ей десять рублей. Пять рублей отстригла у нее льстивая, улыбающаяся, слезливая Евгения Алексеевна. Три — вчерашняя аляповатая девица. Три, — масляно, рабски и в то же время как-то угрожающе ухмыляясь, — выкланял «жилец» *****). Рубль сама Маша сочла нужным дать горничной, которая много ей служила.

В конце концов, она с жадным нетерпением, как дорогого, своего человека, ждала, скоро ли приедет Федосья Гавриловна, чтобы увезти ее из этой западни. Ей уже начинало

---

* Душа моя? (*нем.*)

**) Ломброзо, 436.

*** Прекрасно, деточка, прекрасно! Очень удачно! (*нем.)*

**** Но, мое дитя (*нем.).*

*****) Ломброзо, 429—430

казаться, что канюки-просители, с холуйски-приниженными и настойчивыми глазами, лезут к ней из каждой двери, из каждой щели... Кто, осклабляясь, кланяется и протягивает руку, кто сообщает, как наглый, разбойничий закон:

— У нас такое положение!

Ночь, каждое воспоминание о которой передергивало Лусьеву отвращением, самой ей принесла... три рубля!.. *)

Маша даже побледнела, и губы у нее затряслись, когда сосчитала свои доходы! Ей хотелось избить хищников, снявших проценты с жалкой стоимости ее тела... А надо было сдерживаться, проглотить и обиду, и слезы, и любезно улыбаться Эмилии и Евгении, которые теперь очень хлопотали ей угодить.

Кучер, привезший Машу с Федосьей Гавриловной в корпус, тоже снял шапку:

— На чаек бы с барышни?

Маша, не глядя, с ненавистью стиснув зубы, бросила ему последнюю трехрублевку.

— Ой, девка? — удивилась Федосья Гавриловна, — что больно шикаришь? Был бы сыт и рублем.

Маша, не отвечая, прошла в свое помещение, разделась и легла спать носом в стену. Но сон не приходил, несмотря на усталость после проведенной безобразной ночи. Обида, гнев, стыд, слезы душили. Маша чувствовала себя оскорбленною, осмеянною, ограбленною, растоптанною. В ней все дрожало. Ей хотелось зареветь голосом на весь дом, но «нет, этого они не дождутся, чтобы я еще стала им истерики свои показывать!» — либо побежать, вцепиться ногтями в первое лицо, какое попадется навстречу, да так на нем и повиснуть!.. царапать, визжать, ругаться, плевать, топтать ногами, биться в кровь!.. Бежали час за часом, а успокоение не приходило: разбитые нервы стонали, в сердце вселились тоска

*) Взято из подлинного судебного дела девяностых годов.

и чувство тяжелой пустоты, точно оно стало полным свинцовым ящиком, к горлу подкатывал шар...

И вдруг она вскочила и села на кровати:

— Федосья Гавриловна!

— Чего? — откликнулась та из коридора.

— Поверьте мне бутылку кордон-руж.

— Мо-о-ожно!.. — весело протянула экономка. — Сухого или сладкого?

— Экстра-сек. Да похолоднее.

Двадцать минут спустя Маша пела песни и хохотала, как дурочка. Спустя час она спала мертвым сном. Опорожненная бутылка валялась у ног ее, тут же в постели *).

Уже поздно вечером растолкала ее Федосья Гавриловна.

— Вставай. Сама тебя спрашивает. Гости будут.

В голове у Маши гудела и пересвистывала похмельная вьюга, комната каруселью вертелась в глазах.

— Куда же я к черту гожусь? — сказала она охрипшим голосом.

Пошатываясь от опьянения сном и вином, она добрела до зеркала и ахнула: из стекла взглянуло на нее совсем чужое лицо, оплывшее, опухлое, грубое, почти без глаз...

«Словно Люция, бывало», — с мрачным отвращением вспомнила она.

— Я не могу выйти такая, — решительно сказала Маша экономке. — Пусть Прасковья Семеновна извинит...

— Ш-ш-ш-ш...

Широкая ладонь Федосьи Гавриловны легла на губы Лусьевой.

— Что ты? сдурела, оглашенная? — зашипела экономка, боязливо косясь на двери. — Она те так извинит... Благодари своего Бога, что не слыхала! Ты, Марья, эти рюлинские фокусы, пожалуйста, оставь... честью тебя прошу! У нас

*) Ломброзо, 446, 451, 452. Елистратов, 22.

нельзя. У нас, друг, и в хвост, и в гриву! Я тебя, по нежности моей, добром предупреждаю. Другую бы — прямо через плечо полотенцем... *)

— Да как же я... вы посмотрите на меня! — залепетала струсившая девушка.

— Ступай в ванную, под душ стань... Что хочешь с собою делай, а чтобы через час к гостям выйти!.. Богатейшие бакалейщики!.. Мы у них товар берем...

Когда Маша, синяя, стуча зубами, дрожа всем телом, вся в пупырышках гусиной кожи, но уже свежая и бодрая, скоком прибежала из ванной, Федосья Гавриловна подмигнула ей на стол:

— Ну-ка, Господи благослови!

— Что это?

— Финь-шампань, питье просвещенное. На поправку нет его милее. Пей, больная: угощаю! Лучше здоровой станешь.

— Да я коньяку никогда в рот не брала.

— Начать надость. Не махонькая!

— А запьянею?

— Дура! Не знаю я, что ли, сколько поднести? Оживешь, а не очумеешь! Пей!

XLVII

И так пошли за днями дни, за ночами ночи. Тот же проклятый успех, что у Рюлиной, преследовал Лусьеву и здесь. Только одна «Княжна» оставалась впереди ее по заработку, поступавшему в карманы Прасковьи Семеновны Буластовой. Красота и привлекательность Лусьевой все-таки тушевались за титулом и родословною тощей, подслепой, дурнозубой и скучной женщины, с десятком физических недостатков и, кажет-

*) Грязнов, 126.

ся, без единого физического достоинства. Гостиный двор и Калашниковская пристань с ума сходили не по сиятельной кокотке, а по ее сиятельству…

(«Княжна» — заметная *московская* фигура конца восьмидесятых и начала девяностых годов. Разновидности «Княжны» — тем паче поддельные — не редки, но московский прототип ее поражал цельностью своего унижения, почему именно я и не счел возможным пройти мимо «Княжны» в «Марье Лусьевой». Впоследствии злополучная особа эта умерла или, быть может, скрылась с горизонта в замужество, распустив слух о своей смерти. В тайные проститутки она опустилась после недолгого прожигания жизни в качестве Б. soupeuse и открытого содержанства на иждивении серого купца, ямщика-троечника, Е.)

— Ведь от Гостомысла-с!.. Это, сказывают, еще раньше Рюрика-с!.. И вдруг... Ах-ах-ах! Вы прикиньте, извольте вместить, каково это!..

Обращалась Буластова с Лусьевой, по-прежнему, лучше, чем с остальными, но это зависело исключительно от покровительства Федосьи Гавриловны, а за покровительство экономки имели против Маши злой зуб решительно все — и женщины, и предержащие власти буластовского дела.

Когда Буластиха или Федосья Гавриловна наказывали или обижали какую-либо женщину, товарки ей сочувствовали, ее утешали, не разбирая, права та была или виновата. Если доставалось Маше, все торжествовали:

— Слыхали, девицы? Нонче уже и дворянок хлещут...

— Свои разодрались!

— Милые бранятся, только тешатся!

— Супружеская сцена!

Дружбы у Маши не сложилось ни с кем в корпусе, кроме «Княжны», а эта последняя почти постоянно бывала в разъездах, — на «гастролях», как угрюмо острила она. В первое время к девушке была внимательна и ласкова певунья Антонина, но именно за ее ласковость ревниво возненавидели Машу обе немки. Да и ласковость Антонины была с против-

ным оттенком, и к самой Антонине Маша чувствовала инстинктивное, физическое отвращение. Когда же Федосья Гавриловна гласно и открыто взяла Лусьеву под свою властную защиту, Антонина озверела против Маши пуще всех и — не проходило дня, чтобы не делала ей неприятностей.

Девушка чувствовала, что если каким-либо случаем покровительству настанет конец, то ее затравят, замучат, забьют во сто раз ехиднее и с большим зверством, чем всякую другую... на ней выместят все зло ужасного дома, которого она так долго и счастливо не разделяла с другими.

Она жила в постоянном испуге и поневоле, из чувства самосохранения, жалась к той, у которой находила себе опору. «Княжна» была права: Федосье Гавриловне льстило это покорное искажение защиты *). Сама она держала свою юную приятельницу в ежовых рукавицах, но против всех других стояла за нее крепко и даже Буластихе поставила прямое условие.

— Вы мне, Прасковья Семеновна, мою Машку не троньте. Ручища у вас тяжелая, а она девушка сложения деликатного: самой вам будет невыгодно, если вы ей отобьете печенки. Вы не беспокойтесь: я вашего интереса не упущу, потакать не мастерица. Если девка что сошкодит, сама оттреплю ее, по всей моей доброй совести. Но уж вашей важной ручки, очень прошу вас, к ней не прикладывайте... Ссориться будем!

— Ну-ну, ладно!.. черт с вами!.. «Два друга: колбасник и его супруга»!..

Покровительство Федосьи Гавриловны, если не совершенно избавляло, то значительно защищало Марью Ивановну еще от одного несчастия, не знакомого ей в рюлинской неволе, но слишком обычного и общего пленницам Буластихи.

«Генеральша» выколачивала из своих кабальниц огромные доходы, но сообразно своей аристократической клиен-

*) Ломброзо, 322. Кузнецов, 25. Cutrera, 36.

туре, и сама держала себя барыней, и «воспитанницам» своим внушала высокий тон, исключавший всякую возможность интимного соприкосновения с плебейским мирком мясников, зеленщиков, булочников и т.п. поставщиков на хозяйство дома. Адель шикарно забирала у них продукты, шикарно и расплачивалась. Не погашенный чистою наличностью счет в хозяйстве Рюлиной был большою редкостью.

Наоборот, скаредная жулик-баба, Буластиха, поставщикам своим — кому вовсе не платила, кому платила дешево, жилила, не доплачивала, затягивала кредит вдолгую: ни с единым рублем не расставалась без спора и сделки с очередным кредитором. Поэтому между всем этим народом и нею установилась и прочно держалась полнейшая фамильярность, распространявшаяся, конечно, и на все население ее вертепа. И вот иногда на полный квит по счету, иногда за скидку или подождание долга, Буластиха нисколько не стеснялась, а даже в обыкновение взяла и всякому другому способу расплаты предпочитала — предлагать тела и ласки своих девиц. Конечно, не все кредиторы на то льстились, но в большинстве случаев Прасковья Семеновна торжествовала, и которая-нибудь из невольниц отряжалась погашать долг в порядке натуральной повинности.

Из месяца в месяц так обрабатывался бравый извозчик-лихач, обслуживавший «корпус» выездом рысака-одиночки для показных катаний барышень по городу. Слаб был парень на женский соблазн. Подает счет на тысячу рублей, — дай Бог, чтобы деньгами получил половину. Зато — хоть прямо с козел, как был, в кафтане и сапожищах, милости просим наверх, выбирай любую свободную из девиц и гуляй с ней, как хочешь и сколько хочешь.

«Кому другому — сам знаешь, Ваня, это многих сотен стоит, а тебе, за службу и дружбу, даром».

Гуляя, лихач, конечно, не хотел ударить лицом в грязь перед барышнями: тоже, мол, и мы ведь не лыком шиты! — пил,

форсил, широко угощал. И, глядишь, вечера в два, в три прокучивал, по счетам зоркой и точной Федосьи Гавриловны, не только полученную с Буластихи полутысячу, но и еще сотню-другую из кровных своих зажитков *).

Староста артели полотеров, мужик богатейший, но грубый, дикий и темный, как зимняя ночь, — тот прямо выговорил себе привилегию, чтобы, когда он в баню ходит, Буластиха присылала двух девиц его мыть. Повинность эту обыкновенно отправляли певунья Антонина с красавицей Нимфодорой, — и нельзя сказать, чтобы неохотно, потому что мужик был, хотя самодур, ругатель и драчун, но щедрый на подарки и угощал по-царски. Возвращались девицы из этих банных экскурсий пьяными до недвижности мертвых тел, а проспавшись, подарками хвастали, но о том, что между дарителем и ими происходило, даже бесстыжая Антонина говорить не любила, а лишь кратко определяла:

— Все мужчины с нашею сестрою свиньи, но уж этот бородатый подлец над всеми свиньями свинья!

Ни затворничество, ни даже хозяйкина жестокость и побои не подчеркивали рабского принижения пленниц с большею оскорбительностью, чем вот такие повинности натурою. У Рюлиной женщина все-таки знала о себе хоть то малое, что — пусть она живой товар, да дорогостоящий, в высокой твердой цене. Хоть кабальница, да все-таки сколько-нибудь личность и ценность. Здесь — просто, какой-то меневой знак, обезволенная обезличенная живая тряпка, которая сама по себе ровно ничего не стоит, и от прихоти хозяйки-самодурки зависит, продать ее за тысячу рублей или за двугривенный. Дразнили же одну из квартирных барышень Буластихи «Малиною» — вовсе не за красоту или какие-либо особые сладкие прелести, но потому, что

---

*) См. примеч. о «Княжне». Кущевской в одном из своих фотографических для Петербурга 70-х годов бытовых очерков описал точно такой кутеж — в погашение долга за шикарный выезд — тогдашних французских кокоток с возницами Волынкина двора. Позже писал о том нововременский житель (Дьяков–Незлобин).

однажды, на даче в Парголове, она послужила почтенной Прасковье Семеновне живою монетою для расплаты с разносчиком-ягодником за три фунта малины!

XLVIII

За широкою спиною Федосьи Гавриловны Марья Ивановна чувствовала себя почти застрахованною от подобных выходок, в которых, не разобрать было у Буластихи, поскольку они диктовались скаредностью, поскольку глумливым капризом. Соображая все, что могла вспомнить Марья Ивановна о своей второй хозяйке, трудно не прийти к заключению, что эта страшная женщина, при видимом телесном здоровье двуногой буйволицы, при холодном практическом уме расчетливой барышни и ростовщицы, была, однако, анормальна психически. Скрытая, но тем более жестокая, истерия, обостренная привычкою к безудержной власти и разнузданному разврату, владела свирепою бабищею так же крепко и зло, как она своими кабальницами и то и дело прорывалась дикостями, несомненно непроизвольными. Потому что они самой же Буластихе были в очевидный вред, и она в них потом не то чтобы раскаивалась, но злилась и сожалела, зачем не стерпела, поддалась соблазну буйственного черта.

Единственным существом, имевшим некоторое влияние на эту безобразно-хаотическую натуру, искусно спрятанную под маскою спокойной наглости, была Федосья Гавриловна. Связанная с Буластовою службою и дружбою чуть не с детских лет, экономка знала свою хозяйку, как собственную ладонь, умела предчувствовать, угадывать и отчасти сдерживать ее неистовства. Тем более, что Буластиха, хотя и здоровеннейшая баба, не могла соперничать с Федосьей Гавриловной в ее совершенно исключительной для женщины силе: из всех «жильцов» лишь двое брали над нею верх в борьбе, да и то

с трудом и не скоро. Это качество придавало ей огромное значение — делало ее почти незаменимою в частных и щекотливых треволнениях их бурного и со всячинкою, только что не разбойного, промысла.

Как все злобные истерички, Прасковья Семеновна в глубине натуры, была трусовата: потому и ругалась так много, орала так громко и дралась так охотно, что вечно подбодряла себя самое, распространяя кругом страх и трепет. Федосья же Гавриловна, — вероятно, с детства своего и вот уже почти до пожилого возраста доживши, — не знала, какие это такие бывают у людей нервы, и, хотя тоже ругалась и дралась походя, но лишь, так сказать, профессионально, в порядке и правилах промысла, нисколько не волнуя себя, с невозмутимым спокойствием машины.

Прасковья Семеновна полагалась на нее едва ли не больше, чем на самое себя, что не мешало обеим бабам ежедневно, при сведении счетов по хозяйству, лаяться, будто двум собакам, из-за каждого грошового недоумения. Хотя хозяйка прекрасно знала, что Федосья скорее палец себе отрубит, чем погрешит против нее в едином рубле, а Федосья Гавриловна не менее знала, что хозяйка верит ей безусловно, — и обе только душу отводили, собачась крикливым сквернословием.

Собравшись кутнуть, а в особенности, с игрою в карты, как на той вечеринке у Рюлиной, когда «генеральша» проставила на червонной семерке злополучную Машу Лусьеву, Прасковья Семеновна непременно требовала, чтобы Федосья ее сопровождала неотлучно, не давая ей зарываться ни в выпивке, ни в азарте, ни в ссорах.

Общее мнение темного мирка было, что только Федосьей Гавриловной и держится Буластихино дело, а без нее давно пошло бы хинью. Это было неверно, потому что Прасковья Семеновна была очень хитра, ловка, изворотлива и оборотиста, превосходная хозяйка и счетчица и держала руль ладьи

своей рукою крепкою и грозною. Но, действительно, твердый характер экономки служил весьма полезною уздою как для неистовства, так для скаредности Буластихи, часто тормозивших правильный ход ее дела беспорядочными неожиданностями.

Любопытно, что в молве темного мирка, в заведениях Рюлиной, Перхуновой, Юдифи и др., даже за стенами «корпуса» в деле самой Буластихи, по квартирам, Федосья Гавриловна имела репутацию еще лютее хозяйкиной. Между тем, Марья Ивановна не только на собственном опыте, но и по общей приглядке не замедлила убедиться, что экономка, по существу, баба совсем не злая, а лишь очень исполнительный и старательный фельдфебель в юбке. Приняла присягу муштровать команду в дисциплине ежовых рукавиц, и уж тут — аминь: не женщина, а какой-то черт безжалостный, вполне способный девять забить, чтобы десятую выдрессировать. Однако и трепетавшие пред ее кулаком и плеткою кабальницы не отказывали ей в обладании некоторою «каторжною совестью». Она была довольно справедлива в разборе жалоб и ссор, не важничала своею неограниченною властью над девицами, держалась с ними на товарищеской ноге, не насчитывала на них лишних долгов, довольствовалась небольшим процентом с денег, которые гости клали под подушку, не отнимала полученных подарков и т.п. А Марье Ивановне, как фаворитке своей, даже и сама то и дело дарила вещи, иногда ценные.

Вообще, в отношениях, которыми обусловилось покровительство Федосьи Гавриловны, Марья Ивановна чувствовала не одну извращенность в угоду гнусной моде, но и нечто вроде влюбленности, пожалуй, даже несколько сентиментальной. Зато очень скоро узнала она и приятность ревности со стороны такой особы.

Словно железным кольцом окружила Федосья Гавриловна Машу, — отделила от всех иных возможных сближений

и дружб, допуская некоторое исключение только для «Княжны»: с нею, как и с ее женихом, лакеем Артамоном, экономка и сама дружила. Но всякий другой шаг за роковое кольцо, вольный или невольный, обходился Маше очень дорого — по правилу: «Люблю, как душу, трясу, как грушу».

За все годы у Рюлиной Маша ни разу не была бита, ни даже крепко ругана. Там вообще хозяйские расправы производились редко и всегда секретно. Ну а здесь в первый же месяц пришлось отведать, как, «если девка что сошкодит», ее треплет «по всей доброй совести» любящая, но ревнивая рука.

Первые побои ошеломили Машу. Она «чуть с ума не сошла». Хотела отравиться, — нет яду, спички в доме только шведские, да и... говорят, мучительная это смерть, живот, как огнем, жжет... страшно! Хотела из окна выброситься, — зима, двойные рамы, да и... высоко! еще, пожалуй, в самом деле, разобьешься насмерть! Хотела удавиться, — противно! повиснешь, как куль, — багровое лицо, выкатившиеся глаза, высунутый язык... брр!..

Кончились самосмертоубийственные порывы тем, что повалилась Маша на постель свою, носом в подушки, и заревела на голос, благим матом, колотя в стенку кулаками, брыкая ногами. В этом ей не препятствовали, дали выплакаться до конца. А затем та же ревнивая, но любящая рука поставила пред Машею бутылку шампанского и тарелку сластей. Поругались еще немножко, но уже, от слова к слову, все спокойнее, — глядь, и помирились. Тем легче, что ведь — «дура! кабы я тебя со зла била, а то ведь любя!»

Часа два спустя, Марья Ивановна, полупьяная, размякла до умиления и сама же просила прощения у поколотившего ее друга. А назавтра, проспавшись, ей, хотя стыдно, но и немножко уже смешно было вспомнить, как Федосья Гавриловна ее, двадцатитрехлетнюю женщину, словно маленькую девчонку, согнула, зажала голову в колени и отшлепала ладо-

нью по месту, предназначенному природою для педагогических внушений. Как видно, бессмертный поручик Пирогов не всегда щеголяет в военном мундире и является украшением сильного пола, но, делая честь полуслабому, способен также облекаться и в юбку!

XLIX

Ночуя в одной из лучших квартир, Маша познакомилась с женщиною уже не первой молодости, сильною брюнеткою, прежде, должно быть, замечательной, но уже полуувядшей красоты. Она заговорила с Машей ласково — на хорошем французском языке, но хриплым, рваным, без тембра, громким голосом, который почти безошибочно определяет женщину, давно промышляющую развратом, и почти обязательное появление которого у них, — хотя бы и никогда не болевших дурною болезнью, — составляет физиологическую загадку, имевшую много гипотез, но ни одного решения *). Оказалась она тоже из бывших, но очень давних, рюлинских «крестниц», а когда-то была гувернанткою в одном из самых аристократических домов Петербурга. Звали ее Катериною Харитоновною. Буластова очень дорожила ею, — главным образом, за французский язык, образование и талант спаивать гостей, — но в корпусе не держала, потому что Катерина Харитоновна пила запоем, а пьяная делалась язвительна, как дьявол.

— Я их, кровопийц, там до белого каления доводила... — улыбаясь, рассказывала она. — В меня сама Прасковья Семеновна однажды запустила горячим утюгом... меньше вершка от виска просвистал!.. на комод упал, — мраморная доска вдребезги!.. Я говорю: «Глазомера у тебя, Прасковья, нет... Я пьяная, а лучше бросить могу, да не стоишь ты:

*) Lombroso, 264, 297. Parent Duchatelet. Jeannel, 234.

в писании сказано, — блажен, иже скоты милует!..» А она, ведьма, как поняла, что чуть было меня не ухлопала, струсила и сейчас же идет от меня вон из комнаты, вся белая, как платок... Понимаешь? Она от злости обыкновенно кровью наливается, как клюква, а тут побелела... ага?! это серьезно! А я за нею следом и шпыняю ее, шпыняю... И вдруг обернулась она, понимаешь, ко мне, глаза — как олово и огромнейшие, — и говорит тихо, с самою лучшею вежливостью: «Катерина Харитоновна...», слышишь? слышишь: уже не Катька-стерва, а Катерина Харитоновна?! «Катерина, — говорит, — Харитоновна! Сделай Божескую милость: отойди от меня!.. Убью я тебя, — и не отвечу... да все же души человеческой жаль! Будь добрая: пожалей и себя, и меня!..» Ну, признаюсь, я оторопела... Шутка ли? Этакого крокодила до молитв довела!..

— Скажите, пожалуйста, — саркастически спрашивала она Машу, что собственно заставляет вас терпеть эту чертову каторгу?

— Что же? повеситься? в воду кинуться?

— Зачем? Взять да просто уйти.

— Легко сказать. А дальше что?

— Ничего страшного. Жизнь и воля.

— Какая же воля? Я у Буластовой вся в лапах...

Катерина Харитоновна пыхала папироскою, презрительно улыбаясь, и твердила:

— Предрассудок!

— Да что вы, Катишь? Какой предрассудок? У меня не может быть честного труда, не может быть ни помощи от людей из общества. Мое прошлое станет мне поперек всякой честной дороги...

— Ах вы про это!.. — еще презрительнее протянула Катишь. — Ну, это-то, конечно... Вы правы: в гувернантки нам с вами возвращаться поздно!.. И — знаете ли? Не только потому, что Прасковья Семеновна и Полина Кондратьевна помешают, а мы уже и сами не пойдем...

— Ох, как бы я пошла, если бы можно было вырваться!.. — искренним криком, с навернувшимися на глазах слезами возразила Маша.

Катерина Харитоновна затянулась папиросою.

— Не смею спорить. Пойти-то, может быть, вы и пойдете, но не выдержите, сбежите назад. Как-никак, милая девица, все-таки вы уже пятый год носите шелковое белье... Вон — у нас рассказывают, будто вы вся в долгу перед буфетом, потому что не можете заснуть без портера пополам с шампанским!.. Так хорошо отравленной женщине о честных трудах помышлять поздновато *). Но какие бесы заставляют вас сидеть в нашем аде? Плюньте вы на этих рабовладелиц, живите сами по себе, зарабатывайте сами на себя...

— Как вы это говорите, Катишь? Срам какой!

— Ну уж, миленькая, срамнее того, что мы с вами здесь терпим, сам сатана еще ничего не измыслил.

— И при том... они на меня донесут...

— Ну?

— Помилуйте! Ведь меня... запишут! Билет заставят взять...

— Ну?

— Да ведь это уж последний конец... ужас!

Катерина Харитоновна злобно засмеялась.

— Суеверие! Если уж судьба мне гулять по этой поганой дорожке, то я должна, по крайней мере, сохранить выбор, как мне удобнее, приятнее и выгоднее гулять. А с книжкою ли, без книжки ли, с билетом ли, без билета ли, — это наплевать!

— Душечка!.. Право, вы такие несообразности... Подумайте: ведь тогда я буду... проститутка!..

— А теперь вы кто? — резко и грубо бросила ей в лицо вопрос Катерина Харитоновна.

---

*) Покровская, 32, 33. Ломброзо, 445,446. Cutrera, 25—27.

Маша подумала, ничего не ответила... из глаз ее закапали крупные слезы.

— Экая, право, сила — слово? — говорила не без волнения Катерина Харитонова. — Сама — по уши проститутка, а назваться боится!.. И за страх и стыд назваться готова терпеть муку-мученскую, всю жизнь свою на медленную пытку отдает! За страх слова — торгуют ею, как парною убоиною! Тысячи наживают ее телом, а ей за весь труд, стыд и отвращение не оставляют даже и рублей. Ведь вы нищая, дура вы этакая! За страх слова — сидит, словно преступница какая, замурованная наглою бабою, против всяких прав, в четырех стенах! За страх слова терпит, что ее иной раз бьют по роже или лупят мокрым полотенцем, а коли захотят, кураж такой найдет — то отлично и высекут! *) За страх слова поддается пакостным нежностям лешего в юбке!.. Или — может быть, «стерпится — слюбится»? Изволили уже примириться и привыкнуть?.. Пожалуйста, не глядите такими возмущенными глазами: я тертый калач, меня угнетенною невинностью или поросенком в мешке не проведете... Бывает! все бывает, голубушка! Особенно с такими восковыми: что захотел, то и вылепил... Мало, что привыкнете, еще и во вкус войдете, — привяжетесь. Да, да, да! Нечего головою трясти и плечами пожимать!.. Вы, дурочка, сами себя не понимаете, а хотите — я докажу вам, что вы уже увязли, это началось?.. Вон у вас на шейке медальончик болтается: позвольте спросить, чей в нем портретик? а в браслете — другой: чьи в нем волосы?

— Господи Боже мой! — вспыхнула Маша, — каким пустякам вы придаете значение!.. Самые обыкновенные знаки дружбы... Она носит мой портрет и волосы, с моей стороны было бы невежливо не ответить тем же... Что тут особенного? Всюду и всегда бывает между подругами...

---

*) Грязнов, 126 Живарев, 22.

— Между подругами! — допекала Катерина Харитоновна, — да какая же, к черту, вам подруга чуть не пятидесятилетняя баба, торговка живым товаром, заплечный мастер в юбке? Что вы от правды-то прячетесь — словно страус головою в песок? Дружба! А свадьбу играть и задолжать Буластихе две тысячи за угощение — это дружба? А сниматься в фотографии парочкою новобрачных, она во фраке, вы в венчальном туалете, это тоже дружба? А заказывать визитные карточки с ее фамилией, — «Марья Ивановна Селезнева, урожденная Лусьева», — тоже дружба?

— Но, Катишь, ведь это же игрушки! Ну... пусть глупые, нелепые, пошлые, если вам угодно... но не более, как игрушки! Знаете, жизнь так скучна и однообразна, мужчины так отвратительно осточертели *), быть и чувствовать себя вещью продажною так ненавистно отошнело, что хочется хоть немножко себе воли дать, попраздновать и позабавиться по-своему...

— Знаю, что игрушки, но согласитесь, что год тому назад вам подобные игрушки не пришли бы в голову, а сейчас они вам очень нравятся, и вон как вы вскинулись на меня в их защиту... Игрушки! Тут, милая моя, в одной квартире есть парочка — армянка с финкою... Так им, в игрушках-то этих, показалось мало свадьбы: что за брак без детей? давай ребенка!.. А как Буластиха им взять на воспитание младенца, конечно, не позволила, то купили эти две дурынды в Гостином дворе огромнейшую куклу-бебе и вот уже третий год растят ее, очень горюя, что не растет и глухонемая. Рядят своего идола — именно уж как куколку, тратятся, празднуют именины и день рождения... Игрушки-то игрушки, а, пожалуй, есть и немножко сумасшествия... idée fixe...

— Ну уж я-то до подобной глупости никогда не дойду.

— Не ручайтесь за себя, красавица моя, ой, не ручайтесь! Вы по этой наклонной плоскости ужасно быстрые шаги де-

*) Lombroso. Martineau. Havelock Ellis. Forel.

лаете... может быть, именно потому, что вы красавица! Ведь Федосья вертит вами, как перышком, и признайтесь, что вам уже доставляет некоторое удовольствие не иметь своей воли, чувствовать себя в крепкой руке и повиноваться... *)

— Да если я знаю, что она меня любит, желает мне добра, и я за нею, как за каменною стеною, — никто меня не смеет обидеть? Я не знаю, право, как вы судите, Катя. Тут из одной благодарности можно полюбить и, как вы выражаетесь, привязаться...

— Вот-вот! И замечательно это, право. Сколько подобных вашему романов не наблюдала я в нашем пекле, всегда одна и та же линия: вот этакая грубейшая идолица, рожа, на всех зверей похожа, командует и властвует, а красавица ходит перед нею по ниточке, не знает, чем своему, с позволения сказать, супругу лучше угодить и чрезвычайно своим дурацким положением довольна... **) Погодите, Машенька! Теперь вас ревнуют, а придет время — вы будете ревновать... да, да, да! не усмехайтесь и не дергайте вашим изящнейшим носиком!.. Страдать будете, плакать, не спать ночей, закатывать истерики, делать сцены, вступать в драки с соперницами, с ножом бросаться... Навидалась я: каждый год примеры... Да и что уж грех таить? Когда-то сама прошла по этой дорожке. Перхуниху видали? знаете? Два года ее рабою была, прежде чем она меня сюда не спустила, к Буластихе в кабалу... И горьким опытом прямо говорю вам, Маша: берегитесь! Из всего, чем опасна наша милая профессия, это, после сифилиса, всего хуже... зыбучий песок невылазный, трясина засасывающая... Да... Тьфу!..

Она плюнула со злобным отвращением, ударила по столу крепким белым кулаком и свирепо заходила по комнате, безжалостно волоча хвоста дорогого шалевого капота по усеянному окурками полу.

*) Ломброзо, 423, 424.

**) Parent Duchatelet.

L

— Поймите, вы, голова с мозгами! Хуже положения, глубже падения, чем наше с вами, не бывает. Не только проститутка-одиночка, даже проститутки в доме терпимости — свободные птицы сравнительно с нами! Их вон филантропы оберегают, спасать стараются, а нас... нас не то что оберегать, не то что спасать, — к нам подступиться никакой посторонней охране предлога нет! о нас человеческая доброта и догадаться не в состоянии! в колодце мы!.. Вот в каком мы мерзком рабстве сидим! Мы — живые вещи... да еще вдобавок и не купленные, а взятые разбойничьим захватом! От слова-то бегали мы, бегали, береглись, береглись, а в деле-то, в самой вещи, себя вконец погубили... Вот вы огласки боитесь... А между тем, — ну что, что может сделать вам огласка хуже, чем вы терпите сейчас?!

— Стыдно! — вырвалось у Маши.

— Слушайте-ка лучше, как я поступила бы на вашем месте, — зашептала Катерина Харитоновна. — Я бы урвалась как-нибудь из дома или из квартиры да больше уж и не вернулась бы...

— Паспорт мой у нее...

— Паспорт — ерунда! Паспорт она обязана отдать. Если задержит — на то мировые в Питере сидят, через полицию можете требовать. Паспорта задерживать нельзя. Врешь! Отдашь! До суда доводить не потерпит!.. Ну, конечно, Буластиха вам не спустит, изсрамит вас как нельзя лучше... да перед кем? Перед участковым, да агентами, да доктором? Небось, брат! большого шума поднять не посмеет: самой дороже!..

— А что должна-то я ей?

Катерина Харитоновна присвистнула.

— Должна? Нашли о чем говорить. Нынче и регистрированных проституток долгами запугивать не велено, — а ваш

долг — какой же долг? Весь дутый и ничего не стоящий! *). Вы думаете, она осмелится предъявить ваш документ ко взысканию? Нет, матушка! Говорю вам, — самой дороже! Рискует многим! Хорошо! Она предъявила ко взысканию, а вы объявляете документ выданным безденежно. Выманили, мол! силою взяли! Дело-то перейдет в уголовный порядок. С вас все равно взятки гладки, потому что вы голы, как церковная мышь, а ей надо доказать, почему это и как она передавала своей лектриссе... ведь вы при ней лектриссою, что ли, числитесь:

— Лектриссою.

— Неважное кушанье!.. Черт знает что! Лектрисса при бабе, которая за всю жизнь свою, конечно, ни в одну книгу не заглянула, да еще вопрос, знает ли она грамоте-то — дальше, чем нацарапать свое имя и фамилию... Хорошо-с. Что такое лектрисса? Горемыка — максимум на тридцать рублей в месяц, чаще на двадцать, на пятнадцать, а то и за комнату и стол... Почему же вы вдруг оказались в глазах госпожи Буластовой такою кредитоспособною особою, что она отвалила вам экую уйму денег взаймы без всякого обеспечения? Помилуйте! Да это самому глупому и близорукому прокуроришке в глаза ткнет, в чем тут суть, — такая ясная видимость... Пойдет ли Прасковья на подобный риск? что вы! Она себя бережет и соблюдает до крайности, чтобы никакой прицепочки-ниточки на себя не дать. Ведь ежели расшевелить наш муравейник, так ей будет каторги мало. За исключением векселей этих дурацких, вы чисты пред нею? уголовщины за вами нет?

— О нет, этого нет!

— Тогда у нее останется именно только та возможность, что она вас «накатит» **).

---

*) Елистратов, 18 Золотарев, 66—68. Живарев, 22.

**) «Понт» (гость, барин), «накатит» — argot петербургских хулиганов («Всемирный вестник», 1903),143.

— Как это?

— Пошлет анонимный донос на вас, что вы тайная проститутка, и доказательства приложит... А вы — возьмите да ее предупредите... сами заявитесь в полицию! А как книжку получите, — ваша воля, как тогда с собою распорядиться. Хотите остаться проституткою, оставайтесь; не хотите, — ступайте к приютским дамам, — я вам, если желаете, дам адрес, — заявите, что, мол, желаю на исправление... Отбудете там на испытании срок, сколько у них полагается, и шабаш: уезжайте из Петербурга в город, где вас не знают... Бог весть, — может быть, вы и в самом деле еще не вовсе потерянная... где-нибудь, при хорошей поддержке, выбьетесь на дорогу!

— Эх, как хорошо бы, если бы так!..

— А хорошо, так и нечего зевать... валяйте!

— Страшно! — прошептала Маша и закрыла лицо руками.

Катерина Харитоновна окружилась облаком табачного дыма.

— Что говорить? Ампутация не из легких... А только без нее нельзя. Либо гнить, либо жить.

— Так что вы думаете, — после некоторого молчания возвысила голос Маша, — вы думаете... помогло бы?

Катерина Харитоновна пожала плечами.

— Уверена.

— Были примеры?

Катерина Харитоновна, сквозь дымное облако, кивнула головой.

— Запопала им в лапы, — протяжно начала она, — некая Лиляша, прелюбопытная особа, москвичка родом и не из простых!.. Нас с вами здешняя сволочь дразнит благородными и образованными, а Лиляшу не грех было бы и ученою назвать. И из семьи такой — интеллигентной, профессорской, даже очень известной, — только, как видно, правда, что в семье не без урода. Как она свертелась и «дошла до жизни такой», это я вам когда-нибудь в другое время расскажу, на досуге, сейчас не в том дело. Летела, свертевшись,

как водится, со ступеньки на ступеньку, — сперва в Москве, а как из Москвы ее выставила полиция, прикомандировала сюда. По барству своему, работала она с факторшей, а факторшей имела свою бывшую горничную, Дросиду Семеновну. Вы ее, конечно, знаете. Теперь она у Буластихи держит квартиру на отчете. Шельма, каких мало. Рассчитывала Лиляша устроиться к Рюлиной — проманулась: Аделька забраковала, что стара. Ну, — к Буластихе. Здесь хозяйка с Федосьей обрядили ее в хомут, — валяй в хвост и в гриву! Долго ли, коротко ли, — не стерпела, взвыла. Улучила случай, что занесло к нам богатенького «понта», который знал ее в приличных барышнях, да, по сговору с ним, — взял он ее к себе на дом, будто на ночевку, — поехала и, ау, не вернулась!.. очень просто!..

— Что же, этот «понт» на содержание ее, значит, взял? — перебила Маша.

— Нет, только помог выбраться из нашей ямы.

— Выбраться... А дальше-то, выбравшись, как?

— А дальше, конечно, сперва пришлось Лиляшке туго. Накатила ее Буластиха, и было все по порядку, чего вы, Маша, боитесь: участок, книжка, докторские осмотры, сыщики, — весь жалкий жребий проститутки-одиночки... Погибель! Казалось, нет тебе другого исхода: судьба так и прет тебя рожном кончать жизнь либо в реке, либо в бардаке. И вдруг — случайная встреча тоже с стародавним знакомым... артист оперный Леонид Яковлев... конечно, слыхали?.. Узнал Лиляшу, ахнул, видя, до чего она пала и в какой грязи тонет, и помилосердовал: выдернул увязшую из трясины и поставил на ноги...

LI

Марья Ивановна с недоверием качнула головою.

— Ну... уж это ей, вашей Лиляше, повезло счастье какое-то необыкновенное! Должно быть, в сорочке родилась.

— Конечно, счастье, — согласилась Катерина Харитоновна, — да ведь счастье-то летучая птица: его надо за хвост ловить тоже на воле, из клетки не поймаешь.

— И что же? — допытывалась Марья Ивановна, — с легкой руки Яковлева, Лиляша вернулась в честную жизнь и устроилась как порядочная женщина?

Катерина Харитоновна усмехнулась уклончиво, в новых клубах табачного дыма.

— Это — как взглянуть. Во всяком случае, из продажных вышла... Русскую капеллу — хор Елены Венедиктовны Мещовской — слыхали? Это — она, Лиляша!

— Вот оно что! — протянула Марья Ивановна с заметным разочарованием.

Но Катерина Харитоновна продолжала одушевленно, одобряя и почти гордясь:

— Перед всеми хорами она — в первую очередь... И состояние имеет, и любовник ее, с которым она живет, человек прекраснейший… *) Так то-с!.. Ну? что же вы молчите? не соблазняет вас?

— Да, видите ли, — нерешительно откликнулась Маша, — видите ли, Катишь… Сколько тут было благоприятных условий для вашей Лиляши... И все-таки чего же она, наконец-то, достигла? Только что из девиц сама выскочила в хозяйки...

Катерина Харитоновна поправила быстро и недовольно:

— Да, в хозяйки, но хора, а не черт знает чего!

Но Марья Ивановна не уступила.

— Ах, Катишь, велика ли разница? Знаем мы, что за штучка ресторанный хор. Хозяйке да старостихе лафа, а певичкам не лучше, чем нам, горемычным...

— Я не спорю, что такие хоры бывают...

---

*) Истории «Лиляши» посвящен мой роман того же названия — «Лиляша» (Рига. Грамату Драугс, 1928).

— Большинство, если не все! — настаивала Марья Ивановна.

— Только не хор Елены Венедиктовны, — с уверенностью защищала Катерина Харитоновна. — Она и сама своими девушками не торгует, и всякой девушке, на которую проституция закидывает петлю, рада дать приют, совет и помощь... И вот — запомните-ка на всякий случай. Если бы вы в самом деле набрались ума и смелости, чтобы удрать, я могу вас устроить в хор к Елене Венедиктовне — и под ее рукою плевать вам тогда на Буластиху, хотя бы она вам и в самом деле всучила желтый билет. Лиляшка меня помнит и любит, а фокусы хозяйские знает по собственному опыту. Моя рекомендация для нее важнее документа...

— Спасибо, Катя, но... у меня же голоса нет?!

— И не надо: наружностью возьмете. Ну? что же вы мнетесь? Все-таки не нравится?

— Знаете, Катя...

— Нет, не знаю... Ну?!

— Да вот... скажем, сижу я в ресторане с кавалером, хоры поют, а какая-нибудь из хористок обходит столики с тарелочкою, собирает, кто сколько положит...

— Ну да, и вот на это-то именно и посылают таких, как вы, которые голосом не вышли, а собою хороши.

— Как хотите, Катя, но это ужасно стыдно и оскорбительно!

— Та-ак! А сидеть в ресторане продажною девкою при случайном «понте» — это что же, по-вашему, красивое и гордое положение, что ли?

— Все-таки не она мне, а я ей на тарелочку-то бросаю...

— Ничего вы не бросаете, потому что в кармане у вас дай Бог двугривенному найтись...

— Ну, все равно, попрошу, — кавалер ей бросит... Следовательно...

— В девках лучше? — язвительно обрезала Катерина Харитоновна.

Маша сконфузилась до слез на глазах.

— Ну зачем вы так грубо, Катя? Не вовсе уж мы такие...

— Нет, миленькая, нет! утешать себя самообманами не извольте! Такие, очень, чрезвычайно, совершенно такие!

— Ну, — обиделась и надулась Маша, — я с вами об этом спорить не стану: это у вас пунктик, вас не переубедишь. Что наше положение ужасное и горькое, я знаю не хуже вас, но все-таки девкою себя не чувствую и никогда не назову...

— Ах! — с гримасою передразнила Катерина Харитоновна, — ах! «Я не кошка, а киска!» — подумаешь, благополучие какое!

Но Маша сердито упорствовала:

— Да уж кошка или киска, а пойти в хор — это, как вам угодно, значит со ступеньки на ступеньку... шаг еще вниз... почти вроде как в прислуги...

Катерина Харитоновна желчно захохотала:

— Черт знает, что такое! — воскликнула она, заминая гневным толчком большой белой руки окурок своей папиросы в подпрыгнувшей пепельнице. — Неужели вы, несчастная раба, которая, чтобы не быть ежечасно битою от хозяйкиной руки, должна цепляться, как утопающая за спасательный круг, за юбку черта-экономки, неужели вы, Маша, еще имеете наивность воображать себя на каком-то особом уровне — выше ваших «корпусных» кухарок, горничных, Артамона, Федора и всяких там прочих?.. «прислуг»?

— Конечно! — храбро возразила Маша, — если я позвоню или позову, то горничная ли, Артамон ли, Федор ли идут ко мне: что вам угодно, барышня? И, что я велю, они должны сделать, а не то им будет гонка от Федосьи Гавриловны. Вот они служат, они прислуга, а я нет... Я барышня!

Катерина Харитоновна продолжала хохотать.

— Рассудила, как размазала! Вот логика! Ну, Машенька, извините, но, право же, вы гораздо больше дурочка, чем я ожидала... Жалкое вы существо! Да ведь с равным пра-

вом корова в хлеву может считать себя барышней и воображать своею прислугою скотницу, которая к ней приставлена, чтобы держать ее в чистоте и задавать ей корм!..

Она примолкла, закуривая новую папиросу. Потом заговорила, развевая рукою пред лицом дым.

— Но, милая моя, если вы забрали себе в мысли, будто от Буластихи уйти стоит только с перспективою возвыситься в принцессы или герцогини, то дело ваше плохо: тут вам и сгнить... Чудес сказочных у нас не бывает!

— А Женя Мюнхенова? А Юлия Заренко? — напомнила Маша.

Катерина Харитоновна язвительно осклабила рот, сверкнув прекрасными зубами, лишь чуть-чуть слишком золотистыми от непрерывного курения — «папироса на папиросу».

— Во-первых, вы, Машенька, хотя девочка очень недурная собой, но, к несчастию, все же не богиня красоты, как Женя Мюнхенова, и, к счастию, не такая архибестия, как Юлия Заренко, а, напротив, довольно-таки глупенький и трусоватый котенок. Во-вторых, из того, что кто-то когда-то где-то выиграл двести тысяч по трамвайному билету, не следует надеяться, чтобы подобное счастье повторялось часто. В-третьих, даже и эти-то выигрыши приключились у Рюлиной, а не в нашей помойной яме. Здесь вам, чем о великих князьях мечтать, гораздо полезнее будет размышлять о «Княжне», которая, будучи «от Гостомысла», тем не менее почитает за счастье вступить в законное супружество с лакеем-ростовщиком Артамоном Печонкиным. Так что, любезная Машенька, вы этих Жень да Юлей выкиньте из головы. А вот — открываю я вам потайную узенькую лазейку, — ну и старайтесь, приспособляйтесь, чтобы поскорее проскочить в нее, покуда молоды и не схватили поганой болезни, которой рано или поздно и мне, и вам, и всем нам, рабыням, не миновать.

Умолкла и угрюмо утонула в дымных облаках.

— Однако послушайте, Катишь, — осмелилась Маша, — если так можно, почему же вы сами не поступите, как рекомендуете мне?

Катерина Харитоновна отвечала значительно и мрачно:

— Оттого, миленькая, что вы у нас — в чужом вертепе, а я — у себя дома. Мне только здесь и место. Я, Маша, зверь, откровенно вам говорю. И пьяница, и... черт! Отвратительнее моего характера нет на свете. Я только на цепи, в рабстве, под кулаком и могу жить безопасно. Если выпустить меня на волю, — я через месяц буду в предварительном заключении, а через год на Сахалине. Меня бить надо, как скотину бьют, чтобы хозяев понимала и знала... ну, тогда я — ничего, не кусаюсь!.. А то — дикий зверь... Нет для меня воли! Моя воля, говорю вам, — Сенная площадь, Литовский замок, Сахалин!.. Ну, а туда я не хочу... Не-е-е-ет!.. Как ни подла моя жизнь, а я за нее обеими руками цепляюсь... Ни в каторгу, ни в могилу!.. Не-е-е-ет...

(Тип Катерины Харитоновны см. у Ломброзо, 417—418, у Тарновской. Впоследствии буйную проститутку-протестантку хорошо (но в более низменных условиях) изобразил Куприн в «Яме» (Женя). Однако, ссылаясь на Ломброзо, я никак не имею в виду рекомендовать Кат. Хар. в качестве «прирожденной проститутки» по теории знаменитого антрополога, которым я когда-то в молодости весьма увлекался, а потом в ней — опытом и изучением — сильно разочаровался. Известно, что малая подвижность и долгая устойчивость порочного женского типа вызвала в Италии гипотезу о проституционной женской расе, формулированную Ферреро и Ломброзо, параллельно с преступною расою прирожденных преступников. Теория эта, как и другие, родственные ей, в итальянской криминально-антропологической школе, когда-то много нашумела, но быстро растеряла большинство своих научных достоинств. Лист и Кох разбили ее искусственные построения наголову. Один из первых русских ее защитников, Дриль, от нее отказался. Другой, очень талантливо развив возможность существования проституционной расы и указав ее приметы, убил себя заявлением, что за тридцать лет своей медицинской практики, протекавшей по преимуществу в проституционном мирке, он почти ни одной проститутки с ясно выраженными признаками расы не видел. Любопытно напомнить,

что едва ли не первым русским публицистом, угадавшим жестокую фальшь этой теории и энергично против нее восставшим, был Глеб Успенский.)

Ходила, дымно курила, мела подолом. Маша недвижно тосковала, углубленная стройным телом в кресло-розвальни, забравшись в них с ногами и крепко обняв руками свои колена, точно сама себя удерживала от гудящего в ногах непроизвольного позыва — вскочить и бежать прочь, куда глаза глядят...

— Боже мой, Боже мой! — прервала она молчание тяжелым вздохом, — какое горе! сколько тоски!.. Где же, наконец, выход-то, Катя? Неужели так вот и помириться на том надо, что, хочешь не хочешь, а судьба — сгнием?

— Не знаю, как вам посчастливится, — мрачно возразила Катерина Харитоновна, затягиваясь новой папиросой, — но за себя я уверена. Крест поставлен. Крышка. Выхода нет.

Марья Ивановна рассуждала.

— Хорошо, положим даже, — отчасти я с вами согласна, — к так называемому честному труду, в порядочную жизнь нам возвратиться трудно... Но уж хоть бы в этой-то устроиться как-нибудь получше... чтобы не вовсе рабство... чтобы хоть сколько-нибудь человеком, женщиной себя чувствовать, а не самкой на скотном дворе.

— Хуже, моя милая, гораздо хуже. Самок не проституируют, как нас с вами, изо дня в день. Самка — орудие приплода, а мы с вами закабалены бесплодной похотью. Попробуйте-ка забеременеть, — сейчас же явится почтенный доктор Либесворт устраивать вам аборт. А не захотите, будете упираться, то Буластиха не постеснится и сама распорядиться кулаками да ножницами...

Марья Ивановна продолжала:

— Меня последнее время часто брал от нее один богатенький студентик, белоподкладочник, как их нынче зовут, но сам он говорит, будто социалист. Так он все удивляется

на нас, что нам за охота терпеть над собою хозяек, экономок и прочую дрянь, которая нас обирает и тиранит. Ежели, говорит, вам трудно жить свободными одиночками, не достает энергии на конкуренцию в промысле, то соединились бы группами, по пяти, шести, десяти и больше, да и работали бы сами на себя, сами управляясь, сами хозяйствуя...

Катерина Харитоновна вынула папиросу изо рта.

— Ага! «ассоциация»?! — осклабилась она. — Скажите вашему студентику, что это старая песня... ничего не выйдет.

(Идею проституционной ассоциации проповедовали в Австрии Иерузалем («Красный фонарь»), а в России В.Е. Жаботинский (впоследствии известный сионист).

— Почему, Катя? Неужели, в самом деле, нельзя однажды так столковаться, чтобы всем за одну, одной за всех, выбрать из своей среды распорядительницу, которая была бы за хозяйку, экономку, кассиршу...

— Нельзя.

— Почему? Начальство не позволит?

— Нет, что начальство! Начальство — это полиция... А плевать я хотела на то, что полиция не позволит. Буластиха тоже не носит в кармане бумажки, разрешающей усеивать Питер развратными притонами, однако... Были бы деньги, а с полицией счеты простые...

— Думаете, нельзя составить капитала?

— И капитал отлично нашелся бы.

— Тогда что же, Катя?

— То, Маша, что дело наше не такое и характеры наши не те, чтобы укладываться в ассоциацию. Ассоциации слагаются свободным соглашением, а наша профессия рабская. И не только потому, что мы хозяйками закабалены. Нет, она по самому существу своему рабская. Потому что мы делаем то, чего ни одна нормальная женщина иначе, как в порабощении, делать не станет. Мы рабыни не только

наших эксплуататорш, но прежде всего, — как это красиво называют, — общественного темперамента, то есть, попросту сказать, разврата. Когда женщина принуждена поработиться разврату, это печально, горько, страшно, но — n'insultez jamais une femme qui tombe! * — общество это понимает и, в значительной своей доле, жалеет и прощает. Как прощает вора, укравшего с голодухи калач, либо даже убийцу, доведенного преступлением до кровавой мести. Однако, мой друг, жалость жалостью, прощение прощением, но и преступление остается преступлением, а разврат развратом, и никакие софизмы вас не выпустят из этого кольца. И, будучи проституткой, никогда вы не скажете себе самой, что занимаетесь хорошим делом. Будь вы даже хоть сто раз Соня Мармеладова с самыми лучшими побуждениями и намерениями — губя себя, спасать ближних своих... Кстати: вот эту неизбежную в наших вопросах Соню Мармеладову вы любите?

— Еще бы!

— Уважаете?

— Очень!

— Так. Мой закал совсем не тот, но все же я Соню Мармеладову понимаю и представляю себе в каждой черточке и в каждой нашей профессиональной, как говорится, ситуации. Достоевский написал ее бланковой одиночкой, — вижу. Запер бы он ее в публичный дом, — вижу. Закрепостил бы сводне или госпоже, вроде нашей Буластихи, — вижу. Но вот членом ассоциации, устроившейся для добровольной коммерции своим телом, никак не могу я вообразить Соню Мармеладову... и вы не вообразите!

Мария Ивановна молчала, обдумывая. Катерина Харитоновна продолжала:

— Обманывать-то себя громкими словами легко... кто себя не обманывал, особенно смолоду... Ассоциация, корпора-

* Никогда не оскорбляйте падшую женщину! (*фр.*)

ция, кооперация... конечно, красивее звучит, чем дом терпимости. Да дом-то терпимости не может быть ни ассоциацией, ни корпораций, ни кооперацией, — вот в чем беда. Пекари, портные, сапожники, модистки, прачки, адвокаты, врачи, актеры, извозчики, — это так... почему им не объединиться в ассоциации, кооперации — и как там еще?.. Но когда жулики, шулера, фальшивомонетчики слагаются в «ассоциацию», это называется шайкою, бандою, преступным сообществом...

— Что же вы так приравниваете? — обиделась Маша. — Мы-то разве жулики или шулера, что ли?

— Нет, зачем... Я только хочу вам указать, что ассоциации определяются не устройством своим, но целью, которую они преследуют, существом профессии... Ассоциации предполагают союз людей, уважающих свой труд, уважаемый и обществом. Как нас общество уважает, что уж говорить! А о собственном уважении... ведь вот и вы же сейчас прелестно обмолвились, что нам поздно возвращаться к *честному* труду. Значит, хотя за сравнение с жуликами обиделись, однако сами-то считаете свой труд бесчестным. И прямо вам скажу: тридцать восьмой год живу на свете, девятнадцатый гуляю, всякие чудеса видала, но такого, чтобы проститутка уважала свой труд, — нет, не видывала... и не увижу! Есть, пожалуй, тупицы, бессознательно, животно довольные своим положением, есть бахвалки, хвастуньи, есть холодные хищницы, которым промысел — по Сеньке шапка, но уважающих его и себя в нем нет... Самая оголтелая, самая бесстыжая, самая убежденная торговка собою, которой природа не отпустила ни грана сердца и совести, — и те, все одинаково, знают, что они не по закону природы женской, но грехом человечьим живут... Ну, а сообщество для эксплуатации человеческого греха, конечно, не «ассоциация», но шайка такая же, как компания шулеров или фальшивомонетчиков!.. А если оно, такое порочное сообщество, не хочет быть шайкою, но, обманывая себя, упор-

ствует рядиться в «ассоциации», то быстро погибает в комедии, которая была бы смешна, если бы не сокрушались в ней души и жизни женские... Ведь это, Машенька, ваш студент не новость вам проповедует, пробованное дело.

(Идея давняя, идея расцвета буржуазии, выношенная во Франции конца империи. У нас же еще некрасовский Леонид провозглашал общественным идеалом «мысль центрального дома терпимости», повторяя собою античного Солона, который наполнил государственные диктерии невольницами, дабы общественный темперамент не обращался на гражданок. Любопытно, что идея Леонида чуть было не осуществилась лет шесть назад в Софии, и уже было воздвигнуто прекрасное здание для этой государственной цели, но затея рухнула из-за негодования болгарских женщин и... отказа проституток!)

И за границею, в Германии и Австрии, немочки пытались, и у нас в Петербурге было... Про «Феникс» слыхали? Имя Аграфены Панфиловны Веселкиной вам известно?

— Да... но какое же отношение? Ее «Феникс» обыкновенный, только очень шикарный, открытый публичный дом с билетными девицами.

— Совершенно верно, но вырос он именно из такой вот «ассоциации», которая вам мерещится... Я эту историю могу вам рассказать в безошибочной подробности, потому что сама принимала в ней участие, да, слава Богу, вовремя убралась...

LII

АССОЦИАЦИЯ «ФЕНИКС»

1

Была в Питере, лет пятнадцать тому назад, некая Анна Михайловна Р., по кличке Нинишь Брюнетка. Девица средней красоты. Острили о ней, что у Нинишки глаза убийственные

молнии, да, на счастье, нос громоотвод: на двоих рос, одной достался. Была образованная, из свертевшихся институток, — значит, даже неплохой фамилии. Публика понтовая у нее тоже бывала, все больше интеллигентная, — литераторы, университет. И вот какой-то из них красноречивый шут гороховый вбил Нинишке в голову идею — об ассоциации.

А характера эта черномазая Нинишка была такого, что, ежели ей что захотелось, то — хоть звезду с неба — вынь да положь. Страстная, кипучая, сущий самовар. Мать-то ее была француженка или итальянка какая-то; должно быть, от нее и дочке достался южный темперамент, — замечательно, какая была непоседа, затейщица, хлопотунья и устроительница. А так как Нинишь была закадычная приятельница с Толстой Зизи и Анетой Блондинкой, — тоже тогда в гору шли, — то, вот, значит, зерно «ассоциации» уже и составилось.

И принялись они втроем пропагандировать, да так удачно, что вскоре сбили в свою компанию самых что ни есть лучших петербургских одиночек. Ида Карловна, Марья Францевна, Нинишь Брюнетка, Толстая Зизи, Анета Блондинка, Нюта Ямочка, Берта Жидовка, Дунечка Макарова, Анна Румяная, Арина Кормилица, Юлька Рифмачка и Катька Злодей, то есть я, ваша покорнейшая слуга, тогда еще совсем молоденькая: три года, как свихнулась, второй год, как гулять пошла. Всех — ровно дюжина. Бывал у нас писатель один, строчил стихи в «Стрекозе» да «Осколках», — так он прозвал нас: «Ассоциация двенадцати неспящих дев».

Удивительно, право, как всех нас тогда захватила эта затея! Ну добро бы девчонок, как я, Нюта Ямочка и Дунечка Макарова, либо простушек, как Анна с Аришей, которые в газетах разбирали только крупные заголовки, да и то по складам, а писать умели только свое имя, фамилию, да и то каракулями. Нет, увлеклись и такие опытные, прожженные, можно сказать, особы, как Ида Карловна и Марья Францевна: обе еврейки, обеим уже под сорок, обе лет по

двадцати в работе и прошли в ней огонь и воду, и медные трубы... Словно поветрием каким-то дурманило, — право!

Заинтересовали богатеньких «понтов». Добыли денег. Базилевский, известный филантроп, десять тысяч дал. По горному департаменту, через Толстую Зизи, столько же до-стали от тамошних тузов, Кок-рова, Ск-овского. Адвокат К-нин Анете Блондинке пять тысяч отсыпал. Сами мы все жертвовали, не жалели. Нинишь свои брильянты продала, Зизи коляску, я часы и браслет... все — кто сколько в состоянии. Сколотили очень порядочную сумму и решили ставить дело на широкую ногу, шикарно.

Наняли на Офицерской чудесную квартиру, полуособняк, меблировали ее на славу самоновейшим модерном. Швейцар, два лакея, белая кухарка, кухарка просто, судомойка, три горничные, из них одна — та самая Грунька, которую теперь величают Аграфеной Панфиловной Веселкиной и считают в миллионе.

2

И вот возник наш ассоциационный старый «Феникс». Новшеств благородных напридумали и ввели — страсть! Все Нинишка старалась, из книжек вычитывала. Для врачебных осмотров пригласили женщину-врача, — неглупая была бабенка, Марьей Николаевной звали, — и просили ее, чтобы все у нас в «Фениксе» было по последнему слову гигиены. Влетало-таки в копеечку. Две фельдшерицы всегда налицо: одна дежурит днем, другая — ночью [*]. Гостей принимать условились только по рекомендации, с ручательством и — на волю барышни: хочет — принимает, не хочет — не идет. Между собою — чтобы самое вежливое обращение, никакой похабщины и, прежде всего, долой все профессиональ-

---

[*] Мартино, 142.

ные клички! Нет больше Катек Злодеев, Нинишек Брюнеток и Анок Румяных, а есть Катерина Харитоновна, Анна Андреевна... Как-то случайно у нас много Анн подобралось; на двенадцать — четыре!..

Это правило нам особенно нравилось. Как-то больше чувствуешь себя человеком, когда зовут тебя по имени и отчеству. Вспоминаешь, что и ты отцовская дочь, в семье девочкой родилась, а не в собачьей конуре щенком-сучонкой, которой дали кличку по приметам да так с нею и пустили навек гулять по свету... За гигиенические меры тоже можно было сказать спасибо Нинишке с Марьей Николаевной. Благодаря им у нас в «Фениксе» за все время «ассоциации» не было ни одного случая «сифа».

Интерес в «веселящемся Петербурге» мы возбудили очень большой. Повалила к нам самая шикарная мужская публика — балетные первые ряды *), иностранные коммерсанты, министерские виверы. Хозяйки тайных притонов и открытых домов всполошились. Очень натравливали на нас полицию, что мы затеваем чуть не революцию. Но нашу руку крепко держал полицеймейстер Е., постоянный Нинишкин гость, человек веселый и добрый. Наш опыт он находил очень забавным, дразнил нас своими социалистками и раза два, а то и три в неделю уж обязательно кончал свой вечер у нас в «Фениксе», что обходилось нам — на шампанском, коньяке и сигарах — не дешево, но зато сидели мы за спиною Е., как за каменною стеною. А у самого градоначальника, знаменитого генерала Грессера, имели мы руку в одной театральной антрепренерше, которая этого старого черта молодила какими-то таинственными снадобьями, а потому имела над ним власть, почти что безотказную.

Эти протекции, конечно, стоили больших денег. Особенно антрепренерша. У полицеймейстера, хотя тоже не дурак был

*) Генне-Ам-Рин, 132.

взять, но больше Нинишка натурой отдувалась, а эта театральная шельма была бессовестно жадная ненасыть, настоящая пиявка.

3

За старшую в «Фениксе» мы выбрали и посадили Иду Карловну Л. Во-первых, потому, что она была всех нас старше годами и имела большую представительность; во-вторых, рассудили:

— Ты, Ида, еврейка, ваша еврейская нация практическая, значит, тебе и хозяйствовать в деле, — бери ключи и командуй!

Однако Ида, хотя еврейка, оказалась самою бесхарактерною рохлею и размазнею и, по беспечному своему добродушию, повела «Феникс» на таких слабых вожжах, что он сразу врозь полез, и уже через месяц мы едва не прогорели.

Вот тут-то, Маша, и сказалось, что нашему поганому делу женщина может служить аккуратно и усердно только из-под палки, неотступно над нею висящей, а вольною волею, если она сыта, одета, обута и имеет кров над головою, черт ли ее заставит скверниться?

Никому не стало в охоту «работать». Днем валяемся по постелям, играем в шестьдесят шесть, рамс, стуколку, вечером разбегаемся по театрам, циркам, кафешантанам либо к любовникам. Гости придут, — принять некому. Счастливый случай, если из двенадцати три-четыре в работе. Той нет дома, эта в «обстоятельствах»: «выкинула красный флаг». Которая пьяна до положения риз, которая амурится с собственным душенькой, которая просто не в духе и рычит сквозь запертую дверь:

— А пойдите вы от меня все к черту!..

Любовники у всех днюют и ночуют, словно в собственных квартирах, спивают, объедают, — ревность, ссоры, шум

и даже до драк. Иду никто в грош не ставил. Да надо правду сказать, она, толстая распустеха, и сама во многом подавала плохой пример, потому что была ужасно нежного сердца и вздыхала едва ли не по всем провизорам в петербургских аптеках. Прислуга совершенно от рук отбивалась. Мужчины пьяны двадцать четыре часа в сутки, воруют, грубят Иде, грубят гостям, нагличают с нами, лезут в спальни. Женщин, за исключением Груньки, которая всегда была на месте, никогда не дозваться ни за какой нуждой; живут себе, сложа руки, барынями, дерзят, огрызаются волчицами на каждое замечание, и тоже каждая тащит все, что плохо лежит. А когда же и что же у нашей сестры лежит хорошо?

В хозяйстве Ида уже ровно ничего не понимала, а по кухне хранила только слабое воспоминание о фаршированной щуке, которою лакомилась лет тридцать тому назад, в своем невинном шполянском или уманском детстве. Поэтому наша пресловутая белая кухарка питала нас отвратительно, а счета закатывала, словно она готовила на целую кавалерийскую дивизию...

Да и вообще по всем статьям хозяйства расходы ужасные. А доходов почти никаких... Ой, не выдержать, — лопнем!..

4

Испугались. Решили воскресить порядок, завести дисциплину. Иду, к великому ее удовольствию, сместили. Марья Францевна в старшие ни за что не пошла. И умница: она характером была еще мягче своей кузины Иды, а бессребренница прямо-таки до неумения считать, — только ленивый не запускал лапу в ее дырявый карман... Надумались пригласить старшую со стороны.

Как раз в то время Эстер Лаус, немолодая девица из бойкого заведения у Банковского моста, задумала остепениться. Сдала книжку, взяла паспорт и вышла из разряда. По подпо-

льям нашего темного мирка, она имела громкую репутацию особы энергической и изучившей свою среду до несравненного совершенства. Едва ли, дескать, найдется в Питере другая, которая так обстоятельно знает и так тонко понимает нашу сестру, и умеет с нею обращаться. Выписалась из разряда Эстер в расчете остаться экономкою в том же самом заведении, где она несколько лет работала барышней. Хозяйка заведения охотно брала ее в экономки, но Эстер требовала, чтобы хозяйка приняла ее в компанию, на что та, боясь ее хитрого и дерзкого нрава, никак не соглашалась. Таким образом Эстер неожиданно осталась не у дел... Что же? попробуем, призовем ее владеть и править нами!

Тоже была еврейка, но уже совсем другого закала. Вышла у нас в лицах басня о лягушках, просивших царя. Толстуха Ида была чурбан бездеятельный, а в красноносой Эстерке обрели мы сущего журавля. Здорово нас скрутила.

Старую прислугу всю повыгнала, только Груньку отстояла наша главная звезда и приманка, Нюта Ямочка, заявив, что если ее Грушу вон, то и она уйдет. А новую прислугу Эстер поставила на такую ногу, что перед нею эти люди ходили по струнке, но для нас сделались вроде сторожей или надзирателей. Бывало, оденешься на прогулку, — ан, в прихожей дверь на лестницу заперта.

— Швейцар, отвори!

— А вы, барышня, имеете от Эсфири Александровны записку на выход?

— Какую записку? С ума ты сошел?

— Тогда извольте возвратиться, без записки не могу вас выпустить, строго запрещено, могу лишиться места...

Летишь к Эстер объясняться, — сделайте одолжение! спорить и собачиться большей охотницы не найти, но отменить, что она однажды постановила, это — нет, не надейся... Ну погорячишься, покричишь, а в конце концов плюнешь:

— Черт с тобой, давай твою дурацкую записку!..

За словами и бранью она не гналась, — на вороту не висло, — лишь бы всегда выходило по ее на деле.

По хозяйству Эстер ругалась и орала целыми днями, без малейшей жалости к своему горлу и нашим ушам. А по ланитам горничных плюходействовала так усердно, что даже и мы, барышни, вчуже возымели некоторый страх и очень изумлялась, почему эти расправы так легко сходят Эстер с рук и побитые женщины не тянут ее к мировому. Но когда мы ей выражали свое недоумение и просили ее все-таки быть осторожнее, Эстер презрительно усмехалась: дескать, ученую учить только портить, — оставьте, я знаю, с кем имею дело! И, действительно, Груньку, например, она мало что никогда пальцем не тронула, но и малейшее замечание ей делала самым осторожным и ласковым тоном.

Наблюдать террористическое хозяйство Эстер было довольно отвратительно, но, увы, результаты ее оправдывали: расходы сократились, доходы выросли, дело оживилось. Тем не менее довольны ею мы не были. Многие, — и первая Нинишь, — стали поговаривать, что под рукой Эстер чем же собственно наша «ассоциация» отличается от любого «заведения» в когтях строгой хозяйки?

На свободное товарищеское предприятие, действительно, мало походило. С правилами нашими Эстер считалась очень небрежно, выдерживая за то бурные сцены от Нинишь, Толстой Зизи и Анеты Блондинки, сочинительниц нашего статута. Консервативная воспитанница публичного дома, Эстер клялась, что мы сделали все, чтобы связать себе руки для торговли, и каждый отказ барышни принять гостя служил ей поводом к жесточайшей перепалке как с виновною, так и с «уставщицами», которые отстаивали свободу приема как краеугольный камень «ассоциации».

Несмотря на разногласия, возможно, что Эстер удалось бы поставить «Феникс» на ноги, если бы не ее ужасный характер, подозрительный до мании преследования. Ей все

чудилось, будто мы посмеиваемся над ее наружностью. Она пришла к нам уже очень увядшею, далеко за тридцать лет. Смолоду она была очень даже замечательно красива, с единственным недостатком излишней румяности лица. Какой-то шарлатан присоветовал ей приставить на сутки пиявки к носу. Румянец, действительно, поблек, зато нос принял цвет и форму спелого баклажана. И сколько потом Эстер ни старалась исправить благоприобретенное безобразие, успела добиться только возвращения носа к первоначальной орлиной форме, да сизая окраска его выцвела в пунцовую, которая упорно светила, как фонарь, сквозь самые густые белила.

Женщина мечтательная и амбициозная, Эстер ждала от своей красоты больших успехов в жизни. Проклятый нос разбил мечты и наполнил душу Эстер ядом, которого избыток она щедро расплескивала на ближних своих, не разбирая правого от виноватого. Обманутая, все из-за носа, любимым женихом, она прониклась ненавистью ко всей мужской половине человечества и чересчур уж нежно возлюбила нашу, женскую. И в «Фениксе» у нее тоже не замедлила появиться фаворитка, робкая и смирная тихоня, Дунечка Макарова, слывшая между нами писательницей, потому что она каждую свободную минуту строчила что-то в свой дневник, который вела с педантической аккуратностью и никому не показывала. Эстер ее решительно ко всем ревновала без толка, смысла и соображения, наполняя дом бешеными, до мучительства, сценами.

Особенно, когда Эстер, злобно остря сама над собою, что должна же она оправдывать красную вывеску своего носа, поддавалась запою и принималась глушить свой излюбленный коньяк Мартель три звездочки. Евреи трезвый народ, а в особенности, еврейки. Пьющие из них даже в нашей среде редки. Но уж если еврейка пьяница, это страшное, обреченное существо. Либо тихая идиотка, быстро идущая на дно животной невменяемости, либо черт во плоти, как Эстер. Любопытно, что пьянство ей, точно капитану какого-нибудь

китобоя или пиратского корабля, нисколько не препятствовало держать руль крепкою рукою. Взглянуть, — еле на ногах держится, а в счетах замечает каждую копеечную ошибку, на мебели новое пятнышко величиною с булавочную головку, в туалетах малейшую небрежность. И сию же минуту — жесточайший скандал.

С каждым днем ее дикий характер обнаруживался все свирепее. Свою безответную фаворитку, Дунечку Макарову, она колотила походя, пощечины так и трещали; а заметно было, что сильно чешутся у нее ладони добраться до ланит и прочих барышень ассоциации, не связанных с нею узами всевыносящей дружбы. Между прочим, и у меня с Эстер чуть не вышло драки из-за жалобы одного скота-гостя, что я плюнула в его стакан с шампанским... Положим, эту штуку я действительно отмочила, потому что мерзавец вел себя свинья-свиньей и говорил мне нестерпимые гадости, но все-таки бить меня, Катьку Злодея, какой-нибудь красноносой Эстерке — врешь! Руки коротки!

Ну-с, недовольство накоплялось да накоплялось... Наконец, Эстер и впрямь осмелилась прибить по щекам двух наших товарок из простеньких — Анку Румяную и Аришу Кормилицу, которая бросилась их разнимать, так толкнула с лестницы, что девушка пересчитала телом все ступеньки и получила растяжение сухожилия на правой ноге.

Терпение лопнуло, последовал взрыв. Мы заявили Эстер, что не каторжные ей достались, этакого рабства, как она нам устроила, и под хозяйками не бывает, и — убирайся ты от нас ко всем чертям!..

К нашему изумлению, она сложила с себя бремя правления без малейшего протеста и даже как бы с радостью. Распростились честь честью, без всякой злобы, словно никогда и не бранились. Но все обратили внимание на ту странность, что с горничною Грунькой Эстер простилась особенно сердечно и даже как бы искательно.

Вместе с Эстер, вопреки нашим просьбам и убеждениям, ушла из ассоциации Дунечка Макарова. Но свято место пусто не бывает. Ушли две, пришли три и между ними — писаная красавица, царевна из русской сказки и набитая дура, — Аня Фартовая, на которую тогда оглядывался весь Павловск, до чего великолепно хороша. Недаром прозвали Фартовой! Ожидали: ах, новая Женя Мюнхенова, да еще и не красивей ли? То-то карьеру должна сделать! Но оказалось так невыносимо глупа и тупа, такое бессмысленное и бесстрастное ходячее мясо, что при всей ее царь-девичьей красоте гости с нею скучали, к ней не приживались, и выше обыкновенного случайного фарта в розницу — от сторублевки к сторублевке — она не пошла... Другие две, немочка Каролина и евреечка Лия, не представляли собой ничего особенного, кроме необычайно дисциплинированной аккуратности в работе. В наступившем после ухода Эстер хаосе «Феникса» эти новые пришелицы, втроем, одни оказались столпами порядка и субординации.

5

Постановили мы общим решением, что довольно, больше у нас старших не будет, а все мы, по очереди, будем старшить — каждая две недели. Ну уж из этого вышла такая каша, что совестно вспомнить.

Ни у одной из нас не нашлось хотя бы капли административного таланта. В недели барышень из простых — Анки Румяной, Ариши Кормилицы, Каролины, Лии — мы, по крайней мере, ели хорошо, потому что они понимали кухню и умели присмотреть за кухаркой. Лучшими неделями были недели Нюты Ямочки, в чем, однако, эта Недвига-царевна, по целым дням не сходившая с мягкой кушетки, была нисколько не повинна: за нее распоряжалась ее доверенная расторопная умница-горничная Грунька. Но при «аристократках», как Нинишь, Толстая Зизи, Берта Жидовка либо я многогрешная, бывало,

обед — хоть выброси за окно и посылай за другим в греческую кухмистерскую. Опять все пошли вразброд, опять никогда никого нет дома вовремя, опять шлянье по любовникам и любовников к нам, опять общее отлынивание от «работы».

Юлька Рифмачка связалась с тапером, оказалась в положении, ушла делать аборт и не вернулась, уехала в Москву, в открытый дом. Анка Румяная и Ариша Кормилица, гуляя, черт знает с кем, на стороне, схватили болезнь — еще две из поля вон! Новеньких появлялось много, но все уже второй и третий сорт, далеко до нас, которые начинали. Саша Заячья Губка, Дорочка Козявка, Манька Змееныш, Эмилька Сажень... по прозвищам слышите, что неважно, Невским пахнет...

Нинишь, когда пропагандировала ассоциацию, проповедовала, что чрез нее мы облагородим свою несчастную среду. Поди-ка, облагородь ее, когда в компанию врывается Манька Змееныш — женщина с двенадцати лет и проститутка с четырнадцати: в послужном списке — исправительный приют, трижды бланка, дважды Калинкинская больница, однажды лишение столицы, то есть высылка из столицы на родину, и судимость по подозрению о краже часов у гостя. Девица эта умирала со смеха, когда Нинишь пыталась звать ее Марьей Филипповной, и не умела связать десяти слов без матерщины. И когда ей говорили, что так нельзя, это противно и у нас запрещено, — возражала:

— Вот на! Что же вы хотите, чтобы я всех своих гостей растеряла? Чай, мне за мою словесность любители деньги платят *).

— Да, это часто бывает, — заметила Лусьева. — Но зачем же вы такую отчаянную уличную к себе пустили?

Катерина Харитоновна усмехнулась, покуривая.

— В порядке ассоциации, душенька, по баллотировке... Добры мы очень. Когда она нам предложилась, все были

*) Кузнецов, 26, 27.

против, — чтобы не пускать эту язву в дом. А подали записки, — здравствуйте! только два голоса — минус, да две воздержались... Вот оно, как умно голосовать умеем!.. Ну, а раз приняли даже такое сокровище, как Манька, то за что же было проваливать других, которые, в сравнении с ней, сама тишина и скромность?

Нам очень приятно было привлечь в ассоциацию Дорочку Козявку, маленькую евреечку, которая, не будучи нисколько красива, почему-то ужасно как нравилась солидным гостям из средних, вроде бухгалтеров банков, биржевых маклеров, нотариусов. Но она не шла без своей неразрывной приятельницы Саши Заячьей Губки. Пришлось взять и Сашу, хотя эта бывшая «филаретка» была уже почти урод, имела репутацию интриганки, а гостей к ней факторши приманивали молвой, что она безотказна на всякое свинство.

Эмилька Сажень, добрая, глупая девка из русских немок, в самом деле чуть не трех аршин ростом и соответственной толщины, прямо заявила нам, что правила, ограничивающие пьянство, для нее неисполнимы, так как ее гости, по преимуществу царскосельское офицерство, посещают ее не столько для марьяжных целей, сколько — чтобы любоваться, «как Эмилька льет в свою бездонную бочку всякие жидкие напитки».

Идейную сторону ассоциации эти госпожи упорно не воспринимали, сколько ни старались им втолковать ее Нинишь, Зизи и Анета Блондинка. Но им нравилось, что ассоциация отчисляет у них всего 10 проц<ентов> заработка, тогда как, работая при сводне или хозяйке, дай Бог удержать 10 проц<ентов> для самой себя. Нравилось прекрасное рыночное место, выбранное для «Феникса» близ театров и сада Неметти. Нравилась почти полная безопасность от полиции под крылом благодетеля Е. «Облагораживающих» же правил решительно не понимали, считали их дурацкою фанаберией в убыток делу и нарушали их ежедневно.

Вообще... глупо прозвучит это о месте, предназначенном для разврата, но вместе с новенькими ворвался к нам ужасный разврат. Именно тот разврат, от которого мы воображали забронироваться в условное приличие: разврат Невского, бань, открытых заведений.

«Феникс» теперь как бы раскололся надвое. Новенькие семь барышень — Аня Фартовая, Лия, Каролина, Манька, Саша, Дорочка и Эмилька — образовали сплоченную группу, так сказать, «реакционерок». Мы, основные, имели против них только один лишний голос и, стало быть, при малейшем среди нас несогласии, — а несогласия бывали часто, — они брали верх над нами с величайшею легкостью. Да нельзя было не считаться и с тем, что новенькие значительно освежили гостевую публику «Феникса» в опасное время, когда наша, если можно так пышно выразиться, клиентура сильно пошатнулась из-за нашего хаоса и капризов.

Как вы знаете, наша профессия не может обходиться без посредничества и подспудной рекламы — без ходебщиц, факторш, маклерш, сводней: они заменяют нам газетные объявления и приманивают публику. В начале «Феникса», при Иде, а тем больше при Эстер, эти промышленницы очень интересовались нами и хорошо для нас старались. А теперь отвернулись и махнули рукой:

— У вас, — говорят, — не дело, а сумасшедшая палата, с вами только собственную деловую репутацию погубишь и растеряешь хороших клиентов.

И, действительно, Маша, в самом непродолжительном времени остались мы, правда, на полной своей воле — что хочу, то и делаю, но зато и при гостях почти что парамурного десятка. Офицерики, студенты, газетные сотруднички, приказчики... Публика, которая мало что платит плохо, если вообще платит, но иной, при случае, еще у тебя же норовит перехватить десятку взаймы без отдачи. Один помощник присяжного поверенного у меня шелковое трико спер... толь-

ко я его и видела! Должно быть, законной супруге в день ангела поднес, мерзавец!..

Любвей со всею этою шантрапою развелось у нас — туча! Ну, а понимаете, какая уж марьяжная коммерция, когда нашей сестре вступает в сердце любовная мечта? Тут только дай Бог нашатырю не нахвататься да выдержать характер — не уйти к любовнику-голоштаннику на взаимную голодовку. Либо не попасть в лапы «коту», который потом с тебя век будет шкуру драть и кровь твою пить...

Так вот-с. Живем, как ошалелые, без всякого марьяжа и дохода, только друг у дружки пятерки занимаем, чтобы покупать для своих «обже» галстухи и запонки. Перезаложились все до ниточки. Одна Нюта Ямочка осталась вне этой дурацкой эпидемии. Но на то была особая причина. И именно она-то, Нюта Ямочка, все-таки в конце концов и погубила ассоциацию.

6

Вы знаете, Маша, что я бабенка не из ласковых и не очень-то лестного мнения о людях вообще, а уж о глупом стаде наших с вами подруг по профессии — в особенности. Но эта Нюта Ямочка была прелестное существо.

Ямочкой ее прозвали за прелестную ямочку, которая играла у нее на правой щеке, когда она улыбалась. Хорошенький русский херувим, живая розочка, маленькая, кругленькая, изящненькая женщинка-игрушка. Купеческая дочка из-под Москвы, завертелась из дома родительского с актером, а тот, как водится, поиграл да и бросил. Не из образованных, но и не из дикарок: хватила несколько классов гимназии. А главное, имела самый очаровательный — мягкий, милый, нежный — характер и была несравненно привлекательна в обращении. Тогда первою красавицею по Петербургу слыла и действительно была эта, знаете, великокняжеская Женя Мюнхенова.

Конечно, по наружности Нюта перед Женею была не более, как смазливенькая мещаночка перед Венерой Милосской. Но в общем так мила, что многие, представьте, предпочитали ее божественной Жене.

Притом... знаете, когда нашу сестру хвалят, что она скромная, стыдливая и т.п., это звучит двусмысленно до глупости. Черт ли в скромности и стыдливости, если самая профессия бесстыдна? Ну, а вот к Нюте, в виде исключения, эти аттестации удивительно как шли. Было в ее простоте что-то этакое... неистребимо, вечно целомудренное. Я, например, уверена, что она в жизнь свою не произнесла ни одного похабного слова. А когда вокруг нее начинались похабные разговоры, она, улучив удобную минутку, тихо незаметно вставала и уходила, с какими бы важными и выгодными гостями ни была. Мужчины с нами не церемонятся. В своей плачевной опытности я видала неописуемые свинства со стороны даже таких мужчин, которые в своем обществе слывут и держат себя рыцарями человечности и порядочности. Бывает даже так, что, чем они в свете лучше, тем с «девкою» хуже. И однако, Маша, уверяю вас, я не умею вообразить такую двуногую свинью, которая позволила бы себе с Нютою те мерзости и похабства, каких эти господа уверенно требуют от других, хотя бы и от нас с вами.

А между тем, если хотите, она была проститутка больше, чем мы обе, больше, чем все, которых вы знаете у Буластихи. Потому что мы считаем свой проституционный жребий несправедливым проклятием судьбы, злимся, негодуем, протестуем. Нюта же относилась к своей профессии с покорностью, простодушною до наивности, не прикрываясь ни от людей, ни от себя никакими масками и псевдонимами. Совершенно искренно говорила:

— Что же делать, если меня Бог обидел? Уродилась дурочкой, кругом бездарною, а собою недурна. Работать ленива,

ничего не умею и терпеть не могу, а жить люблю хорошо. Значит, кроме как в проститутки, я ни на что не гожусь.

Дурочкой она не была, напротив, рассуждала обыкновенно очень неглупо, обнаруживая прочный запас мещанского здравого смысла, но, действительно, не обладала даже тенью каких-либо талантов... совершенная тупица! Рукоделья — и те ей не давались. В карты — куда уж до винта, в стуколку не выучилась.

Замуж бы ей самое подходящее дело, и женихов сколько угодно. И влюбленных, и смышленых практиков, соображавших, что с этакой женой в Питере карьеру сделать — как стакан вина выпить, даром что она из «ассоциации». Так нет, ни за что. Говорила:

— За первого встречного или афериста какого-нибудь я не пойду, потому что совсем не хочу закабалять себя на авось, а уж тем более подозрительному субъекту. Дрянных мужчин я и теперь довольно вижу. Бедняк мне не годится, я балованная, а хороших богатых мало. А главное — за хорошего, даже если бы полюбила, как я пойду после такой моей жизни? Это — себя обманом потешить, его обманом загубить... А обманы — ах как недолго держатся! Никогда этого, — что жена была проституткой, — ни муж не забудет совершенно, если он в самом деле чистый человек, ни сама жена не выкинет из памяти-совести... Радость ли, Катя, век виноватою жить?.. Сначала-то, в первом пламени, пожалуй ничего, не помнится, не чувствуется, но, когда страсть поутихнет, любовь позавянет, вот тебе, вместо супружества, вековечное страдание двух жертв неповинных...

Что ж? Была права, рассуждала не глупо. Подобных браков — и гражданских, и церковных, — перевидала я не один десяток, а не помню, чтобы который-нибудь долго продержался и хорошо кончился. И даже так скажу, что, чем оба лучше и честнее, тем скорее оба утомятся, не вытерпят своей тайной лжи. И либо разойдутся, либо — нашатырь, револь-

вер, корсетный шнурок одним концом на шею, другим на гвоздик... Покорно благодарю!.. Меня ведь, Машенька, тоже спасали, испробовала это счастье... Ха-ха-ха!

7

Катерина Харитоновна швырнула докуренную папироску в угол, хотела закурить другую, но не нашла ее в опустошенной коробочке «Гадалки». Маша с кресла бросила приятельнице свою папиросницу.

— Спасибо... Однако, Маша, при всем моем скептицизме на этот счет, должна вам признаться, что бывают в этих спасательствах случаи такого увлекательного самообмана, встречаются люди такой пылкой веры в человека, таких благородных намерений, так уважающие и себя, и тебя... ну, и, конечно, так влюбленно-красноречивые, что надо иметь вот этакий рыбий темперамент, как у Нютки, чтобы не поддаться соблазну... устоять... За исключением того первого любовника, актера, который взял ее врасплох, с перепуга, почти что силою, у нее не было потом уже ни единого дружка. Слушая и видя наши бесчисленные романы, она только плечами пожимала — удивлялась, неужели мужчины нам еще не отошнели!..

Вдобавок ко всем своим достоинствам, Нюта была еще ужасная домоседка. Все свободное от гостей время проводила в том, что, лежа на кушетке, читала страшные переводные романы Понсон дю Террайля, Ксавье де Монтепена, Габорио. Лежит и жует конфеты. А горничная Грунька, нынешняя Аграфена Панфиловна Веселкина, если не занята по дому, обязательно сидит подле, шьет, вяжет или штопает что-нибудь и с величайшим интересом слушает, как барышня Нюта, воспламеняясь похождениями демонического виконта Андрэ или белокурой грешницы Баккара, принимается вычитывать вслух самые боевые страницы...

До нашего «Феникса» Нюта работала на Марью Алексеевну. Была, теперь забастовала, такая благопристойная сводня с маленькою, но самою солидною клиентурою: коммерсанты иностранных фирм, министерские чиновники на доходных постах, вдовое духовенство... публика, которая любит, чтобы о ее похождениях держали крепко язык за зубами и за тайну хорошо платит. Грунька проживала у Марьи Алексеевны при кухне, без места, при сестре-кухарке. Нюта заприметила ее, что девушка работящая, расторопная и неглупая, и, переходя в «Феникс», рекомендовала Груньку нам. У нас же Грунька сразу замечательно как привилась и полюбилась.

Была толковая, вежливая, всегда веселая, исполнительная и преуслужливая. Мы ее скорее за подружку почитали, чем за горничную. Тем более, что сложилось как-то так, что и служила-то она, главным образом, только Нюте Ямочке, которую боготворила и величала «своей барышней», а остальным — лишь между прочим, как бы из любезности.

Когда начались и потянулись полосы нашего оскудения, Грунька оказалась совсем золотым человеком. Находила каких-то великодушных закладчиц, которые давали под вещи вдвое больше, чем ссудные кассы. Правда, и при вдвое большем проценте, да ведь наша сестра за этим не стоит, а лишь бы сейчас наличность в руки. Выгодно продавала старые платья и белье где-то на Александровском рынке. Наконец, и сама она имела кое-какие деньжонки и охотно снабжала ими по мелочам всех нас, кто попросит, без всяких процентов, только с распиской для памяти. Если же требовалась сумма побольше, то Грунька бегала по городу, изыскивая согласного ростовщика или ростовщицу, и обязательно находила. Но тогда уже требовался вексель с поручительством и проценты взимались жестокие. Чаще всего кредиторшею оказывалась сестра Груньки, служившая в кухарках у Марьи Алексеевны, баба, о которой сама Грунька выражалась,

что Дарью черт себе на смех выдумал: ни к чему-то, кроме денег, она ни вкуса, ни смысла не имеет и сущая живодерка.

Уплаты долгов по распискам Грунька никогда не требовала: «У вас, барышня, целее будут!» А векселя ее ростовщики и ростовщицы переписывали с величайшею легкостью, причем, однако, задолжение — ой, как вырастало!

Дружа с Грунькою, мы не раз убеждали ее, полушутя, полусерьезно, переменить участь: перейти из горничных к нам в товарки, включиться в ассоциацию. Но она упорно отшучивалась, что «рылом не вышла»... Между тем... Да вы, Маша, видали когда-нибудь Аграфену Панфиловну Веселкину?

— Нет, Катя, не случалось.

— Теперь, к пятому десятку, ее уж очень разнесло, — расплылась, расползлась, жирная туша, как все наши почтенные хозяюшки, — но все еще король-баба. А тогда, если бы не один смешной недостаток, была бы девица хоть куда, в этаком русском хороводном вкусе. Рослая, статная, белая, румяная, быстроглазая, очи с поволокой, чудесные русые волосы, губы малина, белозубая, грудастая, широкобедрая, спина, как плита. Но, подобно как Эстер, природа тоже обидела Груньку носом. Только у Эстер он был длинный и светил пламенем, а Грунька, напротив, имела на месте переносицы гладкое поле, а пониже — какую-то шарообразную белую пуговицу с двумя черными дырочками, астрономически устремленными к небу. Прямо пародия какая-то на нос, свиной пятачок, масляничная маска. Эстер имела, по крайней мере, то утешение, что на фотографии выходила красавицей, а Груньку и фотография оставляла карикатурой. Однако, в отличие от Эстер, несчастный нос Груньку не ожесточил, и она первая предобродушно острила над своим «пыптиком».

Уж не знаю, «пыптик» ли был причиною или иное что, почему Грунька засиделась в девках до тридцати лет. Конечно, девица она была только по паспорту, однако, — Бог ее ведает, — что осталось у нее в прошлом, но положительно утверждаю,

что, обслуживая нашу грешную ассоциацию, сама Грунька вела жизнь воздержанную и одна из всей женской прислуги не имела ни жениха, ни любовника.

Чтобы докончить портрет этой госпожи, не умолчу еще об одном недостатке Груньки, для меня гораздо более несносном, чем ее комический нос: у нее, — уж извините за подробность, — препротивно пахло от ног, трудно было долго оставаться с ней близко. Она этот недостаток свой знала, и принимала против него всякие аптечные меры, и духами заливалась, но — на чей другой нос, а на мой, например, казалось — выходило еще хуже. Мы все удивлялись на Нюту, как она выдерживает, что Грунька сидит в ее комнате по целым дням. Но Нюта уверяла, что мы преувеличиваем и ничего особенного она от Груши (так она всегда звала Груньку) не слышит.

8

Хорошо-с. Нюта лежит, жует сласти и читает своих Рокамболей и Генрихов Четвертых. Груша сидит подле и шьет. А потом Нюта стала держать свою комнату на ключе, чтобы к ней не входили, не постучавшись. А потом однажды пожаловалась, что ее комната, окном во двор, тесна и темна, и попросила, чтобы ей уступили другую, большую, двумя окнами на улицу. Когда-то, в медовый месяц ассоциации, Нинишь предполагала устроить в этой комнате библиотеку и читальню. Но дни розовых мечтаний давно миновали: теперь, кроме «Петербургского листка» да «Петербургской газеты», кажется, уже и Нинишь ничего не читала, не говоря о прочих.

Когда Нюта перебралась в читальню, то и Грунька перенесла туда же из девичьей свою кровать и пожитки. А затем все мы получили, написанный прекрасным почерком Нюты, золотообрезный билетик с голубками и незабудками, кото-

рым Аграфена Панфиловна и Анна Николаевна приглашали нас на шоколад по случаю их общего новоселья.

В положении Груньки все это приключение вызвало лишь ту перемену, что теперь она говорила Нюте «ты», очень ею командовала и порою на нее ласково покрикивала. По отношению к нам она осталась такою же услужливою и исполнительною, как была, и сделалась еще тароватее на кредит. Еще бы! Нюта вверилась ей совершенно, а наша бережливая домоседка Ямочка имела-таки запасные деньжонки на черный день. Ими-то, как потом выяснилось, и принялась теперь орудовать Грунька.

Мы, безалаберные рассейские простыни, продолжали хватать у нее десятки, четвертные и сотенные, не думая об отдаче. Но еврейки считать умеют. Однажды Дорочка Козявка озадачила меня вопросом, знаю ли я, сколько должна Груньке.

— Нет, не знаю... пожалуй, наберется рублей пятьсот...

— Только? — удивилась она, округлив черненькие глазки-маслинки. — Гм... а мне казалось, не две ли тысячи? Вы бы, Катя, все-таки поосторожнее...

Я обеспокоилась, попросила Груньку выяснить мой счет. Но получила беспечный ответ:

— Ох, барышня, валяются где-то эти бумажонки, я о них и думать забыла. Да что вы вдруг встревожились? Разбогатеете, — отдадите. За вами не пропадет.

Но, если мы закрывали глаза на свои частные долги, то не могли не видеть общей суммы вексельных обязательств по ассоциации. Они возросли до тридцати тысяч рублей. Сроки близились, и на этот раз, когда поднимался вопрос о переписке векселей, Грунька как-то сомнительно отмалчивалась, загадочно поджимала губы да покачивала головой. Либо жаловалась на неурожайный год, что в Петербурге ни у кого нет денег, и никто не хочет открывать новых кредитов, а все норовят получить по старым!..

Нинишь, Зизи и Анета Блондинка, на имя которых писались все долговые документы ассоциации, были в ужасе. Касса наша, опустошенная безвозвратными ссудами, была — хоть шаром покати.

9

А тут вдруг гром с ясного неба. В один прескверный день Нинишь вызывает к себе наш приятель, полицеймейстер Е., и объявляет ей уже без малейшей любезности:

— Ну-с, милейшая социалистка, «кончен базар»! Побаловались, — и баста! Больше мы терпеть вашу, с позволения сказать, ассоциацию не можем. Доведались о вас такие сферы, с коими шутить плохо. Даю вам на ликвидацию неделю срока. Не успеете, прошу не прогневаться: всех на бланку! Либо, на выбор, вон из столицы по месту родины.

Никаких просьб, доказательств, объяснений и слушать не стал.

— Нет, — говорит, — слух дошел до августейших ушей ее величества государыни императрицы, и она ужасно возмущена, что в столице такая безнравственность. Благодарите Бога и за то, что я выпросил для вас у генерала недельный срок. Он хотел выслать в двадцать четыре часа.

Бросились мы к антрепренерше. Говорит:

— Да, слышала, есть. Мой генерал рвет и мечет. Насчет императрицы не знаю, а у Ольденбургских ему, действительно, кто-то сделал неприятный намек. Да на это наплевать! Кладите пятьдесят тысяч на стол, — улажу.

Спасибо! В тот день, хоть всех нас наизнанку выверни, мы и пятисот рублей не набрали бы.

Устроили общее собрание. И Груньку пригласили: совещательный голос! За председательницу была Марья Францевна, а я секретарь. Доложила Нинишь необходимость спешной

ликвидации. Новенькие приняли равнодушно. Нас, основных, словно громом пришибло.

Странное, право, дело, Машенька! Никакой пользы-выгоды мы от своей ассоциации не видали, а, как пришлось нам ее прикрывать, стала нам она вдруг так мила, так мила, — так ее жаль, — ну прямо навзрыд плачем, слезами обливаемся... Прощай, наша свободушка! Попировали сами себе госпожами и будет!

Но вдруг Грунька поднимает голос:

— Позвольте, барышни. Не рано ли заплакали? По-моему, все это еще очень можно уладить. И никаких пятидесяти тысяч. Без грошика.

Мы встрепенулись.

— Что ты говоришь, Груня? как?

А Нюта с места мямлит, тянет своим сонным голосом:

— Да, Груша имеет очень остроумный план, который и я одобряю... Говори, Груша.

— Что же, — говорит Груша, — вы так оробели, хотя бы и бланка, которою пугает вас этот старый пес полицеймейстер? Книжка ли, бланка ли, страшны, когда вы одиночкою марьяжите либо должны обязаться к случайной хозяйке, в незнакомое заведение. Но ежели вы не разойдетесь и сохраните свое сожительство в неприкосновенности, то на всю ихнюю полицейскую реестрацию — наплевать вам с высокого дуба, да и весь сказ... В открытую-то играть, пожалуй, еще спокойнее.

Возражаем:

— Но ведь нам же велят именно «Феникс» закрыть, ассоциацию уничтожить и разойтись?

— А на кой ляд вам дразнить начальство вашей ассоциацией? Вы друг дружке верите?

— Верим.

— Все?

— Все.

— Так выбирайте промежду себя — которой доверяете больше всех, да чтобы была посолиднее... Марью Францевну... Иду Карловну... И пусть она выправит на свое имя патент на самое обыкновенное заведение первого разряда. А вы, остальные, поступите к ней в дом девицами, законтрактовавшись на общем положении. Тогда снаружи к вам не может быть никакой прицепки, а как вы устроитесь у себя внутри, это уже ваше дело. Раз есть налицо хозяйка с торговыми правами, то все в порядке. А какая там у вас в изнанке под спудом ассоциация, чужому носу и глазу, хотя бы и полицейскому, туда не досунуться... Только бы согласно стояли все друг за дружку, — вотрем очки в лучшем виде!

Действительно, ларчик просто отпирался! Обрадовались мы, словно Америку открыли. И кинулись в яму, словно овцы за передовым козлом.

Нинишка полетела депутаткою к Е. Выслушал с совершенной благосклонностью.

— Давно бы так!

Однако предупредил, что ни одна из нас разрешения не получит, нужно постороннее лицо. А также — что «Феникс» должен быть перенесен с Офицерской в окраинный переулок его же, Е., района, где вообще ютятся подобные дома.

Опять тупик! Шутка ли доверить свою свободу какому-то «постороннему лицу» — чужой, никаким прошлым с тобою не связанной женщине? Легкое ли дело в неделю перевести и водворить на новое место дом — пятнадцать жиличек-барышень да прислуги восемь душ, имущества на многие тысячи?..

Но все-таки больше всего смущало «постороннее лицо». Кого-кого только ни перебрали мы в памяти из женщин, связанных с нашим промыслом, но в нем не числящихся. И Марью Алексеевну просить собирались, и даже зашла было речь об изгнанной Эстер...

Но тут попросила слова Нюта Ямочка и внесла предложение, что «посторонним лицом» может и должна быть не кто иная, как... ее Груша!

— Мы все ее знаем и любим, она всех нас знает и любит; с «Фениксом» она свыклась, ассоциация дорога ей столько же, сколько и нам. Не доверять ей мы не имеем никакого основания: девушка простая, бесхитростная и прекрасного характера. А она свое доверие и расположение достаточно доказывает уже тем, что почти все мы ей должны большие деньги, а она терпит, не требует, хотя видит нас в трудных обстоятельствах и, значит, очень малонадежными плательщицами.

— А сверх того, — заключила Нюта, — за себя лично я должна откровенно предупредить, что, кроме Груши, я ни под чью другую руку не пойду, и если Груша не примет хозяйства, то считайте меня выбывшей.

Это уже было маленькое давление на общественный приговор. Все понимали, что без Нюты нам нельзя: наша примадонна, дива, слава!.. Последовавшие дебаты излагать излишне. Предложение Нюты восторжествовало десятью голосами против пяти. Новенькие все голосовали за Груньку. Из основных, конечно, Нюта Ямочка да обе «старухи» — Марья Францевна и Ида Карловна. Наша пятерка, — я, Берта Жидовка, Зизи, Нинишь и Анета Блондинка, — осталась в обидном меньшинстве.

Грунька ломалась, кривлялась, отнекивалась, отмахивалась.

— Да что вы вздумали? Да смею ли я? Да как я могу? Что ты, Нютка, полоумная, в какую беду меня тянешь? Нашли управительницу! Что я вам, барышни, на смех далась? Какая я хозяйка? И грамоте-то знаю самоучкою, с грехом пополам. Да вы, образованные, мне голову свернете, я от одних ваших насмешек стыдом пропаду...

Но покуда она причитала, а мы перекорялись вдруг — дзиннь! звонок и повестка от нотариуса Анне Михайловне Р.:

поступил, мол, ко мне ваш неоплаченный вексель на восемь тысяч рублей и, если завтра до двенадцати часов не будет внесена валюта, то документ будет опротестован...

Нинишка покатилась в истерике, а мы, юристки великие, перепуганные до полусмерти, словно этот нотариус грозил с нас головы поснять, насели на Груньку, что называется, вплотную и теперь уже единогласно:

— Ты, Грунечка, одна можешь спасти нас... выручай!

Тогда она, будто бы нехотя, согласилась. И тут же, на скорую руку, было составлено обязательство, которое нам, сгоряча и в волнении страстей, показалось очень легким, а на самом-то деле закабаляло нас Груньке в крепкую зависимость.

Грунька брала на себя уплату всех долгов нашей ассоциации, а также все расходы по устройству «Феникса» в новом помещении, как скоро оно найдется. За это мы, кроме себя самих, передавали ей в собственность всю обстановку нашего «Феникса» до последней ложки и плошки, что она великодушно принимала в трети общего задолжания. Остальные две трети раскладывались на пятнадцать частей, по числу барышень ассоциации, сообразно времени, сколько каждая в ней работала, с погашением половиною будущих заработков в новом «Фениксе». Каждая должна была затем, когда Грунька получит разрешение от полиции, заключить с нею отдельное личное обязательство, со включением в него уже и своего частного ей долга по распискам!.. Если же которая-нибудь не захочет заключить такого обязательства и пожелает выйти из ассоциации, то должна заплатить сразу все, сколько за нею числится. Выходило как будто немного, особенно для недавних новеньких, которые поэтому первые, вслед за Нютой, и подписали обязательство. На мою долю упало 1875 рублей, что, вместе с моим частным долгом Груньке, составило кругленькую сумму до 4000 рублей.

Дело в руках Груньки закипело со сказочной быстротой. Разрешение она получила так легко, что и слепой разглядел

бы тут фортель, давно уже условленный с хорошо подкупленной полицией. Возможно, что разрешение уже лежало у нее в кармане, когда она с нами торговалась.

Еще прозрачнее вышло с помещением. Едва наше обязательство улеглось в Грунькиной шкатулке, как желанный дом отыскался, словно по щучьему велению, и Грунька немедленно, на другой же день, начала перевозить туда нашу мебель. Нинишь, Берта Жидовка и Дорочка Козявка отправились заглянуть на будущую нашу берлогу и возвратились очень изумленные, так как нашли совершенно заново отделанный, с трактирным шиком, особняк, в котором еще недавно помещался один из самых бойких публичных домов Петербурга, закрытый за смертью владелицы. Таким образом, мы перебирались на «наезженное место», что, конечно, не могло быть случайностью и обделано было не наспех, в роковую неделю нашего разгрома, а, по крайней мере, за два, за три месяца раньше, как показывал солидный и специально на «заведение» рассчитанный ремонт.

Непостижимо было, откуда Грунька, в конце же концов, только горничная в веселом доме, доставала средства на подготовку и осуществление своего, очевидно, давно задуманного и исподволь, втихомолку обработанного захвата. Это выяснилось только в далеком последствии, когда открылось, что за спиной нашей нищей и легкомысленной ассоциации незримо выросла и таилась другая «ассоциация», состоятельная и хищная, в которой Грунькин жульнический гений нашел и кредит широчайший, и властную поддержку. Когда «Феникс» превратился в шикарное «заведение», пайщиками в нем оказались и сводня Марья Алексеевна, и Грунькина сестра-кухарка, и Эстер Лаус, и какой-то меняла с Невского, и покровительствуемая Грассером антрепренерша, и несколько крупных полицейских чинов.

Не решусь утверждать, чтобы между ними был Е., но — что он оказался со всею Грунькиной компанией в теснейшей

дружбе, состоял у нее на жалованье и помог ей нас обработать, в том нет ни малейшего сомнения. Сам же потом в глаза Нинишке смеялся над тем, как напугал нас императрицей:

— Дуры! неужели ни у одной из вас не хватило мозгов сообразить, что если бы не то что императрица, а самая последняя ее камер-юнгфера моргнула мне на вас глазом, то я бы в ту же самую минуту вас законопатил в такие тартарары, где вы и света белого не увидели бы больше — так бы и передохли впотьмах?!

И, наконец, к числу бессознательных соучастниц надо отнести и нашу милейшую Нюту Ямочку, которой капитальцем Грунька распоряжалась, как своим собственным, пока вовсе его не зацапала.

Что говорить — умная пройдоха! Удивления достойно, как полуграмотная девка обвела вокруг своего пальца и заставила плясать по своей дудке столько разнообразнейших людей и все таких, которым тоже пальца в рот не клади. Всех заставила на нее работать и всех, в конце концов, обставила и, обставив, выставила. Уж на что шельма была антрепренерша, однако прогорела в каких-то аферах и умерла, разоренная, в очень тугих обстоятельствах. А Аграфена Панфиловна Веселкина в миллионе, и никаких пайщиков у нее в деле давным-давно нет. Всех слопала, даже полицейских. Е. она мало-помалу так запутала, какими-то такими документами на него раздобылась, что старик под конец жизни боялся ее больше, чем самого грозного начальства. Пикнуть не смел против Аграфены, хоть она там у себя в «Фениксе» с живого человека кожу сдери.

Общее наше обязательство формально недорого стоило, а книжки еще не были взяты и личные обязательства, за исключением Нюты Ямочки, немки Каролины да долговязой Эмильки Сажени, еще не подписаны. Многие призадумались пред последним решительным шагом.

В том числе и я, неожиданно оказавшись заодно с моим врагом, этой уличной безобразницей, Манькой Змеенышем.

Она теперь громко вопила, что подала за Груньку голос впопыхах, не разобрав дела, «как дура оголтелая», но скорее пойдет шляться по Сенной с полтинничными и ночевать в Вяземской Лавре, чем даст себя оседлать «безносой горняшке». Третьею присоединилась к нам еврейка Лия. Заколебались и наши «старухи», Марья Францевна с Идой Карловной.

Правду сказать, за исключением меня, которая считалась в ассоциации козырем, Грунька несогласными не очень дорожила. А от Марьи Францевны с Идой Карловной была прямотаки рада отделаться: особы заслуженные, но насмешники из гостей уверяли, будто Ида та самая еврейка, для которой Пушкин сочинил «Гавриилиаду», а Марья Францевна помнит, как на Сенатской площади бунтовали декабристы. Обе и сами понимали, что им пора на покой. К тому же и сбережения маленькие имели, так что работали больше по привычке, жалея признать свою разлуку с молодостью. Грунька разошлась с ними как-то очень ловко — вежливо и по чести, благо лично ей они ничего не были должны, а долг по ассоциации она им великодушно простила.

В переходные дни Грунька, хотя и нареченная хозяйка, была по-прежнему мила, любезна и разыгрывала смиренницу. Даже костюма не переменила: продолжала ходить горничной в передниках, величала нас барышнями и конфузилась, что мы начали говорить ей «вы». Но я уже раскусила эту птаху.

А тут еще как раз повстречалась в Гостином дворе с Перхунихой, хозяйкой дома свиданий на Большой Морской, и она мне порассказала много о закулисных Грунькиных махинациях, которые только мы, слепые, вблизи не замечали, а конкурентки издали давно их видели и предсказывали результат. Стала Перхуниха сманивать меня к себе. Раз, два, три и покончили. Она платит за меня долг и дает тысячу рублей на разживу, а я закабаляюсь к ней на работу экстерной сроком на три года, если раньше сама не выгонит. Грунька никак этого не ожидала, очень ее передернуло, когда я выложила перед

нею четыре тысячи, однако расстались мы любезно и дружелюбно. Собственно говоря, глупость я сделала, следовало бы поторговаться. Манька Змееныш и Лия отделались много дешевле. В Перхунихе я, по пословице, променяла кукушку на ястреба, но все-таки была довольна, что поставила на своем, не обрядилась в Грунькину узду, как прочие десять...

Господи! уж и платили они, платили Груньке этот свой долг дурацкий — по ассоциации-то и новому устройству. Я думаю, каждая раз десять его выплатила, прежде чем ее либо смерть взяла, либо Грунька выкинула за дверь, как старую, изношенную тряпку... Теперь в «Фениксе» первого состава уже никого не осталось, кроме Нинишки, да и та уже лет пять, как не в барышнях, а в экономках.

И вот подите же, Машенька, как меняются характеры. Барышнею Нинишь была бунтовщица, кипела протестом, мы ее социалисткой почитали, да и сама она воображала себя таковой. А экономкой оказалась прелютая: за всякую мелочь — штраф, штраф и штраф, и плетки не жалеет, и по щекам лупит. Хозяйкина правая рука, Веселкина ею не нахвалится...

— А Нюта Ямочка?

— С Нютою Грунька, не стану хаять, вела себя, насколько была способна, корректно и очень постоянно. Ограбить ее, конечно, ограбила, но лет семь тянули канитель, не расставались. И все время Грунька ее, как фарфоровую, в вате держала, на самой легкой работе, для отборных гостей. Но года три или четыре тому назад Нюта, в гололедицу, оступилась на тротуаре и сломала себе ногу, да так неудачно, что пришлось ампутировать. Теперь ковыляет калекою, где-то за городом. Говорят, будто ударилась в божественное, живет с каким-то заштатным попом, и оба они сочинили какую-то секту. Веселкина платит ей маленькую пенсию. Жаль Нютку. Хоть и немало зла она нам сделала своей слепой доверчивостью к Груньке, но, в сущности, была премилая женщина...

10

— Ну, а на новом-то месте, Катя, что же — так сразу и рухнула ассоциация?

Катерина Харитоновна окружилась облаком дыма, из глубины которого треском раскатился саркастический хохот.

— Ассоциация-то? О нет, не сразу. Правда, при переезде в новый «Феникс», барышни старого «Феникса» были очень изумлены, когда Грунька неожиданно представила им четырех незнакомых девиц, объясняя, что, так как, мол, из нашего состава выбыло пять барышень, то вот она пополнила, взяла этих...

— Позвольте, однако, Груня, как же вы могли это сделать, не обсудивши с нами? Вы права не имели!..

Удивилась:

— Разве? Ах я окаянная! Ну, вперед не буду, а на этот раз уж простите меня, дуру непокрытую, примите их в свою компанию. Девушки бедные, приезжие, куда им деваться? Вон из четырех только одна и по-русски-то тямит... Да и я, признаться, маленько оплошала с ними: много аванцу дала... Не пропадать же деньгам, пущай отрабатывают.

Одна из Грунькиных девиц — с языком — была балтийская немка, рижанка; остальные три, бессловесные, — шведка, финка и... негритянка, черная, как уголь, и с зубами, как клавиши фортепиано!.. Эту прелесть она выписала, тоже через одного рижского поставщика, из Гамбурга.

Ну что же, в самом деле? Fait accompli! * Не гнать же, в самом деле, несчастных на улицу!.. Пожали плечами, поворчали, что так нельзя, и примирились...

Однако покуда шло устройство, отлаживались формальности, получались книжки, составлялись и подписывались контракты, Грунька все еще была ангел. Упорно изображала из

* Свершившийся факт! (*фр.*)

себя приказчицу на отчете, отмахивалась от слов «хозяюшка» и «мадам», откликалась барышням на «Груню» и всячески лебезила, стараясь показать, что она помнит в себе вчерашнюю горничную и знает свое место. Только прислугу муштровала, зычно и сурово, что, впрочем, барышни очень одобряли. Потому что распущенную прислугу старого «Феникса» Грунька уволила, а новая, набранная ею, показалась барышням страшноватою. Мужчины — вышибального типа, каждый, того гляди, в семи душах повинится. Горничные — любую в тюремные надзирательницы либо сиделкою в дом умалишенных на бешеное отделение...

Когда Нинишь и Зизи сделали Груньке замечание, что ее люди уж очень зверовидны, она отговорилась, что иначе в этом переулке нельзя: соседство опасное, кругом публичные дома, могут быть скандалы от шляющихся гостей-шематонов, да и прямые нападения со стороны вышибал конкурирующих заведений и хулиганов, «котов» тамошних девиц.

— А теперь пусть-ка сунутся на моих верзил. Ишь, какие черти. Тумбы из мостовой выворачивают, ремни, словно гнилые нитки, рвут.

Однако и сама от них пришла наконец в ужас и однажды объявляет:

— Как хотите, барышни, а одной мне с этим архаровским народом не справиться. У меня на них все время уходит, некогда за домом присмотреть. Вы опять будете меня попрекать, что я своевольничаю, а все-таки извините, я взяла — хотите, назовите помощницу, хотите — экономку... Не бойтесь, не чужая, старая знакомая, — прошу любить да жаловать...

И вводит — кого бы вы думали? Красноносую Эстер!.. А за нею по пятам, робко выступая, потупив головку, плетется неизменная и неразлучная Дунечка Макарова, со своим драгоценным дневничком в кожаной сумочке.

Барышни онемели, переглядываются, не знают, что сказать, как начать. А Грунька поет:

— Вот как, право, хорошо! Теперь мы совсем по-старому, в нашем любезном канплехте!

И опять, конечно, как всегда, Нютка предала. Моргнула ей Грунька, — она встала с места и пошла навстречу.

— Здравствуй, Дунечка! Здравствуйте, Эстер Александровна! сердечно рада вас видеть...

Понимаете? Сразу тон дала: подружке-барышне «ты», экономке, как начальнице, «вы»... И расцеловалась... За нею, понятно, все потянулись овцы овцами... Ни одна словечка не возразила...

Наконец все было оформлено, закреплено, то есть правильнее сказать будет, закрепощено. До того времени новый «Феникс» торговал мало, исподволь, под сурдинку. Теперь Грунька предложила устроить торжественное открытие с балом, оркестром, гостями по приглашению. Барышням затея очень понравилась. Но вот тут-то и разыгрался знаменитый Грунькин скандал с Бертой Жидовкой. Штучка, которая запомнилась на десять лет!

Берта, — еврейка, как вы слышите из прозвища, — была из хорошей одесской семьи, а погибла в довольно обыкновенном для евреек порядке: выдали ее по шестнадцатому году замуж за проезжего фрайера, который слыл спичечным фабрикантом, а на деле вышел самозванцем, жуликом, агентом по живому товару. Прелестный супруг увез Берту в свадебное путешествие и в Константинополе продал ее в публичный дом.

К счастью, на первой же неделе ее там пребывания среди гостей оказались русские моряки, выкупили бедняжку из неволи. Один влюбился, взял Берту на содержание. Когда его лодка ушла, Берта перешла к атташе какого-то иностранного посольства. Этот вскоре получил назначение в Петербург и Берту перевез с собою. Как еврейка, Берта проживать в столице не могла. Но, воображая, что ее дипломат рано или поздно на ней женится, она, в этом расчете, сделала величай-

шую для еврейки глупость, — выкрестилась. Право жительства приобрела, родную семью потеряла.

Из Одессы ей приказали позабыть, что у нее были отец, мать, братья и сестры. Позабыла. С дипломатом же у нее пошли нелады, и, когда его перевели еще куда-то, чуть ли не в Рио-Жанейро, он Берту с собою не взял, и любовники расстались без всякого удовольствия. Берта осталась на бобах, поселилась в меблирашках и начала работать на маленький полуфранцузский дом свиданий в Эртелевом переулке. Здесь она познакомилась с Нинишь Брюнеткой и с Толстой Зизи и, когда они затеяли «Феникс», вошла в ассоциацию одною из первых.

Берта была настоящая библейская красавица, но характерец — ой-ой-ой! Гордячка ужасная и вспыльчивая, как порох, а в горячности себя не помнит. Вот в вечер открытия, одевая Берту к балу, одна из этих тюремных морд, которых Грунька набрала в горничные, что-то уж очень грубо сневежничала. А Берта, вспыхнув, с сердцов, возьми да и ткни ее булавкой в грудь. Девка завопила, что пойдет жаловаться хозяйке. А Берта закусила удила — хохочет:

— Это Груньке-то? Напугала! Ужасно как страшна мне твоя безносая Грунька! Плевать я хотела на Груньку!

И вдруг перед нею вырастает, как из-под земли, сама Грунька. Но уже не горничною в передничке, а в полном хозяйском параде и величии: зеленое бархатное платье декольте и с треном, на голове ток, в ушах брильянты, на шее жемчужное колье, между грудями фермуар болтается, руки чуть не до локтя в браслетах: живая выставка наших заложенных и просроченных вещей! А за нею Эстер и другая тюремная морда-горничная. И не успела Берта опомниться, как Грунька со всего размаха хвать ее по щеке. Берта — с ног долой. А Грунька приказывает:

— Взять эту тварь, раздеть до рубахи и посадить до утра в темный чулан.

Берта вскочила было, — и сама на нее с кулаками:

— Грунька! да ты что? пьяна или сбесилась?

А та опять ее — рраз!

— Это, — говорит, — тебе затем, чтобы ты запомнила раз навсегда, что никаких Грунек тут нет, а есть твоя хозяйка Аграфена Панфиловна, мадам Веселкина, которая вольна тебя заставить ей ноги мыть и эту воду пить. А за то, что ты смела в моем доме буянить и мою прислугу изувечила, получишь еще и еще... Дайте-ка ей, девушки, хорошего раза!

И избили тут горничные Берту до того, что она чувства потеряла и в обморок впала. А Грунька с Эстер стояли и смотрели. А потом Берту раздели, отнесли в чулан и заперли. В чулане, впрочем, пробыла она недолго. Нюта Ямочка узнала — расплакалась, стала перед Грунькою на колени, руки целовала, умолила выпустить. И вовремя, потому что Берта уже рубаху на себе разорвала и полоски в веревку вила, чтобы удавиться.

Конечно, барышни пришли в волнение, возмутились, — бунтовать! бунтовать! Но время было уже позднее, пришел оркестр, начали съезжаться гости, заработали спальни и буфет. Не портить же было открытия забастовкою или общим скандалом. Отложили объяснение с хозяйкой на завтра, а покуда только — бойкот молчания. Работать исправно, будто ни в чем не бывало, но ни с Грунькою, ни с Эстер — ни одного слова иначе, как по делу, — чтобы чувствовали надвигающуюся грозу. Но тем, само собою разумеется, бойкот их — как с гуся вода.

Да и не выдержали. Нютка наотрез отказалась:

— Чтобы я с Грушей поссорилась? Да ни за какие миллионы!

Дунечка Макарова при одной мысли прогневать Эстер позеленела и затряслась, как осиновый лист. Финка, шведка и негритянка, ничего не понимая, только глазами ворочали. А рижская немка находила, что барышни напрасно вол-

нуются, не случилось ничего особенного: хозяйка в своем праве, — я, дескать, в третьем заведении живу... так ли еще бьют! Аня Фартовая и Эмилька Сажень, две дылды, как столбы верстовые, обещались и — струсили. А Саша Заячья Губка и Дорочка Козявка, кажется, и пошептались немножко в задней комнатке, если не с самой Аграфеной Панфиловной, то с Эстер Александровной, понаушничали малую толику...

Открытие удалось на славу, а ужин барышням Грунька закатила такой благодатный, с устрицами, с шампанским, что очень значительная доля их негодования потонула в бокалах и в стерляжьей ухе.

11

Назавтра, однако, попробовали, как Нинишь настаивала, «разобраться в инциденте и отстоять поруганные права».

Сперва налетели на Эстер. Но та только пожимает плечами да делает изумленные глаза:

— Позвольте, барышни, я-то при чем? Хозяйка я здесь, что ли? Я женщина служащая. Что мне Аграфена Панфиловна велит, то я обязана исполнить, потому что получаю от нее жалованье и проценты. Велела посадить Берту в чулан, — я посадила. Велела выпустить, — я выпустила. И всегда так будет. А вам я решительно никаким отчетом не обязана. Говорите с хозяйкой.

Окружили хозяйку.

— Что это вы себе позволили с Бертой? Мы не позволим, это тиранство! так нельзя!

А Грунька оглядела их королевой и говорит:

— А какое вам дело до Берты? Берта моя девушка, она мне обязанная, я ей хозяйка. Стало быть, и наши с нею счеты — между нами двоими, а третьего игрока под стол. Вы вот суетесь в воду, не спросясь броду, а не знаете того, что Берта-то

умнее вас. Она у меня прощения просила, и мы с нею помирились, и я ей хороший подарок сделала. Глядите-ка лучше каждая за собою, чтобы не шкодить и не вводить меня в сердце. Сейчас я с вами обращаюсь по всей деликатности, как с барышнями, а вздумаете шебаршить и лезть, куда не спрашивают, узнаете, как трахтуют девок. Вы все мне обязанные, а кто попробует меня не слушать и заводить в моем дому беспорядок, получит хуже Берты. А ежели вы еще раз позволите себе этак напирать на меня скопом, то на кухне у меня сидит сыщик от полиции, а на улице перед домом ходит городовой. Позвоню по телефону в участок, что вы не повинуетесь хозяйке и республику заводите, — тогда учить вас будет уже не моя прислуга, а придут городовые с резиною... Поняли? Ну и марш по своим комнатам, и чтобы больше никаких разговоров! Я знаю, что делаю, попусту никого не обижу, а за вину, — уж не взыщите, — спуска не дам. Ежели чем недовольны, харчами ли, одежою, обувью, прислугою, друг с дружкою ли нелады, жалуйтесь Эстер Александровне: она на то и поставлена, чтобы держать дом в порядке. Но сходок и сговоров — ни-ни-ни! В особенности, ты, Нинишка, смотри у меня! Книжек начиталась, со студентами язык навострила, социалистку из себя кривляешь, — берегись! А ты, Нютка, плакса, тоже не изволь приставать ко мне заступницей... Адвокат какой выискался! Самой ушонки оборву!

12

— Вот дьявол! — вырвалось у Марьи Ивановны.

Катерина Харитоновна, в дымном облаке, пожала плечами.

— Да, не ангел... Хотя все относительно в подлунном мире... Например, в сравнении с нашей Буластихой...

Марья Ивановна содрогающимся движением ужаса и отвращения прикрыла глаза пальцами обеих рук.

— Ну, уж об этой что же... Буластиха не женщина, а гиена на задних лапах...

— Правильно сказано. А вот — смотрите — разница. Буластиха гиенствует изо дня в день, из часа в час, годы и годы, но в деле у нее нет ни порядка, ни дисциплины. Есть только хаос панического страха пред взбалмошной бабой, способной ни с того ни с сего вызвериться, как бешеная собака. Посмотрели бы вы, какая поголовная шкода начинается у вас в корпусе, когда в отлучке строгий Федосьин глаз! К плюхам-то притерпелись, а глупое тиранство дразнить — лестная забава. Риск — благородное дело: конечно, если попадусь, то ты, ведьма, с меня шкуру сдерешь, но попадусь ли, нет ли, это бабушка надвое говорила, а уж штучку-то тебе назло я отмочу, голубушка, отмочу!.. Вот я вам рассказывала, как довела Буластиху до того, что она меня мало-мало утюгом не убила, — и ничего... При Федосье я так не посмела бы, да и не захотела бы... И с Веселкиной тоже... У нее, кроме того истязания, которое я вам рассказала, мне известны за десять лет еще только два случая действительно жестокого бойла... И надо признать правду, что в обоих случаях барышни были безобразно виноваты... А между тем заведение Веселкиной идет, как безупречно выверенная машина... И уж что она приказала, не беспокойтесь, будет исполнено точка в точку, потому что боятся ее гораздо больше, чем мы Буластихи, даром что у этой чуть не каждодневные расправы, каких у той выпадает одна в пять лет...

— Почему, Катя?

— Потому что... Как бы вам сказать?.. Там, где с одной стороны — тиранство, а с другой стороны — рабы, важно не то, чтобы тиран, в самом деле, был свиреп, но чтобы рабы знали и помнили, как он может быть свирепым, если захочет... Ну и, зная и помня, старались бы, чтобы не захотел...

— Рабы... — тяжко вздохнула Лусьева. — Этакое же проклятое слово, клеймящее... Прилипло к нам, и не отлепить...

— Ныне, и присно, и во веки веков, — холодно согласилась Катерина Харитоновна.

— И все-таки, Катя, как хотите, а я вам завидую, что вы были в оппозиции «Феникса»... Как никак, а попробовали, хотя бы и в проституции, свободно быть хозяйкою своего тела и сама себе госпожой... Жаль, что так плохо кончилось...

Катерина Харитоновна села перед нею на стол, превратила вокруг себя дымное облако в густую тучу и изрекла, подобно пифии с треножника:

— А разве могло кончиться иначе?.. Ассоциация, корпорация, кооперация, организация... не для нас, русской бестолочи, Маша!.. Слыхали вы сказку, как зверушки поселились общежитием в лошадиной голове?

— Не помню... а что?

— Да... прилетел комар-пискун, прилетела муха-горюха, приполз жук-тропотун, прибежала мышка-норушка, прискакал зайчик-косоглазик, набралась зверья полная лошадиная голова... Живут и блаженствуют. И вдруг — тук-тук! вопрос басом: «А кто в терему, а кто в высоком?» — «Я комар-пискун, я муха-горюха, я жук-тропотун, я мышка-норушка, я зайчик-косоглазик... а ты кто?» — «А я Мишка-медведь, всех вас давишь!..» Сел толстым задом на лошадиную голову... и от звериного общежития осталось только мокрое пятно!

— Невеселая сказка, Катя!

— Но, увы, Маша, к сожалению, вечная... неизбывная русская сказка, Маша!

LIII

Дружбы между Лусьевой и Катериною Харитоновною не упрочилось. Кто-то из женщин или из прислуги нашептал что-то Федосье Гавриловне, и она остервенилась против новой Машиной приятельницы, как лесной зверь. Целую неделю

выслушивала Маша от бушующей покровительницы попреки неблагодарностью, претерпевала жестокие сцены, а когда дерзала огрызаться, бывала и бита... Зато слова и советы Катерины Харитоновны крепко запали в душу девушки. Долго размышляя, взвешивая свое настоящее положение и возможное будущее, она пришла к убеждению, что Катерина Харитоновна права.

— Хуже, чем я живу, не бывает. А если пройдет моя красота или схвачу я болезнь, мне отсюда все равно одна дорога: на панель либо в публичный дом… Если уж загублена я и не видать мне порядочной жизни, так хоть вырваться бы на свою волю...

— Катерина, наверное, сбивала тебя на волю? — пытала Лусьеву под дружеским секретом «Княжна».

— Да, говорила... — нерешительно подтвердила Маша.

— Уж, конечно... Это она всем проповедует, к которым чувствует симпатию. Сама увязла, как свая, вбитая в болото, а других спасать охота. Что же? Советы ее неглупые. Права.

— Ты находишь?

— А ты — нет?

— Я не знаю... теряюсь... Если ей поверить, то выходит, что самое страшное совсем не так страшно… Но тогда уж очень досада и горе берут: зачем же, как же мы из-за этого страха всю жизнь-то свою изломали?

— Судьба, милый друг! — вздохнула «Княжна». — Все судьба. Играет она людьми-то. А Катерина права!.. Ах, если бы не кандалы мои, я и сама бы бежала!..

— Что ты называешь кандалами?

— Титул мой, дружочек!.. Как там не прикладывай, а нельзя княжне жить и на докторские осмотры являться… скандал всероссийский… родные… однофамильцы… Мне жить не дадут в Петербурге!.. Нигде в России!.. Затравят… А, пожалуй, даже еще и отравят, чтобы освободить родословное де-

рево от червивого яблока!.. Поддержать, когда я поневоле с голода в грязь катилась, никто из них меня не поддержал, а когда я в грязи, всякий, кто про грязь мою знает, меня в нее еще глубже топчет!.. Кроме того, мы и сами скоро уйдем из жизни, — я и Артамон. Мы и теперь ушли бы, да у Артамона еще не добран капитал, по его расчету. Года через полтора, — он предполагает, — мы можем жениться, купим дом в Харькове и откроем аукционный зал... Ну, а сейчас надо еще работать — добирать капитал.

— Но почему же работать непременно у Буластихи, которая отбирает почти все деньги в свою пользу?..

— Нет, у нас особый уговор: я в трети, помимо подарков.

— Все-таки!

— Говорю же тебе: меня, бедную «Княжну», на своей воле сейчас же затравят. А то еще упрячут в желтый дом. Помочь родне, когда крайняя нужда, — у нас нет денег, мы не хотим «злоупотреблять влиянием»; но чтобы поместить в дом сумасшедших «позор семьи» и платить за содержание «позора», лишь бы не выплыл на свежую воду, на это и протекция, и капитал сразу найдутся...

— А ты не откладывай, выходи замуж за Артамона теперь же: вот и перестанешь быть «Княжною», а когда ты потеряешь фамилию, твоей родне уже не может быть до тебя никакого дела...

Мертвое рыбье лицо «Княжны» слегка оживилось и покраснело.

— Ты Марья Ивановна, не понимаешь, что говоришь. Неужели ты воображаешь, что когда я выйду замуж, то позволю себе продаваться как сейчас? Нет, милый друг мой: я свое прошлое перед церковью оставлю... из-под венца выйду чистенькою, — Господи, благослови в новую жизнь! — чтобы о былом сраме не было и помина *). Так у нас угово-

*) Ломброзо, 455, 456. Cutrera, 24.

рено и с Артамоном, а то — зачем бы и замуж идти? Он ведь очень солидный и справедливый человек, Артамон, хотя и любит деньги до страсти... Разве ему по таким должностям служить?.. А затем...

«Княжна» широко и стыдливо улыбнулась, обнажая больные зубы и белые десны.

— Ты думаешь, я не вижу себя в зеркале? Я, дружочек, прелестями своими не обольщаюсь и очень хорошо знаю: в тот день, когда я перестану быть княжною Ловать-Гостомысловою и сделаюсь просто госпожою Печонкиною, цена мне — рубль серебра в глухие сумерки... Этак, пожалуй, никогда капитала не доберешь. Нет уж, — покуда что, пускай сиятельность проценты приносит: острижем с нее купоны, тогда и выбросим ее за окно... А что я нехороша собою, представь себе, мой друг: как много я плакала о том, когда была молоденькою девушкою, так сейчас очень рада. По крайней мере — гарантия, что уж назад в эту жизнь мне хода нету, какие бы ни приказывали нужды... И сама не пойду, и мужу искушения нет — заставить, чтобы шла. Не гожусь! Знаешь ли? Это совсем особое наслаждение: сознавать, что не годишься для пакости... Этим я много счастливее вас, красавиц. Вы — живой товар целиком, сами по себе, а во мне товару — только титул!

Мысль о бегстве назойливо тревожила Машу несколько недель, но в этот срок, разозленная сплетнями о Катерине Харитоновне, Федосья Гавриловна сторожила девушку, как ревнивый дракон, а там, — впечатление сгладилось, улеглось, пассивная натура Лусьевой опять вошла в колею рабства. К тому же в скором времени ей стало гораздо веселее, потому что женский состав «корпуса» значительно изменился, и кроме грубой, противной, бесстыжей Антонины, глупой Нимфодоры и скучных немок, новыми подругами Лусьевой оказались былые «рюлинские» приятельницы, Жозя и Люция.

Появлению их в буластовском доме предшествовал утренний визит к Прасковье Семеновне Адели, которую Маша

не видала уже два года. О приезде ее шепнула Лусьевой горничная. Маша, в радости, сорвалась с постели, как бешеная, и ринулась искать старую знакомую по всем комнатам. Но Адель была у хозяйки, а на половину Прасковьи Семеновны, как в некое святая святых, женщины, которыми она торговала, не допускались строжайше. Грозная дама так хорошо знала окружающую ее всеобщую ненависть рабынь и прислуги, что даже горничными лично при себе держала двух своих племянниц, слепо преданных ей, безобразных, но страшно сильных физически, девок с Белого озера. Одна из них на ночь ложилась, как верная собака, у порога спальни, другая — на ковре подле кровати, — только тогда Прасковья Семеновна почитала свой опочив безопасным и спала, не робея, что которая-нибудь из благородных «воспитанниц» перережет ей, сонной, горло...

Свидание Адели с Буластовой продолжалось очень долго, часа три. Наконец Маша подстерегла Адель, уходящую, в большом зале, и, хотя гостью с почтением провожала сама Буластова, девушка не вытерпела, — забыла всю субординацию, так и бросилась:

— Адель! Милая! Вас ли я вижу? Как я счастлива!

Адель за два года переменилась неузнаваемо: совсем другой человек, величественная матрона какая-то...

— Здравствуйте, Marie... — благосклонно и свысока, как принцесса, изрекла она, протягивая Лусьевой руку, затянутую в черную перчатку. — Я тоже очень рада вас видеть.

— Ах, Адель!.. — восклицала Маша, хотя и несколько смущенная слишком сдержанною встречею.

Адель чуть-чуть улыбнулась строгим лицом.

— Не зовите меня так, Marie. Адели больше нет на свете. Есть Александра Степановна; сегодня еще Степанова, завтра Монтраше!..

— Вы выходите замуж? за вашего Этьена, не правда ли? Ах, поздравляю вас! Ах, как это хорошо!

На вопросы и восклицания Маши Адель важно и снисходительно кивала головою.

— Вы, дорогая Прасковья Семеновна, — обратилась она к Буластовой, — позвольте мне поговорить с Марьею Ивановною несколько минут?

Та, начинавшая было уже поглядывать на Лусьеву зверем, мгновенно расплылась в масляную улыбку.

— Ах, душечка, Александра Степановна! Да хоть целый день! Разве я моих барышень стесняю? Для такой-то дорогой гостьи...

И она павою уплыла в свои апартаменты.

— А ты, Люлюшка, — сразу переменила тон Адель, проводив Буластову взглядом, — умнее не стала... Дисциплины не понимаешь! Разве можно было так бросаться ко мне? Хозяйки — народ ревнивый... этого не любят! Если бросаешься на шею к старой хозяйке, значит, у новой жить нехорошо... Смотри! Она тебе припомнит!..

— Ну их всех тут совсем! Пускай! Притерпевшись!.. Уж очень я вам обрадовалась! Да дайте же поцеловать вас... гордая какая стала!.. Ведь я никого с тех пор не видала из наших... понимаете, никого!

— Скоро многих увидишь, — утешала Адель, благосклонно расцеловавшись с Лусьевой. — К Прасковье Семеновне переходит значительная часть дела покойной Полины Кондратьевны...

— Ка-ак вы сказали? — охнула Маша. — Полина Кондратьевна умерла?

— Скончалась... Разве ты не видишь, что я еще в трауре? Да, Marie! Не стало нашей благодетельницы!

LIV

Маша была так поражена, что пропустила мимо ушей титул благодетельницы, не слишком-то, в отношении ее, подходивший к старой «генеральше». Адель продолжала:

— И, представь, как странно она умерла: от радости. Она сорвала банк в Монте-Карло... Умница старуха! Такая оказалась на этот раз благоразумная: перевела выигрыш в Петербург... И тотчас же телеграфировала мне: «Встречай, завтра выезжаю». А дня через три пришла полицейская телеграмма из Берлина: «Ваша родственница, Полина Рюлина, постигнутая в вагоне курьерского поезда апоплексическим ударом, помещена нами в Moabitenasyl *, положение безнадежное». Конечно, я сейчас же собралась и помчалась в Берлин. Застала уже при последнем издыхании... Да! Сколько неудач перенесла, а вот удачи не выдержала!.. Очень грустно, конечно. Но всем надо умереть, а она была уже близка к семидесяти.

— Вы теперь богачиха, Адель! — поздравила Маша.

— Да, этот выигрыш и ликвидация дела дают мне недурные средства, — спокойно согласилась Адель. — Мы сейчас покончили с Прасковьей Семеновной относительно обстановки и прочего... Эх, Люлю, бедняжка! Если бы ты оставалась еще у нас! Теперь была бы свободна!.. Все насмарку! Понимаешь? Все!

— Бывает счастье, да, видно, не для нас! — пробормотала бледная, с мучительно сжавшимся сердцем Маша.

Адель оглянулась, не подслушивает ли кто, и, выразительно глядя в глаза Лусьевой, сказала тихо, но внятно:

— У вас тут есть одна... Катерина Харитоновна... Знаешь? Ты с нею посоветуйся... рекомендую!

Маша встрепенулась и насторожилась.

— Я уже говорила...

— Тем лучше. Баба умная, слова на ветер не скажет, когда не пьяна. Жаль, что это с нею редко бывает... Ну, а теперь — до свиданья или, правильнее будет, прощай! В Монпелье ты вряд ли попадешь; а я в Петербург не скоро... пожалуй, что и никогда. Ну его к черту!

---

* Моабитский приют (*нем.*).

— Постойте... подождите... минуточку!.. — цеплялась за нее Маша. — Ну, — а Ольга — что? Как она поживает?

Адель слегка поморщилась.

— Ты о какой Ольге? О Брусаковой, что ли? Об Эвелине? Ну да, конечно! Я забыла! Ведь вы друзья были, как два попугая... inséparables... * Ну, с нею плохо!.. Пакет ее я, конечно, уничтожила, но ей от того не легче. Она в Швеции, в лечебнице для алкоголиков...

— Боже мой!.. — ахнула Маша.

— Безобразно пить стала... — брезгливо говорила Адель. — Две белых горячки в зиму. Фоббель был деликатен: отправил ее в лечебницу на свой счет... Конечно, очень благородно с его стороны... А впрочем, кто же и споил ее, как не он? Вместе в охотничьем домике чертей по стенам ловили... «Студент» отравился. Слышала? В газетах писали.

— Нет... Совсем, значит, с ума сошел?

— Кто знает? Он в «Аквариуме» был с Ремешкою... Вдруг подходит к ним какой-то господин. Смотрит на «Студента» в упор и говорит: «Так вот ты где? Ловко!..» «Студент» побледнел, а господина — как не бывало: пропал в публике. «Студент» говорит Ремешке: «Ты — как хочешь, а мне здесь оставаться больше нельзя...» И уехал в город. Вернулся Ремешко поутру домой, а «Студент» лежит под письменным столом, уже холодный: «Жить надоело. В смерти моей прошу никого не винить...»

— Поди, хлопот-то, хлопот вам было?

— Нет, ничего... Конечно, неприятно, но — могло быть хуже. Если бы его проследили, тогда — действительно — история была бы. А тут — что же? Жил был титулярный советник и дворянин Иван Лазаревич Войков, и пришла ему фантазия покончить свое существование посредством цианистого кали... Свалили на несчастную любовь. Жозька пе-

* Неразлучные *(фр.)*

ред следователем трагедию распустила, будто из-за нее... Ну и квит. Только паспорт погас.

— Кто он был, Адель?

— Ну, душенька, об этом я и сама не все знаю, а — что знаю, постараюсь хорошо позабыть.

— Я думала, что теперь, когда мертвый, можно...

— Есть, Люлю моя милейшая, такие сокровища, что и мертвецам опасны. Полина Кондратьевна отчаянная была, что «Студенту» пристанище давала... Рано или поздно из-за него всем нам крышка была бы. Долго еще этот страх мне мерещиться будет. Молодчина «Студент», что отравился! Жил свиньею, но умер хорошо.

— Господин-то в «Аквариуме» кто же — сыщик, что ли, был?

— А черт его знает! Нет, — если бы сыщик, то на месте арестовал бы... Скорее, не из товарищей ли старых? От этой публики, если клещом прицепится, можно схватиться за цианистый кали пуще, чем от сыщика.

— А «Графчик»?

— Его в ту пору, к счастью, уже не было в Петербурге. С ним нам давно расстаться пришлось: очень обнаружился... из провинции слухи доходить стали... Теперь он в Египте живет, в Порт-Саиде «дом» держит... Воображаю этот вертеп!

— Так что вы дотягивали дело с одним Ремешкою?

— Да, с твоим Ремешкою. Ну, этот в огне не горит, в воде не тонет, и, конечно, везет каналье. Обрел в Мариенбаде набобшу какую-то... рожа — на всех зверей похожа, но деньжищ куча... Женится и навсегда в Австралию перебраться намерен.

— Господи! Куда только таких людей не бросает!

— Да. Супруга ему титул покупает у португальских графов каких-то... Мы с ним разошлись по чести, приятелями. Этьен даже парфюмерию свою жене его поставлять будет...

Марья Ивановна вспомнила, как покойная Рюлина не соглашалась отпустить Ремешку из крепостной зависимости документам ее даже за пятьсот тысяч, и повторила:

— Но какая же вы теперь должны быть капиталистка, Адель!

Адель пропустила ее восклицание мимо ушей, видимо, не желая разговора о средствах своих, и продолжала:

— А граф Иринский умер. Уже давно. И — как скверно, старый подлец! Представь: у него нашлась какая-то бедная кузина, а у той дочь, девчонка лет одиннадцати, — херувим вербный. Старикан увидел и обомлел, а кузина сообразила накрыть нашего достопочетного хорошим шантажом. Поторговались они, сколько прилично, сперва обиняками, потом начисто. Наконец кузина соглашается, назначает: приезжайте в шесть часов вечера... я уйду ко всенощной и прислугу ушлю... Тот, глупая мумия, в восторге, прикатил, ног под собою не чует... А кузина — в чулан засела, свидетелей припасла. Ну... слышит небольшая, но честная компания: визжит девчонка не своим голосом, благим матом... Бегут, торжествуют: вот сейчас накроем! А та, знай, вопит из своей комнаты. И слышно по голосу, что не притворяется, как велено, а уже в самом деле. Дверь заперта... Сломали дверь... Граф-голубчик сидит на стуле, зубы вставные ощерил, буркалы белые выпучил и дыхания в нем — ни на мертвого кота! А девчонка в угол прижалась, тоже вся синяя стала, волосы дыбом, заревелась от страха... Кузину эту потом из города выслали, однако сорвать успела; говорят, наследникам стоило тридцать тысяч, чтобы не разглашала скандала. Полине Кондратьевне, по завещанию, граф ни копейки не оставил, только фарфоровые часы старинные: Дафнис и Хлоя... или что-то еще нежнее! Чувствительный старичок! Да черт с ним! Мы были рады и тому, что он протянул ноги не у нас в доме. Ведь этого давно надо было ожидать. Он, знаешь, все молодился, средства принимал различные... Это даром не проходит! Ну, прощай! Не поминай лихом!

— Прощайте, Адель, милая!.. Будьте счастливы... Дай Бог вам и Этьену!.. Прощайте!.. — печально твердила девушка, провожая ее на лестницу.

Она бы и вниз, на подъезд, за Аделью пошла, но сильная рука придержала ее сзади за локоть.

— Ну уж это, девушка, тпру... Нельзя! Самим нужна! — смеясь, не пустила ее Федосья Гавриловна.

Внизу тяжело хлопнула дверь... Адель навсегда исчезла из жизни Марьи Лусьевой. Почему девушке было грустно, она сама и не знала: кроме нравственной погибели, закабаления, предательства, бессовестной эксплуатации и суровой силы, она от Адели ничего не видала... Однако, к всеобщему и собственному изумлению, вздыхала, хмурилась, хандрила и чуть не плакала несколько дней. Должно быть, всегда неприятно, когда вместе с человеком отходит от нас целый период прожитой жизни — жаль терять свидетеля молодости, лучшей, чем текущие дни, будь свидетель этот даже бывший враг... В другое время Маше сильно досталось бы за ее «мехлюдию», но Буластиха и Федосья Гавриловна были уж очень в духе: они обстряпали с Аделью выгодное дельце.

Адель сообщила Маше неполную правду об уничтожении «пакетов». Решив ликвидировать опротивевшее дело, она просто предложила всем данницам Рюлиной единовременный дешевый выкуп. Те, которые были в состоянии заплатить назначенные суммы или обеспечить их надежными векселями, действительно, получили свободу. Несостоятельных она полуосвободила, оставив у себя их «пакеты» — до выплаты уговоренных сумм, а до тех пор закабалив их в распоряжение Перхуновой и Юдифи. Буластова осталась верна своей антипатии к «пакетам» и в эту операцию больше не вступала, зато она задешево скупала мнимые «долги» тех женщин, которые работали при Рюлиной добровольно и, со смертью своей повелительницы, не собирались отстать от промысла тайною проституцией. В том числе оказались Жозя и Люция.

LV

Маша была рада старым подругам, нимало не претендуя, что очень скоро новенькие для буластовской клиентуры, шикарные «рюлинские» немного оттеснили ее на задний план. Маскоттою корпуса сделалась Жозя, разжиревшая за два года, как гаремная одалиска, и обнаглевшая до хамства *). Калашниковская пристань и Гостиный двор заболели поголовною влюбленностью к веселой и разбитной особе, — она слыла за приезжую польскую графиню! — и прониклись чрезвычайным уважением к Люции, с ее классическою способностью наливать себя спиртными напитками в совершенно оголтелом количестве, по востребованию. Величавой русской красоты своей Люция, хотя и порядком обрюзгшая, еще не утратила, но голос уже сорвала и день свой начинала лафитным стаканчиком водки натощак. Из нее вырабатывался тот тип русской алкоголички, что — хотя море выпьет, вдребезги пьяна не будет, зато и совершенно трезвою никогда не бывает, словно проспаться времени нет. Оглупела она страшно, курила, как солдат, походя ругалась и со дня на день опускалась в циническое неряшество **).

— Права была Рюлина, душка! — шептала Маше Жозя, — не следовало бы Люции из черного тела выходить... Какая она была очаровательная там, когда горничною: платьице бордо, фартук белоснежный... А теперь в грязных капотах этих, в туфлях на босу ногу... халда халдою!..

— Споил Фоббель, швед проклятый!.. — жаловалась сама Люция в минуты посветлее. — Что Эвелину, что меня. Ту ума решил, а мне нутро испортил.

— Разве у тебя болит что-нибудь?

— Ничего не болит, а разбитая я вся... Ногою, рукою двинуть лень... И — ровно камни во мне накладены...

---

*) Ломброзо, 280, 281. Parent Duchatelet

**) Parent Duchatelet, 135—137.

— Ненадежная девка! — по секрету, в ночи, объясняла Маше Федосья Гавриловна. — Ты не смотри, что она буйвол с фигуры и рожа треснуть хочет. Это ее печонка вздувает, как опару, — печень жиром прорастает... Слышишь, — одышка-то у нее? Что твой паровоз. И — вот подует ее этак годика полтора, а потом однажды пойдет у нее кровь носом, пойдет кровь горлом... Ну, и — аунюшки-Дунюшки! Это уж, стало быть, жир задушил: через месяц пожалуйте в Смоленскую вотчину, в Волково имение, к старосте Митрофанию... Наша-то уже сообразила, что покупка не прочна. Оттого и пущает ее и в хвост и в гриву: отдыха не дает, — торопится выжать, что больше... *)

Действительно, Буластиха заставляла Люцию «работать», как обреченную на убой, — без жалости, без совести, давая ей отдых разве лишь тогда только, когда не бывало вовсе никакого спроса на товар.

Обыкновенно в заведениях Буластихи женщины быстро обзаводились постоянною клиентурою посетителей, в цепь которой случайный гость врывался сравнительно редко и являлся в ней не слишком желательным не только для женщины, но даже для самой корыстолюбивой хозяйки. Дескать, — дохода от этаких метеоров на сто рублей, а хлопот с ними на тысячу. Да еще, не ровен час, подсунется, под видом «понта», доносчик, газетный корреспондент либо какой-нибудь ретивый спасатель, с возможностью скандальной огласки.

Собственно говоря, Буластиха мало таилась своею професcией, совершенно ее не конфузилась и скандала, как препятствия к дальнейшей торговле, не особенно боялась, чтобы не сказать: не боялась вовсе. С полицией она была в наилучших отношениях, расплачивалась с блюстителями и натурою, т.е. телом закабаленных рабынь **). Годовой оборот Буластихи

*) Ломброзо, 417. Кузнецов, 21—23

**) Рубиновский, 22—23

надо было считать во многие сотни тысяч, но добрую треть огромных сумм этих, а то и больше, отстригало полицейское мздоимство. Конечно, Буластиха была уверена, что полиция никогда не захочет потерять в лице ее курицу, непрерывно несущую золотые яйца, а потому, что бы ни случилось, сумеет не выдать ее ни суду, ни печати, ни даже собственному начальству — высшей администрации, будто в ней найдется такой Аристид, что сам не берет.

Но каждый гласный скандал обходился Прасковье Семеновне безумно дорого и хлопотно, как почти непосильная экстра: надо было сыпать деньгами, угощать, устраивать бесплатно дорогие вечеринки и оргии, терпеть, не в очередь, и без того унизительную зависимость и безграничное полицейское хамство. Рюлина, защищенная аристократическою титулованною клиентурою, платила полиции очень крупные и тонкие взятки, которые застревали где-то на верхах, но «плевать хотела» на мелкую полицейскую сошку. Когда она проезжала своею улицею, околоточные вытягивались во фронт, участковый пристав почтительнейше козырял. Сунуться с вымогательством в доме, где рискуешь налететь — хорошо еще если только на графа Иринского, а то, не ровен час, и на такую высокопоставленную особу, что и сам-то граф Иринский не смеет при ней сесть без приглашения, — было для форменного серого пальто с светлыми пуговицами предприятием дерзости наглой, почти невозможной. Но к гостинодворской Буластихе и ее подручным «хозяйкам» ломился запросто каждый полицейский чиновник, которому приходила фантазия выпить на даровщину бутылку портера либо рюмку другую коньяку и безотказно позабавиться с девицами. Дорогой разврат, обыкновенному гостю обходившийся в десятки, а то и в сотни рублей, полиции доставался не только даром, но еще и с приплатами.

В корпусе было сравнительно лучше, потому что у Буластихи бывал как свой человек и частенько загуливал с приятелями местный частный пристав: присутствие такой большой акулы

не давало широкого хода в воды ее мелким щукам и головлям. И, тем не менее, решительно все женщины корпуса к числу своих постоянных платных гостей должны были волею-неволею приписать еще какого-либо постоянного же, бесплатного полицейского. Эта повинность была настолько неизбежна, что — дабы избавить свою фаворитку от худших притязаний и поползновений — Федосья Гавриловна сама поторопилась свести Марью Ивановну с помощником участкового пристава, молодым и относительно приличным человеком, который любил читать переводные романы, а потому уже не находил ни удовольствия, ни шика в том, чтобы ни с того ни с сего бить женщину по лицу, пока не потечет кровь, поливать ее из ночного горшка либо тушить на грудях ее тлеющую папиросу. К «хозяйкам» же без церемонии влезал в квартиры любой загулявший околоточный и — «моему ндраву не препятствуй!».

Все эти зверские и плутовские бабы, свирепые с своими воспитанницами, наглые с гостями, бесстрашные даже перед убийственными кулаками всегда готовых к преступлению жильцов, терялись в присутствии полицейского мундира до паники и расстилались перед ним, как трава под ветром, трепетные, трусливые, жалкие. И — Боже сохрани, если какая-нибудь строптивая или непривычная рабыня не умела достаточно угодить его благородию. Били ее потом смертным боем. «Полиция — выше всего!» было твердым убеждением и правилом в деле Буластихи. Уважь, ублажи полицию, — и тогда ничего не бойся. Идти против капризов и прихотей полиции считалось в аду этом дерзновением столько же невообразимым и преступным, как для какого-нибудь благочестивца-дервиша — отрицать судьбу и волю Аллаха.

Конечно, тайная общая ненависть к полиции во всех вертепах была беспредельна, равняясь только ужасу пред нею же, как пред спрутом, — всеобъемлющим, чтобы высасывать соки из всего, что плывет навстречу. Нажить дело, способное еще увеличить органическую зависимость от полицейской

паутины, почиталось величайшим бедствием и горем. Подвести дом под вмешательство полиции считали непорядочным даже самые буйные и своевольные женщины, даже такие сознательные и злобные ненавистницы своих хозяек, как Катерина Харитоновна.

LVI

Опаска ненасытных полицейских аппетитов была главною причиною осторожности Буластихи к случайным гостям. Она не столько стремилась расширять свою клиентуру, сколько упрочивать имеющуюся. Собственно говоря, все ее женщины очень скоро превращались в особый вид заточенных содержанок, тянущих в пользу хозяйки своей деньги с пяти-шести мужчин, их посещающих более или менее периодически и постоянно. Ничего подобного Марья Ивановна не знала у Рюлиной, где все дело строилось, как азартная игра, расчетами на огромные куши, на богатую многотысячную авантюру.

Красавицы Рюлиной часто целыми неделями отдыхали без всякого спроса, и это ни Полину Кондратьевну, ни Адель не смущало и не тревожило нисколько. Потом вдруг, подобно оргийному шквалу, налетал какой-нибудь стальной король из Пруссии, знатный бразильянец с брильянтами в ноготь величиною, султан из Малой Азии или индийский принц, и в два-три дня касса Адели переполнялась тысячными кушами, сторицею вознаграждаемая за долгое отсутствие торговли. Дело Буластовой работало по-мещански, изо дня в день, не ожидая шальных срывов, не зная заминок и пауз. В деле Рюлиной женщина, по натуре своей не охочая истязать себя муками стыда и совести, могла, благодаря антрактам этим и метеорическому характеру заработков, сохранить с грехом пополам некоторую иллюзию, будто она еще не вся — только продажное тело, не совсем профессиональная проститутка.

В деле Буластовой об этом напоминал и в этом убеждал решительно каждый день.

Рынок пестрел и колебался для новенькой недолго. Не пробыла Марья Ивановна в «корпусе» Буластихи еще и двух месяцев, а уже время для нее переложилось в своеобразный календарь, где понедельник обозначал каких-нибудь Митю Большого, Колю Химика, Карлушу Длинные Усы, вторник — Митю Среднего и Адама Семь Пуд и т.д. Все гости имели свои прозвища, и некоторые так к ним привыкали, что уносили их с собою — конечно, приятельскими стараниями — даже и во внешнюю жизнь. Уже очень вскоре Марья Ивановна знала по календарю этому, что 1-го и 15-го числа, аккуратно в 7 часов вечера, будет к ней гость-англичанин, управляющий крупною мануфактурою в Твери, повезет ее и Федосью Гавриловну в кафешантан, накормит отличным ужином, а затем в Биржевой гостинице будет до шести часов утра учить ее танцевать, в голом виде, жигу и петь похабные матросские песни. Знала, что 20-е число надо сохранять для вице-директора одного из виднейших департаментов, который имеет обыкновение пропивать в «корпусе» свое месячное жалованье до последней копейки, а поутру берет у Буластихи сто рублей взаймы до будущего визита и — уж Бог его знает, как он потом изворачивается. Знала, что в октябре, по последней сибирской навигации, прикатит из Енисейска Степан Широких, и уж тут всякий календарь придется недели на две пустить побоку, потому что засыплет Буластиху деньгами, зальет женщин шампанским, а напоследок непременно изобьет и «Княжну», и Машу, и Фраскиту, «чтобы помнили».

Машина разврата работала холодно, мерно, точно и скучно, с программами спроса, предвиденного, как сезонный сбыт в магазине. Буластиха была жадна, но расчетлива. Она высчитала, что Маша должна приносить ей не менее двух тысяч рублей в месяц, и выколачивала из нее сумму эту развратом десяти-двенадцати мужчин, приходящих кто раз, кто два

в неделю, кто реже. По понятиям рынка, торгующего живым товаром, это — легкая работа. В Марье Ивановне видели товар ценный и работоспособный надолго, ее берегли.

Но в бедной спившейся Люции, как в кляче, везущей из последних сил, старались только как можно полнее использовать остаток энергии, вскоре — всем заведомо — должной погаснуть. Точно отрезок драгоценного бархата, ее продавали в розницу, по мелочам, — по техническому выражению вертепов — «на время». Отупелая от алкоголя, полусонная и безразличная машина механического разврата, она теперь только и делала день-деньской, что переезжала в сопровождении той или другой дуэньи, в карете или на извозчике, от одной хозяйки к другой — с одного свиданья на другое либо из ресторана в ресторан — с одной попойки на другую. Нередко случалось, что она бывала жестоко пьяна по три раза на день. Ослабеет в компании одного «понта», а где-нибудь ждет уже другой. Дуэнья вливает несчастной девке в рот рюмку воды с десятью каплями нашатырного спирта и — полувытрезвленную, качающуюся, дремлющую, бормочущую — везет в объятия нового потребителя. В иные дни бойкого сезонного спроса Люция свершала подобных переездов пять, шесть и более *).

От необходимости заглушать в дыхании своем запах перегорающего спирта, Люция выучилась жевать жженый кофе и вскоре стала есть его чуть не горстями, наживая привычку нового самоотравления. Принимать нормальную пищу она почти вовсе перестала. Когда она успевала спать, — все тому удивлялись. Женщин своих Буластиха расценивала дорого, в многих десятках, а то и в сотнях рублей, и, обыкновенно, держала цены крепко. Но Люцию, в спехе выколотить из нее капитал до последнего дна, почтенная промышленница пустила, что называется, на дешевку — алчную и беспощадную, создающую вокруг товара жадный и дикий толкучий рынок.

*) Рубиновский, 4 — 8.

— Того недостает, чтобы на Невский гулять выгоняла! — шептались втихомолку запуганные рабыни, с тайным ужасом следя, как на глазах их убивали медленно, но откровенно и наверняка, больного, отравленного человека. А Буластиха равнодушно запирала в шкатулку свои убийственные двадцатипятирублевки... Бывало не редко, что число их достигало десяти в сутки...

Все знали, что Люция обречена на смерть, и никто не смел заговорить с нею о том. Понимала ли она сама свое положение, — кто ее знает. Бессонница, пьянство и утомление сделали ее будто полоумною. Если она не «работала», то — спать не спала, но дремала, ходя, сидя, стоя, лежа, поминутно забываясь в коротких беспокойных грезах — часто даже до того, что вдруг храпела и свистала носом среди обращенного к ней разговора.. И так же внезапно просыпалась и долго потом не могла прийти в себя от сонной одури, хлопая глазами, как идиотка, трудно соображая, где она, почему, зачем.

Коньяк и водка поднимали ее, встряхивали, но иногда, хватив стакан-другой на бесконечно запасенные «старые дрожжи», Люция сразу ошалевала, впадала в бешенство и скандалила, — буйно, дико, грязно и непроизвольно: точно не сама бушевала, но кто-то другой, чужой, сидящий в ней, злорадный, бесовский, ужасный. Тогда Люцию вязали и потом били — жестоко и долго, по всем мякотям тела, мокрыми жгутами, чулками с песком, резиною. Она выла, пока не засыпала, а часов пять-шесть спустя — проснувшись, едва живая, вся разбитая, — наскоро опохмелялась полбутылкою водки и, воскресшая, как ни в чем не бывало, опять шла на «работу» — пьянствовать и отдаваться...

Опытная Федосья Гавриловна смотрела на разрушение Люции с большою тревогою.

— Увидите, Прасковья Семеновна, — убеждала она хозяйку, — устроит вам Люська уголовщину в доме.

— Каркай, ворона!

— Не обопьется, так удавится, а то с ума сойдет, квартиру подожжет... Чертиков-то она уже ловила на прошлой масляной. Либесвортишка еле отходил.

— Здорова корова! Еще на три белых горячки хватит.

— Да ведь это — как вино позволит, а оно — на этот счет самое капризное. Может десять лет ждать, а захочет — завтра в гроб уложит... Будет вам жадничать-то, взяли свой профит, попользовались, пора ее с рук спустить...

Буластова и сама все это понимала, но уж больно жаль было собственными руками погасить этакую богатую доходную статью — и все ждала, откладывала да авоськала...

Лусьева, как давняя приятельница Люции, страшно волновалась и беспокоилась ее грядущею, близко наступающей судьбой, в которой как будто смутным предостережением звучала отдаленная угроза ей самой. Марья Ивановна пила вино еще не слишком много, не до отравления организма в хроническую привычку, но ей уже частенько-таки случалось «ошибаться» то коньяком, то шампанским, то портером... временами уже чувствовалась гнетущая, тоскливая потребность в алкоголе, и без вина за столом кусок уже не шел в горло. Она боязливо расспрашивала то «Княжну», то Федосью Гавриловну:

— Если Прасковья Семеновна не захочет больше держать Люцию, куда же она денется? Ведь у нее ничего нет, и она совсем больная?

Обе, хоть и врозь, отвечали, точно спелись:

— Как куда? Теперь ей самое настоящее место — в открытом заведении. Там такой работнице цены нет. В открытое заведение хозяйка и сплавит ее...

«Княжна» прибавляла:

— На убой.

Маша пугалась:

— Что ты, Лидия? Словно про скотину.

— Ну, конечно, надорвался призовой рысак, — кончать ему жизнь на живодерне. Износилась до времени красавица-кокотка, — куда же ее девать, как не в публичный дом? Жизнь Люции там — много-много, если на полгода... У нас из нее выжали, а там кожу сдерут и жилы вытянут — в пятирублевом-то обороте!

— Да помилуй! Возможно ли ей еще работать? как же? Она едва жива от одышки. Ей бы в больницу надо лечь, полечиться бы...

Федосья Гавриловна возражала со смехом:

— Ах, скажите, какие нежности. Подумаешь, барыня! А долг ее Прасковья Семеновна тем временем с тебя что ли получать будет?

— Помилуйте, Федосья Гавриловна, какой же может быть еще долг за Люцией? Она работает на хозяйку больше всех нас...

Экономка подмигивала:

— Это само собою разумеется, что заправского долга никакого нет, — откуда ему взяться? Что Адельке заплачено, что вещами забрано, Люська давно вдесятеро покрыла. Только в деле принято так говорить, будто долг... По-правильному же сказать будет — отступное. Потому что хозяйка должна соблюсти свой профит до конца... Без пяти тысяч на выход ей с Люською расстаться — значит себя обидеть.

— Ну! Кто же решится дать? Всякому сразу видно, что Люся — уже совсем больная. У нее ноги пухнут. У нее под глазами за ночь такие мешки натекают, что она едва веки разлепить может...

— Эвона! Только кликни клич! По нашему делу — больна, в тираж выходит, а по-ихнему — золотой клад. Люськина работа не одному Петербургу известна. Три-то тысячи за нее уже сейчас дают: в Москву ее, к Стоецкой торгуют. Но хозяйка уперлась на пяти, меньше — ни-ни. Да и права: ежели Люська переживет лето, то пять-то тысяч она покроет одною Нижегородскою ярмаркою...

— Говорю же тебе, — желчно прибавляла «Княжна», — на бегах конь оплошал, на завод не годится, а на живодерне еще себя оправдает... хоть куда! *)

LVII

Машу Буластиха перевела в новый род эксплуатации: как раньше «Княжну», ее начали рассылать по городам. Сперва она «гастролировала» под неизменным присмотром Федосьи Гавриловны. Но вот — однажды звероподобную экономку угораздило оступиться в «корпусе» на лестнице и, пересчитав тяжелым телом своим ступени двух этажей, улечься в третьем со сломанною ногою. Федосью Гавриловну пришлось отвезти в больницу.

Для Маши настали тяжелые, безрадостные дни, полные опасностей и оскорблений. Как только ее покровительницу вывезли из «корпуса», все его женское население, за исключением «Княжны» и бывших рюлинских, набросилось на Машу, как на обессилевшую, лишенную защиты фаворитку, подобно стае разозленных ос.

Даже лупоглазая, белотелая Нимфодора — и та злорадно напрягала свой тусклый деревенский умишко, чтобы напакостить ненавистной «барышне» как можно обиднее и гнуснее. Уже и раньше того, однажды Федосья Гавриловна застала эту убогую красавицу за прелестным занятием: дура провертела буравом дыру в перегородке, у которой стояла постель Марьи Ивановны, вставила в дыру соломинку и перепускала сквозь нее собранных в пилюльную коробочку вшей. Конечно, за остроумие игры этой Нимфодоре пришлось жестоко поплатиться. Но она только хихикала, да шмыгала носом, да твердила:

*) Судьба Луции: Ломброзо, 417. Кузнецов, 21—23. Рубиновский, 4—8.

— Хи-хи-хи! Нешто! Пущай Машку заедят. Хи-хи-хи! Пущай Машку заедят!

— Откуда ты, проклятая, набрала этой пакости? — изумлялась на нее экономка. — Кажись, у нас в доме не водится?!

Оказалось, в течение целой недели собирала коллекцию, добывая насекомых от одной из горничных, которая приносила их откуда-то с воли, по пятаку за двадцать штук...

— У нас в деревне, — хихикала Нимфодора, — когда две девушки друг дружку невзлюбят, всегда — так.

Пред этим озорным упорством тупой беспричинной ненависти Машу брала оторопь.

— Что я тебе сделала? За что ты против меня?

Нимфодора и сама не знала. Но не зная, все-таки ненавидела. Дулась, как клоп, и молчала, косясь на Марью Ивановну совершенно искренне злыми, опасными глазами сердитой идиотки.

— Дура ты, сука, идиотка окаянная! — в свою очередь ругала репоглазую волжанку экономка, — ну, а я? Обо мнето ты умишком своим пришибленным не сообразила, что мы с Машкой в одной комнате живем, на одной постели спим? Стало быть, ты и меня хочешь наградить этим гнусом?

— Нѐ... вас воши не тронут...

— Почему это?

— Они на Машку наговоренные.

— А, что с тобой толковать! Бог тебя убил, так людям и подавно бить надо!

Посыпались пощечины, загуляла плетка. Нимфодора взвыла. Марья Ивановна прислушивалась издали не без злорадного удовольствия. В этом аду злости, трусости и рабской приниженности она сама ожесточилась сердцем и опустилась нравственно, мало-помалу теряя природную мягкость и добродушие, так долго помогавшие ей переплывать грязную лужу своего позора, не погружаясь в нее совершенно.

Раз все ее товарищеские попытки отвергнуты и ведут только к глумлению и обидам, — так черт же с ними, с этими злыми дурами и негодяйками! Она тоже пойдет против них — примкнет к силе, пред которою они трепещут.

До сих пор она нисколько не злоупотребляла своим положением «экономкиной душеньки», теперь стала давать его чувствовать всем, кто показывал ей когти. Наушничала и даже клеветала, навлекая на товарок-врагинь ругань и побои Федосьи Гавриловны, которая со дня на день все больше души не чаяла в своей «Машке» и верила ей безусловно. Самой Буластихе Марья Ивановна тоже старалась угодить, чем только могла и умела: безбожно ей льстила в глаза и за глаза, при всяком удобном случае благоговейно прикладывалась к ее мясничьим ручищам и перебивала у горничных возможности услужить хозяйке — «подай, убери, принеси». Повелительницам это очень нравилось, но барышень возмущало, и даже «Княжна» стала относиться к Марье Ивановне холодновато. Антонина же громко говорила, что Машка не только «экономкина душенька», но и хозяйкин «дух», т. е. шпионка и доносчица, и, лишь бы случай вышел, а давно пора с нею расправиться без жалости.

— Нимфодора глупа-глупа, — наущала она, — а на счет вшей не худо придумала. Только Машке не простых бы, а в пузыречке из больницы — тифозных...

LVIII

С удалением Федосьи Гавриловны для мстительных проделок открылось широчайшее поле, а времени — двадцать четыре часа в сутки. На решительные, т.е. убийственные или калечащие мерзости не дерзали посягать, памятуя, что «Машка» — дорогой товар, за порчу которого Буластиха с виновных шкуру сдерет. Но делали все,

чтобы отравлять «Машке» существование изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту.

Сегодня Марье Ивановне обливали жавелевою кислотою дорогое бархатное платье, которое, по буластовской расценке, стоило горемычной кабальнице, по крайней мере, месяца «работы». Завтра — пропадали у нее из запертого комода часы или деньги, — жалкие крохи, которые удавалось ей сберечь из подачек «на булавки», — единственное, что доставалось на ее долю от огромного ее заработка. Стоило Марье Ивановне, уходя из своей комнаты, оставить дверь не замкнутою на ключ, чтобы, возвратясь, она уже непременно нашла либо постель свою испачканною какою-нибудь гадостью, либо омерзительный рисунок на стене, либо безграмотную записку с руганью и угрозами. Фраскита, из зависти, втянула Лусьеву в ссору и жестоко подбила ей глаз — аккурат накануне приезда одного богатого и щедрого «понта», большого поклонника Марьи Ивановны.

На квартирах — у хозяек — жильцы, до сих пор льстивые, подобострастные, сделались наглы, грубили, а женщины подстрекали их — показать Машке-дворянке, что не велика она фря и не честнее других. Еще — к большому счастью Марьи Ивановны, как-то выпала ей такая удачная полоса, что «работать» приходилось больше в «корпусе» либо в той квартире, где проживала и влиятельна была дружелюбная Катерина Харитоновна: ее буйного нрава все побаивались, не исключая даже самых дерзких и сильных жильцов. Но в другие квартиры Маша ехала — каждый раз — полумертвая от страха, что не сегодня-завтра какой-нибудь Александр Мясник либо Ванька Кривуля изнасилует ее и обратит в то невыносимо позорное, полное побоев и вымогательства рабство, под игом которого жили и изнемогали почти все квартирные женщины.

К дополнению бедствий, на время, покуда Федосья Гавриловна будет лежать в больнице, Буластиха поручила быть за экономку певунье Антонине. Эта особа теперь, чувствуя

себя силою, нестерпимо лезла к Маше со своею противною влюбленностью и, не встречая взаимности, неистовствовала, устраивала подлейшие скандалы и каверзы и поминутно подводила Машу под хозяйкин гнев. Уже не раз бедной девушке пришлось изведать горьким опытом, что тяжеловесные ладони Прасковьи Семеновны — ни чета Федосьиным, которые били редко и жалеючи.

Антонина преследовала Машу из-за отвергнутой влюбленности, немки — по озлобленной ревности. Задыхаясь во враждебной, напряженной атмосфере ненависти, Маша жила в постоянном трепете, что ей прыснут в лицо серной кислотою; хитро подведут ей заведомо больного «понта», подсунут зараженную ложку, полотенце, простыню; угостят ее папиросою с опиумом или морфием; вдунут ей во время сна через ноздри гусара с серою и нюхательным табаком, от чего самые надежные легкие повреждаются и получают чахотку; либо наконец просто отравят мышьяком или уксусною эссенциею.

Буластихе Маша не смела жаловаться, — это в «домах» не принято, как злейшее нарушение товарищества, влекущее за собою беспощадную месть. Да и — знала Маша — без поддержки и настояния со стороны Федосьи Гавриловны — Буластиха, жестокая, глумливая, цинически-распутная по натуре, не защитит ее, но еще сама надругается каким-нибудь гадким, рабовладельческим издевательством. Вроде того, как заставила она проворовавшуюся Фиаметту съесть с голых ног ее два фунта зернистой икры.

«Княжна», которой было жаль Маши, пробовала усовещивать освирепевших товарок, стращала:

— Сумасшедшие! В чью вы голову бьете? Ведь Федосья не навек легла в больницу. Встанет, — худо вам будет: рассчитается за Марью сторицею, соком из вас Марьины слезы выйдут...

Но озлобление было слишком велико, спорт мучительства слишком заманчив. Возражали:

— Еще когда встанет, а мы до того времени из Машки твоей юшку повыдавим!

Впрочем, принимали меры, чтобы по возможности обезопасить себя и против этой угрозы. Бегали к Федосье Гавриловне в больницу и наушничали ей на Машу всевозможные сплетни и клеветы. И, когда Маша, в свою очередь, приходила проведать свою покровительницу, больная экономка встречала ее градом ревнивой, подозрительной ругани, попрекала ее мнимыми шашнями с жильцами, с полицейским, которого сама же ей навязала, с некоторыми из гостей посимпатичнее и почеловечнее, дружбою с Катериною Харитоновною, ухаживаниями Антонины, обвиняла в разврате, предательстве, неблагодарности. Маша пугалась, плакала в три ручья, разубеждала, божилась...

Расставались помирившись, но ссоры были утомительно тяжелы, полны обидных унижений, обвинений, неповторяемых слов, от которых стены краснели. Уходя из больницы, Маша сознавала себя предметом общих насмешек и презрения, будто оплеванная взглядами больных женщин, сиделок, фельдшериц, врачей. А главное, чувствовала раз от разу внушительнее, что клеветы действуют, дружба трещит, и дорогою ценою купленная, позорнейшим угодничеством обусловленная последняя опора ее уже не прочна, — почва колеблется под ногами. Маша с ужасом предвидела: а вдруг настанет день, когда Федосья Гавриловна вовсе взбеленится и станет не за нее, но против нее?

— Тогда — хоть прямо в петлю головою!

LIX

А болезнь экономки, как нарочно, затягивалась. На почве скверной, давно отравленной крови определилось какое-то серьезное осложнение. Врачи решили сделать ампутацию ноги выше колена. Значит, возвращение Федосьи Гаврилов-

ны в корпус опять не только затянулось надолго, но и вообще стало вопросным. Как-то она вынесет операцию? Да когда-то она оправится и привыкнет к искусственной ноге — настолько, чтобы распорядительствовать сетью огромного дела, безжалостно торгового и насквозь преступного, полного опасных рисков, требующего силы, энергии, подвижности изворотливой и бесстрашной готовности на какой угодно скандал и приключение, охраняемого лишь ужасом к могучему кулаку, незнакомому ни с жалостью, ни с удержем совести?

Женщины Буластихи знали, что Федосья Гавриловна связана с делом слишком большим количеством важных секретов и вовсе удалить ее от себя хозяйка не в состоянии, даже если бы захотела. Но найдется ли у нее, ослабевшей за болезнь, сразу постаревшей лет на десять, хромоногой, ковыляющей на деревяшке, достаточно воли и прямо-таки физической силы, чтобы воскресить престиж прежней своей необходимости и остаться в деле первою после самой Буластихи?

Ведь с одною-то ногой не очень-то подступишься унимать и карать не то что хамское грубиянство «жильца», вроде Александра Мясника или Ваньки Кривули, но даже буйство спьяну Люции либо Катерины Харитоновны. Один хороший пинок ногой в деревяшку, — и шлепнется Федосья всем гигантским телищем своим навзничь на паркет. Женщины злорадно предвкушали прелесть будущих столкновений и неутомимо точили ядовитые зубы насчет «красоточки-экономочки на деревяшке».

Да и сама Прасковья Семеновна была заметно озадачена возможностью столь странного украшения для зал «корпуса», которые, благодаря ее приобретениям из ликвидированной Аделью рюлинской обстановки, приняли весьма шикарный вид.

От старинной мебели Буластиха отказалась: не для ее публики. Гостиный двор и Калашниковская пристань любят, чтобы блестело, — подавай «модерн» да самый свежий, под

лаком, прямо из мастерской. Зато скупила огулом картины, мрамор, бронзу, ковры, objets d'art *, — и Марья Ивановна с Жозей и Люцией помогли хозяйке устроить в «корпусе» двачетыри рюлинских уголка. В том числе и подобие пресловутой гобеленовой комнаты для живых картин.

Задумалась было Буластиха, не воскресить ли ей у себя эту забаву «мышиных жеребчиков», гордость и славу рюлинской фирмы, угасшую со смертью Полины Кондратьевны и отъездом Адели. Но и сама она была слишком невежественна и дика и в служебном своем персонале не имела никого, способного руководить постановкою, требующею все-таки некоторого художественного вкуса и эстетического соображения. Поклониться же о том своим кабальницам из образованных баб запрещало самолюбие. Казалось ей, что поступись она этак своим хозяйским авторитетом, то «Машка», «Жозька», «Княжна», «Катерина» зазнаются: мы-де режиссерши! заведующие! — и перестанут слушаться, если не ее (этого Прасковья Семеновна, соображая энергию оплеух своих, даже и предполагать не хотела), то хозяек и экономок.

К тому же, охочая до живых картин, аристократическая клиентура Рюлиной не последовала за ее обстановкой: преемницею Полины Кондратьевны оказалась, на новом месте, в самом бойком центре города, франко-русская еврейка m-me Judith. Под маскою огромного и шикарного модного магазина, который своею работою и кредитом обслуживал весь петербургский полусвет и немалую часть света настоящего, хитроумная парижанка из Бердичева преобразовала свой дом свиданий в «уголок Монмартра» и, по новинке, заторговала пуще Рюлиной. «Мышиные жеребчики», золотые аксельбанты и прочее, как выражалась Федосья Гавриловна, «графьё, князьё да бароньё» хлынули под новую гостеприимную сень.

* Предметы искусства (*фр.*).

Таким образом, теперь со стен «корпуса» опять глядели на Машу Леды, Пасифаи, Данаи и Ио, свидетельницы первых шагов ее «просвещения» и падения. Как ни странно, но, бродя среди них, теперь даже не прикрываемых сукном, по комнатам, как бы одушевленным ласкою цинической, но хорошей живописи, Маша чувствовала какую-то унылую отраду. Хоть и поганая, а все-таки молодость, — осколок чего-то, все же лучшего, чем нынешняя грязная неволя!

Пресловутый портрет Жени Мюнхеновой тоже перекочевал к Буластихе. Очевидно, культ «красавицы из красавиц» угас вместе с торговым домом генеральши, и будущая мадам Монтраше почла для себя неприличным сохранять реликвию, столь драгоценною, бывшую для мещанской девицы Александры Степановой, она же Адель.

Марья Ивановна созерцала давно не любимый ею портрет не без тайного, — пусть неумного, ребяческого, но непобедимого, — злорадства:

— Ага, Женечка! Хоть и на полотне, а пожаловали-таки к нам? Не можете выбраться из помойной ямы, как и мы, горемыки, и тоже не вверх плывете, а на дно тонете? Что наши «понты» пропишут тебе, голубушка!

И, точно, не прошло и недели, как король питерских безобразников, миллионер-мучник и пряничник Кор-лов, истыкал злополучное полотно лже-Маковского зонтиком в самых неподобных местах. Приблизительно на половине второй бутылки финь-шампань, он пришел к убеждению, что он совсем не Кор-лов, но цареубийца Желябов, а потому обязан произвести террористический акт. И, за неимением лучшего объекта, обрушился на безглагольное и недвижимое изображение Жени Мюнхеновой:

— А, шкура, великокняжеская наложница! Ты нашу русскую кровь пить? лопать народные деньги, добытые трудовым потом мозолистых рабочих рук? Врешь! Не допущу! Сокрушу! Вот тебе, польская стерва, — получай в брюхо!

От сына своего отечества, — получай в сиськи! От внука верноподданных крестьян, освобожденных манием великодушного монарха от крепостной зависимости по манифесту 19 февраля, — получай во все места! Тапер! Жарь «Боже, царя храни!» А вы, девки, все — плакать!!!

За испорченный портрет заплатил пять тысяч. Артамону за то, что принес зонтик из передней, бросил сто рублей. Маше послал воздушный поцелуй и показал кукиш. Федосье Гавриловне, с щедрым видом, сунул в руку «на чай»... двугривенный!.. Хитрая баба приняла с благодарностью, словно Кор-лов ее озолотил. А потом привесила этот двугривенный брелоком на браслет и давай хвастать всем гостям из именитого купечества.

— Не думайте-де о моем двугривенном плохо: это — корловское пожалованье!

Присрамился пряничник, приехал выкупить язвительный брелок. Влетел купцу двугривенный в копеечку!

LX

Общее мнение было, что Федосье теперь, оставшись об одной ноге, никак не управиться, и министерству ее конец. Самое большое, если хозяйка отдаст ей, как заслуженному инвалиду, под самостоятельный начал, одну из хороших, заработных квартир где-нибудь на окраинах поглуше.

Марья Ивановна обмирала, когда слышала эти толки. Она знала, что Федосья Гавриловна в таком случае не захочет с нею расстаться и сумеет оставить ее за собою, а перспектива найти себе тюрьму в каком-нибудь вертепе Васильевского острова или Большого проспекта, под властью искалеченной, дикой, ревнивой, бешено-вспыльчивой, драчливой старухи приводила ее в отчаяние. Антонина же щеголяла белым фартуком и звонила по дому ключами все с большею и большею уверенностью, благосклонность хозяйки к ней

возрастала, и было уже почти несомненно, что весьма скоро она заменит Федосью Гавриловну не временно, но постоянно. И в зловещем взгляде будущей экономки Марья Ивановна читала, что, как ни скверно было ей в последнее время, но это еще — цветочки, а ягодки ждут впереди, и удовольствие по-настоящему-то с нее «шкуру спустить» Антонина с компанией еще только предвкушают.

Поэтому Марья Ивановна очень обрадовалась, когда хозяйка внезапно разрушила скопившиеся вокруг нее мрак и ужас неожиданным приказанием ехать в К. Федосья Гавриловна зарычала было на Машин отъезд раненою медведицею, но, прикованная к больничному одру, ничего не могла сделать против решительной хозяйкиной воли и только устроила Маше на прощанье ужасную сцену. Сиделки и больные — которые хохотали, которые негодовали и отплевывались, а Маша, уходя в слезах, дала себе слово, что не придет больше навещать свирепую приятельницу, разве что та уже заведомо умирать будет.

Вышло так, что это, действительно, было их последнее свидание. Неделю спустя, Федосья Гавриловна, превосходно выдержав удачно сделанную ампутацию и, по мнению врачей, уже вступив на путь выздоровления, вдруг с чего-то залихорадила-залихорадила и в два дня умерла от заражения крови. Но Маша Лусьева тогда была уже далеко и ничего о том не знала.

В поездке злополучная девушка очутилась под присмотром постоянной устроительницы поездок «Княжны», по имени Анна Тихоновна. Эта женщина почему-то невзлюбила Машу чуть ли не с первого же ее появления в буластовском хозяйстве и оставалась упорным врагом ее до настоящего дня, когда «гастроли» в К. завершились скандальным появлением Лусьевой в участке.

В другое время Маша пришла бы в ужас и великую скорбь, что придется ей путешествовать под суровым началом та-

кой лютой ведьмы. Но сейчас уж слишком солона стала ей жизнь в корпусе: рада хоть в ад, да — лишь бы отсюда.

Лусьева объясняла:

— Впрочем, я вообще и раньше тоже предпочитала ездить по городам, чем трепаться по петербургским квартирам. Я уже рассказывала вам, какое это удовольствие. Да еще, между квартирами этими, когда потом я с ними со всеми познакомилась, оказались такие, что страшно стало бывать... На одну, близ Николаевского вокзала, девушки, которые посуевернее, наотрез отказывались ехать: «Хоть бейте, хоть до смерти убейте, — не могу... боюсь...»

— Что же там? Черти, что ли? Или привидения ходят? — усмехаясь в усы, опросил полицеймейстер.

— Нет, видеть — никто ничего страшного не видал...

— Стуки?

— Н-н-нет... А впрочем, все мы были так настроены, что — в стене ли щелкнет, мебель ли треснет, в печке ли загудит — всякий звук странный, в этой квартире уже мерещился нам за чертовщину. Видите ли: я не знаю, что... но, бывало, едва войдешь, и вдруг тебе как-то совсем дышать нечем, и тоска нападает страшная, и все чего-то ждешь, ждешь... самого жуткого и скверного!.. До ужаса, аж дрожать начинаешь... Вот-вот кто-то опасный войдет, вот-вот что-то роковое случится... Говорят, будто на этой квартире, — дело было давно, еще до Буластихи, — «жильцы» уходили кулачищами купца, а как и куда потом его убрали, осталось неизвестно: все дело кануло в воду, и следствия не было... Ну вот — наши трусихи, разумеется, и верили, будто вся эта тягость от купца убитого: что он живет и душит...

— Зачем же, — спросил Mathieu le beau, — Буластиха все-таки удерживала за собою такую странную квартиру?

— Место исстари насиженное. В ее профессии этим условием очень дорожат. На новые квартиры многие неохотно едут...

— А «гости» не жаловались?

— Гости ничего... Что же? Они были непредубежденные... заранее не приготовлялись к страхам этим, как мы все несчастные... А потом, — кто их знает, покойников? Может быть, он гостей не трогал... Ведь гости ему ничего не сделали дурного, он сам был тоже гость, когда его убили... А нам, прочим, которые при том же самом деле, он мстил, показывал свою власть... Понимаете?

— Эге! Да вы, кажется, тоже из суеверных? — поддразнил Mathieu.

— Нет, не очень... Но, конечно, все-таки неприятно. Вот другой квартиры, в Измайловском полку, где наша девушка удавилась, — этой я, сознаюсь, очень не любила... Все боялась, что увижу, как она висит на отдушнике...

«Гастрольные» поездки устраивались всегда в одинаковом порядке *). Выбиралась из квартирных хозяек или нанималась со стороны какая-нибудь приличного вида и звания дуэнья, вроде баронессы Ландио. Маша объявлялась ее племянницею, а Федосья Гавриловна или Анна Тихоновна — домоправительницей, экономкой, няней, пожилою, искони в фамилии, горничною. Ездили по частным приглашениям какой-либо провинциальной факторши или, непосредственно, искателя красивых женщин: многим провинциальным ловцам по этой части Буластова служила постоянною поставщицею, — и так именно попала Лусьева теперь в К. Еще чаще ездили прямо наудачу — в сборные места богатого люда с бешеными деньгами, которые поют в кармане петухами, просясь на волю: в Нижний, Ирбит, Харьков — на ярмарки, в Киев — на Контракты, на Кавказские минеральные воды, в Баку, в Москву на «Дерби»...

— Насчет ярмарок у нас в корпусе даже песенку особую пели. Антонина на смех сложила. А, впрочем, может быть, и врала, что она... чужое старое за свое новое выдавала.

*) Кузнецов, 27. Кочующую сводню «баронессу» я нашел в городской хронике ростовских газет 1902 г.

Поехала хозяюшка
В Ирбити торговать,
А с ней четыре барышни —
Попить да погулять
Приехала хозяюшка
С Ирбитя с барышом,
А все четыре барышни —
Чуть-чуть не нагишом

— Бывало и так, что Буластихе просто доносят: в таком-то городе или местечке люди страшно заскучали, развлечений никаких нет, а шальные деньги водятся. Она, после того как наведет обстоятельные справки, командирует сейчас же какую-нибудь госпожу разыгрывать комедию: будто имение под городом тем торговать для приобретения, либо придумает другую аферу в таком роде, — глядя по городу, какие там могут быть дела и за что люди уважают. Если город богат и тароват, поездка взатяжку идет. Нанимается хорошая квартира, выписываются из Питера, по очереди, «племянницы», «крестницы», «воспитанницы», «лектриссы»... я, Жозя, «Княжна», другие там... и пошло веселое житье, балы, пикники, вечеринки, покуда Федосья и Анна Тихоновна не повыжмут бумажники у многоземельного дворянства и богатого купечества! Мы на шахтах две недели прожили — золотые вернулись! Тоже, когда нефть была в моде... на новый фонтан один раз ездили... На постройку железных дорог, покуда у инженеров доходы шальные. Жозька была специалистка насчет этой публики. Огонь! Выматывала инженерские бумажники, точно фокусник ленты изо рта. В Челябинске два месяца прогостили, всю строительную комиссию до гроша вычистили. Кути да радуйся, покуда люди не разорятся либо мы не провремся в чем-нибудь уж очень прозрачно — общество начнет сомневаться и коситься, а полиция струсит и устанет нас покрывать. Либо уж такими поборами обложит, что оставаться дальше окажется самим дороже. Ну, тогда, конечно, лови момент, чтобы вовремя навострить лыжи.

И, разумеется, это правда, что Антонина пела: хозяйка наживалась толсто, а мы, в самом деле, прокучивались чуть не до нагиша. Одна «Княжна» могла похвалиться, что выдержку имеет, — вещи берегла, капитал сколачивала. Меня, например, каждая поездка только в новые долги вводила. А все-таки поездки я, ничего, любила: хоть повеселишься, попрыгаешь... считают тебя все-таки за порядочную, ухаживают, флиртуют... опять чувствуешь себя барышнею, а не девкою... А там, в Петербурге, в корпусе, по квартирам — острог! могила!

LXI

Встречаясь с Катериною Харитоновною, Марья Лусьева неизменно получала от нее саркастические запросы:

— Ну-с? Когда же мы бежим? Или охота прошла? Стерпится-слюбится?

— Да ведь я теперь, Катерина Харитоновна, все в разъездах.

— В разъездах-то, милейшая моя, и удирать. Здесь у Буластихи и полиция своя; в каждом участке найдутся дружки, чрез которых она вас притиснет. А вот, я слышала, вы едете в К. С тамошнею полицией, — это я доподлинно знаю, — хозяйка связей еще не успела установить. Стало быть, прямиком против вас действовать она не посмеет. Не такое у нее дельце, знаете, чтобы перед незнакомыми светлыми пуговицами так вот сразу взять да все карты открыть. Потому что в неберущую полицию Буластиха, конечно, как и мы с вами, не верит. Но если сунуться наобум в воду, не спросясь броду, то недолго налететь и на такого покровителя, который сообразит, что дельце-то пахнет карьерою. Ну и подобный барин ей уже не в тысячу, а в десятки тысяч обойдется... Не посмеет она в К. рисковать, покуда полиция не подкуплена. А это сразу не делается. Это — как хроническая отрава. Для больших взяток тоже нужно накопить отношения взаимного доверия,

поруку осторожности, связаться временем в общности позора... К. во всех этих отношениях для Буластихи город еще новый: вот и бегите из К.

— Если бы, — признавалась Марья Ивановна, — со мною была Федосья Гавриловна, у меня, вероятно, все-таки не хватило бы энергии поступить, как сейчас... Потому что я ужасно боялась ее, а, кроме того, она всегда обращалась со мною очень хорошо... то есть, по-своему хорошо, конечно: если я получала подарки, она не накладывала лапы на мои вещи, — напротив, случалось, что еще сама дарила... Ну, а я уж такая: если человек меня не угнетает, то я против него бессильна, никогда не пойду резко ему наперекор. Меня до бешенства довести надо, — вот, как Анна Тихоновна ухитрилась, — только тогда я гожусь на смелое... А то тряпка! Полы мною можно мыть! Пыль вытирать!

С Анною Тихоновною в течение поездки в К. они грызлись, начиная от самого Петербурга. Суровый, придирчивый надзор в поездке и во время недельной остановки для «работы» в Москве и общая система Анны Тихоновны держать Машу без гроша денег выводили девушку из себя. Она принялась грубить своей мучительнице, а та ее бить.

В К. они направлялись по очень таинственному вызову. Здесь Лусьеву должен был встретить богатейший южный помещик, страстный любитель женщин, занимающий в своих родных местах слишком крупное и видное положение, чтобы развратничать открыто; к тому же он очень стыдится своего физического безобразия и боится родственников, которые зорко следят за ним, так как шибко охочи подвести старого эротомана под опеку. Поэтому, когда он затевает пожуировать жизнью в свое удовольствие, то пробирается incognito в чужой город, где его меньше знают. На этот раз он выбрал К., куда, по его заказу, должна была доставлена быть Марья Ивановна.

— Как фамилия этого господина? — спросил полицеймейстер.

Лусьева пожала плечами.

— Не знаю, впрочем, если бы и знала, то не сказала бы... Он ничего дурного мне не сделал... За что я буду его компрометировать?

Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись.

— Ну что же? конечно, вы правы... — протянул Mathieu le beau, — мы вам сейчас не допрос какой-нибудь чиним... беседуем неофициально... пока его фамилия нам не нужна...

Лусьева продолжала:

— Мне было велено звать его Хрисанфом Ивановичем... Он одноглазый и лыс, как бильярдный шар...

— Нет у нас такого... — проворчал полицеймейстер. — Спрошу по команде, кто из приезжих... должны знать!..

Женщины прибыли в К. раньше, чем Хрисанф Иванович. Он телеграфировал, что задержан на несколько дней делами, и просил ждать, с расходами за его счет. Вот почему Марья Ивановна зажилась в городе и, появляясь с баронессою Ландио в общественных местах, успела завязать несколько знакомств.

— Так вот я и вас встретила.

Mathieu le beau галантно поклонился.

Знакомствам Анна Тихоновна, разумеется, не препятствовала, рассчитывая, что, по отъезде Хрисанфа Ивановича, пустит Лусьеву в городе по рукам. Но ссоры и грызня с девушкою не прекращались.

— Особенно она меня «Княжною» допекала: понимаете, что я ей меньше доходна, чем «Княжна», не стоит со мною и ездить, никто мною не интересуется, не умею я деньги добывать... Слушаешь, слушаешь это пиленье день-деньской, ну и не сдержишься... взорвет наконец!.. Согласитесь: есть же и у меня свое самолюбие!.. Всякая подлая тварь в лицо хаять станет!.. И еще обысками она меня измучила. Откуда бы мы с баронессою ни возвратились в номер, сейчас же начинает шарить по карманам, в чулки заглянет, корсет снять велит...

это, понимаете ли, все проверяет, не работаю ли я стороною на самое себя, да не прячу ли подарки либо денег!.. Прямо вам говорю: белые огни зажигались у меня в глазах от этих обысков мерзких! Кабы нож близко, так бы и хватила по горлу либо ее, либо себя!.. Никогда никто такой подлости надо мною себе не позволял!.. Уж не говорю про рюлинское время, никто... ни Федосья Гавриловна, ни сама Буластиха... никто! И ведь надобности никакой нет, и уверена она во мне очень хорошо, и знаю, что это она нарочно, со зла, чтобы оскорбить меня лишний раз, власть свою надо мною показать!.. В Петербурге пальцем тронуть не смеет, так зато в поездке измывается. Вот-де — твоей заступницы здесь нету, так я с тебя спесь-то собью: что хочу, то с тобою и делаю!.. Они с Федосьею-то Гавриловною соперничают, кто сильнее у Буластихи, и, как водится, на ножах... Ну, если так, то тут уж и я на нее вызверилась. Ты делаешь со мною, что хочешь, так и я сделаю, что хочу!.. И уже окончательно решила бежать здесь, как Катерина Харитоновна, «Княжна» и Адель советовали... бежать непременно...

— Погодите-ка, а то забуду спросить, — перебил полицеймейстер, — как вы паспорт добыли из конторы? Там никто не помнит, когда вы его получили.

Марья Лусьева вспыхнула, потупилась. Потом подняла голову с наглым вызовом.

— Очень просто: для меня его выкрал номерной... Васильем звать. Красивый малый...

— Вы его просили?

— Да, просила.

— Не удивился он, что вы так таинственны?

— Я заплатила ему...

— Позвольте. Да вы же только что сейчас жаловались, что у вас ни копейки денег не было?

Марья Лусьева взглянула на полицеймейстера страшно мрачно и упавшим вялым голосом произнесла:

— Будто только деньгами платят...

— Гм...

— Зачем, однако, вам так понадобился ваш паспорт? — вмешался Mathieu. — Ведь вы, действительно, могли, когда угодно, вытребовать его через полицию.

— Я боялась, что они с ним сделают что-нибудь такое, что полиция должна будет принять их сторону... Или просто уничтожат документ, а потом скажут, что я — не я, и я останусь без вида, как бродяга...

— Так-с. Далее?

Хрисанф Иванович приехал. Назначено было, что он встретится с Лусьевой в театре, а затем увезет ее к себе. Все так и сделалось. Блудливый Крез остановился не в гостинице, но у какой-то своей знакомой дамы, на частной квартире. Фамилию Лусьева опять не могла сказать, а местность определила глухо.

— Я города не знаю... Ночь... Очень недурное помещение...

— Недурные помещения у нас наперечет... — пожав плечами, подивился полицеймейстер. — Странно! Ну-с... для нас вот эта часть вашей истории интереснее всего...

— Ночью я пила много вина, а когда пью, делаюсь злая. На прощанье утром Хрисанф Иванович подарил мне лично двести рублей. Я спрятала их за перчатку, на левую руку. Еду домой, в голове шумит, но веселая: радуюсь, как это ловко подошло, — если убегу, то даже и деньги есть перебиться на первое время!.. Но, едва я вошла в номер, Анна Тихоновна так и прыгнула ко мне, как кошка...

— Показывай, сколько!

— Чего вам? У меня ничего нет...

— Что-о-о-о? Врешь, голубка! Не надуешь! Других морочь: от Хрисанфа-то Ивановича без подарка? Щедрее барина в России нету. Честью тебе говорю: вынимай, сколько?

— Ничего не дал, ни гроша...

— Сколько, дрянь?!

— Сама такая!

Она так ракетою и взвилась.

— Разговаривать? Ты разговаривать?!

Бац!..

— А это что?

Схватила меня за руку... Насели вдвоем с баронессою, отняли деньги... Однако покуда мы возимся и ругаемся, вдруг стучат к нам в дверь, просят: «Нельзя ли потише, обижаются соседи...» Баронесса, выглянула в коридор, извинилась... А я взглянула — заметила, что она потом дверь на ключ не заперла, только притворила... А Анна Тихоновна, багровая, предо мною стоит, губы у нее трясутся, шипит:

— Я тебе, сударка моя, себя теперь покажу! я тебя пропишу, голубка!..

И рукава кофточки закатывает за локти... палачествовать!.. Разохотилась... Меня ужас объял: не выйду живою, забьет!.. Говорю ей, язык едва ворочается, — бормочу:

— Троньте только... ну вот троньте!.. Я на весь город кричать буду!..

А она тоже суконным языком на меня лопочет:

— Я те, я те, я те...

Пошла к умывальнику, носовой платок намочила, жгутом крутит: я уже понимаю, зачем, — рот мне заткнуть хочет...

— Это, — шепчу, — вы напрасно... оставьте, Анна Тихоновна! Тиранствовать нельзя. Я не дамся!..

А она на меня даже и не глядит уже, только сказала баронессе:

— Ты, сударыня, чего зеваешь? Запри дверь покрепче...

Та рохля, на мое счастье, старая, из робких: руки у нее трясутся, ключ в скважине застрял, не поворачивается, хотела поправить, вовсе на пол уронила... Ах, ах!.. ахает, вздыхает, подслепая, ползает по ковру... Я вдруг — точно осенило: как рвануcь, да через нее!.. Коридор, лестницу пролетела вихрем... Как ошибло меня свежим воздухом, тут только очнулась: жива!.. Ну и вот я здесь... Дальше вы знаете...

LXII

Долго длилось молчание, во время которого Лусьева сидела, низко опустив голову на грудь. Она, кажется, плакала и не хотела выдать своих слез.

— Тэк-с... — нарушил затишье полицеймейстер. — Одиссея эта ваша, можно сказать, весьма многозначительная. Что же, Матвей Ильич? Ведь надобно запротоколить по форме... тут вон какие дела открываются...

— Н-да-а... — сказал Mathieu le beau. — И к прокурору отнестись немедленно... Вам, сударыня, сделан будет допрос по форме, а затем, вероятно, вы должны будете повторить ваши показания перед судебною властью.

Лусьева сердито отозвалась:

— Хоть перед китайским богдыханом.

В соседней комнате задребезжал звонок телефона. В дверь просунулась голова озабоченного дежурного полицейского чина.

— Его превосходительство господин начальник губернии просят ваше высокоблагородие к телефону.

Полицеймейстер вышел. Mathieu le beau и Марья Лусьева остались в неловком, натянутом молчании. Чиновник рисовал пером на лежавшем перед ним синем деле фигурки чертей и профили женщин. Лусьева смотрела на него почему-то с невыразимою ненавистью.

— Ска-а-а-жите, пожалуйста, — начал было Mathieu, — вы в Петербурге не знавали моего друга Сержа Филейкина?

— Не помню, — получил он сухой ответ.

— Я больше потому спрашиваю, что он по части женщин большая ска-а-а-атина...

— Мало ли ска-а-атин!.. — в тон ему, злобно протянула Марья Ивановна.

— Матвей Ильич! пожалуйте-ка сюда! — позвал полицеймейстер.

— Казуснейшая штука, батенька вы мой! — зашептал он. — Сам черт не разберет: не то дело наклевывается, не то мистификация... Знаете ли, кто сейчас сидит в кабинете его превосходительства? Тетушка девы этой самой... баронесса Ландио!..

— Да ну? — изумился чиновник. — Позвольте: она же уехала в Одессу...

— Стало быть, не доехала... возвратилась!.. И с нею Леневская.

— Софья Игнатьевна?

— Да. Его превосходительство приказывает, чтобы девицу Лусьеву немедленно отвезти к Леневской, а завтра он сам ее увидит...

— Гм... А как же с прокурорским надзором... Может выйти неприятность... Знаете, как они щепетильны...

— Я позволил себе намекнуть... Они засмеялись, говорят, что знают и прокурорскому надзору нечего тут вмешиваться... Если надо будет, говорят, я сам перетолкую... Тут, говорят, огромнейшее и глупейшее недоразумение...

— Странно!

— Странно!

Оба потаращили друг на друга глаза, пожевали губами.

— Распоряжение вышло, не наше дело рассуждать!.. — решил полицеймейстер и, возвратясь к Лусьевой, объявил ей волю губернатора.

— Кто такая ваша Леневская? — нахмурясь, спросила девушка.

— Софья Игнатьевна Леневская — почтеннейшая дама в городе, прекраснейшая особа, первая наша дама-патронесса... бессчетно много добра делает!.. Его превосходительство желает, чтобы до свидания с ним вы остались как бы под ее охраною.

Марья Лусьева сдвинула брови еще суровее. В глазах ее забегали опасные, враждебные огоньки.

— Я не поеду! — мрачно оторвала она.

— То есть как это не поедете? — озадачился и озверился полицеймейстер.

— Не поеду!

— Но если начальник губернии...

— Не поеду! — истерически завизжала девушка. — Не поеду! Тащите силою, а по доброй воле не пойду! И всю дорогу буду кричать...

Полицеймейстер выкатил глаза и разинул было рот, чтобы гаркнуть, но Mathieu вмешался.

— Позвольте, mademoiselle, позвольте... зачем горячиться? — примирительно и учтиво заговорил он. — Никто никуда силою вас не потащит... Вопрос только о том, где устроить вас до завтра... Его превосходительство желает лично вникнуть в ваше дело...

— Не поеду! — вопияла Лусьева.

— Но иначе нам вас девать некуда!.. — рассердился теперь и Mathieu. — Не в участке же вам ночевать!

— Я готова, если надо, ночевать в участке!.. А в чужой дом, к незнакомой какой-то даме не поеду... Ишь что придумали!.. Нет, не на дуру напали! Знаю, что это значит, куда вы меня приглашаете!..

— Что вы воображаете? — рявкнул — не вытерпел полицеймейстер. — Как вы смеете? Перед вами, сударыня, люди официальные!

— Тигрий Львович! Тигрий Львович!

— Да что Тигрий Львович? Терпения, сударь мой, нет...

— Не поеду! — крепко кусая губы, ломая пальцы, твердила девушка, с тупым, неподвижным взглядом, сосредоточенным на спинке стула. — Хитры! Леневскую какую-то сочинили!.. Говорили бы прямо, что вам велено отвезти меня в сумасшедший дом!.. *)

Полицеймейстер и чиновник особых поручений обменялись многозначительными взглядами.

---

*) Parent Duchatelet. См. «От автора» — к этому изданию «Марьи Лусьевой».

— Гм... ларчик просто открывается!.. — пробормотал про себя Mathieu.

— Послушайте! Честью я вам клянусь, что ошибаетесь!.. — горячо заговорил он вслух. — С какой стати? Помилуйте! Нам и в голову не приходило...

Полицеймейстер, беспомощно разведя руками, снова прошел к телефону.

— Кто говорит? а? что? Громче!

— А? — отозвался ему знакомый начальнический тенор. — Боится? Чего боится?.. А?.. Что в сумасшедший дом?.. Ха-ха-ха! Вот чудачка!.. Да-да-да... Однако, это любопытно, что вы говорите... Да-да-да-да-да-да... Это подтверж-да-ет...

— Куда же прикажете устроить ее, ваше превосходительство? — возопил с отчаянием полицеймейстер: возня с Марьей Лусьевой надоела ему, что называется, «до шпенту».

— Ну... поместите ее в каком-нибудь приличном отеле!.. Да-да-да... Разумеется, в отель!.. Адрес сообщите Софье Игнатьевнье... Она так добра, желает заехать... Ну, и маленький надзор... на всякий случай...

Телефон замолк.

Поместиться в отеле Марья Лусьева согласилась сразу и с радостью.

— В отель я не боюсь... Только не в «Феникс»... мне стыдно...

— В «Золотом олене» можно... Вы уж, Матвей Ильич, будьте добренький — оборудуйте это, а я — к его превосходительству...

— Очень рад.

Как скоро Марья Ивановна оказалась на новоселье, в коридоре гостиницы появился неизвестного звания и полупочтенной наружности господин. Он много шутил с прислугою, по-видимому, давно и отлично его знавшею, очень интересовался электрическим освещением, внимательно и подробно, раз по десяти, изучал железнодорожные расписания на сте-

нах, театральные афиши и торговые рекламы и ни на минуту не выпускал из поля зрения дверь в номер Марьи Лусьевой

LXIII

— Я прямо и откровенно говорю вам генерал не в службу а в дружбу!

— Уважаемая Софья Игнатьевна вы знаете что я всегда заранее готов сделать для вас все что от меня зависит Но дело о котором вы просите принадлежит к разряду тех что либо гаснут сами собою без всяких просьб либо должны гореть и уже никакие просьбы потушить их не в состоянии Ваша несчастная кузина

— Племянница — поправила губернатора Софья Игнатьевна Леневская видная дама в седых кудрях с острыми и внимательными голубыми глазами — Двоюродная племянница Она дочь беднои Зины Лусьевой а матери — моя и Зины — были родные сестры Entre nous soit dit выходя за этого Лусьева Зина сделала глупейший mesalliance И вот — результаты!

— Так вот с — виноват — племянница ваша натворила и наговорила самых безумных и фантастических глупостей Да да да да да! Хорошо с! То есть очень скверно с! Наш милейший Тигрий Львович был настолько остроумен что не оформил дела сразу Его следовало бы хорошенько распечь за упущение но — победителеи не судят а после ваших откровений вчера и сегодня он разумеется оказывается нечаянным победителем Скажите пожалуйста как давно это сделалось с нею?

— Уже лет пять Она стала заговариваться после ужасной смерти своего отца он погиб под трамваем А потом

Между нами говоря (*фр*)
Неравный брак (*фр*)

подоспела неудачная любовная история... ее жених оказался большим негодяем... Un faux pas... comprenez vous? * Она... вы, Порфирий Сергеевич, конечно, поймете, как мне тяжело входить в подробности: ведь, хотя и дальняя, Маша мне все-таки родственница...

— Да-да-да-да! Еще бы, еще бы!

— Фамильный позор!

— Кому приятно?

— Она... опасаясь последствий... приняла какие-то меры... очень неудачно... Ну после того уже совсем!..

— И часто на нее находит?

Леневская опустила глаза.

— Каждый месяц.

— Ага!

Губернатор побарабанил пальцами по столу.

— Как же это, зная за нею такое, ваша курица-баронесса не доглядела ее, пустила шальную бегать по городу?

— Уж именно курица! — с добродушным и веселым гневом согласилась Леневская. — Именно курицею хохлатою прилетела она ко мне в усадьбу!.. Я сперва понять ничего не могла, едва узнала ее в лицо: ведь мы не видались десять лет... Спасите, защитите, Маша, сумасшедший дом, участок... Что же это такое? Сумбур! Хаос!.. Клохчет, руками машет, слезы... Всю ее дергает... Mon opinion est que ** — у нее самой голова не слишком в порядке!

Губернатор кашлянул с легким конфузом и сказал:

— Да-да-да-да! Я, конечно, не смею утверждать, но на меня она произвела впечатление... гм... как бы это поделикатнее о прекрасном поле?.. гм... она, грехом, не поклоняется ли Бахусу?

Софья Игнатьевна утвердительно опустила веки.

---

* Ложный шаг... понимаете? (*фр.*)

** Мое мнение (*фр.*).

— Эфир и одеколон... — прошептала она, конфиденциально вытягивая губы трубочкою.

— Ага! Как англичанки? Да-да-да-да! Ага!

— Несчастная слабость. Ах, тоже печальная ее была жизнь!.. Еще с института.

— Она где теперь? у вас?

— Да. Лежит совсем больная. Плачет в три ручья. Так ее история эта разбила, так потрясла...

— Еще бы, еще бы! Очень понятно. Да-да-да-да! Итак, добрейшая Софья Игнатьевна, я продолжаю. Официально, — а ни во что неофициальное мы входить не имеем основания, — дело вашей бедной племянницы обстоит так. Госпожа Лусьева явилась в участок с известным вам, компрометирующим ее требованием. Ввиду необыкновенности заявления, она была подвергнута медицинскому исследованию. Врач нашел ее нормальною...

— Но не специалист, excellence! * Он не специалист!

— Так точно. Обыкновенный полицейский врач, которого науке и мнению, разумеется, грош цена! Затем, в продолжительном разговоре с полицеймейстером и моим чиновником, госпожа Лусьева сделала ряд разоблачений, которые, если бы она была в своем уме, были бы чрезвычайно важны. Разговор этот, однако, остался частным, не оформленным в дознание. Тем временем мы узнаем от вас, что имеем дело с сумасшедшею фантазеркою, в чем я, конечно, нимало не сомневаюсь. Но тем не менее, — прошу вас очень понять, — непроверенным факта этого я все-таки оставить не могу и не в праве. Да-да-да-да! Полицейское дознание должно быть произведено.

Леневская насторожилась.

— Вы, ради Бога, не пугайте меня страшными словами. Я женщина, форм ваших не знаю и боюсь. Что вы подразумеваете под вашим «полицейским дознанием»?

---

* Ваше сиятельство! *(фр.)*

— Да вот, — покуда мы с вами тут беседуем, в эту самую минуту с вашей племянницы снимают допрос...

Леневская сострадательно вздохнула с спокойным видом.

— Бедная девочка! Воображаю, как она мучится и трепещет!.. Когда я была у нее вчера вечером, она просто зубом на зуб не попадала, — так дрожала от страха, стыда, волнения! «Что, тетя, со мною было? Что я наделала?..» Я битых три часа провела с нею — до поздней ночи... все успокаивала!

— А к вам поехать все-таки не согласилась?

Леневская снисходительно улыбнулась.

— Ни за что! Знаете: припадок утихает, но не совсем еще прошел... Сознание борется с обманом чувств. Она долго не хотела меня узнать, притворилась, что даже имени моего никогда раньше не слыхала, насилу вспомнила, кто я такая, и даже после того, как согласилась меня принять, как друга, потом еще раза три обзывала меня разными чужими именами... Ну я предпочла не настаивать. Баронесса предупредила меня, что ее не следует раздражать, когда она в таком состоянии. Ведь именно с того и начинаются ее припадки: кто-нибудь рассердит, и пошла писать. Если бы не эта глупая Анна Тихоновна, которая набросилась на нее поутру с выговором и ворконёю, то, вероятно, не случилось бы вчерашнего скандала. А с другой стороны, надо и Анну извинить: старая нянька, на руках ее выносила, любит свою барышню без памяти... и вдруг барышня является неизвестно откуда ранним утром, дикая, дерзкая, как будто не совсем трезвая!..

— Да, вот это еще, Софья Игнатьевна: оно не выяснено и остается немножко непонятным...

— Что, генерал?

— Как ваши старушки не обеспокоились, когда госпожа Лусьева сбежала от баронессы из театра и пропала на целую ночь?

Леневская сделала удивленные глаза:

— Mon général! О чем же могли они беспокоиться? Маша сказала им, что едет ночевать к своей подруге, m-lle Каргович... Они в Петербурге учились вместе — одного выпуска по гимназии...

— А-га-га!

— Я знаю барышню: она премиленькая... восточное что-то в типе... Отец ее, говорят, ростовщик или кто-то еще хуже, но согласитесь: за грехи родителей нельзя же отвергать детей...

— Конечно, конечно... Значит, у Каргович она и ночевала?

— Ну да!.. Там тоже теперь страшный переполох, потому что только теперь узнали... Она с вечера была совсем нормальная, это, очевидно, уже к утру с нею началось. Затосковала, вскочила с постели ни свет ни заря и умчалась домой...

— Так-так.

— Ну и вот: влетела бурею, грозит, дерется, кричит, произносит слова, о которых даже не подозревали, что она такие знает!.. бежит на улицу, в участок!.. Ну, вы знаете, что для людей старого века значит полиция!.. Страшнее землетрясения. Старухи мои совсем струсили, всякую память потеряли... Хорошо еще, что вспомнили о моем здесь существовании, и баронесса нашла меня в усадьбе... Иначе они, с перепуга, и впрямь домчались бы до Одессы!..

— А там бы их и цап! — засмеялся губернатор. — Потому что отправлена телеграмма о задержании. Да-да-да-да.

Смеялась и Леневская.

— А там бы их и цап! И на вашей душе был бы грех, потому что мои трусихи непременно умерли бы от страха!

— Скажите, пожалуйста: кто ее лечил в Петербурге?

Леневская подняла брови в недоумении.

— Хоть убейте, не вспомню... Надо справиться у баронессы: у нее от него медицинское свидетельство есть и рекомендации к южным врачам... Кнабенвурст?.. Газеншмидт?.. Нет! Потеряла фамилию: немец какой-то известный.

— Да-да-да-да! Престранная, однако, у нее форма помешательства! И откуда она все это знает и с такою обстоятельностью? Мне Матвей Ильич передал: в такой говорит последовательности и с такими подробностями... Просто, говорит, — хотя мы и мужчины, но, — извините уж, Софья Игнатьевна, — даже

и нашему брату-грешнику кое-какие новости открыла... Как это — у нее? Где могла взять примеры?

Леневская досадливо отмахнулась рукою.

— Милейших тетушек благодарить надо! Филантропки умнейшие!

— Боже мой! — пошутил губернатор, — не живем ли мы в последние времена? Софья Игнатьевна, королева филантропок, — и вдруг — против филантропии!

— Позвольте, позвольте, mon général... Я сама филантропка, но все в меру: я возмущаюсь экзальтацией... Я тоже охотно покровительствую всем этим... падшим, помогаю им, чем могу, когда они раскаиваются, но брать pénitentes * к себе в дом на попечение или прислугою, как делала покойная кузина Рюлина, но допускать их к общению с семьею, — нет! извините, Порфирий Сергеевич! для этого я не имею довольно гражданского мужества!.. У меня дочери! Их чувства чисты, их мысли невинны, а вот вам образец, какой разврат могут втихомолку влить подобные госпожи в ум девушки... Я, конечно, далека от того, чтобы приписывать этому все помешательство Маши, но не сомневаюсь, что, при других условиях, оно было бы менее... эротическое!..

— Кстати, — остановил ее губернатор, — вы не думаете посоветоваться о ней с здешними врачами? Ведь у нас два недурных психиатра... К Тигульскому больных привозят со всей России...

Леневская остро взглянула на генерала.

— По вашему тону, — сказала она, — я заключаю, что оно будет нелишним?

Губернатор пожал плечами.

— Да, пожалуй!.. — возразил он, — оправдательный документ в деле никогда не вредит.

Леневская отвечала:

---

* Наказанных (*фр.*).

— Консультации врачей, откровенно вам скажу, я очень не хотела бы. Во-первых, оба наши психиатра между собою на ножах, и когда один говорит: «белое», другой считает своим непременным долгом спорить: «нет, черное!» Они только перепугают мою бедную Машу и смутят баронессу... А затем: я отдаю справедливость их знаниям, но какой же авторитет могут они иметь после столичных знаменитостей? Машу светила лечили!.. Их можно запросить...

— Да-да-да-да!.. Вы скажите баронессе, чтобы она представила мне медицинское свидетельство, о котором вы говорили. Мы, может быть, действительно, запросим врача по телеграфу, — для несокрушимой прочности наших оплотов, знаете ли!.. А с здешними врачами все-таки посоветуйтесь: видите ли, оно нам важно, что — после факта и местные. Не надо ничем пренебрегать. Вам же, для общественного мнения, против сплетен полезно... Скандал это во всяком случае большой, и его в мешок не сразу спрячешь... Консультация, пожалуй что, — уж чересчур. Довольно, если пригласите Тигульского. Он, хотя великий дипломат и, говорят, охотник даже взяточки побирать, но — не пойман, не вор, а в своей специальности он маг и волшебник...

— Очень хорошо, — с радостью согласилась Леневская, — я сейчас же... А фамилию доктора, который лечил Машу в Петербурге, я вспомнила... то есть, вспомнила, что она у меня отмечена в записной книжке: баронесса так его расхвалила, что я на всякий случай... позвольте... позвольте... нет, то зубной эликсир!.. нашла: вот... Карл Атанасович Либесворт, Невский, 666.

— Прекрасно-с, мы, в случае надобности, с ним снесемся.

Леневская встала.

— Так что, général, если припадок моей бедной племянницы уже кончился и она дала вашим чиновникам разумные ответы, не рассказывая никаких страшных романов...

— То дело ограничится вопросом об официально заявленном ею требовании быть записанною в разряд известных женщин. А это требование мы отклоним — на основании

предъявленного нам медицинского свидетельства о психической ненормальности и за вашим поручительством.

— А если припадок еще владеет ею, и она опять наговорит Бог знает чего?

— Тогда неприятно. Дело придется передать судебной власти.

— На основании показания сумасшедшей?!

— Мы не имеем права делать самостоятельных заключений об ее сумасшествии. Установить, что она не в своем уме, будет делом следствия и экспертизы.

— Но, Боже мой! Что значит, — суд?!

— Нет, какой же суд? Только следствие. Раз будет выяснен факт сумасшествия, дело прекратится производством.

— Но, как бы то ни было, огласка и волокита?!

— Что делать?!

— Бедное дитя! Бедная баронесса! Они будут совсем компрометированы. И сколько родных восстанет... Ужасно!

— Избежать, к сожалению, нельзя. Форма-с!

— Но какая же цель? Ведь все равно вот эти труды окажутся ни к чему... Нет ничего больше и кроме того, что я вам открыла. Тут все!.. Зачем же искать пустого места?

— А для торжества и контроля правосудия. Форма-с!

— Странно! И никак нельзя предотвратить?

— Никак, Софья Игнатьевна! Если бы дело замолчала полиция, — в него легко может вмешаться прокурорский надзор, — и тогда реприманд полиции. Если промолчит прокурорский надзор, — существует на свете жандармский полковник...

Леневская сокрушительно вздохнула.

— Mon Dieu! * Сколько у нас властей! Ах, в старину было все проще и лучше... Ну, будем надеяться, что моя милая девочка уже умница и не поставит нас во все эти неприят-

* Мой Бог! (*фр.*)

ные перспективы... Во всяком случае, сердечное, душевное спасибо вам, excellence!.. У вас золотое сердце!..

— Помилуйте.

— Нет, нет!.. Это редкость!.. Столько гуманности... столько теплоты...

LXIV

— Ну что? — встретил губернатор полицеймейстера и Mathieu le beau, когда они прибыли от Лусьевой. Mathieu казался сконфуженным, полицеймейстер был мрачен.

— Полный отбой по всему фронту, ваше превосходительство! — заявил Mathieu. — Знать ничего не знает, ведать не ведает. Совсем другой человек. Нельзя узнать против вчерашнего. Очнулась и ничего сама о себе и вокруг себя не понимает.

— Гм...

— Меня сразу признала, а Тигрия Львовича нет. «Помню, — говорит, — что-то, как в тумане... Может быть, и видала вас когда-нибудь... Извините!.. Светлые пуговицы... Участок... Умоляю вас: что еще я вчера натворила? Я знаю, что на меня временами находит... Как я здесь очутилась? Где тетушка Ландио? Где тетушка Леневская?»

— Гм...

— Мы ей напоминаем, — она только глаза открывает все шире и шире: ничего не помнит, ничего не разумеет... «Это я говорила? Это я делала? Боже мой! Какой ужас, какой позор, какая бесстыдная, безумная ложь!..» И опять слезы реками!.. Пришлось нам угощать ее валерьяном, и лавровишневыми каплями, и ландышами... Тут, к счастью, Софья Игнатьевна подъехала. Мы ей девицу эту и сдали с рук на руки.

— Гм... Вчера и сегодня никто не навещал ее?

— Кроме Софьи Игнатьевны. Она за полночь сидела.

— Гм... Да-да-да... Так что ваше окончательное заключение?

— Вралиха и сумасшедшая! Несомненно.

Полицеймейстер угрюмо промолчал.

— Вы что, Тигрий Львович? — обратил на него внимание губернатор. — В сомнении?

— Не то чтобы в сомнении, ваше превосходительство, а в большой растерянности. Уж больно складно девица вчера врала! Словно бы сумасшедшие так не умеют.

— Ну, отец родной, на этот счет мы с вами не судьи... на то психиатры есть! С Тигульским поговорите, если интересуетесь.

— О фамилиях мы ее опрашивали, которые она поминала вчера, — сказал Mathieu.

— Ну-с?

— То же самое. Одни оказываются ей родня, — Рюлина эта, Брусакова, — а других она уже не помнит... «Не знаю, — говорит, — откуда взялись? Должно быть, когда-нибудь в каком-нибудь романе вычитала... не мучьте меня, ради Бога, вашими вопросами! Мне так позорно и стыдно! Лгала! Все лгала! Всегда лгу, когда на меня находит!»

— Вы в «Фениксе» хотели побывать? — обратился начальник к полицеймейстеру.

— Был и номерного Василия допрашивал. Но он только глазами хлопает... Ни при чем-с! Лгала, действительно.

— Гм... А ночевала она у Каргович?

— Так точно, ваше превосходительство: у Каргович... Только осмелюсь доложить: Карговичи эти — люди очень подозрительные...

— Гм... В чем именно?

— Темная публика-с. Отец бракоразводный ходатай, мать — мелкая ростовщица. Что у самого, что у самой рожи такие — словно таксы одушевленные-с: на всякую, мол, подлость готов, только дай настоящую цену. Из сыновей один бит в Соединенке за нечистую игру-с, другой выступал куплетистом в кафешантане, почти открыто живет с старою майоршею тут одною, обирает ее, сутенер какой-то-с. А дочка эта, которая будто бы

госпожи Лусьевой подруга, совсем на порядочную барышню даже и не похожа-с... Завсегдатайница в Гранд-отеле-с, каждый вечер там заседает в мужской компании. Больше с банковскими путается, из маленьких-с... Откровенно сказать, — ежели судить по видимости, то я не госпоже Лусьевой, но именно этой госпоже Каргович желтый билет охотно выдал бы...

— По видимости, Тигрий Львович, сейчас судить нельзя. Теперь, знаете, пошли эти, как бишь их, демивьержки... Такая мода в обществе, чтобы приличная барышня вела себя хуже публичной девки.

— Я понимаю-с и обвинять госпожу Каргович на себя не беру-с, ибо, кроме видимости, фактов против нее никаких выставить не имею-с. Тем более, что она, говорят, даже замуж выходит — за банковского гуська одного. Помощником бухгалтера служит. Действительно, в Гранд-отеле он постоянно с нею.

— Ага. В таком случае, это его одного и касается. Его жениховское дело. Да-да-да... Знаете, эти банковские чиновники — всегда мелюзга дурного тона. Сидеть компанией в кафешантане им необыкновенно светским шиком представляется. Да, да, да. Поди, сам же он и водит невесту по Гранд-отелям-то этим... Просвещает. С европейскою культурою знакомит. Ха-ха-ха!

Полицеймейстер сурово усмехнулся.

— А потом, глядишь, в банке растрата, а у нас — протокол о самоубийце!

— Да-да-да... Возможно, но непредотвратимо. Что? Да-да-да. Разве мы в состоянии предотвратить, Тигрий Львович?

— Где уж, ваше превосходительство! Ежели человек попал на пиявку, — судьба!

— Так — фактически-то эти Карговичи ничем не замараны?

— Нет, ваше превосходительство, — только долгом считаю повторить: по всему видать, что прохвосты.

— Ну, оценка их нравственных качеств сейчас в наши обязанности не входит. Главное теперь, чтобы без неясности в деле... Значит, факт ночевки у Каргович установлен?

— Совершенно, ваше превосходительство. И сама признается, и Карговичи подтвердили, и извозчика я нашел и допросил, который привез ее от Каргович.

— Гм...

Губернатор задумался.

— В конце концов, как и следовало ожидать, пустяки! Слава Богу, я очень рад, что пустяки! все хорошо, что хорошо кончается. Эта бедная Леневская так волновалась... А баронесса смешна! Плачет, а смешна!.. Mathieu, вы как находите? Смешна ведь? А?

— Смешнее, ваше превосходительство, невозможно.

Вошедший дежурный чиновник подал пакет.

— От Софьи Игнатьевны Леневской.

Начальник прочел довольно длинное письмо, держа в левой руке приложенные документы.

— Тигульский велит им немедленно ехать за границу, в Вену, к Крафт-Эбингу какому-то... А хоть к самому Папе Римскому, только бы с рук долой!.. Да-да-да! Софья Игнатьевна просит о паспортах. Вы, Матвей Ильич, распорядитесь там... заезжайте к ней...

— Слушаю, ваше превосходительство. Смею спросить: едут госпожа Лусьева и баронесса Ландио?

— Нет, баронесса совсем расхворалась. Софья Игнатьевна берет для госпожи Лусьевой компаньонку... какую-то госпожу Вурм. А эту бумажку, милейший мой, приобщите к делу. Да-да-да!

Медицинское свидетельство, выданное Марье Ивановне Лусьевой доктором Либесвортом, гласило, что госпожа Лусьева — пациентка его — в течение пяти лет, вследствие хронической женской болезни, страдает истерическим невропсихозом, выражающимся периодически, по преимуществу в менструальные сроки, припадками быстротечного бреда, с наклонностью со временем перейти в paranoia sexualis persecutoria *.

* Мания сексуального преследования (*лат.)*.

— Как? — воскликнул начальник, округляя веселые глаза.

— Paranoia sexualis persecutoria.

— А это какой зверь и чем его кормят?

— Не могу знать.

— Ох уж эти психиатры! Точно египетскими иероглифами пишут... Во всяком случае, документ ценный. Софья Игнатьевна обещала доставить такой же от доктора Тигульского. А затем — пусть едут на все четыре стороны... Как в газетах пишут — инцидент исчерпан!.. До свидания!..

LXV

— Тигрий Львович, Тигрий Львович! — догонял полицеймейстера Mathieu le beau. — Вы что же такой пасмурный?

— Не люблю-с чувствовать себя в тупике и не понимать-с.

— Но дело ясно как день: сумасшедшая!.. Неужели вы еще сомневаетесь?

— Нет-с, не сомневаюсь. Как же я смею сомневаться, коль скоро два документа!.. А только — воля ваша: тут есть что-то и кроме сумасшествия... Нечисто! Чует мой полицейский нос...

— Позвольте! Но если за Лусьеву ручается сама Софья Игнатьевна?

— То-то вот, что Софья Игнатьевна! В ней вся препона. Кабы не Софья Игнатьевна, я бы никаким докторам не поверил... Не врут-с сумасшедшие так убедительно! не врут-с! И вот помяните мое слово: я еще раз говорю вам: нечисто!

— Paranoia sexualis persecutoria!

— Да это что же? Это уже последнее дело говорить такими ехидными словами!.. Для ихнего брата, ученого, она, может быть, и чрезвычайно какая большая штука, эта бисова паранойя, а ежели человек состоит на полицейской службе, ему один черт — что паранойя, что наша, российская матушка-ерунда.

— Так что же, наконец? — возразил Mathieu le beau. — Еще не поздно. Если вас грызут подозрения, можно настоять...

Полицеймейстер замахнул руками.

— Что вы? Разве я к тому? Заявления свои госпожа эта безумная взяла обратно, документы оправдательные налицо. Сбыли сокровище с рук, и слава Богу! Кума с воза — куму легче! Что я за вчинатель такой?

(Русская полиция, крайне суровая к низшим классам проституции, как тайной, так и явной, столь же неохотно вмешивалась в быт проституции высшего разряда, с ее спотыкливыми и двусмысленными уликами тайного промысла. Играли здесь известную роль взятки (дела полицеймейстеров: кронштадтских — Шафрова и Головачева, николаевского — Бирилева, уральского — Саратовцева), но еще более — осторожность столкнуться с «зверем не под силу», с которою совершенно не считались разные Andrieux и им подобные парижские герои У нас не любили «влетать в историю». Елистратов, 17—56, 290, 291. — В городах, где надсмотр за женщинами ускользает из рук полиции (Москва), последняя обиженно начинает не обращать внимания на тайную проституцию вовсе. Там же. — Идеал полицейской регламентации — или все, или ничего Проект московского обер-полицеймейстера от 1890 года требовал предоставления полиции власти вносить женщину в проституционные списки «помимо воли причисляемой», со штрафами до 300 руб. и арестами до 2 месяцев. Еще притязательнее были проекты генерал-адъютанта Трепова (петербургского градоначальника) от 1869 года, чиновника особых поручений при варшавском обер-полицеймейстере, г. Тимофеева и т.п. Елистратов, 363—365.)

— В подобных делах надо действовать наверняка-с, а не то — оступишься, да репутацию вывихнешь, что потом и не вправить! Вы вспомните, что эта госпожа Лусьева про связи своих хозяек с полицией рассказывала. Тут и сам не заметишь, как глотнет тебя какой-нибудь кит этакий хуже, чем Иону-пророка. Да — что Иона! Он, когда кит его выплевал, человеком остался и опять в пророки был определен, а из нашего брата во чреве китовом что выйдет, даже неудобно назвать-с. Нет, уж где полицейскому чину благородным негодованием пылать и проявлять инициативы к изысканию общественных язв. Делай, что велят, иди, куда пошлют, а впрочем — своя рубашка к телу

ближе-с. И в полиции-то служить — не велик сахар. В полицию человека нужда загоняет; когда больше деваться некуда, а плоть немощна — привык сыто есть, сладко пить, мягко спать. А уж если ухитрился сломать себе ногу даже на полицейской службе, — значит, тебе крышка. Дело кончено: заказывай гроб, ложись да помирай. Все твои житейские карьеры, стало быть, свершились, и никому под луною ты более не надобен, и не найдется ни одного такого доброго идиота, чтобы дал тебе труд и хлебом кормить тебя согласился... Нет, батенька! Не так устроена мать-полиция, чтобы в недрах своих междоусобною полемикою заниматься. Только в том и секрет бытия нашего, что — держись друг за дружку и соседу мирволь и потрафляй.

— К тому же, — заметил Mathieu le beau, — даже и в нашем городе, вы оказались бы на очень неблагодарной почве. Софья Игнатьевна употребляет все усилия потушить эту темную историю. А вы знаете: авторитет Софьи Игнатьевны... наша губернская королева!

— Боже меня сохрани идти против мнений и желаний Софьи Игнатьевны! Никогда-с и ни за что-с... Да и все равно мне, в конце-то концов-с... А только я не люблю не понимать. Понять же не в состоянии. Хоть зарежьте! И больше ничего-с... Эге! Новый портсигарчик у вас... Позвольте полюбопытствовать? Изящная вещица. Батюшка! да — никак золотой?

— М-м-м... да, кажется, — замычал несколько сконфуженный и покрасневший в лице Mathieu. — Знаете, собственно говоря, пренеловкая штука вышла... Эта Лусьева, через Леневскую, непременно просила меня принять от нее на память.

— Ага!

— Н-да... она, видите ли, так, благодаря за мое человеческое к ней отношение, говорит, что никогда не забудет, что я ее спас, ну, и всякие там прочие хорошие слова... Я, конечно, отказывался, отнекивался, указывал, что мне даже неприлично несколько, похоже на взятку. Но вы знаете характер Софьи

Игнатьевны: если она решила, то поставит на своем, — отказывать ей труд напрасный... только наживешь врага.

Полицеймейстер потупился и вздохнул. Он почел излишним сообщать губернаторскому чиновнику, что часа два тому назад имел подобное же объяснение с тою же самою Софьею Игнатьевною Леневскою из-за чудесной венской коляски и сбруи на дышловую пару, которыми одарить его воспылала желанием симпатичная баронесса Ландио.

— Взятка! Как вам, Тигрий Львович, не стыдно даже держать в уме слова подобные, не только что произносить? Друг я вам или нет? Крестила я вашу Олечку или нет? Свои мы или чужие? Разве я способна принять на себя поручение, которое пахнет взяткою? Разве у меня достало бы дерзости предложить вам — вам! — вам!! — взятку?! Наконец, позвольте сказать вам прямо: насколько я лично вас люблю и уважаю, настолько же терпеть не могу вашу службу и ваш мундир. Да! да! да! можете почитать меня какою угодно неблагонадежною, даже хоть революционеркою, но полицию я ненавижу! С моим прелестным и милым кумом Тигрием Львовичем я готова беседовать и дружить, сколько он сам того пожелает, к полицеймейстеру — никаких дел не имею и не хочу иметь. Когда говорите со мною, извольте выбросить из головы должность вашу. Взятка! Повернуло же язык — сказать! Уж если на то пошло, милостивый государь вы мой, то, погасив наш фамильный скандал, вы оказали нам такую огромную услугу, что, в качестве взятки, безделица, которую просит вас принять баронесса, была бы просто смешна. Шантажист, взяточник, кровопийца могли бы разорить нас на этом деле, потому что честь фамилии для нас дороже всего, и пятен на своем гербе мы не допустим, хотя бы нам для того пришлось остаться нищими. И это вам лучшее доказательство, что никто не хочет унизить вас взяткою, как никто из нас — ни я, ни бедная Маша — не желаем считаться с вашим всемогущим полицеймейстерством. Предоставляем другим трепетать пред вашим величием. Для нас оно не существует. В наших глазах вы про-

сто симпатичный, гуманный, чуткий, отзывчивый Тигрий Львович, который умел так редко по-человечески отнестись к нашему несчастию и, как чудом, спас наше имя от грязных клевет и сплетен. И вот мы, три дамы, хотим, чтобы вы сохранили об этом случае памятку нашей благодарности. Вот и все. И — никаких возражений! Иначе мы поссоримся. Мещане мы разве, чтобы делать вопросы из пустяков, считаться друг с другом в услугах, искать подозрительные причины за каждой любезностью? Не надо спорить! Разве могут быть два разных мнения о мелочах подобных у двух друзей, принадлежащих к нашему кругу — людей порядочных и взаимно уважающих?

Вечером в клубе полицеймейстер отвел доктора Тигульского в уголок и осадил его вопросами о Лусьевой. Доктор — лысый, в русой, круглой бородке, с прямым польским носом — смотрел в лицо полицеймейстера проницательными, но непроницаемыми серыми глазами, и говорил медленно, с лютым акцентом и с ударениями на предпоследнем слоге каждого слова:

— Та-ак... Ото ж правда... То есть правдивейшая paranoia sexualis persecutoria. А ежели то бендзе мило пану пулковнику, может быть также dysnoia deliriosa *, як пишет профессор Корсаков з Москвы. То есть юж други недуг, але вам то есть вшистко едно, муй пане, бо, гдзе тыя paranoia кончается, гдзе начинается dysnoia, тего не тылько пан полицеймейстер, сами дяблы в пекле не могон домыслиц, ежели не учились медицине.

— А вы можете домыслить? — не без обидчивой свирепости вопросил Тигрий Львович.

Доктор обдал его дымом благовонной сигары и спокойно возразил:

— А як же? Ежели я вижу дефект координации жестув?.. И в лице така асимметрыя?.. Тож paranoia, муй пане, як пана Бога кохам! А, може, dysnoia, чи еще друга якась болесц... Огульне пане, — маниакальна экзальтация!..

* Безумная одышка (*лат.*).

LXVI

Курьерский поезд шел последним перегоном на Броды. В купе первого класса пожилая скромно одетая дама и нарядная молодая девушка считали деньги.

— Итак, — сухо говорила пожилая дама, — я передала вам две тысячи золотом, три — бумажками и пять тысяч — перевод на Лионский кредит.

— Совершенно верно! Покуда — мы в полном расчете.

— Двести рублей по уговору будут переводиться вам каждого пятнадцатого числа.

— Очень хорошо. Число мне безразлично, но прошу быть аккуратными, чтобы день в день. В первый же раз, что я не получу денег, я еду в Петербург и прямо на Гороховую... Поняли? Так и передайте!

— Не пугайте, пожалуйста. Не из робких. И не беспокойтесь. Будем аккуратны. Вы и без того уже сделали слишком много неприятностей и принесли убытков.

— Не так бы вас всех еще следовало! — со злобою сказала девушка. — Только то вас спасает, что я в деньгах дура и больших сумм воображать не умею.

— Порядочно счистили и без того! Надо иметь совесть.

— Да! Уж о совести только нам с вами считаться... Хорошенькие цацы! нечего сказать!.. Да вот еще разве — даме этой великолепной губернской, тетушке моей новоявленной... Вот фрукт так фрукт! Много я пройдох видала, а эта — всем зверям зверь! Всех вокруг пальца обвела, спутала и в тупик посадила! И как вы ее раздобыли?

— Наше дело.

— А что? Много она с вас слупила?

— Наше дело, — еще холоднее возразила пожилая дама.

Девушка захохотала.

— Доктор тоже этот, которого она привозила... теплый парень! Асимметрию лица у меня какую-то нашел... У самого-то

у него теперь асимметрия... только не лица, а карманов!.. Да! А каким это чудом от Либесвортишки свидетельство явилось?!

— Не все ли вам равно?

— А-га! Фальшивое, значит? Подделали? Славно! Ну, не сообразила я тогда... не на десяти бы тысячах мне с вами мириться!

Дама с досадою возразила:

— Ошиблись. Никакой фальши, и никто ничего не подделывал. Самое настоящее свидетельство.

— С неба вам свалилось?

— Не с неба, а с вами же приехало из Петербурга. Такие свидетельства Либесворт выдает всем воспитанницам Прасковьи Семеновны, когда они едут на работу в провинцию... заранее, — чтобы предупредить скандал, если они, вроде вас, вздумают буйствовать... понимаете?

— Ловко! — поразилась Лусьева. — Так всем?

— Всем.

— И «Княжне», и Жозе?

— Всем.

— Ловко... Небось и за это надо платить аспидовы деньги?

— Да, дерет... — с невольным унынием призналась дама.

Лусьева злобно улыбнулась:

— Трещит у Буластихи шкура!..

— А вы не злорадствуйте! Ежели человек в незадачной полосе...

— Чтоб ей, дьяволу, вечно такая полоса шла!..

— Что ругаться? Дело прошлое.

— Уж очень ненавижу! Дрянь я слабодушная! На чистый паспорт и деньги польстилась. Кабы настоящий характер, самой бы лучше пропасть, да и вас всех в Сибирь упечь!

— Уж и в Сибирь! На первый раз — всего только к мировому и сто рублей штрафу.

— Неужели? Ах, скажите, пожалуйста!.. — насмешливо передразнила девушка. — Зачем же вы от ста рублей откупаетесь тысячами?

— Затем, что язык у вас слишком длинен. Сибирь — не страх, а вы могли привести, да уже и привели было в расстройство все дело. Ну и еще раз напоминаю вам, Марья Ивановна: довольно! Поболтали в свое удовольствие, — и будет. Свое выболтали, на замазку рта получили, обеспечены по гроб жизни, — теперь сидите в загранице смирно, тише воды, ниже травы, чтобы о вас ни слуха ни духа. Не то — вас не только что в Вене или где там еще — на дне морском достанем!.. Сами не заметите, как тихою смертью умрете!

— Не коротки ли руки?

— Вас, голубушка, и сейчас очень легко можно бы сплавить, и гораздо это дешевле, чем торговаться с вами и за границу вас отправлять. Только то боязно, что — кто их знает? Может быть, за вами еще следят... Уголовщина теперь, после вашей огласки, — благодарите своего Бога! — нам не с руки... А то — оно очень просто! Вы это понимаете! Не форсите!

— Я ничего.

— А смеетесь чему?

— Прасковья Семеновна накладет баронессе по первое число!

— В этом не сомневайтесь! Расправа будет по правилу.

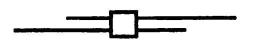
— И Анне Тихоновне влетит!

— И Анне Тихоновне.

— Так и надо! Так и надо! Жрите друг друга здесь, волки поганые!

Девушка бешено захохотала и захлопала в ладоши.

— А я в Вену!.. И — черт вас всех тут дери!.. Никого не жаль!.. Вырвалась!.. Сама теперь по себе... Я в Вену, я в Вену, я в Вену!..



СОЧИНЕНИЯ, КОТОРЫМИ «МАРЬЯ ЛУСЬЕВА» ПРОВЕРЕНА В БЫТОВОЙ ЧАСТИ

Елистратов А. О прикреплении женщин к проституции. (Врачебно-полицейский надзор.) Казань, 1903. Тут же превосходный указатель иностранной литературы по вопросу.

Маргулиес М.С. Регламентация и свободная проституция. СПб., 1903.

Мартино. Тайная проституция. 2-е русское издание. СПб., 1887.

Ахшарумов Д.Д. Проституция и ее регламентация. Рига, 1889.

Покровская М.И. Врачебно-полицейский надзор за проституцией способствует вырождению народа. СПб., 1902.

Обозненко П.Е. Поднадзорная проституция С.-Петербурга по данным врачебно-полицейского комитета и Калинкинской больницы. СПб., 1896.

Грязнов К.Ф. Публичные женщины. М., 1901. (Рыночная компиляция).

Федоров А.И. Позорный промысел. СПб., 1900.

Кузнецов Михаил. Проституция и сифилис в России. СПб., 1871.

Гирш. Преступления и проституция как социальные болезни. СПб., 1898.

Золотарев. Личная и общественная борьба с развратом. М., 1900.

Грубер Макс. Проституция с точки зрения социальной гигиены. Одесса, 1902.

Дальтон. Социальный недуг. К вопросу о проституции и о приютах св. Магдалины. СПб., 1884.

Корнич Т.Г. Гигиена целомудрия (пер. Н. Лейненберга). Одесса, 1890.

Ломброзо и Ферреро. Женщина преступница и проститутка (пер. Гордона). 2-е изд. Киев, 1902.

Генне-Ам-Рин Отто. Недостатки современного полицейского надзора за общественною нравственностью (пер. Гордона). СПб., 1900.

Продажа девушек в доме разврата и меры к ее прекращению. М., 1897 (изд. Живарева. Рыночная компиляция).

Parent Duchatelet A.J.B. De la prostitution dans la ville de Paris. 3-me éd. par A. Trebuchet Poirat Duval. Paris, 1857.

Авчинникова В.В. Взгляд профессора Тарновского на проституцию. 1904.

Fregier. Des classes dangeureuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures. Paris, 1840.

Prof. B. Ball. Эротическое помешательство. Лекции, записанные dr. Lefevr'ом (пер. А.А. Яковлева). Харьков, 1887.

L. Martineau. Leçons sur les déformations vulvaires etc. 1884.

Крафт Эбинг. Судебная психопатология (пер. А. Черемшанского). 1897.

Antonino Cuitrera. La Mala Vita di Palermo. 2-a edizione. Palermo, 1900.

Dr. O. Commenge. La prostitution clanetestine á Paris. 2-me éd. Paris, 1904.

Рубиловский А.Л. Повинность разврата. СПб., 1905.

Рубиновский А.Л. Концентрация проституток. СПб., 1905.

Prof. Bettmann. Die ärztliche Ueberwachung der Prostituierten. Jena, 1905.

Dr. Канкарович. Проституция и общественный разврат. СПб., 1907.

МАРЬЯ ЛУСЬЕВА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Дорогому сотруднику и товарищу
МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ КОЯЛОВИЧУ
посвящаю два тома «Марьи Лусьевой»
в память многих добрых бесед и писем.

Александр Амфитеатров

Fezzano
1911.V. 27

От автора

В предисловии к издаваемой ныне «Марье Лусьевой за границей» мне придется весьма немного прибавить к тому, что говорили предисловия и послесловия к трем изданиям «Марьи Лусьевой», но кое-что должен я повторить из сказанного в них. И прежде всего — предупреждающую просьбу к читателю: не видеть в новой «повести» моей даже попытки к художественному обобщенно быта европейской проститутки-одиночки. О художественности в этих быстрых бытовых и публицистических набросках я совершенно не заботился. Причины, почему, тем не менее, я выбрал для обзора такой острой социальной темы форму «повести», я излагал в первом предисловии к «Марье Лусьевой» (1904 г.): общественный фельетон, инсценированный в виде драматического диалога, легче принимается и усвояется девятью читателями из десяти, чем фельетон такого же точно содержания, написанный в виде рассуждения, как «взгляд и нечто». По-прежнему считаю себя в полном праве сказать: в этой книге нет ни одной страницы выдуманной или вымышленной. Выдумана, конечно, только общая концепция «повести». Да и то, пожалуй, на этот раз не совсем, потому что в 1904 году в Риме я, действительно, встретил в Salone Marguerita* русскую немку, совершенно обитальянившуюся, которой обязан весьма многими из рассказов, теперь вложенных мною в уста Фиорины. Словом, вся эта «повесть» — накопление почти сырого материала фактических наблюдений, как непосредственных, так и из первых или вторых верных рук.

---

* Салон Маргариты (*фр.*).

Проверял я материал этот, как и в «Марье Лусьевой», также и по книжной литературе — и должен сознаться, что латинский Запад изучил свою проститутку гораздо лучше, чем Россия свою, — в смысле общественно-патологического явления. О психологии же ее здесь, наоборот, мало кто заботится, и те шаги, которые в последние 25—30 лет сделаны в этом направлении, преимущественно, французскою изящною литературою, едва ли не всецело вызваны русским влиянием, главным образом, конечно, образами Сони Мармеладовой и Катюши Масловой. Так, например, апофеоз «дешевой проститутки», созданный Марселем Швобом в «Книге Монеллы», даже и начинается как бы гимном в честь Сони Мармеладовой. Но и то вся подобная литература идет из Франции за границу, где и потребляется; западному же буржуа она чужда. Когда француз или итальянец, вдохновясь Толстым или Достоевским, думает написать судьбу проститутки трогательно, он пишет по сухой, условной схеме фальшивую мелодраму — с притворными слезами, как на глазах автора, так на глазах читателей или зрителей. Так ведь, в конце концов, обработали здесь и Катюшу Маслову с Соней Мармеладовой. Буржуа нисколько не верит в ту особенную психологию, которую ищет в мире проституции больная, надломленная совесть славянских и, в последние два десятилетия, еврейских писателей (Шолом Аш, Юшкевич и др.). Для буржуа, в глубине души его, la fille joyeuse * (старинное название французской проститутки) — по существу — такая же промышленница на общественный спрос, как всякая другая. Если она, по неизжитому средневековому пережитку, еще покрыта позором, то степень этого позора весьма меняется, в зависимости от ее ренты и, при достаточной высоте последней, т.е. на верхушках проституции, сводится почти что к нулю. Если мы сравним западную изящную литературу о проституции с русскою, то удивительна прямолинейная разница в характере и направлении жалости, с которою подходят авторы к предметам своего сочувствия. Я не знаю ни одной яркой литературной вещи чисто латинского происхождения, в которой звучала бы та, полная угрызений общественной совести, чисто моральная скорбь о проститутке, которой потрясают нас Достоевский образами Настасьи Филипповны в «Идиоте» и Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Гаршин в «Надежде Николаевне»,

* Веселая девица (*фр.*).

Толстой в «Воскресении» и т.д. Латинская литература, начиная с аббата Прево, давала и дает очень сильные и грозные картины ужасов и унижений проституционного промысла (Зола, Гонкуры, Гюисманс, Мирбо, Мопассан), но нетрудно заметить, что вся их скорбь обращается на проститутку-неудачницу и имеет в виду чисто профессиональные бедствия и несчастия проституции: венерические болезни, борьбу с полицией, половое переутомление, алкоголизм, отсутствие заработка, вымогательства и жестокость любовника, раннее увядание и преждевременную старость, потерю красоты, туберкулез и т.п. Сочувствие западного писателя к проститутке, следовательно, строится почти исключительно на экономическом фундаменте. Этого практического элемента не лишена даже старинная трагедия Фантины в «Les miserables» * Виктора Гюго, который умел заглядывать в социальные вопросы глубже и человечнее многих писателей своей расы. Для того чтобы французский писатель оценил ужас проституции, он должен видеть проститутку, которой изменил ее промысел. Если промысел кормит и даже развивает благосостояние, то не только Жаны Лоррэны какие-нибудь, но даже писатели гениальной чуткости, как Гюи де Мопассан, тонкие сентиментальные психологи, как Альфонс Додэ, не идут в изображении проститутки глубже той же старинной и внешней fille joyeuse, что царила в литературе XVII—XVIII веков. Разве не благополучнейшее место во Франции «Maison Tellier» **, разве не счастливы бытом своим женщины рассказа «La femme de Paul» ***, разве не завидно-очаровательна «Сафо»? Европейский писатель (кровный, не подражатель русской школы) жалеет проститутку не за то, что она проститутка, а за то, что у ней может отвалиться нос или развиться скоротечная чахотка, и тогда она на себя не работница и должна опуститься на уровень чудовищной животной нищеты, ужасающей буржуазное воображение, как предел терпения человеческой природы. Мне возразят: а «La Dame aux camelias»? **** Во-первых, это — мелодрама, во-вторых, Маргарита Готье, подобно своей предшественнице, Манон Леско, погибает жер-

---

* «Отверженные» (*фр.*).

** «Заведение Телье» (*фр.*).

*** «Женщина Поля» (*фр.*).

**** «Дама с камелиями» (*фр.*).

твою совсем не проституции, но фамильной чести Дювалей, которая сурово восстает против союза Армана с une decllassée *. Такая же беда одинаково стряслась бы над бедною Маргаритою, если бы она была не дамою с камелиями, но чистейшею крестьянкою с васильком или горничною с анютиными глазками. Для того чтобы факт проституции оскорбил чувства западного писателя на чисто моральной почве, нужно что-нибудь ужасное, из ряду вон омерзительное, нарушающее законы естества, потрясающее основы общества: кровосмешение «Франсуазы», ребенок, запертый в шкафу, и т.п. Да и то не забудем, что подобные «трагические анекдоты» нарушали душевное равновесие у таких могучих и чутких людей, как Бальзак, Мопассан, Зола. Но Жан Лоррэн или Ришар О'Монруа нисколько не постеснялись бы сделать из них смехотворные анекдоты, которые и рассказали бы публике превесело и с совершенно спокойною совестью. Проститутку скорбного, вернее даже будет сказать, мрачного, демонического (и в этом его острое различие от русских) протеста знает в романских странах только поэзия, вышедшая из наследия Бодлэра. Но для этой поэзии — «чем хуже, тем лучше»: в ней много проклятий гнева, много ликующего ада, но святой возвышающей скорби по женщине-человеку, создавшей «Преступление и наказание», «Надежду Николаевну» и «Воскресение», — не ищите, нет. Второстепенные французские авторы, которые, напитавшись Толстым и Достоевским, пробовали отразить эту скорбь, писали либо сухо-теоретические, почти педантические, скорее социологические диссертации, чем романы (Род, Маргерит), либо невероятную сентиментальную пошлость, лгущую и замыслом, и словами, и тоном, и действием.

Литература не может быть сама по себе. Она — отражение жизни. Если один писатель на востоке Европы подходит к проститутке, надрываясь по ней предвзятою скорбью уже за то, что она проститутка, а другой — на западе — на ту же самую проститутку смотрит с совершенно спокойною совестью, буде у нее не гниет тело от сифилиса и туберкулеза, — очевидно, не сами же по себе столь различны эти писатели своими совестями, а ведет их совести разными путями разная жизнь на Востоке и Западе, жизнь, из которой оба писателя органически возникли, чтобы отражать ее явления в зеркале своих дарований.

* Деклассированный (*фр.*).

Когда Ломброзо установил драгоценную для буржуа гипотезу о специальной расе преступников и проституток, Запад встретил ее громом рукоплесканий, как успокоительное открытие; а у нас Глеб Успенский впал в истерику от искреннейшего негодования на фатализм «серповидной челюсти», будто бы обрекающей девушку в жертвы разврату. Замечательно, что, покуда русская литература стояла под влиянием французского воспитания, вопрос о проститутке ее также нисколько не беспокоил. Даже величайшие наши писатели из дворян не избегли такого «барского» взгляда на проститутку. Пушкин и Лермонтов — образцы легкого отношения к продажной женщине, причем второй, а в особенности Полежаев, способны были находить веселые мотивы даже в самых непреложных ужасах проституции. Полежаев в «Сашке» с искреннейшим восхищением описал разнос студентами веселого дома и жесточайшее избиение ни в чем не повинных женщин. Для Пушкина, в отношениях к женщинам вообще, типического ученика французов, — проститутка — только приятная мужская игрушка. Если он серьезно задумывается над судьбою проститутки, то трагедия последней для него исключительно в том, что старость отнимет у нее возможность быть игрушкою красивою и занимательною (Лаура в «Каменном госте») и — «что тогда?» Проститутка — человек, живая душа в падшем теле, понадобилась лишь новому русскому писателю из демократизированного дворянства, оскуделого в соседстве с разночинством (Достоевский, Некрасов), которому быстро пришел на смену уже настоящий разночинец чистой воды (Левитов, Воронов, Успенский). Она, если хотите, создание интеллигентного пролетариата. Толстой, — хотя до мозга костей дворянский художник, — не исключение из правила, а его подтверждение. До понимания Катюши Масловой он дорос лишь к 70 годам жития своего. Ранее проститутка возбуждала в нем барскую брезгливость, с которою он боролся теоретически, по долгу, но не по чувству. Вспомните Левина у смертного одра его брата.

В странах латинской культуры не было, да и сейчас нет, ни литературного разночинца, ни интеллигентного пролетариата в той форме, как вылились они в искалеченной запоздалым неправильным ростом культурной России.

Изучая самые тяжелые страницы западной романтической богемы, все-таки видишь очень хорошо, что это лишь подготовительное

мытарство куколки, из которой затем в свое время выведется весьма определенная буржуазная бабочка и почти механически найдет себе предназначенное место в старой, на диво слаженной культурной классификации своего народа. Исключения вроде Бодлэра, Верлэна и т.п. только подтверждают правило огромно преобладающего большинства. Удивительно ли, что не открыли душу проститутки страны, где нет ни «лишних людей», ни «людей из подполья», где неведом художник Пискарев, и где, чтобы хоть сколько-нибудь объяснить публике Раскольникова, играют его сумасшедшим? Когда в французскую беллетристику проникло веяние социализма, вопрос о проституции не мог не выплыть на поверхность в новом свете (романы Эжена Сю). И вот тут-то впервые сказалась та практическая черта латинского гения, о которой я упомянул выше. Отрицательное социальное явление сразу освещено было с экономической точки зрения, и освещение ничуть не изменилось затем по существу, хотя прошло много фазисов в течение добрых 75 лет. Замечательно, что в России этот взгляд на проституцию, с точки зрения романтического социализма, не имел никакого успеха: ему не поддался ни один крупный реалист, хотя все они почитали себя в женском вопросе учениками великой француженки Жорж Санд. Насаждать семена экономического сентиментализма в русском огороде выпало на долю Всеволода Крестовского («Петербургские трущобы»), а затем его песня сразу перешла в бульварную беллетристику и осталась вне литературы. Достоевский разбил это направление даже без сражения и повел, и ведет за собою русский вопрос о проституции вот уже 50 лет. Первое литературное десятилетие XX века посвятило русской проститутке очень много внимания, но ни один из авторов не пошел дальше Сони Мармеладовой. Все писали ее же, лишь воображенную в прямом или обратном освещении. И даже те авторы, которые в последнее время усиленно апофеозируют проститутку как повсеместную носительницу постоянного протеста против, всегда и всюду искаженного неумолимо-последовательным мужевластием, общественного строя, делают ее глашатаем индивидуализма, заставляют философствовать по Ницше и совершать сверхчеловеческие поступки, — даже и из них не один не написал своей собственной проститутки: кто писал Соню Мармеладову обозлившуюся, кто Соню Мармеладову взбунтовавшуюся, но тип остался несокрушимым и непревзойденным.

Особо, в стороне, поставить приходится только Настю Максима Горького, рассмотревшего демократическими, родственными глазами своими нечто новое и заветное, чего раньше проститутка не показала ни кающемуся барину, ни разночинцу, ни купцу.

То романтически-экономическое освещение проститутки, которому начало положено Эженом Сю, а у нас Всеволодом Крестовским, хотя и ушло на улицу, но на ней не умерло. Ибо, если в первой своей половине оно препротивно грешило фальшивою сентиментальностью («погибшее, но милое созданье»), то во второй — было глубоко правдиво, — собственно говоря, гораздо правдивее, по основному существу своему, многого, что наговорили о проституции художники-психологи. Ошибка этой школы заключалась только в том, что в свое время стесненная pruderie'ей своего века, она не решилась осветить экономические корни проституции иначе, как с самой эффектной и мелодраматической их стороны: проституция для них — капитуляция женской морали только пред крайностями голода, холода и нищеты. Аболиционистическое движение последних десятилетий также поддалось этой ошибке, чем и объясняются трагикомические неудачи его прекрасных намерений. Десятки лет европейский буржуазный оптимизм никак не хотел согласиться с унизительною истиною, будто под сенью его мужевластной двухтысячелетней морали народилась или, вернее сказать, возродилась проституция как обыкновенный женский промысел, и быстро развилась, и выросла по тому же закону, по которому развиваются и растут все жизнеспособные промыслы: потому, что при настоящем общественном строе он гораздо выгоднее других видов женского труда. Настолько выгоднее, что противовес вековой морали, предохраняющей женщину от проституции, все слабее и слабее выдерживает напоры наглядных соблазнов «большей доходности с наименьшей затратой сил». С тех пор как исследованием проституции занялись серьезно и пытаются поставить вопрос на научное основание, экономический элемент ее выступил вперед с ужасающей убедительностью. Сейчас в некоторых странах он уже вызвал раскрепощение проститутки от полицейского надзора, в других — дело идет к тому же, — и, наконец, более того: в литературе время от времени поднимаются уже голоса, настолько примирившиеся с промышленною непременностью проституции, что их нисколько не смущает даже возможность «проституционных ассоциаций» (Иерузалем, Жа-

ботинский, Винниченко). Подумать только, что 50 лет тому назад невиннейший роман Боборыкина «Жертва вечерняя» был оплеван как порнографический, между прочим, и за то, что автор написал проституток не только страдалицами, но и промышленницами. А между тем, собственно говоря, Боборыкин только попробовал тверже стать на ту позицию, которую, правда, мельком, но с страшною прозорливостью наметил еще Гоголь, предсказавший в «Невском проспекте» всю потрясающую историю будущих встреч российского идеализма с беспощадною *сутью* проституции. «Правда, я беден, — сказал, наконец, после долгого и поучительного увещания Пискарев, — но мы станем трудиться, мы постараемся, наперерыв один перед другим улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, — и мы ни в чем не будем иметь недостатка». — «Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — *Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».*

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

«Женитесь на мне!» — подхватила, с наглым видом, молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!» При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу».

Смысл этой угрюмой сцены показался бедняге Пискареву настолько оскорбительным и несправедливым, что он кончил жизнь самоубийством... Жаль бедного Пискарева: понапрасну погиб он, а течение века показало, что и справедливость-то была не на его стороне, а на стороне той, которая сказала ему:

— Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Что, в переводе на язык цифр, значит:

— Я не имею желания нажить в течение десяти лет каторжного труда преждевременную ревматическую или слепую старость, голодая и холодая на поденной плате в два двугривенных или... неизбежно прирабатывая тем самым промыслом, из которого вы желаете меня извлечь.

Не буду останавливаться на этой теме, ибо мне нечего прибавить к ее развитию после «Женского настроения» и послесловия к «Марье Лусьевой», читавшихся достаточно много, чтобы надо было повторять здесь их основные положения. Еще десять лет назад меня за них упрекали, как изверга какого-нибудь, в бесчувственности и безнравственности. В настоящее время эти положения — только что не общие места! Так быстро идет и творит жизнь, так, в несколько шагов, обгоняет она того, кто в нее всматривается!

Я думаю, что в скором времени должен появиться в России литературный художник, который напишет проститутку, как цельный человеческий образ, без той исключительной прямолинейности и дидактической планомерности, которая до сих пор превращала в «отвлечения» даже лучшие опыты этой живописи. Думаю потому, что уж очень много литературной мысли работает за последнее десятилетие в этом направлении и слишком много литературных сил пробует себя на загадках этого «бытового явления», пытаясь дать его синтез. Театр заполнен проститутками. Андреев, Шолом Аш, Юшкевич, Трахтенберг, Найденов, Протопопов, Фоломеев — вот сколько авторов дало русской театральной публике образы новой проститутки! Покуда она никому не удалась и не удается. Но кому-нибудь удастся. Потому что это литературно нужно, по этому образу тоскует неудовлетворенная совесть века, и скорбное любопытство коллектива не сегодня-завтра перельется-таки в индивидуальный талант, который ответит на долгий вопрос еще неведомым, но уже ожидаемым и подготовляемым словом. Если мы вглядимся в историю литературных произведений, сыгравших по разным вопросам русской культуры большую ответную роль («Отцы и дети», «Анна Каренина», театр Чехова, «На дне», «Поединок»), удивительна своевременность их появления, удивительна естественная быстрота, с которою созревшему общественному вопросу откликается созревший художественный ответ.

Очень я завидую этому будущему и скорому художнику, потому что придется ему творить на почве, в которую я, на своем веку, уложил немало внимания и наблюдения, но как публицист-аналитик по натуре, так и не набрался смелости для попытки заключить свои наблюдения художественным синтезом. Теперь же, кроме того, и условия жизни, и возраст отстранили меня от этой темы, и я, собственно говоря, с нею расстаюсь. Но думаю, что, — кто бы ни был тот насто-

ящий художник, которого ждет проституционный вопрос, — два тома «Марьи Лусьевой» послужат ему небесполезным подготовительным и поверочным подспорьем как накопление сплошь фактического материала, «человеческих документов». Много последних остается еще неиспользованными в бумагах моих, и я рад буду со временем передать их хорошему молодому писателю, который захочет ими заняться. Многое же успело уже состариться, так что — в быстро бегущем движении нашей жизни — годится уже скорее для историка нравов, чем для художника, творящего современность.

Жизнь и быт европейской проститутки, если они не приукрашены сантиментальными и слезоточивыми измышлениями апологетического свойства (например, пошлейшая и противнейшая, сплошь солганная «Жизнь падшей» буржуазнейшей Маргариты Бэме или пресловутая «Кларисса»), — гораздо голее, суше, проще и психологически грубее жизни проститутки русской. Особенно в странах католических, где частая исповедь не дает женщине подолгу оставаться наедине с своею совестью, а, следовательно, вынимает из жизни тот религиозно-психологический фермент, который составляет и счастье, и несчастье Сони Мармеладовой. «Поэзия», хотя бы и «отрицательного типа», которой так много подметили русские литераторы в русской проститутке, у западной чувствуется лишь постольку, поскольку она, в промысле своем, скользит по границе преступления, а в этих случаях она, обыкновенно, не самостоятельна, но является лишь тенью мужчины.

Вследствие этой прямолинейности в западной торговле развратом многие страницы «Марьи Лусьевой за границей» стоили мне гораздо большего труда, чем соответственные страницы «Марьи Лусьевой» первой. Итальянская, французская, австрийская проститутка говорит со спокойною деловитостью о таких щекотливых эпизодах своего промысла, признание в которых еще заливает багровою краскою лицо уличной женщины с Невского проспекта или Дерибасовской улицы. Я, без всякого ложного стыда, признаюсь, что многое в этом томе могло бы быть рассказано гораздо ярче и подробнее, и полагаю, что у меня достало бы на то способностей, но — то и дело перо опускалось, и тяжелое впечатление тянуло многое замолчать, многое вуалировать. Не ради лицемерной скромности, а потому, что зрелище ряда опустошенных жизней вводило такую скорбь в душу, что казалось жутким и напрасным переливать ее в души читателей.

Мне столько доставалось на веку моем за парадоксы противоположений, что — одним больше, одним меньше — все равно. Вот:

— Латинский разврат страшен тем, что он совсем не страшен.

Он улыбается и считает, — и это более жутко для «славянской души», чем весь вой Сенной, притворный хохот Невского проспекта, мечтательное безумие Насти, истерика купринской «Ямы» (прекрасная реалистическая вещь, покуда не резонерствует в ней неумный болтун репортер) и холодный вызов андреевских «Христиан»... За воем, хохотом, истерикою, холодом самобытного отрицания вы не перестаете чувствовать *живого человека.* Этого-то вот здесь и нету... Слова избитые и опошленные — «жертва общественного темперамента» — приобретают здесь гораздо более страшное и антисоциальное значение, потому что в русской проституции они почти всегда определяют процесс, еще творящийся, в латинской — завершенный до конца. «Я торгую собой» — в России — до сих пор трагедия, а в Милане, Ницце, Париже — только... вывеска ходячего магазина, лавки или рыночного лотка, глядя по разряду. Из русской или еврейской проститутки проклятый промысел выгрызает душу всю жизнь, до старости, — и то еще остается ее довольно, чтобы до гроба дразнить и мучить женщину утраченною чистотою. Латинская проститутка в большинстве случаев становится к промыслу уже смолоду с опустошенной душой. Или еще того вернее, спрятав куда-то душу впредь до востребования ее на каком-нибудь другом житейском поприще. В промысле она — существо страшное и опасное. Если ей везет, она горда и надменна. В ней просыпается bella e onesta cortigiana *, привилегированная старой Венецией. Если счастье ей изменяет, она озлоблена, свирепа, плаксива, преступна. Она может быть очень жалка, но по самочувствию она счастливее нашей проститутки. У нее нет отравляющего жизнь стыда самой себя, а стыд промысла регулируется исключительно тем, как относится к ней среда, в которой она вращается. Крестьянские девушки северной Италии, попавшие в проституцию с дозволения своих родителей, возвращаются в деревни весьма гордыми невестами и пользуются таким же почетом и ухаживанием, как будто они свои приданые заработали земледелием, шитьем либо бакалейною торговлею. Все покрывающая фамильность буржуазного уклада, — может быть, от римской

* Прекрасная и честная куртизанка (*фр.).*

«отцовской власти» предание свое ведущая, — как бы берет на себя ответственность за своих дочерей пред людьми, а дело попа — уладить мир между совестью и Богом. Благодаря всему этому латинская проститутка стоит гораздо выше других европейских сестер как представительница класса, но производит довольно низменное впечатление, с точки зрения той исторической морали, которую мы немножко гордо и самонадеянно называем общечеловеческою. Это — одна из причин, почему в своем нынешнем «обозрении» европейской проституции (главным образом, латинской, так как германская мне мало известна) я выбрал, в качестве commère*, не итальянку или француженку, но латинизованную «славянскую душу».

Из щекотливых частностей рассказа мне пришлось довольно много отдать внимания злу, которое в России ново, и хотя участилось за последнюю четверть века, но все же сравнительно редко; а здесь оно живет веками в обществе, проявляясь часто и довольно прозрачно, в проституционной же среде — постоянно, зауряд, в большинстве случаев открыто, а иногда и с подчеркнутой показностью. Я говорю об однополой любви. Надеюсь, что мне удалось поставить упоминание об этом несчастнейшем пороке в рамки, в которых он не отравит читательского воображения — за исключением, разумеется, тех, чересчур уж целомудренных пуристов, что приходят в ужас и негодование от каждой попытки озарить дневным светом тот или иной, скрывающийся и гниющий в темной ночи грех. Чем больше я живу и вижу людей и свет, тем больше убеждаюсь, что ползет по Европе эпидемия странного психического состояния, которое назвать половым помешательством будет слишком резко, а неврастенией — не слишком ли вежливо? Гомосексуализм — одна из наиболее частых форм этой эпидемии, а западная европейская проституция — один из ее злейших очагов, наиболее от нее сам страдающий и наиболее опасно заразительный для других классов и стран. В страницах романа, касающихся этой язвы, я старался быть сжатым и строгим, как только допускало правдоподобие, но совсем опустить их не почел себя вправе, так как это было бы лицемерною ложью и замалчиванием одного из главных винтов в бытовой механике класса, о котором идет речь. Во всяком случае, уповаю уже на то обстоятельство, что, когда «Марья Лусьева за

* Кумушка, сплетница, болтунья (*фр.*).

границей» печаталась в «Одесских новостях», во множестве читательских писем, мною по ее поводу полученных, я не нашел упреков за эти страницы, а семейный провинциальный читатель — цензор строгий. Думаю, что читатели с чистым воображением прочтут и эту часть «Марьи Лусьевой» с тем же спокойствием изучающей мысли, как читали они первую часть; что же касается читателей с воображением распутным, то я, во-первых, уверен, что они не будут удовлетворены моей книгой, ибо покажется ее рассказ им слишком сухою и тяжелою схемою, не дающею полета игривой фантазии; а, во-вторых... какой автор и какая книга спасены от смакования господ, умудряющихся даже азбуку истолковать в неприличность?

Когда «Марья Лусьева» печаталась в «Одесских новостях», я получил довольно много запросов: кончается ли судьба «героини» в этой повести, не вернусь ли я к ней еще раз? Что я могу сказать? Марья Лусьева уехала в Америку. В Америке я не был и тамошней проституции не знаю. Писать о том, чего не видал, не умею. Если же попаду когда-нибудь в Америку, то — пожалуй; commère, с которою я теперь расстаюсь на 34-м ее году от рождения, я застану там уже в том почтенном возрасте, когда женщинам ее профессии, по их собственной поговорке, остается только Богу молиться да сводничать. Но так как у меня имеется еще очень большой запас неиспользованных «человеческих документов», то, может быть, сбыв с плеч более крупные литературные работы, я напишу несколько рассказов о подругах Марьи Лусьевой, упоминавшихся в этих двух томах, по их автобиографическим показаниям, хранящимся в архиве моем. Но это — улита едет, когда-то будет...

А покуда обращаюсь к читателю «Марьи Лусьевой за границей» с большою авторскою просьбою: если эта повесть попадет ему в руки раньше «Марьи Лусьевой», — хоть потом прочитать послесловие мое к той первой повести, так как оно договорит ему много такого, что поставит его на должные точки зрения относительно и «Марьи Лусьевой за границей».

Александр Амфитеатров

Fezzano. 1911.V. 26

P.S. К «Марье Лусьевой» прилагался мною список сочинений, которыми была она проверена в бытовой части. Те же самые 29 названий служили мне для проверки «Марьи Лусьевой за границей». Прибавить надо:

G. Ferrero. Bianchi e S.Sighele. Mondo criminale.

G. Ferrero e Sighele. Le Gronache criminali Italiane.

Haveluck Ellis. Etudes de psychologie sexuelle. Volumes I et II. Deuxieme edition. P. 1908—1909.

August Forel. Die sexuelle Frage. München, 1889.

R. de Krafft-Ebing. Le psicopatie sessuali. Torino, 1889.

Garnier. Anomalies sexuelles apparentes et cachées 4-me ed. P.

A. Niceforo. Le psicopatie sessuali acquisite e i reati cessuali. Roma, 1897.

P. Brouardel. Les attentats aux moeurs. P., 1909.

Silvio Venturi. Le degenerazione psico-sessuali. Torino, 1892.

S. di Giacomo. La prostituzione in Napoli. Napoli, 1899.

Gaston Vorberg. Freiheit oder gesundheitliche Ueberwachung der Gewerbsunzucht? München.

L.M. Moreau-Christophe. Le monde des coquins. P., 1864.

Дмитрий Дриль. Преступность и преступники. СПб., 1895.

Eugène Villiod. Comment on nous vole et comment on nous tue. P., 1905.

G. Alongi. La mafia. Milano, 1904.

A. Cutrera. La mafia e i mafiosi. Palermo, 1900.

Иван Блох. Половая жизнь нашего времени и ее отношение к современной культуре. СПб., 1909.

Д-р Филос. Сцена и проституция. Со статьей д-ра Б.И. Бентовина «Проститутки в освещении современной русской сцены». СПб., 1910.

Д-р Б. Бентовин. Дети-проститутки. СПб., 1910.

Д-р Б. Бентовин. Торгующие телом. Изд. 3-е. СПб., 1910.

Max Gruber. La prostituzione considerata dal punto di vista dell igiene.

Recagni G. La camorra.

Так как я, живя за границей, получаю и читаю корректуру только в гранках, то поэтому, я, к сожалению, не мог дать здесь постраничного «распределения справок», подобного тому, как было в «Марье Лусьевой».

I

Милан спал.

Ночное небо было, не в обычай этому злополучному городу, сине и ясно. Луна висела над готическими колючками собора, подобно желтому апельсину, одиноко позабытому на разрушенной рождественской елке. С тоскливою отчетливостью темнели в вышине бесчисленные статуи громадного здания, похожего, в густой синеве неба, на береговой утес у тихого моря, облепленный, на отдыхе в перелете, серыми стаями, торчком на хвостике, спящих птиц. Галерея Виктора Эммануила безмолвствовала, пустынная и печальная от безлюдья, ослепшая от закрытых ставень в магазинах, конторах, ресторанах и кафе. Только у Кампари еще ярко светились огни и горела за опущенными гардинами бессонная страстная ночь.

Двое русских, только что слезших с бесконечно опоздавшего поезда из Венеции, шагали по улице Манцони, решительно не зная, куда им деваться, так как ранним утром, уже в начале шестого часа, их ждал поезд на Геную, и, стало быть, останавливаться на ночлег в гостинице не было смысла: лечь в постель — только разморить себя коротким сном

и приготовить себе досадную пытку мучительного пробуждения, не выспавшись. На вокзале пассажирские комнаты, по правилу, ночью закрыты, и оставаться в них посторонним лицам воспрещается.

— Одно остается, Матвей Ильич, — ударимся до утра по кабакам!

— Да! — возразил Матвей Ильич, — отчего бы не удариться, если бы мы хоть сколько-нибудь знали город? А то мне о Милане только то и известно, что есть в нем какой-то великолепный собор и какая-то знаменитая галерея, где певцы и певицы со всего мира гуляют в ожидании ангажементов, как невесты на смотринах.

— Вот в эту галерею и нацелимся. Где имеются певцы, там, наверное, найдутся и кабаки. Ибо профессия характера пьющего и поведения предосудительного.

— Не до третьего же часа ночи они за ангажементами бегают!

— Третий час ночи для гулящего человека время детское. По моему соображению, именно до этого срока — который не получил ангажемента, должен пить с горя, а который получил — вспрыскивать магарычи... Во всяком случае, огоньки какие-нибудь теплятся. Пойдем на огоньки.

— Не забрести бы в какую-нибудь трущобу. Со мной денег порядочно. Риск. Народ здесь ловкий.

— Нет, Матвей Ильич, не надеюсь. По плану, это — центр города, самая шикарная часть. В таких местах трущоб не бывает. Полиция не потерпит.

— А парижские «су-соли» на больших бульварах?

— Так это же одна видимость для нашего брата, иностранца! Наслушались и начитались мы от юности своей, что Париж — город извращенного разврата, вавилонских пороков и адских преступлений. Попал в Париж, — натурально, первым долгом спрашиваешь: «А где тут у вас извращенный разврат, вавилонские пороки, адские преступления и прочие

специальные продукты местного производства?» — «Ах, пожалуйте! У нас про вас!..» Был бы спрос, а предложение французский буржуа уж приготовит в лучшем виде. И вот, к совершенному удобству покупателя, вам даже на темные окраины не надо забираться и в действительно подозрительном и голодном обществе шкурою своею незачем рисковать. Все ужасы позора и грехопадения вы обретаете в самом сердце Парижа: по крайней мере, сотня наберется этаких ночных магазинов, во вкусе Шнитцлерова «Зеленого попугая», торгующих сильными ощущениями — в пределах, терпимых полицией вообще и полицией нравов в особенности. О разных открытых кафе и кабаре Монмартра я уж и не говорю: там-то сплошная театральщина, годная только для доверчивого тупоумия англичан. Лубок и статисты. Но даже и в заправских местах. Вы, скажем, хотите видеть девок и апашей в их собственном романтическом быту? Пожалуйте — около самых Halles * — вот вам Caveau des Innocents **: ужаснейшее средневековое подземелье, с коридором-лазом, в котором два человека не могут разойтись, и мужчина среднего роста должен идти нагнувшись. На дне этой закопченной ямы вы находите действительно оргию всякого рода бывших людей обоего пола. В настоящей декорации настоящие фигуранты. Можете насмотреться грозных лиц, цинических жестов и плясок, наслушаться грязных слов и песен, даже попасть в историю, быть обруганным, получить в шею... ведь и на это есть охотники! Помню, как ко мне в Париже один благополучный россиянин, захлебываясь от восторга и ужаса, прикатывал на автомобиле: «Знаете? я вчера из Caveau des Innocents едва жив выбрался! Не понимаю, как уцелел. Уже блистали ножи... Хорошо, что полиция вовремя подоспела!..» А в действительности-то, даже

* Крытый рынок (*фр.*); имеется в виду Центральный рынок в Париже.

** Погребок Иннокентия (*фр.*).

и здесь вы безопасны, как в отделении универсального магазина: сильных ощущений отпустят вам — аккурат, сколько требуется, чтобы вас в романтизме вашем утешить и чести заведения не посрамить, — торгово, деловито, без обмера и обвеса. Как Подхалюзин хвастался: хоть малого ребенка пришлите, и того не обсчитаем. Ножи иной раз блещут, точно, но полиция всегда приходит, — то есть хозяин кричит, будто она идет, — как раз вовремя, чтобы ножи перестали блистать.

— Ну да! Вам поверить, так в Париже и не грабят, и не убивают, и не насилуют.

— И грабят, и убивают, и насилуют, да не так, как все это воображается и пишется, и не там, где этих, как бы вежливее выразиться, зрелищ, что ли, ищут. На этот счет удивительные суеверия существуют. Я в Париже жил близ Булонского леса. Послушать добрых буржуа, так ночью по лесу пройти нельзя: даже, мол, на главных аллеях вы рискуете, что апаши выскочат из кустов, сцапают, уволокут за деревья, и хорошо еще, если только ограбят, а то и горло перережут да в пруд спустят с камнями за пазухой. «А я, как нарочно, именно по ночам гулять люблю, когда дерево дышит». — «Что вы! Как можно! Боже вас сохрани!..» Истории о нападениях рассказывают, одну другой страшнее. Но я питаю склонность к логическому исследованию. «Позвольте! Да разве в Булонском лесу много гуляющих в ночное время?» — «Наоборот: никто туда и носа не показывает». — «В таком случае для какого же черта будут там сидеть апаши? Что у них за страсть удивительная — подстерегать прохожих именно на таком месте, где прохожих никогда не бывает?..» И бродил я потом преспокойно от Отейля к Лоншану, к озерам, — случалось, целые ночи напролет, — и, кроме городовых, никогда ни одной подозрительной двуногой твари не встретил. Не может быть волка там, где нет дичи, ни акулы либо щуки, там, где нет рыбы. Всякий промысел, честный или бесчестный, предполагает не

только промышленника, но и промышляемое. Нельзя быть проституткою в пустыне, на необитаемом острове или на макушке неприступной скалы. Недаром же публичных женщин в старину дразнили: «Проезжий шлях!»

Матвей Ильич засмеялся.

— Положим, сирены Одиссея, Лорелея на Рейне и царица Тамара в глубоком ущелье Дарьяла доказывают обратное.

— Помилуйте! Как обратное? Именно то самое. Все они как раз на самых, что ни есть, проезжих шляхах селились, у великих горных, речных, морских путей. А — что неприступность себе устраивали, так это именно вроде тесных коридоров в Caveau des Innocents: чтобы лезть к ним чрез неприступность было заманчиво, таинственно и лестно. На самом-то деле ничего трудного нет, а видимости трудной много; одолеет человек декоративную тесноту или крутизну романическую, — пыхтит, в поту, а сам горд: вот я какой герой! не каждый, мол, на такую штуку ради женщины решится и подобные подвиги подымет! Ну и сейчас же на радостях, — хоть распотроши его: за все рад платить вдвое, потому что — герой!.. Шампанского! Птичьего молока!

Вышли на площадь, полюбовались, в тихой луне, фигурным гробом собора и смелым овалом арки в галерее, проверили под портиками редкое матовое свечение еще не угасших окон и направились к ближайшему — вошли в ночное кафе Кампари.

— Ну, видите: чутье не обмануло меня, — не знаю что, но во всяком случае далеко не трущоба!

Матвей Ильич, под стон и вихрь венского вальса, разливавшегося с эстрады из-под скрипок дамского оркестра, кивнул головою, водя глазами в напрасных поисках свободного места.

— Довольно шикарно. И — какая масса публики! Негде сесть...

— Попробуем счастья в других залах. Эй! вы! синьор! Понимаете по-французски?

Слуга показал им удобный столик в углу между двумя сходящимися бархатными диванчиками.

— Что у них тут пьют? — спросил Матвей Ильич.

Другой русский огляделся.

— Кажется, ничего не пьют... Кто над чашкой кофе застыл, у кого мороженое... А вон там у окна старик просто за стаканом воды благодушествует...

— Ну, я так не привык... Что за общество трезвости в четвертом часу ночи! Вина-то спросить можно ли?

— Где же в Италии нельзя спросить вина? Полагаю, даже в соборе Петра в Риме, если закажете — и то никого не удивите.

— Так велите, Иван Терентьевич. Что же время терять? Ночь коротка.

— Неизбежное кьянти, что ли?

— Да неужели у них нет чего-нибудь серьезнее? Удивительный народ! Вино родится в каждой деревушке, а пить нечего. Либо ординерчики, либо — «шампань! шампань!» Три тысячи лет вино делают, а порядочные марки выдерживать так и не научились.

Посоветовались с камерьером, — тот подал им запыленную серую бутылку старого пламенного бароло. Густая кровь пьемонтского винограда, как водится, отдавала сургучом и еще какою-то совершенно непредвиденною дрянью, но язык чувствовал безукоризненную чистоту невкусного и даже как бы слегка вонючего вина, и кровь от него загоралась и весело бежала по жилам, и сердце играло быстрым, радостным ритмом.

Иван Терентьевич с узенькими блестящими глазками бросал умиленные взоры на пестро разряженных женщин, во множестве сидевших за столиками, преимущественно, подоконной линии, — группами: кто играя в кости и карты, кто за кофе и шоколадом — и восклицал восторженно:

— Девья-то! девья-то! Миллион двести тысяч! Господи ты Боже мой! И — какие все нарядные да видные, Бог с ними...

А вы еще ругаете итальянок, будто — только слава, что хороши, а на самом деле — красивой и породистой днем с огнем не сыщешь!

— Согласитесь, однако, что мы нашли этих красавиц как раз именно не днем, а только ночью.

— Просто обидно, что поутру надо уезжать! В каждую подряд влюбиться готов. Разве остаться денька на три? Матвей Ильич! А?

— Ну нет-с! Это — дудочки... Довольно в Вене куролесили. Берегите карман. У нас еще Монте-Карло впереди.

— Да что же? Чертова рулетка все равно слопает, сколько ни привезем... Лучше меньше, чем больше.

— Ну, я другого мнения.

— Уж не выиграть ли надеетесь? Шалости, батенька! Скорее рак свистнет... Знаете ли: черта ли мы будем дальше тянуть это коричневое пойло? Что-то душа простора просит. Закажем-ка два флакончика шампанского да пригласим которую-нибудь из этих душек, чтобы содействовала веселости и умягчению нравов...

— Поздно. Сейчас каждая мечтает уже не об ужине с вином, а — зацепить бы компаньона, который даст заработать...

— Ничего! Можно и на этот счет успокоить. Посулим бумажку в 50 лир, — каждая почтет за честь и благополучие.

— Пятьдесят лир! Эка вас разбирает! Москвич! А еще читает мне лекции о парижских «су-солях»... Там за двадцать франков садится к вам такое блондовое фру-фру, что — показать у нас в К. подобный туалет, так половина дам заболеет от зависти, а губернаторша удавится.

— То — Париж, а в провинции цена шику растет!.. Так как же, Матвей Ильич? Ангажируем что ли?

Матвей Ильич оседлал нос золотым пенсне, проверил пестрый ряд красавиц и пожал плечами.

— Не знаю, чем вы восхищаетесь, — брезгливо сказал он. — Вы, должно быть, больше меня вина этого сургучного

выпили. Головки есть красивые, согласен, да... глаза, волосы... в чертах статуйное что-то, правда... Но зато...

— Матроны, Матвей Ильич! — лепетал Иван Терентьевич, блаженно жмуря глаза, — смею вас уверить: настоящие римские матроны!

Матвей Ильич усмехнулся.

— То-то и нехорошо, что, пожалуй, вы правы: уж даже слишком матроны. Ни одной молоденькой. Все — держаный товар, лет за двадцать за пять, а то и ближе к тридцати. Намазаны густейше. И толстухи какие! Словно из гарема персидского шаха сбежали...

— Ватою, поди, сплошь обложены: потрафляют на южный вкус.

— Фигуры, Бог их суди, ужасные. Хороши, нечего сказать, портнихи в Милане! Что ни женщина, то куцая талия и квадратная спина. Материи дорогие, а фасоны прошлогодние, и выбор цветов — с лубочной картинки... Героини не моего романа.

— Вот привередник! Слушайте: да что я — навек жениться что ли вам предлагаю? Просто — пусть посидит у стола и поврет нам ерунду свою какую-нибудь... Авось за час или за два, покуда заведению торговать осталось, не успеет она погубить навеки ваш тонкий эстетический вкус?

— Да на каком же языке, наконец, мы говорить-то с ними будем? — оппонировал Матвей Ильич. — Ведь, небось, они по-французски — ни бе, ни ме, ни кукареку?

Но Иван Терентьевич подмигнул непобедимо.

— У меня, батюшка, эсперанто.

— А вы думаете, они понимают эсперанто?

— Мое-то? Трактирно-международное? Где же его не понимают? Да загоните меня не то что в Милан, а хоть в Патагонию, — я и там не пропаду. Только бы встретил слугу из ресторана либо девицу легкого поведения, а затем обо

всем превосходно сговориться и условиться сумеем, хотя сейчас, откровенно сказать вам, даже хорошо не помню, на каком языке в Патагонии говорят, и есть ли в ней особый язык.

— Вот дар! — засмеялся Матвей Ильич.

Иван Терентьевич самодовольно продолжал.

— Я в этой своей специальности подобен поэту Бальмонту, который, когда осеняет его вдохновение, понимает все чужие языки так же свободно, как русский, хотя бы никогда их не изучал и даже ранее не слыхивал. Однако вы меня в сторону не отвлекайте, зубов не заговаривайте! Ну-с? Я намечаю для себя вон ту, рыжую, с голубым пером, которая вот уже полчаса все один бокал пива пьет... А вы?

— Погодите. Может быть, еще и не удобно, не принято этак-то к ним адресоваться, — напрямик, со свойственным вам, москвичам, нахрапом?

— Вона! За герцогинь, что ли, вы их принимаете?

— Я очень хорошо вижу, что все они сплошь — крашеные проститутки, но очень может быть, что у них тут принят какой-нибудь свой этикет промысла, о котором лучше заранее справиться?

— Ну вот! Если девицы сидят в три часа ночи в кафе без кавалеров и платят за консоммацию собственными деньгами, это свидетельствует, что рынок ужасно плох, и, значит, они будут рады нашему угощению, яко нисшествию доброго ангела с небеси.

— Однако обратите внимание: разве не странно, что вот вошли мы, сидим за бутылкою хорошего вина, тогда как на других столиках тянут грошовый лимонад либо просто воду из-под крана, оба отлично одеты, очевидно, иностранцы и люди с деньгами, — следовательно, казалось бы, прямая для этих голубушек добыча. А между тем из них ни одна до сих пор не то что не пристала к нам, но даже не посмотрела

на нас пристально. В Петербурге, Варшаве, Берлине, Вене нас давно уже облепили бы, как мухи мед.

— Я вижу, — засмеялся Иван Терентьевич, — ваше мужское достоинство уязвлено и страдает, зачем приходится сделать первый шаг?

— Нет, не мужское достоинство страдает, а осторожность учит. Знаете, что город, то норов. У меня в Антверпене случай был, в кафе Вебер. Сидит тоже вот так-то некая Рубенсова мадонна — примет профессиональности несомненнейших — и так же, как вот эти две, с подругою в кости играет. Вижу: товар подходящий. Сажусь рядом, приподнимаю шляпу. Что же вы думали? В ответ — взгляд королевы этакой брабантской, — как кипятком меня обварила.

— Что вам угодно?

— Угодно, если вы не прочь, предложить вам свое общество, ужин и бутылочку-другую шампанского.

Королева брабантская смотрит мягче, но продолжает:

— Позвольте! На каком же основании? Мы с вами незнакомы. Вы мне еще не представлены.

— Ну, вот какая вы строгая! Что за счеты? К чему столько церемоний? Познакомиться недолго: я мужчина, вы женщина, я, скажем, Жан, вы, предположим, Марго.

Но она перебивает меня весьма учтивым, но деловым этаким, веским тоном:

— Все это прекрасно, но мой любовник ничего мне о вас не говорил. Я не могу быть в компании с господином, неизвестным моему любовнику. Франсуа будет недоволен и поколотит меня, а вы рискуете получить скверную историю. Уже и то нехорошо, что вы так — сами подошли ко мне. Вы, очевидно, иностранец и не знаете порядков. Вам следовало обратиться к слуге и спросить: «Не знаете ли вы, кто друг этой дамы?» Слуга свел бы вас с моим Франсуа, а Франсуа представил бы мне. Вот как делаются у нас порядочные

знакомства... Потому что, — вы понимаете, monsieur, — слуга тоже имеет в деле свой процент, и мы все друг перед другом — на честном отчете и должны контролировать общую работу...

— Черт знает что! да это целая система! Но где же я должен искать вашего Франсуа?

Она сейчас же моргнула ближайшему официанту. Тот весьма почтительно ведет меня в уголок к субъекту с весьма поношенной рожей и рубцом на носу, но одетому по последней и солиднейшей лондонской моде.

— Мосье Франсуа, вот иностранец ищет вас, чтобы сказать вам несколько слов.

Мосье Франсуа встает из-за партии в пикет, которую вел против какого-то добродушнейшего и приличнейшего с виду лысого господина, извиняется пред партнером, учтивейше заявляет, что он очарован честью познакомиться со мною, и просит меня удостоить — принять от него рюмку коньяку.

— С тем, чтобы я платил.

— Мосье! Вы хотите меня обидеть. К чему такая мелочность между порядочными людьми?

— Тогда позвольте, в свою очередь...

— А! это с удовольствием, от порядочного человека — всегда с удовольствием...

И вот — присели мы за отдельный столик и повели деловой разговор.

— Мосье, вероятно, желает быть представленным мадемуазель Сидализе?

— Да, если ее зовут Сидализой.

— Я уверен, что мадемуазель Сидализа ничего не будет иметь против знакомства с вами. Быть может, мосье будет так любезен — сообщить мне свои намерения относительно мадемуазель Сидализы?

— Любезнейший мосье Франсуа, мне кажется... что же я могу вам сообщить? Намерения мои — зауряднейшие, ни-

чего необыкновенного в себе не заключают и сами по себе ясны, как белый день.

Тогда джентльменствующий хулиган мой принимает докторальный вид и, с миной снисхождения к моему невежеству, разъясняет:

— Дело в том, мосье, что искусство мадемуазель Сидализы весьма разнообразно, и я желал бы заранее знать, в какой именно форме вы желали бы с ней познакомиться?

Я смотрю на него дурак дураком, наконец отвечаю:

— Да, полагаю, что в той же, как изобрели праотец Адам и праматерь Ева по наущению змия райского.

— А! Понимаю вас. Превосходно... А то, видите ли, мосье, многие предъявляют особые требования...

И рассыпал примерцы. Ну, я, знаете, не красная девушка и добродетелями не отличаюсь, но, слушая, клянусь вам, чувствовал, что даже уши у меня алеют. А он — ничего, хоть бы глазом моргнул, словно читает вслух прейскурант магазина. Да еще:

— Я, — говорит, — мосье, человек нравственный, добрый буржуа, и всех подобных развратных штук весьма не одобряю. Но профессия обязывает, и мы, volens-nolens * (произносит конечно: «волян — нолян», — догадывайся!), должны стоять на уровне вкусов и спроса наших клиентов. Скрепя сердце, я разрешаю мадемуазель Сидализе идти навстречу некоторым из этих странных прихотей, но — вы, конечно, сами понимаете, — лишь по значительно возвышенному тарифу.

И — выпучив этак гордо грудь, и с величайшим благородством в голосе:

— Но есть типы шалостей, которых мы с Сидализою, как люди нравственные, даже ни за какую высокую цену не допускаем! Ни-ни-ни! Принцип! Ни даже за сто франков!!!

— А если кто-нибудь предложит двести?

---

* **Хочешь не хочешь, волей-неволей (*лат.*).**

— Ах, мосье, грешно искушать бедность и труд. Принцип!.. Да и кто же в нынешнее тяжелое время платит по двести франков? Впрочем, если прикажете...

— Нет, нет! Я только для примера, пошутил. Я не специалист, человек старого века. Сохрани меня Бог, чтобы я ввел вас в соблазн! Сберегите ваш прекрасный принцип свято и нерушимо!

Сидализа его оказалась девочкою веселою и забавною. Мы с ней премило прокутили затем три дня в Антверпене, съездили в Брюссель, Лилль, Льеж. Мосье Франсуа за все это время ни разу не показался на нашем горизонте, — деликатнейший человек! Лишь перед самым моим отъездом вынырнул на вокзале — пожелать мне счастливого пути. Опять, при сем удобном случае, выпили по два стаканчика коньяку и обменялись сигарами. Его сигара оказалась превосходнейшая, куда лучше моей, хотя, вы знаете, я курю недурные и дорогие... Но я уверен, — инстинктом все время чувствовал, что он всегда был близко — сидит где-нибудь за перегородкою и, невидимый, следит соколиным глазом в какую-нибудь всевидящую щель, учитывая по своему каторжному прейскуранту, не превысили бы блаженства, мною получаемые, договорные рубрики по тарифу. И — чуть что — запишет extra *. Деловой народ, черт их побери! Нашим российским до них — куда же! далеко! У нас всюду душу суют, даже проститутку с иллюзией покупают, даже на разбой с идеализмом идут. А на западе — чисто. На сколько разврата спросил, на столько тебе в обрез и отмерят. Литр и три четверти поцелуев! Два с половиной метра объятий первого сорта! Нежных слов и взглядов по двадцати франков за кило! Ночь аккуратно высчитана от такого-то часа и минуты до такого-то. Добросовестности коммерческой и чувству собственного достоинства — нет предела. Души и стыда, совести человеческой — никаких!

* Высший класс *(лат.)*.

II

— Так-с, вздохнул Иван Терентьевич. — Все это весьма прекрасно и, покорно вас благодарю, даже, можно сказать, нравоучительно. Тем не менее, позволю себе обратить ваше просвещенное внимание на сей вновь прибывший экземпляр.

Матвей Ильич взглянул по указанному направлению. Под огромною темно-зеленою шляпою-котлом, колышающею лес черных перьев, эффектно развалясь на стуле, чтобы выставить красивую руку в полуснятой перчатке, чтобы опять-таки показать яркую каплю чистого изумруда на мизинце, широко распахнув горностай накидки, темно-зеленой, как кедр, и тяжелой, как церковная портьера, шикарно вывесив из-под великолепнейшей юбки, тоже темно-зеленой драгоценной какой-то материи, стройно обутую ногу в сквозящем черном чулке, — сидела женщина, имевшая вид не то чтобы незаурядной, но, во всяком случае, не дешевой кокотки. Слуга поставил перед нею высокий бокал шерри-коблер с длинною соломинкою. Изредка наклоняясь к напитку своему, она перебрасывалась с другими женщинами, которые относились к ней с заметным почтением, короткими фразами. Звук ее голоса раза два долетал до русских и заставил Матвея Ильича удивленно поднять брови.

— Гм, — сказал он, вглядываясь, — если бы я не был совершенно уверен, что до вчерашнего дня в Венеции никогда в жизни не знавал ни одной итальянки, то — мог бы ошибиться... Эта дама очень напоминает мне кого-то... знакомую и голос ее как будто я уже слышал... позвольте... когда бы и где?..

Иван Терентьевич пригляделся и сказал:

— А, знаете, по-моему, и она на вас знакомыми глазами смотрит...

— Не понимаю. А хороша... и этакая — distinguèe... * Если бы не крашеная, да не здесь, и в такое вызывающее

---

* Изящная, видная (*фр.*).

время встретились, то можно было бы принять за даму из общества...

— Ну, нет, — отозвался Иван Терентьевич, — годков пять-шесть, а то и поболее тому назад, — может быть. А сейчас — ни-ни! Вы посмотрите, как она сидит и курит. Выставка! Витрина! Только билетика с ценою не хватает — prix fixe! * Это профессиональное. И глаза профессиональные. Я проститутку, сыщика и вора-специалиста по глазам из тысячи других людей узнаю. Сыщики затем и носят темные очки, чтобы общностью Каинова света в очах своих себя не обнаруживать. У проститутки «беспокойную ласковость взгляда» наш Некрасов раньше Ломброзо подметил и тремя словами великолепно очертил. Взгляните по залу, сколько глаз — все разные цветом: черные, карие, голубые, серые; разные формою: круглые, продолговатые, широкие, узкие, впалые и глубокие, будто выпадающие из орбит и стреляющие по сторонам, — и все одинаковые: колючие, беглые, выпуклые, напряженные.

Проститутка всегда смотрит либо прямо перед собою, в пространство, либо вниз, в землю, а видит далеко все и всех по сторонам. Что-то щучье в этом есть. Не то чтобы хищное, а, так сказать, добычливое. Иногда мне кажется, что они способны видеть затылком. Этакое, знаете, перемещение зрения, как Шарко показывал на своих истеричках. У этой госпожи великолепное лицо. Но вот сейчас она отвернулась от нас почти в три четверти и говорит с желтоперою подругою, так что мы видим только ухо и щеку ее. Я уверен, по выражению лица подруги, что она говорит о нас, и краешек глаза ее, скосясь, как-то ухитряется видеть нас и непрерывно наблюдать...

Иван Терентьевич был прав, потому что, когда Матвей Ильич, сняв шляпу, обнаружил, что над весьма красивым и изящным лицом его красуется совсем не пышная шапка

* Твердая цена (*фр.*).

волос, которую обещали густые усы и бородка, а обыкновеннейшая бюрократическая лысина, то темно-зеленая дама в горностае быстро обернулась с выражением разочарования.

— Mais non, c'est pas lui, — долетело до русских ее восклицание — на французском языке и с очень хорошим произношением. — L'autre avait de beaux cheveux et celui-ci quoiqu'il ne soit pas mal du tout est tout de même chauve *.

— Il aura p't'être régalé ses boucles aux médécins des malades ségrètes? ** — захохотала желтоперая соседка, твердо, по-итальянски отчеканивая каждую гласную и употребляя вместо французских итальянские глаголы и прилагательные, но во французских формах.

Третья, с коричневым пером над угрюмым прямоугольным носом между двух вороньих глаз, подхватила, зюзюкая и цокая с беспощадным пьемонтским акцентом:

— Cè n'est pas d'après les cheveux qu'on reconnaît les hommes. Ils perdent leurs poils plus facilement que les fazzoletti ***.

— Особенно такие красавчики, — подхватила желтоперая. — Я бы охотно подцепила его на эту ночь.

Красавица в темно-зеленом туалете лениво подняла руку и покачала указательным пальцем в воздухе.

— Извините, синьорина, за мною право первенства.

— Эта Рина — ненасытная львица! — воскликнула желтоперая, притворяясь обиженною, но с лестью в голосе. — Всегда забирает себе самых лучших мужчин.

Но та, с вороньими глазами, вступилась:

— Надо быть справедливою. Во-первых, Рина его открыла и показала нам. Во-вторых, именно на нее пучат оба они свои глазищи.

---

* Нет, это не он .. У того были превосходные волосы, а этот хотя и не дурен собой, но лысый (*фр.*).

** Быть может, он подарил свои кудри докторам секретных болезней? (*фр.*)

*** Волосы не примета для мужчин. Они теряют свою шерсть легче, чем носовые платки (*фр.*).

— А, в-третьих, — сказала красивая Рина, — повторяю вам: этот лысый милашка необычайно похож на одного моего знакомого русского.

— Э, черт! — возразила желтоперая, — все гости на кого-нибудь похожи. Я всегда — всех и каждого — уверяю, что он — вылитый мой первый. Это им нравится, и многие раскошеливаются, дураки — так, дал бы mancia *) пять лир, а глядишь — кладет десять. Они воображают, что волнуют меня... хо-хо!..

— Положим, взволновать тебя не трудно, — заметила вороноглазая. — Ты влюбчива, как колдунья.

Желтоперая засмеялась.

— Было бы в кого! Лысые красавчики не часто к нам приходят. Ах, грызи его кости! Он мне, в самом деле, нравится... Рина! уступи!

Темно-зеленая щеголиха Рина улыбнулась, обнаруживая очень свежие, прекрасной формы и, кажется, свои зубы.

— Ни за что.

— Ну, по дружбе?

— Именно по дружбе не уступлю. Сколько раз в месяц Чарлоне колотит тебя за то, что ты влюбляешься в своих гостей? Если ты пойдешь с этим, то завтра поутру быть тебе битой.

Желтоперая возразила с меланхолическим шутовством:

— Если я ни с кем не пойду, то Чарлоне тоже меня вздует: ибо он вчера дьявольски проигрался, дочь моя, и зол, как три дня не кормленный сатана. Так что — не береги меня, моя ласковая: procure moi ce plaisir et quant à étre battue tant pis! «Al mangiare *gaudeamus* al pagare *sospiramus*» **).

И все три захохотали.

*) Mancia, di buona mano — на чай, на водку, на булавки (*ит*).

**) Доставь мне удовольствие, а что до побоев, — уж так и быть! «Кушая, *возрадуемся*, платя, *востоскуем*». (Пословица: любишь кататься, люби и саночки возить) (*фр., лат*).

— Ну опять заитальянили! — огорчился Иван Терентьевич. — А то, слышали? Изъяснялись по-французски. Положим, скверно, кроме той, — знакомой-то незнакомки, а все-таки по-французски — и, судя по темам и усиленному невниманию, которое они продолжают нам оказывать, все это делается специально для нашего с вами удовольствия. Эти дамы подобны добродетельному помещику Силину, которого описывал Козьма Прутков. Они учат французские вокабулы, дабы заслужить всеобщую любовь. Великолепно. Теперь у нас пойдет уж музыка не та. Проведем час в радости... Garcon!Ameriére! *

Матвей Ильич, сидевший в задумчивости, вдруг ударил себя по лбу ладонью и воскликнул:

— Ба! Знаю!

И встал из-за стола.

— Что вы? — воззрился на него Иван Терентьевич.

— То, что, когда я знал эту женщину, мне было двадцать восемь лет, меня еще звали Mathieu le beau, и была у меня, действительно, чудеснейшая шевелюра.

И, быстрыми шагами направившись к темно-зеленой красавице, — она ждала его знакомыми глазами, — Матвей Ильич заговорил, с глубоким, вежливейшим поклоном и *по-русски.*

— Вот святая правда, что только гора с горою не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся. Я уверен, что не ошибаюсь: это вы, Марья Ивановна. А я Бельский. Матвей Ильич Бельский. Мы с вами встречались когда-то в К. Впрочем, вижу, что вы меня тоже узнали.

Дама взглянула весело, — как на радостную неожиданность, — хотя не без смущения и даже легкого испуга, — облилась под белилами огненным румянцем, в котором исчезла искусственная «краска ланит», с гордым удовольствием обвела прекрасными темными очами завидующих подруг своих

* Официант! Горничная! (*фр.*)

и отвечала, медленно, обдумывая фразу и с трудом приискивая русские слова.

— Да, вы есть тчиновник от губернатор, который я знакомила в К.

Произношение было престранное. Никто из чужеземцев, выучившихся русскому языку, не говорит без какого-нибудь акцента, — в говоре дамы акцента не было, но не было и русского тона: слова звучали пусто и бело, без окраски, как чужие, будто механические. Чувствовалось, что дама не только не привыкла или, наоборот, отвыкла говорить по-русски, но и думает уже на другом языке. Голос у нее был сломанный, как у большинства проституток после нескольких лет «работы», огрубелый, с низкими мужскими тонами, но когда-то, должно быть, очень красивый.

— Но где же вы потерял... ваша черная... кудря?

И теперь еще, из-под матовых хрипов, которыми быстро награждают нежную женскую гортань табак и спиртные напитки, прорывались ноты мягкого, грудного тембра.

Женщина была еще очень хороша собою. Сейчас, под шляпою, в роскошном туалете, ей можно было дать — с услужливою помощью косметиков, — лет 26, много 28. Но человеку, опытному в темном мирке, к которому она принадлежала, сразу бросались в глаза профессиональные признаки, говорившие, что женщина — проститутка уже из давних, и ближе к концу своему, чем к началу, и возраст ее — порядочно-таки за тридцать лет. Черты лица, в юности, вероятно, тонкие, точеные, были испорчены алкоголическим жиром, огрубившим все линии и связавшим их в недвижимую окаменелость толстой маски, с казенною улыбкою на вызывающих, «нацелованных» губах. Особенно предательски выдавал женщину именно рот — мясистый и животный овал, переходящий в четырехугольник, какая-то квадратура круга, кровавым пятном обозначенная на белой плоскости накрашенного лица и сводящая к себе все его значение, определяющая всю жизнь

этой физиономии, всю цель ее, весь смысл. С подобным ртом женщина — вывеска публичного дома или тюрьмы, тротуара или воровского притона. Он говорит об одичании вырождающейся плоти, униженной до скотского состояния живой вещи, обращенной в ходячий половой аппарат, заглушивший своею массою все инстинкты и потребности, кроме физиологических первобытностей, подавленной, в тугой работе воспринимаемых впечатлений, тупым безразличием к добру и злу, дико самодовольной, когда женщина сыта, пьяна, в тепле, хорошо одета и удовлетворена своим любовником, и дико бешеной, когда какого-либо из немудрых благ этих ей недостает. На лице проститутки такой рот не пугает и не пророчит ни особого разврата, ни дурного нрава, ни непременной преступности. Это, как и выпуклость колючих глаз, просто профессиональное развитие преимущественно работающего лицевого органа. Оно в порядке вещей и большинству мужчин, ищущих в продажной женщине самообманов и обещаний грубой чувственности, даже нравится. Не даром же сами проститутки, раскрашивая губы, никогда не уменьшают, но еще расширяют их полосу красными мазками. Но, как скоро это выразительное пятно отмечает каиновым клеймом черты благополучной дамы в добродетельном светском салоне или в буржуазной гостиной, оно — верное ручательство за то, что пред вами либо тайная Мессалина; а, если не Мессалина, то — лишь по случаю и до случая, либо самоотверженная героиня, задавившая в себе Мессалину могучим напряжением воли и живущая в постоянном и чутком борении с самой собою. Встречая грозный рот проститутки в так называемом порядочном обществе, невольно хочется справиться у сведущих людей: а не было ли в семье дамы — его обладательницы — какой-либо жуткой и низкой любовной истории? Не отравила ли она мужа или любовника? Не стрелял ли в нее муж, брат мужа, гимназист или собственный лакей? Не

совершено ли ею, около нее, с ее участием или ради нее крупной кражи, растраты, подлога, казенного хищения? Не пахнет ли вокруг нее кровью, пролитою с корыстною целью? Не осталось ли за нею в прошлом детоубийства или хоть жестокого обращения с ребенком? На кого похожи ее дети? Не кокотка ли была ее мамаша, и не ранняя ли распутница ее пятнадцатилетняя дочь?

— Кудри мои, увы, остались в Маньчжурии — жертвою богу тифа. Но — какими же судьбами вы здесь, Марья Ивановна? Вас ли я вижу?.. Вы позвольте мне присесть? Если, конечно, ваши соседки не имеют ничего против... Или, быть может, вы сделаете мне честь — перейдем и займем место у нашего стола? Мой товарищ, Иван Терентьевич Тесемкин, очень милый человек. Он из московского купечества, но чрезвычайно образованный господин, приват-доцент, занимается естественными науками... Мы оба будем в восторге.

— Auguri agl'innamorati! * — воскликнула желтоперая подруга, с тою дружелюбною насмешкою и благожелательною завистью, которыми в Италии встречаются решительно каждое знакомство и каждая беседа мужчины и женщины, если есть хоть какая-нибудь возможность подозревать в том любовную подкладку или ждать из того любовных последствий. Ciao, Rina! Io ti lascio al tuo amore dўamico. Se tu non lo mangi intiero, avanza mi un pezzettino pedomani **.

— Gia tardi. Buona notte, Rina! — вздохнула и, вслед за желтоперою, поднялась с места обладательница прямоугольного носа между двух вороньих глаз. Che miseria di lavoro stasera! Non c'e nulla di profitto ***.

---

* Поздравления возлюбленным! (*um.*)

** Прощай, Рина! Оставляю тебя твоему душке-любовнику. Если ты не съешь его целиком, оставь мне кусочек назавтра (*um.*).

*** Уже поздно. Доброй ночи, Рина!.. Плохая работа сегодня. Ничего не заработала (*um.*).

— Te ne vai a ca'?

— No, ci proviamo fortuna ancora da Carini...*

— Какими судьбами вы здесь? — повторил Матвей Ильич, опускаясь на одно из освободившихся мест.

Женщина, все еще красная, смотрела на него с тою типическою робостью, которая всегда сказывается в манерах и поведении даже самых давних и опустившихся проституток, когда они встречают людей, знакомых им раньше, чем они запутались в сетях своей безвыходной профессии, в иных обстоятельствах и другой обстановке.

— Н-ню, — сказала она, опуская глаза, — я не понимаю, как меня перед вами держат... Такое неловко...

И вдруг захохотала:

— А хорошо я вас надула тогда? О, какой вы все были смешной... Ах, я был молодой, резва и весела... Давно вы в Милане? И надолго?

— Да думал уехать с утренним поездом, а теперь...

— О, так скоро? Я вам не позволяет...

Она сделала глазки и положила руку свою на его руку.

— Пригласите же ваша приятель... Он скучает один. Вы говорите по-итальянски?

— Ни звука.

— Тогда будем, пожалуйста, говорить по-французски. Я хотела бы многое рассказать вам и спросить ваш совет, но совсем забыла по-русски.

— Как вам угодно, Марья Ивановна.

— И не надо — Марья Ивановна. Марья Ивановна давно нет на свете. Есть mademoiselle Fiorina — Фьора, Фиорина, Рина, как вам больше нравится... А, значит, я еще не слишком подурнела, если вы так легко и скоро меня узнали? Ах, как я вас тогда одурачила! вот обвела!.. Я уверена, что, если бы вы могли меня потом поймать, то посадили бы в самую страшную тюрьму...

* Ты домой? — Нет, попробуем еще счастья у Карини... (*ит.*)

Она хохотала.

— Уж и в тюрьму, — улыбнулся Матвей Ильич. — Вас-то нет, но кое-кому, пожалуй, пришлось бы не миновать этой квартиры... Иван Терентьевич, — обратился он к подошедшему приятелю и знакомя его с дамою, — а что если мы, в самом деле, отложим на денек наш поход на Монте-Карло? Я того мнения, что проиграться мы всегда успеем. Между тем — вот, оказывается, встретил я компатриотку и старую знакомую, которая к тому же замечательнейший и весьма хитрый человек.

Фиорина засмеялась, хлопнула в ладони и сощурилась с самодовольным видом: нам, мол, пальца в рот не клади.

— А по мне, ничего лучшего и не надо, — согласился Тесемкин. — Мне в вашем Милане нравится. Готов просидеть в нем день, два, даже неделю. Особенно, если mademoiselle Фиорина будет так любезна и поможет мне найти компанию — представит меня вон той золотоволосой особе...

— А? вам нравится Olga la Blonda?! *

— Да — нравится не нравится, но я как-то всегда замечал, что компания куда стройнее слагается из пар, чем из единиц. Мужчины и женщины обязательно должны быть в четном числе. Иначе кому-нибудь одиноко и скучно.

— Я охотно вас познакомлю. Только предупреждаю вас. Она не говорит по-французски. Едва несколько слов.

— Это ничего. Ведь я с нею не о дифференциалах буду разговаривать. А глаза, жесты, поцелуй и постель — международны...

— Ваш приятель, однако, большой шут! — целомудренно отвернулась mademoiselle Фиорина.

— Послушайте, — говорила она Матвею Ильичу, покуда Тесемкин какою-то не то пантомимою, не то балетом изображал перед рыжеволосою девицею влюбленный восторг и счастье быть с нею знакомым и сидеть рядом за одним

* Ольга Блондинка (*фр.*).

столом. — Послушайте, кафе сейчас закроют. Здесь торгуют только до четырех. А мне надо так много сказать вам...

— Да и мне хотелось бы много выслушать от вас. Где мы можем продолжить наше свидание?

Она пожала плечами и недовольно протянула:

— Из ночных кафе только это прилично... к Карини я не хожу. Там смешанное общество... не безопасно...

— Тогда мы могли бы взять комнату в каком-либо отеле?

— Что вы! как можно! Вы, кажется, думаете, что вы еще в России? Здесь не русские нравы. Никто не пустит в гостиницу ночью две пары, как мы. За это большой штраф. Поплатился бы и хозяин, и мы обе с Ольгою, бедняжки... Нет, уж если вы непременно желаете, то остается одно — пойти ко мне.

— Но — с наслаждением! — воскликнул Матвей Ильич. — Я лишь не смел просить вас сам...

— А вы оставьте церемонии и будьте смелее. Видите: мы с вами не в К., где я должна была разыгрывать светскую барышню и неприступность! Увы! с тех пор переменилось и время, и место...

Она вздохнула.

— Живу я, предупреждаю вас, в порядочной трущобе, но не смущайтесь кварталом. Квартира у меня приличная и соседи неопасные, так что за кошелек свой и часы можете быть спокойны...

— Помилуйте... я и не думал.

— Напрасно не думали. Следует думать. В других местах, если будете с женщинами, мой совет вам — непременно, пожалуйста, думайте. Но вы мой знакомый, а знакомого моего никогда никто не тронет в нашем квартале. Предупреждаю вас, однако, — мне очень совестно, но... вы понимаете, — этот визит ко мне... — она заторопилась, — вы понимаете... я не имею права иначе... словом, это обойдется вам двести лир... ну, по знакомству, полтораста, ну, даже сто... хотя Фузинати будет меня ругать.

— Помилуйте... — говорил озадаченный русский, — я... правда, не имел никаких намерений... но, если вам угодно иметь эту сумму, могу... с удовольствием.

Она поникла головой.

— Что там угодно? Только с вами, русскими, столько церемоний, приходится стесняться — по старой памяти... А для остальных — просто — цена это моя, prezzo fisso *, мой заработок. Иначе я не могу. Надо жить.

— А кто такой этот господин, которого вы помянули?

— Фузинати?

— Ваш дружок, вероятно?

— Нет. У меня дружка, слава Богу, нету. Был да сплыл. Сидит в Монтелупо и кается в прегрешениях, которые он против меня совершил. Фузинати — мой ростовщик. Я у него на откупу. То есть, не я сама, потому что — он ханжа и считает величайшим грехом хотя бы прикоснуться к женщине — тем более к такой, как я. Но — все, что вы на мне видите, принадлежит ему, а — также — и львиная доля из моего заработка. Я, Ольга, две, которые ушли, вон та — в гранатовом манто, эта — в стеклярусе, — все мы рабыни Фузинати, и он контролирует нас, как евнух. Будете иметь удовольствие увидать эту прелесть. Уже, наверное, сторожит у входа, под аркою галереи.

III

Вышли вчетвером. Матвей Ильич вел под руку красивую Фиорину, Иван Терентьевич — Ольгу Блондинку. Покуда они шли ярко освещенною галереей, им трижды попадались навстречу весьма подозрительные, корявые франты в котелках и с жесточайше-черными усами. Матвею Ильичу показалось,

* Моя цена (*ит.*).

что они обмениваются со спутницею его знакомыми взглядами, а его самого осматривают, точно взвешивая на фунты. Нельзя сказать, чтобы это понравилось русскому. Он уже раскаивался, что так легкомысленно позволил себе пойти за Фиориной.

— Черт ее знает! Город незнакомый, сама говорит, что живет в трущобе, револьвера у меня нет... И почему я ей доверился? Помню — не то как сумасшедшую, не то как авантюристку — может быть, просто мошенницу и, во всяком случае, соучастницу в какой-то грязной плутне с живым товаром...

Фиорина заметила смущение Бельского, поняла и успокоила:

— Не беспокойтесь. Это люди Фузинати. Я же говорила вам, что у меня есть импресарио, и я работаю — вся на отчете. Самого Фузинати мы встретим где-нибудь здесь же, где потемнее, — он у нас не охотник до света; а эти собачки обязаны бегать по портикам вокруг кафе и следить, чтобы ни одна из нас не ускользнула с кавалером без его ведома, — поработать малую толику не на Фузинати, а на самое себя... Целую бригаду содержит: десяток таких молодцов. Каждый обходится ему пять франков за вечер. Три — на галерею и портики. Остальные — на город. Вот в Италии нет для нас специальной полиции, так мы сами свою собственную завели.

Она тяжело вздохнула и продолжала:

— Видите, — вы и не заметили, а между нами произошел, без единого слова, целый разговор. Вы чувствовали, что я крепче опиралась на вашу руку и ближе к вам прижалась? Это значит: «Он, то есть вы, меня не просто провожает, а я поймала гостя». Иначе я, наоборот, отшатнулась бы от вас и смотрела бы по сторонам. Ольга тогда же громко сказала: «Как поздно!» — значит, что мы ведем вас к себе на квартиру, а не в другое место. Если бы мы шли в кафе, Ольга или я воскликнула бы: «А ведь еще рано!» Если бы к вам на квартиру: «Не взять ли карету?» И так далее...

Можете быть уверены, что сейчас Фузинати уже оповещен которым-нибудь из них о вашей особе в совершенной точности, что вы иностранец, что я вас давно знаю и за вас ручаюсь, что вы рассчитываете провести в Милане несколько дней и я надеюсь иметь в вас постоянного гостя, и, наконец, главное, что вы заплатите мне... Кстати, если бы он вздумал спрашивать вас, сколько вы мне заплатите, пожалуйста, скажите, что не сто, как мы уговорились, а только пятьдесят франков. Можно, миленький? Правда? Знаете, ведь я ему обязана отдать сорок... мизерия! поневоле, утягиваешь, что можешь, когда счастье повезет, как сегодня. Надо же жить! Из пятой доли, при нынешних ценах, не очень-то разойдешься. Что вы так недоверчиво смотрите на меня?

— Я сделаю и скажу все, что вам угодно, но я не понимаю, как вы могли сообщить такие сложные сведения без каких-либо особых знаков.

— Напротив, я сделала множество знаков, только вы их не поняли, потому что приняли за обычные естественные движения. Я успела поправить вуаль на шляпе — знак старого знакомства, на руке, за которую вы меня ведете, я загнула четыре пальца, а указательный оставила, это, значит, одна моя единица, — пятьдесят, дешевле чего Фузинати не позволяет мне водить к себе гостей. Я могу возвратиться домой одна, — тогда это стоит только ругательств и попреков, что я лентяйка, гордячка, старуха, обезьяна, которая не нравится мужчинам и не годна в работу. Но, если я приведу мужчину, то, прежде всего, должна уплатить Фузинати с пятидесяти франков — сорок, со ста — восемьдесят. Иначе он не впустит меня в квартиру. Вот что значит мой один палец. Теперь он уже знает, сколько вы стоите и чего он вправе от меня ждать. Два значило бы сто, три — полтораста и так далее. Я похлопала вас по рукаву: значит, видимся не в последний раз, он остается в Милане... Это я, чтобы он не хныкал за пятьдесят франков, — может

быть, вы, в самом деле, накинете ему какую-нибудь безделицу? А?

— В кафе вы, Фиорина, как будто упоминали о других цифрах вашего... заработка?

— Ах, кто же из нас не врет и не преувеличивает? Запрашивать — пытать счастья. Мы в Италии. Вдруг клюнет? С англичанами бывает. Меня к одному свиноводу американскому, из Чикаго, Фузинати возил — за дукессу Бентивольо я пошла тогда — всего полчаса и пробыла у него, и он мне тысячу лир на булавки подарил, а уж что с него Фузинати снял, — воображаю. А с вас и Бог велел взять больше по старому знакомству. Вы компатриот. Э! У вас денег много! Я понимаю людей, вижу насквозь!.. Не беда, если поделитесь с бедною девкою, которую вы застаете, откровенно сказать вам, далеко не на розах — не очень-то радостные идут сейчас для меня дни.

— Да я и не имею ничего против. Ну, а как же ваша подруга? Она вас не выдаст вашему антрепренеру?

— Ольга? Да она не помнит себя от счастья. Сто лир девице, которая считает благополучием идти за двадцать! Если ей удастся хоть половину припрятать от Фузинати и от своего любовника Чичиллу, она будет воображать себя барыней. Италия бедная страна, г. Бельский. Женщина здесь дешево стоит, мужчины не могут тратить на нас столько, как в Париже, Вене либо у вас в Петербурге. Перед тем как вы впервые со мною познакомились, когда я жила в Петербурге у генеральши Рюлиной либо у старой ведьмы Буластовой, пятьдесят франков годились мне разве лишь — чтобы папиросу закурить. Здесь это идеал. Это, значит, поймала иностранца. Итальянцы не умеют тратиться на женщин, если они — не из общества...

Фиорина засмеялась.

— Есть тут у нас одна — Джузеппина. Молоденькая, всего второй год в работе. Из Бардонекьи, — это там, в Альпах, уже у самого Монсенисского туннеля. Только что еще све-

женькая, а некрасивая, незанимательная, — товар третий сорт. Крестьянка неграмотная. Работает на приданое. Потому что, понимаете, обручена она с унтер-офицером, а им не дозволяется жениться, если у невесты нет 5000 франков наличными. Идет, за сколько попало. Двадцать франков — восторг и упоение! Десять — и то хорошо. Пять — с гримасою, но тоже можно. И вот — приходит ко мне недавно, вся растрепанная, неприбранная, и ревет благим матом.

— Что ты, Пина?

— Помогите мне, синьора, дайте десять лир взаймы. Беда! опростоволосилась я, дура! не знаю, что и делать теперь... Франи, — это ее ganzo *, — меня изувечит... Он такой бешеный, чертов сын, Франи. Разве я виновата? Меня гость обманул!

— Не заплатил, что ли?

— Хуже, синьорина... Я ему доверилась... был такой приличный господин, золотые часы, золотое пенсне... Притом очень вежливый и добрый... Все расспрашивал о работе, о женихе, о приданом — пожелал мне, чтобы я поскорее собрала свои пять тысяч франков... ушел... Мне было совестно — при таком любезном господине — проверить, сколько он там, положил на камин... Я доверилась... Господи Боже мой! Думаю — Мадонна пресвятая! Святой Амвросий Медиоланский! Не станет же такой приличный и хороший господин надувать бедную девку из-за каких-нибудь десяти лир. Проводила. Бегу к камину, — ах, мерзавец! так и обмерла... Вы посмотрите. Рина, — нет, вы только посмотрите, что мне этот подлец, вместо десяти, оставил... тряпку! Ярлык паршивый! Франи пересчитает мне все ребра...

Гляжу, и, знаете, чуть не расхохоталась.

— Ах ты, дура! — говорю, — счастье твое, что ты на честную женщину напала... Невежда ты деревенская! У тебя

* Любовник (*ит.*).

какой-нибудь герцог владетельный был или миллионер, ищущий приключений. Ишь — расчувствовалась! Это — пятьсот франков!

— Что-о-о?

Как прыгнет она ко мне, словно кошка, — бумажку вырвала, сама белая, вся трясется.

— Ну да, — говорю, — пятьсот лир итальянского банка.

— Не может быть, синьора Рина! Вы ошибаетесь! Врете! Смеетесь надо мною! Быть не может!

— Ну вот, я ошибусь, — подумаешь, никогда билета в 500 лир не видала! Это ты не ошибись, заучи наперед, какие они бывают. А то в другой раз кто-нибудь, в самом деле, пятьсот лир посулит, а вместо ярлык с бутылки сунет, — ты, дура безграмотная, и возьмешь...

— Ох, возьму, ша *) Рина, ох, возьму!.. Да послушайте: вы не шутите? Грешно вам, если смеетесь над бедною девкою...

— Если хочешь, пойдем вместе к меняле, — увидишь!

— Да — кто же мне даст 500 франков? за что? Ведь пятьсот франков per un colpo ** даже и вам не платят...

— Значит, послала тебе фортуна благодетельного чудака. Есть такая пословица, что дуракам счастье... Пользуйся!

Отсюда, многоуважаемый г. Бельский, вы можете заключить, каковы здесь наши заработки. Женщина работает в Милане три года и, хотя из маленьких, но все же не тротуарщица какая-нибудь, а между тем все не то что не получала, — это-то, конечно, где уж! — чудом из чудес случилось! — но даже не видывала, какие бывают пятьсот франков... Страшная конкуренция. Женщин много, мужчин мало. Иностранцы перестали ездить в Италию, чтобы развлекаться. Французы сидят в Монте-Карло. Англичан почти не видно, немцы скупы, ездят в обрез, а русские обеднели. Ни бояр, ни богатых коммерсантов.

*) В пьемонтском и лигурийском диалектах «синьор» сокращается в «шу», «синьора» — в «ша»: Sciu Guido, scia Paola etc.

** Торговля в розницу (*ит.*).

Ведь у вас там всегда одно из двух: либо революция, либо холера. Сюда выезжают теперь такие странные русские, что прежде и не видано. Не говорю уж об aspiranti dell'arte *. Это все — наши соседи, по тем же дырам и захолустьям ютятся, где и наша сестра, также голодают, перебиваются на хлебцах в два сольдо и вине из фонтана. Но вдруг нагрянут какие-то научные экскурсии, что ли, — бродят толпами, на Корсо только и речи слышишь, что русскую, и у всех такой голодный вид, что так вот и хочется, от жалости, часы с себя снять и им отдать...

— А политических эмигрантов встречаете?

Фиорина примолкла. Потом нехотя сказала:

— Этим я даже не признаюсь, что я русская.

— Не любите их?

— Напротив. Я республиканка.

— Ого!

— Чему же вы удивляетесь? Между нами много республиканок. Либо анархистка, либо республиканка, либо католическая ханжа, папистка. Все — крайние. Середины никогда нет.

— В таком случае вам должны были бы приятны быть встречи с эмигрантами, — они ваши единомышленники, — зачем же вы от них бегаете?

— Стыдно... На мне одна юбка, хоть и чужая, прокатная, триста лир стоит. Я в шелковом белье хожу. А вы посмотрели бы, как они живут, что едят, где спят... Вы можете вообразить себе жизнь на двадцать франков в месяц? В большом-то городе? почти столице?

— Вы шутите, Рина!

— А вот — останьтесь в Милане подольше: я вам покажу... сколько хотите! И не думайте, чтобы все лишь мелюзга какая-нибудь, незаметность, бездарность, пушечное мясо, как

* Кандидат в сочинители (*um.*).

говорится. Нет, есть тут один... был у вас там на родине большой человек, деятель, из вождей, его имя по всей Европе в газетах прошло... А здесь прозябает без языка и без работы. Здоровьишко сквернейшее. Жена, ребенок. Чем живут, — и сами не знают. Падают откуда-то какие-то 50 франков в месяц. Как хочешь, так и обернись. Накорми, одень, обуй, под крышею надо жить. Зимы здесь суровые. Чувствуете, какой туман. Пронизывает до костей. Ночи длинные. Ведь вот скоро пять, а до рассвета еще долго, долго... Вы сытый, богатый, не можете даже вообразить себе, что значит холодному и голодному человеку ждать солнца в такую ночь. Для вас-то солнце — только наслаждение, а для бедняка оно и печь, и лампа. Да! Как же мне в горностаевой накидке такому бедняку признаться? Я стараюсь находить ему время от времени кое-какую работишку через моих знакомых мужчин, но — показать ему, что я русская? Да я умру со стыда! Ни за что на свете!

Они свернули с Corso * в переулок — San Pietro al Orto **. На углу от дома — едва они минули — отделилась, словно скульптурное украшение вдруг отлипло от стены, — маленькая кривая фигурка пожилого мужчины, скрюченная, в пелерине, какую обычно носят, в холодную пору года, мещане северных итальянских городов.

— Однако за нами как будто кто-то следит? — заметил Бельский Фиорине.

Она быстро обернулась и закричала резко и сердито на миланском наречии:

— Фузинати! Опять комедии? Что вы ползете сзади, как убийца? Неужели вы воображаете, будто мы вас не видали, старый бездельник?

Кривой человек подкатился, как мячик, и униженно закланялся под фонарями, держа на отлет круглую шляпу.

* Улица (*ит.*).

** Сан-Пьетро на Востоке (*ит.*).

— Я ждал лишь, чтобы спросить вас, синьорина, в котором часу вы разрешите завтра...

— Оставьте кривляться, вечный комедиант. Синьор форестьер — мой старый друг, и мне нет никакой надобности скрывать от него, что вы за птица. Говорите по-французски! Я совсем не хочу, чтобы он подумал, что мы сговариваемся его убить или обобрать...

Фузинати еще раз смиренно поклонился Матвею Ильичу и произнес на очень хорошем французском языке, почти совершенно без звенящего и жужжащего итальянского акцента:

— Мосье, очень рад счастью вашего знакомства. Мадемуазель Фиорина несколько строга ко мне, но я прошу вас не выводить из ее слов дурных для меня заключений. Что делать? Мы все знали лучшие дни и не хотим принять уроков от судьбы — смириться соответственно нашему новому положению, которое требует, чтобы мы были скромнее, да, скромнее...

— Особенно ваше положение, Фузинати, — проворчала почти с угрозою Фиорина, — который дом воздвигаете вы теперь на пустырях за Porta Venezia? * Мы пришли. Давайте ключ, старый Риголетто!

— Мадемуазель Фиорина, — кротко, но, в свою очередь, с насмешкою возразил Фузинати, буравя огромным и толстым, как коротенький лом, ключом, — показалось Бельскому, — прямо-таки стену в громадном черном доме, чрезвычайно старинном, если судить по силуэтам нависшего над окнами скульптурного орнамента и по фигурности решеток, гнутыми выступами облегавших самые окна. — Мадемуазель Фиорина! Вы же так не любите, когда я — по вашему мнению — говорю лишние слова, хотя, по-моему, я стараюсь быть только вежлив... да-да, любезен и вежлив...

---

* Ворота Венеции? (*ит.*)

— А, черт ли мне в вашей вежливости? Лучше говорите мне «ты» и зовите меня девкой, да не дерите с меня четыре пятых заработка.

— Я позволю себе возвратить вам ваш обычный упрек, — продолжал Фузинати, словно и не слыхал возражения, — зачем же вы спрашиваете у меня ваш ключ здесь на улице, когда очень хорошо знаете, вот уже пятый год, что он, по обыкновению, ждет вас, вися у камина под номером девятым?.. Проклятая дверь! Ага! Сколько лет мучит она меня — и каждый день забываю послать за слесарем. Наконец-то! Прошу вас, messieurs-dames *, сделайте одолжение, войдите... Мадемуазель Фиорина, мадемуазель Ольга...

— Черт знает, — проворчал Иван Терентьевич, шагая через порог открывшейся в стене железной двери, — оперная декорация какая-то.

В слабом мерцании ночника, в нише пред терракотовою раскрашенною мадонною, открылось, в самом деле, нечто красивое, смутное и, в полутьме, как бы зловещее: колоннада старого-престарого дворца, — когда-то, должно быть, весьма великолепные и величественные сени, открытые громадною круглою аркою в обставленный колоннами, обведенный портиком cortile **.

— Это было когда-то дворцом, господа, — говорил Фузинати, учтиво пропуская Бельского и Тесемкина с дамами из сеней в маленькую стеклянную дверь нижнего этажа направо.

Вошли в крохотную каморку — будто фонарь — во времена оны, несомненно, дворницкую или привратническую. Комнатка была заставлена разнокалиберною мебелью, завалена сборною старою домашнею утварью и завешана всякою пестрою, ветхою рухлядью, так что походила не то на

* Господа-дамы (*фр.*).

** Внутренний дворик (*ит.*)

берлогу мелкого ростовщика, не то на лавку старьевщика. Прежде всего бросалось в глаза огромное кресло, обшитое когда-то дорогою, штофною материей, — вещь не моложе XVII века. На нем лежало пестрым комком нечто, по первому взгляду, Бельским принятое за одеяло, но — заслышав людей — оно зашевелилось и оказалось маленькою девочкою, лет десяти, худою, истощенною и злого, дерзкого вида. На желтом личике, под мохнатою шапкою спутанных волос, надменно сверкали большие черные глаза, обведенные широкими темными кругами.

— Э, Аличе! — кивнула ей Фиорина, — ты еще не спишь?

— Я уже не сплю, — недружелюбно оскалилась девочка, показывая большие не по возрасту, звериные зубы. Голос ее был хриплый, звериный. Говорила она на грубом, лающем наречии пьемонтских горцев.

Ольга сказала:

— Эта обезьянка всегда ждет вашего возвращения, Фузинати, — вы, должно быть, приносите ей хорошие конфекты.

— Дождешься от него! — захохотала девочка, садясь на ручку кресла и болтая в воздухе босыми ножками, бледными в смуглоте своей, как лилии, и тощими, как палки. — Не желаю вам, синьорина Ольга, конфект, которыми он меня кормит... Ха-ха-ха!.. Ну-ну! нечего делать мне страшные рожи, старый орангутанг! Не очень-то здесь тебя боятся...

Фузинати, оказавшийся при свете весьма скромным на вид, должно быть, болезненным, желтолицым стариком лет под шестьдесят, но с черными еще усами, и почти черными волосами на голове, и с яркою синевою чисто выбритых, впалых щек, делал вид, будто не слышит, что о нем говорят, и объяснял Бельскому:

— Да, это было дворцом. Дом устарел и запущен, но это исторический дом, мосье. В шестнадцатом веке воздвигнуты эти колонны, государи мои. Еще сто лет тому назад здесь обитали, когда наезжали в Милан из своих вотчин под Мад-

ридом, герцоги Медина Сели, могущественнейшие из вельмож испанского двора...

— А теперь, — с сердитым смехом перебила Фиорина, — все шесть этажей этого дурацкого, вонючего сундука битком набиты девками, две из которых почтительнейше ожидают, когда вы соблаговолите выдать им их ключи.

— Вы всегда спешите, мадемуазель Фиорина! — уж с сердцем огрызнулся Фузинати. — Вы ведете себя сегодня так, словно мы с вами первый день знакомы. Вы же знаете, что я не могу дать вам ключа прежде, чем не получил с вас моей доли за прокат вашего туалета.

Фиорина покраснела.

— Мосье Бельский, — обратилась она к кавалеру по-русски, — я весьма совестный...

— Вероятно, старик желает получить вперед? — оборвал Тесемкин. — Это возможно. Voila, старинушка, или по вашему будет — ессо! * Один, два, три, четыре, пять — получайте с обоих, за меня и за приятеля, — пять золотых... великолепнейших, круглых, новых, французских, петухом украшенных золотых.

— Один наш! — быстро воскликнула Фиорина, — накрывая монету рукою и кивая Ольге, которая тоже ответила ей флегматическим кивком.

Фузинати покосился на них весьма недружелюбным взглядом, но ничего не сказал и со вздохом повернулся к вешалке ключей у своего камина:

— Номер девятый, мадемуазель Фиорина, номер тридцать первый, мадемуазель Ольга... Две женщины и только пять золотых. Ужасные времена, мужчины в Милане потеряли последнюю тень щедрости... Мосье! — обратился он к Бельскому. — Я прошу вас быть великодушным и прибавить мне какую-нибудь маленькую, самую

* Так-то так, не угодно ли! (*ит.*)

крохотную безделицу. Ведь деньги, которые платят мне эти дамы, — я ничего тут не зарабатываю! Клянусь св. Амвросием, ничего! — это лишь маленькое погашение их долга по нашим взаимным дружеским обязательствам.

— Уж истинно дружеским! — проворчала Фиорина, — вы, смотрите, без шуток! не забудьте отметить эти сорок франков в вашей толстой книге, — вы, старый Гарпагон!

— Кажется, я никогда не бывал недобросовестным кредитором ни в отношении вас, мадемуазель Фиорина, ни вас, мадемуазель Ольга, ни кого-либо из дам, квартирующих в арендуемом мною дворце...

— Слышать я не могу, когда вы называете дворцом эту вашу глупую развалину, подлую вонючую лачугу! Господи! Вот сегодня несет со двора! Можно подумать, что околели все кошки в Милане.

— Да, воздух довольно ужасный, — согласился Бельский. — Не слишком то вы, г. Фузинати, заботитесь о своем дворце.

— Что делать, сударь? Я человек бедный. Плачу высокую аренду, а имущество совершенно бездоходно. Мадемуазель Фиорина улыбается. У нее веселый нрав. Я не пользуюсь расположением мадемуазель Фиорины. Но я готов поклясться гробницею св. Амвросия, что квартирный доход не покрывает аренды и, если бы я не занимался маленькими комиссиями по торговле мод и готового платья, то давно был бы банкрот, несчастный, жалкий, разоренный нищий. Как же я могу поддерживать чистоту дворца? Вы видите: у меня нет средств даже нанять привратника, и я сам должен исполнять его обязанности, и не спать по ночам, ютясь, как собака, в этой конуре, потому что квартирантки мои возвращаются поздно... Я уверен, мосье, что вы поймете меня, войдете в мое положение и, пожалев бедного больного старика, прибавите безделицу...

Матвей Ильич дал ему еще золотой. Фузинати схватил монету тощею, скелетною лапою, синею, со вздутыми жи-

лами, под густыми волосами, почти шерстью, и, спрятав монету в жилетный карман, подал ключи Фиорине и Ольге.

— Очень вам благодарен, мосье... Мадемуазель Фиорина, если вам понадобится вино или бисквиты, вам стоит только крикнуть из вашего окна. Старик Фузинати не ложится в постель всю ночь и всегда весь к вашим услугам...

— А, в самом деле, недурно бы... — начал было Матвей Ильич, но Фиорина быстро дернула его за рукав.

— Идем! Поздно! Какое там вино!

— Вы для меня дорогой гость, — говорила она, — проводя его через cortile, действительно, напоминавший скорее мусорную яму, чем атриум палаццо, — мне и то уже совестно, что вам пришлось заплатить несколько денег за знакомство со мною... Сохрани Бог, чтобы я еще заставила вас платить, по пяти франков бутылка, за кислое монферрато из погребов Фузинати. Черт его, знает, чего он туда мешает...

IV

Поднимались высоко, по лестнице, обвивающей cortile, как во всех дворцах итальянского Возрождения, под портиком, четырехколенным ходом.

— Господи! — вздыхал Иван Терентьевич. — Куда только мы идем? а? Матвей Ильич! Неужели еще выше? Ну так и есть! Я вас спрашиваю, куда мы ползем?

— Не знаю, — смеялся тот, — но, по счету ступенек, мы уже в небе и недалеко от рая.

— Сразу видно, что вы русские, — говорила Фиорина. — Из всех иностранцев русские самые ленивые. Им всегда все лестницы кажутся высоки. Между тем мы прошли только два этажа, а нам надо подняться на пятый.

Иван Терентьевич даже взвыл.

— Мадемуазель Фиорина! У меня сердце лопнет. Вы бы хоть предупредили меня раньше. Я бы прямо на пороге лег и умер во славу вашу. Ведь это же для нашего брата, толстяка, каторжные работы.

Бельский утешал его:

— Ну что вы расплакались? Поднимались же вы вчера в Венеции на собор, к коням св. Марка, — любоваться венецианскими трубами.

— Потому-то сейчас и трудно. Колени отломились. Болят мои скоры ноженьки со походушки. И — хорошо вам разговаривать, когда ваша легкокрылая дама летит вверх по уступам, подобно лани или серне быстроногой, и вас же еще влечет за собою на буксире. А моя душка, прах ее побери, повисла на локте шестипудовым мешком и столь на мою силу полагается, что даже уж и ногами двигать труда себе не дает. Лестно, но тяжеловесно. Вы, впрочем, мадемуазель Фиорина, всего этого ей не переводите. Желаю быть не ненавидимым, но любимым.

— Не переведу, — смеясь, обещала Фиорина, но прикрикнула-таки на Ольгу:

— Не спи раньше постели! шевелись ты! альпийская корова!

Ольга лениво покосилась через толстую щеку, пошевелила толстыми губами и ничего не сказала. Она, в самом деле, покорялась старшей и шикарной подруге беспрекословно, как хороший, безвольный автомат.

Иван Терентьевич рассуждал:

— Вы говорите, мы в небе и около рая, — сомневаюсь, потому что вонь все еще чудовищная, — в раю помойных ям, это уже в десятом веке монахи доказали, — быть не может, — да и темь, как в аду...

Фиорина извинилась:

— Скряга Фузинати не держит фонарей на лестнице. Впрочем, это здесь вообще не очень-то в обычае. Предполагается,

что у каждого мужчины должен быть в кармане клубок восковых свечей. Я не сообразила, что у русских это не принято. Погодите, я сейчас добуду. Мы будем проходить мимо Мафальды Помилуй мя, Господи. Она, наверное, не спит. Я вижу огонь в щелях ставень.

— А как же вы сами-то обходитесь без фонаря?

— Да ведь, обыкновенно, поднимаешься не одна. Да и привычка. Я легка на ногу. В ночи вижу, как кошка, и одышки у меня еще нет.

— Что вам за охота жить так высоко? Дешевле что ли?

— Напротив, дороже. Четвертый и пятый этажи идут у Фузинати по самой высокой расценке. Нет комнаты дешевле ста франков в месяц, а я за три свои, — вот вы увидите, — плачу триста семьдесят пять. Верхние этажи, кроме шестого, это наш аристократический квартал. В шестом жить нельзя: слишком низкие потолки и зимою холодно, а летом знойно от крыши. Но, вообще, наверху, знаете, воздух чище и солнца больше. Здесь без этого нельзя. Солнце — все. Если небо ясно, то никто печей не топит. Поэтому и платим Фузинати лишнее — за экономию на угле и дровах. Вот здесь живет Мафальда Помилуй мя, Господи...

Она постучала в решетчатую дверь.

— Помилуй мя, Господи! Кто там? — окликнул басистый женский голос.

— Рина.

— Кой черт, помилуй мя, Господи, носит тебя так поздно?

Фиорина объяснила.

— Помилуй мя, Господи! Подожди.

Загремели внутренние деревянные сплошные ставни, звякнули стекольные створы, решетчатый свет испестрил галерею. Внешние ставни Мафальда медлила отворять. Фиорина злилась.

— Долго ли будешь ты копаться, чертова котлета? Подумаешь, на костер тебя, ведьму, приглашают!

— Помилуй мя, Господи! Я слышу, ты не одна?

— Со мною Ольга Блондинка и два синьора, иностранцы.

— Помилуй мя, Господи! Ты не обманываешь меня? В самом деле, эти господа, которые с тобою, помилуй мя, Господи, не из наших, здешних, но иностранцы?

— Выгляни, так и сама увидишь. Отворяй, бефана! *)

— В таком случае, дочь моя, помилуй мя, Господи, — пройдись, пожалуйста, немного по галерее, посмотри, не прячется ли где-нибудь за колоннами, помилуй мя, Господи, этот наш адский скандалист, Ульпиан с Пятном? Он уже дважды приходил ко мне искать свою Розиту, но я узнала его подлый голос и притворилась, помилуй мя, Господи, будто я пьяна и сплю. Ты понимаешь, если ко мне ворвется этот выкидыш, которого чертова мать родила от собственного своего сына, то мне, слабой женщине, помилуй мя, Господи, ничего не останется, как, помилуй мя, Господи, взяться за нож.

— Отворяй, пожалуйста. Никого здесь нет, кроме нас, четверых, и котов, которые поют кошкам свои серенады.

Верхние ставни двери, составленной из четырех решеток, распахнулись. В световом квадрате обрисовалась черным силуэтом приземистая фигура женщины, необычайно широкоплечей и плотной, с растрепанною, косматою, будто каждый волос дыбом поднялся, курчавой головой.

— Эге, девки, — помилуй мя, Господи, — да вы с удачею! — пробасила Мафальда, оглядев мужчин, сопровождающих Фиорину и Ольгу. — Каких пушистых захватили, помилуй мя, Господи! Ну-ну! Знай нашу мышеловку! Ха-ха-ха! Помилуй мя, Господи! Ах, вы, бесовы дочери, целуй вас палач!

Голою толстою рукою, совсем серою в тусклом свете лампочки, протянула она Фиорине восковой клубок и спички.

---

*) Бефана — нечто вроде масленичного чучела, сжигаемого на празднике Крещения 6 января (Epifania). Также злой дух, кикимора, домовой женского пола.

— Помилуй мя, Господи! Вот так дельфинов словили... Ха-ха! Удивительно! Сегодня, помилуй мя, Господи, не везет никому из всей мышеловки. С кавалерами возвратились только вы да тощая Иола из третьего этажа... Ну и моя Клавдия, — помилуй мя, Господи! — тоже поймала какого-то англичанина. Увез ее на два дня в Комо...

Ольга расхохоталась.

— Ах, так Клавдии дома нет? Теперь я понимаю, почему ты боишься Ульпиана с Пятном... Значит, Розита уже у тебя? Недурно! Ах вы, подлые дряни!

Мафальда повертела пальцем пред лицом своим и равнодушно сказала:

— Дура! помилуй мя, Господи! Эта Ольга — всесовершенная дура! И у нее, помилуй мя, Господи, всегда скверные мысли в голове.

Ольга настаивала:

— Но Розита-то все-таки у тебя?

— Куда же еще деваться бедной девочке, которой любовник, помилуй мя, Господи, хочет ни за что ни про что перерезать горло? Конечно, она у меня, помилуй мя, Господи. Она знает, что я, помилуй мя, Господи, женщина с характером, и на нож у меня найдется нож, и на револьвер, помилуй мя, Господи, — револьвер. Но даю тебе честное слово, что несчастное дитя пришло ко мне пьяное, как Млечный Путь, и сейчас же брякнулось в постель, как клопик. Помилуй мя, Господи, если это не так! Клянусь тебе могилою моей матери и, если будут спрашивать, засвидетельствуй, что она, как ввалилась ко мне, так и ткнулась, помилуй мя, Господи, в подушки и заснула, и вот спит мертвым сном, ни разу не пошевельнувшись с девяти часов вечера... Да, да, да, душки мои. Сегодня только немногим весело в мышеловке Фузинати. Повсюду — пусто. Давно — темнота и сон.

— То-то так тихо... даже удивительно! Словно монастырь...

— Святой Магдалины, помилуй мя, Господи! — захохотала Мафальда. — Вы опоздали; было много шума. Сперва скандалил Ульпиан с Розитой. Помилуй мя, Господи, с каким удовольствием послала бы я этого мерзавца на галеры! Потом пришел пьяный Пеппино Долгий Нос и бил свою неаполитанку, помилуй мя, Господи, до того, что она, бедняжка, выла, как волчица, получившая пулю в ляжку, и, наконец, прыгнула от него в окно. Счастливо скачут эти твари, помилуй мя, Господи! Как блохи... Другая не сосчитала бы костей.

— Ну из нижнего-то этажа!

— Все-таки будет метра три, если не с лишком, помилуй мя, Господи. Я прыткая, но, помилуй мя, Господи, в трезвом виде не прыгну.

Назло холоду и сырости ночи Мафальда стояла в двери полуголая, лишь до пояса закрытая решетками нижних ставень, в одной рубашке, да и та ползла с нее, обнажая тучные плечи и жирную, повислую, как коровье вымя, грудь.

— Ты простудишься, — заметила ей Ольга, — накройся.

— Вот ерунда! Сейчас февраль. Когда я была девчонкою — немножко моложе тебя — то в декабре, босая, помилуй мя, Господи, пасла коз на скалах Монте-Розы. Простуживаются только барышни, как вот эта душка Фиорина, воспитанная на взбитых сливках и французском вине. Девки иногда сдуру кашляют, помилуй мя, Господи, но вообще всегда здоровы. Это наша привилегия.

— Все-таки стыдно! — сказала Фиорина. — Женщина же ты... здесь двое мужчин.

Мафальда равнодушно свистнула.

— Велика важность! Пусть каждый из них бросит мне по два франка и — помилуй мя, Господи, — я, пожалуй, растворю ставни во все окно.

— Безобразно, Мафальда! Спиваешься ты.

— Помилуй мя, Господи! Скажи лучше, что ты ревнуешь и боишься, что я, на старости лет, отобью у тебя этих гос-

под... Эй, молодчики! — закричала она русским, страшно и бесстыдно, ведьмовски, сотрясая свое старое жирное тело, — эй, молодчики! Бросьте вы, помилуй мя, Господи, этих жеманных девчонок, которые трусят быть девками и строят из себя барышень! Идите к старой бабе Мафальде, помилуй мя, Господи! Конечно, я не так нарядна, как эти беспутные цесарки, эти мохнатые овечки, которых — помилуй мя, Господи, щиплет, стрижет, бреет в свою пользу старый подлец Фузинати. Зато я, помилуй мя, Господи, знаю сто шестьдесят три позы для любовных живых картин. И у меня есть рисунки. Да! из Парижа! Ого! Выбирайте любую по альбому.

Фиорина засмеялась:

— Твое красноречие пропадает даром. Ты проповедуешь перед глухими. Эти иностранцы русские и не понимают ни единого слова из того, что ты им плетешь и чем их соблазняешь.

— Русские? помилуй мя, Господи! Это то же, что китайцы, или еще дальше?

— Нет, несколько ближе, но так же глупы.

— Помилуй мя, Господи! Во всяком случае, язычники?

— Нет, только еретики. В папу не верят.

— Помилуй мя, Господи! Это хуже язычников. О, девки! Вот проклятая наша профессия, помилуй мя, Господи! О, девки, прострели дьявол вашу душу, какие же вы бесстрашные, что, помилуй мя, Господи, идете спать с еретиками, которые не верят в папу! Вам потом не отмыться от поганых грехов ваших даже, помилуй мя, Господи, если вы возьмете ванну из святой воды, благословленной самим архиепископом миланским.

Фиорина отступила из светового квадрата в мрак тени.

— Не читай дурацких наставлений, куча! Ступай, ложись спать и целуйся с своей Розитой. Пользуйся случаем. Клавдии не всегда нет дома.

Мафальда оскалила зубы не то злобно, не то смешливо.

— Рина! А ты-то — какими судьбами сегодня, помилуй мя, Господи, — ты-то — почему в компании с Ольгою? Что скажет, помилуй мя, Господи, Саломея?

Фиорина возразила сухо:

— Саломея не выходила сегодня.

— Ах — да?

— Она нездорова.

— Ну еще бы!

— Это случай, что мы столкнулись с Ольгою на одном деле.

— Ну, конечно, помилуй мя, Господи! Однако вы — куда сейчас? К Ольге или к тебе?

— Ко мне. Ты видишь, что нас четверо. У Ольги — каморка.

Мафальда дико захохотала.

— Рина! помилуй мя, Господи! Саломея разобьет тебе рожу! Она ревнивая и Ольгу терпеть не может.

— Ну, уж, пожалуйста, следи за своими собственными похождениями, а мои оставь в покое.

Ольга отозвалась раздраженно:

— Все это — потому, что ты сплетничаешь Саломее черт знает что про нас обеих!

Мафальда злорадно хохотала.

— Ха-ха! А вы не играйте в двойную игру. Завела тетя дядю, так не зарься на других, не воруй чужого. Не ловите вперед друг дружку по всем закоулкам и глухим углам дома, чтобы целоваться, как любовники!

Ольга грубо прикрикнула:

— Мы в твою дружбу с Клавдией не вмешиваемся... А если порассказать ей завтра, как ты приютила пьяную Розиту...

— Ладно! — вдруг сухо оборвала Мафальда, — вы получили, что вам надо. Идите себе с вашими голубками. А я хочу спать.

— Прощай! Спасибо...

— Доброй ночи.

— Утра, хочешь ты сказать?

— Рина! — услыхала Фиорина, уже вдогонку, крикливый и насмешливый голос Мафальды.

— Ну?

— А, может быть, твои иностранцы закутят, разойдутся и захотят живых картин?

— Не думаю... Да если бы даже, тебе-то что?

— Не забудь тогда обо мне, помилуй мя, Господи! Я приду с Розитою, и мы, помилуй мя, Господи, покажем им, как прыгают дрессированные блохи.

— Хорошо уж, хорошо. Спи, старая бесстыдница! Ты пьяна.

— Что значит — пьяна? Не ты угощала. Когда женщина имеет достаточно силы, чтобы стоять на ногах, а во сне, помилуй мя, Господи, не падает с постели, — это выходит, она трезвая, как святая ладанка, а не пьяна. Не имеешь права, и подлость с твоей стороны называть подругу пьяницей. Помилуй мя, Господи. Конечно, вы модные барышни, а я простая девка с маисовых полей, но в мышеловке все мыши равны, помилуй мя, Господи. Право, Рина, скажи-ка своим ослам, чтобы они позвали нас с Розитою. Помилуй мя, Господи, — не раскаются, я чувствую себя в ударе быть забавной.

— Не такие синьоры, Мафальда. Не пройдет.

— Врешь, — врешь! Какие это бывают не такие синьоры? Все синьоры такие, помилуй мя, Господи. Если нет, то зачем бы им шляться в своих хороших пальто по нашим, помилуй мя, Господи, распутным ямам? Ты просто плохая подруга и не хочешь помочь бедной девке, помилуй мя, Господи, схватить десяток лир на хлеб и вино. Дай мне заработать, Рина. За это я не скажу Саломее, что вчера застала тебя с Ольгою, вон там, за углом, когда вы, помилуй мя, Господи, целовались, — сущие голуби.

Рина вспыхнула и выпрямилась.

— Ты стоишь, чтобы я надавала тебе пощечин!

Ольга тоже замахала руками, быстро залопотала что-то и начала хныкать и визжать.

Мафальда грохотала, подбоченясь и трясясь тучным туловищем.

— О-го-го! Суньтесь-ка! Даром, что вас две, а я одна, помилуй мя, Господи! Управлюсь в лучшем виде, обе будете разрисованы, как радуги, нарядные мои красавицы в бархате и шелку! Мне-то в рубахе — наплевать, помилуй мя, Господи, а что я с вашими шляпами сделаю, так вам обоим Фузинати по месяцу работы накинет...

— Безумная дура! Тряпка уличная! Девка за пять сольдо!

— Вот — как примусь орать, помилуй мя, Господи, подниму на ноги весь дом. Посмотрим, много ли останется от ваших мужчинок, как полезут из щелей наши молодцы. Я уже слышу, как за стеною, помилуй мя, Господи, ворочается Рыжий Антонино...

— Послушайте, — не без тревоги обратился Иван Терентьевич к Бельскому, — я не понимаю ни слова из того, что трещат эти прекрасные дамы, но мне сдается, что они ссорятся. У этой старой голой ведьмы рожа стала, как у бульдога. Смотрите, как она ворочает глазищами в нашу сторону. Кажется, мы попали в свидетели надвигающегося скандала.

— Э! В Италии все делают сильные жесты и даже закурить папиросу просят с трагической интонацией.

— Ну нет, здесь пахнет рукопашною. Поверьте опыту. И как они сыпят словами: словно из пулемета! Я уверен, что каждая из них за те три минуты, что мы здесь ждем, успела рассказать всю свою биографию — до родословия бабушки и дедушки с обеих сторон включительно... Однако, смотрите, смотрите: теперь и наши две — обе окрысились... да как люто! Моя-то булка рыжая уже руки в боки взялась... Скажите, пожалуйста! Туда же! темперамент! Я думал, что она только есть да спать, да висеть на локте умеет. Ох! Ох, Матвей Ильич! придется их разнимать. Ох, влетели мы в ис-

торию! Визга-то! писка-то! Вот уже, слышите, соседи ругаются и ставнями хлопают... Придется разнимать.

Но тут Фиорина, выкрикнув резкую короткую миланскую брань, сразу оборвала и быстро зашагала от окна, в котором кривлялась, строила рожи, хлопала себя по бедрам и злобно хохотала Мафальда. Ольга тоже тотчас же смолкла, будто по команде, и апатично последовала за подругою, мелькающей по галерее крохотным огоньком свечи, точно летит одинокая светящаяся муха. Мафальда кричала и ругалась им вслед, но, когда все четверо готовились исчезнуть за поворотом галереи, то и она сразу же стихла, переменила тон и, почесываясь и зевая, послала им самым дружелюбным голосом:

— Желаю вам покоя, мои кошечки. Помилуй вас, Господи! Дай Бог обеим золота на камине и удовольствия в постели!

На что обе женщины, тоже — словно никогда и не ссорились и не собирались только что вцепиться этой Мафальде в волосы, — отвечали также в самых ласковых тонах:

— Покойной ночи, милая Мафальда! Спасибо за огонь!

— Ты всегда так добра! Счастливых снов и приятных сновидений!

— Поцелуй от нас Розиту, когда она проспится.

— Если завтра захочешь освежить голову, зайди после полдня: у меня найдется стаканчик хорошего коньяку — Мартель с тремя звездочками...

Бельский спросил Фиорину:

— Из-за чего была эта драма?

Она возразила с недоумением:

— Какая драма? Никакой драмы не было... Все в порядке.

— Однако вы порядочно шумели.

— Ах это!.. Пустяки... Наши домашние бабьи счеты. Вам совсем не надо знать, да и ничего не поймете. А у Мафальды такой уже характер. Она не может хорошо уснуть, если

не поругается с кем-нибудь всласть на сон грядущий. Добрейшая женщина, но язык ей выковали черти на шабаше. Даром, что не может словечка сказать без «помилуй мя, Господи!» Мы все ее крепко любим и уважаем, потому что она очень справедливый человек и хороший товарищ, но говорить с нею полчаса, не поругавшись, решительно невозможно. У мраморной статуи язык развяжется. Манекен из модного магазина — и тот заговорит... Такие гадости она вам в лицо преподносит! Осторожнее, мосье Бельский, здесь кто-то лежит... Ага! Пьяница Пеппино Долгий Нос! Вот где его сегодня свалило, негодяя!.. Ничего, господа, не стесняйтесь: переступайте через него смело. Завтра с похмелья он будет весьма свиреп и всех будет задирать, покуда кто-нибудь не пустит ему кровь кулаком из мурла или ножом из-под ребра, но, пьяный, он дрыхнет, как старый слон, и ничего не чувствует... Сюда налево, господа! Еще раз осторожнее: порог. Вот мы и дома. Милости просим, дорогие гости.

V

— Саломея, принимай — гости! — крикнула Фиорина по-русски, когда в ответ на шум ключа ее зажглась лампа за решетками ставни. Она прибавила еще несколько слов на каком-то каркающем языке, которых не поняли ни Бельский, ни Тесемкин, ни, очевидно, Ольга, потому что она осталась невозмутимой, тогда как женщина там, внутри квартиры, зажегшая лампу, расхохоталась звуком сиплым, грохочущим, на ржание похожим.

— Я живу не одна, — сообщила Фиорина своему кавалеру уже по-французски, — имею подругу.

— Она русская?

— Нет, армянка из Ахалциха. С малых лет увезена из России. Едва помнит несколько слов. Меньше, чем я.

— Ага! Значит, это вы сейчас по-армянски с ней изъяснялись?

— Да, я выучилась немного по-армянски, из дружбы к ней. Она так скучает без своих. Армяне вне Кавказа и Малой Азии все больны тоской по родине, в каких бы счастливых краях ни жили.

— Вы, однако, полиглотка, мадемуазель Фиорина.

— Как все в нашей профессии, которые имели несчастие побывать в международном обороте. В первую очередь — мы, горемычные, потом — клоуны в цирках и фокусники, станционные факторы, коммивояжеры с модными товарами, лакеи в отелях больших курортов и морских купаний. Ни одного языка не знаем порядочно, но, что касается собственной профессии, трещим на всех языках, как сороки, приблизительно и понемножку. Я ведь одно время в Константинополе работала. Там выучилась. В день-то, бывало, мало-мало на семи языках поговоришь. Что ни пароход в Золотом Роге, то и язык. «Я тебя люблю... Ты хорошенький, симпатичный... Похож на моего любовника... Не будь скупой... Подари мне... Угости меня шампанским!» — и множество всего такого я знаю на пятнадцати диалектах: русский, польский, французский, немецкий, английский, итальянский, испанский, шведский, финский, венгерский, турецкий, сербский, болгарский, греческий, японский, — а если сюда еще прибавить разные argots да patois *, то и до двадцати пяти наберется. Вот — возьмите — даже Ольга: никакого языка не знает, кроме итальянского, да и то — венецианское наречие. А, между тем, венгерец тут один к ней ходит — венгеркою ее считает и даже Илькой зовет, потому что она в Триесте с гусаром жила, так тот ее по-венгерски ругаться выучил. Правда, он всегда мертво пьян, бедный венгерец. Ольга ругает его самыми страшными венгерскими сло-

* Жаргоны да местные говоры (*фр.*).

вами, а он слушает и плачет, либо кричит — eljen! * Рожу она ему углем раскрашивает, — плачет, руки целует, но ничего не понимает. Eljen!

Ольга поняла, что говорят о ней, захохотала и быстро защелкала резкими гортанными словами.

— Ну вот, слышите? Нельзя нам без этого. Вы, мужчины, все — ужасные патриоты — в любви и в ругательствах. Иного оболтуса ничем не проймешь, кроме родного языка, — ни в ласку, ни в драку. Заманить кремня какого-нибудь — говори ему «душенька»! (произнесла она по-русски), — нахала оборвать, — кричи ему, как речная полиция на Нижний Новгород, в ярмарка, родные скверные слова! Все так. А уж в особенности венгерцы эти. Из патриотов патриоты. Пуще поляков. Я в Генуе однажды какую драку уняла! С одной стороны — русские моряки, с другой — англичане... Уже стулья ломали, чтобы ножками биться, и за ножи — у кого были — брались... А я как вскочу на стол да заору на них — направо в три этажа по-русски, налево — по-английски: они и обомлели, — что за черт такой? Потому что за итальянку меня принимали... Разбила внимание... Потом очень весело ночь кончили, одного шампанского дюжины три похоронили.

Комната, в которую Фиорина ввела гостей своих, представляла собою обыкновеннейший и типичнейший salottino **, без которого не обходится ни одна мелкобуржуазная квартира в Италии. Решительно ничего не выдавало здесь жилища проститутки. Скромная старинная мебель в линялой мутно-красной обивке, на креслах и диване нашиты вязаные нитяные салфетки, якобы кружева, на камине — часы под колпаком и по сторонам два бронзовые пятисвечника и две алебастровые вазы, на стенах — черные благочестивые картины, в одном углу — раскрашенная глиняная Мадонна,

* Да здравствует; ура! (*венг.*)

** Маленькая гостиная (*ит.*)

в другом — св. Франциск Ассизский, прижимающий к сердцу видение младенца Иисуса: популярнейшая статуэтка католической Италии, глядя на которую каждый иностранец изумляется, почему Ватикан ее терпит и не запретит, — до того смешно, в блаженстве своем, лицо Франциска, — совсем китайчик в первом счастливом опьянении от опиума! На матовом колпаке лампы — раскрашенные портреты Папы Пия X и вдовствующей королевы Маргариты Савойской, которую все добрые католики в Италии небезосновательно почитают тайною паписткою, покаянницею и искупительницею грешного, окаянного, погибшего, отлученного от церкви Савойского дома.

Бельский заметил:

— Лампа у вас несколько странная для республиканки!

Фиорина отвечала:

— Здесь нет ни одной вещи, которая принадлежала бы мне. Все — собственность Фузинати. Свои вещи я, по контракту, должна держать только там, в спальне.

Она указала направо.

— Это моя спальня. Насупротив — Саломеи. Отсюда, из salotto, ни я, ни моя подруга не можем вынести ничего, за исключением сора на половой щетке или подоле платья. Хотя я сомневаюсь, чтобы Фузинати не рылся поутру в сорных кучах у наших порогов, а платье — вот сейчас, как разденусь, — вы увидите: прибежит маленькая Аличе и к нему же отнесет. И это мало, что мы ничего не берем отсюда, — мы и свое-то что-либо остерегаемся забывать здесь. Потому что, если, не ровен час, подметит Фузинати, он уже сейчас тут как тут — наложит лапу и объявит своим... Садитесь, господа! Ольга, снимай шляпу! Саломея! робкая фея! куда ты спряталась?

Из левой двери послышался тот же сиплый, грубый хохот.

— Словно протодиакон! — заметил Бельскому Тесемкин.

— Куда там — протодиакон! — не согласился тот. — Прямо — какое-то «Проклятие зверя»! Морской лев!

Ольга зевала, сонно рассевшись в широких креслах.

— Послушайте, господа, — сказала Фиорина, — опершись на стол кончиками пальцев и глядя на мужчин с вызывающею, почти строгой резкостью. — Позвольте быть с вами откровенною сразу и до конца. Определим, черт возьми, наши отношения. Не будем играть комедий. Вот уже добрые два часа, что мы вместе, а согласитесь — ни вы не знаете, как вам держать себя со мною, ни я — как мне себя с вами держать. Кто вы для меня? Покупатели или земляки, пришедшие с визитом? Кто я для вас? Девка или просто случайно встречная дама — компатриотка, с которою приятно посидеть и поболтать? Так вот, давайте уж — решим это и будем затем держаться чего-нибудь одного... Если вы желаете видеть во мне девку, — сделайте одолжение, ваша воля, нисколько тем не оскорблюсь: моя профессия и мне заплачено! Если нет, — то буду вам глубоко благодарна, и — еще раз — милости просим, счастлива видеть вас, дорогие гости.

— Я, — сказал Тесемкин, — сразу облегчу вам вопрос наполовину. Оставляя совершенно в стороне вас, мадемуазель Фиорина, как безнадежно узурпированную моим драгоценным другом Матвеем Ильичом, я должен сделать, как в парламентах говорят, заявление по частному вопросу. Во-первых, скажу вам по чистой совести, что человек я сырой, устал, как собака, и прямо-таки горю от желания привести тело мое в горизонтальное положение. Во-вторых, мне очень нравится моя спутница, мадемуазель Ольга, и, признаюсь, — я поднялся в сии подоблачные сферы, рассчитывая встретить здесь Магометов рай, а отнюдь не платонический...

— Так что же? — сказала Фиорина, — Ольга, как мы устроимся? возьмешь ты его к себе? или хотите лучше занять комнату Саломеи?

Ольга не успела ответить, потому что Тесемкин сказал Матвею Ильичу по-русски:

— Я бы, знаете, предпочел, чтобы не удаляться от вас далеко. Потому что, — да простит мне мадемуазель Фиорина, — но впечатления от дворца господина Фузинати у меня все-таки довольно разбойные. А, главное, я — безъязычный человек. В случае недоразумения могу только балет протанцевать и пантомиму представить. Дамы в таких случаях понимают меня хорошо, но мужчины — не очень. А тот пьяница, через которого мы только что переступили на лестнице, наводит меня на мрачные размышления. Вы не обижайтесь, мадемуазель Фиорина. Это, ей-Богу, не недоверие...

— Да я и не думаю обижаться, — возразила Фиорина. — Вполне естественно и очень хорошо, что вы так предусмотрительны. Со мною вы безопасны, но я никогда не скажу, чтобы дом наш был безопасный дом. Значит, решено. Саломея уступает вам свою спальню, а сама идет ночевать в комнату Ольги, — или, быть может, мосье Бельский позволит ей здесь остаться?

Бельский не знал, что сказать.

— Все равно, — успокоила Фиорина. — Если бы понадобилось, чтобы она ушла, то никогда не поздно вручить ей ключ Ольги, — и она скроется беспрекословно. Но я ведь очень хорошо вижу, мосье Бельский, что вас интересует разговор со мною гораздо больше, чем, извините за выражение, моя постель. Должна сказать, что с моей стороны то же самое... Саломея будет при нашем разговоре не лишнею. Она и сама по себе интересный человек, да и мне кое-что подскажет... Саломея! Иди же сюда!

Когда Саломея выдвинулась из левой двери, Тесемкин невольно попятился пред нею, а Бельский приподнялся со стула, на котором сидел, в недоумении: что же это такое? Женщина или нарочно? На них двигалась темнолицая громадина, как будто только что снятая с какого-либо национального монумента, — выше их обоих ростом, хотя оба были ребята не маленькие, по крайней мере, на полголовы, широ-

кая и толстая, как башня, вышедшая из крепостной стены. Если бы не бросалось в глаза — чуть ли не первым впечатлением — гигантское колыхание грудей, качающихся под пестрым и достаточно грязным капотом, — Тесемкин, с полной совестью, признал бы этот ходячий монумент за переодетого жандарма или карабинера. Тем более, что верхняя губа Саломеи была довольно темно опушена, черты смугло-желтого, толстого, броватого лица резки и тяжеловесны, густейшие черные волосы почти зарастили узенькую ленточку лба, а большие азиатские глаза, выпученные, как у рака, двумя стражами здоровеннейшего армянского носа, — смотрели — именно, как у молодых кавказских парней смотрят: наивно и храбро, застенчиво и подозрительно, откровенно и с готовностью страшно и свирепо обидеться, если дружеская доверчивость будет обманута и посмеяна хитрым предательством, насмешкою, надменным коварством. Сказывалось существо, которое способно быть пылким, страстным, самоотверженным другом, — но не простит и не пожалеет, если окажется врагом.

— Вот мой лучший друг, моя Саломея! — представила Фиорина. — Прошу любить и жаловать.

В дверь постучали.

— Это Аличе — за платьем, — сердито сказала Саломея толстым, мужским голосом, — а вы, девки, обе не готовы... Вот грех-то! Эх! Теперь будет история. Ступайте уж скорее, раздевайтесь. Я ее усмирю.

Фиорина и Ольга быстро юркнули в свои спальни, а Саломея крикнула:

— Входи, Аличе, дверь не заперта!

Вошла та самая девочка, которую русские видели внизу, в каморке Фузинати. Теперь, при более ярком свете, заметно было, что правое плечо у нее значительно выше левого. Она поразила Бельского надменным выражением желтого, худого личика, с капризно играющими по лбу бровями.

— Ты заставила меня ждать, — произнесла она по-милански, — гордым тоном оскорбленной царевны.

Саломея извинилась так раболепно, что изумила русских. Такая большая и гордая на вид баба — и вдруг принижается пред девчонкою? Аличе, услыхав ее тон, еще выше подняла головку.

— Что же это? — продолжала малютка, оглядываясь. — Где же платья? Твои феи до сих пор не потрудились переодеться?

— Успокойся, сейчас будут готовы.

— Это черт знает что такое! Меня, маленькую, бедную девочку, заставляют бегать по темным, грязным, вонючим лестницам в шестом часу утра — и когда я прихожу, дрожа от холода и вся запыхавшись, две принцессы, оказывается, изволят прохлаждаться и не кончили своих туалетов! Я не обязана ждать вас, дьявола б вам на подушки! Я не рабыня ваша! Я больная, я маленькая, я спать хочу!

— Не сердись, Аличе, не кричи, не надо сердиться, — уговаривала великанша, заметно струсившая пред курьезным этим женским гномом, — не задержим тебя и пяти минут...

— Пять минут! Разве это мало — пять минут? Пять минут в шестом часу утра чего-нибудь да стоят!.. Вам хорошо, когда вы в постелях спите, а ведь я в проклятом кресле! У меня все кости болят. Нет, баста! в другой раз меня Фузинати не прогонит к таким важным барыням. Пусть сам лазит! Очевидно, вы предпочитаете иметь дело с ним, чем с маленькою Аличе? Ну что же? Это — ваше дело, как понимать свой интерес... Ведь Фузинати такой приятный собеседник, когда одолеет свои ревматизмы и влезет на пятый этаж! А сегодня он, вдобавок, зол, как царь Ирод, потому что касса совсем не торговала, себе в убыток... Да что же они, в самом деле, смеются, что ли, надо мною, ваши герцогини? — завизжала она, сверкая глазенками, словно в них загорелся маленький ад, и подымая в воздух тощие желтые кулачки. — Я уверена, что просто они не смеют

сдать мне свои платья! Наверное, все в пятнах и грязи! Я пересмотрю и перенюхаю каждую складочку, так и знай! Пусть Фузинати обдерет вас всех хорошим штрафом! Заплатите франков сотню либо две за шелка свои, так выучитесь понимать, что такое для вас маленькая, больная, изнемогающая от бессонницы Аличе! Когда со мною невежливы...

— Слушай, Аличе, — миролюбиво просила Саломея, — не надо так сердиться и напрасно шуметь... Девушки будут сейчас готовы, даю тебе честное слово! туалеты в прекраснейшем состоянии, — ты сейчас сама увидишь... Фиорина всегда аккуратна, как солнышко... А ты, покуда, отдохни, присядь к столу,— я угощу тебя прекраснейшею марсалою.

— Есть мне когда и — не пивала я твоей марсалы!

— Ну, коньяком... Хочешь рюмку Мартель? Коньяк с бисквитом? а?

Девчонка сразу сдалась и заговорила мягче.

— Мартель? Три звездочки? Коньяку я, пожалуй, выпью... Так холодно, и у меня, по обыкновению, лихорадка. Но твои чертовки, Саломея, совсем не берегут меня, бедную. Они портят мне печень. Эй! Не плюйте в колодезь, — придется воды напиться!

— Э! Минуткою позже, минуткою раньше, — не все ли равно, милая Аличе?

— Совсем не все равно, когда меня ждет такой дьявол, как Фузинати. Если я задержусь здесь у вас больше четверти часа, — ты сама знаешь: он закатит мне такую сцену, что потом только считай, сколько волос на голове осталось...

— Ха-ха-ха! Ну и у него, Аличе, царапин прибавится, не бери греха на душу, тоже и у него!

Девочка самодовольно приосанилась и удостоила засмеяться:

— Известно, спуска не дам!.. Твое здоровье, Саломея!

— Еще?

— Да что же я одна? Пей сама.

Саломея потрясла огромною головою.

— Ты знаешь: я — или ничего, или много...

— Боишься?

— Коньяк делает меня чертом.

— А эти господа?

— Угодно? — предложила Саломея.

Тесемкин отказался. Бельский выпил.

— Не слишком ли смело? — вполголоса сказал Иван Терентьевич.

— Почему?

— Черт их знает. Мне мускулы этой длинноносой госпожи не нравятся и глаза маленькой ведьмы. И то, что мы ни единого слова не понимаем: за что они переругались? Я не стал бы пить в такой трущобе. Угостят еще дурманом каким-нибудь: можно так заснуть, что и не проснешься.

— Вот пустяки! Девчонка же пьет.

— И довольно противно пьет. Залпом, как драгунский вахмистр. В ее-то годы!

— Значит, никаких злых умыслов нет.

— Так вы — хоть из той же рюмки.

— Покорно благодарю. У нее губы в сыпи!

— Ничего, коньяк дезинфицирует.

Но в это время Фиорина вышла, переодета в старенький, хотя довольно чистый и кокетливый, фланелевый капот мутно-голубого цвета, с совершенно открытыми, голыми руками и настолько низким вырезом на груди, что Тесемкин только руками развел и сказал:

— Знаете, видал я, но... Однако пущено!

— Можешь получить свои тряпки, Аличе, — строго произнесла Фиорина. — Саломея, будь так добра, займись с нею... Я сама не могу, Аличе: ты видишь, у меня гости. Извините, мосье Бельский.

Саломея и Аличе направились в спаленку.

Фиорина придержала Аличе за руку.

— Аличе, я советовала бы тебе вперед не кричать так и не подымать скандала понапрасну, особенно при гостях. Во-первых, я этого терпеть не могу, — ты знаешь, — и я вам с Фузинати не первая встречная девка из нижних этажей. А, во-вторых, Саломея не всегда так кротка и покорна, как удалось тебе застать ее сегодня.

Девчонка злорадно засмеялась.

— Разве я не вижу, что она трезвая? Не беспокойся: к пьяной не подойду... Ну, а покуда она добренькая, — когда же и прокатиться верхом на норовистой лошадке, как — если ей брыкаться лень?

Ольга, раздетая, в одной нижней юбке, пронесла свое платье в комнату Фиорины и, возвратясь, остановилась у стола, зевающая, с сонными глазами усталого животного.

— Иван Терентьевич, — указал Бельский, — вас ваша дама зовет...

Тесемкин ушел, и дверь за ними затворилась. В спальне Фиорины Аличе и Саломея продолжали грызться и спорить. Фиорина с беспокойством прислушивалась.

— В эту Аличе сегодня демон влез, — говорила она. — Кончится тем, что Саломея выйдет из терпения и закатит ей такую плюху, что девчонка перелетит через весь двор, как ночная птица, и хорошо еще, если от нее что-нибудь останется, кроме мокрого пятна...

— Оригинальное существо! — заметил Бельский.

— Кто? Аличе? Да... несчастное очень... вы заметили, как она сложена?.. Несчастное и скверное... А умница... собственно говоря, хозяйка наша... Все хозяйство Фузинати в ее руках.

— Дочь его, что ли?

— Какая там дочь! Любовница.

Бельский посмотрел на Фиорину широкими глазами.

— Позвольте! Но ей на вид едва ли десять лет...

— Нет, уже четырнадцатый. Кривобокая. Оттого показывает меньше.

— Все-таки!

— О, это ведь сколько угодно! Она с ним уже третий год. Начинают и семи-восьми...

— Куда же полиция смотрит?

— Да ведь это дело частного соглашения. Семья довольна: девочка калека, хоть в пропасть бросать, и то впору, ан — вместо того, пристроена. Жалобщиков нет.

— Но вы же мне говорили, что Фузинати — святоша, брезгует даже прикасаться к женщинам?

— Так к женщинам же! А разве Аличе женщина? Ребенок. Ей бы в куклы играть. И всегда у него такие. Эта на моей памяти уже четвертая. Только те были плохонькие и глупенькие, а эта попалась — дьяволенок. Забрала в руки и его, и весь дом. Он в ней души не чает. Отличная ему помощница. По верхним этажам во всем она за него. Сам-то он — старик, хотя бодрый, но года три, как стал безножить, подняться сюда наверх ему — каторга. И — уж если приходится подняться, то тут его берегись! Все свои ломоты он на нас, жилицах, тогда выместит.

Аличе прошла через комнату, обремененная огромным узлом, под которым совершенно исчезла ее маленькая, хрупкая, болезненная фигурка.

— Доброй ночи, Фиорина! — с хохотом крикнула она, исчезая в выходной двери. — Ведите себя хорошо, дочь моя, не уйдите куда-нибудь гулять без моего позволения!

Саломея даже плюнула ей вслед с досады.

— Ведь этакий змееныш с малых лет!

— В чем дело? — забеспокоился Бельский, видя, что Фиорина краснеет от гнева.

Она ответила хмуро и с морщиною между бровей:

— Девчонка сказала мне дерзость. Предупреждает, чтобы я не ушла гулять...

— Я все-таки не понимаю...

— Да ведь не могу я теперь никуда выйти, если бы даже и хотела! По контракту с Фузинати, мы в квартирах своих не имеем права иметь никакого выходного платья. То, что вы видите на мне надетым, — единственное, в чем я могу вам показаться...

— Послушайте! Как же так? Ну, а если бы мы с вами вздумали — ну, хоть прокатиться, что ли, в автомобиле по городу или пойти пить утренний кофе в хорошее кафе?

— Саломея спустилась бы вниз к Фузинати и взяла бы у него один из моих туалетов напрокат. Дома я не смею быть одетою так, чтобы в том же туалете могла выйти на улицу. Вот я видела: мой капот произвел сейчас нехорошее впечатление на вашего приятеля. Вполне понимаю. Самой стыдно. С радостью оделась бы прилично. Но не могу. Условлено. Велят.

— Какая цель, — я не понимаю?

— Очень простая: чтобы все время и весь мой остаток был у Фузинати на отчете, чтобы я никак не могла уйти — работать на себя. Это очень правильная система. В тюрьмах и больницах ее ведь тоже практикуют. Самоарест по необходимости. Если женщина в тюремном или больничном халате выйдет на улицу, — понятное дело, ее остановит первый же городовой. Выйди из дому я такая, как стою пред вами, полуголая, меня не примет в фиакр ни один извозчик, за мною будет следовать целая толпа, будут орать, свистать, и на первом же перекрестке разыграется какой-нибудь скандал с благосклонным участием полиции... Правительство уничтожило в Италии надзор и публичные дома, но господа Фузинати и К° народ хитрый, устроились еще лучше собственными средствами и нашею глупостью и бедностью.

— И дорого берет он с вас за прокат туалета?

— За тот, который вы на мне видели, тридцать франков. Но самое-то лучшее во всем этом, что он — собственно

говоря — мой. То есть на меня нарочно сшит и за мой счет, да еще и по страшно преувеличенной цене. Фузинати — только мой поручитель перед портнихой.

— Тогда какое же право имеет он на ваши вещи?

— Решительно никакого. Предполагается, что в обеспечение долга портнихе.

— Ловкий же штукарь ваш Фузинати! Странный субъект!

— Не странный он, а страшный.

— Вы, однако, я заметил, не очень его боитесь. Так-то на него внизу покрикивали!

— Да — что же? Надо храбриться, чтобы не вовсе на шею сел. Мне как-то удалось сразу с ним высокий тон взять, — ну, а он философ, были бы ему деньги, а потом хоть в лицо плюй... Ну и, конечно, я у него привилегированная, из самых его доходных статей: и сама устроиться с мужчинами не дура, и подружку умею сосватать... так что со мною он несколько церемонится. А посмотрели бы вы его с другими! Но, в действительности-то, боюсь я его, а не он меня. Если бы не моя Саломея, то, поверьте, грубить Фузинати не посмела бы я, не достало бы духа. Ведь он никогда не забудет обиды. За спиной Саломеи, действительно, мне сам черт не страшен, потому что — только мигни я, она такого скандала наделает, аж в Монце будет слышно!.. Она да Мафальда — первые у нас бойцы.

— Как вы попали к нему — к этому Фузинати?

— Ну, это долгая история! А впрочем и ее надо будет вам, в числе других моих приключений, рассказать. Вот что. Поздно или, вернее сказать, рано. Вы с дороги и устали. Разденьтесь, лягте в мою кровать. Я сяду подле вас и буду вам говорить. Хорошо?

— А как же вы сами-то?

— Помилуйте! Я вчера только к восьми часам вечера глаза продрала и с постели встала... Так у меня-то сна — еще ни в одном глазу.

VI

— Вот угол, где я — до известной степени хозяйка, и, значит, могу иногда чувствовать себя хоть немного самою собою. Вы видите, что это не столько помещение, сколько логовище.

Действительно, в узкой и короткой комнатушке втиснутая туда, конечно, по частям и собранная на месте громадная кровать, под балдахином, типическое итальянское letto matrimoniale *, оставляло места ровно настолько, чтобы вдавить в узкие проходы между одром этим и тумбочку, и соломенный стул. В стене было выдолблено маленькое углубление, в котором мигал ночник, — лампочка с оливковым маслом.

— Если вы не любите запаха olio **, то это можно унести, — сказала Фиорина. — На дворе уже светает, и какие-нибудь полчаса спустя, здесь будет совершенно светло, потому что есть окно в потолке. Вы его не видите в полумраке, — оно замаскировано пологом. Ложитесь, мосье Бельский, и отдыхайте спокойно. Если бы вы заснули, то мы с Саломеей будем оберегать ваш сон. Я бессонная птица, а Саломея выспалась до нашего прихода. Разденьтесь, не стесняйтесь, — вам будет удобнее.

Бельский с удовольствием последовал бы этому последнему приглашению, потому что спать он почитал из всех потребностей организма наименьшею и — во всех прежних отраслях своего быта, как офицер, чиновник, светский человек, танцор и игрок — мог обходиться без сна суток по двое, даже до трех, — за игрою ли, за делами ли, по дежурству ли, в походе ли, на балах ли, — без особого труда и заметного утомления. Но сейчас раздеться ему — значило непременно обнаружить бумажник с довольно крупною суммою денег. Оставить его в снятом пиджаке — все равно,

* Супружеское ложе (*ит.*).

** Растительное масло (*ит.*).

что отдать в руки этим двум госпожам; спрятать куда-нибудь под подушку или тюфяк — бесполезно, потому что, конечно, обе они знают свои постели очень хорошо, и штука эта давно известная и испробованная. Следовательно, стоит ему заснуть, и будет он обыскан и выпотрошен в лучшем виде. С другой стороны, повалиться на довольно-таки пышное и нарядное ложе Фиорины вот так прямо — в грязных сапогах и напитанном железнодорожною пылью платье — было и неловко, и обидно для женщины, и даже подозрительно: боится раздеваться, — значит, на нем какие-нибудь сокровища скрыты?! Да и хотелось-таки дать ногам отдых от стеснения обуви, телу от жилета, подтяжек и крахмальных воротничков.

«А, черт! — решил он про себя, — была не была, куда ни шло, попробуем апеллировать к каторжной совести и сыграть на добрых чувствах. Обыкновенно, в подобных местах это у меня выходило».

— Вот что, m-lle Фиорина, — сказал он, как умел, дружелюбно, — я должен вам признаться откровенно. Что вам и подруге вашей я доверяю безусловно, об этом не стоит и говорить, это само собою подразумевается. Но дом ваш, — вы сами говорите и мы уже имели случаи видеть, — весьма подозрительный дом, и соседи у вас темные. Между тем, при мне несколько тысяч лир билетами, также кредитивы на Ниццу и Париж. Часть принадлежит мне, часть — моему товарищу. Я человек мнительный и вечно опасаюсь, не потерять бы эти деньги или не случилось бы с ними какой-нибудь беды...

— Так что же? — перебила Фиорина, с видом гордым и очень довольным. — Дайте мне ваш бумажник на сбережение. Поутру, то есть когда вы проснетесь и пожелаете уйти, я возвращу вам его в совершенной сохранности.

— Это именно то, о чем я хотел вас просить.

— Вы знаете точно сумму денег, которая имеется при вас?

— Около шести тысяч франков.

— Нет, — точно?

— Должен сознаться, что нет.

— Надо сосчитать.

— Это долго и скучно, — мы истратим время, которое можем использовать гораздо веселее.

Фиорина засмеялась и приятельски хлопнула его ладонью по лысине, но настаивала:

— Нет, уж вы потрудитесь. Если я беру на себя ответственность, то желаю знать, за что отвечаю.

Считать Матвею Ильичу очень не хотелось, не потому, чтобы он, в самом деле, уж так берег время свое, но потому, что он по опыту знал, что в мирке Фиорин и Саломей денежный соблазн — по преимуществу, не умозрительный, а непосредственный, по наглядной приманке и видимости того, что плохо лежит. Между проститутками воровки вообще менее часты, чем это воображают добрые буржуа, а встречаются прямо-таки идеально честные бессребреницы. Но бывают и такие странности, что, вот проститутка, теоретически, честнее честного. До того, что уговорить ее на предумышленную кражу совершенно невозможно, какие бы тысячные перспективы ни рисовал ей соблазнитель. Однако в глубине своей и по существу, это — оказывается — не столько честность, сколько отсутствие, так сказать, финансового воображения. Потому что, на практике, нередко: вдруг та же самая честнейшая проститутка, ко всеобщему удивлению и даже, пожалуй, к своему собственному, глупейшим образом, срывается на тощем кошелечке со звонкою монетою или на некрупном кредитном билете, который небрежно торчал ухом из жилетного кармана гостя. Это — кражи по зрительному гипнозу, порыв инстинкта жадности, вспыхнувшего в мгновенный, неудержимый аппетит, — ответом на провокацию нечаянной приманки; но аппетит этот очень мирно и невинно погаснет, как скоро скроется из вида предмет, его

пробудивший. Это — пережитки первобытного хищничества, отголоски доисторического дикарства.

— Впрочем, — подумав, согласилась Фиорина, — если вы не хотите, то мы устроим по-другому. Саломея, дай сюда шнурок и сургуч.

И она заставила Бельского собственноручно обвязать бумажник шнурком и опечатать узел при помощи именного перстня, который он имел на руке.

— Теперь, — продолжала Фиорина, передавая бумажник Саломее, а та очень бережно и аккуратно, как бы с благоговением, упокоила его, как младенца какого-нибудь, под капотом, где-то в дебрях своей необъятной груди, — теперь ваши деньги так же безопасны, как в кассе Credito Italiano *. Через Саломею к ним никому не добраться.

Саломея скалила огромные белые зубы, и успокоительно мигала, и кивала колоссальною головою, видимо, польщенная доверием. А Фиорина, садясь в головах у Бельского, расположившегося на постели, говорила:

— Пять лет тому назад, когда я не перестала еще быть дурою и содержала дружка, я не могла бы предложить вам такой гарантии. Я ненавижу наших мужчин. С тех пор, как я выехала из России, я имела семь любовников, то есть сутенеров, как говорите вы, господа из общества, а по-парижски marlou, и хоть бы один из них удался — не был бы бессовестным драчуном и вором. Пьянствовали не все. Двое даже в рот ничего не брали, заболевали от полуфиаски кьянти, от рюмки коньяку. Ни один игроком не был. Но воры были все без исключения, и все хотели, чтобы я тоже была воровкою, и дрались, как черти, за то, что я не хочу. Последний мой,— тот самый, который теперь, я говорила вам, отбывает наказание в Монтелупо, — был настоящий дьявол. Когда здесь станет светлее, я покажу вам на стене

* Итальянский кредит (*ит*); название банка.

его портрет. Очень достопримечательное существо. В Турине был профессор Ломброзо. Конечно, слыхали? Очень знаменитый человек, первый в мире по исследованию всяких преступников и нашей сестры, злополучной проститутки. Так, когда Джанни судили во Флоренции, он нарочно приезжал из Турина изучать мое сокровище: что за бес такой уродился? В конце концов, Джанни усахарил-таки меня — в газеты, а себя — в келью уголовно-психиатрической тюрьмы. Я вам расскажу, как было дело. Жили мы во Флоренции, в заречье, на набережной, близ Ponte delle Grazie *, дом прямо над рекою висел. Заманила я к себе с прогулки в Cascine ** англичанина одного, посольского. Парень молодой, крепко выпил, да и бахвал. Вот он на беду и сверкни своими золотыми. Я умоляю спрятать, потому что знаю: если Джанни увидит, то с ума сойдет. Он на золоте прямо помешан. Трясет его при виде золота. Влезет ему желтый дьявол в мозги, и, покуда он золота этого не получит, у него будет сердце дрожать и распаляться, как у влюбленного, и он ни минуты не будет спокоен. Всякое золото для него — свое. И у кого оно есть — его кровный враг. Но этот лондонский дурак оказался фарсун ужаснейший. В ус себе не дует. Знай, гогочет в ответ да гоняет кругляки свои ребром по столу, — щелкнет пальцем, и колесико катится, как детский обруч. Ну и доигрался до того, что Джанни, — на галерее, вот такой же, как здесь, притаясь, — все видел. Как только он вошел, я — взглянула, поняла: дело плохо. Уже влюблен в гинеи английские, и почитает их своею собственностью, и кипит ревнивою тоскою по ним и жадностью. Потому что Джанни пришел веселый-превеселый, ласковый- преласковый, а усы ходят, а левая бровь на половину лба поднялась.

---

* Мост Граций (*ит.*).

** Название местности (*ит.*).

«Вина, — кричит, — вина, Рина! милорд! очень рад с вами познакомиться, позвольте угостить вас вином! Вам нравится моя ganza? * Тем лучше! Почитаю за честь! Что-то у вас? Chianti? ** Рина! Как тебе не стыдно поить такого высокого гостя дрянью? Милорд! В знак международной симпатии двух наций, разрешите предложить вам бутылку шампанского...»

А мы, тем временем, надо вам сказать, уже фиаску старого кианти вдвоем усидели, и намок мой англичанин весьма основательно. Но они, англичане, — знаете — либо вовсе не пьют, либо уж, если пьют, то как губка; что ни лей жидкое, все в себя примет, только пухнет. «Очень рад!..» Покуда Джанни ходил за бутылкою, я этого милорда честью прошу: «Не пейте вы больше, ради Бога!..» — «Почему? Я хочу!» — «Ну, так, по крайней мере, пейте только кианти, а шампанского не надо». — «Почему? Я хочу!..» Ну не могу же я Джанни выдавать, — так вот и открыть Джон Булю этому, что, мол, с шампанского, которым вас угостит Джанни, вы очутитесь — хорошо еще, если только голый на мостовой, а то, может быть, и покойником в волнах Арно... Говорю: «Вредно мешать кьянти с шампанским». — «Почему? Я хочу!..» Заладил свое. Такой дурак! Тьфу! Принес Джанни шампанское. Бутылка — ух! не закупоривают так в погребах. Пьяному, конечно, не в примету, а трезвый сразу разглядел бы. Откупорил, — пробка и не хлопнула. Чокнулись. Англичанин — свой стакан в глотку, Джанни — свой через плечо. Я свой на столе оставила. Как сверкнет на меня глазами Джанни: «Ты что же, Рина? моим угощением брезгуешь? Пей!..» Я смотрю на него во все глаза: ошалел он, что ли? стану я заведомо сонное пойло вливать в себя? «Пей!» «Эге! — думаю, — надо

* Любовница (*ит.*).
** Кьянти (*ит.*).

быть трезвою. Джанни готовит себя в каторжную тюрьму. Если меня споить хочет, — стало быть, затеял что-нибудь посерьезнее простой кражи — чтобы быть совсем без свидетелей...» А он улучил минутку, шепчет мне: «Пей, не бойся, вино чистое, я просто веселюсь, потому что здорово выиграл сегодня, могу угостить...» По голосу слышу: врет, и глаза — подлые. «В таком случае, — говорю, — с удовольствием, ты знаешь, как я люблю шампанское...» Была я в платье с низким вырезом, — ну, стало быть, вино за корсет. «Наливай еще!» — «С величайшим наслаждением, моя овечка, моя Фиорина!.. Ах, что это за сокровище — вот игрушка, милорд, эта Фиорина!.. Пей, детка моя, соловей мой, пей!..» Зло меня разбирает страшное, потому что знаю же я вино-то: без жалости, разбойник, дурманом угощает свою «ганцу», а ведь от этого пойла и окочуриться недолго. Соображаю: «Так-с! Это, значит, он уже до того на деньги англичанина разъярился, что меня на карту ставит; мы заснем, он придет — обработает нас, как ему заблагорассудится, два трупа оставит, а сам в Америку пропадет... Ну, врешь. Не на таковскую напал». Так и пошло: англичанин — в глотку, Джанни — через плечо на пол, а я — за корсет! Заерундила я, притворилась пьяною. Кончили бутылку. Джанни для вида ушел. После, на следствии, оказалось: за час, что он назад не бывал, в четырех квартирах успел показаться, — все alibi себе готовил.

Англичанин скис, я его едва до постели дотащила. Влила ему, на всякий случай, нашатырного спирта в пасть. Это средство у нас всегда имеется — на случай очень пьяных гостей. Авось очухается! Бухнулся и захрапел. А я сижу — жду, что будет. Лампа горит. Трр... закрутил ключом. Вот он, душка, негодяй-то мой! Милости просим... Вошел босой, только maglia * на теле, — значит, готовится на опасную работу, пла-

* Майка (*ит.*).

тье жалеет, пятен боится, — а рожа бронзовая, злая, — черт чертом... Увидал, что сижу и — трезвая, — так его всего и перекосило, ошалел.

— Ты почему не спишь?

— Потому что, — говорю, — вино расплескивать я получше тебя умею.

Заскрипел зубами.

— Вот как? — говорит. — Ну, в этом мы с тобою сочтемся.

— Сосчитаться — отчего же нет? Но только на каторгу идти по твоей милости я не согласна: в этом счете вместе с тобою быть не хочу.

— Так против меня идешь? Предать хочешь, подлая?

— Если бы я хотела тебя предать, то давно бы на весь дом кричала. А я только честью прошу тебя: уходи ты, пожалуйста, опамятуйся, пока не поздно, не губи себя. Англичанина этого я тебе не выдам. Уходи.

Совсем озверился.

— Ну, уж это, — шипит, — скорее я из вас обоих кровь выпущу, как из свиней к Рождеству. Не говори глупостей. Другого такого случая десять лет ждать не дождемся. Ты меня не поняла. Я хотел напоить тебя — лишь затем, чтобы из свидетельниц вывести и в сообщницы ты не попала бы, а ты, по подлости твоих мыслей, невесть что обо мне вообразила... Ну теперь, — конечно, — нечего делать: сама виновата, что врюхалась, — я назад от задуманного не отступлю, помогай.

— Что же я должна делать?

— Возьми подушку у него из-под головы да брось ему на пьяную харю! Только и всего. А я придержу.

— Почему же ты сам этою милою операцией заняться не хочешь?

— А потому что, если ты со мною работы не разделишь, то, стало быть, ты не сообщница, — донесешь.

— Доносить я не хочу и не буду, но можешь быть твердо уверен: ни ограбить, ни убить англичанина я тебе не позволю, и разве через тело мое ты к нему подойдешь.

Как бросится он на меня с кулачищами, а я его бутылкою по морде. Он взвизгнул этак потихоньку, как котенок, утер лицо рукою, и — откуда только у него нож взялся?.. Пропасть бы мне, если бы сам же он меня не надоумил — насчет подушки-то... Выхватила я у англичанина из-под головы подушку и подставила вроде щита: нож-то в ней и увяз, — только сено посыпалось. Ну и пофехтовали мы тут немало. Джанни — с ножом — как кот, ловок, а я с подушкою, как мышь, увертлива... И так он рассвирепел, что даже об англичанине уже забыл: только бы меня-то ему достать и погладить ножом своим. А мне того и надо: за себя не боюсь, увертлива, а ведь того-то — душу сонную, беззащитную — долго ли ему порешить? Чуть Джанни к англичанину, я на него сзади прыг, как леопард какой-нибудь, — и опять пошла кружиться возня наша по комнате. Раза три меня он ткнул, однако... легко, не вглубь, а порезом полоснул по коже. Пустяки бы, да — кровь течет, и оттого слабею, понимаете... Кричать стыжусь и жалею дурака: все равно, что человека прямо в тюрьму сдать, — стараюсь только шуметь, стулья роняю, топаю, в стены посуду бросаю, кулаками, каблуками стучу, чтобы соседи — свои же люди, отличнейшие товарищи, догадались, что деремся, — пришли бы, выручили меня, покуда не убил... Характерец-то его по всей набережной был известен... не раз уж меня отнимали, полуживую, из нежных его рук. Бросаю все, что в руки попадет под ноги ему, все надеюсь, что споткнется, грохнется, — ну, тут уж я с ним, голубчиком, лежачим-то, справилась бы, — пусть бы избил, как собаку, хоть кожу сдери, но ножа в ход пустить не успел бы, — нет, не дала бы!.. Но — ловок, собака! так и прыгает через вещи... шляпу мою растоптал... Добилась я, однако,

своего: выиграла время, — загудели соседи за стенами с обеих сторон. Слышу: бегут по галерее. Стучат в двери... Остановилась я и говорю: «Слышишь, Джанни? Моя взяла. Брось, не выгорело твое дело...» А он — уж так распалился, аж пена у рта — воспользовался, что я больше не защищаюсь, — как хватит: едва успела согнуться, чтобы — не в сердце, в плечо угодил. Я, чувства потеряв, трах — упала — прямо головою в двери, стекла вдребезги, лицо себе изрезала, ставню телом вышибла, — подхватили меня соседи эти, которые стучались... Я им еще успела крикнуть: «Спасайте англичанина. Там Джанни!..»

Очнулась в госпитале, вся в перевязках. «Что Джанни?» — «Ну, о нем лучше вам не спрашивать. Он в тюрьме». — «Значит, англичанин...» — «Что англичанину делается! Целехонек, только рвет его ежеминутно так, что он ревет, как гренландский кит». — «Позвольте же! — говорю, — если англичанин жив и невредим, за что же Джанни в тюрьму взяли? Неужто за то, что мы с ним повздорили? Это несправедливо. Конечно, он вел себя против меня, как ужасная свинья, но то наше дело, семейное... мы подрались, мы и помиримся».

Но мне объясняют: «Во-первых, — ваши поранения признаны серьезными, и, значит, если бы не только вас, но даже лошадь он этак изрезал, то было бы за что отправить его в тюрьму. Гражданский иск предъявлять или нет — ваше дело, а полосовать женщину ножом никакое государство не дозволяет, хотя бы даже вам это и нравилось. А, во-вторых, в его деле вы теперь — уже на заднем плане. Он из этих людей, что к вам на помощь пришли, соседу и соседке кишки выпустил, — муж уже в мертвецкой покоится, а жена еще мучится, к вечеру ждут, что умрет. Из карабинеров одному глаз вышиб, другому нос откусил, — уже хотели пристрелить вашего Джанни, как бешеную собаку, да он покатился в падучей... тут его и взяли, как дитя малое...»

Как же! Дело гремело на всю Италию. Говорю вам: Ломброзо приезжал. Все старались сделать Джанни, по

крайней мере, сумасшедшим, чтобы, знаете, тюремный режим был легче, отбывать бы одиночку не на тюремном, а на больничном положении: ведь его, знаете, закатали на двадцать лет!.. И то падучая выручила, — иначе угодил бы пожизненно.

— Вы, конечно, выступали свидетельницею?

— Ну еще бы, — с гордостью сказала Фиорина. — Мои портреты во всех журналах были, — вот как теперь Тарновская. Сперва-то меня заподозрили в соучастии, потому что вино анализировали и нашли, что отравлено. Да меня англичанин выручил; вспомнил, как я его уговаривала не пить шампанского, — а кьянти мое, в анализе, конечно, оказало себя чистым. Ну и соседка, умирая, успела показать, с какими словами я из двери выпала... Джанни сперва рассчитывал на ревности отвертеться, и хотя мудрено было ему поверить, потому что — сколько же было свидетелей, что он торговал мною, как скотиною какою-нибудь, и тем только и жил, что я от мужчин получала! — но, черт с ним, я его поддержала бы, помогла бы ему эту комедию разыграть. Да — узнала стороною, что он-то, негодяй, в первых своих показаниях без жалости меня топил и оговаривал. А из тюрьмы — другие вести были, через подруг, у которых тоже дружки там сидели, будто Джанни грозится и святым своим клянется: «Только дайте мне сойтись с Фиориною — в тюрьме ли, на воле ли, — я ее заставлю съесть свои собственные груди!..» Эге? Вот как?.. Не имею аппетита!.. Ну и перестала его щадить, — показала следователю все, как на самом деле происходило: что совсем не по ревности он меня искромсал, но — зачем я англичанина защищаю и не даю ограбить? И опять меня англичанин поддержал. «Представьте, — говорит следователю, — я теперь припоминаю: ведь я всю эту сцену слышал сквозь беспамятство мое, но — принимал за страшный кошмар, и очень страдал во сне оттого, что никак не мог сделать усилие и проснуться...

а, когда очнулся, все забыл... все, что было до ухода Джанни, помню, но затем — темно. А теперь, когда вы мне это рассказываете, воскресло ясно и целиком: совершенная правда. Это, в точности, весь мой тогдашний кошмар». Врачей запросили: может ли быть такое состояние, как показывает англичанин?.. Говорят: «Очень может, — это его белладонною опоили...» Ну, тут меня из обвиняемых — сразу в героини. Публика мне на суде такую ли овацию сделала!..

Англичанин этот был хороший человек, — продолжала она, помолчав в воспоминаниях, — не даром я его пожалела. Я потом с ним два месяца жила и даже в Афины с ним уехала, потому что его, от скандала, в Афины на службу перевели, в наказание, что нанес срам посольству. Влюблен он был в меня, как лунатик в луну. Если бы я хотела, то легко могла бы даже и оженить его на себе, — даром, что он капиталист и знатного рода. Ну — женить не женить... пожалуй, родня вступилась бы, на дыбы поднялась бы... а, во всяком случае, каким-нибудь способом связать себя с ним на всю жизнь — были шансы. Ведь и теперь, если мне уж очень плохо приходится, то стоит лишь телеграфировать: «Пришлите денег!» — сейчас же выручает... Я этим редко пользуюсь, потому что имею совесть и достаточно горда — не хочу никому быть обязанною, покуда я в состоянии работать. Но — что он помнит и хорошие чувства ко мне сохранил — это факт.

— Отчего же, все-таки, вы не вышли за него, если могли? Не нравился, что ли?

— Нет, не то, чтобы не нравился, хотя — разумеется — влюблена в него я не была ни чуточки... Но, знаете, совестно было: правда, он пьяница, но все же хороший человек, из общества, с карьерою, семья у него родовитая и прекраснейшая, — что же мне, проститутке, губить его и вешаться ему камнем на шею? Ведь я же знаю себя: надолго я в порядочной жизни удержаться не могу — потянет меня назад, в вертепы-то наши... Испробова-

ла не раз. Помните нашу встречу в К.? Ожидали ли вы после того встретить меня под гостеприимным кровом Фузинати?

— Да! Удивили вы меня вчера немало!

— Когда стряслась вся эта флорентийская драма моя с Джанни, мне было двадцать восемь лет. В эти годы женщина должна понимать себя, потому что жизнь ее исполнилась: подержится еще несколько годков на уровне, которого достигла, а потом пойдет не вверх, но вниз, не на приход, а на убыль. И вот еще там, во Флоренции, лежа в больнице, надумалась я о себе и дала себе две клятвы: первую — что никогда у меня больше не будет этого проклятия нашего профессионального — сутенера, а вторую — что, если кто меня начнет сбивать к возврату в так называемую честную жизнь, то пошлю я его ко всем чертям-дьяволам, и уши заткну, и слушать не стану. Потому что — уже довольно! И возвращалась, и возвращали! И — что людям жизни на этом пустом деле я испортила! И сколько раз самое себя видела на краю смертной гибели! Соблазн — насчет англичанина — был самый сильный: понимаете, какова возможность, — из девок-то да, черт возьми, в леди! Однако устояла: чуть стали мне мутить голову перспективы эти, — сбежала из отеля, села в Пирее на пароход и — в Константинополе — закабалилась фактору... Так-то вернее! А в Константинополе я встретилась и подружилась вот с нею, — кивнула она на Саломею, — и она помогла мне сдержать первую мою клятву. С ее характером и кулаком сутенеры нам не нужны.

VII

— Вы рассказываете так спокойно об ужаснейшей трагедии, — произнес Бельский после долгого молчания, — очевидно, вы не очень-то любили вашего Джанни...

Фиорина пожала плечами.

— Конечно, нет... Разве можно любить двуногого зверя?

— Положим, очень можно. Многие женщины только таких и любят.

— Ну, я не из тех. Большая редкость, подумаешь! Звери-то вокруг нас, походя толпятся, вот человека встретить — мудрено.

— Тогда, — зачем же вы с ним сошлись?

— Да — как вам сказать? Во-первых, в нашей профессии иметь постоянного любовника, собственно говоря, совершенно необходимо. Без этого мы беззащитны от всеобщей эксплуатации. Кто же не норовит нас обидеть? Нужен кулак, который бы чувствовали за нами господа, как Фузинати и ему подобные ростовщики, и гости, и полиция, да и подруги. Ведь между нами — вечные ссоры, интриги, времени-то свободного много, так и развлекаемся тем, что одна другую едим, — строим одна другой пакости разные, подкапываемся друг под дружку. Вон вы сейчас видели Мафальду Помилуй мя, Господи. Слышали? Пяти минут мы не говорили между собою, а уже поцарапались. По пальцам пересчитать если вам: кто с нею не дрался? Только тех и побаивается задирать, за которыми знает решительную силу, а — попадись к ней в лапы девчонка какая-нибудь робкая и беззащитная, она из этакой соки-то повыжмет не хуже всякого Джанни. Сама-то стареет, заработки плохие, — вот и ищет, как бы поймать и поработить дуру, которая бы ее хлебом кормила. Запугает, зажмет в кулак и будет жить на ее счет. Это у нас постоянно — с тем и возьмите! Теперь вот к этой, к Ольге, она подбирается, потому что Ольга зарабатывает хорошо, а любовник у нее — дрянь, пьяница мертвый, к Ольге равнодушен и никогда его дома нет. Но мы с Саломеей взяли Ольгу под свое покровительство. Так как же злобится Мафальда, что мы не даем ей эту бедную девку сожрать! Как она нас поссорить старается! какие сплетни придумывает! что наговаривает на нас

с Ольгою и Саломее, и Ольгину ganzo... Хорошо еще, что Саломея у меня умница, а тому — все равно: было бы вино, а то хоть кол на голове теши... Правду я говорю, Саломея?

Армянка чуть шевельнула глазищами на желтом лице, что должно было выразить не то неохотную улыбку, не то согласие. Фиорина продолжала:

— Надо, чтобы в окружающем тебя мирке знали, что ты не одна отвечаешь за себя, а есть некто, который в случае надобности за тебя вступится — и морду как следует разобьет, и нож в ход пустит. Ну, и, конечно, если уж загораживать себя от людей таким пугалом, то надо выбирать пугало основательное, чтобы оправдывало роль свою и было, в самом деле, пугало. А Джанни был из пугал пугало: из тех парней, о которых мы говорим, что о них два материка спорят, где его повесить...

— Да ведь в Италии смертной казни нет?

— Это — одна из причин, почему он возвратился на родину, а то работал бы в Нью-Йорке... Я не знаю его прошлого, и по суду оно оставалось темным, так как судили его, конечно, по чужим бумагам и под чужим именем. Но, должно быть, хорошие штуки там позади остались... Перерезать горло ближнему своему для Джанни было не труднее, чем заколоть барана или пристрелить зайца. И притом зверел от вида крови, эпилептик...

Его боялись — и основательно боялись: мальчишка с лица и фигуры самый обыкновенный, но умел и мог страшным быть... Я его вот как изучила: когда, бывало, он меня бьет, не защищаюсь, а только лицо прячу. И не потому, как другие и как от другого бы я тоже прятала, что лицо испортит синяками, и заработка лишусь на несколько дней. А затем, чтобы кровь из разбитого носа или губ не потекла. Он сам меня предупредил, после первой же потасовки, в которой я едва жива осталась: «Не позволяй мне видеть крови. Я, когда вижу кровь, теряю рассудок. Могу убить...»

— Я ничего не могу понять, Фиорина: Джанни вы не любили, сошлись с ним по чисто практическому расчету, между тем, терпели от него потасовки, из которых едва живою выходили, и терпели такое сожительство под вечным страхом, что — стоит ему увидать кровь, и он вас убьет... Почему же вы не разошлись с ним после первой же потасовки?

— Потому что за это нашей сестре — sfregio *.

— То есть?

— Видите ли, мосье Бельский. Сойтись с сутенером девке легко, но развязаться трудно.

— Закрепощают доходную статью?

— Это, конечно, на первом плане, а затем, южане — любя не любя — вообще ревнивы. «Я владел женщиною, — и затем мирно допущу, чтобы моя женщина оставила меня и перешла к другому? Да ни за что на свете!» И, наконец, чуть ли не главное: их компанейское самолюбие. Когда вам говорят о преступных организациях в Италии, не верьте. Это все чепуха, от старых легенд осталось и для иностранцев выдумывается. Англичане любят верить, — им и преподносят эти организации: надо же чем-нибудь заменить былых романтических бандитов. Организации нет, но жуликов — множество. В Сицилии нет великой мафии, и в Неаполе нет великой каморры. Но в Сицилии — сколько угодно maffiosi, а в Неаполе — сколько угодно каморристов. То же самое для каждого города. Организации нет, но есть маленькие шайки, в которые слагается всякая дрянь человеческая, — mala vita — под предлогом попоек и веселого препровождения времени. Это обычный ответ на суде. «Кто вы?» — «Молодой человек». — «Я спрашиваю о вашей профессии!» — «Провожу время!..» И вот — они проводят время, а мы, девки, их времяпровождение оплачиваем. И все они друг друга знают и друг перед другом хвастаются, как петухи. Если Пьетро ку-

* Порез на лице, позор (*ит.*).

пил галстух ценою в 7 франков, значит, Джанни купит — в 10, и будут соперничать, перешибать друг друга шиком, покуда в магазине не скажут им, что дороже галстухов нет. Если бы вы видели какое-нибудь трактирное собрание этих молодчиков, вам показалось бы, что все они — разряжены для оперетки: такие пестрые, подчеркнутые франты по последней моде — в толпе их за двадцать шагов видно, ни с кем не смешаешь, сразу, как на витрине выставочной, отличишь. Конечно, это только в праздничной компании либо на пикнике каком-нибудь... В Монцу ездят на автомобилях, на Лаго ди Комо на электричке... А, впрочем, у моего Джанни было семь пар платья — на все случаи жизни, от лучших портных! — тысячи на две франков; один вечерний костюм, в котором он ходил в кафе в кости играть, триста франков стоил, — а ботинок, штиблетов и сапог разных не менее дюжины, — это у них первый шик, только и знают, что сапоги чистят, самая доходная публика для маленьких савояров! Можете судить, каким чертовым трудом достался мне этот проклятый гардероб его!..

Ну вот проводят они время, ломаются друг перед другом, и самое любимое это у них хвастовство, сколько кто из своей ганцы выжимает и как он свою держит в кулаке, дрессирует в ежовом ошейнике. Если ganza взбунтуется, волю свою проявит, откажется сделать что-нибудь, любовником приказанное, деньги от него спрячет, гостя дешево примет или выпьет лишнее без разрешения, — товарищи поднимают молодца на смех. И, глядишь, у него дуэль, а у тебя все ребра пересчитаны: не доводи любовника до ссоры с друзьями! не порти компанию!.. Поэтому, если женщина наберется такой дерзости, что первая даст своему ganzo отставку, то парню приходится между товарищами совсем туго: задразнят, затравят, засмеют. Бывали случаи, что переставали руку подавать: какой же, мол, ты giovane d'onore *, если не

* Честный, порядочный юноша (*ит.*).

умеешь с девкою справиться и позволяешь ей себя позорить?.. Потому, что ведь звери они; любовные отношения понимают только самым грубым образом, женщина в их глазах — скотина какая-то, самка, которой никакой радости в жизни не надо, кроме постельной. Если женщина разрывает с любовником, то, значит, по их мнению, либо мало колочена и недостаточно застращена, либо мужчина ее оказался слабосильным самцом, на которого она не согласна работать, потому что он ее не удовлетворяет. Ну, понимаете, это — мужской срам, которого, иной раз, и в развитых обществах, и поумнее наших парней мужчины не выносят...

Все это вместе и делает, что в нашей среде вольный брак легок, а развод труден. Если я самовольно уйду от любовника, то — убить-то он меня, может быть, не убьет: что за охота мальчишке на каторгу идти, когда других девок много? — но, во всяком случае, обязан сделать мне sfregio. Иначе он покажет, что он мокрая курица и я бросила его поделом, и будет он не только в презрении у товарищей, но, пожалуй, даже и не найдет другой девки, охочей связаться с ним. Потому что — явное дело, товар лицом показывается: если человек не умеет отомстить за собственное кровное оскорбление, то — какой же он защитник будет женщине, которая возьмет его в сутенеры? И вот, в один прекрасный день, он настигает вас на улице — и трах вас бритвою или ножом по лицу — вкось этак, по скулам вниз, через губы, чтобы никакого членовредительства, опасного для жизни, не произвести, а только хорошенько кровь пустить и шрам оставить широкий и глубокий, которого ни белилами не затереть, ни временем изгладить... Понятное дело, что, обезобразив женщину таким манером, он мстит не только физическою болью: не ко всем шрамы-то идут, огромное большинство красоту теряет и, стало быть, уж навсегда осуждается остаться на низах профессии, без всякой надежды выкарабкаться из нее когда-нибудь, по крайней мере, повыситься из уличной девки в кокотку высшего или среднего

полета... Конечно, бывают счастливые исключения. Например, знаменитая Отеро — sfregiata *. Но — рассчитывать-то приходится на правило, а не на исключение.

Притом это проклятое sfregio — своего рода каиново клеймо. Оно на всех языках юга, по всем трем средиземным полуостровам, в Провансе, в Венгрии, говорит как условный знак, без слов одно и то же: что ты, им отмеченная, — женщина вероломная, изменница, предательница, и пусть каждый мужчина остерегается тебя в любви и не дает тебе веры... Ты — из девок девка. В иных местах sfregiata — хоть не показывайся на улицу: хохочут ей в лицо, свищут, только что в лицо не плюют. В Сицилии такую девку, как бешеную собаку, затравят. На материке легче. А в Неаполе, например, так оно даже недурно — успеха придает; чем больше на теле женщины рубцов от sfregio, тем больше, значит, ее любили и ревновали, тем, значит, она заманчивее и интереснее. Но все-таки гонят ли «сфреджатку» как в Сицилии, ухаживают ли за нею, как в Неаполе, — она уже не полный человек. Стыдно сравнивать в нашем положении, но sfregiata среди нас, девок, это — как в вашем буржуазном обществе, девушка, имевшая ребенка. Фарисеи брезгуют ею, оплевывают ее имя, ходят грязными ногами по ее самолюбию, а развратники видят в ней свой легко доступный кусок — окружают ее двусмысленным ухаживанием, с которым к чистой девушке — небось не разлетишься! И — это до такой степени, что возьмем для примера: если бы я пожаловалась своему Джанни на кого-либо из его приятелей, что он меня оскорбляет, задевает, соблазняет меня, ухаживает за мною, то он, не рассуждая, сдвинет шляпу на левое ухо, перебросит папироску в левый угол рта, а рука у него уже в кармане на ноже или револьвере. А будь на моем теле сфреджо, он бы, по всей вероятности, очень спокойно ответил: «Вот животное

* С порезанным (изуродованным) лицом (*ит.*).

этот Баттиста! Известный нахал-бабник! Надо его проучить. Будь спокойна, мы это дело сегодня же обсудим».

И кончилось бы тем, что оба напились бы вместе, приятелями больше, чем когда-либо, и как стельки. Потому что — поспорить и покричать друг на друга из-за sfregiata — это еще куда ни шло, но рисковать за нее жизнью своею или своего товарища, ставить на одну доску с ее подсаленною честью целость и невредимость двух giovani d'onore — считается не только чрезмерною удалью, бретерством, но даже просто безумством... Так что — понимаете — на что уж плоха, тяжка и невыгодна нам сутенерская защита, но для сфреджатки даже и эта незавидная благодать понижается на крупные градусы...

— Итак, — выходит, — цепи на всю жизнь?

— Нет, — разве уж жизнь очень коротка! — но во всяком случае покуда ему — сутенеру —угодно.

— Однако погашаются же как-нибудь эти связи? Ведь вот вы говорили, что Джанни был уже ваш седьмой?

— Способов погасить очень много, но все они зависят исключительно от доброй воли сутенера. Самое естественное погашение — через возраст сутенера. В этих буржуазных странах это — как-то курьезно. Знаете ли, я почти не видала сутенеров старше 30, самое большее 35 лет. Только ничтожное число посвящает себя на всю жизнь — состоять при девках, существовать через девок, быть их факторами, хозяевами, содержанцами. Могу по пальцам пересчитать таких — из сотен. В возрасте 30—35 лет сутенер вдруг вспоминает, что он сын порядочных родителей и обязан идти по их стопам. И вот — сразу обрывает все старые связи. Открывает либо лавку, либо кабачок, женится, — становится добрым маленьким буржуа, piccolo borghese. И — прошлое умерло, и нет о нем помина — ни-ни-ни! Мимо проходят недавние подруги, — глазом на них не поведет. Недавние товарищи, — пальцем шляпы не коснется. И ему платят тем же. И никто не обижается. Отбыл свой срок человек в од-

ном мире, ушел в другой — что же тут особенного? Весьма естественно! Так тому и быть!

Зато искусственные разрывы очень сложная штука. Те из сутенеров, которые поумнее и нравом помягче, обыкновенно, не допускают до того, чтобы ganza первая запросилась на волю, в ущерб их кавалерскому самолюбию. Заметив, что опротивел он ганце хуже дурной болезни или ревматизма, такой сутенер очень благоразумно приискивает себе исподволь другую кормилицу-поилицу и, когда приищет, преспокойно заявляет старой: «Tu sei franca e libera! * Ты свободна и самостоятельна!» Затем, как пиявка, переползает сосать кровь из новой добычи. Это развод без скандала. Обыкновенно производится он по предварительному уговору и непременно в присутствии свидетелей, не менее двух, которые бы слышали, что парень сказал: «Ты свободна и самостоятельна! Tu sei franca e libera».

Иначе он может отказаться вовсе либо начнет утверждать, будто сказал только: «Ты свободна!.. Sei franca!»

А это значит — свободна только от отношений к нему, может работать на себя самое без всяких к нему обязанностей, но не смеет взять себе другого любовника, покуда он не разрешит. А так как, повторяю вам, без любовника вольной проститутке жить почти невозможно, то положение получается нелепое. И — покланяйся-ка ему, поплачь-ка перед ним прежде, чем смилуется и прибавит тебе желаемую liberta! **

Но умеренных и благоразумных между ними, дьяволами, мало, а большинству — либо по фанаберии, либо со скуки и потому, что все-таки развлечение, — нужен скандал. Эти — однажды — вдруг притворяются, что они обижены своею ганцею, перестают колотить ее из собственных рук — самый зловещий признак! — и требуют товарищеского суда. Ну и тут

* Ты свободна и самостоятельна! (*ит.*)

** Свободу (*ит.*).

происходит уже черт знает что... Соберутся двенадцать проходимцев — присяжные, видите ли! — где-нибудь за городом, затащут бедную девку в притон свой и измываются над нею часа два-три — хуже чего нельзя — под видом допросов и увещаний. Прежде всего, женщина должна торжественно удостоверить клятвою, что разводится со своим ganzo не по той причине, что я вам раньше говорила, — то есть обязана оправдать его в репутации мужских способностей. И бывали случаи, что негодяи, притворяясь, будто становятся на сторону женщины и защищают ее интересы, требовали доказательств не словом, а делом, при всех! Затем — когда стороны не поддаются примирительным увещаниям и категорически поддерживают заявленное желание развестись — приступают к приговору и дают развод. Права ли женщина, нет ли, при разводе ей всегда назначают, как кару, ограничение прав. Самое малое — что ее заставят перебраться на жительство в другую часть города, потому что, дескать, работая на глазах бывшего дружка, вы будете действовать ему на нервы. Но очень часто постановляются приговоры, по которым женщина должна переселиться в другой город, а то и в другую провинцию с переменою притом рыночного своего псевдонима. А одну подругу той Мафальды, которую вы видели внизу, даже присудили эмигрировать в Америку. Все это — убыток колоссальный. Надо жизнь и работу начинать прямо-таки сызнова. Конечно, остается риск — не послушаться... Но тогда — sfregio.

Это — я вам говорила — если сутенер из добрых и не хочет чересчур унижать и мучить девку, взводя на нее разные подлые обвинения. Доказывать их ведь не требуется; достаточно, чтобы утверждал. По взглядам судей, giovane d'onore лгать не может! и что он сказал, — свято, как заповеди. Но опять-таки подобных добрых вряд ли найдется один на десять. Остальным — подавай срам и издевательство, боль и жестокость. Ganzo может настаивать, чтобы суд при-

говорил ему право на sfregio, и тогда оно совершается с особенною жестокостью: крест-накрест. Либо устраивается так называемое sfregio conciliatore*: примирительный обряд, подвергающий женщину глумлениям позорнейшим, иногда таким, что — после них только и остается либо руки на себя наложить, либо, если нет мужества в сердце, а душа довольно растяжима, чтобы выжить под тяжестью срамных воспоминаний, бежать куда глаза глядят — лишь бы дальше от стыда своего — в Америку, в Австралию, в Китай... Немало нашей сестры загнано в публичные дома заокеанских стран и Дальнего Востока именно этим страхом!

Самое легкое, что женщине сбривают брови. А то обреют голову. На лбу и груди пишут или рисуют ляписом гнусности непроизносимые.

Одна, которую могу вам завтра показать, откупилась в Марселе от sfregio тем, что выкупалась в стоке нечистот. Другую знала: ее в Палермо заставили выйти на главную улицу среди белого дня — голою и, уж извините, не назову, с какою посудиною вместо шляпы. Третью, — в знак того, что отныне она для них, надменных негодяев, не человек, но скотина, весьма торжественно обвенчали с ослом.

Заметьте: все подобные замены sfregio могут быть совершены не иначе, как с согласия самой женщины. Она должна признать во всеуслышание: «Я настолько подлая и грязная тварь, что нет такого позора, которого бы я не была достойна и не перенесла. Делайте надо мною, что хотите, и рассказывайте о том кому угодно, только пощадите меня от физической боли и не уродуйте моей красоты».

Каждое sfregio conciliatore оглашается немедленно после исполнения в самых широчайших размерах по всему «дну» города. А молва, сплетни, злость подруг раздувают, конеч-

* Соглашательский позор (*ит.*).

но, историю вдесятеро, размалевывают картину самыми яркими и дикими красками... Учтите-ка все это — и посудите: каково же после того женщине доживать остаток лет своих? Что эти ужасы нервных больных сделали, что сумасшедших расплодили!

И когда сообразите, прикиньте теперь: каково же тяжко бывает рабство женщины в когтях рикоттара ее, если, чтобы вырваться на свободу от своего черта, она согласна пройти адские мытарства — отравить ими навсегда память и душу свою, погубить имя свое даже в том жалком пекле, в котором мы, несчастные, шевелимся?..

Фиорина умолкла в волнении.

— Однако, — в недоумении заметил Бельский, — мне не раз приходилось читать в книгах о страстной привязанности женщин к своим сутенерам, о любви, которая переживает самые жестокие побои, пытки, издевательства...

— Есть! — резко возразила Фиорина, — есть это!.. Таких дур между своими товарками знаю, что если не биты, то им и день не день... Но только книги обращают это в общее правило, а, на самом деле, оно совсем не часто. Страха много, но любви — ровно настолько, даже в лучшем случае, чтобы помнить, что нужны друг другу и не замучить друг друга до невозможности работать. Эти, о которых вы говорите, любовницы палачей своих, — по-моему, больные. Ведь ходят же к нам мужчины, которые заставляют нас сечь их розгами, колоть булавками, бить по щекам башмаками... Все они, обыкновенно, развинченные развратники, которые давно истратили все свои силы в излишествах любви. Почему же и женщинам таким не быть, чтобы любили, как их обижают и мучат? Только ведь та и разница, что мы впадаем в те излишества, которые развинтили наших гостей, поневоле, по условиям профессии своей, тогда как гости — по доброй воле. Так, болезнь — дело нервное, физическое, и хотение либо нехотение в причинах ее — не первая, но вторая сила... Я, по

крайней мере, никогда этих нежностей к сутенерам понять не могла. Что ни говори, но, если женщина — после того, как пьяный дружок высадил ее из третьего этажа через окно, ползет, кровью харкая, целовать его руки, — у нее не все клепки в голове целы. Любовь! Если бы была любовь, так не надували бы мы так своих сутенеров. А то желала бы я видеть ганцу, которая не украшает своего ganzo рогами при первой же своей к тому прихоти.

— А я, напротив, слыхал, что женщины, связанные такими отношениями, отличаются поразительною верностью и, продаваясь по ремеслу за деньги, никогда не позволяют другому мужчине приблизиться к ним по любви?

Фиорина искренно расхохоталась.

— Да, конечно, так! Подумайте сами: может ли быть иначе? Зачем же я буду позволять даром то, что мне и за деньги-то до тошноты надоело? Подумаешь, удивительно трудно остаться верною одному мужчине — при том отвращении к мужчине вообще, до которого дошла, например, хотя бы я, ваша покорнейшая слуга!.. Пожалуйста, не принимайте моих слов на свой счет: вы и красавчик, и милый человек, и я вам чрезвычайно симпатизирую, и решительно ничего не имела бы против того, чтобы вы взяли меня и оправдали для себя заплаченные вами сто франков... Но все-таки, если говорить чистую правду: вы избрали самый верный путь победить мое сердце — именно тем, что вот в кои-то веки, сижу я около мужчины и разговариваем мы, как человек с человеком, без всякого скотства... Удивительно трудно остаться верною, когда лезет к тебе с даровым соблазном — кто? Да такой же сутенер, как твой собственный, или портинайо какой-нибудь, или лакей из кафе. От добра, знаете, добра не ищут, от негодяя негодяя — тем более. Знаете ли, если бы мы так уж обожали сутенеров своих, то не удирали бы от них на содержание при первом же удобном случае. А даю вам слово: содержанки, которые в бо-

гатстве и довольстве с хорошим человеком живя, помнят своих трущобных каналий и страдают по ним — бывают только в мелодрамах да в оперетке «Перикола». Чтобы, выйдя в большие дамы, в grandes panaches *, как говорят в Париже, — да пустила женщина к себе этакого франта, ярмарочного щеголя, бабьего обирателя с пудовыми кулачищами, — черта с два. Разве он за нею уголовное дело какое-нибудь знает или уж очень она своего прошлого стыдится и на шантаж податлива... Это вот бывает часто. А чтобы по доброй воле, — только больная может. Здоровая никогда.

VIII

Было двенадцать часов, и все колокола Милана ревели, когда Тесемкин и Бельский вышли из вертепа Фузинати, сопровождаемые нижайшими поклонами, за которые пришлось бросить этому почтенному старичку еще две лиры.

— Какой тут у вас есть ресторан Кова, — обратился к нему Тесемкин, — и как к нему пройти?

Фузинати мгновенно изъявил желание проводить. Бельский сделал гримасу: идти по людному кварталу в сопровождении господина, содержащего — если и не открытый публичный дом, то нечто в этом роде, представлялось ему не очень-то соблазнительным. Но Фузинати уже успел переменить ермолку на шляпу и прытко побежал вперед. Тесемкин махнул рукою.

— Э! Кто нас тут знает! Сегодня уедем...

— Да уедем ли?

— Мне, по крайней мере, делать в Милане больше нечего. Синьорина Ольга далеко не так очаровательна, чтобы приковать меня. Тринадцать таких на дюжину. И — черт ли вас, Матвей Ильич, дернул пригласить их завтракать!

* Парадные щеголихи, модницы (*фр.*).

— Да — вам-то что? Ведь Ольга отказалась.

— Зато ваша согласилась, как говорится, «с лапочками»... А я было думал уже — великолепнейше распроститься с нашими красавицами, позавтракать вдвоем, да и в поезд. Хорошенького, знаете, понемножку.

— Нет, меня эта встреча очень заинтересовала. Я вчера не успел вам объяснить толком, кто она такая эта моя мадемуазель Фиорина... В ресторане будет время, расскажу.

— Послушаем... А интересно все-таки знать, почему Ольга не пошла? Послушайте-ка вы, синьор Фузинати!

Старик подскочил, с рукою у шляпы, согнувшись в три погибели и в ряде почтительнейших ужимок и сожалительных гримас объяснил, что ресторан Кова — слишком аристократический, чтобы Ольга могла в нем сделать компанию таким замечательным иностранцам. Она девица, хотя молчаливая и вялая, но не глупая и гордая, — знает свое место.

— Что же — ее не пустят, что ли, в этот ваш знаменитый ресторан?

— О нет! как можно не пустить? В Италии все люди равны, и ресторан, — как торговое место, — всем открыт и доступен.

— Так — впустят, но потом выгонят, что ли?

— Нет, и не выгонят, но будут вам так служить, что вы сами уйдете. Сделают неприятнейшим ваше пребывание. Они, знаете, с своей точки зрения правы. Бывает семейная публика, офицеры с женами. Военные в этих случаях щекотливы. Сейчас выйдет история. Скандал, дуэль, газеты... Мы все рабы гласности, мосье.

— Почему же мадемуазель Фиорина не боится того же?

— О! мадемуазель Фиорина! — с уважением щелкнул языком желтолицый Фузинати, слагая лицо улыбкою в сотню морщин, — мадемуазель Фиорина и во дворце сумеет сойти за свою, будто там и есть ее природное место. А на этой бедняжке Ольге, к сожалению, слишком ярко лежит, так

сказать, профессиональный отпечаток. Вечером она великолепна, но днем — слишком бросается в глаза... Знаете ли, — засмеялся он старческим хрипом, — ночные птицы и бабочки не любят показываться днем. Их перья и краски хороши только при искусственном свете.

Однако сам Фузинати, несмотря на свою типическую наружность несомненного ночного хищника, по-видимому, нисколько не боялся дневного света. Опасения Бельского оказались излишними: никто на улице на иностранцев, за странного проводника их, пальцами не показывал и головою не покивал, а, напротив, квартал свой Фузинати проходил с прегордо поднятою головою, точно собственник его или начальник какой-нибудь, и из мясных, фруктовых, бакалейных лавок с ним весьма почтительно раскланивались черномазые владельцы и толстые владелицы. «Гвардии»-полицейские ему козыряли. С встречными патерами Фузинати обменивался самыми дружелюбными улыбками, а с одним, старым, беловолосым и белобровым, в очках, даже — извинившись пред иностранцами — остановился поговорить, и долго стояли они на виду всего народа, посреди тротуара, похлопывая друг друга, то по плечу, то по животику.

— Странные нравы! — заметил Бельский, — можете ли вы вообразить себе подобную сцену на улице русского города? Чтобы кафедральный протопоп, скажем, в Харькове или Воронеже, публично, средь бела дня, обнаружил фамильярнейшую дружбу с каким-либо местным Фузинати? Как будто мы, россияне, все-таки еще не дошли до такой милой культуры.

— Буржуа, батюшка. Маленькие, самодовольные буржуа. В правильной буржуазии человек есть ходячая рента, а как и с чего она получается, — это, в общем обороте доходов, безразлично, лишь бы терпел закон. Ренту, поди, Фузинати олицетворяет собою изряднейшую. Вы слышали, как он девиц-то стрижет: четыре пятых дохода! Да и, наверное,

нужнейший человек для квартала. Владеет бойким местом, населенным публикою безалаберною — нищею, но прихотливою. Самый выгодный народ для торгового человека. Нигде так быстро не богатеет мелкий купец, как рядом с ночлежными и публичными домами, на Хитровом рынке, на Сенной площади, в портах либо на ярмарках, близ приисков, когда рабочий с деньгами и пьет. Вон дамы наши сегодня с утра нам какой кофе подали — и печенья, и масло, и мед, сандвичи... А между тем капотик-то у Саломеи видели? Лет десять носит! Салотопенный завод! Всегда босые, голые и ни гроша за душой, но вкусы избалованные и спрос капризный, — разыгрывается при первой же возможности в нервную прихоть. Такому дому поставщики нужны, близкие, розничные, которые всегда под рукою. А поставщики, конечно, от этого господина зависят и им гарантируются в кредитах. Как же им не ломать шляпы пред синьором Фузинати? Поди, весь квартал только его гнездом и живет...

А к церкви, — продолжал он, — эта публика весьма прилежна и страстна во всех странах без исключения. Наш Гоголь, за пятьдесят лет до Мопассана, рассказал, как благоговейно служатся молебны в российских Maisons Tellier, для начатия дел, для поездки на нижегородскую ярмарку. В Москве у нас спросите по приходам, где гнездятся подобные учреждения: усерднейшие жертвователи на храм и церковные нужды, первые богомольцы и богомолки, непременные говельщики и говельщицы. Да и понятно: понимает же совесть-то человеческая, как ни глуши ее деньгой, что уж очень пакостным делом хозяин промышляет, — ну и трусит она смерти в грехе, страшится ада, чертей, раскаленных сковород, нуждается в прощении, льготах, ходатайстве, защите. Только у нас все это тайно, по секрету, крадучись, впотьмах и по закоулкам, с задних крылец. Московская, блаженной памяти, «Александринка» в своем приходе все образа в золотые и серебряные ризы заковала, таких облачений нашила,

такие утвари жертвовала, что подобных и в соборах не бывало. Но сама она, жертвовательница, в эту церковь, ею обогащенную, буквально, кралась по стенке — молясь, пряталась в самые темные углы, отстаивала целиком только вечерни и всенощные, не смея сесть даже во время кафизм, а в обедни — уходила, как недостойная, после литургии оглашенных. Русский капитал, знаете, еще конфузлив и родовым гамлетизмом одержим; с происхождением своим считается. А здесь, где капитал есть капитал наголо, и идея его от всяких наследственных психологий эмансипирована вполне, — вы видите, — господин Фузинати чуть не обнимается с седовласым каноником воочию всей улицы и средь бела дня. Фузинати, конечно, счастливее Александринки: он, когда платит, уже знает — установлено это и высчитано, что каноник обязан выручать его из грехов, — и насколько. Ведь они же здесь до сих пор откровеннейше индульгенциями торгуют. Ну, а российской Александринке еще приходится ползать в сомнениях, унижаться и молить. Знаете ли, поразителен этот страх греха, которым они живут, в подобных промышленниках, за исключением, конечно, совершенно уж оголтелых. Оттого, что он трусит, он промышленности своей, конечно, не бросит; но промышляет в трусости и с отчаянием. И это повсеместно и международно. Боятся не только того, что сами грешат, но и именно того, что других, рабынь-то своих, заставляют «на себя» грешить, и ужасно волнуются, если их девушки оказываются не набожны, и, стало быть, не замаливают своего образа жизни. Боятся принять на совесть, и без того черную и слабую, тяжесть чужого греха. Этот страх порождает пресмешные трагедии и претрагические комедии. В Харькове я знал хозяйку-еврейку, которая отчаянно ссорилась и даже дралась со своими русскими девушками за то, что они лениво ходили ко всенощной по субботам и не зажигали лампадок пред образами. «Сура Яковлевна! Да вам-то

что? Ведь это их счеты со своим Богом!» — «А як же, — говорит, — помилуйте, пане Тесемкин, чи то справедливо: дивчата своему Богу грешат, а молиться не хотят, — надо же Ему с кого-нибудь грех их спросить, — ну, Он с меня, бедной еврейки, и спросит...» Здесь подобная наивность уже невозможна. У господина Фузинати, поди, счетец-то с Богом разработан, как детальнейший контракт.

Распрощавшись, наконец, с своим каноником, Фузинати догнал русских с прыткостью, необыкновенною в таком старом и больном человеке, и довел их до монумента Леонардо да Винчи, показал им издали, через площадь, вход к Кова и, рассыпавшись в тысяче комплиментов и благодарностей, исчез в галерее Виктора Эммануила, не забыв все-таки схватить из щедрой руки Тесемкина еще лиру.

— Я уверен, что этот Фузинати впятеро богаче меня, — говорил Иван Терентьевич, — но это-то и приятно. Нищему на чай дать естественно, но есть нечто гордое в том, что даешь на чай, в некотором роде, барону из «Скупого рыцаря»...

— Ну, положим, он скорее на Плюшкина похож.

— Все равно... Плюшкина от «Скупого рыцаря» только учителя словесности различают.

— А вы заметили, что он не осмелился подвести нас к самому ресторану?

— Очевидно, знают здесь его, филина ночного, — побоялся компрометировать нас пред швейцаром.

— Или, вернее, Фиорину, которая должна к нам прийти. Раз, мол, швейцар заметил, что господ привел Фузинати, то сообразит, что и дама, которая затем будет искать господ, тоже не дама, а девица от Фузинати...

— Удивительный все-таки оборот общественной морали, при котором разврат стыдливо прячется от швейцара в ресторане, и, как ни в чем не бывало, обменивается любезностями с попом!

Великолепный зал Кова производит впечатление даже и на русских, привычных в отечестве своем к грандиозным размерам подобных капищ. Тесемкин огляделся и сразу стал в духе:

— Хоть бы в Москву! — воскликнул он. — Эка — свету-то! Приятное учреждение... Водку бы тут пить. Да, поди, нету?

— Ну, слава Богу, расшевелился, — москвич! А то я, идя сюда, боялся, что вы Леонардо да Винчи проглотите... так зевали!

— Батюшка, да ведь мы же с вами почти не спали. Я в седьмом часу заснул, а в половине одиннадцатого проснулся с кошмаром, ибо стало нестерпимо: до того итальяшки выли и орали во дворе и по галерее... Я думал: в ад попал, или японцы город берут, или бомба взорвалась. А это они белье по перилам развешивали...

— Я меньше вашего спал.

— Ну, положим, будил-то я вас, а не вы меня.

— Да, но мы с Фиориною проговорили именно до тех пор, что уже весь дом проснулся и поднялся на ноги... Действительно, адский гвалт у них по утрам. Словно каждый и каждая, просыпаясь, обрадовались, что не умерли за ночь, и пробуют глотку, живы ли, слышны ли... Надо было так устать, как мы вчера, чтобы задремать под этот крик. Я совершенно не помню, как потерял сознание... Проснулся от вашего стука: Фиорина упала головою на подушку, спит, не раздетая, а Саломея сидит на стуле, бессонная, и глазищами ворочает, как сова. С места всю ночь не сошла, бумажник мой стерегла. Руки на груди скрестила, — совершенно кавас черногорский или албанский. Надо расспросить о ней Фиорину. Оригинальное существо.

— Да! — перебил Тесемкин. — Кстати о Фиорине, покуда ее нет еще... Вы хотели рассказать, кто она такая и откуда вы ее знаете.

— Вы слышали, что она знала меня в К. Я тогда еще служил и был прикомандирован к—скому губернатору в качестве

чиновника по особым поручениям. Если вы были в К., то, конечно, помните и тамошнее городское гулянье. Единственная достопримечательность! Однажды там, на музыке, я заметил двух новых, очевидно, приезжих, — в К., конечно, свет весь наперечет, — весьма элегантных дам.

Блуждают, никому не знакомые и с видом туристок. Одна — пожилая, другая — молоденькая и редкостной красоты... Осведомляюсь у дежурного полицейского: «Кто такие?» — «Из Петербурга, баронесса Ландио с племянницею, проездом в Одессу, по собственным делам, остановилась в гостинице «Феникс»...» Я сейчас же представился и был принят весьма благосклонно, — сделал визит, начал бывать и немножко ухаживать за m-lle Лусьевой, — я вам забыл сказать, что фамилия красивой племянницы оказалась Лусьева, Марья Ивановна Лусьева... Очень милое было существо, неглубокое, но живое, веселое, резвушка, хохотушка, грациозная черная кошечка, отличные манеры, недурной французский язык... Спутницы ее — баронесса Ландио и старуха-прислуга — были довольно вульгарны и противны, — баронесса, положительно, приживалкою выглядела, — но сама Марья Ивановна была очаровательна и притом, повторяю вам, писаная же красавица!.. детская какая-то, чистая, цветковая, мурильовская красота!.. Хорошо-с. Приблизительно неделею спустя после нашего знакомства, завтракал я у большого приятеля моего, нашего полицеймейстера, — милейший, к слову сказать, был человек — и умный. Впоследствии, как революцией запахло, сейчас же в отставку подал: «Заметил я, — говорит, — что желудок мой осколки бомб трудно переваривает...» Вдруг из первого участка дают знать, по телефону, что пришла какая-то сумасшедшая барышня, вне себя, и просит — ни больше ни меньше, как выдать ей книжку, то есть так называемый желтый билет — записать ее в явные проститутки... «Как звать?» — «Марья Ивановна Лусьева...» Меня это известие, понятное дело, ужасно изумило. Что за чудо? Как? Почему?

Отправились мы с полицеймейстером в первый участок и, действительно, нашли там ее, Марью Ивановну Лусьеву, ужасно расстроенную, в состоянии, близком к сумасшествию. В страшном возбуждении, она кричит нам, что она — тайная проститутка, давно уже торгует собою в Петербурге, а теперь с той же целью приехала в К., что спутницы ее совсем не баронесса Ландио и «няня» Анна Тихоновна, но торговки живым товаром, что эти женщины эксплуатируют ее и жестоко с нею обращаются и что — чем терпеть обиды и зверства от подобных тварей, она предпочитает получить «книжку» и работать уже начисто, на самое себя: из тайных проституток обратиться в явную. Все это показалось нам с полицеймейстером совершенным сумбуром, хотя несколько странным было, что баронесса Ландио и другая старуха стремительно исчезли из «Феникса» и города К. в это же самое утро, оставив племянницу в таком безумном состоянии. А Марья Ивановна тем временем, замечая, что мы ей плохо верим, рассказала нам всю свою жизнь. Как она, «дочь бедных, но благородных родителей», была втянута, через шантаж и задолжание, в тайный великосветский «дом свиданий» некой «генеральши» Рюлиной, как ее потом госпожа эта проиграла в карты другой хозяйке, и как наконец она очутилась во власти тех двух ведьм, в обществе которых я ее застал и от которых она сегодня утром сбежала. Разоблачила целую систему торговли живым товаром, назвала множество имен, указала нити и пути, по которым все это дело можно распутать. Приходилось поверить, — начали верить... У полицеймейстера уже глаза разгорались, какое наклевывается ему славное дельце. Но вдруг является к губернатору самая что ни есть великолепная наша дама-патронесса Софья Александровна Леневская и требует Марью Ивановну к себе, потому что они-де близкая родня. Вот тебе раз! Все, что случилось, оказывается сплошным недоразумением, так как Марья Ивановна — психически ненормальный человек. Каждый месяц бывают с нею,

в известные периоды, припадки, сопровождаемые эротическим бредом, в котором она несет невесть что. Баронесса эта, сбежавшая, и спутница ее тоже оказываются опять в городе, — плачут, воют — подтверждают слова Леневской. Находится у них и медицинское свидетельство какого-то петербургского светилы, подтверждающее болезненные аномалии Марьи Ивановны.

Отъезд свой эти госпожи объясняют тем обстоятельством, будто было условленно между ними и Марьей Ивановной, что, покуда они съездят в Одессу, она погостит несколько дней у неких Карговичей. Эта семейка — довольно темная, надо сознаться — показывает, что Марья Ивановна уже провела у них предшествующую ночь и исчезла только утром — когда именно и объявилась она в участок. Софье Александровне мы, естественно, не можем не верить: конечно, она у нас жох-баба и аферистка страшная, но губернская аристократка, в благотворительных комитетах разных первая деятельница, председательница — между прочим — общества борьбы с проституцией. Сверх того, сама Марья Ивановна, после разговора с госпожою Леневскою наедине, категорически взяла обратно все свои показания и объяснила, будто не помнит ничего, что говорила нам в участке. Ей читают, — она приходит в ужас, кричит, что оклеветала людей, ни в чем подобном неповинных, что она была сумасшедшая, что ее нужно посадить на цепь... Наш к—ский чудотворец, психиатр Тигульскй, — жулик, к слову сказать, каких мало, но великий дела своего знаток и мастер, — исследует девушку, признает ее больною и... истории конец. Какая-то старушенция забрала Марью Ивановну и повезла ее в Вену к покойному Краффт Эбингу, который в то время был авторитетом из авторитетов. Ну-с... говорят, будто все хорошо, что хорошо кончается. Так-то оно так, но признаюсь, и у меня, и у полицеймейстера остался от истории этой прескверный осадок на душе, — что-то смутное и неясное, — как будто нас очень

ловко надули, да еще потом и рот законопатили, чтобы мы не протестовали. Действительно, от баронессы Ландио мы, через Леневскую, получили — и сдуру, по дружбе с Леневскою, взяли — такие подарки, что если бы предложили их нам перед делом, а не после дела, то и принять нельзя было бы ни под каким видом: прямой подкуп, под суд попадешь. И именно эта роскошь подарков очень нашего полицеймейстера смутила: если все чисто, то — за что же так пышно дарить? Что-то замазывают! Ну, успокоились на большом аристократизме Леневской и баронессы Ландио, — что, дескать, спасли несколько хороших фамилий от большого срама, который чуть не накликала на них ни за что ни про что полоумная истеричка.

Хорошо-с. Пропускаю три года. На сцене китайская война. Я уже с губернатором своим и службою распростился. Нахожусь в Харбине, с «Красным Крестом», в качестве, как теперь говорят, «героя тыла». Деньжищ у меня уйма, скука страшная, пьем, играем, скучаем без хороших женщин. В одну прекрасную ночь, в весьма интендантской компании, играю в «железку» и обрабатываю господ интендантов ни много, ни мало — на двадцать три тысячи золотом-с! Молва людская на другой день превращает их в двести тысяч... Герой дня!.. Вечером является ко мне фактор, — джентльмен благороднейшей наружности, — боюсь, не служил ли он даже у нас раньше. Там ведь, в тылу, самые невероятные метаморфозы с людьми происходят. Предлагает, не желаю ли я познакомиться с приезжею польскою графинею?.. «Почему же нет... Сколько?» — «Это уж вы с ее тетушкой условитесь, а мне сто за знакомство...» — «Ого?..» — «Да ведь не вперед прошу, а только в том случае, если сговоритесь с тетушкой... Не поладите, — довольно золотого! Да как не поладить? Увидите, каков товарец! Не жаль тысячу дать!..» — «Что же? — думаю, — самому двадцать три тысячи даром достались, без женского общества душа завяла, шансонеток и откровенно

грубой проституции я, грешный человек, не выношу, ибо романтик и искатель иллюзий, — почему не разгуляться? Тысяча — это чушь, таких цен ныне даже на графинь и даже в Харбине нет, а до двух-трех сотен пойду...» Устроили знакомство в театре — как бы смотрины. Пышная особа, не весьма первой молодости, видно, что когда-то была совсем безукоризненная красавица, но теперь уже в том неопределенном возрасте, когда полька-блондинка обязательно расплывается. Туалет пестроват, но со вкусом, — не перворазборный, но все же Петербург сказывается. Глупа страшно, но превеселая, все хохочет и так неугомонно трещит, что даже спектакля смотреть не может, — все ей болтать надо. «Ну, — думаю, — голубок мой, что ты полька, тому я верю, но графинею ты никогда не бывала». Не так держат себя и не так говорят польские графини, хотя бы судьба и сбила их с пути истинного. Так — шляхтяночка с Литвы, да и вдобавок обрусевшая в петербургском обороте. Но мне это, конечно, безразлично. Я не из тех, кто влюбляется в женщину за титул. У меня у самого предков с дюжину наберется. Тетка, при графине состоящая, тоже сомнительный тип какой-то... На Старом месте в Варшаве за лотком с бубликами встретить ее я не удивился бы, ну а под графскою короною — не того и весьма не того. После спектакля отправились мы к графине пить чай. Открыла нам двери почтенная нянюшка: как взглянула на меня — дернулась и сделалась какая-то странная в лице. Поглядел: ба-ба-ба! да ведь это та самая нянюшка Анна Тихоновна, которая была в К. при Марье Ивановне Лусьевой?.. Я не подал вида, что узнал ее, — именно потому, что стало мне ужасно любопытно: очевидно, я стою около тайны, которая меня вот уже три года интересовала, время от времени всплывая в памяти. Начинаю припоминать тогдашние якобы «бреды» Марьи Ивановны: что-то мерещится, — как будто и про польскую графиню какую-то речь была. Ага! Так, значит, «сумасшедшая»-то правду говорила? Вот вы какие, голубчики? Ну, это дело

надо исследовать!.. И пожалел же я тут, — впервые пожалел, что не состою более на прежней службе.

С тетушкой мы объяснились по секрету — оказалась сводня вульгарнейшая, — и сторговались великолепно. Остались с графинею вдвоем. Тогда я сперва убедился, что нас никто не подслушивает, а затем — прямо к ней с вопросом.

— Графиня, не упростим ли мы с вами отношения, — не позволите ли вы мне называть вас по-настоящему — просто и коротко — Жозей?

Ее немножко вскинуло.

— Я вас не понимаю. Меня зовут Аврора.

— Очень верю, графиня. Но прежде, когда вы работали у генеральши Рюлиной, вас звали Жозей.

Ужасно переполошилась.

— Вы меня знаете? Откуда вы меня знаете? Я никогда вас не видала. Не помню.

— Ну, а подругу свою — Марью Ивановну Лусьеву, по вашей кличке, Люлюшку — помните?..

— Погодите, Матвей Ильич! — перебил Тесемкин, указывая глазами на изящную, темную фигуру дамы, выросшую во входной арке. Вот, кажется, и мадемуазель Фиорина ищет нас...

— Она... о, да ее, в сравнении со вчерашним, не узнать!

— Черт возьми! Действительно, почтенный Фузинати не солгал вам: tres distinguée *, как у нас, русских французов, говорится...

Бельский встал из-за стола и поспешил навстречу Фиорине.

IX

— А мы здесь, без вас, перетряхивали старину, — сказал Фиорине Иван Терентьевич, когда она, элегантная, помоло-

* Весьма изящная, видная (*фр.*).

женная темным, скромным туалетом и без малейшего следа красок на матовом, чуть желтоватом, как слоновая кость, лице, уселась к столику, — Матвей Ильич рассказывал мне вашу первую встречу...

— Мосье Бельский, — сказала Фиорина, — видел меня в самую решительную минуту моей жизни, когда я выдерживала страшное сражение за свою свободу... Сражение я выиграла и свободу получила, но — как видите: все равно, не к добру.

— Неужели вы сожалеете о тех днях, когда вас держала в золоченой клетке своей генеральша Рюлина или госпожа Буластова? — спросил Бельский, — подвигая к ней пестрый станок с вкусным набором всевозможных antipaste *.

— Никогда!.. С тех пор не раз бывало мне очень скверно, я голодала, холодала, мне случалось продаваться за пять франков, чтобы достать себе обед, но никогда не приходила мне даже мысль в голову — вернуться в тот ужас... То рабство мне душу сгноило... Здесь, на воле, пусть я жалкая тварь, пусть я — для других — девка, но я сама-то себе человек, я в себе волю свою чувствую, я такая, потому что моя на то воля есть, и потуда, покуда есть моя воля... Там — кроме петли — некуда было. Вся жизнь твоя зажата в кулаке. Есть суеверие, что из всех детских смертей самая страшная, если ребенка свинья съест, потому что она-де не только мясо детское, но совсем все дитя, с душою, съедает. Вот так-то и нас, бедных, Рюлина и Буластиха с душою ели. Фузинати держит меня в когтях долга, но он не хозяин мой, а только кредитор, дерущий с меня адские проценты. Когда мне это надоест, я очень просто объявлю свое банкротство — и, сторговавшись с ним на нескольких тысячах франков, а может быть, даже и сотнях только отступного, буду на воле. Остаюсь у него, потому что предпочитаю иметь дело с ним, а не

* Закуски (*ит.*).

с другим, потому что он практичнее других, да и привыкла, насиженное место. Но — я остаюсь, а не меня в неволе держат. Меня сейчас заковать в цепи нельзя. Я видела все в жизни и ничего больше не боюсь. Ну суд, ну тюрьма... все это преходяще! Когда человек открыто становится declassè, вы даже вообразить себе не можете, до чего он вдруг свободен оказывается, сколько отпадает от него ложных страхов, а вместе с ними, возможностей к его эксплуатации и угнетению. Даю вам слово, что Фузинати имеет в распоряжении гораздо больше внешних средств держать меня в рабстве, чем Рюлина или Буластиха. Я, вероятно, даже должна ему больше. Но я-то не та, что была. И посмотрите: он гнется предо мною, как лакей, а там меня мокрым полотенцем били — и я молчала. Увы! К сожалению, наша профессия такая, что в ней к самосознанию и к свободе можно переступить только через разрушенный стыд. Вся игра той большой, шелковой и бархатной, тайной проституции, в которой я томилась в Петербурге, рассчитана на психологию стыда и тайны. Если женщина проститутка, но желает остаться, в глазах людей, барыней или барышнею добродетельною, ясное дело, что тот, кто знает, что она проститутка, сделается ее полным хозяином и повелителем и заставит ее работать на себя, и не освободится она от власти его прежде, чем не откажется от показной стороны своей жизни и не откроет закрытые карты игры своей... Жизнь явной проститутки — жизнь потерянной собаки, бесконурная, бесприютная, с мучительными поисками валяющейся кости на улице и злой борьбой за кость, когда найдешь, — настоящая война против всего вашего милого общества, и вдобавок, война, в которой мы, горемычные, всегда бываем поколочены не только в моральном, но иногда и в буквальном смысле слова. Но бродячею собакой себя чувствовать я предпочитаю, чем быть безвольным скотом у яслей грубой и подлой захватчицы, которая до того тебя в тайне твоей порабощает, что, наконец, даже — тоже не в переносном, а в буквальном смысле слова — начинает ездить

на тебе верхом... Да, да. Не смотрите на меня такими удивленными глазами. Это было в Петербурге. М-м Юдифь, тоже хозяйка, у которой был, под видом модного магазина, знаменитый дом свиданий, — женщина, в своем роде, литературная. Она вычитала в «Mêmoires d'une danseuse russe» * — есть такой непристойный роман, который в Париже под портиками у Одеона из-под прилавков продается, — будто русские крепостные помещицы когда-то так забавлялись: устраивали домашние скачки, верхом не на лошадях, но на рабынях своих, которая быстрее бежит. Вычитала и рассказала Буластихе и Перхуновой. А эти милые хозяюшки — в первый же раз, что напились вместе, — не замедлили воспроизвести... К счастью, я была в то время в отъезде, на гастролях, а то и мне пришлось бы верховою лошадью попрыгать, как Жозе и Люське несчастным! А повторять игру не решились: оказалось невыгодно, потому что затем две перхуновских женщины и одна наша кровью закашляли... Вот какая была жизнь! Налейте мне вермуту, пожалуйста!

Я тогда из К. уехала большою победительницею, — рассказывала Фиорина, разбирая новомодным серебряным ножом вкусную морскую рыбу. — Скандал мой передался, конечно, в Петербург и произвел в мирке Буластих, Перхуних и Юдифей страшное волнение. Прелюбопытная среда в этом отношении. Нет более наглых, грубых, дерзких тварей, покуда все идет гладко и чисто на дорожке их, и никто не теряется так трусливо и подло при малейшем признаке грозы. Они вообразили, что теперь всем им — крышка. Струсили, как только эти госпожи умеют трусить. Сразу увидали себя разоренными — и под судом, и в тюрьме, чуть не в кандалах и на каторге. Даю вам слово, если бы я тогда за отречение от показаний своих, за право объявить меня сумасшедшею, потребовала с них единовременно сто тысяч рублей, — они бы сложились и дали. Потому что понимали очень хорошо: это не одной Буластихи

* «Мемуары русской танцовщицы» (*фр.*).

беда, — тут только за хвостик одной мышки ухватиться, так все ихние подполья и норки насквозь пробежишь, и весь клубок по ниточке сам собою размотается. Но я была глупа, не сообразила всей величины дела и, когда мне ваша госпожа Леневская предложила за молчание десять тысяч рублей и пожизненную выплату по 200 рублей в месяц, мне это показалось невесть какою огромною суммою, и я на том с ними покончила...

— Леневская! — перебил Матвей Ильич, — вот чего я решительно не понимаю: это — участия в вашем деле госпожи Леневской... Не могла же она быть компаньонкой вашей Буластихи и прочих промышленниц, ей подобных?

— Конечно, нет, — усмехнулась Фиорина. — Такая большая барыня!

— Тогда — как же?

— Да очень просто, не надо искать никаких пружин и гвоздиков, ларчик просто открывается. В К. у Буластихи агенты — некие Карговичи. Когда стряслась беда, они указали Анне Тихоновне на Леневскую: вот, мол, дама с влиянием и авторитетом, но совершенно без всякой совести, в делах запутана страшно, и нет такой минуты, когда бы она не нуждалась в деньгах, и нет такой услуги, которой бы она за деньги не продала, если в силах ее оказать. Не раз выручала разную темную публику, которая догадывалась к ней прибегать. Анне Тихоновне выбирать было некогда. Сейчас же забрала баронессу Ландио и — марш к Леневской вашей. Совершенно откровенно ей рассказала, в чем дело, и столь же откровенно предложила пять тысяч за хлопоты: выручайте, барыня! Поручитесь за нас! На десяти сторговались... вот вам и весь секрет! Нельзя проще. И тоже продешевила барыня! Дали бы и двадцать пять!

Когда я приехала в Вену, то ног под собою от радости не чувствовала! словно крылья ласточкины у меня за спиною выросли. Денег у меня множество, доходом на всю жизнь обеспечена, свобода полная, я еще молодая, мне тогда 25-й

год пошел, — жизни впереди ах сколько! Страсть как хочется жить, и весело мне до бесконечности. Остановилась я не где-нибудь, но у Захера — против Оперы... Прожила месяц совершенно одна и — как в вихрь. Из театров не выходила, один день в опере, другой в драме, в Кайнца была влюблена, в Демута. Платьев себе нашила — дорогих, но, нарочно, скромных, таких, чтобы прошлого не напоминали. В конце месяца аккуратно принесли мне из Laenderbank'a * 520 крон, — исполняет, значит, свое обязательство госпожа Буластиха, и напоминать не пришлось! Больше того скажу вам, — признаться, я, впопыхах-то и радостях, даже и забыла, что должна получить эти деньги, потому что говорю же вам: богачихою себя чувствовала, капиталисткою, сам Ротшильд мне не брат.

Но именно эта присылка заставила меня оглянуться на месяц и подсчитать, сколько же у меня денег. Подсчитала и ахнула; умудрило меня спустить, за один-то месяц, больше двух тысяч рублей. Как я ни глупа была по денежной части, — ведь подумайте, я всю молодость в золоченых клетках прожила, на всем готовом, а в собственном личном распоряжении никогда сторублевой бумажки не имела — как ни глупа была я, но настолько-то у меня достало соображения и арифметики, чтобы сосчитать, что подобным манером я, три месяца спустя, останусь без грошика и, значит, при одних 520 кронах из России, да и то, если они будут и впредь высылаться аккуратно. А — что такое 520 крон — видела я теперь очень хорошо; 420 мне один мой номер у Захера стоил... Решила быть вперед благоразумной и нагонять экономию. Говорят, в Италии жизнь дешева и приятна. Живо собралась и поехала в Италию. Да угораздило меня тронуться в путь не с обыкновенным курьерским поездом на Понтеббу, а в train de luxe **, Вена — Канн:

* Земельного банка (*нем.*).
** Пассажирский поезд-люкс (*фр.*).

заодно, мол, посмотрю французскую Ривьеру... Ну и посмотрела — известно что... казино в Монте-Карло!

Фиорина осмотрела застольников своих с видом комической жалобы и расхохоталась.

— Вы даже представить себе не можете, господа, как это быстро кончилось. В один какой-нибудь час я была голенькая, как мышка: все мои золотые скушали rouge et noir * — как в яму их бросила, без остатка... Очистила место... Что же теперь делать? — вышла... Насупротив ресторан, веранда, музыка... Гляжу: за столиком одиноко сидит русский знаменитый актер из Москвы… Видала я его на сцене. Кутили однажды вместе в компании одной — из коммерческой аристократии. Он сам большой барин... Толстый такой, носатый, haut de forme a huit reflets **, лицо доброе, грустное... Обрадовалась я ему, как брату родному. Подхожу:

— Вы меня не узнаете?

— Нет, помню, что где-то как будто видались...

Ну, напоминать себя ему, я, конечно, не стала, а просто отрекомендовалась, как московская поклонница.

Пригласил к столику. Села. Сижу — как на иголках. Потому что надо мне у него денег попросить, — а как ее начнешь — с незнакомым-то человеком, который тебя где-то как будто видал, — этакую антрепризу? Но он, спасибо, сам помог, — опытный человек, насквозь видит.

— Проигрались?

— Совершенно.

— Видел я, как вы золотые швыряли... Только вмешиваться неприлично в чужую игру, а то следовало бы вас дернуть за локоть. Как дитя... Разве так здесь играют?

— А как же?

— Как... как...

---

* Красное и черное (*фр.*); азартная игра с банкометом.

** Цилиндр к цилиндру (*фр.*).

И расхохотался.

— Не знаю, как, но во всяком случае так, как я, тоже не играйте. Потому что я за неделю здесь уже восемь-десять тысяч франков спустил без системы, теперь систему одну пробую... должно быть, остальные двадцать спущу.

Подходит к столику другой русский — черненький такой, в бородке, красивый господин, только лицом желт очень, улыбается прилично и равнодушно, словно ничто на свете уже не может его удивить, и говорит актеру:

— Представь себе: я сейчас чуть не сделался богатым человеком... Все на красной проухивал, — только что на черную перешел, ан, красная-то и вышла. Если бы выдержал характер, большой капитал бы загреб...

— А теперь? — спрашивает актер.

— А теперь не можешь ли ты мне дать un petit bleu? * Надо послать домой телеграмму, чтобы прислали денег на отъезд. Ну и покуда тоже существовать надо же как-нибудь? Будучи органическим существом, имею физиологические потребности.

— Нет, — отвечает актер, — пятидесяти франков я тебе не дам. И не потому, чтобы жаль или у меня их не было, но потому, что принцип: когда сам играю, денег взаймы не даю, — этак можно счастье взаймы отдать.

— Ну, братец, как ты играешь, от тебя скорее несчастье займешь. Был ли когда-нибудь случай, чтобы ты выигрывал?

— Да! Говори! А вот, может быть, именно в тех-то пятидесяти франках, которые ты у меня просишь, оно и сидит, мое счастье?.. Когда ты видал, чтобы игрок давал взаймы? Вот кончу свою серию, выиграю тысяч триста, — тогда бери не то что пятьдесят франков, но хоть пятьдесят тысяч.

— Спасибо, — говорит черненький, — к тому счастливому времени я сам рассчитываю быть в полумиллионе и, если хочешь, тебя смогу ссудить даже сотнею тысяч... А пока...

* Синеньких? (денежных купюр; *фр.*)

— А пока, если тебя уж так дочиста выпростали, можешь столоваться здесь за мой кредит. Он у меня безграничен... Привыкли, что езжу прогорать из года в год.

И оба хохочут, словно у них миллиарды в кармане. Так что с соседних столов унылые немцы какие-то, в бриллиантовых запонках, отдавшие рулетке франков по двадцати каждый, стали даже смотреть на наш стол с ненавистью.

Однако я, слыша слова актера, что, играя, он взаймы по принципу не дает, отдумала просить у него денег. Посидела для приличия несколько минут, встала, пошла в отель. Слышу:

— Барышня... послущайте... русская! — догоняет актер.

— Извините, — говорит, — я не хотел расспрашивать вас при товарище... Вы — как, passez le mot *, продулись-то — совсем или с запасом?

Я пред ним только портмоне открыла:

— До дна. Ни грошика.

— А счет в гостинице оплачен? А билет обратный куда-нибудь имеете?

— Ничего не заплачено и никуда я не еду... Пусто.

Покачал головою.

— Эх, пускают же сюда младенцев подобных...

Полез в карман, достал бумажник, вынул сто франков.

— Взаймы я не даю, это счастье отнимает, — просто, так, — на отъезд, — сделайте одолжение... Возьмите!.. И уезжайте, немедленно уезжайте, — хоть недалеко, покуда куда-нибудь, в Геную, что ли, только бы вон из Монте-Карло, а то пропадете... Вы не смотрите, что мы все здесь такие веселые... Это хороший тон — проигрываться, как ни в чем ни бывало, и faire bonnes mines au mauvais jeu... ** ну, и нервы... А бывает, знаете... похохочет этак

* Простите, что так грубо (*фр.*).

** Делать хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

человек с недельку, поострит над собою, поиздевается, а потом — и находят его где-нибудь в парке на скамье с виском простреленным или просто с головою размозженною — там вон под террасою... Понимаете? Смех — хорошая штука, только уж очень дорогим риском человек его здесь покупает... Имею честь кланяться! До свиданья. Уезжайте же — очень вас о том прошу!

Повернулся и ушел, даже поблагодарить себя не дал. Согрел он тогда душу мою, — спасибо ему. Хороший, добрый человек!

Сто франков, которые он мне дал, мне решительно ни к чему, впрочем, оказались, потому что ждал меня в отеле счет на 475. Ну — что же тут будешь делать? Понятно, возвратилась в казино и попробовала счастье отыграться в trente-et-quarante... * Как будто повезло, — по крайней мере, целый день, правда, просидевши, после бесконечных приливов и отливов по мелочам, своих не потеряла и еще два золотых лишних оказалось в портмоне. Вот какое счастье! А поутру в гостинице счет уже 522!

Горничная, востроносая этакая стерлядь, швейцарская француженка, пришла убирать комнату. Вступает в разговоры:

— Pardon, madame... Мадам, кажется, немножко играет?

Вздыхаю.

— Какое там немножко... К сожалению, очень...

— Мадам не везет?

— Очень не везет. В пух продулась...

— Быть может, мадам имеет нужду в деньгах для игры? всегда можно достать...

— Где же это? Какой тут у вас припасен благодетель?

— У мадам есть хорошие вещи. Если мадам угодно, то кое что даже я сама купила бы, а на остальное найду покупщиков за самый маленький процент в мою пользу.

* Тридцать-и-сорок; азартная карточная игра с банкометом (*фр*.).

Очень жаль было, но — пришлось устроить дешевую распродажу. Платья, за которые две недели тому назад в Вене сама по сту гульденов платила, за двадцать франков шли... Наколочу таким манером сотенку — и в казино. Что выиграю, отель в счет берет. Выбраться нет никакой возможности, потому что — сколько ни сколько, но все-таки сдуру плачу. Иначе — давно выгнали бы. И было бы это, вероятно, к большому моему счастью, как всякое безвыходное положение для людей моего характера. Если стена пред тобою, а жить хочется, так волею-неволею выход найдешь или уж и сам не заметишь, как об стену разобьешься до смерти.

Допродавалась я до того, что только и осталось у меня платьишко, что на мне, — хорошее, чтобы в казино войти было возможно. А игра все по-прежнему: сегодня шестьдесят франков взяла, завтра сорок проиграла, послезавтра восемьдесят взяла, дальше шестьдесят проиграла, на разницу день прожила, за день задолжала, — тянется какая-то канитель засасывающая: ни тебя не пришибет сразу, ни тебя не вытащит из трясины.

В отеле, конечно, немедленно стало известно, как я распродалась. Управляющий на меня уже едва смотрит. Швейцар не шевельнется двери открыть. Прислугу звонишь-звонишь, прежде чем удостоит явиться. Морды у всех чванные, надутые... Понятно: капиталисты ведь все они. Им-то ведь играть нельзя: строжайше запрещено. Ну и золотит их, невинных агнцев, понимаете, осадок этакий от казино — и от выигрышей, потому что тогда шальные деньги им летят от обезумевших счастливцев, и от проигрышей, потому что тогда, вот вы видели, можно покупать у безумного несчастья за двадцать франков вещи, которые стоят двести с лишним. Я потом одно свое собственное платье назад купила у этой же горничной — и заплатила за него 110... Девяносто разницы! Высчитайте-ка, каков это процент, и можно ли при нем нажиться? И — каково же, в самом деле, подобным капиталистам служить мне, нищей? Они покупают, я продаю, они люди порядочные, я бро-

дячая дрянь, а между тем они этой дряни — подай, убери, поди, принеси!

Актера, покровителя своего, издали видала, но бегала от него: совестно... Все равно, что украла у человека сто франков — обманула, не послушала его. Ну да вскоре он уехал в Россию. И черненький этот тоже вместе с ним... совсем, говорят, налегке улетели оба! едва выбрались!

В один прекрасный вечер в отеле устроили мне из-за ванны такую прелестную сцену, что я, уходя, решила: если выиграю сегодня, расплачусь с ними, — и ноги моей больше здесь не будет, перееду; если не выиграю, — просто не вернусь, лучше на улице останусь, пусть подбирают, кто хочет и куда хочет.

Ну не выиграла, конечно. Чистая — без сантима ушла... Ночи короткие, весенние. До рассвета бродила я по парку. Состояния своего нравственного описывать вам не стану. Что же? Конец. И надежд уже никаких нету, потому что самый ключ к ним теперь потерян. Не на что войти завтра в казино. Платье с себя продать, будет на что пойти, так зато будет не в чем войти... Заря встала. Море сиреневое. Прошла на бульвар. Села на скамью. Смотрю и думаю: «Третью неделю я здесь, а — как странно — ведь я впервые море вижу...»

Бродит мимо меня какой-то мужчина — громадный, бородатый, не слишком хорошо одет, — однако «господин», хотя и ужасно разбойничьего вида. Остановился, посмотрел. Глаза под котелком дикие, красные... Боюсь: не пьяный ли? обидит?.. Еще остановился... еще и еще... Я струсила и хочу уйти. А он вдруг — глухим и хриплым басом по-русски:

— Это вы, — говорит, — в самом деле или моя галлюцинация?

— Нет, — говорю я, очень удивившись так, что сразу и страх прошел, — это — я, в самом деле...

— Фу, черт возьми! Вот необыкновенность! Неужели Люлюшка? Рюлинская Люлюшка? Если да, то по какому же высокоторжественному случаю ты, дрянь, здесь?

Очень жаль было, но — пришлось устроить дешевую распродажу. Платья, за которые две недели тому назад в Вене сама по сту гульденов платила, за двадцать франков шли... Наколочу таким манером сотенку — и в казино. Что выиграю, отель в счет берет. Выбраться нет никакой возможности, потому что — сколько ни сколько, но все-таки сдуру плачу. Иначе — давно выгнали бы. И было бы это, вероятно, к большому моему счастью, как всякое безвыходное положение для людей моего характера. Если стена пред тобою, а жить хочется, так волею-неволею выход найдешь или уж и сам не заметишь, как об стену разобьешься до смерти.

Допродавалась я до того, что только и осталось у меня платьишко, что на мне, — хорошее, чтобы в казино войти было возможно. А игра все по-прежнему: сегодня шестьдесят франков взяла, завтра сорок проиграла, послезавтра восемьдесят взяла, дальше шестьдесят проиграла, на разницу день прожила, за день задолжала, — тянется какая-то канитель засасывающая: ни тебя не пришибет сразу, ни тебя не вытащит из трясины.

В отеле, конечно, немедленно стало известно, как я распродалась. Управляющий на меня уже едва смотрит. Швейцар не шевельнется двери открыть. Прислугу звонишь-звонишь, прежде чем удостоит явиться. Морды у всех чванные, надутые... Понятно: капиталисты ведь все они. Им-то ведь играть нельзя: строжайше запрещено. Ну и золотит их, невинных агнцев, понимаете, осадок этакий от казино — и от выигрышей, потому что тогда шальные деньги им летят от обезумевших счастливцев, и от проигрышей, потому что тогда, вот вы видели, можно покупать у безумного несчастья за двадцать франков вещи, которые стоят двести с лишним. Я потом одно свое собственное платье назад купила у этой же горничной — и заплатила за него 110... Девяносто разницы! Высчитайте-ка, каков это процент, и можно ли при нем нажиться? И — каково же, в самом деле, подобным капиталистам служить мне, нищей? Они покупают, я продаю, они люди порядочные, я бро-

дячая дрянь, а между тем они этой дряни — подай, убери, поди, принеси!

Актера, покровителя своего, издали видала, но бегала от него: совестно... Все равно, что украла у человека сто франков — обманула, не послушала его. Ну да вскоре он уехал в Россию. И черненький этот тоже вместе с ним... совсем, говорят, налегке улетели оба! едва выбрались!

В один прекрасный вечер в отеле устроили мне из-за ванны такую прелестную сцену, что я, уходя, решила: если выиграю сегодня, расплачусь с ними, — и ноги моей больше здесь не будет, перееду; если не выиграю, — просто не вернусь, лучше на улице останусь, пусть подбирают, кто хочет и куда хочет.

Ну не выиграла, конечно. Чистая — без сантима ушла... Ночи короткие, весенние. До рассвета бродила я по парку. Состояния своего нравственного описывать вам не стану. Что же? Конец. И надежд уже никаких нету, потому что самый ключ к ним теперь потерян. Не на что войти завтра в казино. Платье с себя продать, будет на что пойти, так зато будет не в чем войти... Заря встала. Море сиреневое. Прошла на бульвар. Села на скамью. Смотрю и думаю: «Третью неделю я здесь, а — как странно — ведь я впервые море вижу...»

Бродит мимо меня какой-то мужчина — громадный, бородатый, не слишком хорошо одет, — однако «господин», хотя и ужасно разбойничьего вида. Остановился, посмотрел. Глаза под котелком дикие, красные... Боюсь: не пьяный ли? обидит?.. Еще остановился... еще и еще... Я струсила и хочу уйти. А он вдруг — глухим и хриплым басом по-русски:

— Это вы, — говорит, — в самом деле или моя галлюцинация?

— Нет, — говорю я, очень удивившись так, что сразу и страх прошел, — это — я, в самом деле...

— Фу, черт возьми! Вот необыкновенность! Неужели Люлюшка? Рюлинская Люлюшка? Если да, то по какому же высокоторжественному случаю ты, дрянь, здесь?

Тут я его узнала. Господин Бастахов. Богатейший *) барин, коммерсант, из компании Фоббеля и Смерчевского, но он много превосходил их капиталом... Налетал к нам изредка из Москвы или провинции, и тогда начинался у Рюлиной такой пир горой, такой шабаш безумный, что, проводив Бастахова из Петербурга, мы все с неделю никуда не годны бывали — головою маялись. Однажды всех нас, четверых, ближайших рюлинских, — меня, Адель, Жозю, Люську, — он выписал к себе на подмосковную дачу, — инженеров каких-то он чествовал, с которыми дорогу, что ли, строил или другое что. Целый дворец у него там оказался. А в оранжереях у него аквариум — исполин — на сто ведер — стекла саженные, зеркальные. Вот — однажды, ради инженеров этих — какую же он штуку придумал? Воду из аквариума выкачал, а налил его белым крымским вином, русским шабли. Сам он и трое гостей кругом сели с удочками, а мы — Жозя, Люська, Адель и я — по очереди в аквариуме за рыб плавали. Удочки настоящие, только на крючках, вместо червяков, сторублевки надеты... Натурально, боишься, чтобы сторублевка не размокла в вине, ловишь ее ртом-то, спешишь, — ну хорошо, если зубами приспособишься. Мне и Адели как-то счастливо сошла забава эта, ну а Люську больно царапнуло, а Жозе — так насквозь губу и прошло — навсегда белый шрамик остался... Зато каждая по четыре сотенных схватила. И уж пьяны же мы выбрались из аквариума — вообразить нельзя. Удивительное дело. Вино легчайшее, да и не пили мы ничего, только купались, глотнуть пришлось немного. А между тем меня едва вынули, потому что я на дно упала... мало-мало не захлебнулась...

Бастахов же стоит, руки в карманы и хохочет:

— Мне, — говорит, — это — наплевать! — что шабли? Его ведро десять рублей стоит. Сто ведер — тысяча рублей. Нет, вот я в другой раз купанье из pommery sec закачу...

---

*) См. в «Марье Лусьевой».

Другие его поддерживают:

— Что же сразу-то не закатил? Поскупился?

— Ничего не поскупился. Из одной эстетики. Так как шабли цветом белее, то — для прозрачности... А коль скоро ты сомневаешься в широте моей души...

Насилу его удержали. Потому что уже скомандовал было молодцам своим:

— Выкачивай шабли! Тащи шампанского!

Только тем и отговорили, что «рыбки» уже совершенно пьяны — «заснули» — и пускать их в шампанское больше нельзя: «играть» не смогут. И только вино испортят, а удовольствия никакого. Согласился.

— Хорошо! Значит, верите мне на слово, что я это могу?

— Верим! Верим!

— Ну, так знайте же, что я и еще больше могу!

С этими словами берет в углу оранжереи заступ или лом какой-то да — как развернется, хватит...

Дзззинь — гррр! Дзззинь — грр!.. Стекло из аквариума к черту, и хлынул винопад... Сотня-то ведер!.. Все потопил... Самого его, дурака, чуть не залило.

Гости бегут, ругаются, вино — по колено, тысячные растения пропали, нижние стекла в оранжерее напором вина высадило, во двор каскады полились... Что этот Бастахов себе убытку в одну секунду наделал, многими тысячами считать надо. А он хохочет и рад:

— Понимаете ли вы теперь меня? Я — сверхчеловеческий человек белокурой расы!

Между тем у самого бородища черная-пречерная: Пугачев живой!..

Редко когда-либо я видала Адель такою веселою, как когда мы ехали от этого Бастахова назад в Питер. Значит, уж чисто ограбила человека, — отвалил, не пожалел!.. *)

---

*) Факт сей относится к 1895 году. Герой здравствует по сие время.

Ну-с, и после таких-то радостных забав вот где и в какой момент привелось увидаться. Подлинно уж, гора с горою не столкнется, а человек с человеком всегда встретится... Смотрю я на господина Бастахова и — сразу надеждами ожила, а с другой стороны, что-то он как будто мне страшен немного и как-то необыкновенно весел уж очень... Хорошо, если только пьян, а, пожалуй, что и не совсем в своем уме.

X

Смотрит на меня Бастахов, ворочает красными глазищами.

— Ты что же здесь сидишь, Люлюшка? Море при восходе солнца желаешь видеть? или квартиры у тебя нет?

— Нет, квартира у меня есть... А, впрочем, пожалуй, что и нету, — все равно, вернусь поутру — только затем, чтобы выгнали.

Засмеялся.

— Так хоть выспалась бы в хорошей постели на прощанье... Кто же ночью уходит, когда время терпит до утра? Запиши часов семь или восемь себе в убыток... Продулась, значит? Ничего... Женщине продуться — ничего... У женщины всегда остается про запас капитал на отыгрыш...

— Нет, — говорю, — у меня ничего не осталось, ни единого су... Казино для меня закрыто.

Отдул губы и фыркает на меня.

— Ты — как? отроду глупа или притворяешься, — в наивность играешь? Так со мною не финти... Это дело безнадежное. Я калач тертый, в девок Агнессок не верю.

— Я вас не понимаю. Я совершенно искренно говорю вам, что я села без копейки.

— Дура! Я тебе не про деньги... Разве женский капитал — деньги? Это наше мужское дело. Вот твой капитал: тело твое красивое, продажное... Им отыгрывайся.

— Ах, вы вот в каком милом смысле... Виновата, позабыла, как мы с вами друг друга знаем... Да, этого капитала, конечно, я проиграть не могла, — только вот пользоваться-то им больше я не собиралась... и очень-то печально мне будет, если придется. Я эти дела, в которых вы меня знали, совершенно оставила, господин Бастахов.

— Очень глупо. Красота и молодость — процентный билет: требуют, чтобы с них хозяин стриг купоны, покуда билет не вышел в тираж.

— Может быть, господин Бастахов, но только оно так. Хотела я порядочною быть, стала на честную дорогу.

— Вот какие нежности! Скажите! Ты, значит, с генеральшею-то своей, Рюлиной-старухой, рассталась?

— Хватились! Рюлина который год умерла уже... Адель замужем, во Франции живет.

— Ну да! стану я всех ваших мерзавок помнить. Адель какую-то приплела... Еще, как швейцара у вас там, в заведении вашем подлом, звали, знать не прикажешь ли?.. А помнишь, как ты у меня на даче в белом вине плавала? Loulou au vin blanc? * Недурна была выдумочка?

— Как не помнить!

— Теперь, моя любезная, ау! не выкупаю — не поплывешь! Теперь Бастахов винцо-то не аквариумами считает, а стаканчиками приемлет, и то не каждый день.

— Что же вам — запрещено докторами?

Страшнейшую рожу состроил.

— Да, — говорит, — запрещено. Только не докторами, а российским государственным банком.

— Почему? Какое дело банку до здоровья вашего?

— Такое, что больше в нем государственных кредитных билетов не осталось на мою долю, первой гильдии купца и разных орденов кавалера Павла Родионова Бас-

* Лулу в белом вине? (*фр.*)

тахова... Ну, Люлюшка! Удивляешь ты меня, — этакую жизнь вела, у генеральши Рюлиной работала, плотичкою в аквариуме плавала, а все-таки, в самом деле, наивна, как молодой карась... Неужели ты сразу-то не поняла, кто с тобою разговаривает? Плохо же твое дело: девке без нюха — грош цена. Ты присмотрись ко мне хорошенько. Разве я тот Бастахов, которого ты знала? В этом-то котелке? В этаком-то пальто? С этакою-то образиной?

— Никакой особенной перемены не нахожу... конечно, постарели, поседели... и вина, должно быть, много пьете, хоть и хвалитесь, будто стаканчиками... потому что лицо такое — одутловатое и нос... совсем красно-бурого цвета.

Захохотал, — словно медведь заурчал.

— Да, — говорит, — да! это твоя правда, Люлюшка, это — именно от стаканчиков. Потому что, когда вином аквариумы наливались, этого мне никто не смел заметить, чтобы у меня лицо пухло и нос красный был. А когда вино пьешь только, если добрые люди стаканчик поднесут, тут твою рожу всякий замечает и отмечает: вот он бродяга! пьяница!.. Пословица даже такая есть у нас, питухов, что господа никогда не бывают пьяны, пьяны бывают лишь мужики да прохвосты, а господа бывают только нездоровы... Нищий я, Люлюшка! Голый нищий! Беднее тебя! А как же — после моей-то жизни — нищему пьяным не быть? Сердце горит, не терпит.

Я так и ахнула.

— Господин Бастахов! Вы надо мною посмеяться хотите! Разве это может быть?

— Отчего же нет?

— Да ведь у вас, говорят, состояния сто миллионов было?

Приосанился:

— Ну, это преувеличивали... а к пятнадцати — правда, шел.

— Да — если даже пятнадцать... Господи! Это и считать-то месяц надо...

— Если в банке, то много больше: сторублевками — пятнадцать недель. Но — тут артель проворная, считают быстрее...

И указывает рукою на казино.

— Ты, Люлюшка, много ли проиграла?

— Около пяти тысяч рублей.

— Ничего себе, — для такой маленькой дряни, как ты, и этого достаточно... Ну, а я в этом милом учреждении пять миллионов оставил. Non c'e male! * — как говорят итальянцы.

В ужас я пришла.

— Неужели так вот сразу — в один присест?

— Ну нет. Этакие страсти только в романах бывают, да в нравоучительных книжках о них пишут, чтобы публику от Монте-Карло предостерегать. Сам же игорный дом эти книжки и заказывает, потому что от их предостережений народ сюда еще вдвое больше валит... Кому не лестно побывать в раздевальне, где этакими сменками торгуют? Сейчас — миллионер, сейчас — нищий, утром — голодранец, вечером — капиталист... Это чепуха! Нет, меня восемь лет чистили, покуда не доскребли до конца... Ну и выпотрошили же! Говорю тебе: пять миллионов моих эти стены в себя вобрали! Вот — брожу по ночам, как упырь какой-нибудь, да любуюсь издали... эка утроба! Внутрь-то, в жерло, ведь меня уже давно не пускают! Три года, как не был в жерле. А кабы пустили, я б им показал теперь, я б их в свою очередь тоже вот как почистил... Сейчас-то... с моей-то опытностью, с моей выдержкой, с системой-то... о-го-го!

Вспомнила я, говорю ему:

— Ах, знаете, системы эти... наслушалась я о них: один обман и яд!

— Ну что ты понимаешь!

---

* Это не беда! (*ит.*)

— Тут писателя русского я встретила: тоже с системою играл... что на плечах осталось, — только с тем и уехал.

— Знаю я писателя твоего... Где ему! Какая у него может быть система? Система игры требует правильного представления о деньгах. Разве у писателя может быть правильное представление о деньгах? Какие он деньги видел в своем веку? Вон для тебя — пять тысяч деньги. Разве с пятью тысячами игра? Наверняка банку в пасть бросить... А вот как приехала к ним, голубчикам, наша московская Анастасия свет Романовна княгиня Латвина, урожденная купеческая дочь Хромова, пригляделась к столам, да и пошла их чистить. Удачница! С выдержкой! А, главное, капитал на капитал: проигрывает — не жмется, выигрывает — рискует, аж у самого хладнокровного крупье руки трясутся... Неделю их грабила, курицыных детей! Когда уезжала, смеется на вокзале: «Я бы еще поиграла, да боюсь: отравят подлецы...» Мне на прощанье тысячу франков подарила на счастье: «Авось, мол, пойдешь опять на поправку с моей легкой руки...» Какое! в тот же вечер в Ницце в Jetée * до последнего сантима уложил... Что тысячи, Люлюшка! Миллионы только миллионов и боятся.

— Послушайте, — говорю, — господин Бастахов, — ну, положим, пять миллионов ваших рулетка съела. Это очень много, конечно, но — все-таки — вы же говорили, у вас пятнадцать было... Куда же остальное-то ваше состояние разошлось?

— Если хочешь, — отвечает, — опять-таки все туда же, в эту великолепную печь, которую для покойника Блана архитектор Гарнье выстроил, а черти помогали... Потому что скажу тебе слово опытное: как ни ужасен вред, который это чертово гнездо приносит нашему карману, он — ничто в сравнении с тем опустошением, которое, через него, вры-

* Жете (название игорного дома; *фр.*).

вается в ум и душу... Прах побери капитал, был бы цел характер, — ан он-то здесь и разрушается. Княгине Латвиной играть можно, потому что для нее это шалость, в увеселительную программу входит, а характер ее — не тут, весь наружу, вдоль стола прыгает, а крепко в ней сидит, баланс рассчитывает и волю ее в кулаке держит. Ну, а аз многогрешный... У меня, Люлюшка, мой друг, миллионные дела в России провалились только от того, что я здесь находился и не мог оторваться от азарта. Как же! Шутка ли? Пятьдесять тысяч франков на номере — хо-хо? Разве это не интересно? Ну и убил, взял... торжествуй, победитель! На другой же день половину в Ницце на Bataille des fleurs * выбросил...

А тем временем Мурлыкинская дорога у меня, можно сказать, из-под носа уплыла... Когда Тузовский банк рушился, меня из Питера, Москвы, Саратова телеграммами засыпали: «Приезжайте, мол, в Питер, переговорите с министром, добейтесь ссуды, на вас вся надежда, спасайте себя и нас...» А я — как нарочно, тут — в руке: везет мне... Как удар бросить?.. Телеграфирую: «Завтра непременно... завтра выезжаю... держитесь до завтра...» Завтракал, завтракал, да и дозавтракался: сто тысяч франков снял, забастовал, телеграфирую: «Еду», а мне отвечают: «Поздно, банк опечатан, и теперь хозяин в нем судебный следователь по особо важным делам...» Хо-хо-хо! А я в Тузовском банке был заинтересован больше, чем на полтора миллиона... по ликвидации-то еле двадцать процентов получить пришлось... Отец у меня умер, — я здесь сидел... Жена с любовником сбежала и на сотни тысяч вещей из дома средь бела дня увезла, — я здесь обретался... Как повелся человек с здешним пеклом, так уж это кончено: станет оно между тобою и остальным миром, и ничто тебе не мило

* Бой цветов (*фр.*); карнавальное развлечение, во время которого бросают друг в друга букетами цветов.

и не интересно по-настоящему, кроме него. Разве я один такой? Ты посмотри, как американские миллиардеры играют, наследные принцы, герцоги владетельные, всякие там князья из Готского альманаха... Что у них своих денег, что ли, нет? или дел важных не имеют? Вандербильт или Асквит какой-нибудь? У них на родине такие аферищи, что каждая секунда приносит доход хорошего рабочего дня, а между тем они торчат здесь почти безвыездно, из фраков не вылезают, от столов игорных не отходят, всякая шушера их толкает, через голову их деньги бросает или тянет, а они чуть не прыгают от радости, когда рулетка выбросит им тысячу франков... Я здесь одного нашего русского администратора — туза из тузов — видал; от одного титула помереть с испугу можно; в России он, на питерском своем кресле пальцем шевельнет, а в Камчатке либо в Ташкенте каком-нибудь чуть не землетрясение; хочет — милует, хочет — губит... все! А здесь — при мне было! — пробирался он к столу, согнутый, заискивающий, лишь бы протискаться; ругают его со всех сторон, а он будто и не слышит, только лезет. А, черт его знает, может быть, и в самом деле не слышит! У самого стола он — должно быть, проигравшемуся какому-нибудь на ногу, что ли, наступил, и тот, со злости, кулаком его в шею ткнул... так веришь ли, Люлюшка? плюнь ты мне в глаза, если я лгу! — он даже не обернулся. В России из этого покушение состряпали бы, за одно намерение в Сибирь человека загнали бы, а тут даже не обернулся!.. Выиграет — ходит индейским петухом и на всех смотрит, словно с высоты горы высокой; а когда в проигрыше, гнусно на него смотреть: из великана маленький станет и перед каждым счастливым игроком лебезит, ухмыляется подло, завистливо... лакей лакеем, право! Бывало, так и хочется ему двадцать франков швырнуть: лови, мол! поминай Бастахова!.. А чего ему? Он и проиграться-то не мог. У кого капитал, у кого доход, а у него и доходы-то на капитал походили. Каждый год на судостроительстве миллион воровал. Не к деньгам, значит, зависть, не

к деньгам жадность, а — к счастью. Это, любезнейшая моя, в высокой степени особенная штука! обаяние магическое! прелюбопытнейшее колдовство!

Француз-художник приехал с молодою женою — путешествие медового месяца... понимаешь? Он играет, а ей скучно... Ухажеры пошли... Испанец какой-то... Французу друзья шепчут: «Это известный Дон-Жуан, смотрите в оба...» Проследил: в самом деле, завелись шуры-муры... Ну, ревность, страдание, самолюбие оскорбленное — все черти в стуле... А в казино между тем нет сил не ходить: играет и проигрывает... И вдруг — счастье повернуло: взял на rouge et noir двадцать тысяч франков... Бежит домой и застает супругу свою с испанцем только что не au flagrant delit... * Ну, казалось бы, скандал, дуэль... Так нет: не тут-то было... Стукнуло ему в голову, что это потому он и выигрывать начал: что — либо игра, либо женщина, и, значит, испанец ему счастье принес... Ну и — неделю спустя, уехала молодая с испанцем своим куда глаза глядели, а супруг еще с год здесь околачивался и счастье пытал, покуда вот в таком же положении не очутился, как я, твой покорнейший слуга... Ну, характера у него оказалось побольше моего: могу тебе завтра показать крюк, на котором он повесился.

А, благо я француза вспомнил, самоубийцы здешние? В романах и страшных книжках пишут, обыкновенно, только про таких, которые — вот вроде тебя, Люлюшка, — скудные деньжонки свои до последнего грошика спустили либо казну при этом обидели и пополнить надежды нет, либо чужими капиталами позаимствовались... Разумеется, таких большинство, но видал я совсем другого сорта упокойничков. И состояния еще впятеро осталось против того, что проиграл, и позора никакого за спиною нет, а человек стреляется себе в лучшем виде либо со

* На месте преступления (*фр.*).

скалы прыгает, разбивает себя вдребезги, как пустую бутылку... Потому что — тут, опять-таки, не в деньгах одних дело, Люлюшка, а так: вдруг почувствует мужчина, что вот стоял он на дуэли против судьбы своей, и судьба оказалась сильнее, а ты — пред нею вышел как пигмей. Иной еще загадает на что-нибудь. Выиграю, мол, — знак будет: стоит жить. Не выиграю, жизнь — плевок, нечего ее и тянуть-маячить. Я сам когда-то насчет пули в лоб подумывал здесь очень серьезно — чуть ли даже не на этой именно скамье, где мы с тобою теперь беседуем, — и далеко не разорен еще был тогда... До администрации, до банкротства... А когда разорился, то, напротив, тогда что-то не в охоту оказалось череп свой дырявить, — струсил, жаль стало: один ведь он у меня — природный, я не наживной, свой собственный, а не благоприобретенный. И тебе не советую! Что! Пуля грубая, скалы жесткие, вода мокрая.

— Да я и не собиралась...

Оглядел он меня.

— Это, что на тебе, только и есть у тебя туалета?

— Да.

— Трудно тебе будет... Здесь туалет — первое дело, гораздо дороже самой женщины стоит... По платью встречают, а по красоте провожают... Рожа в туалете стоит гораздо дороже красавицы, одетой без шика... Как же это ты так оплошала, Люлюшка? Кажется, хорошей школы девка, должна бы знать.

— Распродала я туалет свой.

— Эх, ты! Жаль, поздно встретились... Отсоветовал бы я тебе. Кто же так поступает? Здесь, моя милая, все наоборот: лучше сперва самое себя распродай до гнилости, а потом уже, когда на этом торге совсем обанкротишься, когда ни Пакэн, ни Дусэ, ни краски никак не помогают, тогда принимайся за туалет... Туалетные здесь себя в сотнях франков числят, а без туалета, как ты, и за двадцать франков скажи «мерси».

— Повторяю вам, бросила я это...

— Что ж — бросила? При деньгах-то всякая бросит. Сама видишь: приходится нагнуться да поднять... Ну, подымайся, пойдем!

Гляжу на него во все глаза.

— Куда пойдем? Зачем? К вам?

Затряс бородищею.

— На кой ты мне бес? Я, ангел мой, тоже бросил вас, женщин, и поднимать не хочу. Да и — правду тебе сказать, если бы и не бросил, то — принять тебя мне некуда: в мансарде живу, в Монако, плачу скверно, хозяева суровые католики, угрюмые буржуа, не охотники до нашего брата, вагабонда, терпят, но не дорожат, — побаиваться их приходится. Если я себе этакую дерзость позволю — с женщиною вернусь, выйдет скандал великий, выгонят меня завтра же из конуры моей... А, с другой стороны, нельзя же тебе совсем бесприютною оставаться... Пойдем, пока еще полиция внимания не обратила, что ты этак странно сидишь здесь... поверь: не совсем обыкновенная фигура, недаром я тебя за привидение принял... От тебя, хоть ты и не собираешься, но самоубийством пахнет-таки. Уважь, не пугай жандармов, уйдем.

— Вы скажите, куда меня вести хотите, я так — в неуверенности — не могу.

— Эх, ну словно тебе не все равно? Под крышей будешь. Не бойся, в обидное место не поведу. Знакомая тут у меня есть, пансион для девиц приезжающих содержит, устроит тебя...

Вижу, что глаза у него бегают, и спрашиваю прямо:

— Сводня, что ли?

Рассвирепел, вспыхнул...

— Дура! За кого ты меня принимаешь? Я ей — благодеяние, а она...

Но тут же и смяк, и стих. Бурчит:

— Ну и сводня. Что ж, что сводня? К принцессе Бельджойозо тебя вести, что ли? Так не примет! не беспокойся, мой друг. Конечно, тварь: была девка, разбогатела, теперь промышляет вашею сестрою, прогоревшею... Да! Когда-то с меня тысячные куши рвала! Десяти лет нету, как она для меня публично на столе danse du ventre * танцевала... А вот теперь... Пойдем, пожалуйста! Чего тебе? будешь ты сыта, одета, обута, денег на игру получишь малую толику, комнату прекрасную Мари-Анет даст тебе — все в кредит... Ну, конечно, работать заставит... Пойдем! И я, старик, не останусь без выгоды, куртаж с нее, шельмы, сорву за то, что привел тебя... Пойдем! помоги старичку... будь добрая девушка... Я тебя когда-то в вине купал... Сделай такое одолжение! Меньше двадцати франков не помирюсь, вот тебе мое слово... А то к мадам Фридолине уведу... Да! Двадцать франков — и никаких разговоров!.. Что ж? Девушка красавица, свежая... школы какой... Двадцать франков и шабаш!

— Вы, господа, можете верить мне или не верить, — это ваше дело, но даю вам слово мое, клянусь вам всем, что мне свято: если я тогда встала и пошла за ним, то исключительно потому, что охватила меня страшная жалость к нему, этому горемычному человеку, когда-то удившему меня в белом вине на приманку сторублевых бумажек, — такие у него ноты в голосе звучали, когда он о двадцати франках говорил, что во мне вся кровь закипела и к лицу прилила, и слезы на глаза выступили.

«Будь, что будет!» — думаю. Пойду, посмотрю. Закабалить себя я не позволю, — не такая я теперь уже наивная дурочка, как была, да и трудно это с иностранкою, до консулато недалеко... А зарок, действительно, приходится нарушить: надо же как-нибудь выйти из положения невозможного и пере-

* Танец живота (*фр.*)

биться до получения денег из России. Не пропадать же на улице, как собаке, покуда жандармы, бесчувственную, подберут, да вон, уже и сейчас мне есть хочется, а к утру я от голода совсем волком взвою... Главное же, — пусть этот несчастный не думает, что я какая-нибудь неблагодарная. Конечно, из того, что он на нас тогда, будучи в богатстве, денег перешвырял, я ни грошиком не попользовалась: все поделили Адель и старуха Рюлина, — но все-таки был же он великодушен и щедр, а вот теперь дрожит голосом при одном помышлении о двадцати франках... Доставлю же ему двадцать франков эти! Куда ни шло, где наше не пропадало и была не была! Это все равно, что нищему милостыню подать.

Повел Бастахов меня переулками. Ведет и все ворчит себе под нос о двадцати франках. Давно, должно быть, у него их в кармане не было.

Переулки очаровательные, розами заплетенные, из-за оград пальмы подымаются, плющи по ним вьются... Чудо! Вижу все это в первый раз и изумляюсь:

— Как красиво!

— Что?

— Природа, говорю, какая здесь очаровательная...

— А, да, природа... В насмешку дана.

— Почему же в насмешку, господин Бастахов?

— Потому что лучше, чем здесь, ее нигде нет, но здесь она никому решительно не нужна, и никто ее не замечает. Ты — до сих пор — природу замечала? Море? Горы? Небо? Корниш? Кап Мартен? Тюрби?

Я должна была сознаться, что нет.

— То-то вот и есть... Природу здесь видят только те, от кого игорный дьявол отступился; то есть, — кто так просвистался, что даже черту ни к черту негоден стал. Природа для нищих. Для тех, кому закрыт вход в казино... Природа, любовь — все это, милая моя, не от здешнего мира. Вот ты — красивая, молодая и, что называется, заманчи-

вая женщина. На водах, где-нибудь, в Aix les Bains *, в Виши, за тобою тянулся бы длинный хвост ухаживателей, вздыхателей, поклонников. Скажи, пожалуйста, правду: был ли у тебя с тех пор, как ты сюда приехала, хоть один этакий — приличный, как говорится, — роман? Ухаживали за тобою? Старались познакомиться? Получала ты букеты? письма?

— Нет, конечно. Полагаю, что если бы было что-нибудь подобное, то я не сидела бы на бульваре в пятом часу утра и без единого су в кармане.

— Ага! То-то! Во всяком другом южном городе, тем более на границе Франции и Италии, где приличную красоту ух как ценят, ты была бы окружена молодежью... Здесь тебя не замечают так же, как не замечают природу. И по той же причине. Не надо тутошней толпе ни природы, ни женской красоты, ни искусства. У них тут лучший по силам театр в Европе. Шаляпин поет, Фелия Литвин, Рено — самые первые знаменитости. Но, знаешь, это выходит совершенно так, как, бывало, у меня на обедах: мы, именитые, едим, а на хорах нанятые музыканты играют, — это нужно для обстановки, но никто их не замечает. Подают тюрбо выписное, — черт ли слушает, что в это время, пока вилки серебряные по фарфору стучат, музыка рассказ Лоэнгрина играет. Так и здесь. Настоящее — одна игра. Другое все — обстановка. В одной зале — trente et quarante, а в другой — «Мефистофель» или «Валькирия». Здесь — rouge et noir, а выйди на террасу — вид, какого другого нет на земном шаре. Тут — рулетка, а вон там, в ресторане, букет кокоток, съехавшихся со всех столиц и подбирающих крохи, которые упадут им с игорных столов, потому что крохи — тысячные. Все устроено к удобствам и комфорту играющего человека до такой степени полно, что он уже даже не замечает своего блаженного комфорта, как воздуха, которым дышит, ни о чем-то ему не приходится поду-

* Экс ле Бен — название бальнеологического курорта (*фр.*).

мать кроме игры. Казино на себя как бы поручительство берет: «Только играй, милый друг, играй себе, не развлекайся, а уж за все прочие твои потребности, физиологические и эстетические, я отвечаю — без всяких с твоей стороны усилий, будут они удовлетворены за первый сорт...» Удивительно, как еще тут церквей для всех исповеданий не настроили!.. У католиков и англичан есть, а русским приходится в Ниццу ездить. Следовало бы выстроить. Одними просительными молебнами в год окупилась бы постройка... Нет! ты подумай: пятьдесят лет тому назад здесь была голая скала, — вся земля, из которой поднялись теперь эти вековые пальмы, бананы, бамбуки, приехала сюда из Франции и Италии на спинах мулов... Единственное место в Европе, где нет ничего своего, — даже земли! — ничего, кроме скалы-подпочвы!.. Море обращено в гигантский аквариум, природа — в зимний сад, великие артисты, певцы, художники — в нечто вроде граммофона и кинематографа, играющих автоматически по востребованию, женщины — в разряженных гаремных кукол, которые ждут своей очереди, как базарный товар, без всяких иллюзий... Выбежит выигравший счастливчик на веранду, свяжется с тою, которая наряднее в глаза бросилась, рассыпется билетами или золотом, избудет минутку возбуждения, и назад, в казино!.. Все здесь между двумя ставками! Faites votre jeu... Rien ne va plus!.. * О проклятые черти! И когда только провалится она в тартарары свои обратно, эта из ада вынырнувшая скала!

В таких-то веселых разговорах добрались мы до весьма красивой виллы с маленькою вывескою справа входной двери «Pension de Famille» **, слева — «Sage Femme» ***. Вид

---

* Делайте свои ставки.. Никто больше не ходит!.. (*фр.*)

** «Семейный пансион» (*фр.*).

*** «Повивальная бабка» (*фр.*).

был такой приличный, что я даже усомнилась было: туда ли меня завел проводник мой полоумный?.. Но он принялся бесцеремоннейше дубасить в дверь обоими кулаками и орать таким зычным басом, что я даже испугалась:

— Тише вы! Соседей разбудите! Привлечете к нам всеобщее внимание... Что хорошего?

Но он:

— Наплевать! Эта штука тут нарочно повешена, чтобы, в случае ночного шума, была отговорка и никто не смел бы заявлять претензии и жаловаться...

И показывает на дощечку «Sage Femme». Ухмыляется:

— Остроумно, не правда ли? Не слышится ли тебе, Люлюшка, нечто инфернальное в самой идее — объявить себя повивальной бабкою в Монте-Карло? Повивальная бабка в Монте-Карло — это что-то вроде адмирала швейцарского флота либо лейб-гвардии пономаря! Как будто здесь рожают!.. Ведь это же просто неприличие для метрического свидетельства: «Родился в Монте-Карло». А ведь, бывало, оно, — случалось даже в самом казино, но это уж просто потому, что маменька заигралась и не приняла своевременно к сведению, что для нее le jeu est fait! * Либо из игроков кто-нибудь, не считаясь с месяцами почтенной соседки, двинул ее локтем под ребро... К слову спросить: тебя не толкали?

— Еще и как!

— Вот тебе и красавица!.. Говорю тебе: здесь, как на пожаре... Эй, да что же вы там? все перемерли, что ли?.. Фелиси! Антуан! Ашиль!..

Открылось окно. Выставилась женская голова.

— Ого! Сама Мари-Анет! — пробормотал мне Бастахов, стихая, — bonjour, madame! ** я к вам...

---

* Ставка сделана! (*фр.*)

** Здравствуйте, мадам! (*фр.*)

— Это вы шумите, мосье Поль? — сурово заговорила женщина. — Кажется, я в последний раз категорически заявила вам, чтобы вы оставили меня в покое? Что же мне — полицию, что ли, прикажете приглашать против вас?

— Извините, мадам, но вы напрасно напоминаете давешнее, — сказал Бастахов, видимо смущенный и униженный. — Я сегодня к вам совсем по другому делу...

— Дела имеют для себя день, а не раннюю зарю.

— Но — я привел к вам новую постоялицу, madame! Понимаете? Новую постоялицу! — воскликнул Бастахов с горячностью и даже стукнул кулаком в грудь. Разве ваш пансион полон? Разве все комнаты заняты? — Разве вам не нужны пансионерки?

— Все это прекрасно, — мягче отвечала Мари-Анет, — но все-таки лучше бы вы приходили днем...

— Днем? Но — если мадемуазель прибыла в Монте-Карло ночью? — хитро подмигнул он мне, — должна же она где-нибудь приклонить голову... Или вы хотите, чтобы она скиталась, как бродячая собака?

— Ко мне так придираются в последнее время... — вполголоса проворчала Мари-Анет.

Бастахов с притворным равнодушием надел котелок свой.

— Ну, нечего делать, если вам неугодно, поведу ее к Фридолине.

Это решило дело.

— Раз вы меня разбудили, — совсем уже любезно сказала Мари-Анет, — понятно, я велю вам открыть мои двери... Но, право, вы такой беспокойный, мосье Поль. Никогда не знаешь, с чем вы — с хорошим делом или со скандалом...

— Ну-ну, не ворчите! Поль — друг ваш верный. Не первый год друг друга знаем. Будете Поля благодарить...

Задвижка щелкнула, дверь на шнурке подалась, и мы вошли.

Престранное это было заведение, куда привел меня Бастахов. Первый вопрос, который я услыхала от Мари-Анет, был:

— Позвольте, мадемуазель, но — разве вы одна? Где же ваш мужчина?

Я смотрю на нее во все глаза: что за чепуха? Ведь видела же она, что я пришла с Бастаховым? Говорю:

— Доставил меня к вам вот он.

— Да... доставил... Я не о том вас спрашиваю, а где ваш мужчина, который с вами здесь останется?

«Да — что она, — думаю, — с ума сошла или нарочно дуру валяет?»

Очень обозлилась: понимаете, — ведь утро, уже двадцать четыре часа как не спала, устала, как собака, а тут — фокусы.

Отвечаю:

— Полагаю, мадам, что таких мужчин находить для меня уже не мое, а ваше дело. Если бы я хотела ловить мужчин на улице, то мне незачем было бы стучаться в вашу лавочку.

Она вся вспыхнула и закипела, но Бастахов вмешался.

— Позвольте, Мари-Анет! Молчи, Люлюшка! Вы, так сказать, люди с двух разных планет и друг друга не понимаете. Дело в том, Люлюшка, что заведение Мари-Анет находится на положении chambres garnies *. Конечно, в меблированных комнатах девица, как ты, может поселиться и одна, но, обыкновенно, хозяйки предпочитают, чтобы при ней был мужчина, который бы ее защищал...

— Не только предпочитают, — вставила Мари-Анет, — но я вам, мосье Поль, прямо заявляю: для того, чтобы поселиться у меня, мадемуазель непременно должна иметь мужчину. Довольно мне было неприятностей от одиночек...

— Ну, черт возьми, Мари-Анет! — в конце концов, это же простая формальность, пустая отметка в livre de police... ** запишите при ней хоть меня, если вам нравится!

---

* Меблированные комнаты (*фр.*).

** Полицейская книга... (*фр.*)

Мари-Анет присела перед ним почтительнейше, показала ему шиш и говорит с усмешкою:

— Вы слишком любезны, прекрасный рыцарь...

— Почему же нет? — обиделся Бастахов и даже меднокрасный с лица сделался, как индеец.

— Потому, мой друг, что вас здесь все знают, как белого волка, и за вами полиция ходит по пятам.

— Кажется, я ничего дурного не делаю.

— У нас, здесь, как вам известно, полиция французская, а во Франции принято следить не за теми, кто делает что-нибудь дурное, а за теми, кто способен сделать.

— А я способен? Покорнейше благодарю!

— Конечно, способны.

— Почему?

— Потому что вы нищий и пьете.

Нехорошо захохотал в ответ ее словам Бастахов и ко мне обратился:

— Вот, Люлюшка, учись. Ты находишься в той прелестной стране, где бедность — преступление, где власть существует только для того, чтобы нищие не хватали за горло богатых...

Но Мари-Анет тотчас же его оборвала.

— Ну, вы с этими речами можете в Ниццу отправляться, там в порту и в кварталах под Cimiez вас будут охотно слушать, а тут вам, слава Богу, не анархический митинг, но приличный дом...

И — ко мне:

— Видите ли, мадемуазель: у нас, если девушка поселяется в «гарни» одна, то полиция уже a priori рассматривает ее как проститутку, — начинаются преследования, дознания, сыщики, соседское шпионство, хозяйка не будет иметь ни минуты покоя... Тогда как — если при ней записался в домовую книгу мужчина, который за нее отвечает и ее защищает, дело кончено: полиция больше вами не инте-

ресуется, а переносит все свое внимание на него, и — чем бы вы ни промышляли, — смотрит сквозь пальцы, разве уж забудете всякий такт и поведете себя слишком вызывающе... Вот — посмотрите...

Раскрыла домовую книгу:

— 12 апреля м-ль Элеонора Друо и мосье Артур Дьелегард из Парижа.

— 17 апреля: м-ль Эвфемия Траспаренте из Турина и мосье Леоне Ботильясекка из Генуи.

— 23 апреля: м-ль Юлия Феркельфус из Инсбрука и мосье Алексис Пижоно из Дижона.

— И так далее. При каждой из моих жилиц записан ее мужчина. В случае какого-либо столкновения с полицией первая ответственность — на этом мужчине, а я не при чем... Слава Богу, пятый год держу свой пансион и никогда не имела никаких историй!..

— Послушайте, Мари-Анет, — остановил ее Бастахов, — что вы мне очки втираете? Ведь это же у вас все фиктивно. Ну что Артур при Элеоноре находится, это — правда, потому что он ее любовник и сутенер и глаз с нее не спускает, каждую копейку ее сторожит и грабит... Но Леоне уехал в Геную обратно в тот же самый день, как привез вам итальянку свою, а Пижоно ваш — обыкновеннейший странствующий сводник, который, может быть, сейчас находится уже где-нибудь в Нью-Йорке или Аргентине... Так что ихним записям цена — грош и, чтобы форму, вам желательную, выполнить, мое имя ничем их, почтенных сопромышленников ваших, не хуже.

— Ну уж это позвольте мне знать, — сказала Мари-Анет.

— Да — чем же, наконец?! — взбесился Бастахов.

— Тем, что, раз вы записаны в мою домовую книгу, я не смею отказать вам, коль скоро вы придете и вздумаете в самом деле у меня поселиться. Напьетесь пьяны, вздумаете бушевать, — что мне с вами тогда делать? То есть вышвырнуть-то вас я, конечно, сумею вышвырнуть, но это опять-таки

скандал, шум, полиция, соседи... вы знаете, в нашей профессии все на руку, кроме скандала.

— Подумаешь, полиция и соседи — агнцы невинные: так и не знают, что вы держите публичный дом!

— Во-первых, потрудитесь лучше выбирать ваши выражения: я не держу публичного дома, но — пансион для приезжающих и приют для родильниц. А, во-вторых, что обо мне знает полиция, это мне решительно безразлично. Важно, что она хочет знать обо мне и как ко мне относится.

— А вы не скупитесь на взятки, не жалейте денег, — вот и все будет хорошо.

— Если вы думаете, что я мало плачу, то горько ошибаетесь. Это — настоящие пиявки. Намедни я смотрела из окна, как дочери нашего комиссара шли в церковь к коммуникации. Из каждой складочки их беленьких платьиц мне, как голубые ангельчики, мои bleux * улыбались...

Мари-Анет засмеялась.

— Нет, нет, любезный мосье Поль. Вы для меня слишком шумный и заметный субъект. Наше положение здесь, к сожалению, похоже на то, как — если бы акробату позволили ходить по гнилому канату, но — без сетки и всякой гарантии, что его поддержат, не дадут ему расшибиться об землю в случае, если канат оборвется. Завтра выйдет у меня скандал, — и я пропала. Тот же самый комиссар, который за мой счет рядит, как куколок, своих причастниц-дочерей, погубит меня не только совершенно спокойно, но еще и с красивыми фразами и громкими словами, en bon bourgeois, en bon père de famille, en vrai citoyen et patriote **, и ему рукоплескать будут, а про меня соседи хором скажут: «Туда ей и дорога, мерзавке»! Вы бы посмотрели, с каким видом в мэрии принимают от меня благотворительные

* Денежки (*фр.*).

** Хороший буржуа, хороший отец семейства, истинный гражданин и патриот (*фр.*).

пожертвования разные, которые, однако же, сами приказывают делать. Есть у них нарочно такой прохвост — для сношения со мною и Фридолиною. Жуира из себя разыгрывает, а на самом деле сквалыга и взяточник. И на приюты дай, и на школы дай, и на мостовые дай, и на корсо, и на гонки — на все! Давай широкою рукою, а принимают — фыркают. Подумаешь, я им не деньги даю, но жаб и змей подсовываю. И — в отчетах всегда показано меньше, чем я пожертвовала. Так и говорят без всякой церемонии, когда засылают гонца своего с требованиями, что — пожалуйте, мол, пора денежки нести, давно не раскошеливались... «Вы, мол, пожертвуйте 500 франков, а в отчете будет показано 50». — «Это за что же?» — «А за то, что принцесса Бельджойозо пожертвовала всего только сто, не можете же вы стоять в списке жертвователей выше принцессы Бельджойозо?..» «Я совсем не добиваюсь чести стоять рядом с ее светлостью и готова ничего не жертвовать... «Мне швыряют в нос бумагу и приказывают: «Пишите, что вам говорят, и не рассуждайте! Если вы не будете давать на общественные нужды, то — кто же будет? Помните, что вы пользуетесь общественною терпимостью и висите на волоске... Умейте быть благодарною обществу, которое вас терпит!..»

В конце концов, дело мое, конечно, сладилось, мы с Мари-Анет друг дружке понравились, Бастахов получил свои комиссионные двадцать франков, а я вошла в число пансионерок, с обязательством уплачивать Мари-Анет за содержание свое тридцать франков ежедневно, десять франков платить господину, которого она ко мне припишет или к которому меня припишет, то есть, в конце концов, тоже ей, и, сверх того, за посредничество, отдавать ей треть заработка, который она будет мне доставлять. Кроме того, она обязалась уплатить мой счет в отеле, под расписку на один месяц, составленную с надбавкою 12%, и оказать мне кредит, чтобы я могла восстановить свой туалет. Когда я сосчитала все, к чему обязана, то увидала очень хорошо, что, если я не выработаю в день, по крайней мере,

150 франков, то в мою-то собственно пользу не останется ни единого су. Но выбирать мне было не из чего. Я была еще молода, сильна, здорова, хороша собою, — рассчитывала быстро выплатиться и при помощи тех 520 франков, что ежемесячно мне посылаются из Петербурга, устроиться где-нибудь на Ривьере на дешевую жизнь.

Все это шло — как по-писаному, тем более что Бастахов в одном отношении, к счастью моему, ошибся; Мари-Анет не только не дала мне денег на игру, но оказалось, что, по конституции княжества Монако, мы, как постоянные обывательницы, даже и не имеем права играть. Положим, запрещение это желающими превосходнейше обходится, но — конечно, не нами, жиличками пансиона Мари-Анет. Нам нигде не чинили никаких препятствий, ни неприятностей, ничем не показывали, что профессия наша известна, но — с первого же дня, как я вошла в пансион, я почувствовала, что между мною и остальным миром опустилась завеса, которой до сих пор я — вне дома — даже у Буластихи не чувствовала. Там, бывало, — у себя дома, в четырех стенах, — рабыня, в люди вырвалась — барышня, как все. Здесь — как раз наоборот. Надо отдать справедливость Мари-Анет: она была вправе обижаться, когда ее пансион ругали публичным домом. Хотя все ее жилички были проститутки и работали, как вы видите из моего условия, всецело на нее, но тон был взят такой, будто мы, в самом деле, жилицы, а она очень любезная — до известных пределов кредита — и потрафляющая нам хозяйка. Кормила недурно, сцен никаких, в расчетах была очень порядочна, прислугу держала вышколенную, учтивую. Зато вне пансиона все время, бывало, сознаешь себя под зорким, неумолимым надзором, который, при первой же промашке с твоей стороны, вцепится в тебя безжалостною рукою и тебя оскорбит, осрамит, раздавит. Все время сознаешь за собою презрительную силу, которая двигает тебя, как пешку: иди сюда, а не туда, садись здесь, а не там. Тут — порядочные,

а вон там — ты. В театральной кассе спрашиваешь билет в партер. Кассир выглядывает в окошечко и, молча, отрезывает талон где-нибудь в тринадцатом ряду.

— Я не хочу так далеко.

— Ближе нет.

— Не может быть... Позвольте план.

— Бесполезно: ближе нет.

— Все-таки позвольте... А это — что? это — что?

Указываешь незанятые места в третьем, четвертом ряду.

— Позабыл отметить... Проданы. Ближе тех, которые я вам предлагаю, нет...

И, получив такой «билет терпимости», имеете удовольствие слышать, как следующий за вами буржуа спокойнейше получает те самые места, в которых вам только что отказано: «Ближе нет».

В ресторане слуга, мельком окинув вас взглядом при входе, сразу показывает вам стол — в сторону налево, где гнездятся подобные вам же козлища, и, Боже сохрани, если вы, по ошибке, попадете в места, уготованные для агнцев и овечек праведных: вам просто служить не станут, — выживут вас невниманием. На площадке бельведера — конечно, все равны, никто прогнать тебя не может, но сейчас же вырастает подле тебя откровеннейше глазеющий шпион и следит, не отрываясь, как вежливый коршун: не сделаешь ли ты какого-нибудь ложного шага? не привяжешься ли к какому-либо мужчине? не бросишь ли какой шутки или скоромного словца, не сделаешь ли авось жеста непристойного? А тут же рядом открытые кокотки, soumises, ведут себя нахальнейшим образом, как ни в чем не бывало, — а дамы наезжие, иностранки, очень усердно им в манерах и туалетах подражают, визжат, как они, хохочут, словечками швыряются, с мужчинами вольничают... ничего! Даме — можно, проститутке — можно, а ты — ни дама, ни проститутка, значит, чувствуй себя неизбывно в когтистой лапе какой-то, которая тебя хочет — сожмет — раздавит,

хочет — потерпит и помилует... Вот я вам рассказывала, как, впервые проигравшись, прямо подошла к московскому актеру и получила от него сто франков. Теперь, если бы я имела подобную встречу, то никогда не решилась бы вести себя так смело, потому что — уверена: едва отойдя от актера, была бы арестована и препровождена в участок... В какое бы пристойное место ни пришла ты, уже смотрят откуда-нибудь на тебя подозрительные глаза и без слов говорят: «Догадайся же, душенька, что здесь тебе не место и уйди честью, покуда не попросили тебя вон...» Юлию Феркельфусс в Ницце так-таки и вывели из евангелической церкви. Да-с! Из церкви! Подошел сторож и говорит: «Уходите, дамы волнуются, вы получите неприятность...» Ушла! А указала на нее англичанка — богатая леди из этаких, знаете, кочующих по свету прожигательниц жизни, какие, по-настоящему, только в Англии, кажется, и плодятся. А признала Юлию как грешницу недостойную добродетельная англичанка потому, что раньше Юлия работала в Каире, и было там, среди дам международной знати и аристократии коммерческой, тайное дамское общество, то, что у нас в России называется Еввин клуб, где эти скучающие добродетельные госпожи развратничали втихомолку, которая как горазда... Юлия в клуб этот бывала часто приглашаема и немало денег в нем заработала... И англичанка, которая ее из церкви вывела, была в клубе одна из самых, что ни есть, habituées * и безобразничала так бесстыдно, что даже подруги ее унимали и стыдили... удержа не было — глаза прятала в мешок!.. Но тем не менее стоять перед одним Богом с продажною женщиною, как видите не согласилась... где же английской спеси выдержать подобное равенство?

Однажды под вечер возвращаюсь я домой, вдруг окликает меня приличный господин. Узнаю: конторщик великолепного отеля, в котором я раньше стояла.

---

* Завсегдатаев (*фр.*).

— Мадемуазель Лусьева?

— Что вам угодно?

— О! Я только с удовольствием вижу, что вы еще находитесь в наших местах.

Помолчал, — потом начинает:

— А ваш счет у нас погасила m-me Мари-Анет?..

— Да... так что же?

— Да — жаль, что вы нас не предупредили о ваших намерениях. Могли бы гораздо лучше устроиться. Обесценили себя. И вам было бы выгоднее, и нам бы доход.

— Где же это вы меня устроили бы?

— Да у нас же, в отеле.

— Как у вас в отеле? Разве вы...

— Боже мой! Мадемуазель! Да — откуда вы? с луны, что ли, свалились? Какой же большой отель в Париже не промышляет этим делом? А мы здесь, конечно, уголок, в некотором роде, дача Парижа... Кто же не знает, что за штука такая les aventures de l' hôtel? * Это же целая система! Ею отлично пользуются в свое удовольствие и господа, которые любят пожить в свое удовольствие, и дамы, которые не прочь приработать несколько денег к своему доходу, не рискуя в то же время опасностью вылететь за решетку общества, в разряд déclassées... ** Вы не можете себе представить, как наш управляющий жалел, когда выяснилось, что вы попали к Мари-Анет. Простите меня, но вы поступили безумно. Это все равно, что наш здешний стофранковый золотой отдать за серебряный кругляк в пять франков. Вы просто зарезали себя, погубили себя для Монте-Карло. И еще если бы мы не делали вам намеков...

— Позвольте! Какие же намеки? Я не помню. Мне никто ни одного слова не говорил...

---

* Гостиничные приключения (*фр.*).

** Опустившихся людей, деклассированных (*фр.*).

— Еще бы вам слова! За слова-то есть такая статья 334-я... А разве вам не подавали ежедневных счетов? Разве не торопили вас уплатою? Вы подумайте: велик ли, по нашему огромному делу, был ваш маленький долг, чтобы мы с ним к вам приставали так тревожно? Мы вас на объяснение вызывали, а вы не поняли. И горничную к вам подсылали, чтобы она вас навела на мысль, что в отеле всегда можно сделать выгодное знакомство, а вы вместо того вздумали распродавать платья... Разве она вас не спрашивала, что — нет ли у вас в Монако друзей, которые за вас могли бы поручиться?

— Спрашивала.

— А вы что же ответили?

— Что нет и искать таковых не желаю.

— То-то вот и есть! Ну — что ж? в конце концов, была бы честь предложена, от убытков Бог избавил: мы решили, что ошиблись на ваш счет, что вы, в самом деле, маленькая добродетельная буржзуазка, которая ждет откуда-то своего там жениха, что ли, или мужа, — ведь вы же так и уверяли, помните? — и, хотя проигралась, но имеет пред собою еще какие-то исходы... Жаль! Очень жаль! В отеле вам одни сутки могли бы принести то, что у Мари-Анет вы едва ли заработаете в неделю...

— Если так, — говорю я, — то — очень просто: заплатите Мари-Анет за меня мой очень небольшой долг, и я возвращусь в отель.

— То-то и есть, — возразил он, — что уже поздно. Вы уже не приезжающая, слишком примелькались в глазах. Вас уже начинают понимать. И полиции вы известны, и dossier * ваше составлено. Я знаю. Взять вас обратно в отель теперь — значит, нажить надзор, хлопоты, да еще и узнает вас кто-нибудь из бывающих у Мари-Анет, запротестует, скандал устроит...

* Досье (*фр.*).

все это нам не подходит, наш отель респектабельный. А вам позвольте посоветовать: если вы от Мари-Анет скоро выйдете, а, вероятно, скоро, потому что подолгу держать у себя в пансионе одних и тех же женщин ей неудобно, еще недели две-три, и полиция начнет уже на вас коситься, а к ней придираться, и вам трудно будет остаться insoumise *, — так вот, если с Мари-Анет вы расстанетесь и поедете в другой город, то я очень рекомендую вам отелями не пренебрегать... Вы, мадемуазель, с вашим видом светской дамы, можно сказать, созданы для этого именно рынка, а вас — вон куда бросило. И как только было не понять? Решительно недоумеваю, как могло выйти такое недоразумение, что вы не догадались, а мы не настояли...

XI

Вас интересует, что рекомендовал мне этот господин словами «les aventures de l'hôtel»? Видите ли: когда вы входите в нижний, доступный с улицы зал, то, что у нас называется atrio, какого-нибудь большого отеля, в особенности парижского или устроенного по парижскому типу, вы почти всегда найдете там двух-трех элегантно одетых господ, которые читают газеты, пьют кофе либо просто шатаются на качалках и, по-видимому, кайфуют без всякой иной цели. Конечно, бывает и так, но по большей части оно неспроста. Это — современные Дон-Жуаны и ловеласы, искатели любовных приключений по отелям. Если вы сведете знакомство с таким господином, то, обыкновенно, оказывается, что это человек хорошей буржуазной или даже аристократической фамилии, богатый и праздный рантье, член шикарного клуба. Наведите о нем городские справки, вам все это подтвердят, с прибавками:

* Строптивая, непокорная (*фр.*).

— Известный развратник!

— Пресыщенный, изношенный человек, который вечно ищет новых ощущений.

— Себялюбивая скотина, которая для своего наслаждения не пожалеет ничего святого. За ним десятки грязных дел подозреваются, да — ловок и богат: до сих пор либо вывертывался, либо откупался.

Эти прекраснейшие господа постоянно торчат в вестибюлях и общих залах отелей, высматривая среди женщин-постоялиц новеньких приезжающих. Некоторые из них являются к наблюдательному посту своему аккуратно к тому времени, как омнибус гостиницы должен подвезти с вокзала новую публику, — и не пропускают ни одного курьерского поезда по расписанию всех путей. Встретит, осмотрит и, если нет ничего подходящего, чтобы разжечь его любопытство и страсть, уходит в свой клуб или в ближайшее кафе — до следующего поезда. Аккуратны во времени эти господа до того, что по ним можно часы ставить, — право. Маньяки! Другие поступают иначе. Они абонируются в отеле на обед и изучают публику в столовой за табльдотом, либо tables séparés *, или в салоне за кофе. Третьи, наконец, убедившись, что вот такой-то отель особенно удобен для их целей, устраивают себе в нем постоянную берлогу — нанимают номер помесячно, а то и на год, и, конечно, в нем не живут, а только обеспечивают себе в доме права жильца постоянного и почетного.

Хорошо. Теперь — представьте себе, что такой барин выбор свой сделал и жертву наметил. Так как он не кто-нибудь, не первый встречный, а человек из общества, с именем, даже, может быть, с титулом, то знакомство сделать ему очень легко. Характера эти светские люди не робкого, одеты, как картинки последней джентльменской моды, обращаться в обществе и «козировать» умеют в совершен-

* За отдельными столиками (*фр.*).

стве — остряки, шалуны. Значит, не мудрено им и перевести понемногу знакомство в некоторую фамильярность и, пользуясь ею, испытать почву: с какою женщиной имеют дело? не клюнет ли? Если кажется, что клюнет, то авантюрист, не теряя времени, пишет, в самых пылких и почтительных выражениях, письмо с объяснением в любви и поручает его метрдотелю. А уже дело этого последнего — вручить записку желаемой даме настолько ловко и с тактом, чтобы она не оскорбилась и не сделала скандала, чтобы автор письма не был скомпрометирован и чтобы передатчик во всяком случае мог изобразить блаженное неведение и остаться в стороне. Никаких так называемых «гнусных предложений» в письме не заключается, — просто, мол, чувствую к вам непреодолимую симпатию и желаю излить пред вами душу свою в кратком, но искреннем разговоре. Женщины на любовные письма редко сердятся, а во Франции и в Италии эта литература процветает в таком количестве и с такою энергией, что если принимать каждую любовную записку всерьез и поднимать из-за нее историю, то женщине красивой и имеющей успех — никакого сердца не хватит и ни на что больше времени не останется. Так что, становясь любовным почтальоном, метрдотель решительно ничем не рискует. Ну, самое большее, — скажет ему какая-нибудь неприступная добродетель:

— Передайте этому господину, что он дурак!

Или:

— Вы всегда занимаетесь таким грязным ремеслом или это ваш первый дебют?

Так что же! Это — в составе профессии: зачем пойдешь, то и найдешь.

Но и подобные легкие протесты — в редкость. Обыкновенно в путешествии женщина любопытна, возбуждена, ей хочется приключений, романа, и она скучает без них и, при случае, жадно на них бросается. К тому же она выбита из своей привычной домашней обстановки, очутилась вдали

от своего города и знакомства, в среде, где ее решительно никто не знает. Поэтому, за исключением этакой уже патентованной, заклятой и непоколебимой добродетели, — разыграть романчик, который пройдет в жизни, как бесследная тень, и о котором никто никогда не узнает, — в большинстве, милые путешественницы оказываются весьма согласны. Я уже не говорю о множестве тех, которые с тем и в путешествие отправляются, чтобы непременно наткнуться на какой-нибудь роман, способный пополнить их тоскливое семейное существование и в то же время остаться строго тайным и семейных условий не разрушить. Сюда относятся многие уважаемые и почтенные молодые вдовы, красивые девицы по паспорту, засидевшиеся по бесприданью без мужей до возраста фрейлин святой Екатерины, неудовлетворенные жены слабых мужей. Вся эта женская толпа — прямая добыча отдельных авантюристов. Да о ней-то могут порассказать свои приключения не только такие элегантные ухаживатели из света, но и капитаны пассажирских пароходов, обер-кондуктора курьерских поездов со спальными вагонами, проводники в горах, бэньеры в купальных местах и даже официанты в отелях... Не думайте, что только русские барыньки вешаются на татар в Ялте и на черкесов в Кисловодске. Те же самые сцены можете вы наблюдать в Биаррице, Трувиле, Сен-Себастиане, под Неаполем — в самой, что ни есть, международной обстановке. Англичанки отличаются еще почище наших. Соскучится дома-то в лицемерии своем и в туманах своих, — ну, выберет на континенте уголок поглуше, да и пошла козырять... В отельных авантюрах англичанки — на втором месте. На первом — провинциалки. На третьем — все иностранки вообще.

Некоторые метрдотели заходят гораздо дальше такого посредничества, как я вам рассказала. Они организуют целую осведомительную агентуру, так что искателю любовных приключений, если он не охотник тратить свое время на скуку

выжидания, незачем и сидеть в отеле понапрасну. Ежедневно он получает от знакомых ему метрдотелей подробные рапорты о всех молодых и интересных дамах и девицах, — а для любителей-спецалистов и о красивых мальчиках, — которые остановились в отеле с семействами своими. Конечно, за подобные рапорты платятся бешеные деньги. Если сведения по рапорту интересны, Дон-Жуан сейчас же является в отель и находит к услугам своим комнату, смежную с комнатою, отведенною той барышне или даме, которой он добивается. Вы знаете, что все номера в гостиницах соединены между собою, и, значит, чтобы проникнуть из номера в номер, это — только вопрос ключа. Конечно, ключ этот продается Дон-Жуану за сумму весьма почтенную и опять-таки при обстановке, которая снимает с метрдотеля и прислуги всякую ответственность в случае неудачи приключения. Разумеется, огромное большинство подобных проникновений происходит в результате быстрого, но добровольного романа, по обоюдному соглашению. Для того, чтобы забраться в комнату порядочной женщины ночью, без ее предварительного разрешения и согласия, нужна дерзость, на которую немногие мужчины способны. Однако вы представить себе не можете, как часты в этих же обстоятельствах случаи насилия, обмана, опаивания. Из моих подруг и товарок я могу насчитать не менее дюжины женщин, втянутых в проституцию теми или другими последствиями отельных приключений, и из них добрая половина была в том положительно лишь без вины виновата, да и остальные-то действовали без всякого разумения, больше по глупости и озорству. Одна — француженка из-под Тулузы — пятнадцатилетняя — возвратилась из Парижа, после того как провела там праздники рождественские, под строжайшим надзором папаши и мамаши, которые в ней души не чаяли и с нее глаз не спускали. Жили в шикарнейшем и вполне приличном отеле. Отец с матерью занимали большую спальню, а будущая приятельница моя маленькую боковую комнату.

Спала она страшно крепко, сном здоровой юности, да к тому же еще набегается за день-то, осматривая столицу, и, понятное дело, лежит к вечеру в постели как мертвая. Однажды поутру, на рассвете, просыпаясь, она видит — не то сон, не то действительность: будто кто-то был в комнате и, когда девушка зашевелилась, быстро отступил от нее и ушел в стену. Одевшись, девушка исследует место, где исчезло ее видение, — оказывается, как она и прежде знала, массивная, прочная дверь, под тяжелыми портьерами, из которой торчит весьма величественный ключ. Заперто — и крепко заперто. Она все-таки на всякий случай сообщила сон своей матери. Та сперва обеспокоилась было, но потом, тоже исследовав двери, да вдобавок узнав, что соседом за этими дверями живет господин с герцогским титулом, представитель одной из старейших и богатейших фамилий Франции, человек уже не молодой, занимающий крупный пост, известный в науке юрист-писатель, — успокоилась, что это, мол, тебе приснилось. Ночи две или три затем прошли спокойно, но — накануне самого отъезда вдруг в комнате дочери страшный шум: треск, стук, звон битого стекла... Что такое?.. Бежит мать, бежит отец... Дочь в испуге протирает глаза, смотрит с кровати... Покуда нащупали электричество, зажгли свет… На полу лежит опрокинутый ночной столик, графин и стакан, колпак электрической лампочки — вдребезги, лужа воды... В комнате — никого. Дверь в соседский номер заперта так же массивно и недвижно, как была днем... Правда, портьеры как будто колышутся, но это — растормошили их сейчас, исследуя и обыскивая комнату... Опять решили, что девушка сама виновата — неспокойно спала, задела рукою за столик, опрокинула... Обругали ее, бедняжку, — и конец... «Спи! утром едем!..» В Тулузе девушка начала болеть... Доктора позвали, осмотрел, говорит: «Беременна!..» Вот так сюрприз!.. Понятно, ужас!.. Девку ругают, бьют, пытают: «Сказывай, кто?..» Она ровно ничего

не понимает, кого им надо, о ком ее спрашивают, — и только ревет, разливается в три ручья... Словом, обнаружила такую моральную невинность, такое глубокое неведение истины, что даже родительская подозрительность должна была сдаться и прийти к убеждению, что девка погубила себя как-то так, что и сама не знает, и что дело тут очень нечисто и пахнет преступлением. Припомнили каждый день, каждый час, каждый шаг свой в Париже: буквально не было такой минуты, когда бы девушка оставалась без наблюдения либо отца, либо матери, либо вернейших и честнейших приятельниц родителей и хорошей, буржуазной родни. Вспомнили и ночные случаи эти: сон, когда человек в стену ушел, падение ночного столика... Отец отправился в Париж, посоветовался с хорошим адвокатом и по его рекомендации обратился к услугам частного сыскного бюро. Там начальник бюро, когда услыхал историю, только и спросил:

— Не в таком-то отеле было это дело?

— Вы совершенно правы. Именно там.

— Ага! Ну так это — проделка либо герцога N, либо банкира Z... не первый раз они подобные штучки устраивают.

— Да... герцог N был нашим соседом.

— Ну вот. Дочь ваша, очевидно, была систематически усыпляема при помощи отельной прислуги каким-нибудь наркотическим средством, доля которого, весьма вероятно, доставалась и вам с супругою, а затем герцог N проникал в ваш номер и хозяйничал, как желал...

— Что же теперь делать?

— Да ждать внука или внучки... больше вам ничего не остается.

— Я начну процесс и устрою скандал...

— Скандал — это еще куда ни шло. Скандалом, особенно с предупреждением, можете деньги нажить, потому что от скандала он, герцог, по крайней мере, вероятно, пожелает откупиться. Но процесса не советую: проиграете, и вас же

еще потянут к суду за шантаж. Еще — если бы вы в ту пору схватились, а теперь — какие же у вас доказательства?

— Помилуйте, да ведь не от черта же беременна дочь моя! Это только в «Роберте-Дьяволе» такие страсти приключались...

— Конечно, не от черта, но на герцога-то — нет у вас улик, а мужчин и кроме него в Париже довольно.

— Он единственный, кто мог к ней проникнуть.

— Как — единственный?

— Ну да, потому что всякому другому пришлось бы пройти через нашу с женою спальню: комната дочери не имела своего выхода в коридор.

— Вот видите: значит, не единственный.

— Ничего не понимаю. Всякого другого мы с женою должны были услыхать.

— То-то вот и есть, что вы с женою...

— Кто же еще мог?

— Как кто? Да вы же, почтеннейший, вы!..

Добрый тулузский буржуа выпучил глаза.

— Позвольте, — говорит, — соображаете ли вы, что говорите?

— Очень.

— Ведь я же отец?

— Так что же?

— И вы смеете, вы позволяете себе заявлять подозрение...

— Нет, — отвечает ему начальник бюро, — мы-то ни в каком случае вас не подозреваем и верим честности вашей и что — все было так, как вы рассказываете. Но считаем своим долгом указать вам, что в случае процесса вы, со стороны защиты герцога, — а ведь у нас защитник при следственных допросах присутствует и может, при желании, весьма искусно следствие направлять, — непременно встретитесь с этим возражением, и оно вам, что называется, боком выйдет.

— Послушайте! Да разве подобные вещи бывают?

— А то нет? Из какой патриархальной Аркадии вы к нам приехали? Каждый год регистрируют в Париже 15 — 20 случаев явных... судите же, сколько тайных.

— Но, наконец, тут же мать ее спала.

— Матери в подобных скандалах молчаливы и терпеливы, покуда силы есть выносить, — чтобы большого скандала не было... Да, наконец, разве необходимо будет это доказать? Достаточно пакостного подозрения. Вы своего обвинения на герцога не докажете, а ему на вас и доказывать не надо. Жизнь ваша будет уже одним слухом, одною тенью подозрения испорчена, семья разбита, знакомые от вас отвернутся, если служите, придется со службы уйти, и в городишке своем уж, конечно, не уживетесь: мальчишки начнут пальцами показывать... ну-ка! ловите каждого за уши да объясняйте ему с начала до конца, что вы — несчастная жертва бесчестной клеветы...

— Вы правы.

— Еще бы! Люди опытные.

— Так дайте ж мне совет, как выйти из этого ужасного положения, — хоть какой-нибудь настоящий совет!

— По-настоящему, — говорит начальник бюро, — по-настоящему-то, по-рыцарскому-то, вы, конечно, понимаете, как вам следует поступить...

— Вызвать его на дуэль? Да он не пойдет, — у него предки с Крестовых походов, а я москательным товаром торгую.

— Нет... что же дуэль? Что и кому она докажет? Это — депутатское занятие. В серьезных встречах частной жизни оно никуда не годится. А возьмите вы револьвер посквернее, из которого шума много, а убить никак нельзя, да — в возможно более публичном месте и при большем стечении народа — закатите в этого герцога маленькую пульку... так, чтобы сюртук продырявила, ну, кожу поцарапала, а больше ничего. Тогда общественное сочувствие

всецело на вашей стороне окажется... Знаете: Виргиния... Аппий Клавдий...

— Покорнейше вас благодарю. Это еще ко всему в тюрьму из-за него, мерзавца, — идти? Ссылкою рисковать?

— Положим, вас непременно оправдают.

— Да скандал-то мой от этого меньше что ли будет?

— Напротив, даже гораздо больше, но у вас будет то утешение, что сделаетесь знаменитостью на всю Европу, создадите cause célèbre *. С одних интервьюеров потом сколько денег возьмете...

Подумал начальник и прибавил:

— А впрочем, может быть, и не оправдают.

— Даже?!

— Вообразите себе: а вдруг герцог докажет свое alibi?

— Каким же образом?

— Да — вдруг — он в эти ночи, которые вы подозреваете, — окажется, — не был дома, а где-нибудь в отъезде или просто в игорном доме каком-нибудь, и, значит, тогда к вашей дочери проникал совсем не он, а только кто-то через его комнату... всего вероятнее, какой-нибудь из отельной прислуги. Да и, наверное, докажет. Там ребята тоже не промах — сидят чистенькие. Конечно, все у них уже как по нотам разыграно и подготовлено на всякий случай. Поставьте, значит, на риск и такую возможность...

Поставил отец на риск и — плюнул. Возвратился в свою Тулузу и отправил дочь — носить и рожать — в Марсель к родственнице... А она там ухитрилась в моряка-румына влюбиться и удрала с ним в Аргентину. И очень ее моряк любил, да однажды сильно в карты продулся, так — на отыгрыш — заложил ее на неделю в публичный дом, ну а выкупить-то уж и не пришлось: сам забосячил... Так и пропала моя бедненькая Луизет!

---

* Громкое дело (*фр.*).

XII

Хотя пословица уверяет, будто на ловца и зверь бежит, — однако на отельные авантюры столько охотников, что зверя настоящего, то есть истинных жертв романа, — падающих из общества, буржуазных, кругом порядочных, — и на десятую долю Дон-Жуанов не хватает. Вы можете легко понять, с какою чуткостью и осторожностью должны вести себя посредники в приключениях подобного рода и какие безумные деньги должны они брать за риск свой в случаях вроде того, как я рассказала вам о герцоге N. Разбойничий акт возможно иногда осуществить в отеле, но нельзя превратить его в постоянную систему. Между тем спрос на авантюру непрерывный, усиленный, выгодный. И вот в ответ ему явилась симуляция порядочных женщин в тайнейшей из тайных проституции, о которой, в конце концов, знают только двое: сама торгующая собою и ее посредник. Прислуга может догадываться, соседи могут сплетничать, но уличить фальсификацию очень трудно, и ловец-покупатель остается в отличных дураках, воображая будто он сам кого-то дурачит.

Я уже говорила вам, что есть разряд буржуазных женщин и иностранок, которые, путешествуя, сами ищут отельных романов и приключений. Большинство из них веселится своими мимолетными победами, конечно, совершенно бескорыстно, некоторые еще сами не прочь истратиться. Но есть и такие, что, если не сами находят на мысль о возможности соединить приятное с полезным, то очень легко наводятся на нее и охотно принимают представляющийся случай приработать кое-что в добавку к своим, обыкновенно, довольно скудным средствам. Случай при удаче обращается в привычку, и вот вам готова госпожа, которая — истинный клад для отельных посредников, потому что она — дама с головы до ног и никто не заподозрит в ней проститутку, как и она себя проституткою не подозревает, а между тем торгуй ею

на самую широкую руку. Бывают милые провинциалки, которые, таким образом, наезжают в Париж, Ниццу, Милан, совершенно как на отхожий промысел, и после двух-трех недель работы возвращаются к очагам своим почтеннейшими в мире матронами. Затем — кочующие авантюристки. Я могла бы вам назвать путешественниц, объехавших таким же образом, от отеля к отелю, весь свет, не истратив ни единой копейки, напротив, нажив капиталец. Английские авантюристки на континенте тут, конечно, идут в первую голову, но и наших, русских, много. Вы имеете понятие о Порт-Саиде?

— Слыхал, но не был, — отвечал Матвей Ильич.

— И я тоже, — сказал Иван Терентьевич.

— И я не была, но вот эта Мафальда, которая вчера вас так удивила собою, трепалась там и рассказывает, что у них была верная примета, когда приходил пароход с Дальнего Востока, велика будет нажива или нет. Если первыми в заведение являлось офицерство, а потом уже валил матрос, — значит, на пароходе или вовсе не было женщин, или ехала настоящая семейная публика. Если же сразу начинал валить матрос, а офицерство показывалось только потом, — значит, на пароходе были две-три одинокие авантюристки-англичанки или русские, которые перекрутились со всею кают-компанией и ласково обобрали ее еще в океане. «И ненавидят же, — говорит Мафальда, — в Порт-Саиде этих госпож!» Еще бы: какой хлеб отбивают! Ведь в Порт-Саиде из нашей сестры, проститутки несчастной, попадают уже такие обноски и лохмотья человеческие, что иную сытому мужчине и показать нельзя: стошнит. На то и рассчитана вся торговля, что после перехода от Сингапура всякая европейская ведьма голодным морякам Венерою кажется: pour un coup * золотой платят, да еще и щедро на булавки дают. Между тем к морякам, которые плывут из Средиземного моря, этих женщин

* Одним ударом (*фр.*).

даже и выводить не смеют: такой хлам. Ну да вы видали Мафальду, а она из лучших там была: потому и вырвалась еще из ямы этой... Можете судить!

Одну я знала: англичанка была, уже пожилая, но крепкая еще баба, могла нравиться, а смолоду, должно быть, была совсем красавица. Та мне говорила, что она даже не понимает, как это возможно, чтобы красивая женщина платила за отель, за пароход, за железнодорожный билет на дальнее расстояние. Она всю жизнь так прожила. Приезжает в город, берет номер в лучшей гостинице. Высматривает публику. Если есть материал для отельной авантюры, заводит знакомство сама или чрез метрдотеля, которому тонко дано понять, что я, мол, не прочь, а ты старайся — поделимся, внакладе не будешь. Если нет, она выведывает город — и объявляет публичную лекцию. У нее две темы, две засаленные тетрадки, которые она за двадцать пять лет такой жизни не потрудилась даже заучить наизусть, хотя они и поят ее, и кормят, и по свету возят: «О вечных мучениях грешников» и «Телепатические явления и возможность общения с миром усопших». Это — единственное наследство, полученное ею от покойного мужа, какого-то пастора английского, за которым она страшно голодала, потому что его за что-то считали еретиком и он не мог ужиться ни в одном приходе. Теперь она откровенно говорит, что, оставив ей «Вечные мучения» и «Телепатические явления», горемычный пастор обеспечил ее гораздо лучше, чем мог бы обеспечить настоящим наследством тысяч этак в десять фунтов.

«Десять тысяч фунтов я давно прожила бы или любовник выманил бы, а эта белиберда решительно никому не нужна, однако отлично кормит».

На лекциях красавица производит впечатление. Публика у нее, по темам, все возвышенная: духовенство, святоши из аристократии и крупной буржуазии, спириты, оккультисты, — народ, у которого довольно досуга, чтобы заниматься подобными вопросами, а где довольно досуга, там, значит, довольно

денег, а где довольно денег, там всегда достаточно праздных мыслей и желаний. Все эти одухотворенные люди ужасно падки на плоть. В конце концов, не бывало случая, чтобы моя прекрасная проповедница не завоевала себе несколько щедрых сердец и таковых же кошельков. Она женщина скромная, то есть не жадная и не честолюбивая, равнодушная к рекламе и крику, — поэтому из нее не вышло авантюристки высокого полета, хищницы, хотя ей представлялись удивительнейшие случаи ограбить большие капиталы, сыграть видную дерзкую роль, нашуметь на все газеты мира. Она любознательна и находит удовольствия в путешествиях, которыми живет, но совершенно бездарна и даже в тетрадях своих ничего не смыслит, хотя повторяет их бесконечно. Если ее втягивают в диспут, она преискусно уклоняется, — если же оппонент человек богатый, приятный и кажется ей рыбкою, способною клюнуть, она с удовольствием позволяет ему разбить ее наголову и так наивно и искренно поражается его гениальною победоносною диалектикою, что вот вам уже и готов новый поклонник из противного лагеря. Недели две-три женщина великолепно сыта, отлично живет, счета ее оплачены, и когда ей надоедает сидеть на одном месте, то уезжает она в лучшем train de luxe с salon bar'ом * и в сопровождении какого-нибудь спутника, который за честь почел оплатить ее билет. Такую жизнь она начала двадцати шести лет от роду. Сейчас ей пятьдесят с лишком. Три десятка годов прокатились у нее этим родом, как по рельсам, без зацепки. Была всюду. И в Китае, и в Японии, и в Австралии, и на Мысе Доброй Надежды, даже в Новой Зеландии и на Шпицбергене. И ни под какою широтою и долготою никогда ни за что не заплатила ни единого собственного пенса.

Но все-таки и подобные барыни, и просто приторговывающие путешественницы — единицы, а нужна постоянная

* Поезде-люкс с салоном-баром (*фр.*).

поставка. Тут на сцену выступают молодые начинающие актрисы. Положение их всюду в Европе ужасное. В Германии, Франции, Италии — они всюду — сразу как-то и вне общества, и в обществе: никаких прав и все обязанности, ни следа уважения и необходимость вести себя строже, чем все высокоуважаемые. Иначе с тобою станут обращаться, как с открытою общедоступною проституткою, и втопчут тебя в грязь, из которой никаким талантом не выползешь. Сейчас молодые актрисы в Австрии, Германии, Франции сильно работают, чтобы положить грань между собою и проституцией, которую навязывает им общество, потому что и привыкло оно, и выгодно ему, чтобы актриса была проституткою. Если бы это прекратилось, вы подумайте: уже одна военщина какой шанс потеряла бы из прелестей быта своего. У нас в России актрисы уже лет сорок, а то и больше, не знают той непременной зависимости от мужчин партера, которая на Западе повсеместна, и выбиваются из нее только первоклассные таланты, да и то не сразу. Назовите мне какое угодно громкое женское имя европейской сцены, за каждым остается тенью либо аристократ, либо банкир, для которого когда-нибудь ваша великая артистка была только продажною женщиною. В России это крепостное право давно забыто, в Европе оно едва начитает шататься. И — какими еще робкими, жалкими средствами, какими компромиссами! Как ни вертись, как ни крепись маленькая актриса австрийской или немецкой сцены, но без туалетов ей, по нынешнему репертуару и требованиям публики, существовать нельзя. Значит, нужен или поручик граф такой-то, или коммерции-советник такой-то, который заплатит за туалеты, — нужно содержанство. А при отсутствии одного поручика и одного коммерции-советника, способного расшибиться на крупную сумму, приходится раздробить содержанство в более или менее крупную проституцию и терпеть весь ее местный позор и огласку. Это не под силу и не по характеру очень многим, и вот в последнее время, так лет пять, может быть, десять, очень

заметно для нас новое явление. На французской и обеих итальянских Ривьерах в купальных местах на водах появляются немецкие барышни, живущие обыкновенно очень скромно, не в первоклассном отеле, и находящиеся постоянно в весьма определенном мужском обществе, с такими господами, о которых местным обывателям хорошо известно, что они от платонических ухаживаний далеки и времени с хорошенькой женщиной даром не истратят. Видя такую особу, вы можете держать пари на сто против одного, что перед вами — добровольная героиня отельной авантюры. Она может разыграть роль хоть принцессы и играет ее, обыкновенно, очень хорошо, но в действительности это — почти всегда и без исключений — маленькая немецкая актриса. Пользуется каникулами или тем, что осталась без ангажемента, чтобы в свободное время приработать вдали от родины на будущий сезон круглую сумму денег, способную покрыть ее туалетные расходы, а следовательно, избавить ее и от поручиков, и от банкиров, от всего позора и огласки проституции на месте. Проституция дальняя предпочитается проституции ближней, только и всего. Француженки и итальянки тоже прибегают к этому способу, но реже, главный контингент — немки. Правду сказать, французские и итальянские актрисы еще и сами-то не отделались от взгляда на себя, как на фатальных проституток, и простота нравов в этом отношении между ними удивительная. А знаете, откуда немки взяли примеры подобных гастролей инкогнито? С австрийского офицерства. Там бедный офицер, особенно кавалерист, когда ему приходится уж очень туго, весьма спокойно берет отпуск по болезни и едет лечиться... в какой-нибудь женский курорт. Особенно — Platensee * у них в моде, Левико, Гарда. Возвращаются с деньгами и платят долги. Начальство и товарищи знают — и никого это не шокирует.

* Название курорта (*нем.*).

— Однако! — засмеялся Иван Терентьевич.

Бельский прибавил.

— У нас такие нравы держались сто лет тому назад. В гвардии при Александре Первом.

— А у них процветают благополучно и при Франце Иосифе. Вообще эта немецкая мораль прекурьезная... Самая требовательная и самая покладистая. Сколько подруг-немок имела я на веку своем, которые зарабатывали себе приданое, как половые машины какие-нибудь, до положенного срока и назначенной суммы. Вот, мол, будет у меня двадцать тысяч марок, и я скажу вам — genug und adieu! * — и уеду на родину в свой Вольфенбюттель, и возвращусь в первобытное состояние, и считайте меня по-прежнему девицей, и выйду замуж за своего Ганса, и буду самою добродетельною и строгою хозяйкою во всем княжестве. Кроме немок, никто так не умеет. Француженки — да, но для этого надо, чтобы кто-нибудь догадался в нее влюбиться и жениться: замужем они буржуазятся превосходно, но готовиться к замужеству в школе проституции — решительно не в состоянии. Это немецкая привилегия. О русских, славянах, итальянках, англичанках я уж не говорю: мы все считаем себя погибшими навсегда, падшими, все грызем себя, все чувствуем свои имена вычеркнутыми из общества. Еврейки пробуют барахтаться за свое достоинство, — у них нервов много, характер, темперамент, — но почти никогда не выдерживают — разве, что из жертвы палачом станет, из товара — продавщицею, из проститутки — хозяйкою... А у немок все это — вот как у австрийских кавалеристов, — точно отпуск: уволена от совести на столько-то лет и месяцев с обязанностью возвратиться в срок. Конечно, обобщать это было бы грешно и несправедливо. Есть немки и немки. И по характеру, и по обществу, и по местности, и по племени. Знавала я и таких

---

* Довольно и прощай (*нем.*, *фр*).

немок, которые, толкнутые в наш проклятый промысел, давились в петле или отравлялись фосфором в olio после первого же гостя. Но вот этого явления: порока на срок, пунктуальной отдачи себя как бы в службу черту, я в проститутках других наций совершенно не встречала. И добросовестные они в чертовой службе своей до отвращения.

Помнит одно: сейчас у меня одиннадцать тысяч марок, а мне нужно двадцать, недостает девяти тысяч марок. Одну видела в Константинополе, — с нее и взяла эти двадцать тысяч марок. У нее был календарь, размеченный на пять лет, с обязательством — ежедневно, по календарю этому, откладывать пятнадцать марок, а в праздники, в виде отдыха, только десять. Три дня в месяц она не могла работать, но считала их взятыми взаймы у своей кассы и приходила в отчаяние, если в течение месяца ей не выпадало случая пополнить недостающие сорок пять марок. Как-то раз уговорила я ее:

— Да, будет тебе, Клара! Почувствуй ты себя хоть на один день человеком. Отдохни, подыши воздухом, как все люди, — ну подари мне день, поедем с тобою на Принцевы острова...

Подумала и согласилась.

— Подсчитала что, — говорит, — моя касса имеет сейчас триста марок лишку, значит, она мне должна за двадцать дней, — один день я могу ей простить.

Нас было пятеро, своя компания, мы отлично провели время. Но в ресторане после обеда, покуда мы пили кофе, Клара успела переглянуться с каким-то русским моряком и исчезла. Нашлась только к пароходу. А на пароходе до самого Константинополя изливалась мне в чувствах и в благодарностях за то, как прекрасно провела она день и как она теперь в особенности счастлива, потому что не только получила большое удовольствие от поездки, но теперь уже не мучается за удовольствие это угрызениями совести, которые терзали ее с утра.

Моряк заплатил ей турецкую лиру, и, значит, день не только не пропал даром, но, напротив, касса ей должна уже за двадцать один день!.. И скажу вам, господа: Клара была кроткая и, по-своему, очень хорошая девушка, добрый товарищ, ласковая, богобоязненная, и я полагаю, что в глубине души своей она была невиннее всех старых дев на свете, — в своем обществе, между нас, распутных, я никогда не слыхала от нее слова грязного, шутки грубой. Но не было такой мерзости, которой она не позволила бы сделать над собою, если вместо пятнадцати франков ей обещали тридцать: лишь бы касса больше должала и сокращала бы ей назначенный срок.

За актрисами следуем мы, профессионалки, которых, однако, по приличному виду и остаткам образования, можно и не принять за профессионалок, если они о том хорошо постараются. Надо сказать правду, это не особенно часто встречается. Интеллигентные девушки и женщины до самого последнего времени в проституции были сравнительно редки. Притом профессия быстро накладывает свой отпечаток. Интеллигентка, барышня уходит куда-то в туман, на задний план, а проститутка выползает вперед с неуловимыми ухватками и тонами, для которых вы, пожалуй, слепы и глухи, но их превосходно ловит на лету любой полицейский, лакей в ресторане, сыщик, кучер фиакра и своя сестра-проститутка, какого бы разряда она ни была. Ловят, конечно, и те знатоки, ловцы отельных авантюр, — поэтому их какою-нибудь случайною самозванкою, первою встречною мамзелью, не обманешь. Вот почему метрдотель и жалел так, что я, с моею внешностью скромной буржуазки, пропустила такой блестящий карьерный шанс... Черт бы побрал его, этого Бастахова, с его пьяной мордой! Утопил он меня!

Теперь уже не то, совсем не то... Я могу идти с вами завтракать в Кова, куда не пойдет Ольга Блондинка и у подъезда которого не решается показать свою компрометирующую рожу

Фузинати. Но меня не достанет так надолго, я утомлюсь, как актриса в трудной роли. Было время, когда мне труднее всего на свете было почувствовать себя и держаться проституткою. Теперь, наоборот, несколько дней подряд в роли порядочной женщины, без уличного словечка, без уличного жеста, без колоды старых карт, без моей кушетки, туфель, без папиросы, которую можно палить по-мужски, без бутылки, из которой можно пить стаканом, по-солдатски, — мне невыносимы. Это грустно, но я должна вас предупредить. Это — то, что повернуло книзу мое колесо, то, почему вы находите меня у Фузинати. Вы, мосье Бельский, вчера предлагали мне совершить с вами маленькое путешествие. Я была бы счастлива, но... прямо скажу вам: стыдно и боюсь. Что вы будете делать со мною, если я прорвусь и компрометирую вас? Бывало это, друзья мои, бывало...

Как мы черти из ада проституции, друг друга иногда узнаем, это — что-то поразительное, инстинктивное, выше моего собственного понимания. Все россказни об однообразных булавках, галстухах, серьгах, брошах, помеченных будто бы одним и тем же знаком, голая сказка чувствительных романов о белых рабынях. Если бы было что-нибудь подобное, нам бы и жить нельзя стало. То и дело нарывались бы на скандалы и попадали в скверные истории. Однажды в Бельгии в курьерском поезде сидела я с тогдашним другом моим, японским художником, и его двумя приятелями в вагоне-ресторане. Один из ближних столиков заняла чопорная благообразная старушка в седых буклях, в дорогих черных шелках, и при ней барышня лет шестнадцати: красивое, здоровое созданье, кровь с молоком, датчанка или норвежка, с коровьими глазами и бюстом, как бастион. Пригляделась я к ним и спрашиваю своих спутников:

— Скажите, господа: кто такие, по-вашему, эта старая дама с барышней?

Один говорит:

— Какая-нибудь католическая маркиза взяла внучку из монастыря и везет домой, в деревенский замок, на каникулы.

Мой японец поправляет:

— Нет, это не внучка, а лектрисса. Для внучки у барышни руки грубоваты. Она еще недавно знала черную домашнюю работу.

Третий:

— Не знаю, католическая ли это аристократка. В ней есть что-то Рембрандтово. Такие головы попадаются среди именитой антверпенской знати. Это попечительница какой-нибудь религиозной общины и при ней послушница.

А я:

— Все вы трое попали пальцем в небо. Это — сводня, купившая в Антверпене с парохода свежую девушку, и везет она ее в Париж по поручению или перепродать.

Они меня подняли на смех, даже обругали... Но я стояла на своем.

— Да почему ты так думаешь?

— По тому, как она рюмку взяла, когда гарсон ей ликеру налил...

И что же? Приезжаем мы в Брюссель. Гляжу в окно — на дебаркадере ждет самолично известный парижский посредник, мосье Клод. Узнал меня, раскланялся.

— Кто это? — спрашивает японец.

Я объяснила.

— Ну вот, это другое дело, — говорят художники. — Этому верим. Это так. У него и рожа такая. Un vrai laquais endimanché *.

Но — доехали мы до Парижа. Выходим, и — что же? Из соседнего вагона лезет эта самая маркиза с внучкою или лектриссою, и мосье Клод почтительнейше поддерживает ее под локоть и передает носильщику ее чемодан... Так и ахнул мой

* Истинно разряженный лакей (*фр.*).

японец. Я его тогда на бутылку шампанского оштрафовала: не спорь!

XIII

После завтрака у Кова хороший городской автомобиль, взятый на площади del Duomo, помчал двух русских и Фиорину по Милану и вокруг Милана. Фиорина называла им главнейшие здания и некрасивые окрестности столицы плоской, болотной Ломбардии. Так незаметно докатились они до Монцы, побывали в парке и поехали обратно в город.

— Хорошо! — говорила разгоревшаяся Фиорина, — за городом свободною себя чувствуешь... Точно из клетки убежала... Этак бы всю жизнь...

— А что, если бы вы в самом деле убежали? — спросил Иван Терентьевич, посасывая сигару свою.

Фиорина пожала плечами.

— Куда? — позвольте узнать.

— Ну да вот, мы завтра уезжаем в Монте-Карло. Хоть бы с нами...

Фиорина засмеялась.

— В России это, кажется, называется ездить в Тулу со своим самоваром?

— Да я ведь не в самом деле, — смутился москвич, — я для примера.

— Ах, для примера! Ну похищать меня для примера я вам не советовала бы. Потому что в первом же городе, где я, беглая, остановлюсь, меня великолепно арестуют как воровку. Не забывайте, что все, на мне надетое, — платье, шелковое белье, шляпа, украшения, брошь, браслеты, даже обувь, — принадлежит Фузинати.

— Однако сегодня он совершенно не следит за вами, — не то, что вчера.

— Да что же ему следить? Вчера его интерес был, чтобы я не удрала от его агентов работать на сторону, ему в убыток. А сегодня — зачем? Все выговорено и условлено. Свое он — часть получил, часть — знает, что получит, а — если бы, pardon, вы оказались мошенниками и не заплатили, — то напишет на меня, да еще и с огромными процентами, новый долг, который вытянет из меня до последнего сантима. Не считая уже того удовольствия, что получит право сделать мне сцену, во время которой он будет орать, а мы с Саломеей должны будем молчать, потому что виноваты. Это развлечение его любимое, но не часто ему достается, потому что без толку оскорблять себя мы не позволяем, а он нас боится. Меня — за то, что я, какова ни есть, а все-таки, хоть в остатках, синьорина. А Саломею — за то, что если она войдет в бешенство, то в доме ни одной целой вещи не останется, и усмирять ее нужен взвод карабинеров. Саломея — ангел характером, если с нею хорошо обращаться, но если ее обижают, а уж в особенности, если меня обижают, то от ее кулаков и ногтей убежит и сам сатана... Фузинати решительно не о чем беспокоиться до завтрашнего утра... даже до вечера. Вот если бы завтра вечером меня не оказалось ни дома, ни в галерее, и я не дала бы ему знать о продлении моего, так сказать, ангажемента, — это, доложу вам, поднялась бы история.

Со мною вы можете быть спокойны: я за ваше предложение не уцеплюсь, — продолжала она, между тем как автомобиль катился между стволами еще голых платанов. Но вообще позвольте вас предупредить: русскую жалостливость к нашей сестре за границею нужно спрятать в карман. Или, по крайней мере, если не спрятать, то применять ее с большою осторожностью. «Как дошла ты до жизни такой?» — здесь, на девяносто процентов, вопрос праздный, потому что ответ будет простой и постоянный: «Самым обыкновенным образом: работницею я заработала бы полторы лиры в день, служанкою — лиру, а проституткою — худо-худо, если десять-пятнад-

цать лир». У вас там, в далекой России, еще ищут извинительного предлога: житейского или любовного несчастия, чтобы броситься в проституцию: дескать, — хоть червем, да жить, не в омут же головою! Здесь это уже гораздо проще. На проституцию смотрят прямо, как на промысел, доходнейший других, и в весьма многих крестьянских и мещанских семьях, где много дочерей, вы услышите совершенно спокойное и откровенное распределение: «Джузеппина старшая, она получит в приданое виноградник, — значит, выйдет замуж, будет хозяйкою и останется в деревне, при земле. Андреина и Кьяра тоже получат свои части и не останутся без женихов. Белла и Мария — красавицы: им приданого не надо, — только надо стеречь их, чтобы какой-нибудь мерзавец не испортил, а то богатые женихи оторвут их у нас с руками за красоту. Франческа некрасива, зато сильна, как вол, и хорошего характера, понимает хозяйство и любит работу: клад для одинокого бобыля, которому не под силу его участок, либо, наоборот, для вдовца, у которого дети еще не в рабочем возрасте. А Лоренца, Сидония, Марта — и не очень красивы, и слабого сложения. Они должны идти в город — искать работы на фабриках, по мастерским, в услужение к господам, либо far l'amore *». И как скоро такое семейное распределение установлено, все в нем видят самое естественное дело и принимают его как рок какой-то. Настолько, что, скажем, окажись вдруг в интересном положении Джузеппина или Белла, их измучат, истерзают, проклянут, дому позор, отцу и матери отчаяние, а Лоренце, Сидонии, Марте грех сойдет с рук, как ни в чем не бывало: разве обругают для приличия, а то — что же? Не все ли равно? Не сегодня, так завтра, девушки обречены far l'amore, — значит, в себе вольны...

— Вы говорите о низших слоях этой профессии,— заметил Матвей Ильич. — Неужели и выше то же самое?

---

* Заниматься любовью (*ит.*).

Фиорина подумала.

— Я, право, не знаю, что вам на это сказать. В Италии вообще женщина высших слоев и женщина из простонародья разнятся между собою гораздо меньше, чем у нас либо в Германии, по-моему, даже, чем во Франции. А уж в нашей-то профессии — смешение полнейшее, и табели о рангах никакой. Кто больше зарабатывает, вокруг которой больше мужчин, та и первая, хотя бы она еще вчера гнула спину и мозолила руки на рисовых полях, а подруги ее были — падшие принчипессы какие-нибудь. Этого парижского деления от жалких pieurreuses * до великолепных grandes panaches итальянская проститутка почти не знает. Grandes panaches здесь — это уже полупроституция: главным образом, вторые актрисы, дебютантки, вообще девицы, вертящиеся вокруг искусства, но не для искусства, а пробы ради, как судьба сложится: вывезет талант, встретит меня успех и удача, — буду артисткою и сделаю себе имя; нет, — буду торговать собою из-за кулис, под вывескою сцены. Повторяю вам: какое бы громадное сценическое имя в Италии вы ни назвали мне, на каждом есть в прошлом пятно от того или другого соприкосновения с проституцией. Только в опере этого меньше, потому что там другой товар налицо — голос. Да и то — если певице начинает сразу везти и она с места в карьер попадает в примадонны. А посмотрите-ка, чего стоит маленькой вырасти и перейти в большие. Балет же, оперетка, фарс, легкая комедия, кафешантан, цирк — все это полно проститутками в вуалях искусства до такой степени, что, знакомя вас даже с знаменитостью опереточною, человек из приличного общества непременно предупредит:

— Несчастная девушка. Смею вас предупредить: она вполне порядочная и из хорошей семьи... Приходится заниматься таким ремеслом... фамильное несчастье...

---

* Проститутки (*фр.*).

Италия, кажется, богаче всех стран Европы классом маленьких буржуа, piccoli borghesi *. В ней мало крупных капиталов и предприятий, но множество маленьких и средних торговых дел, которые возникают и лопаются, как пузыри. Затем, прогорев, семья этакого piccolo borghese распадается. Старики философически запираются с уцелевшими крохами состояния кончать жизнь в каком-либо медвежьем углу родной провинции, где можно жить на лиру в день, питаться маисовою полентою и кислейшим вином по сольду пол-литра; мужская молодежь уплывает искать счастье в Бразилии и Аргентине, а женская — выбрасывается в Милан или Рим и становится либо прямо проститутками, либо проститутками после того, как хорошо нажглись на разных пробах женского труда, либо, наконец, проститутками под видом и предлогом какого-нибудь женского труда. Половина не половина, но наверное треть товарок моих — дочери или сестры мелких банкротов. Да оно и понятно. Ни на какой интеллигентный труд они неспособны, потому что совершенно невежественны, — и настоящим-то интеллигенткам в Италии покуда хода нет и некуда приложить силы свои! А для черного труда — слишком барыни. Ну и несут в общество на продажу тот непременный товар, который природа дала: самих себя.

Из проституток этого типа много насчитаю вам таких, которых можно назвать полувольными. Это — либо красивые девушки, почему-либо засидевшиеся в невестах до отчаяния когда-либо выйти замуж, либо обманутые невесты. Опять-таки вряд ли где-нибудь число плутов-женихов и обманутых невест больше, чем в Италии. Тут, конечно, солдатчина на первом плане. В итальянском простонародье и среднем сословии развит пренелепый обычай жениховства. Редкий парень уходит на военную службу, не обменявшись честным

* Мелкие буржуа (*фр.*).

словом или не обручившись формально с какою-либо девушкой. Затем она открыто считается его невестою, — стало быть, для всех других парней неприкосновенною. На невесту свою он имеет все права мужа, кроме одного, главного: до свадьбы он должен довести ее невинною. Казалось бы, чего уж лучше девушке — получить этакого заинтересованного хранителя? На самом же деле получается прескверный мужской разврат и гибель множества девушек. Отпуска солдат-женихов домой на побывку это, — я и сама наблюдала, и десятки подруг говорили, — амурный кошмар какой-то. Во-первых, конечно, то требование — относительно блюстительства за невинностью — исполняется только добросовестными, а их немного. Во-вторых, добросовестные распоряжаются со своими красавицами, пожалуй, еще того хуже. Понятие невинности принимается в этой среде самым грубым образом, в анатомическом символе, — вы, надеюсь, меня понимаете. Значит, лишь бы в этом смысле все обстояло благополучно, а затем — нежничайте себе, как вам угодно. Примите в соображение темпераменты южные, примите в соображение, что невесты — деревенские дурочки либо полудикие мещаночки маленьких патриархальных городков, а женихи к ним приходят развращенные казармами и улицами Турина, Милана, Рима, Неаполя. В конце концов, жениховство превращается черт знает во что! «Невинная» невеста доходит к венцу, обученная всяким противоестественным штукам и фокусам и очень часто уже больная чем-нибудь, если не вовсе скверным, то, во всяком случае, не похвальным. А — что нервных недомоганий и заболеваний приносят подобные отношения! Какие женские недуги бывают последствием этих жениховств! — трудно и рассказать. Вот пробудет этакий гусь в отпуску свои 28 дней, развратит за это время невесту свою до состояния совершеннейшей, как теперь говорят, демивьерж и уходит обратно в полк. А свято место пусто не бывает: глядишь, на его очередь — к девушке,

раздразненной и неудовлетворенной, втихомолку подбивается какой-нибудь заугольный конкурент, не связанный уже никакими обязательствами. Это до такой степени обыкновенно, что в каждом городе, в каждой деревушке вам покажут местного Фоблаза, специалиста ловить момент — утешать покинутых невест. Девушка барахтается немного против соблазнителя, но, в конце концов, горячая кровь берет свое, — к тому же жених обучил ее таким отношениям, при которых последствий не бывает. Начинается сближение и — так как на новом герое никаких обязательств не лежит, то, конечно, вскоре открываются последствия. Беременная девушка в маленьком буржуазном местечке — несчастнейшее существо в мире, а впереди грозит расправа разъяренного жениха, который менее всего на свете думает о том, как он сам дрессировал невесту свою к непременному падению, а, напротив, хвастается, насколько он был воздержен и благороден, но она — подлая, развратная, потаскушка... И вот девушка либо сама удирает, либо какая-нибудь сердобольная бабушка-тетушка ее отсылает в большой город — скрыть стыд. Ну а здесь, при той школе предварительного разврата, при том убийстве именно стыда-то, которым обработал ее почтенный кандидат в супруги, разве долго свертеться? Капканы-то направо и налево стоят... Есть у меня одна. И ребенок — женихов, и жених не отказывался грех покрыть, а она все-таки у Фузинати очутилась.

— С чего же ты это, дура ты неестественная?

— Да, они меня заперли: скучно стало. Девять-то месяцев в одиночку сидеть.

А это, правда, есть такой обычай в северной Италии: беременную девушку держат в ее комнате строгою одиночкою до самого разрешения от родов, — там ее и кормят, как узницу; если надо выйти, Боже сохрани, чтобы она повстречала не то, чтобы кого-нибудь чужого, но даже своих домашних мужчин.

А о женихе говорит:

— Если бы он еще скоро службу кончал, а то еще три года, да на вторичный срок его сманивают остаться. А я себя теперь узнала. Я не хочу так долго ждать. Молодость-то одна.

А другие ждут по пяти, по восьми, по десяти лет! Обручатся в семнадцать, замуж выходят под тридцать. Знаете, конечно: нигде нет таких старых старух, как в итальянских деревнях, — все восемьдесят-девяносто лет, а то и все сто. В чем бы душе держаться, а она еще работает и никогда ничем не болела вообще, а о существовании женских болезней и нервов только от правнучек узнала. Спрашивала я одну такую:

— Скажите, бабушка, отчего это вы и все ваши ровесницы — такие богатырки, а нынче, что ни женщина, то нездоровая?

— А это, — говорит, — внучка, от двух причин: от Америки и от воинской повинности. Америка и солдатчина лишают девушек женихов и выходят они замуж перестарками, рожают трудно, после родов болеют, кормить сами не хотят, от вторых, третьих родов бегают, как от галер, средства принимают... оттого и старухи прежде времени. Я замуж пятнадцати лет вышла, с мужем-покойником сорок годов прожила, двадцать две штуки детей принесла и только на шестьдесят первом году перестала себя женщиною чувствовать, старость подошла и знак дала, что будет мол! исполнила свое! И вот сейчас мне семьдесят восьмой год, а я по дому ворочаю всякую работу не хуже любого мужика. А внучка у меня в невестах семь лет просидела, покуда жених в Аргентине капиталы сбивал, — приехал оттуда хромым бесом, — проверяй его, отчего охромел, — говорит, будто ревматизм... Пятый год женаты, один ребенок — девчонка хиленькая, гниленькая, а больше — ни-ни-ни! Закаялись! Да оно и впрямь, пожалуй, лучше, чем этакое увечье родить. А он-то — хворый, кашляет, а она-то — хворая, кровью истекает и каждый месяц ноги у нее отнимаются то на три дня, то на пять. Тридца-

ти годов бабочке нет, а уже старуха в морщинах, — и лицо — как земля.

Хотите, я дам вам верную примету тому, пóпала ли итальянка в проституцию, как в промысел или по несчастию? Это надо соображать по мере ее красоты. Если красавица, — наверное, по несчастию: свихнулась как-нибудь, бедняжечка. Если только недурна собою, а то и некрасивая, даже уродливая, — промысел.

— Казалось бы, что скорее надо ждать наоборот, — заметил Матвей Ильич.

Фиорина сделала итальянский отрицательный жест указательным пальцем пред лицом своим.

— Нет. Красота итальянских женщин — большой всемирный предрассудок. Правда, что в Италии вы можете встретить время от времени всесовершенную красавицу, но общий уровень женской толпы, мало сказать, средний, а ниже среднего. Куда же сравнить с Парижем, с Веною, с Будапештом. Там, наоборот, исключительная красавица — редкость, но весь уличный тип, средняя женщина — прелесть. Опять-таки говорят, что когда-то итальянская толпа была молода и красива. Не знаю, куда это девалось, но сейчас она старая и чахлая. Должно быть, молодость и красота тоже уплыли в Америку, куда, к слову сказать, и песни ушли, и мандолины. Сейчас Италия молчит. Красоту женскую здесь любят и ценят попрежнему, но ее нет, и потому, когда она расцветает, как нечаянная роза среди опустошенного сада, ее берегут в сто глаз и за нею ухаживают, как за мечтою. Чтобы красавица не нашла себе хорошего мужа, надо какое-нибудь совершенно специальное препятствие, не зависящее даже от ее материального положения. Я могу показать в Генуе на рынке торговку, мать красавиц-дочерей, из которых две замужем за богатыми англичанами, а третья — за знаменитым художником-французом; растет четвертая и — Бог знает, кого она поймает, русского князя или какого-нибудь из своих прин-

чипе, потому что хороша уже, как молодая чертовочка, даром, что мать ее водит в тряпках. «Сестры Рондоли» — знаете, есть такой рассказ у Мопассана — только тем грешат против правды, что Мопассан изобразил их красавицами. Красавицу буржуазная семья, как Рондоли, никогда в промысел не пустит. Это — брачный товар. Если проститутка — красавица, знайте заранее, что это дочь какой-либо опозоренной семьи, которую даже чужая сторона не могла избавить от погнавшейся за нею дурной славой. Либо — жертва одной из любовных трагикомедий жениховства, о которых я вам рассказывала. Либо — старая дева, которая, любуясь собою в зеркало и разбирая женихов, доважничалась до того, что молодым — стара, за старика — не хочется, и вот, пожалуйте, ползут роковые годы, не угодно ли делать прическу святой Екатерине? Беснуются они на переломе этом, — ну и свихиваются, а раз свихнулась, что же ей себя жалеть-то? Грех, так уж грех до конца, покаюсь, мол, уж за все сразу вместе, но, по крайней мере, остаток молодости проживу в свое удовольствие. Словом, красавица в проституции — случай, недоразумение.

Деревня выгоняет на городскую улицу своих слабейших, которые ей не пригодны как работницы, но в городе, покуда улица не надорвет их работою или развратом, они оказываются сильнейшими и самыми свежими. Мужчины юга — пребольшие-таки скоты. Когда-то они, говорят, рыцарями были, но это, должно быть, давняя история и, во всяком случае, к нашей сестре они без всякого рыцарства подходят. Русский, англичанин, даже немец всегда норовят, даже у проститутки, сочинить себе что-то похожее на любовь, иллюзию красоты выдумать. Здесь — ничего подобного. Знаете, как итальянец определяет красивую женщину? Blonda, grande, grassa — блондинка, большого роста, жирная. И какая бы морда ни подошла под эти три условия, у нее будут поклонники, смею вас уверить. Красота — последнее, что от нас требуется. Над

мужчинами, которые ищут проституток-красавиц, товарищи их даже смеются, как над идеалистами, и даже, простите меня, как над... недостаточно сильными мужчинами: какой же, дескать, ты самец, если даже продажною женщиною не можешь овладеть без возбуждения красотой? Нигде мы не чувствуем себя живыми машинами пола в большей мере, чем на Средиземном юге. Ну, и только действовала бы машина, а раз действует, то эстетические соображения — второстепенность, это — для прихотников и расточителей, швыряющих деньги, как сор. Вы видели вчера Мафальду. Как вам показалось это чудовище? Однако у нее есть свои гости, и между ними я могла бы назвать несколько крупных коммерсантов, с годовым доходом в десятки тысяч франков, которые идут к Мафальде, а не к... ну, хотя бы к Ольге Блондинке, которую вы тоже знаете, только потому, что Ольге надо заплатить двадцать франков, а Мафальда довольна будет и десятью. Я вам искренно говорю: нет такой противной женской твари, которая не могла бы торговать собою в этой стране красоты и не нашла бы покупателей. А если бы вы видели, какими прелестницами обслуживаются провинциальные итальянские городки. То, что Милан, истаскавши до совершенной непригодности, вышвыривает вон, как грязную тряпку, подхватывают Александрия, Тортона, Брешия. У меня во Флоренции была девчонка на посылках: горбатая, косая, хромая, с рожицей обезьяны и в копне грязнейших волос, из-за которых и пришлось ее уволить, потому что вечно я боялась, что с нее переползет на меня зверюка какая-нибудь. Прошло пять лет, и я встретила мою Миреллу в галерее, одетую, как барышня. Оказывается, что все эти пять лет она «работала» в Эмполи, — это маленький городишко в Тоскане, узловая станция от Пизы на Флоренцию и Сьенну, — и настолько нажилась, что вот, слава Богу, выходит замуж за альбергаторе и открывает вместе с ним свое собственное заведение. А Эмполи, к слову сказать, как вся эта часть Тосканы — холмы

Сьенны и Val d'Elsa * славится красотою своих женщин и чувствительностью своих мужчин. Что поэтов оттуда вышло! художников! артистов!.. То-то вот и есть. Все эти здешние Ромео таковы. Серенаду поет пред окнами Джульетты, а, напевшись, отправляется far l'amore к Мирелле и нисколько не смущается тем обстоятельством, что у нее одно плечо выше другого и одна нога короче другой, и не только на Джульетту, но даже на человеческое существо-то она еле-еле похожа... Как в них все это совмещается, — сколько лет с ними живу и путаюсь, не пойму. Должно быть, надо особую душу иметь.

XIV

— Скажите, Фиорина, — начал Матвей Ильич, когда автомобиль остановился на Corso и высадил седоков своих у лучшей миланской Tea Room **. — Скажите, Фиорина: вот вы отрицаете возможность широкой организации торговли проститутками, а между тем об этом сейчас все говорят и пишут; в Америке — это парламентский вопрос, разоблачаются целые тресты...

— Я в Америке не была и не знаю, как там. Читать в газетах и слыхать приходилось ужасы. Да я и для Европы не отрицаю совершенно сообщества и соучастия торговцев живым товаром, но одно дело — сообщество, хотя бы самое широкое, а другое — коммерческая организация, синдикат, трест, как вы говорите.

— Однако вы сами говорите, что огромное большинство торговцев живым товаром и агентов их знают друг друга?

— Боже мой! да какой же колбасник не знает, кто держит колбасную лавку в соседнем городе? Разумеется, зна-

* В долине Эльзы (*фр.*).

** Чайная (*англ.*).

ют. И сообщаются между собою. И женщинами меняются. Но все это не в грандиозных размерах, как пишут брошюрки и романы о белых рабынях, а самым что ни есть мелкобуржуазным манером — в тесной клиентуре, по соседству. Самые большие и широкие организации нашего дела я видела, — вы их знаете, — в России, в Петербурге. Здесь все это гораздо чаще, но мельче, — поставлено гораздо уже и теснее, по-мещански. Относительно же Америки у меня, когда я слышу, возникают сомнения вот какого свойства. Что торг туда девушками существует и большой, это несомненно. Но так ли он многотысячно велик, как о том рассказывают и пишут, этому — трудно верится. Уж очень огромен должен он быть для надобности в трестах, а между тем лишь очень дробно может он быть обслужен. Капли, конечно, делают дождь, но — сколько же нужно капель! Притом, когда капли делают дождь, он становится заметен, а дождю, о котором мы говорим, именно то и надо, чтобы остаться незаметным. Не думаю также, чтобы он снабжен был миллионными капиталами, как не думаю, что из него возможно быстро сделать миллионный капитал. По-моему, и сколько могла я наблюдать, это дело типически розничное и выгодное только в маленьких размерах и для прибыльщика небольшой фантазии, рассчитывающего нажить на затраченный скромный капитал процент далеко не сверхъестественный, но больший и скорейший того, что он в состоянии сделать на месте. Миллион всегда найдет себе помещение и более приличное, и более доходное. Если миллионер зафрахтует несколько пароходов просто для перевозки гальки с итальянского морского берега в Аргентину, где камень — ценность, это ему, без всяких неприятностей, рисков, больших предварительных затрат, даст гораздо большие шансы, чем заокеанский женский рынок.

— Не понимаю, почему?

— По самой простой причине: вы посчитайте, что стоит доставить девушку в Аргентину, не говоря уже о расходах по

ее приобретению или заманиванию — словом, до парохода. Подобный товар ведь эмигрантским порядком не повезешь, иначе он в таком виде придет, что не найдет потребителей. Надо хорошо везти, хорошо кормить, хорошо одеть. Торговля запрещенная, за нею следят. Какие бы добрые отношения ни были у агента с пароходной компанией, ни один капитан не согласится принять на свой пароход настолько значительную партию женщин, чтобы она производила впечатление стадное — живого товара. Да если бы и согласился, это значит — иметь в каждом порту полицейские скандалы, которые — даже в том случае, когда будут кончаться благополучно, — обойдутся дьявольски дорого. Вообразите себе, что вы везете пять женщин, ну, десять, из которых каждая обошлась вам со всем: с ее приобретением и перевозом, даже только в две тысячи франков. Это я кладу самое малое. В Буэнос-Айресе вы должны будете или поручить их другому комиссионеру, или быстро сбыть. В том и другом случае вы теряете. Быстро сбывать — дешево отдать, поручить комиссионеру — уступить ему львиную долю прибыли. Ждать цен — трудно: живой товар не только ест и пьет, но и помещение ему нужно пристойное, и одевать его надо так, чтобы не ударил лицом в грязь. В конце концов, если за каждую женщину агент выручит 3000 франков, а это цена превосходная, то барышей он возьмет франков 500, — не более, а скорее и чаще, — менее. На пять, на десять женщин это составит от двух с половиною до пяти тысяч франков. Барыш как будто и недурной, но ведь это же, с возвращением, составит почти два месяца тропического путешествия и всяких рисков, не исключая желтой лихорадки. И сколько таких рейсов можно сделать в год? Ну три, ну четыре... ну, значит, заработок в десять, в двадцать тысяч в год. На маленький капитал — чего лучше желать, но разве это лестная приманка для миллионера?

— Однако в старину наживались же миллионы торговлею невольниками!

— Да, когда их можно было возить если не тысячами, то сотнями, причем на них не надо было ничего тратить в переезде, потому что они, как товар, сваливались в трюм. Этот двуногий скот, вероятно, приносил своим хозяевам выгоды много больше, чем четвероногий, которым и сейчас торгуют люди через Атлантический океан и тоже наживают миллионы. Потому что стоил он на рынке дороже, а места в трюме занимал вдвое или втрое меньше. Есть большая разница между тем, чтобы привезти на рынок тысячу рабов и получить за каждого из них по тысяче франков, и тем, чтобы привезти на рынок десять рабынь и получить за них даже по десяти тысяч франков, а таких цен не бывает никогда. И то, что я вам раньше-то считала, все брала очень широко и в преувеличениях.

— Странно! Читать приходилось совсем не то...

— Я знаю. Но подумайте сами. Жертвы международной торговли живым товаром — кто такие? Девушки из народа, с низов, так сказать, по преимуществу. Красавиц между ними очень мало вообще, а в международных транспортах в особенности, по тому же самому правилу, что я вам об итальянских проститутках говорила: если красавица, чем замуж выйти, продажною станет, так ее совсем не надо возить на рынок куда-то за тридевять земель в тридесятое царство. Она свою цену и в ближайшем большом городе оправдает. Значит, можно установить как общее правило: это — товар для массы, низший сорт. Что может заработать такая девушка в сутки? Двадцать-тридцать, ну сорок франков при особенном, праздничном счастье, ну вот там теперь юбилей и выставка, скажем — даже пятьдесят. Так, если хозяин платит за нее агенту 3000 франков, это значит: он, самое меньшее, даже при исключительном счастье торговли, два месяца должен возвращать только затрату свою, не считая того, что женщина обходится ему содержанием. А в большом портовом городе, — ну-ка, кто поручится, что привозная проститутка, два

месяца спустя по приезде, не очутится уже в больнице? Учтите характер рынка, цены и риск и увидите, что 3000 франков — сумма, которую, поклонившись, берут. Так что эти легенды о громадных деньгах, которые будто бы платятся за привозных белых рабынь, надо оставить. Это все равно — как прежде про Англию шла такая слава, что там какие-то лорды тратят безумные капиталы на то, чтобы покупать невинных девушек. Они и есть, и тратятся, но не так их много, и не так они безумно щедры, чтобы им принадлежал рынок. Если бы оно было так, то, я вам скажу, по-моему, надо было бы спасибо сказать, что оно так, а не хуже. Потому что, когда развратнику нужно истратить сотни фунтов стерлингов на то, чтобы купить невинность и гарантировать себя от судебных последствий, это еще половина горя для страны. А вот когда невинность сама предлагается к продаже за маленький золотой, как я в России видела, или за гинею, как вы можете в Уайтчапеле в любое время получить, — это чудовищный показатель, от которого не отделаешься рассуждениями ни о психопатии тех, кто покупает, ни о корыстности и порочности тех, кто продается и продает. Тут нищета работает, а — где много нищеты, разврат и не дорог, и становится общепринятым. Из предложений нищеты и растущего спроса на разврат выползает местная проституция, туземная. Ее конкуренцию тоже учитывать надо. Вон — читала я в газетах: немецкие проститутки митинг собрали и постановление вынесли — ходатайствовать, чтобы иностранкам было запрещено промышлять в Германии. Уж правильно ли, нет ли ходатайство, но, конечно, иностранки и туземные всегда друг другу мешают. Иностранка завидна туземным потому, что идет на рынке дороже, но настоящую свою высокую цену и иностранка, при туземках, взять не в состоянии. Потому что, — скажем, — когда есть выбор между пятью франками и франком, то пять франков еще иногда побеждают франк, но, если выбор между франком и десятью, то побеждает всегда франк. В Буэ-

нос-Айресе местная проститутка идет с гостем за пезету (98 сантимов). При такой конкуренции — может ли очень дорожиться проститутка привозная? Конечно, нет. А если нет, то дешевеет и она для хозяина, как закабаленная невольница, превращается в дешевый товар. Пятифранковиками-то три тысячи франков не скоро выберешь. За пятифранковым-то гостем погоняться надо, а то он к пезете уйдет.

— Вы опять говорите о низших классах проституции, — прервал ее Иван Терентьевич. — Но ведь в так называемых аболиционистских романах героиня — всегда интеллигентная девушка — гувернантка, лектрисса, — обманом затянутая в сети торговцев... Ведь не можете же вы сказать, что этого не бывает?

Фиорина возразила:

— Что это бывает, тому наилучшее доказательство — я сама. Бывает — и гораздо чаще, чем думают. Но опять-таки, с полной искренностью и даже с самообвинением, скажу вам, что бывает не так, как думают. Тут возможны два случая. Если сбившаяся с пути истинного интеллигентная девушка, под влиянием угроз, соблазнов, собственного раздумья и расчета, соглашается торговать собою, — вот как я согласилась, — то купцам живого товара нет никакого расчета делать из нее рядовую проститутку, а гораздо выгоднее превратить ее в оброчную статью, на положении, что называется, «камелии»: устроить ее содержанкою к богатому человеку, обязав сперва срочными векселями, либо — так, как меня держали в когтях наши питерские ведьмы, Рюлина и Буластиха, — эксплуатировать бережно, дружественно, на спрос богатого и тонкого разврата. Но если такая девушка энергично держится за свою добродетель и не может быть обращена в проститутку высокого разряда, скажем, в Милане, то я не знаю, какой расчет ее собственнику тащить ее в Буэнос-Айрес? Риска с такими привилегированными пленницами для торговца вдесятеро больше, расход на них тоже

много значительнее, а в конце концов, он должен сбыть ее не только, как рядовую проститутку, но еще и куда-нибудь в глушь, далеко от центров и возможности обратиться к консульской защите, — следовательно, лишь бы взяли, за — что дадут. Исключения, конечно, возможны и, может быть, бывали. Однако я — жертв обмана и жульничества, падших по насилию сводников и коварству сводниц, среди подруг моих знаю сотни и сама такова; но в благородную проститутку-узницу, насилуемую изо дня в день десятками гостей чуть не целые годы и, по очереди, чуть ли не во всех странах Европы и Америки — я, должна сознаться, очень плохо верю. По железным дорогам Европы и на ее пароходах кота в мешке тайно не провезешь, клетку с птичкой скрыть нельзя. А ведь если верить романам, то чуть ли не с каждым поездом везут какие-нибудь злодеи какую-нибудь узницу. Да ведь разинь только рот узница — крикнуть и позвать на помощь, — злодеям-то из вагонного окна или через борт прыгать надо, потому что публика растерзает их судом Линча.

Она подумала и оговорилась.

— Есть в Европе одно исключение: Константинополь и весь ближний Восток. Там, благодаря тайне гарема, действительно, черт знает, что можно делать с женщинами, и торговец живым товаром плавает там, как рыба в воде. В особенности часто страдают от проходимцев этих русские еврейки. Это — вечная история: является в Белую Церковь, или в Шполу, или в Умань какой-нибудь молодчик заграничного воспитания, в венских костюмах, столь модный, что уж и на жаргоне даже не говорит, тянет время в городке, будто обделывает какой-нибудь гешефт, а сам приглядывается к девицам покрасивее и, наконец, которой-нибудь делает предложение. Обыкновенно намечает так, чтобы у невесты сестра была тоже недурна собою. Затем — или предсвадебная прогулка, или свадьба и свадебное путешествие. Молодой супруг — такой добрый — не хочет разлучать двух любящих сестер, вели-

кодушно соглашается, чтобы младшая приняла участие в их поездке, берет расходы на свой счет: богач же! большой пуриц! Провожают его из местечка за границу, как царя Соломона во всей славе его... Затем об отъехавших ни слуху ни духу. А месяца через три-четыре родители узнают, что их дочери чудесно проданы в «гарем» в Смирне, Бруссе, Каире, Александрии, и — присылайте денег на выкуп! «Гарем» — это пустяки. Может быть, когда-нибудь и было, но давно. Нынешние турки осторожны с франками и путаться в темные истории не любят. «Гаремы», в которые попадают эти жертвы несчастья, просто публичные дома с восточною физиономией — для туристов, достаточно доверчивых, чтобы в обстановке «гарема» заплатить тысячу франков за женщину, которой, без этой обстановки, он не согласится дать и двадцать.

Фиорина засмеялась.

— Вы бывали в Константинополе?

— Нет, не случалось.

— Вот то город! Один в Европе... Что там с англичанами «жолифамщики» проделывают, — уму непостижимо.

— Кто?

— «Жолифамщики» — это наши русские моряки так прозвали тамошних «макро». Это — бич Константинополя. На каждом углу Перы вас подстерегает «жолифамщик». У каждого бойкого кафе вы замечаете сомнительных, — не то приличных, не то прямо из острога, — господ в фесках, с пронырливыми острыми глазками буравчиком и с готовностью за один наполеон сделать какую угодно мерзость — украсть, отравить, изнасиловать, что хотите. Это даже не наши рикоттары или парижские сутенеры, — это что-то хуже, «зверее». Они выныривают из каких-то подворотен, будто из-под земли; вы еще не видите самого жолифамщика, а уже голос его шепчет над самым вашим ухом: «Volez vo jolli femme?» *

* «Хотите хорошенькую женщину?» (*искажен. фр.*).

Если его отправляют к черту, он не смущается — и лишь переходит на тот язык, по-каковски его обругали. Обругают на другом, и он на другой, обругаются на третьем, — на третий. Говорит на всех диалектах одинаково скверно и одинаково бойко. Нет формы разврата, которой не предложил бы вам жолифамщик — и, что всего курьезнее, вовсе не тоном змия-искусителя, нет, наоборот, самым деловым, озабоченным, арифметическим, можно сказать, тоном:

— Я видел, синьор, что к вам подходил Яни. Пошлите его к черту: это грязная дрянь, дурак. Что он знает? Что у него есть? Вся его клиентела — три паршивые гречанки, из которых у одной, — клянусь святою Ириною! — злейшая чахотка, а у другой муж-шантажист и любит делать скандалы... Что касается третьей, то не поздравляю я ваших детей, синьор, с наследством, которое вы им оставите, если близко познакомитесь с этою особою. А я, синьор, я моих клиенток даже не хвалю! Я только говорю: пойдите и взгляните. Да! И вы тогда поймете, какой человек Насто, и не захотите знать никого другого. И я не прошу никаких денег: деньги — если синьору что-нибудь понравится, деньги после. Пусть синьор только взглянет... Отчего вам не взглянуть, синьор? Ведь это вас не разорит — взглянуть ничего не стоит.

Люди беспардонные и опасные. Если вы не ищете приключений, то их надо обходить далеко; глухое молчание в ответ на их жужжащий шепот над ухом — единственное действительное средство от них отвязаться. Он лопочет, а вы молчите, молчите. Отстанет. Разве что дерзость скажет вслед. А уж если вы плотию слабы и пойдете на соблазны жолифамщиков, то надо с ними держать не только ухо востро, но и кулак, и револьвер наготове. Следуя за этими волками в их трущобы, как раз попадете в ловушку, откуда выйдете либо без кошелька и часов, либо вовсе не выйдете, либо придется, в счастливом случае, прокладывать себе дорогу револьвером. Так как главный элемент,

на который рассчитывают константинопольские мерзавцы, торгующие живым мясом, — восточные человеки: греки, персы, армяне, левантинцы, — то и главный товар жолифамщиков — несовершеннолетние девчонки. Их дрессируют на «ремесло» с семи-восьми лет и — лет в одиннадцать — продают и пускают в дальнейший оборот. Проститутки двенадцати-тринадцати лет — самое обыденное явление в Константинополе. И такое преждевременное развращение детей даже не преследуется ни полицией, ни законом. Да и у самих-то этих несчастных — ни малейшего стыда и сожаления к себе. Напротив. Жутко вспомнить, какие сцены видать приходилось. На одной лестнице с моею квартирою такой притон был — для малолетних. Там дальше четырнадцати лет не держали: старуха! — перепродавали в Галату, в низший разряд. Придешь к ним, бывало, — сердце вчуже надрывается: словно детская, дортуар приходской школы какой-нибудь... В куклы же играют! вы поймите... И в то же время вот этакая десятилетняя крошка, с глазами, как кофейные чашки, разыгрывает роль премьерши, знаете, этакой и бесстыдничает, как взрослая, и полна самодовольнейшей гордости собою — тем, что «я уже женщина...» Хвастовство пороком — без всякого цинизма, а скорее наивное: вот, мол, какая я умница! si jeune et si bien dêcorbe!.. * На севере, даже и у нас в Италии, где этот порок тоже свирепствует, — видели же вы вчера маленькую Аличе! — я ничего подобного не наблюдала. Здесь все-таки понимают, что преждевременно начать свою половую жизнь для женщины великое несчастие, которое не пройдет даром ни для души, ни для тела. Там — словно знак отличия! В европейской малолетней проституции только совсем отчаянные и одичалые не несчастны — если не открыто, то хоть в глубине души. Малолетняя проститутка-левантинка — маленький зверь, которого только корми слас-

* Так молода и так хорошо вознаграждена!.. (*фр.*)

тями да одевай поярче, и — делай с ним, что хочешь: ему все равно! Если вы видите несчастное лицо, знайте почти наверняка, что это пленница, то есть случайно заманутая в притон хохлушка или еврейка из Одессы, болгарка, македонка... Постоянный же контингент таких отравленных, загубленных бедняжек пополняется преимущественно гречанками и армянками. Современное армянское разорение бросило в ряды проституции множество женщин и детей из Азиатской Турции. Вот и моя Саломея этак-то завертелась. Отца и мать в Сассуне зарезали, а тетка продала...

Этот Насто, жолифамщик, которого я вам сейчас помянула, был парень прелюбопытный и находчивый. Он одно время работал при нас и рассказывал о себе вещи самые удивительные. Когда не везло и не было торговли, не унывал.

— Это, — говорит, — ничего, дурная полоса. Не первую переживаю. Зато, как привалит счастье да выпадет куш, — так целый месяц потом живу барином. Случается: дастся фортуна в руки, — вот и обеспечен на всю жизнь. Живи в своем конаке, принимай гостей, играй в рулетку. Жизнь — лотерея, M-lle Фиорина!

И что же? Выждал своего. Таки попался на его крючок богатый англичанин. Однажды приходит взволнованный и просит нашей помощи — от меня, Саломеи и еще одной. Дело в том, что клиент его, почтенный мистер Джон Буль, начитавшись Байрона, пожелал во что бы то ни стало иметь романическое приключение в гареме, Насто, глазом не моргнув, пообещал:

— Можно.

А надо вам сказать, что это столько же можно, как укусить самого себя за ухо или поцеловать собственное темя. Но Насто тотчас гениально придумал все. С англичанина он содрал 150 фунтов — половину вперед, нанял за два меджидие на три дня какой-то заброшенный домишко в Стамбуле,

меблировал его в восточном вкусе, то есть завалил полы вдоль стен мешками с сеном, покрытыми коврами, взятыми напрокат, — вот тебе и «гарем»! А женщин изобразили мы: я, Саломея и та третья, да негритянку из Скутари он привез для couleur locale *. Все мы получили по сто франков и были очень довольны. Только очень было смешно. Особенно, когда Насто привел англичанина, переодетого в женское платье и с завязанными глазами: строжайший же секрет! Англичанин, желая выдержать восточный характер приключения, не обратил ни малейшего внимания ни на меня, ни на ту третью, — не достаточно азиатскими мы ему показались! — и всю свою нежность направил на Саломею, причем с искренним восторгом принимал ее армянские любезности за арабский язык... Хохота нам было потом на много дней.

Не утерпел Насто, разболтал свою удачу. Яни, его соперник, сподличал, — донес об его плутнях милорду этому глупому. Что же вы думали бы? Англичанин не только не пожалел истраченных денег, но, встретив Насто на Rue de Pera, даже не побил его палкой. Насто — вот прохвост! — прикинулся, что он совсем уничтожен великодушием милорда и собственною подлостью.

— Милорд! — говорит. — Я не могу так. Не хочу, чтобы меня мучила совесть. Вы слишком хороший человек. Я устрою для вас то, чего ни я, ни кто другой еще не устраивал для европейца. Те деньги ваши, к сожалению, уже погибли. Но угодно вам заплатить ту же сумму вторично — с тем, чтобы, на сей раз, побывать уже в гареме настоящем?

Англичанин говорит:

— Очень угодно. Только в настоящем.

— Вы будете в настоящем гареме! Но, милорд, одно условие: немедленно затем вы уедете из пределов Турции, потому что скрыть этого преступления нельзя, и вы будете

* Для местного колорита *(фр.)*.

зарезаны, даже хотя бы прятались за стенами британского посольства.

Англичанину то и мило. Итак, Насто дал ему честное слово, взял с него вторые деньги и... повторил с ним ту же проделку, только в другой части города и с другими женщинами. Англичанин уехал на родину, счастливый и довольный, а история его и посейчас притча во языцех и любимейший анекдот константинопольских гидов, макро и женщин.

XV

— Как я вам уже говорила, я приехала в Константинополь большою барыней, с англичанином, которого я спасла от ножа своего рикоттара и который, в благодарность, едва на мне не женился, да я струсила и сбежала от него... Вот тогда-то Насто и подхватил меня, и пустил в оборот. Не думайте, что он был моим любовником. Для этого он был слишком восточный человек. В его clientelle *, как это там у них, левантинцев, говорится, было до десятка женщин, и ни с одною из них он не состоял в близких отношениях. В Константинополе, как вообще в восточных городах, к которым в этом случае я отношу и Неаполь, самая выгодная на рынке живого товара, — торговля мальчиками. Однако Насто никогда этим делом не промышлял. Вы думаете: по совести? сознавал, что мерзость? Нет: ревнив очень был и влюбчив. Собственная супруга его, препротивная ханжа-гречанка, ставила ему рога чуть ли не со всеми монахами из Фанара, — он и глазом не вел. А тут не мог агентуру вести: сам влюбится и уже ревнует уступить клиенту. Все, что он с нас зарабатывал, уходило в Галате и Стамбуле в кофейнях-притонах с мальчишками-кофеджиями. В Пере наживется, в Галате спус-

* Клиентура (*фр.*).

тит. Отобьет у Яни богатого клиента, а что с клиента выручит, — глядишь, — тому же Яни заплатит за знакомство с персияшкой каким-нибудь или сартенком с глазами черносливными. На этой страсти своей и пропал. Зарезал его матрос один, сириец, в ревнивой драке.

Для нас, женщин, Насто был очень приятный агент именно тем, что деловой. Он видел в нас только товар, который ему поручено продать, и относился к нам именно, как комиссионер к фирме, для товаров которой он ищет покупателей. Привел гостя, получил «валюту», отсчитал свой процент, получил по чести причитающееся и затем — никаких претензий. Был очень вежливый, исполнительный, позволял обращаться с собою немножко сверху вниз. Мы, знаете, это любим — барынями и хозяйками себя чувствовать, знать, что мы не на самом дне мира и есть еще в обществе люди, с которыми и мы можем поговорить повелительно, послать, приказать. Этим-то вот свобода хороша, от этого-то, бывало, и не идешь в закрытый дом даже в тяжелые дни, хотя там и сыто будет, и нарядно, и с полицией спокойно, и унижений уличной охоты за вашим братом, мужчиною, не испытываешь. Пока я на улице, я — какова ни есть — личность. На меня может фыркать лавочник, может строить мне злые рожи встречная ханжа, меня могут не пустить в хороший ресторан, могут бросить мне вслед грязное слово с трамвая, могут травлю на меня целую устроить... Со мною не бывало: у меня наружность не вызывающая, а из товарок кто не переживал! Есть целомудренные кварталы, куда мы, бедные, хоть не показывайся — не то, что для промысла, а даже просто случаем... Всегда найдется благочестивая дрянь, которая мальчишкам пальцем на тебя ткнет, и — полетели грязь и камни, а если струсят, то тянется за тобой длинный хвост детворы, и поет, и орет на все звериные голоса разные слова скверные... Еще недавно я Ольгу из такой переделки выручила. И — знаете: оскорбительно это безобразие бесконечно, но, право, еще больнее было видеть

и слышать, как дети, невинными губками своими, в неведении, такую грязь изливают, что сутенера стошнит, — а взрослые буржуа и буржуазки хохочут и уськают: «Так ее! еще! еще! молодцы-ребята! Alla putana! Halloh! alla putana!»*

Но как бы то ни было, покуда я на свободе и сама по себе, я равна всем, и обидеть меня можно только в той мере, поскольку я имею бесхарактерность стыдиться своего промысла и считать себя в нем виноватой, — не умею защищаться и осадить нахалов. Но в закрытом доме я сразу — не человек. Добрые ли хозяева, злые ли, обращаются ли зверски, стараются ли вести дом ласково, это — все равно, в конце концов, для женщины, которой природа не отказала в способности думать о себе. Есть вещи там, которых ни нарядным платьем не завесишь, ни сладкою пищею не заешь, ни музыкой не заиграешь, ни ласковыми словами не заговоришь. Когда вы читаете романы о белых рабынях, особенно старые, хозяин или хозяйка — всегда дикие звери, их помощники — изверги и мучители, прислуга — палачи. Это предрассудок, устаревшее обобщение. Это и бывало, и бывает, и будет, но не это главное. Я знала такое чудовище, как Буластиха. Ей доставляло наслаждение хлестать нас, заключенниц ее, по щекам ни за что ни про что — так просто потому, что ладонь жесткая, а щека мягкая; она, издеваясь над виноватой «барышней», зернистую икру грязною ногою месила и есть заставляла. Но ведь это уже аномалия, тут распущенность и самодурство к психической болезни близки. Это — одичание от власти. Подобные чудовища не в одной этой профессии свирепствуют, а всюду, где полудикий человек получает неограниченную власть над ближними своими. Что в каторжных тюрьмах делается над заключенными, когда у начальства руки развязаны, — дескать, беречь очень не надо: выживут так выживут, а не выживут, туда и дорога?!

* «...Шлюха! Эй! Шлюха!» (*фр.*)

Я так давно из России, что уже не могу иметь своих впечатлений от ужасов, которые газеты рассказывают о тюрьмах в Сибири. Но я знала и знаю многих, прошедших французскую каторгу. Это — не жизнь, а страшный бред. Мне кажется, что человек, прошедший такую нравственную и физическую муку, по ее окончании, имеет только два исхода для своего самосознания: или он должен вообразить себя святым, или — что он за все свое дурное, что есть в нем, расплатился пред обществом с лихвою, расквитался, и теперь ему все позволено, и нет никакого преступления, никакого греха, которые перетянули бы на весах совести перебытую им муку... В мирке парижских девок тюремные птицы вообще, а бывшие каторжники в особенности — первые, так сказать, женихи, любимые мужчины. За ними гоняются, принадлежать им честью считают, даже и на лицо, и на возраст при этом не обращают внимания. Что ж это — развращенность, что ли, особая, охота романтическая побывать в объятиях человека, который видел кровь на руках своих и носил ядро на ноге? Нет. Бахвальство, которое создает между нами сутенерскую аристократию, тут разве что на втором плане. Видала я, как с бывшими каторжниками сходились женщины, к бахвальству этому положительно отвращение питавшие, преступление было для них ужасом, тюрьма — горем и позором, и идеалом сожителя имели они. далеко не апашей бродячих, а этак — рабочего хорошего, чтобы ровно и постепенно зарабатывал франков десять в день, умеренно пил, обладал вкусом к домашней обстановке, хоть и дешевенькой, и в обрез, но — en bon bourgeois *. И вдруг вместо того — заокеанская птица! Или алжирец из военной тюрьмы либо тулонский заключенник. Спросишь этакую неожиданную:

— Как это тебя угораздило?

* В добротном штатском *(фр.)*.

— Ах, если бы ты знала... Это такой замечательный человек!

И, действительно, сколько ни знавала, сплошь — замечательные, исключительные люди. Злодей ли, святой ли — все равно: не такой, как все, какой-то особой породы, высшей, необыкновенной. Такой, что вынесла страдание, которого обыкновенный человек вынести не может, и не сломилась, не согнулась, осталась сама собой. И, если хотите, все ужасно друг на друга похожи. Когда я вертелась в Париже, у нас в Гренеле был в большой моде апаш один, — так и звали его le beau de Grenelle, Эмиль, Гренельский красавец. Любовниц у этого Эмиля было полквартала, слава о нем прямо-таки, как Сена, к морю текла. Дуэлей товарищеских — чуть не дюжина, и не без покойников, участвовал в разгроме виллы в Boulogne sur Seine*, ходила легенда, что в вагоне Ceinture** он обобрал, удушил и выбросил на рельсы богатого «раста», а сам спокойно доехал до Gare Saint Lazare*** в том же самом купе — еще через две остановки, и, как ни в чем не бывало, ушел, даже никем не заподозренный... Всеобщее поклонение! Кумир квартала! А моя подруга Адель жила тогда с Гильомом Вилье, поворотником из-за океана... И вот один он, дядя Вилье, от Эмиля этого совсем не был в восторге.

— Не настоящий парень.

Спросим, бывало:

— Помилуйте, дядя Гильом. Чего же вам еще? Неслыханной удали молодец...

— Что удаль! Молодость! ее у всех молодых, если не вошь, много... На свободе — кто не удал? Вот — как он в тюрьме будет, и что из него тюрьма сделает... Характеры тюрьма показывает, а не воля.

---

* Название местности (*ит.*).

** Название окружной железной дороги в Париже *(фр.)*.

*** Название местности (*ит.*)

Так что решили мы даже:

— Завидует старый хрен Эмилю, а, может быть, и Адель свою к нему ревнует...

Однако что ж бы вы думали? Проходит с месяц времени, — попадается наш красавец Эмиль на пустой какой-то краже, — берутся за него молодцы мосье Лепина, распутывают по ниточке клубочек его прошлых прикосновенностей... Определенного ничего нет еще, но впереди как-то начинают брезжить, вроде привидения, столбы гильотины и грациозная фигура мосье Дейблера... И вдруг — по Grenelle, в Бельвиле, Мальмениле ни с того ни с сего посыпались аресты, аресты... Что? Откуда? Ан — дело-то просто: струсил в тюрьме красавец Эмиль, шкуру свою чужими шкурами спасает, выдает...

Дядя Вилье спрашивает:

— Кто был прав? То-то. Я видел: глаза у него не те...

А у самого глаза вот какие были.

Привязался к его Адели некий Арно Желтые Перчатки. Малый ростом косая сажень, сила страшная, характер дьявольский, фанаберия непомерная, репутация не хуже, чем у красавца Эмиля, и при этом еще сказать надо, что, не в пример Эмилю, дядя Вилье считал Арно настоящим парнем. Адель уж и не рада, что подобную победу одержала: и пред дядею Вилье неловко, и боится Арно обидеть, оттолкнув, — этакая сила во всем сутенерстве, шутка ли, какого врага наживешь... Так вот — однажды сидим мы компанией — Адель, я, мой тогдашний, дядя Вилье, еще двое-трое — под навесиком кафе у Бельфорского льва, пьем оранжад и очень все благодушны. Вдруг — Арно с двумя товарищами... К столику — и ну задирать Адель. Та — между двух огней — не знает, куда ей деваться, хоть сквозь землю провались. Мой — большой забияка! — нащупывает уже, на всякий случай, кастет в кармане и бурчит: «Этот свинья напрашивается, чтобы ему кровь пустили», — а те

два апаша, — нарочно ведь Арно их как свидетелей привел, — хохочут, вызывают, подмигивают... А дядя Гильом один — будто дело его не касается — спокойненько сосет себе оранжад через соломинку... и, снизу вверх, от стакана-то, посматривает на Арно... И как увидала я, каким взглядом он на Арно посматривает, честное слово, говорю вам: жаркий июльский вечер был, тротуары раскаленные, а меня лихорадка ударила... Словно, знаете, он гробовщик и с покойника мерку снимает... Наругался Арно, набахвалился, отошел, наконец, с болванами своими. Вилье на прощанье очень вежливо шляпу свою приподнял... Посидели мы в кафе с полчаса и пошли себе парами, каждый к своему дому. Я тогда жила близехонько к тюрьме Santé... Мой — он был парень хороший, только глуп очень, — говорит мне:

— Ну, не ожидал я от дяди Гильома... Может быть, поихнему, заокеанскому, это почитается тактом, но у нас, в Париже, самый желторотый птенец назовет трусостью.

А я молчу, потому что видела и не могу забыть взгляда дяди Гильома.

Послезавтра утром, по обыкновению, беру от консьержки «Matin» *: здравствуйте! готово!.. Найден близ парка Монсури, под насыпью Ceinture, труп с свежими ножевыми ранами на груди, в котором полиция признала опасного апаша Артура Белэ, более известного под кличкою Арно Желтые Перчатки. Погиб, по-видимому, жертвою товарищеской дуэли. Производятся энергичные розыски.

Даю газету своему:

— Это как у вас называется? Трусость или такт?

Побледнел.

— Вот старый черт! Теперь пойдет каша... Как бы и нам не влететь?..

Адель пришла. Как привидение.

* «Утро» (газета; *фр.*).

— Слышали?

А мы изумляемся.

— Вы еще на свободе?.. А дядя Гильом?

— Спокойно сидит дома, чинит сапоги...

— Да он знает, что уже есть в газетах?

— Я показывала.

— Ну?

— Он прочитал и сказал...

— Ну?

— Сказал: «У этого молодого человека был дурной характер, но умер он молодцом». — «Откуда тебе знать, как он умер?» Показывает на газету: «Здесь же напечатано — с ножевыми ранами на груди...»

Так и исчез из мира сего бедняга Арно, а как исчез — о том знает дядя Гильом Вилье да четыре свидетеля. Дядю Гильома полиция даже не беспокоила по этому случаю, — настолько он был вне подозрений и окружен, как стеною каменною, прочным alibi. Сказать по правде, в подобных делах молодцы мосье Лепина не очень усердствуют. Потому что — если апаш апаша не будет уничтожать, то куда же их девать? Они множатся гораздо скорее, чем исчезают... У них там однажды на Бельвиле настоящая война была между двумя партиями. Три дня дрались, как черти. Полиция только с тротуаров смотрела, ухмылялась да подбирала убитых и раненых. Пусть, мол, зверь ест зверя, а то стало тесно в лесу. Так вот и между Гильомом и Арно. Адель после того ходила гордая, как царица какая-нибудь, потому что перед нею все шляпы снимали и глядели на нее во все глаза, будто на диво некое: еще бы — подруга такого человека! Между обидой и расплатой ножевой двадцати четырех часов не стерпел!

Так вот видите ли: каторга четырех уморит, троих сделает сумасшедшими, одного подлеца выработает, продажного труса, который целует руку, его секущую, зато уж остальной

один, который ужасы ее железною волею и каменным телом, не поддавшись, умел выдержать, выходит в жизнь обратно существом, наверное, необыкновенным. И откуда только у него власть над средою своею берется? И не ищет он ее, а сама она к нему со всех сторон ползет... Вот тоже, когда я в Сицилии была. Все старики с репутацией maffioso — либо каторжники, отбывшие срок, либо разбойники, попавшие под амнистию. В их руках — правый самосуд сельский, и уважение к ним в народе такое, что пред самосудом этим патриархальным кодексу правительственному приходилось свои параграфы отстаивать штыками и пулями карабинеров...

Но дядя Вилье увлек меня в сторону от того, что я хотела вам сказать о закрытых домах, интернатах наших проклятых.

Можно вынести свою личность из тюрьмы, из солдатчины, из рабства, из лакейства, но нельзя вынести ее — не видала я примеров — из публичного дома, если, конечно, не скоро спохватятся о жертве его люди и не вырвут ее у него прежде, чем он положил на нее свою неизгладимую печать. Только редко это бывает, и печать быстро кладется. Проведите предо мною сто незнакомых проституток, и я берусь вам безошибочно пальцем указать, какая из них никогда не была в публичном доме, какая была в нем месяцы, какая — годы... И говорю вам: это безразлично — при хороших ли, применительно, при скверных ли условиях. Количество: сколько плюх дается и чем бьют — рукою, резиною или мокрым полотенцем, только придает оттенки общей физиономии, а все черты ее и господствующий тон создаются убийством личности, тем, что в женщине умирает «я», и она, не занумерованная, начинает сама себя считать номером, а не человеком. В публичном доме женщины все равны между собою, потому что вне своей среды они не равны там никому. Хозяин, хозяйка, экономка, лакей, горничная, швейцар, кухарка — все они,

и господствующие, и служащие, — бесконечно выше ее. Она — не своя: вещь, товар, а горничная, которая будто бы ей служит, — своя, а кухарка, которая будто бы на нее обед готовит, — своя. Это все — сторожа, надсмотрщики, управители зверинца, а проститутка — зверь в его клетке. Когда сторож чистит клетку, зверь тоже, может быть, думает, что сторож ему, зверю, служит — так и проститутка в доме делает вид, что она барыня, а горничная — ее слуга. Но попробуй-ка она обратиться с слугою этою, как вольная женщина говорит, приказывает, распоряжается среди своей прислуги. Ей в глаза расхохочутся, ее позорно обругают. Пойди жаловаться к хозяевам, — тебя осмеют или еще прибавят, чтобы не привередничала. Не было такого примера, чтобы на хозяйском суде мало-мальски удовлетворительная горничная, — об экономках я уж и не говорю! — не была предпочтена, все равно, права ли, виновата ли, самой лучшей и полезнейшей из проституток. И нельзя иначе. Та вольная, своя, а эта — ручной зверь в клетке. Это все равно, что в зоологическом саду пума, зебра или лань стали бы жаловаться на сторожа, что он им не повинуется. Не где-нибудь в азиатской глуши, а в Вене, в самой Вене, хозяйки уполномочивают прислугу, если барышни лениво одеваются к вечеру и не торопятся в общий зал, выгонять их из комнат кулаком и коленом. В Кракове одной моей подруге немка-горничная рубашечку, узкую не по фигуре, сзади заколола булавкою французскою. Та потянулась — крах! булавка расскочилась, рубашечка расстегнулась... Так та — зверь — так рассвирепела, что снова приходится застегивать, что — чем в материю-то, булавку в тело воткнула. Ну за это, конечно, ее наказали. Так ведь и в зверинце сторожа наказывают, если он льву хвост железною дверью прищемит или, по небрежности его, орел без глаза останется. Не потому, что льва или орла жаль, а потому, что бесхвостый лев и безглазый орел — какой же это товар, какая это приманка для зверин-

ца? В хороших заведениях принято, чтобы sous-maitresses * и женская прислуга, если даже набираются из старых проституток, то уже не работали бы, не принимали бы гостей. Иногда это только обычай, но в иных городах за этим и полиция следит. И вот оказываются они как бы монашенками — это среди нашей-то развратной, дразнящей атмосферы. Ну и разрешается эта корректность сдержанная, — извините за откровенность, — в однополую любовь. Это жесточайший бич всех подобных интернатов здесь на Европейском Западе. Странно, казалось бы, употреблять для отношений подобного порока слово «насилие», однако оно постоянно из насилия возникает, — из насилия над всею жизнью, всею обстановкою твоей, такого мелочного и донимающего насилия, что терпит-терпит девчонка несчастная, да и решает про себя, что уж лучше подчиниться насилию физическому, все будет легче и не так тошно жить. И никогда ни одна хозяйка за вас не заступится. Во-первых, — потому, что две трети из них сами такие же. «Madame a des passions!» ** — это почти первое, о чем подруги в интернатах предупреждают новенькую. Во-вторых, все подобные связи им выгодны: девицы дома больше сидят, в буфете больше забирают и глубже лезут в долги. В-третьих, очень часто этакая sous-maitresse или привилегированная служанка прямо-таки выговаривает себе, поступая на место, права эти, иная даже идет на худшие условия, лишь бы хозяйка не вмешивалась в ее отношения с девицами и позволила бы ей пасти свое стадо, как она сама знает и желает. А вы знаете, что, где есть властный насильник, там сейчас же ему подражатели находятся, сортом пониже, в самой угнетаемой среде. Становится порок модою, бахвальством, признаком сильной, превосходящей подруг

---

* Надзирательницы (*ит.*).

** «Мадам-страсть» (*фр.*).

натуры. А жертвам стыдно своего унижения, и они также делаются развратительницами, втягивают в порок других, чтобы не быть в нем обособленными, чтобы все в одном стыде барахтались и ни одна не была бы лучше другой. А потом — вы этому едва поверите, как нашей сестре, мужскою грубостью измученной, нежности хочется, ласковой привязанности, душевных любовных отношений, которые бы сердце твое грели... Ну и сочиняем, фантазируем, грезим... играем в сны наяву!.. Письма сами себе пишем, мальчиками рядимся, приятельниц мужскими именами зовем... Если не вырвали проститутку из промысла в ранние первые годы, как она пала, — то к тридцати годам, а то и к двадцати пяти, это будет, как почти непременный закон... Разве проститутка может сохранить веру, уважение и нежность к мужчине после вот хотя бы моего опыта? Все, которых мы видим, — скоты, огромное большинство — негодяи, а маленькое число не негодяев — значит, дураки, юродивые болтуны, слюнтяи, кривляки. Что к ним можно чувствовать? Хорошо, коли у женщины характер легкий, и возможно ей равнодушием оградиться. А много из нас беспокойных, которые день и ночь горят ненавистью и презрением, — ну и сгорают... Иные долгое время мальчишек жалеют. Потом и это проходит. Все равно ведь: не книзу растет, а кверху, — значит, год-другой, и такой же скот из него будет, как батька и дядька! И вот мужчина вычеркивается из души — отставляется в тень промысла, он — чужой, мы смеемся над теми, которые сохранили способность увлекаться новыми интересными гостями и охоту играть с ними в любовь. Мужчина опостылел, а место, с которого он ушел, в жизни пусто осталось и требует заполнения, — и, понятное дело, ровня ищет ровню, — и приходит на пустое место подруга, и тогда не одинокой себя чувствуешь, и легче жить... Но, само собою разумеется, что отношения, которые скрашивают жизнь в любви и дружбе, — становятся ужасом и страданием, когда обращаются

в обязательства рабства. А в интернатах это — из дома в дом и каждый день! Разве что, счастьем, у хозяйки супруг в торговое дело вмешивается: мужчины, обыкновенно, к порокам этим суровы и преследуют их с жестокостью... Так вот вам, в коротких словах, что готовит женщине интернат со стороны своего же пола. О мужском персонале я уже и не говорю. Для всех мужчин, причастных к интернату, его женщины — безотказный даровой гарем. А главное: дерутся эти скоты безжалостно. Смею вас уверить, что, когда эти несчастные, оттуда вырвавшиеся, говорят между собою о своем прошлом, то все их воспоминания сводятся к тому, что вот там-то больно дерется муж хозяйки, а там бы и ничего жить, да у швейцара рука тяжелая, а там хозяйка — ехидна, держит за лакея любовника своего, и от ревности наущает его драться походя... А повторяю вам: в европейских городах эти учреждения держат совсем не обязательно изверги рода человеческого, но очень часто — обыкновеннейшие буржуа, рассчитывающие обернуть свой сравнительно небольшой капитал скорее, чем в другой коммерции. Моя подруга Мальвина, полька из Познани, попала в Лейпциг в дом, хозяйкою которого была вдова очень известного пастора. Другая, Эльга, хорватка, мучилась в Франкфурте-на-Майне в доме госпожи, супруг которой был доктор философии и спился с горя, что не получил кафедры в университете. Эльга говорит, что он по воскресеньям читал девицам свои лекции, которым они все от души предпочли бы, чтобы уж лучше их секли или запирали в карцер. Примеров, что торговать нашею сестрою не брезгают люди интеллигентных классов, я наберу вам, сколько угодно. За это грязное дело только мы, бывшие проститутки, сравнительно редко беремся. А вообще-то хозяев и хозяек — уж каких только не насчитаю. Особенно во Франции и в Австрии. Читали «Набоба» Додэ? Там Жансулэ затравлен был Парижем и умер от позора, что его брат держал где-то на востоке веселый дом. Или это давние нравы, или Додэ целомудрию парижан

польстил очень. В десятках, а то и в сотнях французских состояний найдете вы такое начало, и не скажу, чтобы я слыхала про отказы от подобных наследств. Выгнанный провинциальный чиновник, отставной неудачник-военный, провалившийся адвокат, ошельмованный купец, вывернувшийся из банкротства с крохами состояния, а главное, — вдовы с капитальцем приданного или наследственного, от мужа, происхождения, который им хочется пристроить выгодно и верно, — всей этой саранчи вряд ли много меньше на нашем печальном рынке, чем грубых темных промышленников и промышленниц, выброшенных корыстною алчностью, как пена, из недр народа, из глубины городского мещанства или — как в Австрии, как у вас в России — из невежественных слоев местечкового еврейства. И у кого из двух сортов эксплуататоров женщинам приходится хуже, это — мудреная задача. Мещанка, крестьянка, еврейка выбрасывается в хозяйки со дна, выпираемая алчностью бедности, соблазненной наглядностями легкого и постоянно прибыльного торга. Бедность, конечно, забывается по мере обогащения и растления души позорными прибылями, но все же — остались в душе язвы от старого голода, безработиц, тяжелых дней. Люди забыли, что они люди, но они были когда-то людьми, и человечность нет-нет да и всплывет инстинктивно сквозь муть прожитого омута на поверхность души. На что уж лютая медведица была Буластиха, но и с тою иногда можно было по-человечески поговорить и было о чем поговорить. К беременным она была снисходительна, периодические болезни наши принимала в расчет. Свое тело когда-то страдало неволями и, хотя, найдя власть и силу, она измывается теперь над чужим телом, но, не ровен час, прикинет его страдания примерно к себе самой да сквозь самое-то себя, глядь, и пожалеет. Но какой жалости я могу ждать от образованного промышленника, который берется торговать мною не по невежественной корысти, не потому, чтобы он не ведал, что творит, а по спокойному логическому и математическо-

му расчету, что из моего тела он выколотит 25% на свой капитал, тогда как торговля кофе принесла бы ему только 12%, а частные бумаги — 6 — 8%, а казенное их помещение всего — 2%? Он не может и не хочет видеть во мне человека, потому что иначе и не посмел бы открыть свою лавочку. Ведь, открывая ее, должен же он был доказать себе как-нибудь правоту-то свою, — что он не против нравственности и общества действует, торгуя развратом, а только-де переступает через общественный предрассудок. Из невежественных хозяев я не видала ни одного и ни одной, которые втайне, про себя, не понимали бы, что они, по существу, мерзавцы и едва-едва терпимы человечеством по греховной его слабости. Из тех интеллигентных отбросов ни одного и ни одной, которые не окружались бы такими искусными самоизвинениями, что в подлости их выходили решительно все виноваты, — до продаваемых ими женщин включительно, — за исключением их самих.

XVI

— Милая Фиорина! Вы еще помните Пушкина?

— Поэта? Не знаю... может быть, и помню... А что?

— Я хотел напомнить вам монолог Дон Карлоса в «Каменном госте», обращенный к некоторой Лауре...

— Забыла. Вы знаете? Прочтите.

Матвей Ильич подумал, сморщил для памяти брови и заговорил:

— Ты молода... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя
Еще лет шесть они толпиться будут,
Тебя ласкать, лелеять и дарить,
И серенадами ночными тешить,
И за тебя друг друга убивать

На перекрестках ночью. Но когда
Пора пройдет, когда твои глаза
Впадут и веки, сморщась, почернеют,
И седина в косе твоей мелькнет,
И будут называть тебя старухой,
Тогда... что скажешь ты?

— Подайте реплику, Иван Терентьевич!
Москвич кашлянул и запищал нарочно фистулою:

— Тогда... зачем
Об этом думать? Что за разговор?
Иль у тебя всегда такие мысли?
Приди, открой балкон. Как небо тихо.
Недвижим теплый воздух; ночь лимоном
И лавром пахнет; яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере, в Париже,
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.
А нам какое дело?

— Нет, — перебила Фиорина, — это не так. То есть, может быть, и так для известного возраста, но я уже не могу так. «А нам какое дело?» — не скажешь в мои годы... Вопросы вашего Дон Карлоса, господин Бельский, каждый день в глаза мне глядят.

— «Тогда... что скажешь ты?» — повторил Матвей Ильич.

Фиорина опустила голову и слегка покраснела.

— Хотите непременно знать?

— Если позволите.

— Полную правду говорить?

— Если не тайна.

— Какая же тайна? Только неловко и совестно... Ну, да все равно... Вы понимаете... Говорят, знаете, что — кто сказал *а*, тот должен сказать и *б*... Когда женщина, как я, уже

не в состоянии продавать самое себя, ей остается продавать других женщин...

Русские примолкли. Фиорина, чувствуя тяжелое впечатление, которое произвели ее слова, виновато откликнулась:

— Извините за грубость, но вы требовали совершенной откровенности...

— Послушайте, Фиорина! — возразил Матвей Ильич, — неужели вы мало сами натерпелись от всевозможных Буластих, что не ужасен вам их промысел и вы хотите идти по их пути?

Фиорина мотнула головою.

— Нет, хозяйкою мне не быть. Для этого нужны деньги и характер, которого у меня нет. Ни я, ни Саломея не можем быть ничьими хозяйками, кроме себя самих. Нет, когда я почувствую, что кончено, стара, износилась материя, пора в хлам, то постараюсь устроиться в хорошее заведение где-нибудь в Париже или в Вене экономкою, или, как это француженки называют, sous-maitresse... Если не облысею и носа не потеряю, то в старухах, я полагаю, буду довольно почтенной наружности, одеваться умею, манеры имею, поговорить с гостями могу: меня в любой большой дом возьмут с удовольствием. Одно тяжело и не вподъем: в этой должности драться приходится... ну, на этот предмет у меня Саломея есть... Кого как велю, так того и стукнет...

— А без того, чтобы драться, никак нельзя? — с отвращением спросил Бельский.

— Не знаю... Может быть, и можно... Не видала я както, чтобы не дрались... Самое били, жестоко били...

Она подумала и продолжала:

— Без битья-то, пожалуй, можно, но надо, чтобы девицы не знали, что битье упразднено. Иначе ведь и дома не сдержать, на голову сядут. Я жила в Бухаресте у венгерки одной, была доброго нрава женщина и побоев в доме не любила. Но время от времени, раза два в год, нарочно придерется

к какой-либо из девушек и непременно за пустяк какой-нибудь, что и выговора-то едва заслуживает, и велит мужу или швейцару избить бедняжку без членовредительства, но и без жалости, больно, так, чтобы на весь дом ужас навести... И был, скажу я вам, порядок у нее в доме удивительный, девушки по струнке ходили, как куклы подвижные, потому что каждая хранила память об избиениях этих... Добра-добра, мила-мила хозяйка, а держи ухо востро, не ровен час, зацепишь ее, за пустяки кожу снимет...

— Какая мерзость!

— В мерзком деле чему же быть, как не мерзости?

— И вы еще говорите, что венгерка эта была добрая!

— Очень добрая и щедрая, участливая к женщинам своим, в работе не мучительница... Дело такое. Иначе нельзя.

— Да неужели нет других мер воздействия?

— А чем вы воздействуете? Стыдом?

— Хотя бы?

— Все наше дело такое, что, прежде всего, требует оно, чтобы женщина стыд позабыла. Позвольте спросить: каким стыдом вы смутите человека, которого ремесло — отказаться от стыда?

— Что же, вы верите в исправительную силу телесных наказаний?

— Нисколько. Чем больше бить человека, тем он хуже будет.

— Тогда зачем же вы защищаете хозяек?

— Я не защищаю, а говорю, что им иначе не справиться. По человечеству — жестоко и свирепо, а по ремеслу — не избежать. Ко мне доктор один ходит, психиатрической больницы ординатор. Я как-то раз его спросила: «А что, доктор, правда, что в сумасшедших домах сторожа больных крепко бьют?..» Он говорит на это: «А как вы думаете, Фиорина, есть на свете хоть один психиатр, которого бы никогда больной не треснул?..»

— Ну так что же?

— То, что человек, низведенный на положение зверя, кусается, как зверь, а зверя, который кусается, всегда бьют и одевают в намордник.

— В России психиатр, который прибил бы больного, будет опозорен на всю жизнь печатью, его имя сделается притчею во языцех.

— То же самое и здесь, конечно. Я о психиатрах и не говорю, а говорю о сторожах, сиделках и тому подобных. Человек интеллигентный, с воспитанною волею и выдержанным характером, может терпеть безобразия зверя долго и не отвечать на них, чувствуя себя выше зверя и помня его болезненность. Человек простой, невежественный, не дрессированный на выдержку, легче теряет терпение и хладнокровие и начинает укрощать огрызающегося зверя совершенно теми же мерами, что домашний скот: веревкою или цепью — для привязи, плетью и палкою. Как бы хорошо ни было поставлено психиатрическое учреждение, как бы за фельдшерами, сиделками, сторожами гуманное начальство их ни смотрело, но — если, скажем, больной повадится каждый день тебе в лицо плевать, то один раз сторож стерпит, другой — скрепится, третий — смолчит, а когда-нибудь и не удержится, даст в ухо. Ну, а лиха беда начать, — там уж и пойдет, и пойдет... Потому что вообще-то побои озлобляют и делают зверя еще зверее, но на момент действуют, запугивают: смирнеет зверь, боится стража и передохнуть ему от слежения дает. А человеку в такой каторжной работе момент передышки дорог.

— Хорошо. Но какое же отношение имеет это к жестокому обращению с проститутками?

— Как — какое, г. Бельский? Да люди, занимающиеся торговлею женщинами, кто же? профессора наук в университетах, что ли? литераторы и литераторши? изящные кавалеры и дамы избранного общества? Все это — человеческая дрянь, сравнительно с которою фельдшера, сиделки и сторожа психиатри-

ческих учреждений просто умственная и нравственная аристократия. Чего же вы от них хотите? Их, по их взглядам и понятиям, и к четвероногому-то скоту жаль пастухами приставлять, а они двуногий пасут. Видали вы, как скверный конюх вдруг, ни с того ни с сего, на лошадь с побоями набрасывается либо охотник собаку бьет, воображая, что ее учит? Ну вот вам люди уровня хозяев, хозяек, экономок и прислуги наших вертепов проклятых... Под одною крышею два мирка живут: один бьет, а другой за побои мстит исподтишка глупыми пакостями и опять бит бывает, и оба друг друга ненавидят и считают, что худшей породы людей нет на свете. Звериный актив и скотский пассив.

Фиорина пожала плечами.

— Вот — сколько я выездила мирок наш и знаю его, можно сказать, по всей Европе, но чего я никогда не слыхала и не видала, это — преступления со стороны девушек против хозяйки. Случалось наблюдать таких ведьм, что, заведись подобная свекровь в семье, самые кроткие и смирные снохи давно бы ее мышьяком обкормили: а наши — нет, ничего, терпят. И даже не боятся хозяйки подобных возможностей. В том же самом Бухаресте был случай. В десять часов вечера девушка на шелковом шнуре от халата удавилась и записку оставила, что — через злобу хозяйки, не будучи в состоянии более терпеть ее преследований; а в семь часов она с этою самою лютою хозяйкою — действительно лютою, анекдоты о ней из города в город переходили, — обедала за одним столом и очень мирно разговаривала о том, какое новое платье шить. Бывают, конечно, вспышки. Ну, одну румынку знала: не стерпев пощечин, с ножницами на хозяйку бросилась. В Париже хозяек недовольные девицы серною кислотою обливают. Слыхала, но при мне не было. Но все это сгоряча, как лошадь под хлыстом взбрыкнет, как собака бьющую руку укусит. Но предумышленных преступлений, по заранее обдуманному намерению, совершенно не знаю. Наше мщение всегда как-то не прямо работает, а все себя

задевает. В России, я слыхала, инородцы, когда хотят отмстить врагу, вешаются на воротах его дома. В Японии — распарывают себе живот. Ну вот наши мщения, по большей части, тоже из разряда харакири. Много моих подруг покончило так-то жизнь свою — кто от яда, кто в петле. Это — наши обыкновенные, излюбленные способы. Редко бывает, чтобы проститутка зарезалась либо застрелилась — особенно, в «доме»: револьвер-то разве у гостя достанешь: что же человека, ни в чем неповинного, под скандал подводить? Бритву тоже сперва надо выкрасть, наточить, шелком обмотать, — целая канитель подготовок... Если вешаются, то, конечно, это самоубийство — уже всерьез: тут, если даже и спасут, шутки плохи — значит, женщине, в самом деле, жизнь так опостылела, что больше нельзя терпеть, какая угодно собачья смерть — и та лучше. С гвоздем и веревкою не шутят. Но с нашатырем, соляною кислотою, серною кислотою, спичками, мышьяком, карболкою самоубийства распространены между нами прямо — как спорт какой-то. Из десяти подруг, с которыми я вечером встречусь в кафе, — я уверена, — сегодня ночью хоть одна непременно попробует наглотаться чего-нибудь такого, что отправят ее в приемный покой и госпиталь. Когда мы сходимся, наш первый разговор — об этих пробных самоубийцах, и они нас уже почти не волнуют. Мало волнует даже, когда женщина в самом деле отравится — так, что и ноги протянет: ну что — же? очередная! Промахнулась: большую дозу взяла. Глупо, жаль по человечеству, да ведь однажды когда-нибудь помирать-то надо. Сегодня ты, завтра я. И совсем не волнует, когда наглотается какой-нибудь дряни, аккурат, в меру, чтобы полиция вовремя пришла и доктора желудок вымыли. Сама три раза так травилась. Один раз — хватила laudano *: с обиды — уж очень больно любовник избил. В другой раз — нашатырем: обокрали меня в Пи-

* Препарат опия *(фр.)*.

стойе, осталась в чужом городе без денег, вещей, и туалета, и кредита, а, главное, чудеснейшее шелковое платье у меня пропало, в числе тех исчезнувших вещей, из Парижа вывезенное. В третий раз — просто жизнью заскучала. «Ну — что?» — думаю. Живу, живу. Дни похожи, как яйцо на яйцо, скучные, однообразные, противные, тошные. Сегодня мужчина, завтра мужчина, послезавтра мужчина. Вперед взглянуть, позади оглянуться: все — одно и то же и ничего не будет нового — ни лучше, ни красивее, ни умнее. Будешь ты сидеть в четвертом этаже старой бестии Фузинати, и будет из тебя Фузинати кровь пить и капитал твоим позором и тяжелым трудом наживать. Какое это существование? Ну и опять нашатырь... Проглотить недолго, а потом боли схватят, смерть испугает, за жизнь страшно станет, жить-то захочется, захочется... Ну и воешь, не своим голосом блекочешь, мечешься, плачешь, спасти требуешь... Никогда больше не буду!.. В животе огонь, а сердце звериным страхом на куски рвется, мочалится. Всех святых помянешь. Больше ни за что не стану! На здоровье тяжело отражается. У меня до этих трех отравлений желудок был — как у страуса: хоть камни и ключи дверные варить. А теперь я начала побаливать. И печень временами шалит, и женские кое-какие боли узнала, и также узнала по опыту, что и нервы у меня есть, и истерии я не чужда. Нет, игрушки эти своим здоровьем — себе дороже. Умирать так уж умирать, но шалить смертью больше себе не позволю. А из подруг — знаю — иные каждый год по два, по три раза травятся. Так, что уж и в госпитале-то к ним привыкли. Привозит «скорая помощь» Лину Узенькие Глазки, — доктор так и встречает: «А! синьорина Лина! Опять? Устали жить — отдохнуть захотелось? Что сегодня? Нашатырь или жавелевая кислота?..» Видите: если бы не страшные боли да не голодная диета потом, так оно ведь даже, если хотите, и в самом деле соблазнительно: лежишь ты в госпитале спокойная, чистенькая, ухаживают за то-

бою порядочные люди, как за своим братом, порядочным человеком, никто к тебе с мерзостями не лезет, с докторами, сиделками поговоришь — как будто и другой мир видишь. Хоть краешком, да зацепила чего-то новенького, освежилась, в давно забытое зеркало посмотрелась и горда, что еще остались в тебе человеческие-то черты. За семь-то либо за девять дней, что в госпитале проведешь, так-то ли душою отдохнешь; на волю выходить — точно из рая в чистилище. Дом твой — адом кажется, Фузинати какой-нибудь — царем Иродом...

Вот — судьба меня, каким-то счастьем, миловала от таких больниц... не болела я, знаете, по промыслу нашему, венерически, — а там вот нехорошо. Все подруги говорят в один голос. Страданий больших болезни эти не создают, а между тем женщина живет, чувствуя себя полною яда и заразы — стыдною для себя и опасною для других. Живет в изоляции, под запретом. На лечение ни времени в сутки, ни энергии много не тратится, а тянется лечение долго, все ведь в выжидательности проходит, а болезнь сама по себе работает, ни остановить ее, ни подогнать нельзя, — и потому скучаем мы там от праздности до одурения. А от одурения дрязги и гадости лезут в голову. Нигде так женщина не развращается, как в тюрьме уголовной да в венерической больнице. Иногда это жалости достойно смотреть. Не остережется девчонка какая-нибудь, схватит прелесть эту, еще не совершеннолетняя даже, ложится в больницу. Легла — только несчастною, вышла — дрянь дрянью: и лгунья, и воровка, и похабница, и уже непременно обзавелась подругою, которая ее совсем забубенною делает и на самое дно тянет. У нас, в Италии, после того как регистрация уничтожена, это еще не так остро, потому что вольно заболеваем, вольно и лечимся. Пока хочу — лечусь, не хочу — обозлилась, плюнула и вышла. А вы посмотрите, что во Франции. Там ведь эти больницы и лечебницы скорее какие-то санитарные тюрьмы, чем медицинские учреждения. Доктор — и врач,

и тюремщик, и полицейский следователь. Болезнь рассматривается как преступление, и, покуда больна, держат женщину, как заключенницу, в строгом отделении от всего остального мира, глаз на глаз только с такими же зараженными париями, как она сама. Положение унизительное, оскорбительное, скука адская, — ну и — как водится — где тюремный режим, там и тюремное бесстыдство, и тюремный разврат. В Париже девушку погибшею считают не тогда, когда она в проституцию попала: из этой пропасти трудно, но все же возможно вынырнуть. Но тогда — когда она попала в больницу с petite verole *. И опять-таки не из-за самой болезни. Напротив. Француженки на этот счет удивительные женщины. Они смотрят на болезнь, как на необходимое профессиональное зло, через которое надо пройти, как чрез привитие оспы, и, следовательно, чем скорее, тем, мол, лучше, чтобы войти в незаразительный период, покуда еще молода, хороша, добычлива и не успела увять. Ну и суеверия у них всякие, — будто ртуть при хорошем общем уходе идет не во вред человеку, но в пользу — очищает кровь, дает полноту и даже красоту. Так что пугает не болезнь, но полицейская необходимость лечения, пугает больница. Черт знает, чего не бывает там, в больницах этих. Если женщина не пила, — выйдет пьяницею, если была скромна, — выйдет сквернословкою, правдивую выучат лгать, откроют ей всякие противоестественные пороки и ухищрения, честную втянут в воровство... Дуэли там целые у них происходят. У меня была подруга Амина Кривая: потеряла глаз именно в этаком больничном поединке, — выколола соседка по койке, потому что обе влюбились в ординатора... а лучше всего, что обе друг дружку-то ревновали и даже на дуэли дрались, но он-то, виновник, того даже и не подозревал. Место сытое, праздное и отверженное. Что же там и остается еще женщинам, как не выдумывать друг против друга злые мерзости и не есть друг друга поедом?

---

* Оспа (*фр.*).

XVII

Corso синело вечерним сумраком, и вспыхивали электрические фонари, и окна ювелирных магазинов расцвечались пламенными вертушками «Тэта», когда Фиорина, сопровождаемая двумя русскими, покинула Tea Room, и опять запыхтел и заверещал автомобиль.

— Куда? — спросил шофер, повернув к седокам топоровидное лицо с дальнозоркими глазами.

— Приказывайте, Фиорина.

Она сделала гримаску.

— Если вы уже голодны, то опять к Кова...

— А вы?

— Я сыта на неделю!..

— Вечером вы повезете нас в какой-нибудь смешной театр.

— Да? В таком случае, я должна заехать домой переменить туалет... Предупреждаю вас, что это опять будет вам стоить денег...

— Это ничего, — возразил Матвей Ильич, — но я не понимаю, зачем вам переодеваться? Вы — и без того одеты прекрасно, а, сколько я замечал, в итальянских театрах публика демократическая и к туалетам не взыскательна.

— Затем, — возразила Фиорина, — что иначе я не имею права по договору с Фузинати. Если меня везут в театр, я обязана взять у него вечерний туалет.

— А если не возьмете?

— Все равно — придется заплатить, как будто брала, так что уж лучше в самом деле взять. Я люблю быть хорошо одетою.

— Кто этого не любит! — заметил Тесемкин, — но я только против того, чтобы вашему поганейшему Фузинати перепадали деньги, которые вы могли бы спокойно оставить при себе... Разве в ваших театрах нет закрытых лож? Мы могли бы сесть в такую.

— Что за удовольствие! Да и все равно, кто-нибудь донесет...

— Mademoiselle Фиорина! Можно с вами быть откровенным на этот счет?

— Пожалуйста.

— Этот ваш вечерний туалет будет не в том роде, как мы вас встретили вчера у Кампари?

Фиорина печально улыбнулась.

— А что? Разве не к лицу?

— Нет, помилуйте, как не к лицу, но — извините — выразительно он кричит уж очень...

— Хорошо, — покорно сказала Фиорина, — я возьму другой. У Фузинати выбор большой. На одну меня три сделано. А вы — что же? Разве жениться в Милане собираетесь и боитесь, что дойдет о вас до невесты дурная слава?

— Какие невесты! Но — согласитесь — самой же вам приятнее...

— Чтобы принимали меня за порядочную женщину? Как видите, я целый день о том старалась. Но в театре — бесполезно, это не пройдет. Меня слишком знают... Но вы, пожалуйста, не бойтесь, что компрометируете себя, сидя в ложе со мною. Будь вы жених, другое дело, а для человека свободного или, хотя женатого, но уже не первой молодости, это — быть в театре с шикарною девкою, как ваша покорная слуга, — не только дозволительно, но даже шик известный. А уж я лицом в грязь не ударю!

— Не сомневаюсь... Значит, завести вас домой?

— Да, домой.

— А нас куда же вы намерены подкинуть?

— Боже мой! Как будто мало кинематографов? Даже лучше будет так: я покажу вам лучший, в галерее Виктора Эммануила, под соборным портиком, — вы посмотрите представление, а я тем временем переоденусь и опять найду вас там... Обедать мы можем рядом, в галерее же, у Савини.

Туда, если хотите, — улыбнулась она Тесемкину, — можно и вашу Ольгу пригласить.

— А к себе нас не зовете? — спросил Бельский.

Она засмеялась.

— Обедать? Саломея не такая блистательная кухарка, чтобы ее макароны al sugo *, приготовленные на бензинке, могли прельстить двух знатных иностранцев.

— Бог с нею, с вашею Саломеей! Зачем нам обед? Просто — чем смотреть глупые кинематографические картины, мы могли бы пробыть это время у вас...

— Вы решительно хотите обогатить нашего Фузинати! Нравы думаете изучать? Так — право же, даю вам честное слово, в это время, entre chien et loup **, не стоит: сейчас все спросонья, и нет у нас никаких нравов... Единственное развлечение, которое я вам могу предложить, это — партию в пикет или в шестьдесят шесть с Ольгою или Мафальдою, или другою какою-нибудь из соседок, потому что Саломея мне нужна для туалета... Если вам не жаль заплатить за такое сомнительное удовольствие по двадцати франков...

— Ах ты, Господи! Опять такса?

— А вы думали, как капиталы-то составляются? Надо же Фузинати мадонн-то одевать!

— То есть?

— А у него такая кружка стоит в привратницкой — на одеяние мадонны. Вот за вечерний туалет получит он с меня двадцать-тридцать франков и сейчас же из них пять сольдо в кружку. Двадцать квартиранток в трущобе его, — считайте, что с каждой отчислится для кружки хоть по два сольдо в день, вот уже, стало быть, две лиры, в месяц — шестьдесят, в год — семьсот двадцать — на самом деле больше тысячи набирает. Раз в год вынимает всю сумму и покупает

* С подливкой (*ит.*).

** Букв.: между собакой и волком (*фр.*).

на эти деньги одеяние для мадонны в какую-нибудь церковь. Когда у нас в Милане была выставка, торговля шла великолепно, работали день и ночь, так он трех мадонн одел... каждая в тысячу франков обошлась ему... Вот мы и у берлоги... Так вы во что бы то ни стало желаете войти ко мне?

— А вы, милая Фиорина, кажется, во что бы то ни стало не желаете, чтобы мы вошли?

Фиорина замялась, стоя у автомобиля.

— Не то чтобы... — пробормотала она, — и я даже не имею никакого права не желать... Напротив, в хозяйских интересах, должна бы вас уговаривать... Но откровенно сказать вам: я не совсем уверена, все ли ладно у меня в доме, и потому на сердце скребут маленькие кошечки... Видите, как обстоятельства-то сложились: собственно говоря, вот уже сутки, что я с моей Саломеей двумя словами не перекинулась, — а она, по нездоровью своему, все время сидела дома, — и теперь, как знать, в каком настроении я ее найду...

— Пьет она у вас, что ли? — без церемонии спросил москвич.

Фиорина, смущенная, отвернулась.

— Пьет... что значит — пьет?.. кто не пьет?.. Пьяною Саломею видят не чаще, чем других. Нет, не то, а — знаете ли — когда меня долго дома нет, соседки к ней ходят, глупости и вздоры всякие переносят, стараются нас поссорить... Я же говорила вам — насчет Мафальды. Она пользуется каждою минутою, когда меня нет дома, чтобы напеть ей в уши разные сплетни, — авось освирепеет Саломея и разобьет нашу дружбу с Ольгой... А она, знаете, преревнивая и премнительная... И, когда навинтят ее хорошенько на это, так — что же скрывать? — приятнее в лесу с тигрицею дикою повстречаться, чем с Саломеей... Так что уж лучше бы мне одной... Впрочем..

Она стукнула ручкою двери, которая немедленно отворилась, и в светлом пятне ее показалась, подобная гному, маленькая искривленная фигурка Аличе.

— А-га-га! — пропищала она и продолжала на миланском наречии, насмешливо приседая на пороге и кивая головенкою с надменным взглядом сверху вниз, — великая госпожа Фиорина изволила наконец пожаловать восвояси...

— Почему ты отпираешь? — отрывисто и с заметным испугом спросила Фиорина. — Где Фузинати?

— Фузинати... Эти господа войдут?..

— Я не знаю... Мы проведем вечер вместе, но... Ты скажи мне: как Саломея?

Аличе скорчила гримасу — совсем маленький дьяволенок на шабаше — и щелкнула языком:

— Саломея твоя пьяна, как винный погреб, и спрашивает тебя каждую минуту.

— Что? неприятное что-нибудь случилось? — забеспокоился Бельский, видя, что Фиорина побледнела.

— Нет... ничего особенного... — подбодрилась та, но Аличе злорадно подхохатывала:

— Вам, моя гордая королева, предстоит провести невеселый часок... Ваши щечки скоро порозовеют, как пионы, от румян, которым я не завидую. Как жаль, Рина, что у тебя собственные зубы и волосы: фальшивые терять не так больно...

— Перестань, злая тварь! — крикнула Фиорина, с судорогою на зеленом лице. — Чему радуешься? Как тебе не стыдно? Что я сделала тебе?

Аличе показала ей нос и возразила с особым странным выражением:

— Ты мне ничего не сделала, Рина. Если я радуюсь, что тебе влетит, то именно потому, что ты мне ничего не сделала, никогда ничего не сделала...

Фиорина вдруг сразу из зеленой стала багровою и повернулась к Аличе с такою резкою угрозою, что Тесемкин дернул Бельского за рукав, подмигивая: «Не удрать ли, мол? Опять скандалом запахло?»

А Аличе отскочила и, с невинно-злобным и беспутным видом, прыгала на одном месте с ноги на ногу, напевая и хихикая:

— Одну гордую даму будут бить! Одну очень гордую даму будут крепко, крепко, крепко бить!

— Грязная, маленькая тварь! — прошипела на нее через силу сдержавшаяся Фиорина. — Скажешь ли ты мне, наконец, где Фузинати?

Девочка насмешливо передернула плечиками и ткнула пальцем на потолок.

— Где же ему быть? Конечно, наверху. Бегает за твоей Саломеей по следам с бутылкою коньяку и старается поскорее допоить ее до бесчувствия. Не может же он допустить, чтобы Саломея убила Ольгу...

— Ольгу?! За что?

Фиорина опять вся сразу погасла, так, что даже губы у нее стали пепельными. Аличе, наслаждаясь ее волнением, продолжала как будто и равнодушно:

— Откуда мне знать? Саломея весь день раскидывала карты у Мафальды Помилуй мя, Господи... Больше я ничего не знаю. А потом выскочила от нее, как фурия, и высосала в одиночку пол-литра коньяку... И все — как водится... Бегает по галереям с каминными щипцами, ругает тебя самыми скверными именами и ищет Ольгу, чтобы разбить ей череп... Разве ты не слышишь, какой рев и гам наверху?

— А Ольга? — едва выговорила, все бледнея и старея, Фиорина.

Аличе нагло засмеялась.

— Поцелуй мне ручку, — скажу!

— Аличе! — вскрикнула Фиорина, — время ли теперь шутить? Я хожу по раскаленным углям...

— Поцелуй ручку, — скажу!

— Гадина!

— Ольге целуешь же? — хладнокровно возразила девочка. — Я ничем не хуже ее. Я еще маленькая и при случае

могу выйти в барыни, а она — навеки тварь. Ой-ой-ой! как, однако, Саломея ревет наверху... И — ты замечаешь? Голоса стали ближе... уж не намерена ли она спуститься?

Смущенные выжидавшие русские, ничего не понимая, кроме того, что происходит что-то недоброе, увидали странную картину: Фиорина — с лицом, искаженным в чудовищную маску злобы и страха — быстро наклонилась и поцеловала руку Аличе таким бешеным движением, будто укусила.

— Вот на... получила свое! — глухо сказала она. В лице ее ни кровинки не осталось. — Говори...

Аличе с удовольствием осмотрела поцелованную руку и, послав ею же Фиорине пренасмешливый воздушный поцелуй, отвечала:

— Теперь, когда прекрасная гордая дама поцеловала руку у маленькой Аличе, маленькая Аличе может успокоить прекрасную гордую даму, что ее возлюбленная в безопасности: Мафальда успела увести ее из дома...

— Мафальда? — взвизгнула Фиорина, хватаясь за голову, так что вся шляпа у нее поехала набок.

— Решительно, Матвей Ильич, пора нам отчаливать, — бормотал Тесемкин.

— Да погодите же! — с нетерпением останавливал Бельский. — Не можем же мы оставить женщину в таком положении... Вы посмотрите: она почти в истерике...

— Да — черт же ее знает, отчего ей истерика эта приключилась? Очевидно, пошли какие-то дела семейные... А слышите — какой у них там гвалт во дворе? Я этого терпеть не могу. В таких случаях, знаете, по своим бьют кошелкою, по чужим — безменом.

— Марья Ивановна, — обратился Бельский к Фиорине по-русски, — извините меня, но — я вижу, у вас дома действительно что-то неблагополучно...

Она растерянно посмотрела на него.

— Нет, ничего... не беспокойтесь... я сейчас...

— Быть может... если я в состоянии быть полезным...

— Решительно ничем вы сейчас полезны мне быть не можете, — резко оборвала она и, вне себя, обратилась опять к Аличе:

— Ушла с Мафальдою? — ты говоришь, — с Мафальдою ушла? Почему же с Мафальдою?

— Прекрасной даме, кажется, это очень не нравится? — дерзко прищурилась на нее Аличе. — Что делать? Когда Саломея бушует, немного у нас смелых, которые согласны идти против нее... От нее попрятались все женщины и многие из мужчин... Только две на весь дом и не трусим ее: Мафальда Помилуй мя, Господи да я.

Аличе гордо выпрямила искривленную, болезненную свою фигурку.

— Да. И я!.. Мне наплевать, что она ростом с башню Duomo, а я вся с наперсток... Если бы мне твоя жирная Ольга нравилась, то, можешь быть уверена, увела бы ее не Мафальда, но я... Но я твою Ольгу терпеть не могу, а вот кто за тебя теперь заступится, этого уж я не знаю... Ух-ух-ух! как орут! Валит сюда Саломея! валит!

— Ужасный шум! — беспокойно озирался Тесемкин. — Ей-Богу, Матвей Ильич, сейчас карабинеры нагрянут... Ну что хорошего?.. Протокол... консула вызывать придется... Газетишки...

— Monsieur!

Бельский оглянулся: за ним стоял и дергал его за локоть шофер автомобиля, всем топором лица своего с тревогою устремившись по направлению безобразного и действительно все возрастающего сверху вниз шума:

— Monsieur! Беру на себя смелость советовать: нам лучше бы уехать... Я боюсь, — тут скверная история, monsieur. Я знаю этот дом. Это — скверный, опасный дом. Вы можете быть компрометированы.

— Он прекрасно вам советует, — резко обратилась к русским, по-французски же, Фиорина. — Я предупреждала вас,

что вам совсем не следует заезжать сюда. Уезжайте, пожалуйста.

— Но, Фиорина, я боюсь, не грозит ли вам...

— Хорошая таска? — гневно и горько, диким звуком, рассмеялась Фиорина. — О, в этом отношении можете быть уверены: очень грозит...

— Тогда — не лучше ли уехать вместе с нами?

Фиорина отрицательно покачала головою. Аличе поняла, что предлагал Фиорине Бельский, и зло захохотала:

— Ага! ага! лисичка думает удрать? Врешь, моя милая!.. Пеппино! Пеппино! — громко закричала она, хлопая в ладоши, и на голос ее выглянул из привратницкой широкоплечий, небольшого роста парень, нисколько, впрочем, не страшной наружности. Единственную выдающуюся часть лица его являл нос, который уже именно на троих рос, а одному достался. Бельский вспомнил, что это его вчера видели они распростертым в мертво-пьяном сне на верхней галерее.

— Пеппино! — приказала Аличе, — очисти поле от господ и запри двери на засов...

— Это совсем напрасно, Аличе, — с гордостью возразила Фиорина, — я сама никуда не уйду...

— Еще бы! Ты знаешь, что, когда Саломея в бешенстве, от нее в городе не укроешься: она тебя из кафе за волосы выволочет, из театра пинками выгонит...

— Но тебе это стыдно, Аличе, стыдно, что ты издеваешься надо мною, когда я подвергаюсь такой опасности... Ты хоть и в корень испорченная дрянь, но еще маленькая... Когда-нибудь — когда будешь настоящею женщиною сама узнаешь...

— Да едем же, Бельский! — взбешенный вскричал Тесемкин, таща приятеля за пальто.

— Неужели нам дожидаться, чтобы вышибалы вытолкали нас в шею?

— Уезжайте! уезжайте! — торопила Фиорина. — Если все обойдется благополучно, я вас найду...

Она улыбнулась жалкою судорогою.

— А если неблагополучно, вы меня найдете по газетам...

— Но...

Он не успел договорить. Страшный шум, все нарастающий наверху, вдруг дорос до оглушительности, и Фузинати со стаканом в руке, с бутылкою под мышкою, кубарем слетев с лестницы, заорал к Пеппино не своим голосом:

— Я больше не могу! Она почала второй литр и — держится на ногах прямо, как монумент короля на площади! Зла, как сатана, и жрет коньяк, как бутылка с дырявым дном. Ее сегодня сам черт не свалит. Кричи карабинеров! Я больше не могу! Эти господа зачем здесь? Тысячу извинений, синьоры, messieurs, meine Herren *, но сейчас не время, к сожалению, совсем не время... не можем вас принять. Фиорина! скверная тварь! Все это из-за вас всегда! Все эти неприятности — ваши мерзости, ваши шашни! Что же вы, мерзавка этакая, не могли, по крайней мере, убрать этих господ, чтобы они не были свидетелями нашего скандала? Пеппино! Зови карабинеров!

Пеппино выскочил на улицу.

И вместе с тем на повороте лестницы показалась сопровождаемая дюжиною горланящих, хохочущих, улюлюкающих, мужских и женских, старых и молодых рож, качающаяся, гигантская, в истерзанном капоте, полуголая Саломея. Мороз прошел по коже у Бельского, когда почти синяя, апоплексическая маска огромного лица ее остановила прямо на нем зрячие, бессмысленно-свирепые глаза свои. К великому счастью Фиорины, пьяная Саломея узнала русских и сразу приковалась к ним вниманием.

— А! А! — завопила она сипло и дико. — Вот эти молодчики, с которыми Рина удрала сегодня... Теперь мы разузнаем кое-что!

* Месье, господа (*фр.*, *нем.*).

И направилась прямо к русским, размахивая щипцами своими, и тщетно Фузинати плясал и вертелся вокруг нее.

— Саломея! ну, ангел, ну, радость моя! ну, умница, Саломея! будьте же благоразумны! Лучше выпейте... вот... вот еще стаканчик коньяку... Саломея! Я осыплю вас серебром, только будьте благоразумны! Саломея! Ну — хотите, я женюсь на вас? Выпейте еще стаканчик коньяку...

Фиорина, тем временем присев на корточки в темном углу, заслоненная Аличе, которая держала ее за руку с недетскою силою, шептала девочке, трясущаяся, — волосы взбились под съехавшею набок шляпою, и зуб не попадал на зуб:

— Спрячь меня, Аличе... спрячь...

— Ты всегда презирала меня! Ты всегда презирала меня! — твердила ей, злобно оскалив зубы, торжествующая маленькая ведьма.

— Спрячь!.. Я знаю: ты можешь... У тебя есть угол... Я целовала твою руку... спрячь!

— Ага! То-то прекрасная гордая дама! Я говорила, что не век тебе предо мною важничать, что будет на моей улице праздник, когда ты рада будешь сделать все, что я тебе прикажу...

— Я сделаю все, что ты прикажешь, но сейчас спаси меня, спрячь — умоляю тебя... Она никогда еще не бывала так ужасна... Умоляю тебя: спрячь!

— Дай мне слово, что ты не будешь больше дружить с Ольгой, — тогда спрячу...

— Клянусь тебе всем святым, что есть на свете, — пусть я умру, если я буду вперед дружить с Ольгой...

— И ты должна повернуться к ней спиной, если она к тебе подойдет.

— Я повернусь к ней спиной, если она подойдет... Но, Аличе!..

— И твоею подругою, и госпожою будет с нынешнего вечера маленькая Аличе...

— Ты будешь моей подругой...

— И госпожою! госпожою!

— Хорошо... и госпожою... Всем, что ты хочешь, буду я для тебя... но не мучь же меня! спрячь!

А Саломея — чудовищная в разметанных черных космах своих, которые на лбу слились со взъерошенными бровями в палец толщины, с черною сажною полосою усиков над синими губами, напирала на гостей, как соборная башня. Тесемкин юркнул за Бельского. Шофер, тоже повернувший было к дверям, даже страх скандала забыл: так поразило его диковинное привидение полуголой дикарки.

— Che befana! * — проворчал он, и хотя, как все шоферы, был свободомыслящий, едва не перекрестился.

А «бефана» тем временем успела дать Фузинати такой толчок ногою, что горемыка, задребезжав бутылкою и звеня разбитым стаканом, мячиком покатился в угол, где только что шептались Фиорина и Аличе, но где их уже не было. Взрыв хохота рож на лестнице приветствовал его падение. Хозяин вскочил и, в бешенстве, бросился на рожи с кулаками:

— Вам еще что тут, висельная сволочь? Негодяи!

Саломея же, стоя перед русскими, вдруг вспомнила по пьяному наитию, что это гости хорошие и порядочные и ничем пред нею не виноваты, и решила быть с ними любезною. С каминными щипцами под мохнатою мышкою она кивала Бельскому страшным лицом, скалила полувершковые зубищи и, качая безобразно-огромною голою грудью, ворчала умильным рыканием, стараясь вспомнить забытые русские слова:

— Ти русски... мы армэнски... ми любим русски... турска нэт хоруш... русски харуш... пойдем ко мне, душенька!

— Чтобы черт все побрал! — крикнул Тесемкин и бросился в автомобиль, увлекая за собою Бельского.

* Что за безобразная старуха! (*фр.*)

Страшный рев разъяренной пасти раздался им вслед, и, брошенные могучею рукою, далеко по тротуару звякнули щипцы. Но аппарат уже работал.

— Фу-у! — отдувался москвич, — ну, Матвей Ильич! Век не забуду вашего развлечения! Угостили!

Бельский молчал.

Шофер обернулся к ним и показал на бегущего навстречу по тротуару Пеппино, за которым быстрыми шагами поспевали два плаща и две треуголки:

— Карабинеры.

— Слава Богу! — даже перекрестился Тесемкин, — хоть от этого скандала ноги унесли... А Фиорина-то, ведь тоже удрала-таки куда-то. Вы заметили, Матвей Ильич? Все была — была тут, и вдруг ее не стало... Молодчина! Куда-то удрала.

— Ну-с, — насилу отдышался Тесемкин у Кова за вермутом с сельтерской водой, — ну-с, могу вам сказать утешились! насладились!.. Ах черт их дери! Да и вы тоже хороши, Матвей Ильич...

— Я-то чем провинился?

— А тем, что — словно вы студент первого семестра, а не действительный статский советник. Лысина во всю голову, а он — изволите видеть: изучает нравы погибших, но милых созданий, меланхолически расспрашивает: «Как дошла ты до жизни такой?» и одну заблудшую овечку даже намеревается спасти и увезти с собою...

— Положим, это ваша фантазия, ничего подобного я не затевал.

— Те-те-те! Милостивый государь! А кто насчет путешествия в Монте-Карло намекал и подманивал?

— Ну, это, мой друг, не столь в целях спасения, сколь пагубы... Согласитесь, что вторую Фиорину между этими госпожами не скоро найдешь.

— Нет, батюшка! Вы меня не надуете: глаза у вас не те. Сентименталист вы — вот что! и авантюру романи-

ческую любите!.. Нет-с, у меня просто: заплатил и — чист!..

— Однако мы весь день провели вместе, кажется?

— Да почему же нет, если женщина все время интересные анекдоты рассказывает? Но — чтобы канитель тянуть — дудки! слуга покорный! В конце концов все к лучшему в этом лучшем из миров: хорошо, что скандал пролетел мимо наших голов, но хорошо и то, что он разразился: иначе эта Фиоринка, мой друг, вас завертела бы.

— Это не у меня оказывается романическое воображение, Иван Терентьевич, а у вас.

— Завертела бы, клянусь святым Патриком! Она поняла вас насквозь. Я видел: она уже за обедом начала к вам приглядываться да тону забирать, а в кафе уже такую гранд-даму на себя напустила, что — ой-ой-ой... Я было маленько под столом ногой ее потолкал, — помни, дескать, на всякий случай, что есть еще один смертный, который не прочь пожертвовать на тебя стофранковый билет... так — убрала ногу-то... Э-э-э! это у ихней сестры неспроста, серьезно! Стало быть, обрадовалась случаю, затеяла любовь крутить. А вы и сейчас еще изволите пребывать в меланхолии.

— Я не в меланхолии, а просто чувствую себя трусом и подлецом. Мы с вами, Иван Терентьевич, вели себя не как мужчины, но как старые бабы.

— Гораздо хуже, — спокойно возразил Тесемкин, — и ничуть не стыжусь, потому что за эти два дня я имел удовольствие познакомиться с двумя старыми бабами, которые способны разогнать целый полк.

— Мы прегнусно оставили Фиорину на произвол всех этих негодяев.

— Да — помилуйте! Что же? В самом деле вы что ли дожидаться хотели, чтобы Саломея вас по лысине щипцами кокнула? Вот еще страдатель нашелся! Мазохист особого рода! Не беспокойтесь. Обвертелось как-нибудь. Это

нам в непривычку, так жутко показалось, а ей не впервой. Поди, каждый день при подобных сценах-то присутствует. Оставьте! Милые бранятся, только тешатся.

— Надо все-таки будет навести справки, как у них там кончилось, — задумчиво сказал Бельский. — А то у меня сердце не на месте.

Тесемкин даже прибор от себя оттолкнул.

— Ну уж извините! Что меня касается, то ноги моей в переулке там не будет, не только что в трущобе господина Фузинати. Если вам угодно, донкихотствуйте в одиночку, а я, как благоразумный Санчо Панса, прыгаю в ближайший поезд на Вентимилью и addio, Milano! * Хорошенького понемножку, знаете. Вы посчитайте в бумажнике-то: суток нет, что мы здесь, а сотни по три франков уже вылетело... Удовольствия же только — что старая ведьма едва-едва не наломала из нас дров и щепы... Garçon! Cameriere! Donnez moi, s'il vous plait, — как бишь это у них называется-то, Матвей Ильич? — да! orario!..**

Официант подал железнодорожный путеводитель, в который Тесемкин и зарылся.

— Вот — по-ихнему, в 23 часа 25 минут, стало быть, в половине двенадцатого direttissimo... *** С ним и махнем, нечего прохлаждаться-то... Времени — аккурат, чтобы не спеша пообедать и пройтись по галерее... Cameriere! карточку... И уж, пожалуйста, друг мой, не брыкайтесь, послушайте меня: довольно поэтических вольностей, опустимся в достойную нашего возраста и положения прозу.

Обедали долго, распили фиаску кьянти и бутылку asti pumante ****. Тесемкин хотел уже спросить счет, когда метрдотель таинственно подошел к Бельскому:

* Прощай, Милан! (*ит.*)

** Гарсон! Горничная! Дайте мне, пожалуйста (*фр.*) ...расписание!.. (*ит.*)

*** Курьерский поезд (*ит.*).

**** Сорт белого вина асти (*фр.*).

— Pardon, monsieur... Дама, которая сегодня у нас завтракала с вами, просит вас выйти к ней на минутку... Она ждет у подъезда в фиакре...

— Начинается! — с досадою и неудовольствием протянул Тесемкин. — Не ходите, Матвей Ильич...

Но Бельский уже поднялся.

— Но, — сказал он метрдотелю, — просите же даму сюда...

— Мы уже предлагали, но она не пожелала...

Метрдотель двусмысленно улыбнулся и добавил:

— Я должен вас предупредить, monsieur, что дама не одна. При ней какая-то странная особа. Даже не разобрать женщина это или ребенок... Во всяком случае, ее туалет...

Он с трагическим ужасом возвел горе очи свои.

— Не таков, чтобы украшать ваш общий зал, — договорил Бельский. — Понимаю. Ну, а в отдельный кабинет? можно?

— Матвей Ильич! — жалобно взвыл Тесемкин.

— Оставьте! — с досадою отмахнулся тот, — должен же я проститься с нею... Alors? * — обратился он к метрдотелю.

— У нас, — вкрадчиво извинился тот, — к сожалению, все кабинеты заняты, но рядом имеются прекрасные меблированные комнаты, которые получают от нас кухню и погреб. Когда у нас все переполнено, мы употребляем их, как succursale **. Если вам угодно воспользоваться, я сейчас же телефонирую...

— Хорошо, пожалуйста.

— Я не пойду, — надулся Тесемкин. — Опять заведете в какую-нибудь трущобу. Ступайте, если хотите, один. Я лучше кофе с коньяком выпью. И, пожалуйста, не увлекайтесь разговорами. Помните, что мы сегодня уезжаем. А, если будут вас резать, телефонируйте, прибегу спасать.

---

* Итак? (*фр.*)

** Филиал (*ит.*).

Сопровождаемый метрдотелем, Бельский вышел на подъезд. Из окна фиакра выглянуло на него освещенное сверху электрическим фонарем бледное лицо Фиорины.

— Пожалуйста, выходите, Фиорина, — заговорил Бельский. — Я так рад вас видеть... Ну что? Обошлась буря? По-видимому, все благополучно...

— Я не одна, — сказала Фиорина дрожащим больным голосом, — и тут Бельский увидал, что над плечом ее кивают и колышатся какие-то высоченные и пренелепые рыжие перья, Фиорина отодвинулась, и под перьями оказалась огромная котлообразная шляпа, а под шляпою — крохотное, с кулачок, желтое личико, с которого блеснули на Бельского сердитые, дикие глазки.

Русский с недоумением поклонился.

— Я не одна и не могу быть одна, — повторила Фиорина с заметным усилием. — Вы не узнаете? Это моя подруга... Аличе...

Бельский с новым изумлением признал в удивительном оперенном существе маленькую привратницу, которая и вчера, и сегодня так люто ругалась с Фиориною на неизвестном ему миланском наречии. Он пригласил и Аличе сделать ему честь своим посещением. Та пренадменно кивнула рыжими своими перьями, оперлась на протянутую руку Бельского своею тощею ручонкою в лайковой перчатке, совсем как костлявая лапка цыпленка, и выскочила из фиакра на тротуар. Бельский взглянул на нее и чуть вслух не ахнул: ни для какого маскарада маленькая дикарка не могла навертеть на себя столько пестрых тряпок и драгоценных цацок, так нелепо закрутить над крутым лбом жесткую черную гриву кудрей, так ухарски заломить шлемоподобную крылатую шляпу, которая, гриб грибом на тоненькой ножке, совсем придавила девочку к земле. Он понял, почему так ехидно улыбался метрдотель, и сам едва не расхохотался, но, под подозрительным взглядом

Аличе, успел сдержаться и с серьезным лицом обратился к метрдотелю:

— Покажите же нам вход...

Тот понятливо схватил в вопросе: а нельзя ли, чтобы это чудо морское недолго привлекало к себе внимание публики? — и, с улыбкою под усами, предложил:

— Monsieur, если угодно, может пройти внутренним коридором.

Бельский предложил было Фиорине руку, но Аличе, не скрывая резкого, неприязненного движения, скользнула между ними и повисла на локте молодой женщины, прижимаясь к ней с видом вызывающим, точно ребенок к кукле, которую, она боится, хотят у нее отнять.

Кабинет, который им предложили, оказался комнатою, принадлежавшею когда-то к весьма приличной и даже, пожалуй, довольно шикарной частной квартире, но то было давно, а теперь все потускло, поблекло, потемнело, — выгрязнилось под копотью табачного дыма, вылиняло от сырости вечных ломбардских туманов. Из троих вошедших одна Аличе с удовольствием осмотрелась: в первый раз.

— Ну, рассказывайте же, рассказывайте, Фиорина! — торопил Бельский, когда человек из ресторана ушел, приняв от него заказ на вино и фрукты, — вы не можете представить себе, как я беспокоился за вас...

— Что же за меня беспокоиться? — тяжко вздохнула Фиорина, — я вышла суха из воды...

— Я только на то и надеялся, что в самый разгар урагана вы куда-то исчезли.

— Да, мне посчастливилось, — потупилась Фиорина, — это она меня выручила... спрятала! — кивнула она на маленькую Аличе.

Та, догадавшись, что о ней говорят, гордо выпрямила тщедушную, болезненную фигурку свою.

— А! Это очень благородно со стороны вашей маленькой подруги! — сказал Матвей Ильич, с изумлением замечая: «Почему же это, однако, Фиорина, вдруг, так некстати краснеет?»

И спросил:

— Ну, а больная ваша — что? Эта бешеная? Саломея?

Аличе, услыхав имя Саломеи, захохотала и, помотав рукою около горла, щелкнула пальцами и языком и закатила глаза, будто кого-то повесила или кто-то повесился, а у Фиорины глаза наполнились слезами:

— Ах, мосье Бельский, с бедною Саломеей очень нехорошо... Ее увезли в госпиталь без чувств и черную, как котел... Мы только что оттуда, но нам не показали ее, а доктор качает головою и говорит, что будет чудом, если она выживет и опять будет здорова...

— Допилась негодяйка! — крикнула Аличе, стукнув цыплячьей ручонкой своей по столу. — Белая горячка и — апоплексический удар!

И захохотала, торжествуя.

Бельский, схвативший из крика ее одно слово «апоплексия», смотрел на нее с изумлением и отвращением:

— Если дело так плохо, то чему же радуется этот маленький чертенок?

— Ах, они вечно ссорились и ненавидели друг друга! — объяснила Фиорина, покусывая белыми зубами яркие губы свои. — Мне очень тяжело, мосье Бельский... Если бы я не боялась, что вы сегодня уедете...

— Да, Фиорина, мой товарищ настаивает.

— Да, конечно! — неожиданно даже обрадовалась как будто Фиорина, — что вам здесь делать еще? Уезжайте!.. Счастливый путь.

— О? — обиделся слегка Бельский, — я не надеялся, что надоем вам так решительно и скоро...

— Эх! — вырвалось у Фиорины. — Что мы будем хорошие слова друг другу говорить и ласковыми чувствами меняться?

Сердечно рада была погреться хоть денек у человеческого тепла, но — хорошо, что уезжаете: довольно! а то набалуешься... Оставьте бедную чертовку ее аду. Вы видели кусочек его... клянусь вам, это еще не самый худший... Удалось вам застать Фиорину хорошею, трезвою, неглупою и, если развратною, то только по ремеслу... Ну и увезите с собою в памяти вашей эту Фиорину. Зачем вам дожидаться, пока Фиорина покажет вам себя в настоящем-то своем свете — пьяною, безумною, шальною дурою, у которой вместо души, ума, чести и совести... сказала бы я вам, что, да все-таки еще помню, что я женщина, а вы мужчина — стыдно, язык не поворачивается...

— Фиори! — недовольным голосом окликнула, ежась плечиками в кресле своем, Аличе.

Фиорина продолжала, не замечая.

— Я предчувствую, господин Бельский, что потеряла Саломею. Это страшное для меня несчастие. Как хотите, пять лет прожили мы душа в душу. Из-за ее кулаков меня никому было не достать. Никогда я не прощу себе, дуре подлой, такого легкомыслия, что довела ее до этого состояния... Теперь вот и расплачивайся за блажные свои глупости. Сама я, в одиночку, робка и бесхарактерна, перед силою и наглостью теряюсь. Чувствую, что опять прогуляла я свои свободные дни и уже плывет на меня рабство. Ах, господин Бельский, без кулаков Саломеи желтенькая ждет меня жизнь. Бивала она меня по временам и больно бивала, да, видно, мало...

— Фиори! — повелительно опять окликнула ее Аличе.

Фиорина повернула к ней заплаканные глаза.

— Я слышу... Что тебе Аличе?

— Не Аличе, а Личе. Я твоя Личе, а ты моя Фиори.

— Что тебе, Личе?

— Я не люблю, чтобы при мне говорили на языке, которого я не понимаю.

— Что же мне делать? Господин не знает ни по-милански, ни по-итальянски...

— А я тебе запрещаю говорить так, чтобы я не понимала. И потом: ты ревешь... Очень весело! О чем это — нельзя ли спросить? Уж не хочешь ли ты ему показать, что моя компания слишком низка для тебя и ты несчастна нашею дружбою?

— Я плачу, потому что мне жаль бедную Саломею...

— Есть о чем! Утри, пожалуйста, глаза — и довольно об этом. Мне совсем не приятно слушать, как ты каждую минуту поминаешь эту пьяную дылду... Нашли о ком жалеть! Только, что горды вы обе очень были, а вечно сидели на бобах, и Фузинати, хоть и гнул пред тобою шею, но заставлял тебя работать, как клячу. Поверь, со мною тебе будет лучше. Я делаю с Фузинати все, что хочу. Я его заставлю подметки башмаков твоих целовать.

— А меня — твоих? — горько усмехнулась Фиорина.

Аличе захохотала во все горло:

— Ах ты шутовка! То ревет, то смешит. Тебя — моих... Ха-ха-ха? Что же? разве у меня не хорошенькая ножка?.. Ах, Фиори!

Человек принес шампанское. Аличе, узнав вино, сорвалась с кресла и, хлопая руками, закружилась по комнате, как волчок, прихрамывая на пируэтах:

— Nozze! Nozze! — визжала она. — Evviva Fiori! Evviva Lice!* Фиори! Что же твой русский господин глядит, как удивленный филин? Заставь его выпить за наше здоровье... Черт тебя побери, моя Фиори! Я обожаю тебя, моя чертовка. Если ты вздумаешь обманывать меня, как надувала Саломею, я скандалов тебе делать не стану, но у меня есть такой секрет, что ты в месяц иссохнешь, как ножка вот этого стола...

— Оставь, Личе. Не говори глупостей... Господин может догадаться.

---

* Свадьба! Свадьба! Да здравствует Фиори! Да здравствует Личе! (*ит.*)

— А мне наплевать!

— Но мне не наплевать.

— А? Так тебе страшно признаться, что я твоя подруга? Ты стыдишься меня?

— Да нет же, Личе!

— Берегись, Фиори!

— Да нет же, нет!..

— Хорошо, я прощаю тебя и верю тебе. Но — берегись, Фиори! Поцелуй мою ручку.

— Ребенок! — с виноватым смущением усмехнулась Фиорина Бельскому, когда тот с новым изумлением смотрел на ее верноподданический поцелуй — уже второй, который он видел в этот вечер. А «ребенок», раскрасневшись от шампанского, держал русского за пуговицу визитки и лепетал ему быструю речь, из которой он не понимал ни единого слова, но, если бы понял, то узнал бы много интересного.

— Фиори глупа, господин. Она не понимает. Она воображает, будто для того, чтобы охранить женщину, надо быть трех аршин ростом и ломать конские подковы. Маленькая Аличе ростом с наперсток, у нее припадки, у нее одно плечо выше другого, а силы не больше, чем у комара, но пред нею вытягиваются, как солдаты, самые наглые тепписты (апаши). Потому что у маленькой Аличе есть характер. Вы видали Мафальду Помилуй мя, Господи, синьор? Эта женщина, когда голая, блох ищет, так и тут пошарьте ее — у нее нож спрятан под грудями. А я дважды била ее по морде, да, по морде, как собаку. И она выла, как собака, и просила у меня прощенья, и с тех пор, когда она видит меня, у нее рожа, как будто маслом вымазана и в глазах мед: «Piccola padrona! piccola padrona!» * — передразнила она.

— Ну, послушай, ты, дура! — обратилась она к Фиорине, — подумай сама: когда это бывало, при твоей Саломее, чтобы ты

* «Маленькая хозяйка! маленькая хозяйка!» (*ит.*)

вот так смела уйти из дома, не сказавшись Фузинати, как мы с тобою сейчас? Ты видела: я добрая. Тебе хотелось в госпиталь, мы были в госпитале. Тебе хотелось проститься с русским синьором, вот мы сидим и пьем вино с русским синьором. Разве могла Саломея доставить тебе столько удовольствия? Мы будем жить с тобой в двух лучших комнатах мышеловки, и ты будешь носить все платья, какие захочешь, по тем же ценам, как какая-нибудь Мафальда платит за свое рубище. Слушайся своей маленькой Личе, Фиори, я сделаю тебя богатою... А Фузинати не бойся. Вы ей скажите, синьор, что ей решительно нечего бояться старого подлеца Фузинати. Фузинати — моя собака. Он старый развратник, и я одна знаю, что ему надо, и я одна умею ему угодить. Если он посмеет сделать нам скверную гримасу, я запрусь на сутки в своей комнате, и он будет выть у дверей. И, кроме того, он думает, что я — маленькая колдунья, потому что в наших местах, под Люино, колдуний столько же, сколько старух и горбатых девчонок. И я приношу ему счастье. Посмел бы он поднять руку на свое счастье! И, кроме того, он боится, что я его отравлю. Всякий раз, как у него болит живот, он плачет и думает, что я уже его отравила. И просит прощения. Тогда я делаю ему пойло из olio с серою и всякою дрянью. И он пьет, и ему скверно, и он ревет, как осел, но живот перестает болеть, и старый дурак уверен, что я его спасла от смерти.

Она долго болтала, покуда вино не заставило ее дремать. Тогда она стала жаловаться, что ей холодно, и приказала Фиорине взять ее на колени, как ребенка, и так заснула у той на груди.

— Дело мое скверно, господин Бельский, — сказала Фиорина, когда убедилась, что девчонка действительно спит. — Фузинати и эта маленькая злая пиявка вдвоем выпьют мою кровь.

— Если бы я мог помочь вам вырваться...

— О, господин Бельский! совершенно напрасная мечта. Во-первых, это дорогая затея...

— Авось я, на ваше счастье, выиграю в Монте-Карло.

— Тогда я предпочту, чтобы вы опять, проездом через Милан, позвали меня прокутить вместе с вами мою долю... А вырваться? нет! на что я годна? Сегодня уйду, через неделю вернусь назад. И вечно будет пить из меня кровь какой-нибудь Фузинати, и вечно будет «защищать» меня, то есть командовать мною какая-нибудь Саломея или Аличе... Четырнадцатый год, как я в этой жизни, господин Бельский! В ней у меня вся кровь переродилась... Поздно! Тело из таких привычек сложилось, над которыми воля не властна. Как запой. Буду презирать себя, но жизнь мне эту подай, не могу быть в другой. Нужны мне и Кампари, где я королевою ломаюсь, покуда мужчин ловлю, и Фузинати, который меня в кулаке держит, и Саломея с ее грубыми кулаками и нежным сердцем, и пьяная злобная развратница Мафальда, и эта Ольга, за которую мы перессорились точно мужчины, и вот эта Аличе, которая командует сейчас мною, точно мне пятнадцать лет, а ей мои тридцать три... Это все — как водка запойному пьянице: противна, а не пить нельзя — без нее свет не мил... Разве старость и дряхлость меня отсюда вырвет — в госпиталь да в могилу. А то я себя знаю. Возьмите меня с собою и вы увидите: Фузинати, Саломея, Ольга, Мафальда, Аличе поедут за мною. Не эти, другие, но — не все ли равно? Неделю спустя, вы застанете меня в шашнях с вашим приятелем, с вашим камердинером, с встречною извращенною англичанкою, с служанкою из отеля... А затем — в один скверный день вы вовсе не найдете меня дома, — и ищите меня, вольную птицу, по всем maisons de passe! * Найдете, — не обрадуетесь: буду пьяная, буду гнусная, насмешливая, жадная, злая, с сквернейшими мыслями в голове, с гнуснейшими словами на языке и без всякого стыда во всем теле...

— Не говори на языке, которого я не понимаю, Фиори! — проворчала сквозь сон Аличе.

---

* Дом свиданий! *(фр.)*

В двери постучали. Тесемкин из ресторана прислал напомнить, что он просит господина Бельского вспомнить о поезде, их ждущем через час.

— Скверное мое дело, — повторила Фиорина. — Эта девчонка целый год подстерегала меня, чтобы забрать в свои лапки, и вот теперь добилась своего. С нею дешево не расстанешься.

— Дайте ей пинка и — к черту!

— Чтобы у меня завтра лицо было сожжено серною кислотою? Чтобы она подстерегла меня с бритвою в темноте и устроила мне такое sfregio, какого и в Сицилии не видано? Вы посмотрите на этого маленького демона. Я понимаю, что сам Фузинати боится ее. Что она колдунья, это его суеверный вздор. Но — что они там у себя, в горных деревнях, травят друг дружку, как летних мух, по любой ссоре, мышьяком и аконитом, — это святая правда. Вот она спит, а я ее уже боюсь. И колени она мне оттянула, и вас товарищ ждет, а я робею разбудить... Личе! а! Личе!

А Личе открыла глаза сонная, усталая, злая, но стакан шампанского освежил ее, и она, хотя хмурая, стала довольно бодро одевать перед зеркалом свою удивительную шляпу.

— Фиори! — крикнула она. — Поди сюда!

— Что, Личе?

Девочка зашептала что-то. Фиори покраснела.

— Но, Личе... какие глупости... Да и за что?

— За то, что он синьор, а мы бедные девки...

— Я, право, не смею, Личе! Это просто бессовестно...

— Фиори!

— В чем дело, Фиорина? — вмешался Бельский, чувствуя, что дело касается его.

— Личе находит... — произнесла, запинаясь, пунцовая Фиорина, — Личе просит... Личе находит, что вы... нет, я просто не могу...

— Фиори!

— Ах, Боже мой! Ну, скажу... Личе находит, что вы могли бы на прощанье подарить мне... немного денег...

Матвей Ильич посмотрел на ее сконфуженное лицо и, не выразив ничего своим красивым лицом, добыл из бумажника два стофранковые билета и подал их Фиорине... Та медлила взять, но Аличе подскочила, как кот на мышь, схватила деньги и спрятала их за корсаж.

— У нас с Фиори теперь все общее, — объяснила она, — ты не умеешь обращаться с деньгами, Фиори. Теперь я буду беречь твои деньги...

Простились печально и холодно...

Не в духе прибыл Бельский на вокзал, не в духе встретил его Тесемкин, начинавший искренно опасаться, чтобы друг его не застрял в объятиях Цирцеи своей и помчал их пыхтящий поезд ночной, сквозь холодный ломбардский туман к веселым горам и светлому берегу синей Ривьеры.

Угрюмая, с мокрыми глазами, ехала в фиакре домой Фиорина, а Личе, привалившись к ней, лепетала:

— Ты будешь хорошо работать, а я буду беречь, пока мы не станем богаты, и тогда мы сделаемся хозяйками, как Фузинати. Мне не надо работать, потому что у меня есть Фузинати, который — проклятый скряга! — богат, как черт, и у него много прекраснейших вещей. Я знаю все: какие у него вещи и где лежат. Он дарит мне кое-что и позволяет надевать драгоценности, которые вы, женщины, ему закладываете, и они пропадают в залоге. Я у него могу выпросить много-много. И, покуда я для тебя буду подругой и госпожой, все, что у меня будет, то и у тебя будет. Но если ты вздумаешь водиться с Ольгою Блондинкою или променять меня на другую какую-нибудь подобную же дрянь, то — помни, Фиори: у меня есть порошок, который вывернет твои внутренности... Не смей реветь и капать на меня слезами! иначе я исщиплю тебе груди!.. А Фузинати не бойся. Фузинати надоел мне, как маятник. Когда я повытяну из него сок, Фузинати можно и к черту пустить. Видишь ли, тут только, чтобы успеть вещи повытаскать да припрятать, а то — есть такой порошок...

XVIII

В Монте-Карло Бельский и Тесемкин, как водится, сперва выиграли франков по 40, потом проиграли один 4 тысячи, другой 7½, после чего Бельский с горестью возвратился в родной свой город К., а Тесемкин застрял в Виллафранке на добрых два года смотреть в микроскоп на какого-то слизняка и писать диссертацию о его диковинном размножении. Там он сидит и слизняка созерцает и посейчас. Изредка он пишет Бельскому, а в последнем письме его Матвей Ильич нашел вырезку из «Le Petit Niçois» * с пометкою красным карандашом: «Любитель сильных ощущений! Как вам это нравится?»

Заметка гласила:

«В темных слоях миланских bassi fondi ** много шума произвела загадочная смерть пресловутого местного «коммерсанта» Джакомо Фузинати, дом которого, бывший дворец герцогов Медина Сели, известен в городе как один из наиболее темных вертепов, населенных проститутками, теппистами и всевозможными представителями di mala vita ***. 15 ноября, в 2 часа утра, прислуга покойного Фузинати, девица Алиса Фонзега, 16 лет, телефонировала на полицейский пост просьбу о немедленной присылке врача для хозяина ее, который страшно болен и едва ли не холерою. Врач, синьор... явившийся в сопровождении делегатов, синьоров... и с каретой «скорой помощи», нашел Фузинати в безнадежном состоянии, на попечении сказанной Алисы Фонзега и некой девицы Марии Лузива, 34 лет, натурализованной русской, более известной в мирке проституток под именем Fiorina la Bella ****. С первого же взгляда, врач, синьор... определил, что о холере тут не может быть и речи, а налицо все симп-

---

* «Маленький житель Ниццы» (*фр.*; название газеты).

** Подонки (общества; *ит.*).

*** Дурной образ жизни; преступная жизнь (*ит.*).

**** Прекрасный цветок (*ит.*).

томы мышьякового отравления. На возможность такового указал, при последнем своем издыхании, также и сам больной. Он успел показать, что уже не раз делался жертвою попыток к отравлению со стороны своих недоброжелателей из числа должников и эксплуатируемых им проституток, но ранее избавлялся от опасности благодаря домашнему целебному средству, секрет которого был сообщен ему Алисою Фонзега. Чудная панацея эта оказалась обыкновенным оливковым маслом, с небольшою примесью серы и ароматических веществ, для здоровья столько же безвредных, сколь и бесполезных. На этот раз средство не помогло, и в 4 ½ часа утра Фузинати скончался в страшных мучениях, несмотря на оказанную ему усердную и искусную медицинскую помощь. Дознанием установлено, что заболел Фузинати непосредственно после того, как, совершая ночной обход по дому своему, выпил стакан вина у одной из постоялиц своих, проститутки и воровки-рецидивистки, уже судившейся однажды по подозрению в убийстве, Кьярибеллы Онури, по прозванию Мафальды Помилуй мя, Господи, 47 лет. Госпожу эту, равно как и любовника ее, тепписта Пеппино Долгий Нос, полицейские власти нашли в искусно симулированном состоянии совершенного опьянения, которое не помешало, конечно, производству обыска. Последний обнаружил под кроватью Мафальды целый склад золотых и серебряных вещей, невысокой стоимости каждая в отдельности, но на довольно крупную сумму в общем. Алиса Фонзега и Фиорина признали вещи эти принадлежащими хозяину их, покойному Фузинати. Мафальда и Пеппино рассыпались в клятвах, что вещи совершенно им неизвестны и, как они попали к Мафальде, того они не знают. С обычною уловкою преступников они уверяли, что вещи подкинуты им врагами с целью погубить их, и указывали подозрение на Алису Фонзега. По предписанию следственной власти, произведен был ряд арестов: Мафальда, Пеппино, Алиса и Фиорина — все очутились в тюрьме, как птицы в клетке. Но Алиса Фонзега и Фиорина были освобождены после пер-

вых же допросов ввиду совершенно обнаружившейся полной непричастности их к преступлению. Наоборот, против Мафальды и Пеппино слагалась непреодолимая сила улик и, в довершение всего, химический анализ обнаружил присутствие мышьяка в одной из початых фьясок вина, опечатанных при обыске, из которой было отпито не более стакана. Обвиняемые, хотя и продолжали упорствовать в запирательстве, пали духом. По-видимому, им удалось сохранить сношения с какими-либо друзьями по mala vita, оставшимися на свободе, либо скрыть на себе и пронести в тюрьму яд, которым они отправили на тот свет несчастного Фузинати. 27 ноября, после очной ставки со свидетельницей, проституткою Теодозией Каннотьери, по уличной кличке Olga la Blonda, давшей важные показания во вред подозреваемых, Пеппино и Мафальда, оба почти одновременно тяжко заболели в камерах своих и скончались при тех же симптомах отравления, как и Фузинати. Очевидно, суд собственной совести показался им легче суда людского. Что касается девиц Алисы Фонзега и Фиорины Ла Белла, они, утомленные любопытством, жертвою которого сделала их эта тяжелая история, предпочли переселиться в Америку, предназначая свои маленькие сбережения на открытие торгового дела в Буэнос-Айресе. По завещанию Фузинати, все его состояние, кругленькая сумма в 500 000 франков, должна поступить в пользу двадцати приходских церквей его родины Кунео, по двадцати тысяч франков на каждую, а 100 000 франков — неприкосновенным капиталом на электоральную борьбу местного комитета клерикалов».

ПРИМЕЧАНИЯ

В СТРАНЕ ЛЮБВИ

Впервые — в журнале «Север», 1893 и в газете «Русский листок», 1895 (вторая, дополненная редакция). Сценический вариант повести вышел под названием «Волны». Печ. по изд.: Собр. соч. А.В. Амфитеатрова. Т. 3. СПб., 1911.

С. **5.** *Горелов* Сергей Иванович (1877 — 1916) — русский актер, сын В.Н. Давыдова (наст. фам. и имя Горелов Иван Николаевич, 1849 — 1925), покорял лиричностью своего дарования. Играл в Петербурге, Одессе, Киеве, Кишиневе.

С. **9.** *...в день Троицы.* — День Пресвятой Троицы, относящийся к 12 наиболее значительным праздникам православной церкви, отмечается на 50-й день после Пасхи.

Вылитый Таманьо в «Отелло». — «Отелло» — трагедия Шекспира.

С. **12.** *Анунциата* — красавица-албанка, героиня неоконченной повести Н.В. Гоголя «Рим» (1842). «Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем, — пишет Гоголь. — И, повстречав ее, останавливаются как вкопанные и щеголь миненте (благородный — *ред.*) с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше. Показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковксой бородкой, долее всех остановившийся на одном месте, подумывая: «То-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных Граций и всех женщин, какие только передавались на полотно!»

...буду писать какую-нибудь Лукрецию или Виргинию... — Лукреция — добродетельная жена Луция Тарквиния Коллатина, опозоренная старшим сыном римского царя Тарквиния Гордого и заколовшая себя мечом. Виргиния — дочь римского центуриона (военачальника) Луция Виргиния, жившего ок. 450 г. до н.э. Чтобы избавить дочь от насилия развратного децемвира (судьи, жреца, наделенного консульской властью) Аппия Клавдия, отец

заколол Виргинию кинжалом. Насильник-децемвир был заключен в тюрьму, где покончил с собой. Этот кровавый эпизод древнеримской истории привел к тому, что коллегия децемвиров была упразднена.

С. **15.** *...на будущей передвижной окажется лучшим полотном...* — Товарищество передвижных художественных выставок было организовано в Петербурге в 1870 г. по инициативе И.Н. Крамского, В.В. Стасова и др. Передвижники, объединившие самых талантливых художников-реалистов рубежа веков, провели 48 выставок в разных городах России.

С Третьякова хорошие капиталы взять можно. — Павел Михайлович Третьяков (1832 — 1898) — выдающийся художественный деятель, основатель Третьяковской галереи, переданной им в 1892 г. в дар Москве.

Горбунов Иван Федорович (1831—1895) — прозаик, актер, зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа (по мнению современников, «неподражаемый рассказчик», остроты которого расходились по всей России).

С. **16.** *Ломброзо* Чезаре (1835 — 1909) — итальянский судебный психиатр, выступивший с гипотезой о существовании особого типа человека, предрасположенного к совершению преступлений из-за имеющихся у него определенных биологических признаков.

С. **18.** *...нарядитесь-ка рыжебородым Тором.* — Тор (Донар; древнегерм. «громовник») — в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия, богатырь, защищающий людей от великанов и чудовищ.

...бороду вы украли у Рубенса .. — Питер Пауэл Рубенс (1577—1640) — глава фламандской школы живописи эпохи барокко, певец чувственной красоты.

С. **19.** *...как Геркулес в отравленной тунике...* — Одна из версий смерти Геркулеса гласит: возлюбленная богатыря Деянира послала ему тунику (рубаху с короткими рукавами), смазанную приворотным зельем, которое оказалось ядовитым. По этой версии Геркулес изображается раздирающим свою одежду, которая горит таинственным пламенем.

С. **20.** *Фрина* — см. примеч. на с. 732.

С. **22.** *...мускулами Геркулеса Фарнезе...* — Фарнезский Геркулес — колоссальная мраморная статуя работы греческого ваятеля Гликона (I в. н.э.), находящаяся с 1786 г. в Неаполитанском музее.

С. **31.** *«Под ним струя — светлей лазури...»* — Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» (1832).

С. **32.** *...король Лир... обязан был скитаться...* — Состарившийся король Лир из одноименной трагедии Шекспира, преданный и отвергнутый старшими дочерьми, в бурю и дождь отправляется в бродяжническое изгнание.

С. **36.** *Бакунин* Михаил Александрович (1814 — 1876) — теоретик анархизма.

С. **37.** *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой» (1668).

С. **38.** *Из «Гугенотов»... есть такая опера.* — Опера композитора Джакомо Мейербера (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791—1864) «Гугеноты» (1835) в России шла под названием «Гвельфы и гибеллины».

С. **47.** *Писатель, если только он...* — Первая строфа стихотворения «В альбом К.Ш.» (1864) Якова Петровича Полонского (1819 — 1898).

С. **48.** *Рамолисмент* (фр. ramollissement) — размягчение, расслабленность, граничащая с умопомешательством.

С. **49.** *...Омфалою, смиряющей... Геркулесов.* — Омфала — царица Лидии, к которой на год был отдан в рабство Геркулес в наказание за убийство; его здесь обряжали в женские одежды и заставляли вместе со служанками вести домашнее хозяйство.

С. **55.** *...живу в Бедламе...* — Бедлам — старейшая (с 1547 г.) психиатрическая больница в Лондоне; переносное значение — сумасшедший дом, хаос, неразбериха.

С. **60.** *Ночь так хороша, лимоном и лавром пахнет...* — неточная цитата из «Каменного гостя» (сц. II) Пушкина: «... Как тихо; / И недвижим теплый воздух — ночь лимоном / И лавром пахнет...»

С. **61.** *Де Грие, Манон* — см. примеч. на с. 742, 743.

С. **73.** *Идиосинкразия* — повышенная чувствительность человека к некоторым пищевым продуктам, медикаментам и др.

С. **81.** *Вечный Жид* (Агасфер) — персонаж христианской легенды позднего западноевропейского Средневековья. Иисусу Христу Агасфер издевательски отказал в отдыхе во время страдальческого пути на Голгофу под бременем креста. За это был обречен на вечное скитание, ожидая второго пришествия Христа, чтобы получить прощение.

С. **87.** *.. испанскими грандами с Сидом Кампеадором в корне родословного дерева.* — Сид Кампеадор (наст. имя Родриго Диас де Бивар; между 1026 и 1043—1099) — испанский рыцарь, прославившийся подвигами в войнах с захватчиками- маврами; герой народных преданий, поэм, романсов, а также драмы Корнеля «Сид».

С. **87.** *Боккаччо* Джованни (1313—1375) — итальянский писатель и гуманист эпохи Раннего Возрождения, создатель знаменитой книги новелл «Декамерон» (1350 — 1353, 1470).

Аретино Пьетро (1492 — 1556) — итальянский поэт эпохи Возрождения, сочетавший высокое литературное дарование с беспутным поведением, автор сатир, циничных сонетов и поэм.

С. **88.** *Карафа* (Karaffa) — знатный неаполитансий род, к которому принадлежат многие видные деятели Италии.

С. **102.** *...живая маска Медузы...* — Медуза — в греческой мифологии одна из трех Горгон, страшных чудовищ, головы которых покрыты змеями вместо волос.

С. **104.** *Джулио Романо* (собств. Пиппи; 1482 — 1546) — итальянский живописец, ученик Рафаэля.

...в моем маленьком Мейере. — Йозеф Мейер (1796 — 1856) — немецкий книготорговец, основатель издательства «Библиографический институт», в котором вышли «Карманный словарь Мейера», «Новый словарь Мейера», а также «Большой энциклопедический словарь» (52 тома) и другие справочные издания.

С. **106.** *...Юпитер удостаивает, с вершины Олимпа...* — Юпитер — в римской мифологии бог неба, дневного света и грозы; у греков — Зевс, который обитает на горе Олимп и царствует над богами.

Лукреция Борджиа — сестра Цезаря (Чезаре) Борджиа (1478 — 1507), принимавшая участие в его интригах, которые он организовывал вместе с отцом — Папой Римским Александром IV.

С. **126.** *...цитировал Мантегацца и читал сентиментальные стихи Стеккетти.* — Паоло Мантегацца (1831—1910) — итальянский физиолог и писатель; автор популярных книг «Физиология удовольствия», «Гигиена любви», «Физиология боли» и др. Лоренцо Стеккетти (наст. имя Олиндо Гуэррини; 1845—1916) — итальянский поэт, один из крупнейших представителей веризма («правдивого реализма»).

С. **127.** *«Живу, но не мыслю», — выворачивал наизнанку.. Декарта.* — «Мыслю, следовательно, существую» — в такой афористической форме выразил сущность своего учения о познании родоначальник рационализма Рене Декарт (1596 — 1650), французский философ, математик, физик и физиолог.

С. **128.** *Молох* — библейское существо, которому приносились человеческие жертвы.

МАРЬЯ ЛУСЬЕВА

Впервые — в газете «Приазовский край», в течение 1903 г. Печ. по последнему прижизненному изд.: Рига: Грамату Драугс, 1928 (изд. 7-е, пересмотренное и значительно дополненное). В первом издании дилогия вышла с посвящением Михаилу Михайловичу Кояловичу (1862—1916), публицисту, журналисту, прозаику.

С. **142.** *«Убогая и нарядная»* (1857) — стихотворение Н.А. Некрасова о женщине, остающейся гордой в унижении:

...Знатоки нашей нации
Порешили разумным судом,
Что цинизм твой доходит до грации,
Что геройство в бесстыдстве твоем!

С. **143.** *....словами Сухово-Кобылина в его послесловии к трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Веселые Расплюевские дни».* — Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817 — 1903) — создатель прославившей его трилогии; А.А. Блок восторженно писал о нем как о драматурге, «неожиданно и чудно соединившем в себе Островского с Лермонтовым». Третья пьеса (ее авторское название «Смерть Тарелкина») 30 лет была под запретом. Этот трагикомический обличительный фарс о полиции был впервые (в искаженном виде и с большими сокращениями) сыгран в петербургском Суворинском театре в 1900 г. под названием «Расплюевские веселые дни». Полный текст восстановлен В.Э. Мейерхольдом в 1922 г.

С. **153.** *Валансьен* — город на севере Франции, давший в XVII в. имя знаменитому сорту кружевных узорчатых тканей.

С. **161.** *Леда и лебедь.* — Имеется в виду греческий миф, повествующий о том, как Зевс, влюбившись в жену спартанского царя Леду, приплыл к ней в образе лебедя. В результате этого любовного союза родилась Елена Прекрасная. Леонардо да Винчи изобразил Леду в полный рост, обнимающей шею лебедя, но при этом целомудренно отводящей взгляд. Детьми Леды были также Клитемнестра, небесные близнецы Кастор и Полидевк.

С. **161.** *...чуть ли не майковской кисти.* — Николай Аполлонович Майков (1794 — 1873) — исторический живописец, академик; писал образа и картины на библейские сюжеты для Исаакиевского собора, церквей в Зимнем дворце и др., а также портретные женские головки. Автор известного фривольного полотна «Отдыхающая купальщица».

С. **162.** *Тут Фрина . Тут Пазифая..* — Афинская красавица-гетера Фрина (IV в. до н.э.) увековечена на многих живописных полотнах; она послужила прототипом для древнегреческого скульптора Праксителя (ок. 390 — ок. 330 до н.э.), своего любовника, создавшего скульптуру «Афродита Книдская» (одно из первых изображений обнаженной богини любви), и живописца Апеллеса (2-я половина IV в. до н.э.), написавшего портрет «Афродита, выходящая из моря». Пасифая (Пазифая) — в греческой мифологии жена критского царя Миноса, воспылавшая страстью к быку и родившая Минотавра, монстра с головой быка.

Маковский Константин Егорович (1839 — 1915) — живописец, один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок (с 1870 г.); старший брат живописца Вл. Е. Маковского (1846 — 1920).

...в позе Венеры Медицейской. — Имеется в виду скульптурное изображение обнаженной римской богини любви, намеревающейся войти в купальню и стыдящейся своей наготы. Эта скульптура из коллекции Медичи (отсюда — Медицейская) хранится в музее Уффици (Флоренция).

С. **165.** *...портрет императрицы Елизаветы...* — Елизавета Петровна (1709 — 1761/1762) — дочь Петра I; с 1741 г. — императрица России.

С. **166.** *...найдете гипсовую отдыхающую Венеру Кановы, то есть Полину Боргезе, сестру Наполеона Первого.* — Речь идет об идеализированном скульптурном портрете «Паолина Боргезе в образе Венеры» (другое название: «Венера-победительница»; 1805 — 1807) итальянского ваятеля Антонио Кановы (1757 — 1822), которому позировала красавица Мария Полина Бонапарт, во втором замужестве княгиня Боргезе (1780 — 1825).

«Фрина» (Семирадского) — известная картина польского и русского живописца Генриха (Хенрыка) Ипполитовича Семирадского (1843 — 1902) «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине» (1889), хранящаяся в Русском музее (Петербург).

С. **176.** *...«Афродита» под подушкою.* — Очевидно, имеется в виду одно из многочисленных изображений Афродиты (у римлян — Вене-

ра), древнегреческой богини любви, плодородия, вечной весны и жизни, считалась также покровительницей гетер и блудниц.

С. **187.** *Отставные Ловеласы в подагре и среди них крестная в роли седой Клариссы* — Ловлас (Ловелас), Кларисса — герои романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689 — 1761) «Кларисса, или история молодой леди» (1744 —1748). Имя Ловеласа стало нарицательным для обозначения волокит, легких соблазнителей

Селадон — нариц.: любвеобильный воздыхатель, галантный, жеманный кавалер; имя влюбленного пастуха из романа французского писателя XVII в. Оноре д'Юрфе (1568 — 1625) «Астрея».

С. **189.** *Баттистини* Маттиа (1859 — 1928) — итальянский певец (баритон, мастер бельканто), неоднократно с 1893 г. гастролировавший в России; исполнитель партий Евгения Онегина, Демона, Руслана.

С. **190.** *...папильоны, львы, онагры, мышиные жеребчики* . — Речь идет о разновидностях волокит, престарелых дамских угодников. Папильоны — мужчины, завивающие кудри папильотками. Онагры — переносное (иронич.) значение от названия диких ослов. Мышиные жеребчики — молодящиеся старички-ухажеры.

.. *à la Rostand* (под Ростана). — Эдмон Ростан (1868 — 1918) — французский поэт и драматург; автор героико-романтической комедии «Сирано де Бержерак» (1898), переведенной на многие языки. В Петербурге впервые поставлена в 1898 г. и с тех пор не сходит со сцены.

С. **193.** *Демивьержки* (от фр. demi-vierg — полудева) — юные, но развращенные девицы.

С. **194.** *...усвоила их каботинный тон...* — Каботинка (от фр. cabotine) — неодобрительно о женщине, заботящейся о внешнем успехе, артистичном блеске.

С. **195.** *Сафо* (Сапфо; 7 — 66 до н.э.) — древнегреческая поэтесса. В центре ее лирики — темы любви, нежного общения подруг.

С. **197.** *Такая тамаша идет третий день...* — Тамаша (томаша) — суматоха, шум, кутерьма (просторечн.).

С. **202.** *Иматра* — живописный водопад в Финляндии.

С. **204.** *Дисконтер* — тот, кто ведет дисконт (англ. discount — учет векселей) или взимает учетный банковский процент.

С. **210.** *...на манер Периколы или Беттины из «Маскотты»...* — Перикола — персонаж одноименной оперетты (1868) французского композитора, дирижера и виолончелиста Жака Оффенбаха (наст. имя и фам. Якоб Эберсит; 1819 — 1880). «Маскотта» (1888; в России шла

также под названием «Весёлое солнышко») — оперетта французского композитора и органиста Эдмона Одрана (1840 — 1901).

С. **212.** *Пшют* (разг. устар.) — фат, хлыщ.

...смотрели на него, туза-аплике, уже довольно благосклонно. — Аплике (фр. appliqué — приложенный) — посеребренная вещь из простого металла; нарицательно — о подделке, фальши.

С. **213.** *...за Люлюшку три «сотерна».* — Сотерн — дорогое марочное белое вино, производимое во французском г. Сотерн.

С. **214.** *Шамбертен* — марочное красное бургундское вино из французской деревни Шамбертен.

С. **215.** *Фаберже* — ювелирная фирма, основанная в 1842 г. Густавом Фаберже и его сыном Карлом сперва в Петербурге, затем открывшая филиалы в Москве (1887), Одессе (1890), Киеве (1905), Лондоне (1908).

С. **217.** *...это из Пьера Лоти!.. Кризантэм!.. Раррагю!..* — Пьер Лоти (наст. имя Луи Мари Жюльен Вио; 1850 — 1923) — французский прозаик, автор так называемых «колониальных», экзотических романов, популярных в России (см.: Лоти П. Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Изд. В.М. Саблина, 1909 — 1911). Кризантэм — героиня романа «Госпожа Кризантэм» (1888; в новых пер. «Госпожа Хризантема»). Раррагю (Рараю — от фр. Rarahu) — героиня романа «Женитьба Лоти (Рараю)» (1880).

С. **228.** *Дреколье* (устар.) — палки, дубины, колья, употреблявшиеся в старину как оружие.

С. **230.** *...столичный журналист Д.А. Линев-Далин прислал мне... вырезку из «Нового времени» с фельетоном покойного Жителя...* — Дмитрий Александрович Линев (псевд. Далин и др.; 1853—1920) — прозаик, публицист; с 1893 г. в Петербурге руководил изданием газеты «Биржевые ведомости» для провинции, где печатал свои ежедневные «Беседы». «Новое время» — газета, выходившая в Петербурге с 1868 по 1917 г. Житель — один из псевдонимов А.А. Дьякова (см. о нем с. 741).

...вспомните молоденькую невесту Свидригайлова, сосватанную ему шельмою немкою Ресслих... — Речь идет об эпизоде из романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

С. **234.** *Шабли* — известное бургундское вино, производимое в г. Шабли (Франция).

С. **241.** *.. «Запарилась» изображала, картину художника Матвеева...* — Николай Сергеевич Матвеев (1855—?) — живописец; автор картин, отразивших драмы женской души.

С. **242.** *Тициан* (ок. 1476/77 или 1489/90—1576) — итальянский художник эпохи Высокого и Позднего Возрождения, вождь венецианской школы живописи.

С. **249.** *Всеволод Крестовский написал свою фон Липпе в «Петербургских трущобах».* — Неточность: в романе Вс. В. Крестовского «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных» (1867) одна из главных героинь — генеральша и содержательница тайного притона Амалия Потаповна фон Шпильце.

С. **250.** *См также книгу одесского журналиста Кармена — «На дне Одессы»* — Лазарь Осипович Кармен (наст. фам. Кориман; 1876—1920) — журналист, прозаик; автор сборника очерков о ворах и проститутках «На дне Одессы» (1904), продолжение «В трущобах Одессы» («Волны». 1914. № 9 — 12).

С. **251.** *...аристидовых правил его не разделяла и тайком побирала взятки...* — Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н.э.) — реформатор афинского законодательства и полководец; являл собою образец справедливости и неподкупности.

С. **252.** *...свидетелем был В.М Дорошевич.* — Влас Михайлович Дорошевич (1864 — 1922) — журналист, публицист, театральный и художественный критик, прозаик; близкий друг Амфитеатрова.

С. **259.** *(Заслуга .. незабвенного М.М. Стасюлевича!)* — Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826 — 1911) — историк, журналист, публицист; в 1880-е гг. активно занимался развитием народного образования в Петербурге.

С. **260.** *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867 — 1942) — поэт, критик, эссеист, переводчик; один из лидеров «старших» символистов.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик; вождь и теоретик символизма, руководитель символистских изданий — альманаха «Северные цветы» (1901 — 1911) и журнала «Весы» (1904 — 1908).

С. **261.** *Она слышала Собинова, Шаляпина, обожала Северского, Вертинского...* — Леонид Витальевич Собинов (1872 — 1934) — лучший лирический тенор Большого театра в 1897 — 1933 гг. Федор Иванович Шаляпин (1873 — 1938) — знаменитый исполнитель басовых оперных партий, романсов и народных песен, режиссер и художник. Михаил Константинович Северский (наст. фам. Скородумов; 1882 — 1954) — тенор хора Большого

театра в 1906 — 1919 гг. и руководитель вокального квартета. Александр Николаевич Вертинский (1889 — 1957) — эстрадный певец, поэт, композитор; создатель изысканно-интимного жанра исполнения романсов и песен (как правило, собственных).

С. **261.** *...фотографические карточки Насти Вяльцевой и «Асточки» Нильсен.* — Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871 — 1913) — эстрадная певица, артистка оперетты (сопрано), исполнительница цыганских романсов. Аста Нильсен (1881 — 1972) — датская актриса, прославившаяся исполнением ролей в немом кино.

Кэк-уок (кекуок; англ. cakewalk, букв. «шествие с пирогом») — бальный и эстрадный танец, заимствованный у североамериканских негров и ставший популярным в конце XIX в. Лучших танцоров обычно награждали пирогом.

...назван «о азар» из столичных красавиц... — О азар (от фр. hasard — случайность) — самые привлекательные, азартные.

С. **263.** *Блудный бес Асмодей* — в библейской мифологии злой дух.

С. **265.** *Форстмейстер* — главный лесничий (н е м.).

С. **266.** *Ее имения Муравьев конфисковал...* — Михаил Николаевич Муравьев (1796 — 1866) — генерал-губернатор Северо-Западного края в 1863 — 1865 гг.; жестоко подавил Польское восстание 1863 — 1864 гг., за что был прозван «вешателем».

Франко-Прусская война — война 1870 — 1871 гг. за гегемонию в Европе.

...при дворе Карла X .. до конца Второй Империи! — Карл X (1757 — 1836) — французский король. Вторая империя во Франции провозглашена 2 декабря 1852 г. Наполеоном III, который был низложен Сентябрьской революцией 1870 г.

С. **268.** *...жил... истинно Иосифом библейским.* — Иосиф — младший и самый любимый из 12 сыновей Иакова и Рахили. Проданный завистниками-братьями в рабство, после многих тяжких испытаний стал правителем Египта, наместником фараона. Будучи не мстительным мудрецом, он переселил своих сородичей в Египет, обеспечив им богатую и счастливую жизнь. Иосиф прожил 110 лет, оставив после себя многочисленное потомство.

Покоювка — горничная.

С. **269.** *Библейская Сарра* — супруга патриарха Авраама; в книге пророка Исайи эта чета считается прообразом ожидаемого спасения: как после долгого неплодия Сарра родила Исаака, продолжив

род Авраама, так Сион после долгого запустения будет торжествовать (гл. 51, ст. 2; гл. 54, ст. 1).

С. **270.** *Консистория* — церковное учереждение в епархии, осуществляеющее контроль за архиереем, выдачей мирянам бумаг и ссуд, над приходским духовенством.

С. **271.** *Мицкевич* Адам (1798 — 1855) — польский поэт-романтик.

С. **278.** *Маклаки* (кулаки) — лица, занимавшиеся скупкой задешево вещей и продуктов.

С. **279.** *...к самому Остроумову.* — Алексей Александрович Остроумов (1844/45 — 1908) — выдающийся терапевт, профессор Московского университета; основатель научной школы.

С. **281.** *«И у ада есть закон»...* — Строка из трагедии Гёте «Фауст».

С. **282.** *«Мушка»* — карточная игра.

С. **286.** *...с родословною чуть не от Гостомысла.* — Гостомысл (первая половина IX в.) — первый князь (по другой версии посадник) новгородских словен.

С. **287.** *...характером, говорят, Ирод...* — Ирод I Великий (ок. 73 — 4 до н.э.) — царь Иудеи, убивший свою жену и двух сыновей, увидев в них соперников. В Библии ему также приписывается избиение вифлеемских младенцев в то время, когда родился Иисус Христос. Нарицательное значение: Ирод — злодей.

С. **290.** *Демимонд* (фр. demi-mond) — полусвет; кокотки и содержанки богачей, подражающие аристократам.

...Настею из пьесы «На дне»... — Настя — обитательница ночлежки Костылева из пьесы М. Горького «На дне» (1903).

С. **299.** *...получал иногда отпущение грехов сам Ванька Каин.* — Ванька Каин (р. 1718) — знаменитый разбойник, ставший сыщиком, укрывающим крупных воров. Жизнь окончил на каторге. Герой многих произведений, в том числе фольклорных (например, разудалый добрый молодец из народной песни «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...»).

С. **301.** *Святая Цицилия* — святая католической церкви, жившая в первой половине III в. Пострадала в годы гонения на христиан. Как гласит легенда, палач трижды пытался ее обезглавить, но лишь на третий день она скончалась от ран. Считается покровительницей духовной музыки. Ее образ увековечен в полотнах Рафаэля, Доменикино и др.

С. 321. *грессеровских времен* — См. примеч. на с. 739.

С. **323.** *...зад готтентотской Венеры.* — Готтентоты — древний народ, живущий в Южной Африке; его представители отличаются малым ростом и слабым телосложением.

С. **333.** *...жертвоприношение Авраама... Вирсавию в купальне* — Жертвоприношение Авраама — в библейской Книге Бытия (гл. 22, ст. 1–19) повествуется о том, как Бог, дабы испытать веру иудейского патриарха Авраама, приказывает ему привести на сожжение собственного сына Исаака. В последний момент перед жертвоприношением является ангел и останавливает руку с ножом Авраама. Вирсавия — соблазненная иудейским царем Давидом жена военачальника Урия. Царь увидел ее впервые в купальне и влюбился. Убив мужа, Давид взял Вирсавию в жены. Она родила ему нескольких сыновей, в том числе наследника престола знаменитого Соломона, который считается автором библейских книг: Притчи Соломона, Екклезиаст, Песнь песней, Премудрости Соломона. История Давида и Вирсавии стала сюжетом для многих картин живописцев Возрождения.

С. **344.** В сноске: *...нововременский житель (Дьяков-Незлобин).* — Александр Александрович Дьяков (псевд.: А. Незлобин, Житель и др.; 1845 — 1895) — прозаик, фельетонист, печатавшийся в газете «Новое время», «Петербургской газете» и др.; автор книги «Наши дамы» (1891). Позднее Амфитеатров дал ему такую характеристику: «Это был человек крайне тяжелый: болезненно-подозрительный, мучительно-ссорливый» (Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 35. Пг., 1915. С. 200).

С. **363.** *...изобразил Куприн в «Яме» (Женя)* — Женя — персонаж повести о проститутках «Яма» (1915) Александра Ивановича Куприна (1870 — 1938).

...гипотезу о проституционной женской расе, формулированную Ферреро и Ломброзо . — В кн.: Ломброзо Ч., Ферреро Дж. Женщина преступница и проститутка. Изд. 2-е. Киев, 1902.

Лист Франц фон (1851 — ?) — известный немецкий криминалист, глава социологического направления в уголовном праве.

Кох Роберт (1843 — 1910) — немецкий ученый, один из основоположников бактериологии и эпидемиологии; лауреат Нобелевской премии (1905).

Дриль Дмитрий Андреевич (1846 — 1910) — известный криминалист, автор многих трудов, в которых отвергал теорию итальянских ученых (Ломброзо и др.) о врожденном преступнике.

С. **364.** *Успенский* Глеб Иванович (1843 — 1902) — писатель-реа-

лист, в своих произведениях показал жизнь городской бедноты и социальные противоречия в деревне.

С. **365.** *Идею проституционной ассоциации проповедовали в Австрии Иерузалем ... а в России В.Е. Жаботинский...* — Вильгельм Иерузалем (1854 — ?) — австрийский философ и педагог. Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880 — 1940) — публицист, поэт-переводчик, драматург, общественный и политический деятель; один из вождей сионизма.

С. **366.** *Будь вы даже хоть сто раз Соня Мармеладова...* — Соня Мармеладова — героиня романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

С. **368.** *Некрасовский Леонид провозглашал... «мысль центрального дома терпимости», повторяя Солона...* — Леонид — персонаж поэмы Н.А. Некрасова «Современники» (1875 — 1876), в которой говорится: «Честь имею проект предложить <...> мысль «центрального дома терпимости».

Солон (ок. 640—560 до н.э.) — афинский политик и поэт; ввел множество законодательных нововведений, способствующих развитию рабовладельческой демократии.

С. **369.** *...строчил стихи в «Стрекозе» да «Осколках», — так он прозвал нас: «Ассоциация двенадцати неспящих дев».* — Пародируется название стихотворной повести в двух балладах В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1817) об очищении грешных душ покаянием. «Стрекоза» (1875 — 1908) и «Осколки» (1881 — 1916) — петербургские юмористические журналы.

С. **371.** *...ни одного случая «сифа»* — Т.е. заболевания сифилисом.

...министерские виверы. — Вивёр (фр. viveur) — человек, живущий в свое удовольствие (разг. устар.).

...знаменитого генерала Грессера... — Петр Аполлонович Грессер (1833 — 1892) — генерал-лейтенант; с 1882 г. — градоначальник С.-Петербурга.

С. **374.** *...басня о лягушках, просивших царя. ...а в... Эстерке обрели мы сущего журавля.* — Имеется в виду в басне И.А. Крылова «Лягушки, просящие царя» (1809). Лягушкам, просившим у богов царя, Зевс прислал сначала глуповатого правителя, не устроившего их, а потом взамен ему направил к ним на царство Журавля, который:

Не любил баловать народа своего,
Он виноватых ест, а на суде его

Нет правых никого;
Зато уж у него,
Что завтрак, что обед, что ужин, то расправа.

С. **380.** *«Филаретка»* — от: филареты — любители добродетели. Так называли себя члены общества, основанного в 1820 г. студентами Виленского университета (в него входил А. Мицкевич). Общество закрыто за политическую неблагонадежность, а филареты высланы.

С. **383.** *Венера Милосская* — знаменитая мраморная статуя греческой богини любви Афродиты (II в. до н.э.), найденная на о. Милос. Хранится в Лувре (Париж).

С. **385.** *...читала страшные переводные романы Понсон дю Террайля, Ксавье де Монтепена, Габорио.* — Пьер Алексис Понсон дю Террайль (1829 — 1871) — французский романист; автор полицейских и исторических сериалов «Похождения Рокамболя» (30 романов) и «Молодость Генриха IV» (17 романов). Ксавье де Монтепен (1823 — 1902) — французский беллетрист, автор авантюрно-криминальных и мелодраматических романов (более тридцати из них вышли в России). Эмиль Габорио (1832 — 1873) — французский прозаик, один из родоначальников детективного жанра.

С. **397.** *...та самая еврейка, для которой Пушкин сочинил «Гавриилиаду»...* — Имеются в виду две первые строфы «Гавриилиады» (1821), которые заканчиваются строками:

Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты, право, обманулась:
Я не тебя, — Марию описал.

И далее в поэме пародируются библейские повествования о Благовещении девы Марии (Евангелие от Луки, гл. 1, ст. 26 — 28), о грехопадении и изгнании из рая первых людей (Книга Бытия, гл. 3, ст. 1 — 7).

С. **402.** *...бархатное платье декольте и с треном, на голове ток... между грудями фермуар болтается...* — трен — шлейф; ток — маленькая шапочка без полей, из атласа, бархата или шелка, обычно темного цвета, украшенная лентами, цветами, кружевом; фермуар — брошь, которой застегивается ожерелье.

С. **416.** *Дафнис* и *Хлоя* — герои любовного романа древнегреческого писателя Лонга (II— III вв. н.э.) «Дафнис и Хлоя».

С. **436.** *Даная* — в греческой мифологии дочь аргосского царя Акрисия, заключенная отцом в темницу, из-за того, что оракул предсказал ему смерть от руки собственного внука. Однако Зевс проник к Данае в виде золотого дождя и она родила Персея. В заколоченном ящике вместе с сыном по приказу Акрисия Данаю бросили в море. Ящик был выброшен на берег острова, правитель которого Полидект взял Данаю в жены, отправив Персея добывать голову Медузы.

Ио — в греческой мифологии возлюбленная Зевса, родившая от него сына Эпафа, родоначальника героев античных мифов (Геракла и др.).

Желябов Андрей Иванович (1851 — 1881) — организатор покушений на императора Александра II. Повешен.

С. **440.** *...в Москву на «Дерби»...* — Дерби — ипподромные состязания скаковых чистокровных лошадей; названы по имени лорда Дерби, проведшего в 1778 г. первые такие скачки.

С. **459.** *Реприманд* — выговор, строгое внушение со стороны начальства.

С. **465.** *Трепов* Дмитрий Федорович (1855 — 1906) — генерал-майор, с 1896 г. — московский обер-полицмейстер, в 1905 г. — петербургский генерал-губернатор; один из организаторов вооруженного подавления революции 1905 — 1907 гг.

...глотнет тебя какой-нибудь кит этакий хуже, чем Иону-пророка. — Пророк Иона — ветхозаветный персонаж Книги Иова. Его как не исполнившего повеление бога Яхве бросили в бушующее море, где его проглотил кит. Через три дня Иона раскаялся и был прощен: извергнут из чрева кита; он стал истовым проповедником веры.

МАРЬЯ ЛУСЬЕВА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Впервые — газета «Одесские новости», в течение 1910 г. Первое отд. изд. — СПб.: Прометей, 1911. Печ. по этому изданию.

С. **476.** *Катюша Маслова* — главная героиня романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (1889 — 1899).

С. **476.** *...апофеоз «дешевой проститутки», созданный Марселем Швобом в «Книге Монеллы»...* — Марсель Швоб (1867 — 1905) — французский прозаик-символист, критик и филолог.

Шолом Аш (1880 — 1957) — еврейский прозаик и драматург.

Юшкевич Семен Соломонович (1868 — 1927) — прозаик, драматург; с 1920 г. в эмиграции.

...Гаршин в «Надежде Николаевне»... — Всеволод Михайлович Гаршин (1855 — 1888) — прозаик, критик. «Надежда Николаевна» (1885) — рассказ Гаршина о трагической судьбе волевой, незаурядной женщины, вынужденной стать проституткой.

С. **477.** *...начиная с аббата Прево...* — Антуан Франсуа Прево д'Экзиль (1697 — 1763) — французский прозаик, аббат; автор шедевра мировой литературы — романа о трагедии страсти «История кавалера Де Гриё и Манон Леско» (1731).

Зола — Эмиль Золя (1840 — 1902), французский прозаик, публицист; создатель эпопеи «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи», состоящей из 20 романов (1871 — 1893).

Гонкуры — братья Эдмон (1822 — 1896) и Жюль (1830 — 1870), французские прозаики, драматурги, искусствоведы, мемуаристы; авторы совместно написанных романов о любви (их около 20), в том числе известных «Жермини Ласерте» (1865), «Мадам Жервезе» (1869) и др.

Гюисманс Жорж Шарль Мари (1848 — 1907) — французский прозаик; последователь натурализма, пришедший к мистицизму; автор романов об изощренной чувственности: «Марта. История проститутки» (1880), «Наоборот» (1884), «Там, внизу» (1891) и др.

Мирбо Октав (1848 или 1850 — 1917) — французский прозаик и драматург; автор романов о разгуле разврата и садизма «Дневник горничной», «Сад пыток и смерти» и др.

...трагедия Фантины в «Les miserables» Виктора Гюго... — Фантина — героиня романа Виктора Гюго (1802 — 1885) «Отверженные» («Les miserables»; 1862).

Жан Лоррэн — псевдоним французского романиста Поля Дюваля (1856 — ?), писавшего в манере Мопассана.

Додэ Альфонс (Доде; 1840 — 1897) — французский прозаик и поэт; автор известной трилогии «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872), «Тартарен в Альпах» (1885) и «Порт Тараскон» (1890), романа «Сафо» (1884) о парижском полусвете и др.

С. 477. *Разве не благополучнейшее место во Франции «Maison Tellier»...* — Первый сборник новелл Мопассана «Заведение Телье» («Maison Tellier»; 1881), поставивший его в ряд лучших прозаиков Франции.

...Маргарита Готье, подобно своей предшественнице, Манон Леско, погибает жертвою... фамильной чести Дювалей... — Маргарита Готье и Арман Дюваль — главные герои романа А. Дюма-сына (1824 — 1895) «Дама с камелиями» («La dame aux camellias»; 1848). В 1852 г. роман переделан в драму, по мотивам которой Джузеппе Верди создал оперу «Травиата». Манон Леско — главный персонаж романа Прево (см. о нем на с. 742) «История кавалера де Гриё и Манон Леско» (1733). Эту книгу Арман подарил Маргарите с надписью: «Манон, смирись пред Маргаритою».

С. 478. *Бальзак* Оноре де (1799 — 1850) — французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов и рассказов, связанной общим замыслом и персонажами.

Бодлэр (Бодлер) Шарль (1821 — 1867) — французский поэт и критик; автор книги стихов «Цветы зла» (1857), ставшей предвестницей символизма.

Род Эдуард (1857 — 1910) — швейцарско-французский прозаик и литературовед; автор интимно-психологического романа «Бег к смерти» (1885), ознаменовавшего разрыв с натурализмом школы Золя.

Маргерит Виктор (1866 — 1942) — французский прозаик; автор романа «Проститутка» (1907) и романного цикла «Женщина в пути» (1922 — 1924).

С. 479. *Полежаев в «Сашке»...* — «Сашка» (1825) — поэма Александра Ивановича Полежаева (1804 — 1838), воспевающая студенческое вольнолюбие. Прочитав поэму, Николай I, только что расправившийся с декабристами, распорядился отправить выпускника Московского университета пожизненно в солдаты.

...быть игрушкою красивою и занимательною (Лаура в «Каменном госте») — и «что тогда?» — Героиня «маленькой трагедии» Пушкина «Каменный гость» (1830) Лаура — одна из трех возлюбленных Дон Гуана, наделенная характером легким, веселым, общительным. Философия жизни таких женщин предстает в ее диалоге с Дон Карлосом, который, упрекая Лауру в легкомыслии, говорит:

Ты молода... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя
Еще лет шесть они толпиться будут,
Тебя ласкать, лелеять, и дарить,
И серенадами ночными тешить,
И за тебя друг друга убивать
На перекрестках ночью. Но когда
Пора пройдет, когда твои глаза
Впадут и веки, сморщась, почернеют,
И седина в косе твоей мелькнет,
И будут называть тебя старухой,
Тогда — что скажешь ты?

Романтически-беззаботная, обворожительная Лаура на это весело отвечает:

Тогда? Зачем
Об этом думать? что за разговор?
Иль у тебя всегда такие мысли?
Приди — открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух — ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно: *Ясно!*.
А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует. —
А нам какое дело? слушай, Карлос,
Я требую, чтоб улыбнулся ты...

С. **479.** *...разночинец чистой воды (Левитов, Воронов...).* — Александр Иванович Левитов (1835 — 1877) и Михаил Алексеевич Воронов (1840 — 1873) — прозаики; авторы совместного, трижды издававшегося двухтомника очерков и рассказов «Московские норы и трущобы» (1866).

Вспомните Левина у смертного одра его брата. — Константин Дмитриевич Левин — один из главных героев романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1873 — 1877).

С. **480.** *Верлэн* (Верлен) Поль (1844 — 1896) — французский поэт-символист и критик.

С. **480.** *...романы Эжена Сю.* — Эжен Сю (наст. имя Мари Жозеф; 1804 — 1857) — французский прозаик; автор известных романов «Парижские тайны» (1842 — 1843) и «Вечный жид» (1844 — 1845; рус. пер. «Агасфер»).

Жорж Санд (Занд, наст. фам. и имя Аврора Дюпен; 1804 — 1876) — французская писательница; основная идея ее произведений — освобождение личности, в том числе женщин.

С. **482.** *Винниченко* Владимир Кириллович (1880 — 1951) — прозаик, драматург, политический деятель; писал главным образом на украинском языке и сам переводил на руссский язык. Автор популярных произведений о преступном мире, обитателях публичных домов, психиатрических лечебниц, тюрем — романов «Божки» (1916), «Хочу!» (1916), «Записки курносого Мефистофеля» (1917) и др.

...невиннейший роман Боборыкина «Жертва вечерняя»... — Петр Дмитриевич Боборыкин (1836 — 1921) — прозаик; роман «Жертва вечерняя» (1868) принес ему (после статьи М.Е. Салтыкова-Щедрина «Писатели особого рода». «Отечественные записки». 1868. № 11) скандальную известность как писателя безнравственного. Критики лишь через сорок лет увидели в романе «трагедию женской души, чуть было не загубленной в великосветском разврате» (Овсянико-Куликовский Д.Н. История русской литературы XIX века. Т. 5. М., 1911. С. 138).

Пискарев — герой романа «Жертва вечерняя».

С. **483.** *Театр заполнен проститутками. Андреев, Шолом Аш, Юшкевич, Трахтенберг, Найденов, Протопопов, Фоломеев...* — Очевидно, имеются в виду пьесы: «Дни нашей жизни» (1908), «Анфиса» (1909), «Екатерина Ивановна» (1913), «Тот, кто получает пощечины» (1916) Леонида Николаевича Андреева (1871 — 1919); «Белая кость» (1908), «Бог мести» (1907) Шолома Аша (см. о нем на с. 742); «Miserere», «Комедия брака» С.С. Юшкевича (см. о нем на с. 742); «Потемки души» (1900), «Вчера» (1903), «Сегодня» (1904) Владимира Осиповича Трахтенберга (1861 — 1914); «Авдотьина жизнь», «Хорошенькая» Сергея Александровича Найденова (наст. фам. Алексеев; 1868 — 1922); «Больная любовь», «Власть плоти», «Гетера Лаиса», «Веселые соседки» Виктора Викторовича Протопопова (1866 — 1916); «В деревне» Константина Ивановича Фоломеева.

С. **483.** *«Поединок»* (1905) — повесть А.И. Куприна.

С. **485.** *...вызов андреевских «Христиан».* — Героиня рассказа Л.Н. Андреева «Христиане» категорически отказалась принять на суде присягу, заявив, что она проститутка и потому недостойна целовать крест и Евангелие. Амфитеатров о рассказе писал: «Христиане» — вещь потрясающей могучести» (сб. «Против течения». СПб., 1908. С. 198).

С. **489.** *Виктор Эммануил* II (1820 — 1878) — король Сардинии (1849 — 1961), а с 1861 г. — первый король объединенной им Италии; удостоен чести быть похороненным в усыпальнице выдающихся деятелей Италии — римском Пантеоне.

С. **491.** *...ночных магазинов, во вкусе Шнитцлерова «Зеленого попугая».* — Артур Шницлер (1862 — 1931) — австрийский драматург и прозаик; автор пьес о чувственной любви «Зеленый попугай» (1899), «Покрывало Беатрисы» (1901) и др.

С. **492.** *Подхалюзин* — центральный персонаж комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся» (1849), пройдоха-приказчик.

С. **493.** *...сирены Одиссея, Лорелея на Рейне и царица Тамара в глубоком ущелье Дарьяла...* — Сирены — в греческой мифологии демонические существа, полуптицы-полуженщины, завораживавшие пением. Герой поэмы Гомера Одиссей, проплывая мимо острова сирен, привязал себя к мачте корабля, а уши товарищей залил воском. Лорелея — нимфа, обитающая на р. Рейн в Германии и увлекающая корабли на скалы. Царица Грузии Тамара (Тамар; ок. сер. 60-х гг. XII в. — 1207); ей посвящена поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, служившего у царицы государственным казначеем.

С. **503.** *...Шарко показывал на своих истеричках.* — Жан Мартен Шарко (1825 — 1893) — французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии; создатель методов лечения неврозов, в том числе истерии.

С. **506.** *Эти дамы подобны добродетельному помещику Силину, которого описывал Козьма Прутков.* — Имеется в виду пьеса «Любовь и Силин» Козьмы Пруткова (под этим коллективным псевдонимом выступали братья Александр, Алексей и Владимир Михайловичи Жемчужниковы и Алексей Константинович Толстой в 50 — 60-е годы XIX в.).

Теперь у нас пойдет уж музыка не та. — Неточная цитата из басни И.А. Крылова «Квартет» (1811). У Крылова: «Тогда пойдет уж музыка не та».

С. **508.** *...пред вами либо тайная Мессалина...* — Третья жена римского императора Клавдия властолюбивая и коварная Мессалина (р. ок. 25 н.э.) вошла в историю как знаменитая развратница времен Империи.

С. **517.** *Святой Амвросий Медиоланский* (340 — 397) — епископ миланский (Медиоланум — древнее название Милана). Епископ отличался независимым, суровым характером, вводил в церкви строгую дисциплину.

С. **526.** *Атриум палаццо* (атрий) — закрытый внутренний двор античных строений, куда выходили остальные помещения.

С. **540.** *Франциск Ассизский* (наст. имя Джованни Бернардоне; 1181 или 1182 — 1226) — католический святой, монах из итальянского г. Ассизи, учредивший нищенствующий орден францисканцев; ему посвящен известный памятник итальянской литературы «Fioretti» (в русском переводе «Цветочки Франциска Ассизского»). В 1939 г. объявлен покровителем Италии.

Пий X (1835 — 1914) — Папа Римский с 1903 г.

Маргарита Савойская (Австрийская; 1480 — 1530) — дочь императора Максимилиана I, с 1497 г. — супруга инфанта Иоанна Испанского (ум. 1497), с 1501 г. герцога Филиберта II Савойского (ум. 1504). В 1507 — 1530 гг. — наместница в Нидерландах.

...какое-то «Проклятие зверя»! — Очевидно, имеется в виду символический рассказ с эпизодами в зоопарке (1908) Л.Н. Андреева, который он посвятил памяти своей жены А.М. Андреевой-Велигорской, скончавшейся после родов.

С. **556.** *Джон Буль* (в русском переводе Иван Бык) — ироническая кличка англичан (как у американцев дядя Сэм).

С. **566.** *...в Неаполе нет великой каморры.* — Каморра — тайное разбойничье сообщество в Неаполитанском королевстве, связанное с полицией и чинами правительства.

С. **575.** *Портинайо* — привратник, швейцар.

С. **579.** *«Александринка»* — Александринский театр в Санкт-Петербурге, основанный в 1756 г. (ныне — академический театр драмы им. А.С. Пушкина).

С. **580.** *Кафизма* — часть Псалтыри, состоит из нескольких псалмов. На конце каждой кафизмы поется краткая ектения (прошение, произносимое дьяконом или священником от лица молящихся). Во время кафизмы разрешается сидеть.

С. **581.** *...барону из «Скупого рыцаря».* — Барон — одолеваемый страстью стяжательства главный персонаж «маленькой трагедии» Пушкина «Скупой рыцарь» (1830).

Плюшкин — персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души» (1842—1845).

С. **583.** *...мурильовская красота*!.. — Бартоломе Эстебан Мурильо (1618 — 1682) — испанский живописец, лирически передавший национальный тип женщины-испанки.

С. **608.** *...всякие там князья из Готского альманаха...* — «Готский альманах» («Almanach de Gotha») — генеалого-статистический сборник, издававшийся ежегодно с 1762 г. в Готе (Германия).

Вандербильт или Асквит какой-нибудь? — Вандербильты — династия «железнодорожных королей» в США, родоначальником которой был Корнелий Вандербильт (1794 — 1877). Один из его потомков Альфред трагически погиб 7 мая 1916 г. Миллиардер-филантроп плыл на борту океанского лайнера «Лузитания», чтобы помочь истекающей кровью Европе (эта его миссия была широко разрекламирована). Однако лайнер был потоплен германской подводной лодкой. Герберт Генри Асквит (1852 — 1928) — премьер-министр Великобритании в 1908 — 1916 гг.; один из виновников развязывания первой мировой войны.

С. **610.** *...когда ни Пакэн, ни Дусэ... никак не помогают...* — Пакэн — очевидно, французский актер. Элеонора Дузе (Duse; 1858 — 1924) — итальянская актриса, с огромным успехом гастролировавшая в России в 1891 — 1892 и 1908 гг.; выдающаяся исполнительница главных ролей в пьесах «Дама с камелиями» А. Дюма-сына, «Антоний и Клеопатра» Шекспира, «Нора» Г. Д`Аннунцио и др.

С. **614.** *Литвин* Фелия Васильевна (наст. имя Франсуаза Жанна Шютц, в замужестве Литвинова; 1861 — 1936) — известная певица; в 1890-х гг. пела в России; участница Русских сезонов в Париже — ежегодных концертов и спектаклей, начало которым положил Сергей Павлович Дягилев (1872 — 1929) в 1907 г. в парижском театре «Grand-Opera».

Рено Морис (1861 — 1933) — французский оперный певец (баритон).

Лоэнгрин — герой оперы немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813 — 1883) «Лоэнгрин» (1848).

«Мефистофель» (1886) — опера итальянского композитора, либреттиста и поэта Арриго Бойто (1842 — 1918), написанная по мотивам трагедии Гёте «Фауст».

С. **614.** *«Валькирия»* (1870) — вторая музыкальная драма из оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» немецкого композитора Рихарда Вагнера.

С. **643.** *Особенно — Platensee у них в моде, Левико, Гарда.* — Названы курорты в Альпах.

С. **655.** *Фоблаз* (Фоблас) — герой романа Ж.Б. Лувэ де Куврэ «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787 — 1790), красивый развращенный юноша.

С. **665.** *...в так называемых аболиционистских романах...* — Здесь имеются в виду романы, в которых идет речь об отмене регламентации проституции (от лат. abolitia — отмена закона, решения).

С. **667.** *«Жолифамщики»* (от фр. joli femme) — любители хорошеньких женщин.

С. **668.** *...клянусь святою Ириною!* — Великомученица Ирина, обратившая в христианство 80 тысяч жителей г. Магедона и 10 тысяч жителей Каллинеля, подверглась при императоре Диоклетиане жестоким пыткам и была заживо сожжена 1 апреля 304 г. Перед казнью была помещена в блудилищный дом, где никто не посмел к ней прикоснуться.

С. **686.** *Ты молода... и будешь молода.* — Монолог Дон Карлоса (см. с. 744) из «Каменного гостя» Пушкина.

С. **709.** *...клянусь святым Патриком!* — Патрик (373 — между 467 и 469) — апостол и патрон Ирландии; основатель монастырских школ.

С. **710.** *...донкихотствуйте в одиночку, а я, как благородный Санчо Панса.* — Санчо Панса — персонаж романа Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547— 1616) «Хитроумный идальго, Дон-Кихот Ламанческий» (1606, 1616) — бросил своего хозяина и стал губернатором острова, претворив в жизнь свою давнюю мечту. Однако вскоре, посчитав, что должность губернатора не для него и что он не сможет защитить отстров от нашествия врагов, Санчо Панса возвращается в услужение к Дон Кихоту.

С. **717.** *...самые наглые теписты (апаши).* — Во Франции апаши, тепписты — хулиганы, бандиты.

С. **721.** *Цирцея* — волшебница греческого острова Эе, на который попал во время своего странствия герой поэмы Гомера Одисей. Цирцея обратила его спутников в свиней.

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.
А 63 Собрание сочинений В 10 т Т 2 Повесть Романы / Сост, вступ статья, примеч Т Ф Прокопова — М : «Интелвак», 2000 — 752 с

ISBN5-93264-021-9 (т 2)

Во втором томе собрания сочинений Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862 — 1938) впервые полностью публикуются его самая известная романная дилогия о тайной проституции великосветских дам — «Марья Лусьева» и «Марья Лусьева за границей», а также повесть «В стране любви»

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос-Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 2
ПОВЕСТЬ. РОМАНЫ

Составление, примечания
Тимофея Федоровича Прокопова

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Макет и верстка *Ирина Ануфриева*

Подписано в печать 18. 07. 2000.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 39,48. Уч.-изд. л. 36,3.
Тираж 3000 экз. Заказ № 2403.

Лицензия ЛР № 3 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846

E-mail: iv @ deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122